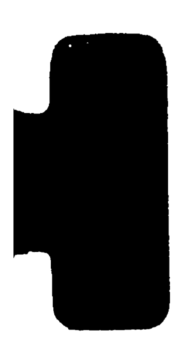
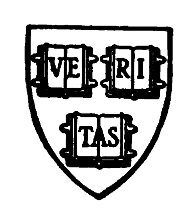
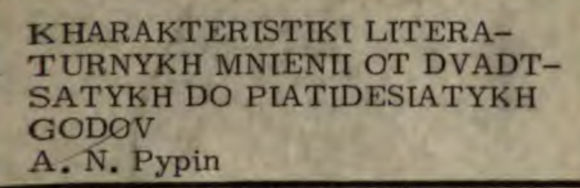



VE RI
TAS


KHARAKTERISTIKI LITERATURNYKH MNIENII OT DVADTSATYKH DO PIATIDESIATYKH GODOV
A. N. Pypin
Published on demand by
UNIVERSITY MICROFILMS
University Microfilms Limited, High Wycomb, England
A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.



[illegible]

Pypin, Aleksandr Nikolaevich.

А. Н. ПЫПИНЪ

Kharakteristiki literaturnykh mnenii

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНѢНІЙ

ОТЪ ДВАДЦАТЫХЪ ДО ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

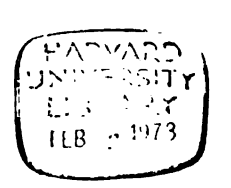
Pypin

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ,
дополненное приложеніемъ, примѣчаніями и указателемъ личныхъ именъ.

"KHARAKTERISTIKI LITERATURNYKH MNENII"

Книгоиздательство „Колосъ".

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.
1906


HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
FEB 1973



3551

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая книга заключаетъ въ себѣ точный текстъ изданія 1890 года, дополненный примѣчаніями и библіографическими справками, а также указателемъ личныхъ именъ. Переизданіе „Очерковъ“ съ этого рода дополненіями было задумано А. Н. Пыпинымъ, но, къ сожалѣнію, не могло быть осуществлено за его смертью. Въ примѣчаніяхъ А. Н. имѣлъ въ виду, съ одной стороны, дополнить главу о Жуковскомъ указаніемъ на тотъ новый взглядъ въ пониманіи поэта и его направленія, который отодвигалъ въ исторію нѣсколько иное объясненіе, нашедшее себѣ мѣсто въ первой главѣ книги, а съ другой — въ примѣчанія должны были войти нѣкоторыя подлинныя свидѣтельства изображавшейся эпохи, относительно которыхъ, въ предыдущихъ изданіяхъ, приходилось ограничиваться, по цензурнымъ и инымъ соображеніямъ, лишь краткимъ и не всегда явственнымъ упоминаніемъ; въ то же время въ примѣчаніяхъ должны были найти себѣ мѣсто и позднѣйшія библіографическія указанія, поскольку они содѣйствовали основной цѣли — „отмѣтить собственно общественную сторону“ литературнаго движенія николаевскихъ временъ. Въ этомъ видѣ,— такъ представлялось А. Н.,— его книга, писанная въ тяжелые для общественно-историческаго повѣствованія годы, послужитъ и позднѣйшему читателю къ уясненію того сложнаго процесса общественнаго развитія, въ которомъ такую могучую и духовно-знаменательную роль сыграла русская литература.

Въ „приложеніи“ помѣщена одна изъ послѣднихъ работъ А. Н. — „Значеніе Гоголя въ созданіи современнаго междуна-

роднаго положенія русской литературы", бывшая предметомъ его рѣчи въ торжественномъ засѣданіи Имп. Академіи Наукъ.

Трудъ по составленію примѣчаній къ настоящему изданію принадлежитъ Е. А. Ляцкому.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Первое изданіе настоящей книги составилось непосредственно изъ ряда статей въ „Вѣстникѣ Европы" 1872—1873. Повторяя его, вслѣдствіе доходившихъ до насъ запросовъ, нельзя было не сдѣлать нѣкоторыхъ дополненій и измѣненій: черезъ такой промежутокъ времени историческая книга требуетъ ихъ необходимо — накопляются новыя данныя, съ которыми иногда получается и новое освѣщеніе предмета. Мы дополнили прежнее изложеніе указаніемъ явившихся въ послѣднее время матеріаловъ и изслѣдованій, но по существу не нашли нужнымъ измѣнить прежней точки зрѣнія. Значительно расширена только глава о Пушкинѣ: вслѣдствіе московскаго праздника, 1880, и пятидесятилѣтней памяти кончины Пушкина, 1887, явилась цѣлая новая литература, посвященная великому поэту, и мы ввели въ настоящее изданіе часть статей, писанныхъ нами по этому поводу въ „В. Евр.", 1887. Нѣкоторыя добавленія введены и въ другихъ случаяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ прежнее изложеніе сдѣлано вообще болѣе сжатымъ.

Настоящая книга не имѣла въ виду исторіи литературы Николаевскихъ временъ: она предполагаетъ главные факты извѣстными и цѣль ея — отмѣтить собственно общественную сторону тогдашняго литературнаго движенія, — потому что, какъ строго не были исключаемы надзоромъ общественные вопросы изъ тогдашней литературы, они въ ней неудержимо пробивались и угадывались читателями. Раскрывъ эту сторону тогдашней литературы, мы находимъ ея внутреннюю основу и ту связь развитія,

которая соединяетъ вторую четверть вѣка,—по господствующему режиму періодъ строгаго консерватизма и застоя,—съ послѣдующимъ періодомъ реформъ и общественнаго возбужденія: послѣдній былъ однако теоретически подготовленъ предыдущей эпохой, именно лучшими представителями ея научныхъ стремленій и литературы.

Сложный организмъ общества совмѣщаетъ самыя разнородныя стихіи: исторически всѣ онѣ, даже враждебныя прогрессу, находятъ свое объясненіе, если не оправданіе, но „логика событій", въ концѣ концовъ, выдвигаетъ именно тѣ направленія мысли, которыя служатъ залогомъ развитія, если только общество къ нему способно. Эти направленія могутъ подвергаться гоненію, но имъ принадлежитъ будущее, и люди, служащіе лучшимъ умственнымъ и нравственно-гражданскимъ интересамъ общества, находятъ, въ періоды утѣсненія, увѣренность, что придетъ время, когда ихъ труду и самоотверженію будетъ отдана справедливость, когда этотъ трудъ принесетъ свои плоды для общественнаго блага.

Такова была судьба людей сороковыхъ годовъ, на которыхъ мы всего больше останавливаемся въ настоящей книгѣ. Съ ними связаны лучшія стремленія нашего времени, и ихъ историческая судьба пусть послужитъ ободряющимъ примѣромъ для тѣхъ, кого смущаютъ трудности настоящаго.

О нашей литературѣ второй четверти столѣтія было писано и пишется столько, что нѣсколько трудно, быть можетъ самонадѣянно, поднимать вновь столь извѣстный предметъ, не рискуя утомить читателя повтореніями. Намъ казалось, однако, что независимо отъ всегдашней исторической важности предмета, которая вызываетъ новыя повѣрки мнѣній, есть въ немъ стороны, которыя еще нуждаются въ разъясненіи. Наша литературная критика была долго почти исключительно эстетическая. Это и было необходимо, когда шла рѣчь объ опредѣленіи основныхъ литературныхъ понятій и объ указаніи относительнаго поэтическаго достоинства писателей; съ той же точки зрѣнія критика указывала ихъ историческое значеніе, какъ развитіе художественнаго пріема, какъ стремленіе литературы къ самобытности въ изображеніи своеобразной народной жизни. Отношеній литературы къ дѣйствительности эта критика касалась настолько, сколько это нужно было для пониманія данныхъ произведеній. Эта точка зрѣнія держалась до послѣдняго времени, за исключеніемъ немногихъ случаевъ, гдѣ историческій вопросъ поставленъ былъ шире и многостороннѣе. Но литературное развитіе имѣетъ и другой интересъ: исторія литературы входитъ въ цѣлую исторію общества, и на литературѣ мы имѣемъ возможность слѣдить возростаніе общественнаго самосознанія. И безъ сомнѣнія, эта сторона предмета имѣетъ наибольшую историческую важность. Въ наше время литература рѣдко поднимается до высшаго совершенства художественной красоты, гдѣ произведеніе является широкой объективной картиной человѣческой природы или цѣлаго общества; она больше примыкаетъ къ непосредственнымъ явленіямъ общественной жизни и подаетъ объ нихъ свой голосъ въ поэтическомъ произведеніи, какъ въ публицистикѣ. Любимой формой сталъ романъ и повѣсть,—вмѣстѣ съ тѣмъ та же самая жизнь изображается прямо, въ публицистикѣ, которая высказываетъ ея

интересы, служить отголоскомъ ея борьбы, и отсюда, въ литературѣ поэтической элементъ реальный становится еще сильнѣе. Если и чисто художественное, объективное произведеніе должно служить не только идеѣ красоты, но и идеѣ добра и правды, и быть орудіемъ общественнаго улучшенія, то произведенія менѣе объективныя связываются съ общественною жизнью еще тѣснѣе: онѣ, быть можетъ, дѣйствуютъ менѣе возвышенными средствами, но иногда съ большею страстью и съ большимъ вліяніемъ на умы. Общественныя и поэтическія достоинства писателя и произведенія могутъ не всегда совпадать, и легко могутъ имѣть различную цѣну для той исторіи литературы, о какой мы говоримъ,—исторіи съ общественной точки зрѣнія.

Это сопоставленіе литературы съ непосредственною жизнью, собственно говоря, только и можетъ указать дѣйствительное значеніе историческаго прогресса литературы. Нельзя сказать, чтобы до сихъ поръ оно было достаточно ясно. Для оцѣнки этого историческаго прогресса надо взять въ разсчетъ самыя условія существованія литературы, ея общественную обстановку, ея дѣйствительный (часто, за невозможностью, ясно невысказанный) смыслъ. Только опредѣленіе этихъ общихъ условій и указываетъ настоящую жизненную цѣну литературы, возможность и размѣры ея вліянія. Если литература имѣетъ свою роль, какъ одинъ изъ развивающихъ элементовъ національной жизни, то сила ея вліянія, т.-е. ея историческая цѣнность, опредѣлится именно условіями ея существованія: она существуетъ въ данныхъ условіяхъ историческихъ преданій, учрежденій, образованія и т. д., и эти условія впередъ указываютъ ей извѣстные предѣлы, налагаютъ на нее извѣстный характеръ. Таланты различной величины могутъ обогащать ее болѣе или менѣе замѣчательными проявленіями поэтическаго дара; но эти таланты дѣйствуютъ въ извѣстной обстановкѣ, которая даетъ направленіе ихъ творчеству, такъ или иначе обусловливаетъ ихъ содержаніе. Такъ,— если взять одинъ частный примѣръ, — у насъ было не мало говорено о стѣснительномъ дѣйствіи цензуры: но цензура есть только одно частное проявленіе цѣлаго порядка понятій, который и безъ нея оказывалъ бы стѣсняющее вліяніе на литературу, и при ней также его оказываетъ, какъ извѣстный запасъ консерватизма, отражающаго настроеніе даннаго періода.

Съ начала нынѣшняго столѣтія въ нашей литературѣ много говорилось о народности, достиженіе которой ставилось цѣлью литературы; въ разное время писатели и критика убѣждались, что народность, наконецъ, достигнута. Такъ, по ихъ мнѣнію, до-

стигалъ ея Жуковскій въ нѣкоторыхъ изъ его произведеній на русскіе сюжеты; такъ достигалъ ея Крыловъ въ своихъ басняхъ; потомъ Пушкинъ; наконецъ, Гоголь. Вопросъ былъ въ томъ, что поэтическая литература дѣйствительно выходила мало-по-малу изъ своего искусственно-подражательнаго періода: названные писатели дѣлали каждый свои успѣхи въ томъ, чтобы усвоить литературѣ русскія темы и русскія краски, достигнуть самостоятельнаго пониманія... Можно сказать, что съ Пушкинымъ, а особенно съ Гоголемъ эта цѣль въ большой степени достигалась. Литература становилась дѣйствительно народной или національной, потому что была уже своеобразна и самобытна въ своихъ пріемахъ, мысли, тонѣ и формѣ. Литературная исторія излагала процессъ этого усовершенствованія.

Но за этимъ оставался другой вопросъ объ отношеніяхъ литературы къ народности, именно о положеніи литературы, какъ орудія и выраженія образованности и самосознанія, въ средѣ цѣлой національной жизни.

Національность, какъ собраніе отличительныхъ особенностей народа въ данное время, состоитъ не въ однѣхъ внѣшнихъ особенностяхъ бытовыхъ, не въ одномъ формальномъ складѣ народнаго ума и фантазіи. Ея характеръ въ данный историческій періодъ складывается, между прочимъ, и подъ вліяніемъ того *содержанія понятій*, количества знаній, какія доставались народу въ его прошедшемъ, а затѣмъ оказываетъ сильное дѣйствіе и на его настоящее. Вліяніе этого условія можетъ быть весьма различно. Если знаній было немного, если привычка къ умственному труду была невелика, то и ходъ дальнѣйшаго развитія необходимо замедляется, и оно не можетъ быть самостоятельно. Если свойства народнаго ума, его живость и воспріимчивость могутъ сообщать литературѣ болѣе оживленное движеніе, то прошедшій застой стѣсняетъ это движеніе запоздалымъ пониманіемъ массъ, которое и бываетъ главнымъ тормазомъ умственнаго успѣха. Мы ясно видимъ это, когда сравниваемъ образованность разныхъ народовъ; мы соглашаемся, что русскій народъ въ этомъ отношеніи уступаетъ другимъ міровымъ націямъ; но мы все еще рѣдко соглашаемся, что это обстоятельство должно прямо отражаться и на объемѣ понятій, какимъ мы вообще владѣемъ; рѣдко допускаемъ, что одно это обстоятельство должно бы ограничить наше самомнѣніе. Запасъ понятій и знаній, принадлежащихъ народу, именно и составляетъ одно изъ важнѣйшихъ обстоятельствъ національной жизни. Было бы большой ошибкой забывать это общее условіе въ изображеніи историческаго хода литературы:

этому условію подчинены самыя высокія созданія національныхъ поэтовъ и писателей, подчинена вообще умственная производительность и весь ходъ образованія, а затѣмъ отъ него много зависитъ и будущее національнаго прогресса.

Если въ исторіи литературнаго развитія (понимаемаго какъ выраженіе и средство умственной жизни народа) необходимо принимать въ соображеніе эти условія національности и всей внѣшней обстановки, то не слѣдуетъ думать, чтобы онѣ имѣли значеніе фаталистическое. Въ наше время, особенно новѣйшіе славянофилы, опять много говорятъ о національности именно въ этомъ фаталистическомъ смыслѣ, обращая, впрочемъ, его неблагопріятную сторону къ гнилому Западу, а благопріятную—къ намъ. Въ характерѣ національности видятъ нѣчто предопредѣленное, разъ данное и неизмѣнное. Такое понятіе о предметѣ предполагала та школа оффиціальной „народности", которая въ тридцатыхъ годахъ совмѣстила характеристику русской жизни и ея принциповъ въ извѣстномъ символѣ. Такое почти понятіе предполагаетъ и школа славянофильская, старая и новая.

Извѣстныя „начала" народности представляются здѣсь какъ что-то прирожденное народу при самомъ его происхожденіи: онѣ хранятся незыблемо въ теченіе исторической жизни, часто на перекоръ волненіямъ и перемѣнамъ, происходящимъ въ верхнемъ слоѣ націи. Защитники теоріи ссылаются на удивительную живучесть народнаго обычая, повѣрья, сказки и т. д., и строятъ на народности цѣлыя системы, которыя и выдаютъ за обязательныя для общества и его образованности.

На самомъ дѣлѣ, національность вовсе не неподвижна; напротивъ, какъ стихія историческая, она способна къ видоизмѣненію и усовершенію, и въ этомъ именно состоитъ возможность и надежда національнаго успѣха. Не входя въ вопросъ о физіологическихъ свойствахъ національности, — вопросъ сложный и мало изслѣдованный,—нельзя не видѣть, что умственное содержаніе націи чрезвычайно измѣняется отъ одного періода до другого. Историческая жизнь народа оставляетъ свой глубокій отпечатокъ на его идеяхъ и „началахъ". Та живучесть, которую въ нихъ указываютъ, въ сущности бываетъ только призрачная. Намъ указываютъ тысячелѣтнія народныя преданія, доходящія дѣйствительно до временъ языческаго и патріархальнаго быта; но эти преданія на самомъ дѣлѣ потеряли уже смыслъ, нѣкогда ихъ оживлявшій: народъ вовсе не соединяетъ съ ними *теперь* такого значенія, какое они имѣли для него *прежде:* ихъ старое значеніе забыто, и мы лишь теперь начинаемъ его угадывать, благодаря

вовсе не народной памяти, а новѣйшему историческому знанію, которое начинаетъ уразумѣвать ихъ силой научнаго изслѣдованія, на подобіе того какъ начало понимать египетскіе іероглифы или клинообразныя письмена, остававшіеся въ теченіе тысячелѣтій мертвыми знаками. Не можетъ быть, конечно, и рѣчи о томъ, чтобы этотъ вновь открываемый смыслъ народнаго преданія могъ оживиться для народа, — какъ не можетъ жить еще разъ іероглифическая мудрость. Ихъ смѣнила иная жизнь, съ своимъ содержаніемъ и своими правами. Единственный и драгоцѣнный плодъ этого открытія, совершенно достойный положенныхъ на него усилій, будетъ обогащеніе и разъясненіе нашего историческаго знанія, а не воскрешеніе мумій:

Спящій въ гробѣ мирно спи...

Съ другой стороны, живучесть преданія не должна вводить въ заблужденіе о его внутренней цѣнности. Старое преданіе носило на себѣ всѣ черты своей эпохи: какъ въ религіи и пониманіи природы оно руководилось нѣкогда болѣе или менѣе грубымъ фетишизмомъ и антропоморфизмомъ, такъ въ нравственно-бытовыхъ представленіяхъ исходило изъ первобытныхъ отношеній племенной жизни. Какъ странно было бы имѣть иной интересъ, кромѣ историческаго, къ религіознымъ миѳамъ преданія, такъ странно было бы считать обязательной и археологически отысканную мораль. Доктринеры народности обыкновенно возстаютъ съ негодованіемъ противъ такого заключенія и ссылаются на „уваженіе къ народу“, на тотъ мнимо-историческій выводъ, что въ народномъ преданіи и заключаются едино-спасающіе принципы, которые мы должны стремиться только уразумѣть и исполнять. Но дѣло въ томъ, что преданіе не едино и не неизмѣнно. Историческое движеніе народа заключается вовсе не въ одномъ развитіи и усовершеніи его исконныхъ представленій, а также и въ пріобрѣтеніи и созданіи понятій, совершенно новыхъ, приходившихъ иногда изъ совсѣмъ чужого источника или подъ чужими вліяніями, и совершенно непохожихъ на прежнія, — какъ христіанство, пришедшее изъ Византіи, не было похоже на старое язычество; какъ удѣльно вѣчевой бытъ, огразившій въ себѣ варяжскія вліянія, не былъ похожъ на бытъ патріархальный, или какъ впослѣдствіи московское самодержавіе, образовавшееся подъ вліяніями восточными и византійскими, не было похоже на удѣльно-вѣчевую систему; какъ научныя понятія о природѣ, пріобрѣтенныя готовыми съ Запада, были непохожи на средневѣковое суевѣріе. Было бы исторической нелѣпостью утверждать, чтобы все это новое

бывало только „развитіемъ" какого-нибудь древняго народнаго принципа. Вновь пріобрѣтаемое часто бывало прежде совершенно чуждо народу, и, принимая его, народъ, хотя и можетъ видоизмѣнять его, но подчиняется и самъ вліянію вновь пріобрѣтаемаго, а это послѣднее бываетъ часто таково, что не можетъ подлежать никакому видоизмѣненію, и должно быть или прямо принимаемо, или прямо отвергаемо. Таковы въ особенности понятія научныя, какъ, напр., тѣ, которыя ознаменовываютъ новую европейскую образованность и которыя съ Петра Великаго стали проникать и къ намъ. Эти научныя знанія были таковы, что съ ними для стараго преданія не было возможно никакое примиреніе и ограниченіе; средневѣковыя представленія должны были неизбѣжно уступать, или защита ихъ становилась тѣмъ, что называется обскурантизмомъ: неодолимыя теоретически, новыя понятія навлекаютъ на себя гоненіе отъ приверженцевъ старины, когда обнаружилось ихъ вліяніе въ практической жизни. Дѣло въ томъ, что эти истины вовсе не были безразличными отвлеченностями; напротивъ, онѣ захватывали самыя коренныя старыя представленія, которыя и должны были измѣняться существенно отъ ихъ вліянія. Такъ, новыя понятія о природѣ съ перваго раза сокращали средневѣковую область чудеснаго, которая нѣкогда была такъ обширна и оказывала столь сильное дѣйствіе на самыя нравственныя и общественныя понятія. Эта сила научно-логическаго движенія совершенно независима отъ всякихъ національныхъ обстоятельствъ; научныя истины сами по себѣ одинаково чужды и безразличны всѣмъ національностямъ, и народъ принимаетъ ихъ какъ новую образовательную силу величайшей важности, вліяніе которой и отражается потомъ въ его національномъ созерцаніи... Что касается до уваженія къ народу, оно, конечно, состоитъ не въ лелѣяніи его археологическихъ заблужденій: оно вовсе не требуетъ согласія съ заблужденіями, хотя бы общенародными, но происходящими отъ недостатка знаній; оно состоитъ въ томъ, чтобы желать народу возможно бо́льшаго образованія, возможно бо́льшей сознательности, чтобы онъ могъ бо́льшимъ количествомъ силъ участвовать въ движеніи „національной" образованности и литературы, въ выгодахъ общественной жизни, которыя оставались до сихъ поръ удѣломъ привилегированныхъ,— словомъ, уваженіе къ народу состоитъ въ желаніи ему тѣхъ умственныхъ и матеріальныхъ, общественныхъ благъ, которыя принадлежатъ высшему образованному классу и которыхъ онъ былъ до сихъ поръ лишенъ, и въ стремленіи содѣйствовать, сколько возможно, осуществленію этого желанія. Народъ надо „возлю-

бить какъ самого себя", и слѣдовательно, стремиться дать ему умственный уровень, соотвѣтствующій уровню другихъ слоевъ, а „прочая приложатся"...

Доктринеры народности ошибаются и въ томъ, когда думаютъ, что народъ всегда ревниво и сознательно хранитъ свои преданія и настаиваетъ на ихъ неприкосновенности. На дѣлѣ, народъ вовсе не имѣетъ подобныхъ взглядовъ. Преданія хранятся, потому что ничто не приходитъ замѣнять ихъ; народная жизнь, издавна и почти вездѣ до послѣдняго времени, была жизнь „темная", по собственному признанію народа: онъ долго сберегалъ фантастическія представленія язычества, потому что ему плохо преподавали новыя ученія, которыя притомъ ослаблялись и практикой жизни, еще сохранявшей языческую грубость; потомъ, когда мало-по-малу его идеи получили болѣе опредѣленный христіанскій характеръ, онъ точно также сберегалъ свои понятія обрядоваго благочестія, для болѣе духовнаго развитія которыхъ не имѣлъ средствъ. Съ этими понятіями большинство остается до сей поры, такъ какъ умственное развитіе народа мало еще отличается отъ его уровня въ XVII-мъ столѣтіи. Но что даже народъ, если разъ въ немъ возбуждается пытливость, не останавливается передъ обязательностью преданія,—объ этомъ свидѣтельствуютъ многія народныя движенія, и напр. расколъ. Явившись первоначально съ характеромъ консервативной оппозиціи противъ предполагаемыхъ нововведеній, расколъ (не забудемъ, обнимающій цѣлую огромную часть русскаго племени) уже вскорѣ самъ идетъ на такія нововведенія, которыя устраняютъ два основные авторитета старой жизни—авторитетъ церковный и авторитетъ власти. Такимъ образомъ, въ средѣ самого народа самыя существенныя преданія отступали передъ новыми порывами мысли, —справедливыми или ошибочными, другой вопросъ. И въ этомъ разнорѣчіи двухъ, хотя неравныхъ, но огромныхъ частей народа, на чью сторону мы причислимъ истинную послѣдовательность „народнымъ принципамъ"? Здѣсь не было никакого посторонняго возмущающаго вліянія; разладъ совершался въ одномъ и томъ же народномъ слоѣ, безъ всякихъ внѣшнихъ возбужденій, съ однимъ умственнымъ складомъ.

Очевидно, что къ той же категоріи должно быть причислено и то образовательное движеніе, съ Петра Великаго, которое доктринеры обыкновенно обвиняютъ какъ отчужденіе отъ народа. Это движеніе дѣйствительно отдѣлялось отъ господствовавшаго преданія; оно создало или, по крайней мѣрѣ, начало въ верхнемъ слоѣ новую образованность, слишкомъ часто шедшую наперекоръ ста-

родавнему обычаю; но странно говорить, что оно „измѣняло“ народному пути, что оно дѣлало напрасный поворотъ въ другую сторону. На самомъ дѣлѣ, это движеніе, въ концѣ концовъ, стремилось стать дѣломъ самого народа и имѣло въ виду интересъ этого народа, шире понятый. Были здѣсь, какъ всегда, частныя крайности, ошибки и несчастія, но въ цѣломъ реформа Петра и вся исторія начавшейся съ нея новой умственной жизни составляютъ глубоко національное дѣло, болѣе національное, чѣмъ тѣ преданія, которыя имъ противополагались. Старыя преданія изжили свой вѣкъ; они уже не въ силахъ были помогать націи и государству въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ какія ихъ ставило время, и тѣмъ самымъ ихъ прежняя господствующая роль была кончена и дано было право новымъ идеямъ. Петръ Великій былъ первый „отрицатель“, употребляя нынѣшнее выраженіе, и несмотря на то, или именно поэтому, онъ представляетъ собой одного изъ величайшихъ „національныхъ“ героевъ Россіи, потому что отрицалъ отживавшее и искалъ источниковъ новой жизни. Съ него начинается тотъ критическій взглядъ на національную жизнь, который въ многоразличныхъ формахъ и школахъ доходитъ до нашего времени, къ сожалѣнію, и теперь еще не получившій себѣ настоящаго права гражданства. Этотъ взглядъ становился постепенно все глубже и серьезнѣе, онъ распространялся на новые предметы, но никогда онъ не былъ никакой „измѣной народности“, какъ до сихъ поръ легкомысленно употребляютъ это выраженіе о дѣлѣ Петра Великаго. Такими критиками національной жизни были и тѣ люди, стоявшіе во главѣ новѣйшаго литературнаго движенія, о которыхъ мы хотимъ теперь говорить. Это были люди весьма несходныхъ мнѣній, люди, часто враждебные другъ другу, были „славянофилы“ и „западники“, но всѣ они, насколько въ нихъ дѣйствовала критическая мысль и стремленіе къ самосознанію, были равно друзьями народа, одинаково служили народному интересу; нелѣпо было бы дѣлить ихъ на партіи „народную“ и „не-народную“ и ссылаться на ходившія когда-то прозвища литературныхъ школъ. Врагами истинно „народнаго“ были люди только одной категоріи — обскуранты, притѣснители критической мысли, хотя они именно прикрывались „народностью“, искусственно натянутой изъ оффиціальной жизни и наивныхъ преданій массы.

Такимъ образомъ, исторія даетъ два многозначительные вывода. Во-первыхъ, что національность, какъ содержаніе понятій, была весьма различна въ разные историческіе періоды, воспринимая вліянія извнѣ и, часто съ помощью этихъ вліяній, и даже

только благодаря имъ, развиваясь внутри. Во-вторыхъ, что сама народная жизнь представляетъ примѣры критическаго отношенія народа къ условіямъ его жизни и къ нравственно-политическимъ началамъ, выработаннымъ стариной и сохраняемымъ въ преданіи.

Въ чемъ же состояло развитіе нашего національнаго ума? Со временъ Петра Великаго русская жизнь становится лицомъ къ лицу съ тѣми успѣхами цивилизаціи и научнаго мышленія, какіе были пріобрѣтены европейскимъ міромъ въ періодъ среднихъ вѣковъ, когда Россія была занята борьбой съ азіатскими варварами, усвоеніемъ немногихъ плодовъ византійскаго образованія и основаніемъ государства. Начался періодъ умственныхъ заимствованій. Доктринеры не могутъ доселѣ простить Петру Великому его смѣлаго шага въ этомъ направленіи. Періодъ заимствованій, „петербургскій періодъ", все еще кажется имъ временемъ какого-то плѣненія вавилонскаго; на него взваливали они все, что было тяжелаго въ реформѣ и ея послѣдствіяхъ и, не оцѣнивая ея исторической неизбѣжности, въ то же время несправедливо приписывали ей одной многія суровыя стороны XVIII-го в., которыя были просто прямымъ наслѣдіемъ XVII-го русскаго столѣтія, какъ, напримѣръ, въ особенности такимъ прямымъ наслѣдіемъ были абсолютные и бюрократическіе пріемы Петра, а затѣмъ и его преемниковъ.

Этотъ періодъ зависимости и подражанія вовсе не составляетъ чего-нибудь особеннаго въ исторіи и такого, чѣмъ мы могли бы огорчаться. Это одно изъ множества явленій, повторяющихся въ исторіи цивилизаціи. Съ тѣхъ поръ, какъ завязалось зерно европейской цивилизаціи,—неоспоримо идущей ко всемірному господству и дѣлающей теперь въ этомъ отношеніи огромныя завоеванія, — ея исторія представляетъ много примѣровъ, совершенно аналогичныхъ. Распространеніе цивилизаціи не было равномѣрно; центръ тяжести ея лежалъ въ различныхъ націяхъ, къ которымъ тогда и тяготѣли другіе народы. Въ древнемъ мірѣ, послѣ народовъ восточныхъ, центромъ ея была Греція, сильному вліянію которой подчинился покорившій ее Римъ; въ средніе вѣка Римъ сталъ такимъ центромъ для западной Европы, которая отдала въ его руки величайшій нравственный и политическій авторитетъ; подобнымъ центромъ стала вновь Италія въ эпоху Возрожденія; раздвоеніе западнаго міра въ періодъ Реформаціи создало нѣсколько отдѣльныхъ центровъ; въ XVIII-мъ столѣтіи господствуетъ французская образованность и т. д. Въ цѣломъ, европейская цивилизація была результатомъ совмѣстныхъ усилій европейскихъ народовъ, такъ что трудно сказать, кому принадлежала

большая доля труда и заслуги—итальянцамъ, французамъ, нѣмцамъ или англичанамъ, но каждая изъ главныхъ европейскихъ націй въ различные моменты и въ различныхъ отношеніяхъ занимала передовое мѣсто, и всѣ болѣе или менѣе подчинялись чужому вліянію, когда нужно было усвоить великія пріобрѣтенія, сдѣланныя человѣческой мыслью...

Не иная была и роль Россія. Когда, вышедши изъ національной исключительности, она вступила на свою новую дорогу, ей не оставалось ничего другого, какъ усвоить себѣ, сколько возможно, тѣ вещи, въ которыхъ Европа неоспоримо ее опередила. Оставаться въ прежней замкнутости было невозможно: покинуть ее принуждали Россію и собственные инстинкты просвѣщенія, и необходимость, потому что сосѣдство съ сильными цивилизованными странами грозило бы серьезной опасностью для страны менѣе цивилизованной. Съ Петра Великаго и до сихъ поръ не прерывается рядъ заимствованій и подражаній; новыя знанія, теоретическія и практическія, новые нравы внесли и вносятъ въ русскую жизнь элементы, которые должны неизбѣжно разлагать старую жизнь и способствовать развитію новыхъ формъ. Заимствованія не прерываются съ Петра и до нашего времени. У насъ не однажды думали, еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, потомъ въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, наконецъ, въ наши послѣдніе годы, что пора заимствованій кончилась, что мы пріобрѣли самостоятельность, что намъ теперь постыдно подражать и заимствовать, надо имѣть свою русскую науку и т. п. Но достаточно и теперь осмотрѣться кругомъ себя, чтобы видѣть, какъ, наперекоръ этому самообольщенію, мы и донынѣ заимствуемся отъ Европы учрежденіями (и хорошими, и дурными); наши ученые довершаютъ свою школу за границей; оттуда мы беремъ способы вооруженія; въ прусскомъ или англійскомъ примѣрѣ указываютъ для насъ наиболѣе убѣдительные аргументы за или противъ классическаго образованія; русская промышленность даже не посягаетъ на многія отрасли, повидимому, совершенно для нея возможныя, но закрытыя для нея превосходствомъ европейской промышленности и собственной неумѣлостью; въ торговлѣ мы до сихъ поръ составляемъ предметъ эксплуатаціи; о литературѣ мы будемъ говорить дальше.

Словомъ, фактъ зависимости не подлежитъ сомнѣнію. Но заимствованія и усвоеніе европейскаго содержанія и собственныя стремленія литературы къ ея идеальнымъ и научнымъ цѣлямъ не могли идти безъ борьбы. Въ русской жизни началась сложная работа, потому что новые элементы не могли вдругъ получить

мѣста въ русскомъ быту и понятіяхъ. Въ самомъ началѣ реформа встрѣтила сопротивленіе въ народныхъ массахъ: съ одной стороны, оно вызывалось излишней жестокостью и крайностями, съ какими Петръ совершалъ свои нововведенія, и въ этомъ случаѣ былъ правъ народъ; съ другой стороны, сопротивленіе шло противъ самой сущности нововведеній и противъ непривычной науки, и здѣсь былъ правъ Петръ. Пассивное сопротивленіе или безучастіе массы до сихъ поръ остается печальнымъ спутникомъ нашего образованія, и впослѣдствіи доктринеры народности сдѣлали это явленіе еще болѣе печальнымъ: они думали найти здѣсь новый аргументъ противъ европеизма и втягивали народъ въ союзники своихъ теорій, воспитывавшихъ вредное самообольщеніе и приходившихъ къ прямому обскурантизму.

Къ сожалѣнію, вражда и недовѣріе народа къ новому образованію были весьма естественны. Образованіе (которое Петру приходилось навязывать насильно даже въ высшемъ сословіи) надолго осталось исключительной принадлежностью дворянства и вообще верхняго слоя (духовенство имѣло свое особое образованіе, уходившее очень недалеко); народъ, который былъ отъ него устраненъ, видѣлъ въ немъ только новыя бѣды: крѣпостное и чиновническое угнетеніе отъ „образованныхъ" людей приходилось еще тяжеле. Въ прежнемъ быту была еще возможна извѣстная простота патріархальныхъ нравовъ и привычекъ, которая дѣлала иго болѣе сноснымъ; теперь помѣщики и чиновничество, хотя и полуобразованные, несравненно больше отдѣлились отъ народа, и гнетъ ихъ сталъ невыносимъ. Для самой народной массы образованіе было почти недоступно: въ теченіе цѣлаго XVIII-го вѣка и до самаго уничтоженія крѣпостного права, образованіе было юридически закрыто для всего крѣпостного населенія; вслѣдствіе указанной антипатіи къ образованію, а также по недостатку школъ и по бѣдности, оно невозможно было и для некрѣпостного народа. Все это должно было страшно замедлять дѣло образованія: оно ограничивалось немногочисленнымъ высшимъ сословіемъ; у него отнималось множество силъ, какія могли бы быть доставлены народной средой, и примѣръ Ломоносова показываетъ, какого размѣра могли бывать эти силы; наконецъ, оно замедлялось до трудно измѣримой степени тою отрицательной силой, какую представляло невѣжество массы, — послѣднее составляло цѣлую стихію, на которую всегда могли опираться всякія реакціи обскурантизма.

Эти реакціи были, дѣйствительно, безпрестанны и также естественны. При Петрѣ реформа и забота объ образованіи были

дѣломъ правительственнымъ, и правительство не думало опасаться отъ него какихъ-нибудь неудобствъ: это образованіе, служившее только чисто государственнымъ нуждамъ, имѣло слишкомъ тѣсный практическій характеръ. Но уже вскорѣ являются, съ одной стороны, нѣкоторые признаки самостоятельнаго движенія въ обществѣ, а со стороны правительства опасенія вольнодумства. Еще при Петрѣ совершилось нѣсколько исторій подобнаго рода и начиналось преслѣдованіе вольнодумства въ религіозныхъ предметахъ. Впослѣдствіи, правительство, при пособіи духовенства, обращаетъ все больше вниманія на то, чтобы не проникали вредныя умствованія, въ числѣ которыхъ считалась и Коперникова система. Однимъ словомъ, первые признаки самостоятельной мысли, или первыя нѣсколько серьезныя заимствованія изъ иностранной литературы были уже встрѣчены недовѣріемъ, запрещеніемъ и преслѣдованіемъ. Дѣло образованія затруднилось новымъ препятствіемъ. Правительство желало образованія только до извѣстной степени, только для практически полезныхъ примѣненій; всякая мысль, которая расходилась съ принятыми правительственными и церковными взглядами, считалась „развратомъ“, какъ считался таковымъ и домашній расколъ. Не задумывались о томъ, отчего могли являться эти мысли, не считали возможнымъ, чтобы въ нихъ могла иной разъ быть и правда, и без разсужденій ихъ преслѣдовали. Не допускали и, вѣроятно, не понимали мысли, что наукѣ нуженъ свой просторъ, что она можетъ быть дѣйствительно производительной силой („насадить“ у насъ собственное знаніе) только при условіи извѣстной свободы; напротивъ, мало-по-малу составлялось и, наконецъ, къ нынѣшнему столѣтію (и здѣсь также не безъ европейскихъ указаній изъ реакціоннаго источника) крѣпко утвердилось понятіе, что науки бываютъ хорошія и дурныя, полезныя и вредныя, что первыя похвальны, а вторыя достойны истребленія. Бывали періоды, когда опасеніе и недовѣріе къ наукамъ, повидимому, проходили, какъ напр., въ началѣ царствованія Екатерины, въ началѣ царствованія Александра, но затѣмъ опасеніе возрождалось опять, и къ тому періоду, о которомъ мы будемъ говорить, предубѣжденіе противъ науки созрѣло вполнѣ и организовалось въ крайне подозрительную цензуру и въ преслѣдованіе всякихъ вольныхъ мыслей.

Это явленіе, какъ мы сказали, весьма понятно. Настоящая наука съ неизбѣжно для нея необходимой свободой мысли, не была признана у насъ никогда Реформа вводила къ намъ только прикладную науку, тѣ приложенія ея, которыя сочтены были необходимыми для матеріальной пользы государства, понимаемой

односторонне. Между тѣмъ, знакомство русскихъ образованныхъ людей съ западной литературой не могло не указать имъ и дѣйствительно свободной науки; въ русской литературѣ и въ обиходѣ понятій стали появляться мнѣнія, выходившія изъ свободной европейской мысли и никакъ не подходившія къ господствующему режиму. Послѣдній не допускалъ ни малѣйшаго признака свободнаго разсужденія, потому что въ руководящихъ кругахъ не было для этого достаточной образованности, которая одна могла бы показать всю естественность просыпающагося стремленія къ серьезной мысли, и одна могла бы внушить вниманіе къ ея попыткамъ. Но въ нашемъ XVIII вѣкѣ и послѣ не нашлось ни Іосифа, ни Фридриха, потому что имп. Екатерина, которая сначала пошла-было по этому пути, уже скоро оставила его и возвратилась къ системѣ временъ Анны и Елизаветы. Французская революція, которой бурныхъ событій не могли себѣ объяснить и приписывали тогда вліянію свободной французской философіи, послужила еще къ большему убѣжденію въ необходимости строгаго надзора; наши высшія сферы раздѣлили страхъ эмигрантовъ и ихъ ненависть къ новымъ идеямъ: подъ впечатлѣніемъ страшнаго переворота не хотѣли, да и не умѣли разграничить политическія страсти отъ теоретическаго изслѣдованія; всякая нѣсколько смѣлая и необычная мысль была сочтена за революціонное ученіе, и опасность революціи стали находить даже у насъ — въ обществѣ полу-младенческомъ. Это было, съ одной стороны, предчувствіе, что въ обществѣ зарождается какое-то новое движеніе, которое не хочетъ довольствоваться преданіемъ и данными рамками: по мнѣнію власти, авторитетъ ея оскорблялся этимъ притязаніемъ на независимость, и она съ негодованіемъ его преслѣдовала. Съ другой стороны, это былъ страхъ: наши перевороты XVIII-го столѣтія долго питали опасеніе тайныхъ интригъ и заговоровъ, а французская революція заставила бояться движеній самого общества. Во время Пугачевскаго бунта высказалось — очень скрытно — подозрѣніе придворной интриги; въ Радищевѣ и Новиковѣ увидѣли „французскую заразу“. Впослѣдствіи всякій признакъ либерализма въ литературѣ и въ наукѣ ставился въ связь съ революціею... Это предубѣжденіе противъ какой-нибудь свободы мысли и слова питали не только высшія сферы; громадное большинство слегка образованныхъ людей также было убѣждено въ истинѣ этого мнѣнія: для понятій патріархальныхъ, въ самомъ дѣлѣ, немыслима никакая критика. Наконецъ, это предубѣжденіе питалось еще мыслью, что оно согласно съ „духомъ нашего народа“: въ просто-

душномъ невѣжествѣ массы увидѣли подтвержденіе опасеній противъ науки, и свобода мысли сочтена была за нарушеніе національнаго преданія.

Такое воззрѣніе развилось вполнѣ въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ, когда послѣ первыхъ либеральныхъ годовъ царствованія Александра I снова явились опасенія вольнодумства и когда организовывалась цензурная практика. Оно удержалось и послѣ. Нетрудно себѣ представить, каково было его дѣйствіе на ходъ образованія. Господство этого воззрѣнія чрезвычайно задержало успѣхи нашего умственнаго развитія, во всѣхъ его видахъ и отрасляхъ. Если мы до сихъ поръ мало можемъ похвалиться нашимъ участіемъ въ европейской литературѣ и наукѣ, если нашей умственной силы едва хватаетъ для умѣреннаго домашняго обихода, если даже сильные умы и сильные таланты достигаютъ у насъ относительно немногаго, и рѣдко достигаютъ такъ-называемаго общечеловѣческаго интереса и значенія своихъ произведеній, въ этомъ, конечно, не малую долю имѣло тягостное стѣсненіе и отвлеченной научной мысли, и художественнаго творчества... Свобода мысли нигдѣ не получалась даромъ; вездѣ она была достигаема тяжкой борьбой съ предразсудками и суевѣріемъ и стоила жертвъ,—но нельзя не сказать и того, что въ нашихъ условіяхъ самое возникновеніе мысли было обставлено чрезвычайными трудностями, что эта мысль не находила опоры въ большомъ образованномъ кругѣ и была дѣломъ ничтожнаго меньшинства; литературѣ и наукѣ нужно было пробиваться черезъ толстую кору предразсудковъ и невѣжества, защищенныхъ всѣмъ авторитетомъ преданій нравовъ и учрежденій. Понятно, что эти усилія слишкомъ часто должны были оставаться безплодными, что отъ свободной мысли оставались цѣлы только отдѣльные обрывки, недосказанные и случайно проникавшіе въ умы и въ печать, а затѣмъ, изъ этихъ обрывковъ, въ грамотной массѣ расплožались непривычка къ послѣдовательной мысли, недодуманные выводы, сбитые въ сторону аргументы, всѣ эти признаки полуобразованности, издавна отличающіе наше общество. Наглядныя доказательства всему этому можетъ нѣкогда доставить правдивая исторія нашей цензуры за описываемое время, но и безъ того это видно по всему характеру литературы. Даже лучшіе писатели видѣли опасность въ свободѣ литературнаго слова: объ этомъ свидѣтельствуютъ, напр., статьи Пушкина о цензурѣ, о Радищевѣ, басня Крылова о сочинителѣ и разбойникѣ; члены „Арзамаса“ доносили на Полевого; школа Пушкина не понимала и считала вредной критику Бѣлинскаго..

Въ такихъ условіяхъ русская литература вступала въ тотъ періодъ, о которомъ мы намѣрены говорить; въ тѣхъ же условіяхъ она и проходила его. Общій характеръ развитія литературы остается прежнимъ, но движеніе распространяется шире въ обществѣ, становится серьезнѣе по содержанію; вмѣстѣ съ тѣмъ усиливается и реакція. Относительно теоретическаго содержанія, литературѣ предстояло продолжать ту же вѣковую задачу—усвоеніе результатовъ и пріемовъ европейской науки; въ дѣятельности поэтической—развитіе художественнаго творчества подъ вліяніями европейской мысли и поэзіи, и въ обоихъ отношеніяхъ стремленіе къ самостоятельности. Исполняя эту задачу, литература опять должна была бороться съ тѣми же препятствіями,—съ предубѣжденіями власти, съ равнодушіемъ и полуобразованностью общества, съ оффиціально обязательными преданіями.

Что движеніе нашей литературы и общественныхъ понятій дѣйствительно совершалось въ этомъ направленіи, въ этомъ нетрудно убѣдиться при нѣсколько внимательномъ взглядѣ на тѣ историческія видоизмѣненія, какія она проходила. Въ томъ, сначала очень небольшомъ, потомъ нѣсколько болѣе обширномъ кругѣ, гдѣ было извѣстное образованіе, наука и литература шли по слѣдамъ европейскаго движенія—насколько это было въ нашихъ условіяхъ возможно. Начиная съ Петра, когда впервые „насаждаемы были науки“ и когда, рядомъ съ тѣмъ, появилось первое протестантское вольнодумство, русская образованность постепенно воспринимала множество разныхъ вліяній, исходившихъ отъ современнаго европейскаго движенія. Такъ, въ теченіе прошлаго столѣтія являлась у насъ вольфіанская философія, масонскій піэтизмъ, французская философія и вольнодумство, реакція мечтательности и сантиментальности; такъ, теперь открываются романтическія вліянія, въ ихъ разныхъ видахъ, отъ религіознаго мистицизма до скептической разочарованности; въ связи съ романтизмомъ, у насъ, какъ въ Европѣ, начинается, съ одной стороны, либеральное движеніе, проявившееся въ тайныхъ обществахъ, и съ другой, правительственная реакція; въ другой связи съ романтизмомъ развивается изученіе народной старины и поэзіи, увлеченія „народностью“, затѣмъ шеллингова философія и гегельянство въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, наконецъ, фурьеризмъ и сенъ-симонизмъ... Достаточно пересчитать всѣ эти направленія, чтобы видѣть, какъ тѣсно умственные интересы нашего образованнаго общества примыкали къ тому, что дѣлалось въ Европѣ. Тѣ же вліянія присутствовали и въ той самой школѣ, которая выставляла своимъ знаменемъ вражду къ

Европѣ и русскую исключительную народность, — въ славянофильствѣ. Когда, наконецъ, пріобрѣтена была, лучшими умами сороковыхъ годовъ, извѣстная самостоятельность литературныхъ и общественныхъ идей, богатство европейской науки оставалось и остается для насъ указателемъ и источникомъ знанія, котораго у насъ все еще слишкомъ мало.

Итакъ, европейскія вліянія представляютъ въ нашей литературѣ явленіе постоянное. Необходимость ихъ становилась все болѣе настоятельной: нельзя было пріобрѣсти умственной и нравственно-общественной самостоятельности, не усвоивъ себѣ того матеріала знанія, какой былъ выработанъ раньше народами передовыми, т.-е. исторически раньше развившимися, и тѣмъ болѣе, что общество, не говоря о народѣ, было совершенно лишено политической жизни, которая бываетъ сильнымъ образующимъ средствомъ; самая потребность политическаго образованія приходила, въ образованномъ классѣ, путемъ изученія и вліяніемъ примѣровъ. Мы упоминали также, какъ поэтому несправедливы или, лучше сказать, исторически невѣрны, были обвиненія въ пустой подражательности, исходившія и отъ иностранцевъ, и отъ домашнихъ критиковъ, особенно отъ доктринеровъ народности: основаніе этой подражательности было совершенно разумное, а недостатки и крайности его были слѣдствіемъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, окружавшихъ умственную жизнь общества... Полнымъ оправданіемъ „подражательности" является то, что европейскія вліянія, при всемъ указанномъ выше стѣсненіи ихъ, становились существенной опорой нашего внутренняго развитія и путемъ къ самостоятельности. Заимствованіе и подражаніе, конечно, не имѣли достоинства самостоятельнаго труда, но они имѣли исторически-воспитательное значеніе. При крайне стѣсненномъ положеніи литературы и науки въ русской жизни, самое усвоеніе европейскихъ идей становилось болѣе труднымъ, чѣмъ можно было бы думать; даже въ образованномъ большинствѣ онѣ распространялись довольно туго, но отдѣльныя личности овладѣвали ими съ достаточной полнотой и, примѣняя ихъ, болѣе или менѣе самостоятельно, къ русскому содержанію, успѣвали достигать важныхъ результатовъ и для общаго просвѣщенія, и для уразумѣнія самой русской жизни. Умственный уровень несомнѣнно поднимался. Съ каждымъ направленіемъ, которое было пережито такимъ образомъ, наше умственное развитіе проходило историческій пунктъ, который былъ уже пройденъ въ европейскомъ развитіи, но еще не былъ извѣстенъ намъ. Многое въ этихъ направленіяхъ могло быть чуждо для насъ, но въ цѣломъ онѣ имѣли

логическую связь, и мы слѣдили въ нихъ за движеніями европейской мысли: это одно давало возможность стать когда-нибудь на ея уровнѣ.

Усвоеніе европейскаго знанія составляло одну сторону задачи; другая сторона состояла въ томъ, чтобы распространять пріобрѣтенное въ собственной средѣ: еще немыслимо было стараться о возвышеніи понятій въ цѣлой народной массѣ, потому что крѣпостныя условія дѣлали здѣсь образованіе совершенно невозможнымъ; надо было по крайней мѣрѣ поддержать дѣло образованія въ томъ слоѣ, гдѣ оно было возможно.

Нѣтъ сомнѣнія, что трудъ литературы, направленный въ этомъ смыслѣ, былъ бы гораздо значительнѣе, чѣмъ онъ былъ на дѣлѣ, еслибы дѣятельность ея имѣла бо́льшую свободу. Къ сожалѣнію, даже тѣ немногія наличныя силы, какія представлялъ наиболѣе развитой, научный и литературный классъ, едва могли дѣйствовать среди трудностей, окружавшихъ дѣло просвѣщенія. Еще при Александрѣ правительство открыто вступило на реакціонную дорогу; событія конца 1825 года надолго утвердили это направленіе, и послѣ 1848 года оно дошло до высшей степени нетерпимости. Господство строгой опеки отзывалось самымъ тяжелымъ образомъ на литературѣ и наукѣ, которыя, конечно, не представляли никакой опасности, и только къ концу періода пріобрѣтаютъ самостоятельныя силы въ небо́льшомъ кругѣ избранныхъ умовъ; неудобства опеки усиливались невѣжествомъ большинства исполнителей, для которыхъ умственные интересы общества казались забавой, или пустой, или опасной; полуобразованная масса общества думала почти такъ же; народъ не подозрѣвалъ существованія литературы.

Теоретическое содержаніе, которое предстояло усвоивать, распространять и разработывать литературѣ, опредѣлялось содержаніемъ европейской образованности. Вообще, это были, во-первыхъ, общіе результаты науки по разнымъ отраслямъ знанія, и затѣмъ примѣненіе ихъ къ дѣйствительной жизни и къ нравственно-общественному вопросу; идеальную цѣль литературы составляло достиженіе и распространеніе понятій объ истинныхъ требованіяхъ народнаго блага и истинномъ смыслѣ образованія, необходимость свободнаго критическаго изслѣдованія своей національной жизни въ ея прошедшемъ и настоящемъ (загадывалось, наконецъ, и будущее), необходимость отрицанія тѣхъ ея сторонъ, которыя не отвѣчали истинному народному благу, и стремленіе внушить разумное чувство человѣческаго и національнаго достоинства. Европейская жизнь переживала въ то время труд-

ный кризисъ. Броженіе, произведенное французской революціей, кончилось реакціей, которая всѣми средствами старалась возстановить прежній порядокъ вещей и на практикѣ, и въ идеяхъ. Но переворотъ былъ слишкомъ силенъ, чтобы можно было устранить его результаты: много старыхъ преданій безвозвратно потеряли кредитъ, и сами учители новѣйшаго консерватизма употребляли то оружіе, ту критику, какими пользовалось скептическое отрицаніе. У самыхъ рьяныхъ реакціонеровъ и обскурантовъ слышались революціонные аргументы и требованія: таковы бывали иногда де-Местръ или Галлеръ. Трудно было русскому обществу остаться въ сторонѣ отъ той борьбы, которая шла въ европейской жизни и стремилась выработать новые принципы общественные, политическіе и нравственные. Россія слишкомъ тѣсно связала себя съ европейскими интересами: и дружескія и враждебныя отношенія Россіи къ европейскому міру одинаково вовлекали ее въ упомянутую борьбу, гдѣ надо было стать на ту или на другую сторону. Событія второго десятилѣтія возбудили и у насъ общественное движеніе, которое еще болѣе сдѣлало европейскіе интересы близкими для образованныхъ людей нашего общества. Энтузіазмъ молодыхъ поколѣній Европы къ философскому и политическому освобожденію отразился у насъ возбужденіемъ двадцатыхъ годовъ. Новые идеалы, выставленные европейской мыслью и поэзіей, пріобрѣли для нашихъ поколѣній тѣмъ большую привлекательность, что умственная жизнь дома представляла слишкомъ скудную пищу. Подъ вліяніемъ этихъ идеаловъ, стали складываться самостоятельныя стремленія въ наукѣ и литературѣ, направляемыя и питаемыя самой русской жизнью.

Во второй четверти столѣтія является въ нашей общественной жизни новый лозунгъ, который вскорѣ послѣ своего появленія становится всеобщимъ. Это была *народность* — стремленіе, отчасти навѣянное западными движеніями, отчасти самостоятельное и только паралельное имъ. Въ Западной Европѣ періодъ послѣ Наполеоновскихъ войнъ отмѣченъ всеобщимъ порывомъ къ національности; пробужденное ненавистью къ иноземному Наполеоновскому игу, это чувство національности, кромѣ движеній политическихъ, выразилось и въ литературѣ стремленіемъ къ изученію народа, его быта и старины, и чрезъ это стоитъ съ связи съ романтизмомъ. По основной идеѣ, это движеніе имѣло демократическій смыслъ; литературный интересъ къ народу былъ признакомъ приближающейся общественной его роли, — такъ какъ онъ направлялъ вниманіе общества и на дѣйствительный народъ и разъяснялъ значеніе народной стихіи; но романтизмъ, въ своемъ

реакціонномъ толкованіи, давалъ и этому движенію консервативный поворотъ. У насъ чувство (если не идея) народности было возбуждено тѣми же событіями, усилилось подъ вліяніемъ европейской литературы и, понятое одними консервативно, другими прогрессивно, стало надолго центромъ, съ одной стороны, литературнаго развитія, съ другой—консервативной опеки. О народности говорилось въ документахъ, исходившихъ изъ правительственныхъ сферъ, о ней говорили самыя различныя партіи въ литературѣ. Но сходство лозунга не означало сходства понятій, которыя съ нимъ соединялись. Во-первыхъ, подъ народностью понимали оффиціальный status quo, который и хотѣли сдѣлать единственной существующей и допускаемой формой національной жизни. Такое представленіе господствовало вообще въ оффиціальномъ мірѣ и принималось на вѣру въ огромномъ большинствѣ общества. Но въ болѣе образованномъ меньшинствѣ составились другія мнѣнія, которыя можно свести къ двумъ главнымъ категоріямъ. Одни также привязаны были къ status quo, но съ иной стороны: они идеализировали народъ, представляли его жизнь какъ хранилище возвышенныхъ принциповъ, которые еще должны быть раскрыты и примѣнены къ жизни: развитіе должно было заключаться только въ изученіи этого хранилища, въ открытіи его идеи и распространеніи ея на всю національную жизнь, которая была будто бы нарушена и испорчена Петровской реформой. Другіе думали, что народность въ этомъ смыслѣ, т.-е. какъ совокупность народныхъ понятій, существующихъ въ настоящую минуту, во-первыхъ, быть можетъ, имѣетъ не совсѣмъ тотъ характеръ и содержаніе, какое ему обыкновенно приписывались, а во-вторыхъ, что она вовсе не составляетъ такого неприкосновеннаго и всеобъемлющаго кодекса, который разъ навсегда опредѣлялъ бы дальнѣйшій ходъ развитія, что, напротивъ, ей предстоитъ самой развиваться и совершенствоваться до высоты общечеловѣческаго содержанія, которое одно можетъ довершить ея достоинство и историческое значеніе.

Такимъ образомъ, сама народность была спорнымъ вопросомъ. Одни считали ее окончательно извѣстною, достигнутою и осуществленною; другіе видѣли ее только въ идеалѣ, и совершенно разными путями стремились къ ея открытію и разъясненію. Для всѣхъ народность означала самостоятельность, которую всѣ понимали различно. Одна изъ этихъ точекъ зрѣнія была оффиціальная, и въ этомъ смыслѣ неприкосновенная; но, сколько возможно, она также была введена въ теоретическую критику, и рѣзкій споръ между различными тенденціями показывалъ, что искомое еще не найдено. Оно едва ли найдено и до сихъ поръ...

Новое царствованіе, наступившее со второй четвертью столѣтія, внесло новый тонъ жизни: не было уже ни мечтательности, ни колебаній; ихъ смѣнила строго проводимая программа. Времена имп. Николая были новымъ періодомъ съ рѣзко опредѣленными чертами правительственной дѣятельности,—но историческая связь внутренняго развитія осталась. Политическое возбужденіе извѣстной доли общества двадцатыхъ годовъ, послѣ катастрофы 1825 года, прекратилось. Но жизнь, тѣмъ не менѣе, продолжала свое дѣло; она обошла это столкновеніе, и затѣмъ развитіе шло въ томъ же общемъ направленіи. Несмотря на отсутствіе прямого политическаго интереса, литература стала въ цѣломъ гораздо серьезнѣе и путемъ новыхъ изученій гораздо ближе подходила къ тому же общественному вопросу, который занималъ людей двадцатыхъ годовъ... Самая идея „народности", введенная, хотя въ смутныхъ чертахъ, въ оффиціальную программу, была невольнымъ наслѣдіемъ двадцатыхъ годовъ.

Въ нашей литературѣ не разъ высказывалось большое недовѣріе къ такъ-называемому нашему прогрессу, который очень часто преувеличивали у насъ выше мѣры и который, однако, не доставлялъ на дѣлѣ многихъ, иногда элементарныхъ понятій общественныхъ и литературныхъ. Въ настоящія минуты, когда много ожиданій и надеждъ не сбылось, и новыя пока трудно имѣть, этотъ скептицизмъ находитъ себѣ еще больше пищи: дѣйствительно, трудно не поддаться ему, когда оказывается безпрестанно, что преобразовательная идея не укладывается въ русской жизни, что изъ-за фактовъ, обѣщавшихъ внести въ нее новые живительные элементы, сквозитъ ограниченность и наглая грубость старыхъ нравовъ, когда при всемъ этомъ, очень мало и плохо думающее большинство и его многочисленные теперь органы въ литературѣ отличаются только хвастливой самонадѣянностью или просто желаютъ крѣпче затянуть узлы стараго общественнаго порядка [1]). Этотъ скептицизмъ, слѣдовательно, имѣетъ свои основанія: онъ видитъ мрачныя стороны въ положеніи вещей, и не мы будемъ его въ этомъ оспаривать. Но было бы ошибкой распространять этотъ скептицизмъ на цѣлое историческое движеніе общества. Наша исторія не богата личностями, которыя энергически вели бы дѣло общественнаго развитія, указывали ему путь, завоевывали ему право и средства, но и въ тѣ десятилѣтія, о которыхъ мы говоримъ, не было недостатка въ талантливыхъ людяхъ, которые хорошо понимали настоящее, ви-

[1]) Писано въ 1872 году.

дѣли его недостатки и протестовали противъ нихъ. Для тѣхъ, кто захотѣлъ бы слишкомъ легко смотрѣть на ходъ нашего общественнаго образованія и литературы, надо было бы вспомнить имена этихъ людей, которыя остаются свидѣтельствомъ благородныхъ усилій пробудить сознаніе общества и вывести его на лучшій путь въ самыя трудныя времена. Одинъ историкъ нашего общества указывалъ, сколькихъ тяжелыхъ жертвъ стоило это стремленіе лучшихъ силъ къ иному порядку, сколько талантовъ погибало у насъ на половинѣ или въ началѣ пути подъ гнетомъ нравовъ, не признававшихъ никакого права мысли, никакихъ стремленій къ лучшему, потому что лучшее почиталось найденнымъ. Эти жертвы говорятъ о трудности дѣла, о неодолимости препятствій, объ умственной вялости общества, но эти жертвы не были безплодны: ихъ трудъ сталъ нравственнымъ наслѣдіемъ и послужилъ руководствомъ и исходной точкой для людей, которые продолжали ихъ дѣло. Словомъ, наша литература представляетъ несомнѣнное историческое развитіе; быть можетъ, оно будетъ медленно, но его жизненные элементы не подлежатъ сомнѣнію.

Въ настоящихъ очеркахъ мы не имѣемъ въ виду полной исторіи литературныхъ мнѣній; мы хотѣли указать только нѣкоторые существенные пункты этой исторіи въ связи съ общественными понятіями. Такая полная исторія пока невозможна, потому что время еще слишкомъ близко, и мы просили бы читателя не сѣтовать на насъ, если въ изложеніи встрѣтится больше общихъ, чѣмъ прямыхъ реальныхъ указаній.

I.

РОМАНТИЗМЪ.—ЖУКОВСКІЙ.

Литературное явленіе, которое сдѣлалось непосредственнымъ предшественникомъ и исходнымъ пунктомъ движенія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ,—былъ романтизмъ. Направленіе, которому у насъ придавалось и придается это имя, можно начать хронологически со второго десятилѣтія и закончить съ появленіемъ главныхъ произведеній Гоголя. Двадцатые и тридцатые года—наиболѣе дѣятельное время этой школы.

Между самими романтиками существовали разнообразныя мнѣнія о томъ, что собственно есть и значитъ романтизмъ, который даже въ объясненіяхъ Бѣлинскаго [1]) остается очень неопредѣленнымъ. Эта неясность понятій о „романтизмѣ" показывала, что самое движеніе не представляло для современниковъ опредѣленнаго содержанія и цѣли: они взяли готовое слово изъ европейской литературы и прямо примѣнили его къ русской, предполагая въ немъ каждый свое значеніе. Одно было для нихъ ясно, что романтизмъ представлялъ собой новое литературное направленіе, спорившее съ застоявшимся классицизмомъ.

Не вдаваясь въ изложеніе достаточно извѣстнаго спора классиковъ съ романтиками, постараемся указать, какую связь имѣло это движеніе съ общественными понятіями и чѣмъ на нихъ отразилось.

По тогдашнимъ понятіямъ, главнѣйшими представителями нашего романтизма считались Жуковскій и Пушкинъ. У перваго, дѣйствительно, прежде всего являются тѣ поэтическіе мотивы, которые справедливо назвать романтическими, и онъ самъ считалъ

[1]) Сочин., т. VIII, стр. 153—188 и слѣд. (по изд. Солдатенкова).

себя отцомъ романтизма въ русской литературѣ [1]). Первыя произведенія Пушкина также носили несомнѣнно романтическій характеръ, и даже впослѣдствіи, когда его дѣятельность получила полную поэтическую самостоятельность, не только его друзья видѣли въ его произведеніяхъ торжество школы, которой сами были послѣдователями, но и самъ Пушкинъ думалъ, что онъ представляетъ эту школу; онъ полагалъ только, что ее не довольно понимаютъ, и опасался, что напр. въ „Борисѣ Годуновѣ" (гдѣ романтизмъ уже оканчивался) наша публика не сумѣетъ оцѣнить „истиннаго романтизма". Въ Пушкинѣ видѣли великаго національнаго поэта между прочимъ въ силу того, что въ романтизмѣ предполагалась также и „народность".

Жуковскій и Пушкинъ, занимавшіе господствующее положеніе въ литературѣ, остаются, въ своихъ различныхъ областяхъ, характеристическими представителями этого направленія. Въ ихъ отношеніи къ общественной дѣятельности, какъ оно выразилось въ ихъ произведеніяхъ, и въ ихъ практическомъ образѣ мыслей, мы увидимъ общественно-историческій характеръ этой школы, составляющей особую ступень въ умственномъ развитіи нашего общества — переходъ отъ элементарныхъ попытокъ образованности въ XVIII вѣкѣ къ критическому движенію тридцатыхъ годовъ.

Критики Жуковскаго [2]) не разъ указывали, что характеръ

---

[1]) Въ 1819 г. онъ пишетъ объ этой порѣ: „Я—во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ"...

[2]) Новѣйшее и наиболѣе полное изданіе: Сочиненія В. А. Жуковскаго. Съ портретомъ, гравированнымъ И. П. Пожалостинымъ. Изданіе восьмое, исправленное и дополненное, подъ редакціей П. А. Ефремова. Шесть томовъ. Спб. 1885.

Столѣтній юбилей рожденія Жуковскаго вызвалъ нѣсколько трудовъ по его біографіи и объясненію его сочиненій. Назовемъ, во-первыхъ, русское изданіе книги стараго друга Жуковскаго, К. К. Зейдлица, вышедшей прежде по-нѣмецки (Wassily Andrejewitsch Joukoffsky. Ein russisches Dichterleben, von Dr. Carl v. Seidlitz. Mitau 1870, и 2-е изд.).

— Жизнь и поэзія В. А. Жуковскаго, 1783—1852. По неизданнымъ источникамъ и личнымъ воспоминаніямъ К. К. Зейдлица, съ портретомъ поэта, факсимиле, письмами и съ предисловіемъ П. А. Висковатаго. Спб. 1883.

— В. А. Жуковскій и его произведенія, 1783—1883. Сочиненіе П. Загарина. Съ приложеніемъ 29 фотогравюръ, автографовъ и нотъ. Изданіе Льва Поливанова. М. 1883.

— Очеркъ жизни и поэзіи Жуковскаго. Составленный по поводу празднованія столѣтія со дня рожденія поэта Я. К. Гротомъ. Спб. 1883 (изъ „Сборника" II отд. Акад. Н., т. XXXII).

— В. А. Жуковскій. Чествованіе его памяти въ С.-Петербургѣ 29 и 30 января 1883 года. Изданіе Н. Н. Стояновскаго. Спб. 1883.

его поэзіи въ сильной степени зависѣлъ отъ его чисто личнаго настроенія, что онъ въ особенности долженъ быть названъ поэтомъ субъективнаго чувства. Въ самомъ дѣлѣ, личная судьба Жуковскаго играетъ несомнѣнно важную роль въ направленіи его поэзіи; несчастная любовь, обставленная исключительными условіями, гдѣ чувство усиливалось всей близостью родственной привязанности, эта любовь искала исхода въ меланхолическихъ мечтахъ, которыя стали непремѣннымъ спутникомъ поэзіи Жуковскаго. Это субъективное чувство до того владѣло поэтомъ, что новѣйшій біографъ могъ подтвердить присутствіе этого чувства почти непрерывнымъ рядомъ указаній въ его стихотвореніяхъ [1]). Жуковскій съ самаго начала былъ по преимуществу переводчикъ: онъ выбираетъ въ богатствѣ англійской и нѣмецкой литературы то, что наиболѣе отвѣчало его настроенію, видоизмѣняетъ по тому же настроенію свои оригиналы, въ собственныхъ произведеніяхъ повторяетъ тѣже меланхолическія темы.

Воспитаніе Жуковскаго и первыя его связи въ образованномъ и литературномъ кругѣ несомнѣнно оказали свое вліяніе въ смыслѣ мистическаго благочестія, задатки котораго, положенные еще въ это время, такъ сильно развились впослѣдствіи [2]). Въ московскомъ университетѣ еще дѣйствовали члены „Дружескаго Общества"; Жуковскій былъ въ тѣсной дружбѣ съ домомъ Тургеневыхъ, въ близкихъ связяхъ съ Лопухинымъ, въ извѣстныхъ отношеніяхъ къ Карамзину. Эти связи привили ему тѣ сантиментально-благочестивыя наклонности, которыя такъ отвѣчали его природной мягкости и такъ способны были питать меланхолію.

Но при всемъ субъективномъ характерѣ, мечтательная поэзія Жуковскаго имѣла свое историческое значеніе. Его мистицизмъ былъ особаго рода, какого еще не знала русская литература, именно романтическій.

— В. А. Жуковскій (1783—1852). Первые годы его жизни и поэтической дѣятельности (1783—1816). А. Архангельскаго. Казань. 1883.

— Бумаги В. А. Жуковскаго, поступившія въ Имп. Публ. Библіотеку въ 1884 году. Разобраны и описаны Ив. Бычковымъ. Спб. 1887 (изъ „Отчета" Б-ки за 1884 г.).

Изъ прежней литературы о Жуковскомъ напомнимъ:

— Бѣлинскаго, „Сочиненія", особливо во 2-й ст. о Пушкинѣ (1843), т. VIII, стр. 136—258.

— Плетнева (1852). „Сочиненія и Переписка", изд. Грота. Спб. 1885, т. III, стр. 1—148.

[1]) Біографія Зейдлица.

[2]) Ср. Р. Арх. 1870, стр. 1237.

Выступая на литературное поприще, Жуковскій едва ли думалъ производить реформу въ литературѣ и едва ли имѣлъ для того какіе-нибудь ясные планы. Онъ хотѣлъ распространять любовь къ просвѣщенію и поэзіи, доказывалъ ихъ важность для нравственнаго благополучія человѣка; просвѣщеніе понималъ онъ главнымъ образомъ въ смыслѣ нравоученія, поэзію какъ наставительницу людей въ добродѣтели и религіозномъ смиреніи — въ этихъ темахъ онъ прежде всего продолжалъ Карамзина; его журнальные пріемы въ „Вѣстникѣ Европы“ и точка зрѣнія мало отличались отъ карамзинскихъ. Какъ въ свое время Карамзинъ, Жуковскій былъ одинъ изъ писателей нашихъ, самыхъ начитанныхъ въ европейской (поэтической) литературѣ и, изучая ее, онъ, наконецъ, встрѣтилъ въ ней новую, прежде незнакомую струю, которая оказала на него свое вліяніе тѣмъ больше, что множество произведеній этой литературы какъ нельзя лучше подходили къ его личному упомянутому настроенію. Европейскій источникъ, — какъ это часто повторялось въ нашей литературѣ, — давалъ не только то, чего въ немъ прямо искали, но и то, что было для нашей литературы совершенно ново. Европейская литература, изъ клочковъ которой составился нашъ старый псевдо-классицизмъ, дала и оружіе для его уничтоженія, и опять сдѣлалась источникомъ заимствованій уже въ иномъ смыслѣ.

Романтизмъ европейскій возобладалъ въ нашей литературѣ почти также, какъ въ свое время псевдо-классицизмъ. Направленіе, новое и по содержанію, и по формѣ, нравилось теперь тѣмъ больше, что старая школа выродилась и превратилась въ скучную рутину, которой наконецъ, не помогали никакія усилія остававшихся талантовъ, хотя и талантовъ было немного. Торжественная, казенная ода, трагедія или комедія съ тройнымъ единствомъ и копированіемъ французскихъ пьесъ становились невозможны. Дмитріевъ, совершеннѣйшій классикъ, уже подтруниваетъ надъ классицизмомъ и рискуетъ на легкій разсказъ во французскомъ вкусѣ, находившій похвалы у Пушкина. Понятно, что европейскій романтизмъ съ его новымъ содержаніемъ, съ его разнообразіемъ болѣе свободныхъ формъ, принятъ былъ какъ усовершенствованіе литературы и новый путь къ ея успѣхамъ.

Что же нашла въ немъ наша литература?

То движеніе, которое разумѣлось потомъ подъ сборнымъ именемъ романтизма, было явленіе очень сложное, въ разныхъ литературахъ вызванное разными потребностями и сложившееся въ разныя формы. Начало его кроется еще въ томъ возбужденіи умовъ, которое наполняетъ вторую половину XVIII-го вѣка. По-

литическое, умственное и религіозное броженіе этого времени заключало въ себѣ и революціонные элементы, которые сказались французскимъ переворотомъ и всѣми его отраженіями въ Европѣ, и элементы реакціи. Скептическая философія, политическія изслѣдованія, смѣлые протесты и порывы литературы заявляли о требованіяхъ времени задолго до самаго переворота. Недовольство старымъ порядкомъ вещей и исканіе новаго обнаруживались самыми разнообразными стремленіями: рядомъ съ Вольтеромъ и энциклопедистами дѣйствовалъ мечтатель Руссо; вмѣстѣ съ сухимъ скептицизмомъ высказывались идеалистическія увлеченія; ожиданія общественныхъ преобразованій были очень различны уже въ то самое время, и въ дальнѣйшемъ развитіи, подъ вліяніемъ событій, изъ этого броженія могли выйти самые несходные результаты. Переворотъ охватилъ своими послѣдствіями всю Европу, вовлекъ въ борьбу всѣ ея прогрессивныя и консервативныя силы, и когда буря улеглась, наступившій „порядокъ" уже не былъ похожъ на прежній. Реставрація желала возстановить старый міръ учрежденій и понятій; усталыя общества не думали о новой борьбѣ, но многое было уже пріобрѣтено, и разъ поставленные вопросы не были забыты. Романтизмъ, въ которомъ собрались отраженія тогдашняго смутнаго состоянія умовъ, заключалъ въ себѣ поэтому много умственной и нравственной усталости, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ воспринималъ прогрессивныя идеи и возбужденія прошлаго вѣка; онъ порывался къ созданію идеаловъ нравственныхъ и соціальныхъ, новыхъ началъ, которыя могли бы облагородить и возвысить жизнь личную и общественную. Время было слишкомъ неблагопріятно для подобныхъ построеній: событія должны были разочаровать тѣхъ, кто ждалъ отъ нихъ обновленія общества, потому что обновленіе не совершилось въ томъ видѣ, какъ его ожидали, и современникамъ изъ-за настоящей реакціи не были видны всѣ историческія пріобрѣтенія; но среди самаго тяжелаго гнета вырабатывалось болѣе глубокое движеніе, и рядомъ съ попытками оправдать реакціонный застой, на которомъ успокоивалась одна часть общества, возникали начала новой философіи и новой поэзіи.

Романтизмъ, развивая результаты восемнадцатаго вѣка и создавая свои теоріи подъ вліяніемъ времени, представлялъ такимъ образомъ массу противорѣчій и, переходя изъ общихъ понятій въ жизнь и литературу, служилъ и для плодотворнаго научнаго и литературнаго развитія, и для озлобленнаго обскурантизма. Такъ, если взять нѣсколько примѣровъ, мысль о нравственномъ единствѣ человѣчества, выставленная нѣкогда Гердеромъ и раз-

витая по-своему въ романтизмѣ, чрезвычайно расширяла научные и поэтическіе интересы; желаніе изучить проявленія человѣческаго духа повело къ неизвѣстному прежде изслѣдованію всеобщей литературы и исторіи и къ обширнымъ переводнымъ предпріятіямъ (особенно у нѣмцевъ), которыя сильно раздвинули область литературнаго знанія и практически истребляли всякіе старые литературные предразсудки. Такъ, изученіе древности, у Лессинга и Винкельмана, распространенное романтизмомъ, давало понятію объ искусствѣ такую широту, какой оно никогда не имѣло прежде, и дало начало новѣйшей эстетической критикѣ. Такъ, влеченіе къ идеализированной старинѣ, внушенное потребностью найти единство жизни и идеала, чрезвычайно подвинуло и изученіе дѣйствительной старины и народной жизни; такъ, вообще данъ былъ сильный толчекъ самому разнообразному историческому и этнографическому изученію народностей, которое впослѣдствіи послужило и для соціальнаго вопроса о народѣ. Но, съ другой стороны, въ этомъ движеніи недоставало реальнаго пониманія жизни; мысль нерѣдко теряла инстинктъ дѣйствительности, и въ результатѣ является длинный рядъ странныхъ заблужденій и самообольщеній. Реакція противъ такъ-называемой „сухой разсудочности“ прошлаго вѣка уже тогда производила сильную наклонность къ мистикѣ, къ піэтизму, къ вѣрѣ во всякія сверхъестественности и чудеса; когда одни въ средневѣковой старинѣ восхищались наивной вѣрой и народной поэзіей, другіе находили политическій и церковный идеалъ въ феодализмѣ и папствѣ и мечтали объ ихъ возрожденіи; поэтическій идеализмъ переходилъ въ необузданныя увлеченія фантазіи, преувеличенныя понятія о свободѣ поэтическаго генія, оставившія столько странныхъ слѣдовъ въ литературѣ. Реакціонныя черты романтизма высказались уже очень рано; своего полнаго господства онѣ достигли съ реставраціей, когда построены были цѣлыя политическія теоріи, практическій смыслъ которыхъ велъ къ возстановленію (сколько возможно) стараго феодализма, старой церкви и къ основанію новой полиціи. Поэтическій теоретикъ романтизма, Шлегель, былъ въ то же время и политическимъ теоретикомъ реакціи.

Мы скажемъ дальше о другой сторонѣ романтизма, гдѣ онъ принялъ совсѣмъ иное направленіе, гдѣ политическія разочарованія давали новую силу мечтамъ о народной свободѣ, порождали демократическій энтузіазмъ и озлобленіе противъ настоящаго.

Подъ вліяніемъ политической реставраціи во Франціи и Германіи и преслѣдованія освободительныхъ идей, обскурантизмъ и реакція, или наклонность къ союзу съ ними стали господствую-

щимъ характеромъ романтизма. До какой степени этотъ романтизмъ сталъ ненавистенъ въ Германіи для слѣдующихъ поколѣній, можно видѣть изъ остроумной его исторіи у Гейне.

Мы указали здѣсь лишь нѣкоторыя черты, съ которыми соприкасалась въ романтизмѣ наша литература. Національная жизнь и исторія придавали ему особый характеръ въ Германіи, Англіи, Франціи, и эти частныя направленія отражались опять въ нашей литературѣ, раньше или позже. Подчиняясь полу-сознательно вліянію романтическаго европейскаго движенія, наша литература успѣла тогда усвоить и нѣкоторыя хорошія и особенно слабыя его стороны. При своей общей неопытности, она не могла въ должной мѣрѣ воспринять того, что романтизмъ могъ представить живого и развивающаго; она не могла понять какъ слѣдуетъ ни вражды романтизма къ старому скептицизму,—потому что и съ послѣднимъ была мало знакома,—ни его протестовъ, которые бывали мало понятны (какъ у Байрона), ни научныхъ стремленій (археологическій романтизмъ Гримма и его школы, имѣвшій громадное вліяніе на изученіе народности, былъ замѣченъ и усвоенъ только слѣдующимъ литературнымъ поколѣніемъ). Наша литература, по обыкновенію, эклектически заимствовалась понемногу разными элементами романтизма и главнымъ образомъ, конечно, тѣмъ, что отвѣчало ея уровню и ближайшимъ потребностямъ.

Итакъ, Жуковскій, усваивая нашей литературѣ отголоски романтической поэзіи, не имѣлъ въ виду какой-либо реформы, а хотѣлъ только продолжать начатое Карамзинымъ; и дѣйствительно въ ихъ нравственно-идеалистическихъ темахъ было очень много общаго. Разница была въ томъ, что въ то время, какъ Карамзинъ въ своей журнальной дѣятельности былъ гораздо болѣе разнообразнымъ популяризаторомъ, Жуковскій, по свойству своего таланта, ограничился почти исключительно поэтическою областью. Отыскивая въ европейской литературѣ сочувственные ему мотивы, Жуковскій передавалъ ихъ въ своихъ переводахъ и подражаніяхъ съ такимъ мастерствомъ, которое уже скоро поставило его во главѣ новаго поэтическаго направленія. Старая школа не признавала уже и Карамзина. Жуковскій тѣмъ больше возбуждалъ ея антипатію. Старая школа возмущалась и иногда подсмѣивалась надъ мрачной поэзіей, преисполненной меланхоліи, духовъ, видѣній и мертвецовъ. Ея опасеніе было вѣрно, потому что новая поэзія дѣйствительно подкапывала авторитетъ старой безвозвратно. Значеніе новой школы состояло именно въ томъ, что она, во-первыхъ, расширяла понятія о поэзіи и ея область, и, во-вто-

рыхъ, вносила въ содержаніе русскаго стихотворства дотолѣ мало извѣстный ему міръ ощущеній внутренней жизни; въ меланхолическомъ тонѣ поэзіи Жуковскаго высказывалась мягкая человѣчность, задушевное чувство, возвышенные нравственные идеалы. Этотъ путь былъ уже частію открытъ сантиментальностью карамзинскаго направленія; но тамъ было еще слишкомъ много натянутой искусственности, потребность чувства переходила въ плаксивость или приторную чувствительность, напоминавшую о розовой тетрадкѣ аббата временъ стараго режима, — у Жуковскаго это чувство, правда слишкомъ односторонне меланхолическое, выражалось съ такой полной искренностью, и являлось въ такой дѣйствительно изящной формѣ, что здѣсь поэзія внутренняго чувства вполнѣ вступала въ свои права. Поэтическій инстинктъ указалъ Жуковскому иныхъ руководителей въ европейской литературѣ: онъ еще переводилъ, правда, Флоріана, Томсона, Клопштока, Маттисона, которые были уже знакомы, но затѣмъ онъ впервые водворяетъ въ русской литературѣ корифеевъ европейской литературы, въ особенности писателей англійскихъ (Грей, Драйденъ, Саути, Гольдсмитъ, потомъ Томасъ Муръ, В. Скоттъ, Байронъ) и нѣмецкихъ (Гёте, Шиллеръ, Уландъ, Гебель, Кёрнеръ, Ламоттъ-Фуке, потомъ Цедлицъ, Гальмъ, Рюккертъ, Гриммъ, Шамиссо). Восторгъ современниковъ показываетъ, какъ сильно было впечатлѣніе новой поэзіи особенно въ молодыхъ поколѣніяхъ.

Вліяніе этой поэзіи, безъ сомнѣнія, было во многихъ отношеніяхъ благотворное. Жуковскій, согласно съ стремленіями романтиковъ, хотѣлъ сдѣлать поэзію высшимъ руководящимъ принципомъ жизни: „поэзія есть добродѣтель", — онъ проповѣдовалъ любовь къ добру и истинѣ, пробуждалъ внутреннюю жизнь чувства, внушалъ гуманное отношеніе къ людямъ; господствующій меланхолическій оттѣнокъ долженъ былъ имѣть большую привлекательность для тѣхъ, въ комъ, среди грубаго общества, возникали лучшіе, болѣе человѣчные инстинкты.

Въ этомъ, такъ-сказать, воспитательномъ дѣйствіи состоитъ значеніе поэзіи Жуковскаго; она была очень далека отъ собственно общественнаго содержанія. Жуковскій очень рѣдко обращался къ дѣйствительной жизни, совершавшейся вокругъ него. Однажды, въ 1812 году, онъ явился выразителемъ общаго патріотическаго возбужденія. „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ", исполненный искреннимъ поэтическимъ одушевленіемъ, произвелъ сильное впечатлѣніе. Но до какой степени за этимъ патріотическимъ настроеніемъ отсутствовало чувство прямой дѣйствительности,—можно видѣть изъ того, что даже въ изображеніи націо-

нальной борьбы Жуковскій счелъ нужнымъ одѣть своихъ соотечественниковъ въ древніе или средневѣковые костюмы, вооружить ихъ, вмѣсто ружей и пушекъ, щитами и копьями и т. п., и событія вызвали въ немъ только обыкновенныя размышленія о тщетѣ земного счастія, о горести утратъ, о добродѣтели. Его мораль и здѣсь приняла оттѣнокъ романтической печали, и поэзія осталась далека отъ настоящей дѣйствительности. Если мы будемъ затѣмъ искать въ произведеніяхъ Жуковскаго какихъ-либо обращеній къ непосредственной жизни, мы найдемъ еще два разряда стихотвореній — во-первыхъ, писанныя на разные случаи придворной жизни и адресованныя къ лицамъ императорской фамиліи, и во-вторыхъ, дружескія „посланія“ и стихотворенія альбомнаго свойства.

Жуковскій могъ, конечно, остаться чуждымъ вмѣшательства въ общественные вопросы, за нимъ была его поэтическая спеціальность и великая заслуга въ формальномъ развитіи литературы, освобожденіи ея отъ условныхъ и отжившихъ формъ; по своему содержанію онъ имѣлъ благотворное воспитательное значеніе тѣми человѣчными идеями и чувствами, какія высказывала его поэзія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представляетъ собой характеристическій примѣръ разлада романтизма съ простою дѣйствительностью, потому что за его отвлеченной меланхоліей сказывалось равнодушное, если не враждебное отношеніе къ непосредственнымъ жизненнымъ интересамъ и борьбѣ общества. Нѣкоторые изъ современниковъ даже находили вреднымъ вліяніе его слишкомъ изобильнаго мистицизма [1]).

Жуковскій долго еще потомъ работалъ для русской литературы и обогатилъ ее своими переводными трудами, но уже не прибавилъ ничего къ тому содержанію, какое было дано въ первомъ періодѣ его дѣятельности. Его содержаніе отвѣчало эпохѣ, непосредственно слѣдовавшей за Карамзинымъ, для перваго и второго десятилѣтія нашего вѣка; но онъ остался внѣ движенія, происходившаго съ этихъ поръ. Содержаніе европейскаго романтизма, въ которомъ онъ вращался, было гораздо шире, но Жу-

[1]) Слова Рылѣева въ письмѣ къ Пушкину. Отдавъ справедливость чисто литературной заслугѣ Жуковскаго, Рылѣевъ продолжаетъ: „Къ несчастію, вліяніе его на духъ нашей словесности было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣлали. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами своими изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ? Это болѣе можетъ упрочить славу его“.

ковскій бралъ въ его кругѣ лишь немногое, что̀ отвѣчало его сантиментальнымъ наклонностямъ, а къ другому оставался равнодушнымъ или чувствовалъ антипатію [1]). Непониманіе Гамлета, котораго Жуковскій называлъ еще въ 1821 году „чудовищемъ“ и „чудеснымъ уродомъ“ [2]), есть только одинъ изъ многихъ примѣровъ этой односторонности взгляда, которой вовсе не было у романтиковъ англійскихъ или нѣмецкихъ, для которыхъ, какъ извѣстно, Шекспиръ былъ предметомъ поклоненія. Это непониманіе объясняется у Жуковскаго общей односторонностью его романтической области: широкая картина волненій человѣческой души и внутренней борьбы, сомнѣніе, отрицаніе инстинктивно отталкивали его, потому что въ концѣ концовъ они грозили его собственному, мягко сантиментальному міровоззрѣнію. Также мало онъ понималъ и энергическій скептицизмъ Байрона; послѣ „Шильонскаго узника“, онъ уже не возвращался къ нему, —потому что и трудно было бы ему найти въ немъ сочувственные мотивы. Если онъ въ письмахъ къ Гоголю (1847—1848) высказываетъ свой ужасъ къ отрицающей поэзіи Байрона и другого, не названнаго имъ поэта, въ которомъ надо видѣть Гейне, —это была давнишняя точка зрѣнія, которая теперь высказалась только во всей полнотѣ [3]). Жуковскій, наконецъ, раская-

---

[1]) Наша критика уже давно замѣтила эти ограниченные размѣры поэтическихъ заимствованій Жуковскаго. „Не должно полагать, — говорилъ еще Полевой,—чтобы Жуковскій глубоко проникалъ тогда въ сущность германской и англійской поэзіи. Онъ самъ признается, что Гамлета почитаетъ чудовищнымъ, уродливымъ произведеніемъ. Также не могъ онъ постигнуть глубины Гёте, и даже вдохновителя и любимца своего Шиллера“... „Ни Жуковскій, и никто изъ товарищей и послѣдователей его не подозрѣвали, что они пустились въ океанъ безпредѣльный. Оптическій обманъ представлялъ имъ берега вблизи. Срывая вѣтки въ безмѣрномъ саду Гёте и Шиллера, они думали, что переносятъ въ русскую поэзію цѣлый садъ этотъ“ (Оч. Рус. Литер., I, стр. 112, 114).

[2]) Соч. Жук., изд. 8-е, V, стр. 441.

[3]) Указавъ, „съ благодарностью сердца“, въ образецъ истинной поэзіи на Вальтеръ-Скотта и Карамзина, Жуковскій продолжаетъ:

„Съ другой стороны, обратимъ взоръ на Байрона — духъ высокій, могучій, но духъ отрицанія, гордости и сомнѣнія. Его геній имѣетъ прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающаго своимъ помраченнымъ величіемъ; но у Мильтона эта прелесть не иное что, какъ поэтическій образъ, только увеселяющій воображеніе, а въ Байронѣ она есть сила, стремительно влекущая насъ въ бездну сатанинскаго паденія.

„Но что сказать о... (я не назову его, но тѣмъ для него хуже, если онъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ изображеніи), что сказать объ этомъ хулителѣ всякой святыни, которой откровеніе такъ напрасно было ему ниспослано въ его поэтическомъ дарованіи и въ томъ чародѣйномъ могуществѣ слова, котораго можетъ быть ни одинъ изъ писателей Германіи не имѣлъ въ такой силѣ! Это уже не судьба, раз-

вался и въ томъ невинномъ романтизмѣ, который онъ нѣкогда вводилъ въ русскую литературу. Въ письмѣ къ извѣстному Стурдзѣ (въ 1849 году), говоря о своемъ переводѣ Одиссеи, онъ замѣчаетъ полу-шутя и полу-серьезно, что наградой ему за этотъ трудъ будетъ: „сладостная мысль, что я (во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ) подъ старость загладилъ свой грѣхъ"... Но и въ тѣ времена, и послѣ Жуковскій одинаково не понималъ и не любилъ той поэзіи, которая выходила за предѣлы его спеціальности, которая обращалась къ реальной жизни, вмѣшивалась въ борьбу идей, приходила къ сомнѣнію и отрицанію. Жуковскій отступилъ передъ ней...

Жуковскій чуждался вопросовъ, волновавшихъ жизнь, не только какъ поэтъ, но и какъ человѣкъ. Въ свое время онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ „Арзамаса", въ которомъ собирались писатели этой первой романтической школы и друзья, раздѣлявшіе ихъ мнѣнія. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что общественный индифферентизмъ составлялъ существенную черту Арзамаса. Въ личныхъ отношеніяхъ Жуковскій отличался многими привлекательными свойствами: искренняя любовь къ людямъ составляла черту его характера; у него было много истиннаго добродушія, готовности помогать бѣдствующимъ, даже когда это бывало не совсѣмъ удобно; наконецъ, его юношеская веселость въ дружескомъ кругу очень не походила на его унылую поэзію и на мрачную обстановку изъ могильныхъ картинъ, которой онъ окружалъ себя дома [1])... Друзья находили, что, когда Жуковскій получилъ свое извѣстное назначеніе при дворѣ, поэтъ началъ скрываться въ придворномъ, и Пушкинъ передѣлалъ въ эпиграмму его стихотвореніе о „бѣдномъ пѣвцѣ" [2]); —но извѣстно, что и придворное положеніе не останавливало

рушившая бѣдствіями душу высокую и произведшая въ ней бунтъ противъ испытующаго Бога, это не падшій ангелъ свѣта, въ упоеніи гордости отрицающій то, что знаетъ и чему не можетъ не вѣрить—это свободный собиратель и провозгласитель всего низкаго, отвратительнаго и развратнаго, ...это — презрѣніе всякой святыни и циническое, безстыдно дерзкое противу нея богохульство, дабы, оскорбивъ всѣхъ, кому она драгоцѣнна, угодить всѣмъ поклонникамъ разврата, это вызовъ на буйство, на невѣріе, на угожденіе чувственности, на разнузданіе всѣхъ страстей, на отрицаніе всякой власти", и проч. (Сочин. VI, 101—102).

[1]) См. въ письмахъ Ив. Кирѣевскаго.

[2]) Дмитріевъ пишетъ въ 1818 г. къ А. И. Тургеневу: „Ревность друзей его (Жуковскаго) почти достигла своей цѣли: кажется, поэтъ, мало-по-малу, превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его" (Р. Арх. 1867, стр. 1092).

иногда смѣлыхъ заступничествъ Жуковскаго. И въ раннюю пору и впослѣдствіи онъ собственнымъ примѣромъ возбуждалъ друзей къ лучшимъ дѣламъ филантропіи: такъ, онъ хлопоталъ о поэтѣ Мещевскомъ, или впослѣдствіи о Шевченкѣ и ф.-д.-Бриггенѣ; такъ, въ 1822 году, вернувшись изъ-за границы, и повидимому, подъ свѣжимъ вліяніемъ европейскихъ нравовъ и Шиллера [1]), онъ освободилъ нѣсколькихъ, принадлежавшихъ ему крестьянъ; такъ, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, онъ, въ письмахъ къ нѣкоторымъ высокопоставленнымъ лицамъ, говорилъ объ умѣренности, о „самоотверженіи власти" и ея обязанностяхъ,— но его общественная мысль оставалась всегда глубоко консервативной и не развилась у него до критическаго отношенія къ дѣйствительности.

Ему не удавались и рѣшенія отвлеченныхъ вопросовъ. По характеру его образованія, его интересы были исключительно литературные и гуманистическіе. Около 1830 года, по словамъ біографа, онъ возымѣлъ наклонность къ натуръ-философіи, въ смыслѣ Гумбольдтова „Космоса" [2])—вслѣдствіе лекцій петербургскаго академика Триніуса, читанныхъ имъ при дворѣ; но продолженіе лекцій было запрещено, и Жуковскій не пошелъ дальше въ этомъ направленіи. Остался небольшой слѣдъ этой попытки въ его статьѣ „Взглядъ на землю съ неба", гдѣ онъ употребилъ натуръ-философскія подробности въ изложеніи своего романтическаго благочестія.

Не мудрено, что Жуковскій, съ самаго начала чуждый критическаго взгляда, не понималъ послѣдующаго движенія литературы и совершавшихся событій. Его взгляды больше и больше склонялись къ сантиментальному піэтизму: въ періодъ своей послѣдней заграничной жизни, онъ подъ вліяніемъ личныхъ связей вошелъ въ кругъ піэтистовъ, въ которомъ чувствовалъ себя тяжело, но изъ котораго уже не въ силахъ былъ выйти. Соотвѣтственно съ этимъ, установились и его понятія политическія. Когда на его глазахъ происходили событія 1848 года, онъ не увидѣлъ въ нихъ ничего кромѣ наглаго буйства черни и развратныхъ людей: и все развитіе политическихъ идей, даже все развитіе европейской образованности и цивилизаціи казались ему только постояннымъ приближеніемъ Европы къ послѣдней гибели [3]).

---

[1]) Seidlitz, стр. 111.

[2]) Seidlitz, стр. 159.

[3]) Вотъ, напр., образчикъ его историческихъ выводовъ: „Оглянувшись на Западъ теперешней Европы, что увидимъ? Дерзкое непризнаніе участія Всевышней

Такъ онъ судилъ о событіяхъ 1848 года въ Германіи. „Какой тифусъ взбѣсилъ всѣ народы и какой параличъ сбилъ съ ногъ всѣ правительства!“ восклицаетъ онъ въ томъ же письмѣ къ кн. Вяземскому, изъ котораго мы приводимъ выписку въ примѣчаніи. Взглядъ Жуковскаго на революціонныя событія не былъ бы удивителенъ въ человѣкѣ всегдашнихъ монархическихъ мнѣній; но любопытно, что долгая жизнь его въ этой самой Германіи нимало не объяснила ему движенія, хотя самъ *сознаетъ*, что народы были *обмануты* [1]. Несмотря на это, онъ не нахо-

власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живого? Какое человѣческое благо можетъ быть построено на такомъ фундаментѣ? Вѣра въ *святое* исчезла — печальный результатъ *реформаціи*, которая, сама будучи результатомъ предшествовавшаго, есть самый видимый пунктъ, съ котораго можно преслѣдовать постепенный ходъ и развитіе теперешняго. Неотрицаемо, что реформація произвела великое движеніе умственное, изъ котораго, наконецъ, вышла гражданственность, или такъ-называемая цивилизація нашего времени“.

Но существенный результатъ реформаціи былъ чрезвычайно вреденъ. „Первый шагъ реформація рѣшилъ судьбу европейскаго міра“, — вмѣсто злоупотребленій, она разрушила самый авторитетъ церкви.

„Реформація взбунтовала противъ ея неподсудимости демократическій умъ, давъ право повѣрять Откровеніе, она поколебала вѣру, а съ нею и все святое. Это святое замѣнилось языческою мудростію древнихъ; родился духъ противорѣчія; начался мятежъ противъ всякой власти, какъ божественной, такъ и человѣческой. Этотъ мятежъ пошелъ двумя дорогами; на *первой* уничтоженіе авторитета церкви произвело *раціонализмъ* (отверженіе божественности Христа), отсюда *пантеизмъ* (уничтоженіе личности Бога), въ заключеніе *атеизмъ* (отверженіе бытія Божія); на *другой* понятіе о власти державной, происходящей отъ Бога, уступило понятію о *договорѣ общественномъ*, изъ него самодержавіе народа, котораго первая степень *представительная монархія*, вторая степень *демократія*, третья степень *соціализмъ* и *коммунизмъ*; можетъ быть и четвертая, послѣдняя степень: *уничтоженіе семейства*, а вслѣдствіе того низведеніе человѣчества, освобожденнаго отъ всякой обязанности, ограничивающей чѣмъ-либо его личную независимость, въ достоинство совершенно свободнаго *скотства*. Итакъ, два пункта, къ которымъ ведутъ и отчасти уже привели сіи двѣ дороги: съ одной стороны, самодержавіе ума человѣческаго и уничтоженіе царства Божія, съ другой — владычество всѣхъ и каждаго и уничтоженіе общества. Между сими двумя крайностями бытія теперь и выбивается изъ силъ образованность западной Европы“ (Соч. VI, 165—166).

[1]) Вотъ его слова: „Безпрестанно повторяютъ (т.-е. въ Германіи, во время смутъ 1848 года): мы тридцать три года терпѣли; обѣщанное намъ не исполнено; нами ругались; мы были притѣснены; всѣ наши требованія были съ презрѣніемъ отвергнуты. Къ несчастію, эти *обвинительные крики основаны на истинѣ*; государи Германіи остались въ долгу у своихъ народовъ“. „И главная вина ихъ состоитъ, — по мнѣнію Жуковскаго, — менѣе въ томъ, что они этого долга не заплатили, нежели въ томъ, что они *не оказали надлежащей рѣшительности въ его признаніи*“, и пр. (Соч. VI, стр. 154, прим.).

дить словъ для выраженія своего негодованія противъ общества, которое, наконецъ, хотѣло напомнить о своемъ правѣ: „крики человѣческаго безумія“, „дерзкіе журналисты“, „безсмысленность“, „буйство“, „нечистые когти мятежа“, „дерзкій развратъ“ и т. д.

Въ домашнихъ предметахъ Жуковскій имѣлъ образъ мыслей, который былъ прямымъ продолженіемъ мнѣній Карамзина [1]. Онъ не только не находилъ какихъ-нибудь недостатковъ въ существующемъ ходѣ вещей, но полагалъ, что Россія, „оторвавшись (послѣ 1848 года) отъ насильственнаго на нее вліянія Европы“ (выше имъ описанной), „вступитъ въ особенный, ея исторіею, слѣдственно самимъ Промысломъ ей проложенный путь“, она составитъ „самобытный великій міръ, полный силы неисчерпаемой, ...сплоченный вѣрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ *вполнѣ устроенную* громаду“, и проч. Онъ не предвидѣлъ, что уже вскорѣ должно было начаться испытаніе, которое должно было и въ обществѣ, и въ самомъ правительствѣ измѣнить мнѣніе объ этомъ устройствѣ.

Въ литературѣ Жуковскій давно стоялъ особнякомъ. Послѣ „Арзамаса“ ближайшіе друзья его были въ томъ кругу, который составлялъ собственно продолженіе того же „Арзамаса“. Съ тридцатыхъ годовъ, когда наша литература начала оживляться дѣятельной критикой, когда появленіе Гоголя предвѣщало, наконецъ, зрѣлость литературныхъ стремленій, Жуковскій, какъ весь кружокъ, оставался чуждъ этому критическому движенію. Въ похвалу писателей этого кружка надобно сказать, что они, какъ люди со вкусомъ, образованію котораго столько содѣйствовалъ Пушкинъ, умѣли оцѣнить Гоголя какъ художника, который вообще не встрѣтилъ сочувствія ни въ той толпѣ, которую представляли Гречъ и Булгаринъ, ни у „романтиковъ“, какъ Полевой; люди Пушкинскаго кружка стали вообще ближайшими друзьями Гоголя. Къ сожалѣнію, ихъ дружба мало помогла Гоголю въ самомъ существенномъ: они были свидѣтелями того страннаго направленія, какое еще съ конца тридцатыхъ годовъ начали принимать мысли Гоголя и его характеръ, и, повидимому, только поддержали въ немъ это направленіе. Его болѣзненное настроеніе, которому, быть можетъ, помогло бы вначалѣ должное противодѣйствіе, было принято ими какъ нѣчто нормальное, или, хотя и преувеличенное, но серьезное и глубокое въ основаніи. Правда, они защищали сочиненія Гоголя при ихъ появленіи, но они одобрительно выслушивали и тѣ откровенія, изъ которыхъ онъ со-

[1]) Ср. Соч. VI, стр. 160 и д., и мног. др.

ставилъ потомъ „Выбранныя Мѣста“. Почему же люди этого кружка такъ далеко разошлись съ другими почитателями Гоголя, которымъ эти „Мѣста“ показались полнымъ паденіемъ писателя? Объясненіе заключается, повидимому, въ томъ, что люди кружка Жуковскаго нашли здѣсь свой собственный мотивъ. Надо полагать, что имъ очень не нравились тѣ толкованія, которыя давались произведеніямъ Гоголя въ новой критикѣ, не нравилось, что Гоголя ставили во главѣ сатиры, которая становилась чуть не оппозиціоннымъ обличеніемъ. Они съ своей стороны давали признаніе „Мертвымъ Душамъ“, отчасти по своему художественному вкусу, который указывалъ имъ высокія поэтическія достоинства произведенія; отчасти, быть можетъ, потому, что на первое время не предвидѣли, какъ сильны будутъ упомянутыя, непріятныя имъ истолкованія „поэмы“ въ либеральномъ смыслѣ; отчасти потому, что настроеніе автора, неизвѣстное для публики, было очень извѣстно имъ, близкимъ его друзьямъ, а личное настроеніе Гоголя уже тогда было таково, какимъ оказалось въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“. При появленіи послѣднихъ, характеръ книги не былъ для нихъ новостью; если они не одобряли нѣкоторыхъ ея подробностей (слишкомъ безтактныхъ), то, вообще говоря, они были очень довольны тѣмъ разъясненіемъ, какое самъ писатель давалъ всей своей дѣятельности. Это было смиреніе, самоуничиженіе, раскаяніе въ необдуманности прежняго смѣха, отказъ отъ какого-нибудь обличенія: все, что привело въ такое негодованіе Бѣлинскаго и людей его мнѣній, казалось естественнымъ и похвальнымъ для друзей Гоголя.

Религіозная манія Гоголя, вмѣстѣ съ полнымъ отказомъ отъ лучшихъ произведеній, составившихъ его историческую славу, сходилась съ піэтизмомъ Жуковскаго и его равнодушіемъ къ общественному интересу. Тяжело читать въ біографіи Жуковскаго исторію послѣднихъ лѣтъ его жизни, когда онъ вполнѣ предался піэтизму. Этотъ піэтизмъ казался ему искомой цѣлью жизни, разгадкой идеала, котораго онъ доискивался въ теченіе своей поэтической дѣятельности, а эта дѣятельность представлялась ему теперь почти заблужденіемъ. Этотъ исходъ совершенно пришелся къ его давнишнему характеру: романтическая меланхолія нашла свое основаніе; духи и привидѣнія, которыми прежде были наполнены его стихи, теперь представлялись ему во очію [1])...

Мы приводимъ эту исторію мнѣній Жуковскаго не какъ одинъ личный примѣръ. Напротивъ, она любопытна какъ образ-

[1]) Соч., т. VI, „Нѣчто о привидѣніяхъ“.

чикъ того развитія, какой проходила вообще школа сантиментальнаго романтизма: сколько ни было субъективнаго въ поэзіи Жуковскаго, и сколько ни слѣдуетъ отдѣлить въ его мнѣніяхъ на долю его собственнаго характера, этотъ романтическій консерватизмъ составляетъ черту цѣлой школы. Въ исторіи чисто литературныхъ идей школа исполнила великое дѣло, расширивъ область поэзіи и по содержанію, и по формѣ, подъ вліяніемъ европейскаго романтизма, хотя понятаго весьма неполно; въ понятіяхъ общественныхъ она не ушла дальше карамзинскихъ преданій, которыя въ особенности вѣрно сохранилъ Жуковскій. Эта школа осталась въ сторонѣ отъ либеральнаго общественнаго движенія двадцатыхъ годовъ, происходившаго еще въ молодую ея пору, еще меньше она участвовала въ тѣхъ литературныхъ стремленіяхъ, которыя одушевляли лучшихъ людей въ слѣдующія десятилѣтія.

Школа вовсе не была лишена желанія общаго блага, но, какъ свободолюбіе Карамзина, это желаніе было платоническое. Наслѣдовавши поколѣнію, которое еще не имѣло и мысли объ общественной самодѣятельности и котораго наиболѣе передовые люди представляли себѣ эту самодѣятельность только въ миѳологической формѣ масонства, Жуковскій и люди его кружка мало подвинули этотъ вопросъ: ихъ отвлеченная мораль и проповѣдь добродѣтели не примѣнялись къ реальнымъ фактамъ и къ существующему положенію вещей. Ихъ идеалъ вполнѣ мирился съ сущностью этого положенія, въ которомъ они видѣли наилучшій изъ возможныхъ порядковъ. Перейти къ практическому пониманію этой отвлеченности и по крайней мѣрѣ уразумѣть, если не указать, что противорѣчило ей въ дѣйствительности — они не имѣли силы, и когда это стали дѣлать другіе, они сочли это нарушеніемъ гражданской скромности, дерзостью и буйствомъ.

II.

ПУШКИНЪ.

Историческое обращеніе къ Пушкину началось съ первыхъ же лѣтъ по его смерти [1]). Для Бѣлинскаго, множество разъ говорившаго о немъ и, въ 1843—1846, написавшаго знаменитыя

---

[1]) Открытіе памятника Пушкину, въ 1880 г., и потомъ пятидесятилѣтіе съ года его смерти, въ 1887 г., были поводами къ особенному оживленію вопроса о значеніи Пушкина. Кромѣ сочиненія Стоюнина не явилось, правда, за это время ни одной цѣльной работы, но успѣли высказаться весьма разнообразные взгляды на характеръ и историческое положеніе Пушкина въ русской литературѣ. Это побудило насъ замѣнить страницы о Пушкинѣ въ первомъ изданія настоящей книги позднѣйшими статьями, вызванными новой литературой („Вѣстн. Евр.", 1887, октябрь—ноябрь), добавивъ ихъ нѣсколькими замѣчаніями; наша прежняя точка зрѣнія не измѣнилась, но развита здѣсь подробнѣе, между прочимъ въ виду новыхъ толкованій Пушкинской поэзіи.

Изъ литературы о Пушкинѣ, старой и новой, отмѣтимъ немногое.

— Бѣлинскій, статьи о Пушкинѣ, въ „Отеч. Запискахъ" 1843—46, и въ „Сочиненіяхъ", т. VIII, изд. 2-е, М. 1865. стр. 92—705.

— „Матеріалы для біографіи А. С. Пушкина", П. Анненкова, въ 1-мъ томѣ его изданія Пушкина. Спб. 1855, и 2-е неизмѣненное изданіе.

— Статьи о Пушкинѣ по поводу изданія 1855 г, въ „Современникѣ" 1855, кн. 2—3, 7—8.

— Анненковъ, „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху". Спб. 1874; „Общественные идеалы Пушкина—изъ послѣднихъ лѣтъ жизни поэта", въ „Воспоминаніяхъ и крит. очеркахъ", Спб. 1881, III, стр. 225—267; „Любопытная тяжба" (именно тяжба съ цензурой при изданіи 1855 г.), „Вѣстн. Европы", 1881, кн. 1; „Литературные проекты Пушкина" (планы соціальнаго романа и фантастической драмы), тамъ же, книга 7.

— Рѣчь И. С. Тургенева, чит. въ публичномъ засѣданіи Общества любителей росс. словесности, въ „Вѣстн. Европы", 1880, кн. 7.

— Рѣчь Н. С. Тихонравова, въ торж. собраніи Моск. университета 6 іюня 1880 г., „Вѣстникъ Европы", 1880, кн. 8.

— Рѣчь. В. О. Ключевскаго, тамъ же; „Р. Мысль", 1880, кн. 6.

статьи о Пушкинѣ, остающіяся до сихъ поръ единственнымъ цѣльнымъ обзоромъ его поэтическаго творчества, Пушкинъ былъ уже лицо историческое. По вѣрному взгляду Бѣлинскаго, Пушкинъ стоялъ на грани, отдѣлявшей старый, приготовительный періодъ русской литературы отъ ея новаго періода: Пушкинъ закончилъ эпоху, когда литература усвоивала подъ европейскими вліяніями новыя поэтическія формы съ тѣмъ содержаніемъ, какое давала европейская образованность, и открылъ новую эпоху самостоятельной дѣятельности, когда русская поэзія впервые становилась самобытнымъ выраженіемъ русской жизни, впервые овладѣвала богатствомъ народнаго языка и рисовала оригинальныя картины народнаго быта. „Поэзія" въ первый разъ у Пушкина устаповлялась въ русской литературѣ самостоятельною силой

— Рѣчь Ѳ. Достоевскаго въ „Моск. Вѣдом." и „Дневникѣ писателя", 1880 г. (см. также „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину". Спб. 1880, и „Сочиненія" Дост.).

— „Пушкинъ", В. Стоюнина. Спб. 1881.

— Альбомъ московской Пушкинской выставки 1880 г. Изд. Общества любит. россійской словесности, подъ ред. Л. Поливанова (біографическій очеркъ Пушкина, А. Венкштерна). 4°. М. 1882. (Разборъ изданія, В. Якушкина, въ „Рус. Старинѣ". т. XL, стр. 457—476).

— „А. С. Пушкинъ въ его поэзіи. Первый и второй періоды жизни и дѣятельности (1799—1826)". А. Незеленова. Спб. 1882. (Разборъ В., въ „Вѣстн. Евр.", 1883, кн. 1, стр. 440—445).

— Идеалы Пушкина. В. Н. (Влад. Никольскаго). Спб. 1882; 2-е изд. Спб. 1887.

— „Бесѣда преосвящ. Никанора, архіепископа херсонскаго и одесскаго, въ недѣлю блуднаго сына, при поминовеніи раба Божія Александра (поэта Пушкина) по истеченіи пятидесятилѣтія по смерти его. Изложена въ общихъ сокращенныхъ чертахъ въ церкви Новороссійскаго университета" (1 февр. 1887 г.). Одесса, 1887.

— В. Ключевскій, „Евгеній Онѣгинъ и его предки". Читано съ сокращеніями въ публ. засѣданіи Общества любит. словесности 1 февр. 1887 г. „Р. Мысль". 1887, февраль, стр. 291—306.

— В. Якушкинъ, „Радищевъ и Пушкинъ". М. 1886 (изъ „Чтеній" Моск. Общ. ист. и древностей; разборъ этой статьи въ „Вѣстн. Европы", 1887, февр., „Литер. Обозрѣніе"). „Очеркъ исторіи печатнаго пушкинскаго текста съ 1814 по 1887 годъ, въ „Р. Вѣдомостяхъ" 1887, № 34, 38, 40.

— Біографія, составленная А. М. Скабичевскимъ, при изданіи Пушкина, Павленкова. Спб. 1887.

— А. Кирпичниковъ, „Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ". Рѣчь, чит. въ публ. собраніи Импер. Новороссійскаго университета, 1 февраля 1887 г., Одесса, 1887.

— В. Спасовичъ, „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго", Вѣстн. Евр. 1887, апрѣль; „Байронизмъ у Пушкина и Лермонтова", тамъ же 1888, мартъ—апрѣль.

— Puschkiniana. Библіографическій указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства. Составилъ В. И. Межовъ. Изданіе Импер. Александровскаго лицея. Спб. 1886 (сверхъ 4.500 нумеровъ).

со всѣмъ обаятельнымъ дѣйствіемъ богатой фантазіи, глубокаго чувства и удивительнаго стиха. Все, что было до Пушкина, носило на себѣ печать заимствованія, искусственности; русская поэзія не схватывала чисто русской жизни, не умѣла справиться съ чисто-народною русскою рѣчью; со времени Пушкина поэзія вступаетъ въ эту жизнь какъ новая стихія, и возвратъ къ подражанію становится невозможнымъ... Если въ сороковыхъ годахъ, когда едва прошло нѣсколько лѣтъ со смерти Пушкина, внимательный критикъ уже наблюдалъ этотъ переломъ, то позднѣе громадное вліяніе Пушкина становилось еще болѣе ясно. Оно обнаруживалось не тѣмъ, чтобы позднѣйшіе писатели, поэты и романисты становились его подражателями,—такихъ подражателей можно видѣть развѣ только въ его ближайшихъ современникахъ, плеядѣ „меньшихъ поэтовъ“ Пушкинской школы;—напротивъ, высшимъ, наилучшимъ отраженіемъ этого вліянія была дѣятельность писателей, которая шла въ иномъ, новомъ направленіи, открывала новые пути творчества, создавала непохожія на прежнее картины, выражала новыя чувства и настроенія и носила отзвукъ Пушкина именно въ этомъ свободномъ движеніи впередъ, въ той внутренней силѣ, которая побуждала все глубже проникать въ жизнь народа и общества, въ томъ здоровомъ поэтическомъ складѣ, который съ тѣхъ поръ сдѣлался отличительною чертой русской поэзіи и въ настоящее время бросается въ глаза иностраннымъ наблюдателямъ русской литературы. Этому поэтическому складу даютъ теперь названіе „реализма“, и Пушкинъ—послѣдній романтикъ—есть, безъ сомнѣнія, и первый сильный начинатель реализма въ нашей литературѣ. Итакъ, родственность позднѣйшей литературы съ Пушкинымъ не есть только повтореніе, не есть разработка данныхъ имъ темъ или подражаніе его стилю, а именно живое преемство развитія, гдѣ послѣдующія явленія вытекаютъ изъ предыдущихъ, какъ здоровый ростъ историческаго начала. Дѣйствительно, эти послѣдующія явленія—Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Некрасовъ, Гончаровъ, Толстой и пр.—очень мало напоминятъ поэтическій стиль Пушкина, но ихъ историческое родство съ нимъ не подлежитъ сомнѣнію. Таково было и ихъ собственное признаніе. Гоголь еще связанъ съ Пушкинымъ непосредственно: Пушкинъ былъ свидѣтелемъ его первыхъ произведеній и горячо ихъ привѣтствовалъ; Гоголь заимствовалъ даже изъ его указаній темы своихъ произведеній; о Пушкинѣ напоминаетъ самый пріемъ его художественнаго творчества—эта глубокая обдуманность плана, безконечная забота о формѣ, высокій взглядъ на художественное созиданіе, какъ на своего рода свя-

щеннодѣйствіе. Чѣмъ было имя Пушкина для Лермонтова, извѣстно изъ того стихотворенія, гдѣ съ такой высокой поэзіей и молодою силой вырвалось скорбное чувство о потерѣ великаго поэта. Для Тургенева Пушкинъ былъ предметомъ настоящаго поклоненія. Некрасовъ, котораго поэтическій характеръ былъ очень далекъ отъ олимпійской возвышенности и широты Пушкинской поэзіи, сохранилъ навсегда культъ Пушкина, унаслѣдованный отъ тридцатыхъ годовъ и отъ Бѣлинскаго. Московское празднество 1880 года вызвало цѣлый рядъ подобныхъ признаній, которыя шли и отъ представителей нашей поэзіи, и отъ публицистовъ и историковъ, и указывало, что это пониманіе историческаго значенія Пушкина дѣлалось всеобщимъ достояніемъ.

Для Пушкина вполнѣ наступала „исторія" и „потомство". Нѣтъ въ нашей литературѣ другого писателя, которому было бы посвящено столько изученія,—но это изученіе по разнымъ причинамъ все еще остается далеко не довершеннымъ. Объясненіе писателя должно быть дано въ двухъ направленіяхъ — въ его біографіи и въ подробномъ анализѣ его произведеній. Полнотѣ біографіи долго мѣшали старое неумѣнье и непривычка дорожить біографическими фактами объ историческомъ дѣятелѣ, а еще болѣе то, что имя Пушкина при жизни и долго по его смерти хотя уже становилось національной славой, было окружено страннымъ недовѣріемъ и опасеніями: его личныя отношенія Александровскихъ временъ и, далѣе, его отношенія къ императору Николаю и къ шефу жандармовъ Бенкендорфу, наконецъ, отношенія дружескія (напр., связи съ декабристами), литературныя и великосвѣтскія, были по тому времени неудобны для разсказа,—между тѣмъ во всемъ этомъ заключались необходимыя біографически черты его личности и общественнаго положенія. Долго затруднителенъ былъ самый анализъ его сочиненій: доступныя для критики чисто эстетической, онѣ были не совсѣмъ доступны для комментарія біографическаго, для изображенія его настроеній, его теоретическихъ, историческихъ и общественныхъ взглядовъ. Въ послѣднее время въ томъ и въ другомъ отношеніи сдѣлано довольно много любопытныхъ работъ: правда, и біографія и комментарій къ Пушкину еще далеки отъ полноты, но во всякомъ случаѣ намѣчены многія существенныя черты жизни поэта и его творчества. Пушкинъ предстаетъ теперь яснѣе, чѣмъ это было прежде: для насъ раскрываются мотивы его личной жизни, какъ и стихія его художественныхъ созданій. Его личность и творчество становятся для насъ, „потомства", привлекательны не по одному не-

посредственному впечатлѣнію его поэтическихъ созданій, но и по сознательному опредѣленію условій его дѣятельности.

Съ ходомъ этого изученія все больше раскрывается историческая его сторона. Геніальный поэтъ, онъ былъ вмѣстѣ и человѣкомъ своего времени. Его развитіе шло въ извѣстной исторической обстановкѣ; время ставило ему свои задачи, положеніе общества оставляло на немъ свой отпечатокъ; какъ натура избранная, Пушкинъ шелъ впереди своего времени, предугадывалъ будущіе пути литературнаго развитія,—но въ то же время былъ самъ тѣсно связанъ съ своимъ временемъ и его традиціями. Этими условіями опредѣляется содержаніе его поэзіи и его общественныхъ идей. Когда стала доступна анализу эта внутренняя жизнь поэта, то на первое время мнѣнія очень раздѣлились: образъ Пушкина раздвоился и затемнился разнорѣчіемъ впечатлѣній; примѣненіе его взглядовъ къ новѣйшимъ общественнымъ настроеніямъ выдвигало то одну, то другую сторону его содержанія; его идеи казались то либеральными, то консервативными; въ немъ видѣлся то приверженецъ преданій, то искатель общественной свободы, то невозмутимый жрецъ чистаго искусства, то родоначальникъ жизненнаго реализма, гдѣ искусство служитъ не одной отвлеченной красотѣ, но и насущной потребности общественнаго сознанія... Многихъ смущало это разнорѣчіе: казалось грубою односторонностью, чуть не оскорбленіемъ памяти Пушкина, когда выдвигалась та или другая черта Пушкинской поэзіи и дѣлалось на ней удареніе, — и споръ, не разрѣшая вопроса, кончался взаимными укорами. Вѣрная постановка этого вопроса о личномъ характерѣ и общественномъ содержаніи поэзіи Пушкина дѣлалась еще Бѣлинскимъ, но въ подробностяхъ онъ начинаетъ выясняться только теперь, хотя все еще неполно.

Пушкинъ во многихъ сторонахъ своихъ общественныхъ взглядовъ былъ „старинный человѣкъ“, по выраженію критики 50-хъ годовъ, но, независимо отъ великаго таланта и принадлежащаго ему широкаго поэтическаго содержанія, человѣкъ съ благороднымъ, гуманнымъ складомъ характера и стремленіями къ общественному интересу, который прежде всего выражался для него въ свободѣ и достоинствѣ искусства и литературы. Это послѣднее далеко не было, однако, въ господствовавшихъ нравахъ, и защита достоинства литературы (независимо отъ нѣкоторыхъ юношескихъ увлеченій) ставила Пушкина въ разрѣзъ съ иными явленіями тогдашняго порядка вещей, не только оффиціальнаго, но и общественнаго. Пушкину приходилось бороться не съ одними цензурными препятствіями (въ разныхъ видахъ), но и съ обще-

ственнымъ застоемъ, представители котораго винили его въ либерализмѣ, когда скорѣе это былъ человѣкъ спокойныхъ консервативныхъ убѣжденій; обвиняли въ „аѳеизмѣ" поэта, который былъ авторомъ стансовъ „Въ часы забавъ иль праздной скуки"; окружали подозрѣніями автора „Клеветникамъ Россія", „Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ", „Героя" и пр. Рано начавшаяся слава уже встрѣтилась съ враждой литературныхъ старовѣровъ, которые съ своей точки зрѣнія имѣли къ тому большія основанія: Пушкинскій романтизмъ былъ и въ общественномъ смыслѣ новизной, которая не меньше вопросовъ „слога" возмущала приверженцевъ старины. Полемическія нападенія съ другой стороны подвергали насмѣшкамъ и осужденію условную романтическую форму, за которой не видѣли достаточно яснаго содержанія, — какъ нападенія Надеждина. Наконецъ, въ послѣдніе годы дѣятельности Пушкина сказалось замѣтное охлажденіе къ поэту, которое объясняла критика сороковыхъ годовъ: съ одной стороны, ждали отъ Пушкина новыхъ поэтическихъ и общественныхъ откровеній, съ другой—не знали произведеній, увидѣвшихъ свѣтъ послѣ его смерти. Словомъ, еще при жизни Пушкина общество относилось къ нему самымъ различнымъ образомъ—отъ восторженнаго поклоненія до полнаго осужденія, до обвиненій въ безнравственности и „аѳеизмѣ", или до укоровъ въ недостаткѣ серьезности. Очевидно, онъ затрогивалъ сильнѣе, чѣмъ кто-либо раньше, нравственные интересы общества; поэзія его увлекала и будила умы, и впервые становилась жизненной стихіей.—Съ конца тридцатыхъ годовъ въ литературѣ началось гораздо болѣе оживленное движеніе; извѣстныя увлеченія нѣмецкой философіей имѣли то благотворное дѣйствіе, что обращали умы къ общимъ теоретическимъ началамъ, заставляли искать основныхъ принциповъ и въ жизни, и въ нравственности, и въ искусствѣ. Такъ какъ литература была единственнымъ проявленіемъ этой внутренней жизни общества и единственнымъ средствомъ дѣйствія, то въ кругу лучшихъ представителей того поколѣнія вопросы искусства стали краеугольнымъ камнемъ литературной жизни, и въ сороковыхъ годахъ, когда явились въ посмертномъ изданіи новыя, неизвѣстныя прежде произведенія Пушкина, его поэзія была впервые понята и истолкована съ широкой точки зрѣнія ея художественнаго и жизненнаго значенія.— Наступила потомъ другая эпоха: даже сонная масса общества была разбужена событіями; старый бытъ требовалъ преобразованій, и правительственная инищіатива была поддержана горячими сочувствіями, которымъ не рѣшались тогда противорѣчить

люди стараго порядка. Крестьянская реформа встрѣчена была съ настоящимъ энтузіазмомъ; въ ней видѣлся широкій народный вопросъ, постановка котораго обѣщала (какъ думали) давно желанный поворотъ цѣлой русской жизни на просторъ свободнаго всесторонняго развитія и просвѣщенія. Дѣйствительно, передъ русскимъ обществомъ явились наглядно и частію въ исполненіи преобразованія, никогда невиданныя; горизонтъ общественныхъ понятій расширился, и мечты энтузіастовъ направились на реальное „служеніе народу" въ той или другой формѣ... Жизнь, которая всегда болѣе сложна, чѣмъ умозаключенія о ней, показала потомъ, что то были мечты; но въ данную минуту онѣ владѣли умами, и было очень естественно, что, въ увлеченіи теоретическими и практическими „народными" вопросами, интересы чистаго искусства и преданіе отступали на второй планъ, забывались, даже отвергались... Изъ этого дѣлаютъ теперь лишній упрекъ тому времени, но едва ли справедливо: въ охлажденіи къ Пушкину только отразилось охлажденіе къ слишкомъ непригляднолу прошлому и увлеченіе надеждами на лучшее будущее— увлеченіе, внушенное лучшими движеніями общественнаго чувства. Все было поглощено настоящей минутой, которая должна была рѣшать будущую судьбу народа и общества: преданіе не давало отвѣта на эти тревожные вопросы,—какъ, съ другой стороны, оно именно злоупотреблялось иногда противниками новаго движенія. Со временемъ это будетъ понято правдивѣе, чѣмъ понимается теперь, и упомянутый укоръ смѣнится историческимъ объясненіемъ. Каждое время имѣетъ свои идеалы и заботы и оставляетъ свою черту пониманія великихъ историческихъ лицъ, къ какимъ принадлежалъ Пушкинъ. Тѣ представленія, какія вызываетъ великая историческая личность въ послѣдующихъ поколѣніяхъ, не бываютъ произвольны; онѣ необходимы исторически и не безразличны для полной оцѣнки его значенія; самое пониманіе великаго дѣятеля развивается исторически. Это давно было объяснено Бѣлинскимъ, и не лишнее вспомнить слова, которыя служили введеніемъ къ его статьямъ о Пушкинѣ.

„Година безвременной смерти Пушкина, — говорилъ Бѣлинскій, въ началѣ 40-хъ годовъ,—съ теченіемъ дней отодвигается отъ настоящаго все далѣе и далѣе; нечувствительно привыкаютъ смотрѣть на поэтическое поприще Пушкина не какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполнѣ. Много творческихъ тайнъ унесъ съ собою въ раннюю могилу этотъ могучій поэтическій духъ,—но не тайну своего нравственнаго развитія, которое достигло своего апогея, и потому обѣщало только рядъ великихъ

въ художественномъ отношеніи созданій, но уже не обѣщало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми твореніями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклонники Пушкина, съ нимъ вмѣстѣ вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшіеся эстетически, уже рѣзко отдѣляются отъ новаго поколѣнія своею закоснѣлостію и своею тупостью въ дѣлѣ разумѣнія смѣнившихъ Пушкина корифеевъ русской литературы. Съ другой стороны, новое поколѣніе, развившееся на почвѣ новой общественности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатлѣній отъ поэзіи Гоголя и Лермонтова, высоко цѣня Пушкина, въ то же время судитъ о немъ безпристрастно и спокойно. Это значитъ, что общество движется, идетъ впередъ черезъ свой вѣчный процессъ обновленія поколѣній, и что для Пушкина настаетъ уже потомство. На Руси все растетъ не по годамъ, а по часамъ, и пять лѣтъ для нея—почти вѣкъ. Но новое мнѣніе о такомъ великомъ явленіи, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругъ и *явиться совсѣмъ готовое*; какъ все живое, оно должно было *развиться изъ самой жизни* общества;—каждый новый фактъ въ жизни и въ литературѣ должны были *измѣнять и воззрѣнія на Пушкина*.

„По мѣрѣ того, какъ рождались въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни,—всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ *своего времени*, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого, Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ *двойственномъ* видѣ; это уже не поэтъ безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣетъ значеніе *артистическое* и значеніе *историческое*,—словомъ, поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, которыя болѣе или менѣе удовлетворятся имъ, а другою, бо̀льшею и значительнѣйшею стороною вполнѣ удовлетворявшій своему настоящему, которое онъ вполнѣ выразилъ и которое для насъ—уже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ творческихъ геніевъ, тѣхъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, пріуготовляютъ будущее, и по-

тому самому уже не могутъ принадлежать только одному прошедшему; но въ томъ-то и состоитъ задача здравой критики, что она должна опредѣлить значеніе поэта и для его настоящаго, и для будущаго, его историческое и его безусловно художественное значеніе. Задача эта не можетъ быть рѣшена однажды навсегда, на основаніи чистаго разума: нѣтъ, *рѣшеніе ея должно быть результатомъ историческаго движенія общества.* Чѣмъ выше явленіе, тѣмъ оно жизненнѣе, а чѣмъ жизненнѣе явленіе, тѣмъ болѣе зависитъ его сознаніе отъ движенія и развитія самой жизни" [1]).

Разнообразіе мнѣній указываетъ на смѣну точекъ зрѣнія, возможныхъ въ обществѣ, и путемъ ихъ сличенія и анализа будетъ только полнѣе опредѣляться личность и дѣло поэта; все больше будетъ выясняться его чисто поэтическое достоинство и его черты какъ лица извѣстной исторической эпохи. Только въ послѣднее время, съ раскрытіемъ его біографіи и его рукописей, начинаютъ яснѣе видѣться движенія его внутренней жизни и исторія его произведеній. Самое „преданіе", о необходимости котораго начинаютъ теперь говорить, можетъ прочно установиться только теперь, когда является первая возможность полнаго изученія поэтическаго наслѣдія Пушкина. Странно сказать, но величайшій „національный" поэтъ при жизни и долго послѣ смерти окруженъ былъ крайнимъ недовѣріемъ: геніальный, невиданный талантъ внушалъ невольное уваженіе къ лицу, которое въ глазахъ самихъ великихъ міра стояло на необычной высотѣ; но вліятельная толпа преслѣдовала поэта подозрѣніями, мелкими и крупными притѣсненіями, наконецъ интригой; по его кончинѣ труды его должны были пройти черезъ усиленную цензуру, прежде чѣмъ достаться обществу; почти черезъ двадцать лѣтъ по его смерти помнились старыя подозрѣнія, и друзьямъ литературы надо было шагъ за шагомъ защищать драгоцѣнное наслѣдіе... Его біографія долго была достояніемъ только устныхъ пересказовъ; ближайшіе друзья всего меньше сдѣлали для этой біографіи; первыя попытки ея являются опять только лѣтъ черезъ двадцать по смерти поэта, являются урывками, исполненныя темныхъ намековъ, умолчаній, вынужденныхъ нарушеній правды. Эти попытки біографіи, и затѣмъ первое цѣльное объясненіе творчества Пушкина и первое правильное изданіе его сочиненій—были сдѣланы уже людьми слѣдующаго литературнаго поколѣнія, въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, и нашему времени предстояла

---

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, изд. 2, стр. 93 и д.

еще работа надъ опредѣленіемъ личности и творчества поэта... Слишкомъ буквально справедливымъ является замѣчаніе Бѣлинскаго, что все болѣе полное пониманіе Пушкина должно было „развиваться изъ самой жизни общества", и не будетъ преувеличеніемъ сказать, что и „преданіе" можетъ установиться только теперь.

Жалобы на слабое развитіе литературнаго и общественнаго преданія, къ сожалѣнію, справедливы. Въ самомъ дѣлѣ, мы не умѣемъ цѣнить прошедшаго: мы не помнимъ вчерашняго дня; не цѣнимъ важныхъ, часто великихъ заслугъ, оказанныхъ талантомъ или ревностнымъ трудомъ въ области литературы, науки и искусства. Это нерѣдко дѣлаетъ и нашъ настоящій трудъ отрывочнымъ, лишеннымъ опоры въ предшественникахъ, а затѣмъ и надежды на продолжателей. Эта отрывочность нашего труда и отсутствіе преданій имѣютъ, къ сожалѣнію, свое историческое объясненіе, но несомнѣнно, что они составляютъ большое зло. Память о томъ, что̀ сдѣлано было нашими предшественниками, можетъ и должна бы укрѣплять наше собственное дѣло, усилить его сознаніемъ историческаго преемства, обогатить опытомъ, найти для него прочную почву въ томъ, что̀ было уже нѣкогда узнано и сознано. Поэтому намъ кажется глубоко отраднымъ это ревностное обращеніе къ памяти Пушкина, которое можетъ свидѣтельствовать именно о возникшей потребности утвердить это преданіе, повести его отъ родоначальника нашей новѣйшей литературы.

Со времени критики Бѣлинскаго поставленъ былъ вопросъ о національномъ или народномъ значеніи Пушкинской поэзіи. Мнѣнія и тогда были раздѣлены. Что Пушкинъ національнъ въ общемъ смыслѣ слова, какъ великій поэтъ, созданный русскою жизнью, какъ человѣкъ, во многихъ отношеніяхъ носившій въ личномъ характерѣ и идеяхъ чисто русскія особенности, какъ писатель, въ вѣрныхъ картинахъ изображавшій русскую жизнь и въ свое время единственный по глубокому постиженію русскаго языка,—въ этомъ у насъ давно были убѣждены, хотя Бѣлинскій недоумѣвалъ, можно ли приложить къ нему многозначительный эпитетъ „поэта національнаго": для этого, по его мысли, требовалось, вѣроятно, болѣе обширное отраженіе русской національной жизни и ея идеаловъ. Поэтомъ „народнымъ" Бѣлинскій считалъ его еще менѣе: нашъ „народъ" еще такъ далекъ отъ литературы (т.-е. такъ скуденъ образованіемъ, самою грамотностью), что не знаетъ—какъ во времена Бѣлинскаго, такъ не на много больше и теперь—даже величайшихъ представителей русской ли-

тературы. Послѣдующія толкованія „народности“ Пушкина все-таки не разъяснили вопроса до конца. Какъ ни былъ великъ поэтическій геній Пушкина, русская жизнь столь сложна, что нимало не удивительно, если она не могла быть обнята силами одного, хотя бы геніальнаго, дарованія, и наше общественное сознаніе, которое и до сихъ поръ не охватило этого сложнаго содержанія, еще менѣе владѣло имъ во времена Пушкина,—тѣмъ не менѣе, Пушкинъ долженъ занять мѣсто во главѣ русскихъ національныхъ поэтовъ. Бѣлинскій говорилъ: „въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій тактъ,—онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника“ (т. VIII, изд. 2, 387). Можно прибавить, что, не говоря о разнообразной массѣ явленій русской жизни, нашедшихъ выраженіе въ поэзіи Пушкина, самый его „художническій тактъ“ имѣлъ ту чисто-русскую складку, какую находитъ иностранная критика въ лучшихъ писателяхъ нашей новѣйшей литературы, завоевавшихъ теперь вниманіе западнаго міра, складку простоты, ясности и вмѣстѣ задушевной глубины. „Національность“ всегда трудно опредѣлима; но однимъ изъ признаковъ ея можно считать то, когда писатель находитъ себѣ горячій отзывъ въ умахъ и сердцахъ общества, и немногимъ писателямъ нашимъ достался такой отзывъ въ столь широкой мѣрѣ, какъ Пушкину. Съ другой стороны, „національность“ писателя можетъ опредѣляться впечатлѣніемъ, какое производитъ онъ на чужого наблюдателя: въ этомъ отношеніи поучительны будутъ мнѣнія западной критики, если они будутъ собраны вмѣстѣ. Одно изъ нихъ, особенно оригинальное, было высказано въ извѣстной книгѣ Вогюэ [1]): французскій критикъ почти не видитъ въ произведеніяхъ Пушкина „этническаго характера“, почти предпочитаетъ—отнявъ его у Россіи—усвоить человѣчеству, какъ и одинъ изъ нашихъ экстатическихъ поклонниковъ Пушкина видѣлъ въ немъ „все-человѣка“; но то и другое есть опять односторонность, забывающая объ историческомъ Пушкинѣ, исключительно русскомъ, связанномъ съ русскою историческою дѣйствительностью безчисленными нитями его личности и творчества, впервые водворившемъ у насъ чистую поэзію, какъ самобытную стихію нравственной жизни общества, наконецъ, о Пушкинѣ, въ поэзіи котораго одною изъ могущественнѣйшихъ и неотъемлемыхъ силъ былъ почти непо-

---

[1]) Le Roman russe; см. „Вѣстн. Евр.“, 1886, сентябрь, стр. 318—320.

дражаемо-изящный языкъ. Какъ въ этомъ послѣднемъ смыслѣ Пушкинъ остается несомнѣнно и исключительно національнымъ, такъ и самая воспріимчивость къ европейскому содержанію означаетъ не безличную „все-человѣчность", какая видѣлась Достоевскому, и не то отсутствіе спеціально-русскаго характера, какое предполагалъ Вогюэ, а только то историческое явленіе русской литературы, что на первыхъ порахъ своего развитія она естественно обращалась къ ранѣе собраннымъ богатствамъ европейской литературы, какъ къ запасу общечеловѣческаго знанія и поэтическаго творчества. Наша литература поэтическая уже вышла теперь (въ большей мѣрѣ благодаря Пушкину) изъ прежней тѣсной зависимости своего содержанія и формы отъ европейскихъ образцовъ и антецедентовъ (хотя обращеніе къ европейскимъ источникамъ остается до сихъ поръ неизбѣжно въ области науки) и примыкаетъ къ литературамъ европейскимъ уже не вслѣдствіе необходимости подражанія, а по естественному взаимодѣйствію; но Пушкинъ, открывавшій новую, самобытную дорогу, стоялъ именно на перепутьѣ, на переломѣ двухъ періодовъ. Черты обоихъ на немъ отразились, и слова Вогюэ указываютъ, съ какою силой воспринимались общечеловѣческіе поэтическіе мотивы у писателя, котораго онъ хочетъ присвоить „человѣчеству" и который представляется намъ столь характерно и исключительно русскимъ.

Сужденія о Пушкинѣ до сихъ поръ остаются весьма разнообразны и притомъ не только вслѣдствіе различія основныхъ взглядовъ критики, но и вслѣдствіе того, что въ дѣятельности Пушкина дѣлается удареніе на той или на другой ея сторонѣ. Едва ли сомнительно, что различныя сужденія о Пушкинѣ будутъ раздаваться и впредь; мудрено представить, чтобы сгладились скоро тѣ разнорѣчія, которыя дѣлаютъ однимъ болѣе сочувственными однѣ стороны Пушкина, другимъ другія: люди консервативнаго образа мыслей всегда будутъ осуждать либеральныя заявленія Пушкина; люди другого взгляда на вещи будутъ обращать свои сочувствія къ тѣмъ мотивамъ пушкинской поэзіи, гдѣ сказывалось стремленіе къ просвѣщенію и общественной свободѣ. Примирить эти точки зрѣнія невозможно, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока Пушкинъ не отступитъ въ гораздо болѣе далекое прошедшее, чѣмъ теперь, пока общество наше не войдетъ въ иной періодъ своего развитія, когда самый вопросъ просвѣщенія перестанетъ быть спорнымъ, какимъ онъ, къ удивленію, снова сдѣлался въ послѣднее время.

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы вопросъ о Пушкинѣ для

нашего времени долженъ былъ остаться нерѣшеннымъ. Если пока еще нельзя примирить противорѣчій и если надо предоставить различнымъ сторонамъ выбирать себѣ предметы сочувствій въ тѣхъ или другихъ произведеніяхъ Пушкина, есть однако историческія стороны предмета, которыя допускаютъ объясненіе, и оно становится необходимымъ, если Пушкину принадлежитъ то значеніе въ развитіи нашей литературы, о какомъ всѣ говорятъ единогласно.

Въ чемъ же именно состояло его вліяніе; какая черта его дѣятельности оказывала то сильное дѣйствіе на современниковъ и преемниковъ, которое составляетъ его историческую силу; какое мѣсто имѣла здѣсь чисто художественная сторона его труда и какое принадлежало его теоретическимъ, литературнымъ и общественнымъ идеямъ; наконецъ, въ чемъ заключалось содержаніе этихъ идей, какія ступени проходилъ Пушкинъ въ ихъ развитіи и какая была ихъ реальная цѣнность? Большинство критиковъ Пушкина прибѣгало обыкновенно къ подбору отдѣльныхъ мыслей и поэтическихъ картинъ въ подкрѣпленіе той или другой характеристики его содержанія; очевидно, что подобный подборъ дастъ образчики пушкинскаго содержанія, но не сообщитъ точнаго представленія объ исторической послѣдовательности взглядовъ и поэтическихъ мечтаній Пушкина и объ ихъ окончательной суммѣ. Дѣло въ томъ, что Пушкинъ далеко не всегда былъ равенъ самому себѣ; онъ не однажды отвергалъ то, чѣмъ прежде увлекался, свергалъ старыхъ идоловъ и воздвигалъ новыхъ... Почему же и какъ совершались эти повороты его мысли, чѣмъ его взгляды въ ту или другую эпоху были мотивированы и какая сторона ихъ, отразившись въ его произведеніяхъ, оказалась наиболѣе плодотворной въ его современномъ и послѣдующемъ историческомъ вліяніи? Многіе изъ прежнихъ и новѣйшихъ критиковъ Пушкина видѣли важность этихъ вопросовъ. Уже современники Пушкина, критики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, отличали въ его дѣятельности нѣсколько различныхъ періодовъ. Бѣлинскій, имѣвшій въ виду всего болѣе чисто-художественную сторону его творчества, давалъ указанія и о характерѣ его теоретическихъ и общественныхъ мнѣній. Анненковъ впервые отыскивалъ біографическій ключъ къ объясненію его внутренняго развитія, и критика 50-хъ годовъ уже настаивала на необходимости болѣе полнаго историческаго комментарія...

Новѣйшіе толкователи Пушкина часто относятся съ недовѣріемъ къ прежнимъ оцѣнкамъ Пушкина. Не говоря о мнѣніяхъ

современной Пушкину литературы, о которой принято думать какъ о ребяческомъ непониманіи поэта, критика Бѣлинскаго кажется односторонней, критика 60-хъ годовъ приравнивается къ злобнымъ выходкамъ гонителей Пушкина при его жизни или къ обскурантизму „Маяка“, Аскоченскаго и т. д. Въ этихъ осужденіяхъ есть тѣмъ болѣе грубая ошибка, что иногда м. б., дѣлалось сознательно. Понятно само собою, что современникамъ и даже ближайшему послѣ него литературному поколѣнію Пушкинъ никакъ не могъ представляться въ той полнотѣ его дѣятельности, какую мы знаемъ теперь. Прошло нѣсколько лѣтъ по смерти поэта, когда явились извѣстные дополнительные томы его изданія, съ новыми замѣчательными произведеніями, и лишь отъ изданія Анненкова началась реставрація Пушкина во всемъ объемѣ его поэтическихъ замысловъ. Только съ теченіемъ времени расширялся опытъ, накоплялись данныя о самой біографіи Пушкина, становилось возможнымъ опредѣленіе его историческаго вліянія. Но уже давно замѣчено было, что не только критика Бѣлинскаго была гораздо шире и многозначительнѣе, чѣмъ о ней начинали думать впослѣдствіи, но что даже критика, современная самому Пушкину, не была настолько лишена значенія, чтобы ее можно было обойти съ пренебреженіемъ или продолжать говорить, что Пушкинъ былъ въ свое время не понятъ. Критика 50-хъ годовъ уже обратила вниманіе на эту историческую черту и указала многочисленными примѣрами, что современники Пушкина, видѣвшіе самое начало его дѣятельности и слѣдившіе за каждымъ новымъ ея фактомъ, хорошо видѣли всю великость совершавшагося на ихъ глазахъ литературнаго явленія, отдавали ему самое восторженное сочувствіе и возлагали на него самыя широкія надежды для будущаго русской литературы. Таково было отношеніе къ Пушкину „Московскаго Телеграфа“, издававшагося Полевымъ, и „Телескопа“, издававшагося Надеждинымъ, не говоря о тѣхъ восторгахъ, съ какимъ встрѣчались произведенія Пушкина въ кругу его друзей. Шумная слава, окружившая Пушкина съ его юношескихъ произведеній, какой не имѣлъ ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ ни прежде, ни послѣ, показываетъ, что вся масса общества поддалась увлекающей прелести его поэзіи... Полевой и Надеждинъ не были друзьями Пушкина: въ свое время эти недружелюбныя отношенія были извѣстны (въ открывшихся позднѣе письмахъ и замѣткахъ Пушкина нашлись новыя ихъ подробности), но даже въ самомъ ихъ разгарѣ оба эти критика высказывали искренно свое удивленіе великому таланту, а если выступали противъ него, то имѣли на это свои большія или меньшія основанія... Въ этомъ

не трудно убѣдиться, обратившись къ литературнымъ фактамъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и то, что мы узнаемъ теперь изъ біографіи Пушкина, объясняетъ между прочимъ и эти полемическіе раздоры. Въ томъ отдаленіи, въ какомъ мы разсматриваемъ теперь великаго писателя, отъ насъ вѣроятно ускользаютъ многіе оттѣнки старыхъ отношеній. Въ доказательство того, что Пушкинъ не былъ достаточно оцѣненъ современниками, приводится, напримѣръ, что ими не было понято одно изъ величайшихъ произведеній Пушкина, „Борисъ Годуновъ"; что въ послѣдніе годы жизни поэта шли толки объ упадкѣ его таланта, которые, однако, должны были прекратиться, когда, по смерти Пушкина, явились его неизвѣстныя раньше созданія. Но „Борисъ Годуновъ" былъ очень высоко (хотя не безусловно) оцѣненъ Полевымъ и особливо Надеждинымъ; толки объ упадкѣ Пушкина объяснялись, во-первыхъ, тѣмъ простымъ фактомъ, что въ тѣ годы не являлось въ печати такихъ произведеній Пушкина, которыя своими достоинствами отвѣчали бы возбужденному имъ интересу; присоединялось, вѣроятно и то, что слышалось тогда о новыхъ свѣтскихъ и оффиціальныхъ связяхъ Пушкина; безъ сомнѣнія, жадно ловились всѣ извѣстія о подобныхъ отношеніяхъ поэта, и, повидимому, не всегда оставляли благопріятное впечатлѣніе. Едва ли не самымъ строгимъ критикомъ Пушкина былъ Надеждинъ; не всегда былъ онъ правъ, часто бывалъ рѣзокъ въ способѣ выраженія, но критика 50-хъ годовъ уже объясняла, что въ основѣ суровости лежали высокія требованія отъ литературы и отъ самого Пушкина, или что въ лицѣ Пушкина „Телескопъ" говорилъ собирательно о цѣломъ характерѣ и судьбѣ тогдашней литературы [1]... Что касается нападеній, какія шли противъ Пушкина изъ лагеря псевдо-классическихъ старовѣровъ, дѣйствительно его не понимавшихъ, то эта категорія судей цѣликомъ принадлежала къ старому, отживавшему поколѣнію и еще раньше Пушкина (напр. у Батюшкова, въ первыхъ собраніяхъ „Арзамаса" и проч.) становилась только предметомъ шутокъ и насмѣшекъ. Въ свое время нападенія съ этой стороны были съ избыткомъ вознаграждены успѣхомъ Пушкина въ молодомъ кругу.

Нѣкоторыя сужденія о Пушкинѣ утверждаютъ, съ двухъ разныхъ сторонъ [2], что эстетическая критика Бѣлинскаго не вполнѣ понимала значеніе Пушкина, что Бѣлинскій слишкомъ односто-

---

[1]) См. „Современникъ", 1855, февраль, мартъ, іюль, августъ.

[2]) Статьи г. Морозова; рѣчь В. Никольскаго. Послѣдній не усумнился, впрочемъ, назвать критику Бѣлинскаго вдохновенной.

ронне видѣлъ въ немъ только великаго художника и не видѣлъ поэта-гражданина; но точка зрѣнія Бѣлинскаго была объяснена критикой 50-хъ годовъ, и въ этихъ нареканіяхъ надо видѣть долю недоразумѣнія. Извѣстныя стороны Пушкина Бѣлинскій указать не могъ; но что̀ указано, недостаточно оцѣнивается новѣйшими историками.

Что Пушкинъ прежде всего и сильнѣе всего дѣйствовалъ именно какъ художникъ, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. „Прелесть стиховъ" была та первая могущественная сила, которая очаровала первыхъ поклонниковъ Пушкина; она множество разъ указывалась тогдашними критиками, даже тѣми, которые не были друзьями Пушкина, и эту „прелесть стиховъ" самъ Пушкинъ въ знаменитомъ „Памятникѣ" считалъ однимъ изъ главныхъ своихъ правъ на безсмертіе.

Было бы долго и почти излишне приводить примѣры того очарованія, какое производили первыя стихотворенія и поэмы Пушкина на тогдашнихъ читателей. Это слишкомъ извѣстно [1]). Бѣлинскій объяснялъ, что величайшей заслугой Пушкина было именно то, что онъ впервые создалъ настоящую русскую литературу и массу русскихъ читателей. Въ самомъ дѣлѣ, до тѣхъ поръ литература была дѣломъ небольшого круга любителей; интересъ къ ней былъ случайный; она была „пріятнымъ и полезнымъ препровожденіемъ времени", „лѣкарствомъ отъ скуки и задумчивости", была „пріятна какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ"; торжественная ода старыхъ временъ имѣла какъ будто характеръ оффиціальной бумаги,—словомъ, истинный литературный интересъ былъ дѣломъ тѣснаго круга людей, а для большинства тѣхъ, кто что-нибудь читалъ, былъ только пріятнымъ развлеченіемъ въ досужую минуту, безъ котораго въ крайнемъ случаѣ можно было совсѣмъ обойтись. Дѣятельность Карамзина дала первый намекъ на дѣйствительное значеніе литературы, какъ о̀ргана нравственныхъ и художественныхъ интересовъ общества, но настоящій переворотъ совершился съ Пушкинымъ; его стихи встрѣчены были съ настоящимъ энтузіазмомъ; поэзія его не искала читателей,—напротивъ, они наперерывъ торопились прочитать каждую новую пьесу; кругъ читателей расширился вдругъ небывалымъ образомъ; въ первый разъ явилось настоящее наслажденіе поэзіей, которое сознательно или полусознательно ощущали и люди образованные,

[1]) Напомнимъ хоть одинъ примѣръ. Дельвигъ писалъ къ Пушкину въ Михайловское: „Никто изъ писателей русскихъ не поворачивалъ такъ *каменными сердцами* нашими, какъ ты"...

и люди едва книжные, — тѣхъ и другихъ подкупала красота и легкость родного языка, котораго они еще не знали въ такой изящной роскошной формѣ. Мы скажемъ дальше, что Пушкинъ въ эту первую пору привлекалъ своихъ поклонниковъ и другими чертами своей поэзіи, тѣми легкими эпиграмматическими пьесами, которыя направлены были на интересъ минуты; но эти стихотворенія частію не всей массѣ были поняты, частію слишкомъ случайны;—но главнымъ образомъ дѣйствовали его общеизвѣстныя стихотворенія и поэмы, привлекательная сила которыхъ была вовсе не въ политическомъ намекѣ, а въ поэтической красотѣ. Первое значительное произведеніе Пушкина, которое было и первымъ большимъ успѣхомъ, была легкая романтическая поэма на сюжетъ народной сказки, который былъ здѣсь переработанъ со всей свободой поэтическаго каприза, обставленъ множествомъ легкихъ фантастическихъ украшеній, пересыпанъ слегка фривольными картинками—и въ цѣломъ поэма не представляла ни малѣйшаго общественнаго намека, ничего кромѣ поэтической игры воображенія. Успѣхъ „Руслана и Людмилы“ былъ исключительно успѣхъ чистой поэзіи, довольно слабо привязанной къ народному сюжету, который въ ту пору былъ и мало замѣченъ за прелестью стиха и изяществомъ отдѣльныхъ подробностей. Слѣдующія поэмы до самаго „Онѣгина“ были, правда, окрашены извѣстной тенденціей, отголосками байроническаго недовольства и скептицизма, но для массы читателей главную привлекательность ихъ составляла не общая мысль, а опять рядъ поэтическихъ картинъ, нанизанныхъ на романическую нить. Такъ и до конца: люди наиболѣе образованные (какъ лучшіе изъ тогдашнихъ критиковъ Пушкина) умѣли понять процессъ мысли Пушкина, угадывали тѣ колебанія его идей, какія мы ближе ихъ узнаемъ теперь изъ его оставшихся бумагъ, переписки, біографическихъ разсказовъ;— но для огромнаго большинства, можно сказать, для всей массы его читателей Пушкинъ являлся всего больше, если не исключительно, поэтомъ, поражавшимъ фантазію и чувство богатствомъ своихъ картинъ, возвышенностью поэтическаго настроенія, красотою образовъ, задушевностью чувства, остроуміемъ и изяществомъ стиха.

Бѣлинскій и за нимъ критика 50-хъ годовъ справедливо видѣли въ этомъ дѣйствіи Пушкина его первую и величайшую заслугу. Онъ твердо водворилъ поэзію въ нашей литературѣ; первый сдѣлалъ ее потребностью общества, необходимой стихіей его внутренней жизни. Онъ могъ совершить это дѣло прежде всего и выше всего какъ великій *художникъ*. Чтобы убѣдиться въ вѣр-

ности этого сужденія, довольно оглянуться на то состояніе, въ какомъ находилась литература до Пушкина, какіе элементы ея доживали свой вѣкъ въ теченіе самой его дѣятельности. Предъ самымъ его появленіемъ шла борьба между „Бесѣдой“ и „Арзамасомъ“; нужно было еще защищать тѣ легкія и неглубокія нововведенія въ языкѣ и литературѣ, какія были сдѣланы Карамзинымъ; первое произведеніе Пушкина, рядомъ съ восторгами новыхъ поколѣній, встрѣчено было злобнымъ шипѣніемъ поклонниковъ дряхлой псевдо-классической старины и ея напыщеннаго, тяжелаго полу-русскаго языка. Пушкинъ не защищался отъ этихъ нападеній; онѣ падали сами собой, и каждое новое произведеніе его было новымъ шагомъ въ будущую литературу. Сравненіе той почвы, какую онъ встрѣтилъ, съ его собственнымъ дѣломъ достаточно указываетъ его первую отличительную черту.

Но несправедливо думать, что въ упомянутой характеристикѣ Пушкина, какъ художника, разумѣлось только высокое формальное достоинство его произведеній. Съ понятіемъ художества соединялось понятіе о высшей дѣятельности человѣческаго духа: художникъ обладаетъ не только изящной формой, но и высокимъ настроеніемъ мысли, глубиной и тонкостью чувства; онъ вращается въ области идеала. Пушкинъ, какъ художникъ, былъ носителемъ идеи о достоинствѣ человѣческой личности, проникнутъ былъ стремленіемъ къ правдѣ, глубокимъ гуманнымъ чувствомъ, убѣжденіемъ въ необходимости просвѣщенія и въ свободномъ дѣйствіи человѣческой мысли; наконецъ, онъ проникнутъ былъ горячей любовью къ своему народу, къ его славѣ и величію... Новѣйшіе критики полагаютъ, что дѣлаютъ открытіе, изображая въ Пушкинѣ пламеннаго патріота, защитника просвѣщенія, ревнителя общественныхъ успѣховъ, словомъ „поэта-гражданина“. Эти черты Пушкина вовсе не были неизвѣстны, и, сличивъ выводы, едва ли не придется отдать преимущество взглядамъ критика 40-хъ годовъ. Дѣло въ томъ, что Бѣлинскій отличалъ *общее* широкое настроеніе идей и поэзіи Пушкина отъ его мнѣній по *частнымъ* вопросамъ общественности и, пожалуй, политики; о нѣкоторыхъ чертахъ взглядовъ Пушкина Бѣлинскій въ свое время не могъ говорить, а другія раскрылись только позднѣе изъ новѣйшихъ біографическихъ изысканій; но тамъ, гдѣ Бѣлинскій имѣлъ передъ собой болѣе или менѣе ясныя обнаруженія подобныхъ частныхъ взглядовъ Пушкина, онъ не усомнился отвергать ихъ, если они казались ему невѣрны (напр., по поводу его аристократическихъ и консервативныхъ тенденцій), и тѣмъ больше убѣждался, что главное значеніе Пушкина для своего и позднѣйшаго времени есть его значеніе какъ *художника*,

а не какъ общественнаго *теоретика*. Здѣсь, по его мнѣнію, Пушкинъ нерѣдко заблуждался, и это было, безъ сомнѣнія, справедливо.

Современные панегиристы, полагая, что Пушкинъ, недостаточно оцѣненъ былъ критикой 40-хъ и 50-хъ годовъ, обвиняютъ послѣднюю въ односторонности, въ непониманіи его духа, и въ доказательство новѣйшаго пониманія ссылаются на чествованіе памяти Пушкина 1880 и 1887 годовъ, ссылаются даже на рѣчь Достоевскаго. Тутъ есть нѣкоторое недоразумѣніе. Сравнивъ тѣ нравственно-общественные выводы, какіе дѣлались въ эти послѣдніе годы изъ дѣятельности Пушкина, съ тѣми, какіе дѣлались въ сороковыхъ годахъ, мы едва ли не должны отдать предпочтеніе рѣшеніямъ Бѣлинскаго (съ упомянутыми выше оговорками): Пушкинъ здѣсь явится едвали не въ болѣе точной оцѣнкѣ его историческаго вліянія и его художественнаго величія. Вспомнимъ, что въ эти послѣдніе годы Пушкинъ оказался героемъ для двухъ весьма несходныхъ сторонъ общественной мысли: въ немъ нашли своего человѣка, своего пророка—и тѣ, кто находилъ спасеніе Россіи въ неуклонномъ консерватизмѣ, и тѣ, для кого Пушкинъ былъ дорогъ именно какъ геніальный провозвѣстникъ народнаго просвѣщенія, прогресса и свободы. Въ самую минуту новѣйшихъ торжествъ чувствовалось, что здѣсь скрывается какое-то противорѣчіе, и до сихъ поръ мы не видѣли попытки выяснить его, хотя оно несомнѣнно. Всматриваясь въ эти двусторонніе панегирики, надо согласиться, что обѣ стороны имѣютъ свое основаніе: Пушкинъ дастъ свои волшебныя слова и тѣмъ, кто думаетъ, что формы нашей жизни закончены, что намъ остается только пребывать въ тѣхъ предѣлахъ, какіе поставлены прошедшимъ; но онъ даетъ ихъ и тѣмъ, кто убѣжденъ, что жизнь не можетъ стоять на мѣстѣ, что ей предстоитъ, напротивъ, работа развитія, отрицанія, исканія новыхъ идеаловъ для личнаго и для народнаго бытія. Увѣрившись въ этомъ, мы должны будемъ признать въ Пушкинѣ извѣстную двойственность, другими словами, извѣстное разнорѣчіе, и чтобы опредѣлить его, должно будетъ признать именно то различіе между Пушкинымъ-художникомъ и общественнымъ человѣкомъ, которое было видно Бѣлинскому и которое новѣйшіе критики хотятъ слить въ представленіи Пушкина какъ поэта-гражданина... Если мы спросимъ себя: какъ могли, однако, эти разнородные элементы новѣйшаго общества соединиться въ единодушномъ чествованіи Пушкина, объясненіе найдется именно въ этой высшей чертѣ личности Пушкина,

въ этой необычайной художественности, которая нѣкогда увлекала его первыхъ, полусознательныхъ читателей, которая сдѣлала его могущественнымъ двигателемъ послѣдующей литературы, и которая продолжала теперь неодолимо властвовать надо всѣми, кто только поддается поэтическому очарованію, безъ различія „направленій". Что касается, въ частности, общественныхъ идей Пушкина, одни могли искренно и не безъ основанія считать его защитникомъ общественнаго status quo; другіе съ такимъ же правомъ увлекались общимъ гуманнымъ и просвѣтительнымъ настроеніемъ Пушкина, а то сильное возбужденіе, какимъ сопровождено было воспоминаніе о Пушкинѣ въ послѣдніе годы, имѣло, кажется, еще одно, довольно существенное, хотя только немногими сознаваемое, основаніе: въ предшествовавшія десятилѣтія мы переживали глубокій кризисъ, кризисъ историческій, затрогивавшій самые капитальные вопросы нашего просвѣщенія и народнаго развитія; въ теченіе его мы пережили много тяжелыхъ испытаній, много восторженныхъ надеждъ, кончившихся разочарованіями и часто равнодушіемъ; въ эту минуту воспоминаніе о Пушкинѣ, за которымъ исторія уже неопровержимо утвердила фактъ животворнаго вліянія на судьбу нашей литературы, т.-е. нашего самосознанія, это воспоминаніе являлось отвлеченной, но несокрушимой надеждой на будущее. Если разъ былъ Пушкинъ, если не подлежалъ сомнѣнію фактъ обширныхъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ литературой по его иниціативѣ, то историческая вѣроятность побуждала думать, что „благое дѣло" не будетъ потеряно, являлась увѣренность, что оно будетъ совершаться и преодолѣетъ тѣ испытанія, какія ставитъ ему тяжелая дѣйствительность. Это нравственное убѣжденіе было нашимъ субъективнымъ мотивомъ, но, съ другой стороны, само принадлежитъ къ числу результатовъ вліянія Пушкина—какъ поэта-художника.

Переходя отъ чисто художественной стороны Пушкина, много разъ и единодушно оцѣненной, къ его теоретическимъ взглядамъ въ области нравственно-религіозной и общественно-бытовой, мы встрѣчаемся съ такимъ разнообразіемъ идей, не только мало сходныхъ, но прямо исключающихъ другъ друга, идей, частію принадлежавшихъ разнымъ эпохамъ его развитія, частію уживавшихся въ немъ въ одно и то же время, что опредѣлить ихъ одной системой очень трудно, вслѣдствіе чего и біографическая оцѣнка ихъ остается до сихъ поръ весьма различна. Новѣйшіе историки, которые хотятъ видѣть въ Пушкинѣ поэта-гражданина, слѣдовательно, поэта опредѣленныхъ общественныхъ идей, невольно сознаются въ этой трудности уловить его идейный харак-

теръ [1]). Остается изображать этотъ характеръ біографически. „Приливы и отливы“, „противорѣчія“, совершались не только въ душевныхъ настроеніяхъ, исходившихъ отъ опытовъ жизни, удачъ или невзгодъ, но и въ самомъ существѣ его теоретическихъ понятій и общественныхъ взглядовъ.

Укажемъ вкратцѣ судьбу этихъ настроеній Пушкина и ту оцѣнку, которую находили они у его историковъ.

Въ общемъ ходѣ литературнаго развитія Пушкинъ, какъ извѣстно, тѣсно примыкаетъ къ своимъ ближайшимъ предшественникамъ—и къ Карамзину, который былъ его учителемъ въ исторіи, и къ Жуковскому и Батюшкову, которые только передъ тѣмъ на мѣсто окончательно вымиравшаго псевдо-классицизма ставили впервые новыя романтическія вѣянія, и рядомъ начинали реформу въ поэтическомъ языкѣ. Юноша-Пушкинъ сразу становился равнымъ товарищемъ съ авторитетными писателями и занялъ мѣсто въ пресловутомъ „Арзамасѣ“... Въ складѣ своихъ общественныхъ понятій онъ въ эту пору расходился, однако, съ своими литературными учителями и друзьями и поддался инымъ вліяніямъ, и именно въ кружкѣ молодыхъ, свѣтскихъ и военныхъ друзей воспринялъ тѣ впечатлѣнія политическихъ событій, которыя развили либерализмъ молодыхъ поколѣній второго и начала третьяго десятилѣтія. Юношескій умъ и чувство были увлечены великодушными мечтами о народной свободѣ, которыя тѣмъ сильнѣе овладѣвали молодыми умами, что казались естественнымъ результатомъ и дополненіемъ великаго подвига двѣнадцатаго года

[1]) У одного изъ новѣйшихъ историковъ мы читаемъ: „По свойствамъ своего характера, Пушкинъ далеко не былъ тѣмъ, что называется „цѣльной натурой“: русская жизнь вообще, а въ его время въ особенности, вовсе не благопріятствовала выработкѣ такихъ цѣльныхъ натуръ, людей aus einem Guss (много ли подобныхъ типовъ представляетъ и теперь наша литература?). Оттого-то, въ минуты вдохновеннаго творчества, въ немъ часто пробуждались прежнія сомнѣнія, вносили въ его душу разладъ, приводили къ разочарованію, заставляли замыкаться въ самомъ себѣ, и съ презрѣніемъ, подобно Алеко, отвертываться отъ толпы, равнодушной къ усиліямъ литературы:

Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричь... (1823).
. . . .
Въ разратѣ каменѣйте смѣло,
Не оживитъ васъ лиры гласъ (1828).

„Затѣмъ въ немъ снова воскресала вѣра и снова звала его „въ набѣги просвѣщенія, на приступы образованности“, къ борьбѣ на литературной аренѣ, которую онъ такъ сильно желалъ и такъ тщетно пытался расширить. Такихъ противорѣчій, приливовъ и отливовъ у Пушкина было не мало“ (Морозовъ: „Дѣло“, 1887, февраль, стр. 91).

и „освобожденія Европы“, совершеннаго Россіей. Старшіе литературные друзья не только не могли раздѣлять либеральныхъ увлеченій, но, какъ Карамзинъ, сурово осуждали проявленія вольнодумства, къ какимъ приводилъ Пушкина молодой задоръ таланта и характера. Оказались двойственныя отношенія: старшіе друзья высоко цѣнили поэтическую геніальность юноши, не одобряли ни его либерализма, ни той молодой распущенности, въ какую онъ вдавался въ кругу своего офицерскаго пріятельства, но въ крайнихъ случаяхъ спасали Пушкина отъ большихъ бѣдъ. Пушкинъ былъ очень къ нимъ привязанъ, но его не меньше, если не больше привлекалъ другой кружокъ: въ средѣ военной и свѣтской молодежи было не одно общество „зеленой лампы“, но и кружки людей иного характера, задавшихся общественными вопросами, мечтавшихъ о политическихъ преобразованіяхъ. Пушкинъ сначала въ Петербургѣ, т.-е. еще до 1820 года, потомъ на югѣ Россіи, встрѣчался съ цѣлымъ рядомъ лицъ, принадлежавшихъ къ тайному обществу и получившихъ потомъ извѣстность, нерѣдко трагическую. Онъ былъ въ тѣсныхъ дружескихъ связяхъ съ И. И. Пущинымъ, Чаадаевымъ, М. Ѳ. Орловымъ; болѣе или менѣе былъ близокъ съ Ник. Муравьевымъ, Раевскими А. Н. и В. Ѳ., Рылѣевымъ, А. Бестужевымъ, Охотниковымъ, В. Л. Давыдовымъ, Пестелемъ и др. Извѣстно, какъ привлекали Пушкина бесѣды съ этими людьми, которые потомъ почти поголовно стали „декабристами“; какъ Пушкинъ, подозрѣвая заговоръ, стремился самъ въ среду тайнаго общества; какъ прочны остались впослѣдствіи его сочувствія къ этимъ людямъ, хотя онъ давно пересталъ раздѣлять ихъ политическія идеи, какъ наконецъ посылалъ онъ имъ привѣты въ „мрачныя пропасти земли“. Какъ ни положительно онъ осудилъ уже вскорѣ ихъ безразсудные планы, и сколько ни настаивали на этомъ нѣкоторые біографы, остается несомнѣннымъ, что именно въ средѣ этихъ отношеній воспитались тѣ благородныя общественныя идеи Пушкина, въ которыхъ указывается его высокое гражданское значеніе и которымъ, при всѣхъ послѣдующихъ колебаніяхъ и за нѣкоторыми изъятіями, онъ остался вѣренъ до конца [1]. Въ этихъ идеяхъ заключалось иное пониманіе общественныхъ отношеній, чѣмъ то, какое господствовало въ нравахъ: было здѣсь стремленіе къ самодѣятельности общественной и охранѣ личнаго достоинства, къ освобож-

[1]) Ср. замѣчанія В. Якушкина въ статьѣ: „Радищевъ и Пушкинъ“, гдѣ собраны, между прочимъ, указанія о связяхъ Пушкина съ либеральнымъ кружкомъ двадцатыхъ годовъ.

денію крѣпостного народа, къ широкому просвѣщенію, къ свободѣ мысли и поэтическаго творчества.

Писатель, который съ наибольшимъ вниманіемъ старался изучить исторію внутренняго развитія Пушкина, Анненковъ относится весьма недружелюбно къ эпохѣ, о которой мы говоримъ: ея умственныя движенія и политическіе запросы кажутся ему столь поверхностными, столь младенческими, что онъ разсказываетъ о нихъ, и въ томъ числѣ о тогдашнихъ, да и позднѣйшихъ порывахъ Пушкина, если не въ тонѣ строгаго осужденія, то въ тонѣ нѣкотораго, иногда почти пренебрежительнаго снисхожденія. Умственные интересы, увлекавшіе тогда молодой кружокъ, представляются Анненкову только какъ „необычайная и страстная влюбчивость въ идеи и представленія, попадавшія на глаза“, которая „сдѣлалась господствующей чертой нашего общества послѣ заграничныхъ войнъ и замѣняла ему настоящее образованіе“. Понятно, что европейская мысль, приходя къ намъ этимъ путемъ, „теряла на новосельѣ свои природныя формы и краски“, и что наши ея приверженцы принимали европейскія явленія „безъ всякаго масштаба для опредѣленія относительной ихъ величины и размѣра“, такъ что „идеи являлись тогда какъ кумиры, съ затерянной генеалогіей, но требовавшіе безусловнаго поклоненія“. Такимъ же образомъ, не имѣли генеалогіи и общественныя идеи, взволновавшія тогдашніе умы, въ томъ числѣ и Пушкина... Но въ этихъ укорахъ забыта исторія всего новѣйшаго русскаго просвѣщенія. Съ тѣхъ поръ, какъ Россія стала на свою новую дорогу, вся исторія нашей образованности была примѣромъ безчисленныхъ проявленій этой самой „влюбчивости“; если науки не было и хотѣлось ее имѣть, если не было знакомства съ созданіями общечеловѣческой мысли и поэзіи отъ древнихъ до новѣйшихъ временъ и была потребность пріобрѣсть его, — что оставалось дѣлать, какъ не обращаться къ чужому источнику; и удивительно ли, что на первый разъ усвоеніе было неполное, потому что въ своей средѣ и на своей почвѣ не къ чему пока было привить новыя знанія или новыя поэтическія идеи? Тѣмъ не менѣе, извѣстно, что трудъ не остался, въ концѣ концовъ, безплоднымъ: новое содержаніе усвоивалось; рядъ этихъ усвоеній создавалъ извѣстную наслѣдственность, и онѣ бросали, наконецъ, зерна въ почву русскаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, съ первыхъ десятилѣтій Петровской реформы мы имѣемъ свидѣтельство фактовъ, что заимствованныя знанія приносили свой результатъ, приноравливавшійся къ русскимъ условіямъ: весь ходъ нашей литературы прошлаго вѣка былъ рядомъ несомнѣнныхъ

успѣховъ, мало-по-малу укрѣплявшихъ дѣло литературы, расширявшихъ и ея содержаніе, и ея распространеніе въ обществѣ. Въ Александровскую эпоху совершалось то же самое: не такою ли „влюбчивостью“ въ идеи, попадавшія на глаза, была литературная дѣятельность Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова? Наконецъ, историкъ не можетъ не замѣтить, что въ числѣ „попадавшаго на глаза“ было часто именно то, къ чему стремились умственные и нравственные инстинкты самого русскаго общества и что этимъ именно и объясняется, что чужое содержаніе усвоилось: на встрѣчу ему шли внутренніе запросы самого русскаго общества.

Подобнымъ образомъ увлеченія политическія въ тогдашнихъ молодыхъ поколѣніяхъ были естественнымъ явленіемъ нашей умственной жизни. Время, переживавшееся тогда въ самой Европѣ, было смутнымъ временемъ переворотовъ политическихъ, общественныхъ, умственныхъ и художественныхъ; само европейское общество, выбитое изъ колеи съ конца прошлаго вѣка, нѣкоторое время не могло отдать себѣ отчета въ происходившемъ; старый порядокъ вещей и старый складъ понятій видимо уходилъ въ прошедшее, но—что должно было замѣнить его, было неясно и для самыхъ свѣтлыхъ умовъ, а тѣмъ болѣе для возбужденныхъ умовъ молодыхъ поколѣній. Первыя два десятилѣтія въ самой Европѣ наполнены были броженіемъ идей политическихъ и культурныхъ, искавшихъ исцѣленія, и въ крайнемъ либерализмѣ, и въ возвращеніи къ среднимъ вѣкамъ (они казались завидной эпохой!), и доходившимъ до размѣровъ фантастическихъ. Россія, удивительнымъ образомъ, тѣсно связалась тогда съ дѣлами западными; она была „освободительницей Европы“; русскій императоръ поочередно самъ увлекался то *европейскимъ* либерализмомъ, то *европейской* реакціей; Россія, затянутая въ „Священный Союзъ“ съ Пруссіей и Австріей (собственно говоря, съ ихъ реакціонными элементами), вступала въ солидарность съ ходомъ внутренней жизни Европы; мудрено ли, что образованнѣйшее русское молодое поколѣніе также подумало о своей солидарности съ другою стороной европейскаго движенія, именно прогрессивной? Извѣстно (и самъ Анненковъ это разсказываетъ), что наша реакція, начавшаяся вмѣстѣ съ европейской, въ одно и то же время считала себя защитой чисто русскихъ началъ и охраной народныхъ преданій и руководилась чужими образцами [1]).

[1]) „Замѣчательно,—говоритъ Анненковъ,—что подъ псевдо-русскую народную охрану становились и реакціонныя ученія, поражавшія своимъ чужевиднымъ, экзотическимъ характеромъ. Такъ, ультра-мистическое направленіе водворившееся въ

Анненкову надо было нѣсколько больше обратить вниманія на это обстоятельство, чтобы видѣть, что „влюбчивость въ идеи, попадавшія на глаза", не была недостаткомъ одного легковѣрнаго молодого поколѣнія, но практиковалась и признанными *тогда* столпами порядка, или, еще больше, что это была неизбѣжная черта нашей образованности, живущая—въ другихъ, конечно, размѣрахъ—и до настоящей минуты... Точно такъ же Анненковъ только мимоходомъ, въ сноскѣ, дѣлаетъ признаніе, что среди слабыхъ и младенческихъ явленій тогдашней литературы были, однако, труды серьезные, „составлявшіе славу эпохи" [1]). Писатели, какъ Н. Тургеневъ, Куницынъ, Велланскій, которыхъ вспоминаетъ Анненковъ, не подводятся въ категорію легкомысленной молодежи того времени, но ихъ труды именно показываютъ, что въ основѣ и въ результатѣ „влюбчивости" могли бывать и бывали серьезныя и жизненныя стремленія.

Осудить политическія увлеченія первыхъ двадцатыхъ годовъ, осужденныя событіями, не составляетъ большого труда; происхожденіе и судьба ихъ были не разъ объясняемы; въ настоящемъ случаѣ довольно замѣтить лишь то первоначальное настроеніе, изъ котораго выходили либералы двадцатыхъ годовъ и которое одно, безъ его дальнѣйшихъ развитій, имѣло свое вліяніе на Пушкина. Либеральный кругъ, въ которомъ онъ бывалъ и которымъ увлекался, довольствовался тогда лишь теоретическими разсужденіями о положеніи вещей въ Россіи; онъ не шелъ далѣе критики и далѣе отвлеченныхъ предположеній о томъ, какія нужны были бы преобразованія для улучшенія нашего порядка вещей. Въ этихъ толкахъ былъ зародышъ общественнаго мнѣнія, и разъ сознательная мысль людей образованныхъ направлялась на предметы нашего внутренняго быта, то не требовалось особенной „влюбчивости въ идеи", чтобы видѣть воніющіе недостатки этого быта, и не далеко было искать средствъ исцѣленія, потому что онѣ указывались уже съ конца XVIII вѣка; напр., необходимость устраненія произвола и поднятія чувства человѣческаго достоинства, указывалась въ „Наказѣ" самой имп. Екатерины, необходимость освобожденія крестьянъ указывалась Радищевымъ. Въ сочувствіяхъ Пушкина этому либерализму не было ничего предосудительнаго; біографы Пушкина обыкновенно осуждаютъ памфлетическія стихотворенія и эпиграммы изъ этой поры какъ

самомъ министерствѣ народнаго просвѣщенія, еще думало, что исполняетъ задачу, указанную ему всей старой русской исторіей", и пр. „Пушкинъ въ Александровскую эпоху", стр. 95.

[1]) Тамъ же, стр. 100, сноска.

увлеченія молодости, отъ которыхъ онъ послѣ самъ отрекался. Но онѣ составляютъ, тѣмъ не менѣе, любопытную черту тогдашней общественной жизни и развитія самого Пушкина; за двумя-тремя исключеніями, дѣйствительно излишне необузданными, эти произведенія вовсе не служатъ къ ущербу его достоинства. Это были порывы сказать правду при безсиліи общественнаго мнѣнія, язвительное обличеніе людей и вещей, которые дѣйствительно наносили вредъ обществу: Аракчеевъ, кн. Голицынъ, Фотій и пр.,—вотъ люди, противъ которыхъ направлялось остроуміе его эпиграммъ. Нѣкоторые изъ біографовъ скорбятъ объ эпиграммѣ противъ „Исторіи" Карамзина; это была, конечно, шутка, не исключавшая уваженія къ великому труду, но отмѣчавшая тенденцію, которая дѣйствительно присутствуетъ въ „Исторіи"... Надо вспомнить существовавшіе нравы [1]), чтобы не возставать противъ памфлетическихъ стихотвореній, которыя оставались единственнымъ удовлетвореніемъ общества за совершавшіеся безобразные факты; возможно ли было иначе подать голосъ противъ нихъ, или нужно было принимать ихъ молча?

Эти легкія произведенія быстро распространялись въ обществѣ; скоро явились и подражанія, иногда столь удачныя, что ихъ приписывали тому же Пушкину.

Сохранились современныя свидѣтельства, указывающія, какое значеніе имѣла эта легкая, почти устная, памфлетическая литература въ свое время. Одинъ современникъ разсказываетъ, что Пушкинъ удивился однажды, услышавъ отъ него одно изъ своихъ стихотвореній этого рода („Ура! въ Россію скачетъ"), которое считалъ неизвѣстнымъ публикѣ. „А между тѣмъ всѣ его ненапечатанныя стихотворенія: *Деревня*, *Кинжалъ*, *Четырестишіе Аракчееву*, *Посланіе къ Петру Чаадаеву* и много другихъ, были не только всѣмъ извѣстны, но въ то время не было сколько-нибудь грамотнаго прапорщика въ арміи, который не зналъ бы ихъ наизусть". Тотъ же авторъ пишетъ: „Вообще Пушкинъ былъ отголосокъ своего поколѣнія, со всѣми его недостатками и со всѣми добродѣтелями. И вотъ, можетъ быть, почему онъ былъ поэтъ истинно-народный, какихъ не бывало прежде въ Россіи". Это было писано долго спустя послѣ событій. Гораздо раньше этихъ воспоминаній, въ концѣ двадцатыхъ годовъ, говорилъ о томъ же другой современникъ, Полевой, который, объясняя тогдашнее увлеченіе молодыхъ поколѣній Пушкинымъ, писалъ: „Не

[1]) Имъ ужасается иногда самъ біографъ Пушкина; см. Анненкова, въ той же книгѣ, стр. 144; онъ „не безъ стыда за свое довольно давнее прошлое" говоритъ объ одной чертѣ тогдашняго общественнаго положенія.

разнообразный геній его, не прелесть картинъ увлекали современную молодежь, а звучные стихи, изображавшіе *ихъ мысль*. Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего болѣе сдѣлалось извѣстно въ Россіи по нѣкоторымъ его мелкимъ стихотвореніямъ, нынѣ забытымъ, но въ свое время ходившимъ по рукамъ во множествѣ списковъ" [1]).

Правда, эта памфлетическая литература была слишкомъ случайна и отрывочна, такъ что легко поддается осужденіямъ біографовъ въ легкомысленной шалости; но какъ иначе можно было передать (не говоримъ о томъ, чтобы передать въ какомъ-либо произведеніи, доступномъ для печати) то настроеніе, какое тутъ предполагается? Вобще отъ той эпохи осталось немного произведеній, которыя съ нѣкоторой полнотой и точностью выдавали бы тогдашнія общественныя мысли Пушкина; но остатки тогдашней переписки, немногія сохранившіяся замѣтки даютъ намеки на то, что его взгляды общественные и историческіе отвѣчали его критическому отношенію къ упомянутымъ современнымъ фактамъ и дѣятелямъ, и не были похожи на то, чѣмъ стали впослѣдствіи. Въ этомъ отношеніи наиболѣе любопытна не разъ цитированная въ послѣдніе годы такъ называемая „кишиневская замѣтка" Пушкина 1822 года, гдѣ онъ набросалъ свои мысли о ходѣ русской исторіи [2]). Анненковъ, который былъ вообще строгимъ судьей Пушкина за время его молодости, отзывается объ этой замѣткѣ съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ [3]): онъ отвергалъ правоспособность Пушкина судить о предметѣ, какъ сомнѣвался вообще въ компетентности тогдашнихъ либераловъ по этому вопросу. По словамъ Анненкова, тогдашняя точка зрѣнія на русскую исторію была слишкомъ апріористическая и не опиралась на точномъ изученіи русскихъ фактовъ, основанномъ не на вычитанныхъ теоріяхъ, а на собственномъ смыслѣ этихъ фактовъ; но это можно сказать о всей нашей исторіографіи въ тѣ времена, даже о самомъ Карамзинѣ. Наша исторіографія развѣ только съ сороковыхъ годовъ начинаетъ пріобрѣтать ту теоретическую самостоятельность, о которой говоритъ біографъ Пушкина. Въ то время историческое изученіе вообще было слишкомъ скудно; едва начиналась предварительная разработка данныхъ, которая должна составлять первый шагъ исторіографіи; отъ упрека въ построеніи исторіи a priori не свободенъ самъ Карамзинъ, основная мысль котораго о значеніи древ-

[1]) „Московскій Телеграфъ", 1829, т. 27, стр. 227.

[2]) Сочиненія Пушкина, въ изданіи Лит. Фонда, т. V, стр. 10—14.

[3]) Пушкинъ въ Александр. эпоху, стр. 157 и далѣе; см. выше, стр. 92 и слѣд.

няго періода была ошибочна,—и либералы двадцатыхъ годовъ догадались объ этомъ при самомъ появленіи „Исторіи государства Россійскаго". Они не были, конечно, спеціалистами; но книга Карамзина была и публицистическимъ поученіемъ, которое адресовано было къ современникамъ, и у этихъ послѣднихъ едва ли можно было бы отрицать право высказаться относительно значенія проповѣди, къ нимъ обращенной... Итакъ, сужденія не иначе, какъ a priori, были неизбѣжны по всему положенію дѣла, а съ другой стороны, нѣкоторыя существенныя черты историческаго прошлаго, особливо не очень тогда давняго, могли быть понятны по близкому преданію и по фактамъ современнымъ. „Кишиневская замѣтка" дѣйствительно вовсе не такъ легкомысленна, какъ это можетъ казаться по отзывамъ біографовъ объ этомъ періодѣ жизни Пушкина. Замѣтка посвящена нашей исторіи XVIII-го вѣка, той исторіи, которую въ то время можно было наблюдать еще по живымъ слѣдамъ. Замѣтка представляетъ рядъ любопытныхъ сужденій о герояхъ и героиняхъ нашего XVIII-го вѣка, сужденій замѣчательныхъ уже тѣмъ, что они замѣняли критикой тотъ панегирическій тонъ, который господствовалъ въ нашей литературѣ безраздѣльно по этому предмету до послѣдняго времени. Мысли Пушкина вѣроятно вызваны были бесѣдами въ кружкѣ его либеральныхъ друзей, и если впослѣдствіи сложилась у него политическая теорія съ явнымъ аристократическимъ оттѣнкомъ и, вмѣстѣ, сильно консервативная, то въ эту раннюю пору мы находимъ, напротивъ, отношеніе къ аристократіи весьма неблагопріятное. Въ теченіе XVIII-го вѣка Пушкинъ видитъ попытки аристократіи ограничить самодержавіе въ свою пользу: „къ счастію, хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ *чудовищнаго феодализма*, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ. Еслибы гордые замыслы Долгорукихъ и пр. совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостного состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла, а твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣ-

щенными народами Европы". Дальше онъ замѣчаетъ, что памятниками неудачной борьбы „аристократіи съ деспотизмомъ" остались два указа Петра III о вольности дворянъ, „указы, коими предки наши столько гордились и коихъ, справедливѣе, должны были бы стыдиться". О временахъ Екатерины Пушкинъ отзывается очень сурово. Духъ дворянства упалъ: „стоитъ только вспомнить о пощечинахъ, щедро имъ (временщиками) раздаваемыхъ нашимъ князьямъ и боярамъ, о славной роспискѣ Потемкина, хранимой донынѣ въ одномъ изъ присутственныхъ мѣстъ государства, объ обезьянѣ графа Зубова, о кофейникѣ князя Куракина и проч... Они (временщики) не знали мѣры своему корыстолюбію, и самые отдаленные родственники временщика съ жадностью пользовались краткимъ его царствованіемъ. Отселѣ произошли сіи огромныя имѣнія вовсе неизвѣстныхъ фамилій, и совершенное отсутствіе чести и честности въ высшемъ классѣ народа. Отъ канцлера до послѣдняго протоколиста все крало и все было продажно". Сравнивъ эти мнѣнія, напримѣръ, съ извѣстной эпиграммой Пушкина о временахъ Екатерины, мы увидимъ, что эпиграмма вовсе не была случайнымъ легкомысліемъ и шалостью писателя, что въ ней высказалось накипѣвшее недовольство; становится понятенъ недружелюбный тонъ, въ которомъ онъ говоритъ о временахъ сѣверной Семирамиды. Не приводимъ дальнѣйшихъ мнѣній Пушкина о временахъ Екатерины—о жестокости правленія „подъ личиной кротости и терпимости", о всеобщей продажности, о закрѣпощеніи милліона свободныхъ людей, о преслѣдованіяхъ литературы, о „непристойной фарсѣ депутатовъ", о „лицемѣрномъ" Наказѣ и т. д.,—мнѣній, представляющихъ весьма ясное пониманіе вещей и до сихъ поръ еще не развитое въ нашихъ изученіяхъ той эпохи... Взгляду Анненкова на историческія понятія Пушкина этой поры можно противопоставить слова перваго издателя „кишиневской замѣтки" [1]): онъ указывалъ значительность мнѣній Пушкина, высказанныхъ въ двадцатыхъ годахъ, когда было довольно людей, думавшихъ также о крестьянскомъ вопросѣ, но когда даже между самыми образованными людьми очень немногіе имѣли правильное понятіе объ историческомъ значеніи русской аристократіи. Приведемъ еще слова компетентнаго ученаго историка. „Наша исторіографія ничего не выиграла ни въ *правдивости*, ни въ занимательности, долго развивая взглядъ на нашъ XVIII вѣкъ, противоположный высказанному Пушкинымъ въ одной кишиневской замѣткѣ 1822 г." [2]).

[1]) Е. И. Якушкинъ, въ „Библіографическихъ Замѣткахъ", 1859.

[2]) Рѣчь В. О. Ключевскаго на Пушкинскомъ торжествѣ 1880 года, въ московскомъ университетѣ.

Во время пребыванія на югѣ Россіи, Пушкинъ продолжалъ встрѣчаться съ кругомъ людей, въ средѣ которыхъ образовались указанныя сейчасъ его мнѣнія. Къ этому времени относится и вліяніе Байрона. Много разъ было объяснено, что хотя одно время великій англійскій поэтъ имѣлъ сильное вліяніе на Пушкина, но что, собственно говоря, это были двѣ натуры и два настроенія слишкомъ различныя, чтобы можно было ожидать у Пушкина дѣйствительныхъ отголосковъ байроновскихъ идей. Ни складъ понятій Пушкина, ни характеръ общества, въ которомъ онъ жилъ и къ которому обращался, не давали мѣста байроновскому отрицанію, но въ извѣстномъ отношеніи оно совпадало съ характеромъ нашего поэта; байронизмъ укрѣплялъ въ Пушкинѣ сознаніе личнаго достоинства и поэтической свободы, и съ другой стороны поддерживалъ отрицательное отношеніе къ условнымъ понятіямъ и требованіямъ пустого и испорченнаго общества. Вліяніе Байрона было кратковременно,—но оно не случайно совпадало съ особымъ подъемомъ критическихъ запросовъ Пушкина въ исторіи и общественной дѣятельности, хотя въ „русскомъ байронизмѣ“ была и та оборотная сторона, на которой особливо настаиваетъ Анненковъ [1]).

[1]) „Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, гл. V, стр. 167 и д. (170—171). Объ историческомъ смыслѣ байроновскаго отрицанія см. замѣчанія Спасовича, и поправку его, и особливо Анненкова, въ одномъ изъ критическихъ очерковъ г. Скабичевскаго:

„...Въ сужденіяхъ о вліяніи Байрона, замѣчаетъ г. Скабичевскій,—до сихъ поръ упускалась изъ виду одна сторона увлеченія Байрономъ, какъ Пушкина, такъ и всего его поколѣнія, весьма существенная и самая важная, такая сторона, которая одна вполнѣ оправдываетъ это увлеченіе и представляетъ его отнюдь не какимъ-то наноснымъ и преходящимъ, а напротивъ того, оставившимъ глубокіе слѣды въ русской жизни и для Пушкина прошедшимъ далеко не однимъ безслѣднымъ вѣяніемъ.

„Скажемъ прямо, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ новымъ нравственнымъ идеаломъ, который до того времени былъ совершенно неизвѣстенъ и явился къ намъ въ формѣ героя въ байроновскомъ духѣ какъ разъ въ такое время, когда общество наше было наиболѣе расположено къ воспріятію его; вслѣдствіе чего такъ и увлеклись всѣ этимъ идеаломъ и особенно молодые люди. Мы подразумѣваемъ здѣсь не пессимизмъ, не разочарованіе байроновскихъ героевъ, а ихъ полную свободу отъ всякихъ узъ традиціонной и пошлой мѣщанской морали. Хладныя разочарованія, проклятія, лежащія отъ вѣка на челѣ, и пр. представлялись современникамъ Пушкина лишь неизбѣжными аттрибутами байронизма, въ которые они рядились по принятой модѣ и повторяли, какъ попугаи, пессимистическіе возгласы, не вдумываясь особенно глубоко въ ихъ смыслъ и не переставая беззавѣтно отдаваться всѣмъ радостямъ жизни. Но въ томъ, именно, и дѣло, что не пессимизмъ Байрона наиболѣе привлекалъ къ себѣ современниковъ Пушкина, а презрительное пренебреженіе его всѣми свѣтскими обычаями, приличіями и предразсудками, свободное слѣдованіе своимъ стремленіямъ и прихотямъ, вмѣстѣ съ тѣмъ гордое сознаніе собственнаго человѣческаго достоинства, чувство личной независимости и непреклонность ни передъ какими кумирами, ни

Новая ступень развитія Пушкина совпадаетъ съ двухлѣтнимъ пребываніемъ въ Михайловскомъ. Больше чѣмъ когда-нибудь предоставленный самому себѣ въ невольномъ уединеніи, Пушкинъ обдумалъ вновь многое изъ прежняго содержанія своихъ идей и нашелъ новые интересы, которымъ прежде еще никогда не посвящалъ столько вниманія. Это въ особенности интересы исторіи и народности. Извѣстны результаты этого новаго направленія его мысли и поэзіи, главнымъ изъ которыхъ было на первый разъ созданіе „Бориса Годунова". Тогда же готовился и большой поворотъ въ его понятіяхъ общественныхъ. Извѣстенъ разсказъ о томъ, какъ одна случайность удержала его отъ поѣздки въ Петербургъ въ концѣ 1825 года, которая, вѣроятно, сопровождалась бы печальными осложненіями; но въ сущности онъ въ это

передъ какою силою. Однимъ словомъ, это была полная нравственная эмансипація отъ узъ традиціонной прописной морали и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возвышеніе надъ узенькимъ и подленькимъ практицизмомъ Фамусова и пресмыкательствомъ Молчалина, въ которыя было погружено наше общество съ головою.

„Вотъ этою стороною своею байронизмъ сослужилъ огромную службу нашему обществу; онъ поднялъ духъ нашей интеллигенціи, освободилъ человѣка, сдѣлалъ его хозяиномъ своей личности. Пушкинъ и его товарищи казались разнымъ святошамъ того времени какими-то антихристами не потому, что они проводили въ своихъ писаніяхъ какія-либо политическія или философскія тенденціи, а по своему поведенію, по всей обстановкѣ своей жизни: и по длиннымъ всклокоченнымъ волосамъ, и по страсти наряжаться въ фантастическіе костюмы и являться въ нихъ въ такіе салоны, гдѣ все хранитъ чопорную порядочность, и по безумнымъ кутежамъ на показъ передъ всѣмъ городомъ, и по самымъ рискованнымъ и нелѣпымъ скандаламъ, и, наконецъ, по страсти къ бретерству.

„Конечно, со временемъ подобное настроеніе утратило свой острый необузданный и буйный характеръ. Пушкинъ остепенился съ лѣтами, сдѣлался разсудительнымъ и солиднымъ семьяниномъ, вошелъ даже въ придворныя сферы. Въ то же время онъ утратилъ свой либеральный задоръ и сдѣлался, мало того, что оппортунистомъ, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ консерваторомъ и даже, если хотите, реакціонеромъ. Съ тѣхъ поръ съ каждымъ годомъ онъ все болѣе и болѣе освобождался изъ-подъ узъ байронизма, пока, наконецъ, не сталъ на вполнѣ самостоятельную и притомъ реальную почву. Но и при всемъ этомъ въ складѣ характера Пушкина, въ основныхъ нравственныхъ идеалахъ вы все-таки видите глубокій и неизгладимый слѣдъ байроновскаго вліянія, который остается въ поэтѣ до самой его смерти. Какъ ни гнули его обстоятельства, какъ самъ онъ ни старался склониться подъ ихъ тяжкимъ ярмомъ и помириться съ жизнью путемъ различныхъ компромиссовъ, онъ не въ силахъ былъ переломить и передѣлать себя.

„Однимъ словомъ, изъ того, что Пушкинъ и все его поколѣніе не могли усвоить Байрона во всей его глубинѣ и со всѣми его сторонами, вовсе не слѣдуетъ, чтобы вліяніе Байрона было ничтожно и преходяще. Люди 20-хъ годовъ заимствовали изъ Байрона, правда, лишь то, что было имъ по плечу и что имъ было наиболѣе нужно но за-то заимствовали эту сторону они вплотную, и она врѣзала глубокій слѣдъ въ русскую жизнь, игнорировать который не слѣдуетъ, имѣя дѣло съ вліяніемъ байронизма на русское общество".

время былъ уже далекъ отъ настроенія прежнихъ друзей,—съ планами которыхъ, впрочемъ, никогда не былъ вполнѣ солидаренъ. Въ его письмахъ отъ 1825—1826 года видно высокое понятіе о самомъ себѣ, сильное чувство своей независимости, но видно также, что мысли его идутъ въ болѣе спокойномъ направленіи. События 1825—1826 года должны были поразить Пушкина, но едва ли по личнымъ соображеніямъ: онѣ подѣйствовали на него общимъ характеромъ факта. Трезвый умъ Пушкина не могъ остановиться на фантастическихъ ожиданіяхъ; нѣкоторые изъ его новѣйшихъ критиковъ вѣрно подмѣтили ту черту его дѣятельной и подвижной натуры, которая заставляла его искать выхода изъ неопредѣленныхъ положеній и находить новую дѣятельность въ измѣнявшихся условіяхъ,—черта, которую называли оппортунизмомъ. Это не былъ вовсе узкій оппортунизмъ личнаго честолюбія, но потребность дѣятельности, заставлявшая приноровляться къ тѣмъ неодолимымъ условіямъ, какія давались всѣмъ ходомъ событій и внѣ которыхъ она была немыслима. До извѣстной амнистіи, Пушкинъ выражалъ уже въ письмахъ къ Жуковскому готовность „примириться съ правительствомъ",—но „условіемъ" была личная независимость; онъ желалъ только простора для своей собственной дѣятельности, для которой намѣчалась уже другая дорога. Высокое вниманіе императора Николая окончательно утвердило его въ новомъ направленіи; онъ мечталъ въ ту пору, что предстоитъ порядокъ вещей, съ которымъ могутъ вполнѣ совпасть его собственныя стремленія. Отъ своего стараго либерализма онъ отказывался; онъ оставался вѣренъ только прежнимъ убѣжденіямъ въ необходимости просвѣщенія и полагалъ, что въ новомъ порядкѣ вещей найдетъ и себѣ желанный просторъ. Въ первую минуту, когда положеніе еще не выяснилось, эти предположенія были возможны; но при извѣстномъ характерѣ второй четверти столѣтія довольно трудно представить себѣ, какимъ образомъ Пушкинъ могъ питать тѣ же надежды и тогда, когда ему уже вскорѣ пришлось испытать крайнее стѣсненіе для своей собственной дѣятельности и пренебрежительное недовѣріе исполнителей, несмотря на покровительство и довѣріе самого императора. Надо было обманывать себя иллюзіями, и Пушкинъ не разъ отдавался ожиданіямъ, которыя были мало основательны и въ ту пору дѣйствительно никогда не были осуществлены. Между тѣмъ онъ входилъ въ свою новую роль—просвѣщеннаго консерватизма, который считалъ тогда существующимъ и признаннымъ. Въ запискѣ о „народномъ воспитаніи" (ноябрь, 1826), составленной по оффиціальному приглашенію и

только недавно сдѣлавшейся извѣстною, Пушкинъ говоритъ наподобіе того, какъ говорилъ бы оффиціозный публицистъ, угадывающій виды правительства. Впослѣдствіи онъ дѣйствительно надѣялся (хотя планъ не исполнился) стать такимъ публицистомъ, дѣйствующимъ для выясненія видовъ власти въ обществѣ и вмѣстѣ для выраженія лучшей части общественнаго мнѣнія. Въ этихъ планахъ онъ былъ безъ сомнѣнія искрененъ; онъ убѣждалъ себя, что могутъ нуждаться въ томъ содѣйствіи, которое онъ предлагалъ,—но онъ ошибся: въ глазахъ людей, отъ которыхъ зависѣло дѣло, онъ все еще былъ опасный либералъ, хотя на дѣлѣ онъ въ это время уже высказывалъ мнѣнія, которыя далеко не были похожи на либеральныя; да вообще въ этомъ и не нуждались.

И теперь, какъ въ прежнее время, въ его умѣ и чувствѣ сталкивались противорѣчивыя стремленія. Передъ нимъ неизмѣнно держался возвышенный, нѣсколько отвлеченный идеалъ свободнаго поэта-проповѣдника; онъ стремился служить просвѣщенію, добру и правдѣ, но въ практическихъ примѣненіяхъ его не разъ оставляла эта широта его идеаловъ, и въ усердіи неофита онъ становился на защиту консерватизма даже тамъ, гдѣ не дѣлали этого прямые его органы. Его мнѣнія совпадали не разъ съ извѣстнымъ настроеніемъ второй четверти столѣтія. Таковы разные факты его дѣятельности за послѣдніе годы его жизни: записка о воспитаніи, участіе въ запискѣ князя Вяземскаго по поводу Устрялова и Полевого, отзывы о якобинизмѣ того же Полевого [1]), статьи о Радищевѣ и т. п.

Въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ изъ той поры, въ перепискѣ и отрывкахъ дневника можно не разъ наблюдать это настроеніе, хотя рядомъ высказываются опять идеальныя представленія о достоинствѣ литературы, о долгѣ писателя. Многіе изъ тѣхъ фактовъ, на которые мы указываемъ, стали извѣстны только біографически, но настроеніе Пушкина было замѣчено въ свое время и подавало поводъ къ тѣмъ холоднымъ отзывамъ, какіе не разъ повторялись въ литературѣ за послѣдніе годы его жизни [2]).

Почти странно, что эта внутренняя исторія Пушкина до сихъ поръ не была изложена со всею полнотою и послѣдовательностью, какихъ требовала бы. Наиболѣе труда положилъ на это Аннен-

[1]) Сочиненія Пушкина, изд. Литер. Фонда, т V, стр. 204.

[2]) См., напр., ядовитую пародію на стихотвореніе Пушкина „Чернь"—подъ заглавіемъ „Поэтъ",—въ „Телеграфѣ", 1832 г. 44, № 8, камеръ-обскура, стр. 153, перепечатанную въ „Современникѣ", 1855, № 7, стр. 6—7.

ковъ, но въ старыхъ „Матеріалахъ“ онъ былъ до того стѣсненъ въ своемъ изложеніи, что нѣкоторыхъ фактовъ не могъ коснуться вовсе, о другихъ вынужденъ былъ говорить такъ темно, что его собственныя „объясненія“ требовали со стороны читателя работы надъ разрѣшеніемъ намековъ и умолчаній; затѣмъ безъ этихъ стѣсненій онъ разсказалъ снова жизнь Пушкина въ Александровскую эпоху и наконецъ, обратившись еще разъ къ источникамъ, которыхъ не могъ излагать сполна въ „Матеріалахъ“, далъ ихъ въ видѣ комментарія къ отдѣльнымъ документамъ [1]). Къ этому прибавились потомъ лишь нѣкоторыя разысканія объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Пушкина, новые отрывки изъ его бумагъ, новыя дополненія къ перепискѣ и т. д., но все это до сихъ поръ не завершено цѣльнымъ изслѣдованіемъ. Остановимся на нѣкоторыхъ частностяхъ.

Тотъ консервативный характеръ, какой приняли мысли Пушкина ко времени новаго царствованія, обнаружился какъ въ его литературныхъ представленіяхъ, такъ и въ теоріяхъ политическихъ. Самыхъ давнихъ источниковъ того и другого надо искать еще въ Александровскую эпоху. Анненковъ, у котораго вообще разбросано много тонкихъ историческихъ и психологическихъ наблюденій, хотя слишкомъ часто одностороннихъ, доказываетъ, съ одной стороны, сильное вліяніе „Арзамаса“ на складъ литературныхъ понятій Пушкина, оставшееся на всю его жизнь, съ другой—въ вольнолюбивыхъ мечтахъ Пушкина отмѣчаетъ уже за то время „аристократическій радикализмъ“, который путемъ легкой переработки могъ превратиться въ его позднѣйшія теоріи желаемаго возстановленія роли стараго боярства и дворянства на службѣ самодержавія.

И въ старыхъ „Матеріалахъ“, и въ новыхъ біографическихъ трудахъ Анненковъ одинаково придаетъ большое значеніе упомянутому „Арзамасу“. Сказавъ о дружескихъ собраніяхъ „Арзамаса“, въ которомъ „веселое направленіе не мѣшало весьма строго цѣнить произведенія въ отношеніи правильности выраженія, вѣрности образовъ и выбора предметовъ“ и члены котораго вмѣшались потомъ въ споры, возникшіе по поводу первыхъ произведеній Пушкина, и въ ихъ защиту, Анненковъ говоритъ: „Такъ важно было вліяніе „Арзамаса“ на литературу нашу, и надо прибавить къ этому, что Пушкинъ уже сохранилъ навсегда уваженіе, какъ къ лицамъ, признаннымъ авторитетами въ средѣ его, такъ

[1]) Въ статьяхъ: „Общественные идеалы Пушкина“, „Литературные проекты Пушкина“.

и къ самому способу дѣйствованія во имя идей, обсуженныхъ цѣлымъ обществомъ. Онъ сильно порицалъ у друзей своихъ попытки разъединенія, проявившіяся одно время въ видѣ нападокъ на произведенія Жуковскаго, и вообще всѣ такого же рода попытки, да и къ одному личному мнѣнію, становившемуся наперекоръ мнѣнію общему, уже никогда не имѣлъ уваженія" [1]). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ о высокомъ значеніи „Арзамаса" въ ходѣ нашего общественнаго сознанія: „Арзамасъ представлялъ собственно партію молодыхъ людей, которые, опираясь на примѣръ Карамзина, отстаивали право каждаго человѣка, сознающаго въ себѣ нравственныя силы, открывать для себя новыя дороги въ жизни и литературѣ. „Арзамасъ" ставилъ ни во что напыщенность и торжественность выраженія, которыми многіе тогда удовлетворялись, и ненавидѣлъ пустую, трескучую фразу во всякомъ ея видѣ—либеральномъ или консервативномъ. Болѣе всего сопротивлялся онъ намѣренію водворить обязательныя правила для умственной и общественной дѣятельности своего времени, подозрѣвая тутъ замыселъ управлять нравственными стремленіями эпохи, не справляясь съ ней, и утвердить за нѣсколькими личностями право безапелляціоннаго суда надъ всѣми мнѣніями и начинаніями ея [2])... Подобно тому, какъ на литературной почвѣ чувство изящнаго, пониманіе таланта и силы въ изображеніяхъ замѣняло „Арзамасу" эстетическія теоріи, такъ на политической, вмѣсто обдуманной программы, онъ обладалъ только живыми *инстинктами* свободы, стремленіями къ образованію и крѣпкими надеждами на общечеловѣческую, европейскую *науку*, какъ на лучшую исправительницу народныхъ и государственныхъ недостатковъ, а главное—онъ отличался непоколебимой вѣрой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства—монархизма и православія съ свободой лицъ, сословій и учрежденій. Проводя эти убѣжденія, „Арзамасъ" выражалъ истинную мысль своей эпохи или, по крайней мѣрѣ, огромнаго большинства ея людей, между которыми были и руководители ея судебъ... Вообще „Арзамасъ" представляетъ въ исторіи нашей общественности поучительный примѣръ собранія съ однѣми нравственными и образовательными цѣлями, формально просуществовавшаго менѣе трехъ лѣтъ, но оставившаго послѣ себя долгій слѣдъ и живую мысль, которая питала людей его, когда они уже были раз-

[1]) Сочиненія Пушкина, Спб. 1855. т. I. „Матеріалы для біографіи", стр. 58.

[2]) Сказано нѣсколько неясно и противорѣчиво съ приведенными выше словами изъ „Матеріаловъ".

сѣяны по свѣту. Долго сохраняли они свою либеральную окраску, одинаковое пониманіе европейскихъ идей и неотлагательныхъ нуждъ русскаго общества. Только гораздо позднѣе, въ половинѣ слѣдующаго царствованія, начинаетъ тускнѣть и загрубѣвать между ними единившая ихъ мысль; люди „Арзамаса" наживаютъ себѣ противоположныя цѣли, расходятся въ разныя стороны, и даже становятся отъявленными врагами другъ друга. Что касается Пушкина, онъ остался ему вѣренъ всю жизнь" [1]).

Новѣйшіе историки литературы, какъ мы упоминали недавно по поводу Батюшкова [2]), очень усомнились въ подобномъ значеніи „Арзамаса", который дѣйствительно почти не обнаруживалъ своей коллективной дѣятельности и едва ли имѣлъ столь опредѣленные взгляды. Проще, это былъ кружокъ людей, которые разъ сошлись довольно случайно, потому что уже вскорѣ дѣйствовали разъединенно, безъ солидарности, приписанной имъ Анненковымъ, а въ концѣ концовъ идеи „Арзамаса" не были и такъ широки и благотворны. Если дѣйствительно онъ имѣлъ на Пушкина такое вліяніе, то историческая роль „Арзамаса" можетъ возбудить не мало недоумѣній, и не всегда вызоветъ сочувствіе. Практическія приложенія теорій „Арзамаса" не способствовали развитію „инстинктовъ свободы" и уваженія къ мысли и наукѣ. Одно изъ такихъ приложеній указываетъ самъ Анненковъ по поводу отношенія Пушкина къ „Московскому Телеграфу". Вотъ слова Анненкова: „Въ холодности Пушкина къ этому изданію открываются, между прочимъ, черты характера, не лишенныя своего значенія и занимательности. Пушкинъ находилъ въ немъ болѣе хлопотливости вокругъ современной науки, чѣмъ изученія какой-либо части ея, и не одобрялъ хвастовства всякой чужой системой при первомъ ея появленіи, не дозволявшемъ еще зрѣлаго обсужденія. По существу своему, журналъ вообще представляетъ болѣе наружный видъ всякаго дѣла, чѣмъ настоящій, истинный смыслъ, и преслѣдовать это—значило именно отвергать жизненное условіе журнала. Всего же болѣе оскорбляло Пушкина то уничтоженіе авторитетовъ и литературныхъ репутацій, которое происходило отъ немедленнаго приложенія вычитанныхъ идей къ явленіямъ отечественной словесности. Несмотря на ловкость и остроуміе, съ какими иногда производились эти опыты, Пушкинъ не имѣлъ къ нимъ ни малѣйшаго сочувствія. Притомъ не должно упускать изъ вида и весьма важнаго обстоятельства. Журналъ „Московскій Телеграфъ" былъ

---

[1]) „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху", стр. 108 и слѣд.

[2]) „Наканунѣ Пушкина", „Вѣстн. Европы" 1887, сентябрь.

совершенною противоположностію духу, господствовавшему у насъ въ эпоху литературныхъ обществъ; онъ ихъ замѣстилъ, образовавъ новое направленіе въ словесности и критикѣ. Съ его появленія, журналъ вообще пріобрѣлъ свой голосъ въ дѣлѣ литературы, вмѣсто прежняго назначенія: быть открытой ареной для всѣхъ писателей, поприщемъ для людей съ самыми различными мнѣніями объ искусствѣ. Расположеніе литературныхъ обществъ къ своимъ сочленамъ, прямое участіе, такъ сказать, въ ихъ замыслахъ, близкое знакомство съ существенными качествами и недостатками ихъ таланта, отъ чего похвала и осужденіе принимаемы были добродушно и покорно самими подсудимыми—все это уже сдѣлалось тогда достояніемъ исторіи нашей литературы. Пушкинъ, можно сказать, сохранилъ, долѣе многихъ своихъ товарищей, основныя убѣжденія стараго члена литературныхъ обществъ. Къ новому порядку вещей, гдѣ *личное мнѣніе* играло такую роль, онъ уже не могъ привыкнуть всю свою жизнь. Съ первыхъ же признаковъ его появленія, онъ началъ свою систему разсчитаннаго противодѣйствія, забывая иногда и то, что̀ высказывалось по временамъ дѣльнаго и существеннаго противниками и постоянно имѣя въ виду только одно: возвратить критику въ руки малаго, избраннаго круга писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностію публики“ [1]).

Критика 50-хъ годовъ по поводу приведенной цитаты находила, что объясненіе можетъ быть поставлено иначе: уничтожаемыя „литературныя репутаціи“ бывали незаслуженныя; „вычитанныя идеи“ бо̀льшею частію были справедливы; „расположеніе литературныхъ обществъ къ своимъ сочленамъ“ равнялось превозношенію похвалами бездарныхъ знакомыхъ; „личное мнѣніе“ было, напротивъ, общественное мнѣніе, которымъ только и поддерживается журналъ, а не пересуды и похвалы тѣснаго кружка пріятелей, какъ прежде; дѣльное и существенное высказывалось въ журналѣ не „по временамъ“, а очень часто; „избранный кругъ писателей, облеченный уваженіемъ и довѣренностью публики“—напротивъ, довѣріемъ пользовались тогда его противники, и скорѣе можно бы сказать: „писателей, составившихъ между собою общество взаимнаго застрахованія отъ критики, какъ это бывало въ старину“. Критика 50-хъ годовъ объясняла вражду Пушкина къ Полевому враждою „Московскаго Телеграфа“ къ Дельвигу, къ князю Вяземскому, Катенину (на что „Телеграфъ“ имѣлъ свои основанія), интересы которыхъ Пушкинъ принялъ

[1]) Соч. Пушкина, 1855, т. I, „Матеріалы“, стр 182—184.

къ сердцу. „Это объясненіе, оправдывая Полевого, обнаруживаетъ съ тѣмъ вмѣстѣ и въ самыхъ увлеченіяхъ его великаго противника благородныя побужденія безграничной, безкорыстной преданности друзьямъ“. Но тѣ побужденія, какія выставляетъ Анненковъ, походили на стѣсненіе свободы критики, на нетерпимость въ пользу какой-то монополіи. Разсказывая позднѣе о публицистическихъ планахъ, занимавшихъ Пушкина въ послѣдніе годы его жизни, Анненковъ говоритъ, что для проведенія его идей (въ основѣ консервативныхъ) „требовался нѣкоторый просторъ мысли, нѣкоторая свобода въ оцѣнкѣ явленій“: „нельзя же было, въ самомъ дѣлѣ, призывать публику къ лучшему пониманію своего быта, хлопотать о поднятіи уровня политическихъ идей въ обществѣ, проповѣдывать спасительныя, ободряющія и укрѣпляющія истины, употребляя то же самое, полувнятное, пошлое бормотанье, которое служило тогдашней печати при передачѣ ею внутреннихъ и внѣшнихъ событій. Для успѣха распространенія новыхъ философско-политическихъ началъ между образованными людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобіе мужественной рѣчи, нѣчто похожее на одушевленіе человѣка, проникнутаго своимъ предметомъ“ [1]). Между тѣмъ вотъ въ какихъ выраженіяхъ Пушкинъ говоритъ въ своемъ дневникѣ о запрещеніи журнала Полевого: „Телеграфъ запрещенъ. Уваровъ представилъ государю выписки, веденныя нѣсколько мѣсяцевъ и обнаруживающія неблагонамѣренное направленіе, данное Полевымъ его журналу (выписки ведены Бруновымъ, по совѣту Блудова). Жуковскій говоритъ: „Я радъ, что „Телеграфъ“ запрещенъ, хотя жалѣю, что запретили“. „Телеграфъ“ достоинъ былъ участи своей. Мудрено съ большею наглостью проповѣдывать якобинизмъ (!) передъ носомъ правительства; но Полевой былъ баловень полиціи“. Характеристика направленія „Телеграфа“, какъ якобинизма, въ устахъ Пушкина не можетъ не произвести страннаго впечатлѣнія. И писавшій эти строки, и Жуковскій, и Блудовъ, и Уваровъ — все были арзамасцы [2]). Нѣсколько позднѣе самъ Пушкинъ, разбирая „Мнѣніе Лобанова о духѣ словесности“ и пр. (1836), счелъ нужнымъ опровергать слова этого писателя о необходимости искоренять множество безнравственныхъ книгъ и разобла-

---

[1]) „Воспоминанія и критическіе очерки“, III, стр. 255.

[2]) Въ явившихся недавно воспоминаніяхъ К. Полевого разсказывается, что когда шла рѣчь о запрещеніи журнала, то защитникомъ Полевого противъ обвиненій Уварова явился самъ А. Х. Бенкендорфъ. Журналъ, однако, былъ все-таки запрещенъ. Замѣчательные документы по этому дѣлу изданы въ сборникѣ г. Сухомлинова: „Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію“. Спб. 1889, т. II.

чать „ухищренія пишущихъ", и говорилъ: „Но гдѣ же у насъ это множество безнравственныхъ книгъ? Кто сіи дерзкіе, злонамѣренные писатели, ухищряющіеся ниспровергать законы, на коихъ основано благоденствіе общества? И можно ли укорять у насъ цензуру въ неосмотрительности и послабленіи?" [1]). Но, увы, за два года передъ тѣмъ самъ Пушкинъ говорилъ о нагломъ якобинизмѣ Полевого...

Относительно литературныхъ мнѣній и дѣйствій арзамасцевъ есть еще документъ того же времени—письмо князя Вяземскаго къ министру народнаго просвѣщенія, графу Уварову, по поводу того, что цензура допускала въ печать всякія вольнодумныя мысли и особливо неуважительные отзывы объ „Исторіи" Карамзина. Обвиненіе указывало на „Телеграфъ", тогда уже не существовавшій, на „Телескопъ", тогда же запрещенный, и—на Устрялова! Князь Вяземскій жалуется, что цензура пропускаетъ статьи, критикующія „твореніе Карамзина, эту единственную въ Россіи книгу, истинно государственную и народную, и монархическую, и чрезъ то самое поощряетъ *черную шайку* разрушителей или *ломщиковъ*, которые только того и добиваются, чтобы можно было провозгласить: *у насъ нѣтъ исторіи*". „И самое 14 декабря не было ли впослѣдствіи времени, такъ сказать, критика вооруженною рукою на мнѣніе, исповѣдуемое Карамзинымъ, то-есть *Исторіею Государства Россійскаго*, хотя, конечно, участвующіе въ немъ тогда не думали ни о Карамзинѣ, ни о трудѣ его" [2]). Пушкинъ одобрилъ содержаніе этого письма и только противъ послѣднихъ словъ о 14 декабря замѣтилъ: „не лишнее ли?" Указаніе на неблагонамѣренность Устрялова есть высоко-комическая черта. Если припомнить, что князь Вяземскій было человѣкъ весьма просвѣщенный, считавшій себя либеральнымъ, то это письмо становится чрезвычайно характернымъ. „Документъ въ родѣ вышеприведеннаго,—говоритъ г. Спасовичъ объ этой запискѣ,—и притомъ исходящій отъ столь хорошаго вообще и передового человѣка, какимъ былъ кн. Вяземскій, болѣе поучителенъ, нежели цѣлые томы, и превосходно освѣщаетъ и духъ тогдашняго времени, и настроеніе общества".

И въ другихъ случаяхъ мы нерѣдко встрѣтимся у Пушкина съ мнѣніями, возбуждающими недоумѣніе: иногда онѣ совпадали даже съ извѣстнымъ предубѣжденіемъ оффиціальныхъ сферъ противъ литературы. Онъ, быть можетъ, слишкомъ много говоритъ

[1]) Сочиненія, изд. Лит. Фонда, V, стр. 305.
[2]) Полное собраніе сочиненій князя Вяземскаго, т. II, стр. 211—226.

о „вредныхъ мечтаніяхъ“, существующихъ въ нашемъ обществѣ, потому что подъ этотъ терминъ въ обычномъ употребленіи подводились и самые высокіе интересы науки и поэзіи, которые именно были движущей нравственной силой русскаго общества и безъ которыхъ оно осталось бы грубой и безпомощной жертвой обскурантизма. Пушкинъ съ пренебреженіемъ говоритъ о „жалкихъ скептическихъ умствованіяхъ прошлаго вѣка“, которыя были, однако, могущественнымъ толчкомъ въ развитіи умственной жизни человѣчества и даже самой Россіи; не совсѣмъ сочувствуетъ тому, что новая нѣмецкая философія, хотя имѣвшая благотворное вліяніе, „нашла, можетъ быть, слишкомъ много молодыхъ послѣдователей“; но ихъ можно было бы тогда пересчитать по пальцамъ, и они явились, въ то время и послѣ, одушевленными дѣятелями нашей литературы; онъ неловко защищаетъ меценатское покровительство въ литературѣ, неловко защищаетъ цензуру, предостерегая—въ тогдашнихъ условіяхъ русской литературы!—противъ опасной аристократіи писателей: „Аристократія самая мощная, самая *опасная* (!), есть аристократія людей, которые на цѣлыя поколѣнія, на цѣлыя столѣтія налагаютъ свой образъ мыслей, свои страсти, свои предразсудки. Что значитъ аристократія породы и богатства въ сравненіи съ аристократіей пишущихъ талантовъ? (!) Никакое богатство не можетъ перекупить вліяніе обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правленіе не можетъ устоять противу всеразрушительнаго дѣйствія типографскаго снаряда (!!). Уважайте классъ писателей, но не допускайте же его овладѣть вами совершенно... Дѣйствіе человѣка мгновенно и одно (isolé), дѣйствіе книги множественно и повсемѣстно. Законы противу злоупотребленій книгопечатанія не достигаютъ цѣли закона (!): не предупреждаютъ зла, рѣдко его пресѣкая. Одна цензура можетъ исполнить то и другое“.

Довольно трудно объяснить себѣ, какое отношеніе могли имѣть эти предостереженія къ русской литературѣ, бѣдность и беззащитность которой были извѣстны Пушкину очень хорошо, и послѣднее по собственному опыту. Надо думать, что эти и подобныя мнѣнія были у него именно слѣдствіемъ двухъ вліяній; во-первыхъ, дѣйствительнаго вліянія людей „Арзамаса“, котораго либерализмъ слишкомъ легко переходилъ въ бюрократическую нетерпимость ко всякому нѣсколько свободному движенію общественной мысли; во-вторыхъ, того оппортунизма, который побуждалъ его думать, что, признавши извѣстную систему (и даже искренно увѣривъ себя въ ея разумности и необходимости), онъ пріобрѣтаетъ возможность свободно обсуждать положеніе вещей

и достигать, въ ея предѣлахъ, извѣстныхъ улучшеній, внушать правительству расположеніе и довѣріе къ просвѣщенію.

Послѣднія изслѣдованія Анненкова дали нѣсколько любопытныхъ разъясненій тѣхъ плановъ дѣятельности, которые занимали Пушкина въ послѣдніе годы его жизни. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ носился съ мыслію основанія газеты, потомъ журнала. Цѣли его были, съ одной стороны, литературныя, съ другой— политическія. Онъ хотѣлъ противодѣйствовать той монополіи, какою владѣли тогда издатели „Сѣверной Пчелы“ и которая приводила къ униженію литературы и къ безнравственнымъ общественнымъ явленіямъ. Съ другой стороны, онъ желалъ основать такой органъ, который былъ бы истолкователемъ для общества правительственныхъ идей, и въ то же время открывалъ извѣстный просторъ для сужденій о политическихъ предметахъ. Говоря о вліяніи „Арзамаса“, Анненковъ замѣчалъ, что этотъ кружокъ, сильно подѣйствовавшій на Пушкина (хотя это дѣйствіе въ полной мѣрѣ оказалось только позднѣе), „отличался непоколебимой вѣрой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства—монархизма и православія съ свободой лицъ, сословій и учрежденій“, и что онъ научилъ Пушкина „свободно, самостоятельно и независимо подчиняться (?) условіямъ русскаго быта, желать имъ наиболѣе разумнаго содержанія, искать для этихъ условій основъ въ мысли, философской поддержки, теоретическаго оправданія и въ то же время сохранять за собой право судить отдѣльныя явленія самого быта по своему разумѣнію“ [1]). Теперь Пушкинъ дѣйствительно имѣетъ въ виду нѣчто подобное, и слова Анненкова о „самостоятельномъ и независимомъ подчиненіи“ приблизительно передаютъ то положеніе, какое хотѣлъ себѣ создать Пушкинъ. Но очень сомнительно было то „право судить явленія быта по своему разумѣнію“, которое Анненковъ приписывалъ „Арзамасу“—члены его въ новое царствованіе мало заявляли это право, напротивъ шли положительно въ униссонъ съ „явленіями быта“, и если Пушкинъ дѣйствительно желалъ себѣ усвоить подобное право, то, чтобы исполнять его, ему едва ли не чаще приходилось дѣлать уступки господствовавшей системѣ, чтобы, заявляя свою солидарность съ нею, этою цѣною купить себѣ право говорить объ отдѣльныхъ подробностяхъ. Состояніе тогдашнихъ мыслей Пушкина Анненковъ изображаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Въ разныя эпохи нашей жизни и многими даровитыми нашими людьми давно уже созна-

[1]) „Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, стр. 114, 118.

валась необходимость выйти изъ тяжелаго положенія, какое всегда выпадаетъ на долю общества и частныхъ лицъ, которымъ приходится стыдиться тѣхъ самыхъ основъ существованія, которымъ они покоряются. Весьма честные и благородные умы, съ самаго начала столѣтія, заняты были у насъ постоянно отыскиваніемъ нравственнаго смысла въ коренныхъ учрежденіяхъ государства — думали о реформѣ, преобразованіи тѣхъ изъ нихъ, которыя почему-либо утеряли прежній смыслъ. Либеральный консерватизмъ не былъ новостію на Руси — и причина понятна: съ осмысленнымъ и поясненнымъ фактомъ современнаго политическаго быта Россіи, какъ будто становилось легче для совѣсти подчиниться всѣмъ его требованіямъ и естественнымъ послѣдствіямъ. Той же работѣ разъясненія, оправданія историческаго положенія государства и дополненія его, по возможности, новыми элементами нравственнаго содержанія, Пушкинъ намѣревался посвятить, вслѣдъ за нѣкоторыми своими предшественниками, и новую политическую газету. Здѣсь не мѣшаетъ замѣтить, что мысли, которыя онъ собирался проводить въ ней, были ему самому нужны, можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ его будущимъ слушателямъ и читателямъ: онѣ, эти мысли, возстановляли его морально въ собственныхъ его глазахъ, разрѣшали тѣ *болѣзни совѣсти*, которыя сопровождаютъ обыкновенно всякія перемѣны направленій и убѣжденій. Мало того — онъ питалъ еще надежду, что идеальнымъ представленіемъ обязанностей, лежащихъ на тѣхъ, которые занимаютъ важнѣйшія функціи въ государствѣ, онъ привлечетъ ихъ къ высшему пониманію своего призванія и долга, чѣмъ и окажетъ немаловажную услугу современникамъ“ [1]). Но въ то время, когда Пушкинъ стремился создать себѣ теоретическое и нравственное успокоеніе въ признаніи господствующей системы, приносилъ ей на служеніе и свой умъ, и свой талантъ, бюрократическіе представители системы не думали признавать его. Не разъ указано было странное, двусмысленное и нравственно невыносимое положеніе, какое создавали тогда Пушкину: покровительство императора не спасало отъ подозрительнаго надзора Бенкендорфа, для котораго, по старой памяти о либеральной молодости поэта, Пушкинъ былъ не поэтъ, а человѣкъ политическій, опасный вольнодумецъ. Пушкину приходилось выносить назойливыя придирки, выслушивать выговоры, которые заставляли его терять терпѣніе; извѣстны вспышки его гнѣва въ интимной бесѣдѣ и переепискѣ, — напр., въ то самое время, когда онъ обдумывалъ свою газету,

[1]) „Воспоминанія и критическіе очерки“, т. III, стр. 251—252.

долженствовавшую, по его мнѣнію, служить интересамъ самого правительства, онъ писалъ: „У меня душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню, что я журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человѣкомъ, я получалъ уже полицейскіе выговоры, и мнѣ говорили: vous avez trompé и тому подобное. Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотрѣть, какъ на Ѳаддея Булгарина и Николая Полевого, какъ на шпіона: *чортъ догадалъ* меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ!“ [1]) Въ то же время онъ старается отыскивать хорошія стороны въ окружающемъ порядкѣ вещей, съ жадностью ловить пріятные ему политическіе слухи и возлагаетъ на нихъ свои надежды; во время польскаго возстанія онъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ издаетъ книжечку стихотвореній на этотъ случай, родъ національно-поэтическаго манифеста, который произвелъ пріятное впечатлѣніе, но не помогъ публицистическимъ планамъ поэта; онъ то надѣется (напрасно) на амнистію для его друзей-декабристовъ [2]), то ждетъ отъ императора Николая „контръ-революціи“ противъ „революціи“ Петра Великаго (нѣчто подобное и совершалось, но пѣвцу Петра — какимъ бывалъ Пушкинъ — можно было бы не желать этого), и убѣждаетъ себя, что „правительство дѣйствуетъ или намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія“ [3]) и т. д.

Это была та же готовая точка зрѣнія Карамзина и вмѣстѣ Жуковскаго; увѣровавъ въ нее, Пушкинъ всѣми силами старался оберечь ее отъ противорѣчій, представляемыхъ фактами дѣйствительности; мы увидимъ, что онъ не могъ уберечь ее отъ противорѣчій съ порывами своей собственной мысли и поэтическаго творчества... Къ основному побужденію найти теоретическое оправданіе для даннаго положенія общества, и для себя найти возможность нормальной дѣятельности — присоединилось побужденіе чисто личное, извѣстная теорія Пушкина о политической роли, желательной для дворянства. Исторія этой пушкинской теоріи была достаточно разобрана Анненковымъ. Несомнѣнно, что „генеалогическіе предразсудки“ Пушкина восходятъ къ первымъ впечатлѣніямъ его круга и воспитанія: заслоненные въ первыхъ двадцатыхъ годахъ тогдашнимъ либеральнымъ образомъ мыслей, теперь они выступаютъ опять въ полной силѣ не только какъ тщеславіе древностью своего дворянскаго рода, но какъ цѣлая общественная и историческая теорія. По теперешнему мнѣнію Пуш-

[1]) Сочиненія, изд. Литер. Фонда, т. VII, стр. 104.
[2]) Тамъ же, VII, стр. 214.
[3]) Тамъ же, стр. 218.

кина, въ государственномъ строѣ необходима была сильная наслѣдственная аристократія, которая заключала бы въ себѣ ручательство государственнаго благосостоянія, прочности учрежденій и заботы о народѣ. Съ этой теоріей измѣнились и историческія понятія. Если прежде Пушкинъ радовался, что старое боярство не успѣло сплотиться въ сильное сословіе, которое безвыходно поработило бы народъ, то теперь, напротивъ, онъ сожалѣлъ, что этого не было („феодализма у насъ не было — и тѣмъ хуже"), потому что въ этомъ было бы ручательство политическаго блага. Въ старину „аристократія была наслѣдственна", откуда и происходило мѣстничество, „на которое до сихъ поръ привыкли смотрѣть самымъ дѣтскимъ образомъ". Цари Ѳедоръ и Петръ, вмѣстѣ съ меньшимъ дворянствомъ, уничтожили мѣстничество и боярство. „Съ Ѳедора и Петра начинается *революція* въ Россіи, которая продолжается и до сегодня". Петръ Великій, нѣкогда предметъ безусловнаго поклоненія, есть теперь какая-то разрушительная революціонная сила: это — „вмѣстѣ Робеспьеръ и Наполеонъ — воплощенная революція". Когда наслѣдственная аристократія, родовое боярство, была намѣренно истреблена, ее могла замѣнить только аристократія случайная, пожизненная, которая и явилась послѣ Петра, какъ его созданіе. Она кажется Пушкину только „средствомъ окружить деспотизмъ преданными наемниками и задушить всякую оппозицію и всякую независимость". „Наслѣдственность высшей аристократіи есть гарантія ея независимости. Противное есть по необходимости средство тиранніи или скорѣе низкаго (lâche) деспотизма и пр."... Потомственное дворянство, по взгляду Пушкина, есть высшее сословіе народа, награжденное большими преимуществами касательно собственности и личной свободы — съ цѣлью имѣть мощныхъ защитниковъ (народа) или близкихъ къ властямъ представителей. Богатство доставляетъ этимъ людямъ возможность не трудиться и быть всегда готовымъ по первому призыву государя; дворянство должно учиться независимости, храбрости, благородству, вообще чести предпочтительно предъ другими сословіями, потому что дворянство есть охрана трудящагося класса, которому некогда развивать эти качества. Далѣе, и въ республикѣ дворянство составляютъ „богатые люди, которыми народъ кормится" (!) и т. д. Такимъ образомъ, передъ нами цѣлая теорія, похожая на ту англоманскую теорію, которая стала развиваться у насъ послѣ освобожденія крестьянъ, въ средѣ крупныхъ землевладѣльцевъ и до сихъ поръ занимаетъ многіе умы; въ связи съ ней была у Пушкина его родословная гордость; онъ множество разъ возвращался къ старинѣ своего рода —

и въ бесѣдахъ, и въ письмахъ, и въ статьяхъ, и въ поэтическихъ произведеніяхъ говорилъ объ упадкѣ старыхъ славныхъ родовъ и распространеніи вчера основанной аристократіи; въ своихъ свѣтскихъ отношеніяхъ онъ поддавался желанію получить мѣсто въ кругу аристократіи и съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ относился къ людямъ невысокаго происхожденія [1]).

Цѣлый рядъ его замѣтокъ на эти темы идетъ особенно отъ 1830 года, когда онъ съ особымъ оживленіемъ занятъ былъ своей политической теоріей и публицистическими планами [2]); но еще въ письмѣ къ Бестужеву 1825 года Пушкинъ говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ Воронцову: „онъ воображаетъ, что русскій поэтъ явится въ его передней съ посвященіемъ или съ одою, а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлѣтній дворянинъ. Дьявольская разница...“ [3]). Дѣйствительно, была громадная разница, только въ другую сторону: шестисотлѣтнее дворянство въ ту пору, и для высшаго круга, и для массы общества, было отвлеченностью и значило гораздо меньше, чѣмъ служебное положеніе, — у Пушкина послѣднее было очень скромно, — и Воронцовъ здѣсь ни въ чемъ не былъ виноватъ. Бѣлинскій, по поводу поэтическихъ изложеній той же темы въ „Родословной моего героя“, говорилъ уже о томъ, какъ странно было у Пушкина это предпочтеніе своего дворянства высокому чувству своего достоинства, какъ поэта [4]). Нѣкоторыя мысли Пушкина въ поэтическихъ изложеніяхъ этого предмета казались Бѣлинскому изумительными по своей наивности.

Виною порядка вещей, въ которомъ исчезло окончательно старое боярство, идеализированное Пушкинымъ, былъ Петръ Великій, и на него обрушивается теперь недовѣріе и осужденіе

[1]) Напр., слова о Сперанскомъ: „Speransky, popovitch turbulent et ignorant“; оба эпитета, по справедливости, могли бы отсутствовать. Надеждинъ показался ему „весьма простонароденъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ всякаго приличія. Критики его были очень глупо написаны“ и т. д. (Соч., изд. Литер. Фонда, V, стр. 276). Послѣднее также сомнительно.

[2]) Его замѣчанія о боярствѣ и дворянствѣ см. вообще въ Сочиненіяхъ, т. III, стр. 550—551, 554; т. IV, стр. 356; V, стр. 11, 79, 82, 95—100, 104, 115—118; VI, стр. 326 и др.

[3]) Сочиненія, VII, стр. 128.

[4]) „Какъ потомка старинной фамиліи, Пушкина зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего интереснаго; но какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дѣлающимъ честь своей матери... Кому нужно знать, что бѣдный дворянинъ, существующій своими литературными трудами, богатъ длиннымъ рядомъ предковъ, мало извѣстныхъ въ исторіи? Гораздо интереснѣе было знать, что пишетъ новаго этотъ геніальный поэтъ?“ Сочин. Бѣлинскаго, т. VIII, изд. 2-е, стр. 654 и далѣе.

Пушкина. Извѣстно, что перемѣна взглядовъ на Петра произошла у Пушкина въ послѣдніе годы между прочимъ отъ ближайшаго изученія Петровскихъ временъ, когда Пушкинъ хотѣлъ быть ихъ историкомъ. Его поражали примѣры жестокости и варварства, которыми исполнена эпоха, поражали иные указы, точно „писанные кнутомъ“; но главной причиной, почему Петръ Великій сталъ для него Робеспьеромъ и Наполеономъ и воплощенной революціей, было уничтоженіе того стараго порядка, гдѣ мечтались Пушкину задатки независимой аристократіи. Этотъ историческій взглядъ былъ ошибоченъ: такъ, самъ Пушкинъ упоминаетъ, что для уничтоженія мѣстничества, или боярской традиціи, достаточно было царя Ѳедора и Языкова, то-есть даже не требовалось такой силы, какъ Петръ; послѣдній нашелъ боярство почти разрушеннымъ и не придавалъ ему политическаго значенія: вокругъ него, дѣйствительно, собрались одинаково и старые родовитыя бояре, Голицыны, Апраксины, Долгорукіе, Шереметевы, Ромодановскіе, и люди новые, съ Меншиковымъ во главѣ. Старое боярство было подорвано въ сущности еще Иваномъ Грознымъ. Отраженіе этого новаго, враждебнаго къ Петру, взгляда, повидимому, должно было найти мѣсто въ „Мѣдномъ Всадникѣ“; но Пушкинъ какъ будто не выработалъ достаточно теоретическихъ основаній противъ прежнихъ возвеличеній Петра, чтобы замѣнить ихъ новымъ отрицательнымъ взглядомъ въ поэтическомъ произведеніи. Оно осталось незавершеннымъ. Анненкову казалось, что поэма, послѣ странныхъ угрозъ Мѣдному Всаднику отъ обезумѣвшаго мелкаго чиновника, потомка древняго боярскаго рода, должна была закончиться апоѳеозой Петра; но въ высшей степени интересно упоминаніе князя П. П. Вяземскаго о томъ исчезнувшемъ эпизодѣ поэмы, гдѣ, напротивъ, вмѣсто апоѳеоза „энергически звучала ненависть къ европейской цивилизаціи“.

Въ связи съ новой теоріей, какую строилъ Пушкинъ для нашего общественнаго быта, стоялъ у него и значительно измѣнившійся взглядъ на крѣпостной вопросъ. Нѣкогда поэтъ мечталъ о томъ, увидитъ ли онъ когда-нибудь народъ, освобожденный по манію царя; теперь, налагая на себя тенденціозно-охранительныя теоріи, онъ и здѣсь старался подкрасить для другихъ, и, вѣроятно, для самого себя, дѣйствительное положеніе вещей и находилъ возможность относиться гораздо хладнокровнѣе къ освобожденію крестьянъ:—оно не такъ спѣшно; положеніе крестьянъ вовсе не такъ тяжело, какъ говорятъ, и напр. гораздо лучше положенія англійскихъ рабочихъ; власть помѣщиковъ нужна, какъ помощь администраціи, и т. д. Г. Спасовичъ, говоря о

„Разговоръ съ англичаниномъ", затѣмъ объ отношеніи Пушкина къ Радищеву въ извѣстныхъ статьяхъ и о томъ объясненіи, какое хотятъ дать имъ теперь (именно, видя въ нихъ желаніе напомнить о Радищевѣ и его заслугахъ, насколько можно было сдѣлать это съ уступками цензурѣ), замѣчаетъ: „Такое резонирующее укрѣпленіе крѣпостничества снискивало Пушкину сторонниковъ, конечно, помимо вѣдома его и воли, между столбами консерватизма и рабовладѣльчества, но точно холодною водою окачивало прогрессистовъ, у которыхъ оно отнимало всякую надежду на измѣненіе правоотношенія. Такою цѣною едва ли стоило оплачивать даже и распространеніе свѣдѣній о Радищевѣ. Всякія возможныя попытки истолковать загадочную рукопись въ смыслѣ благопріятномъ Пушкину, въ концѣ концовъ требуютъ новыхъ объясненій. Либо приходится признать, что онъ въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ въ меньшей уже степени представлялъ собою типъ гуманнаго развитія; что въ теоріяхъ его уже замѣчалось меньше горячей политической струи; что по мѣрѣ того, какъ улетучивалась юность, ослаблялось и то, что̀ было только внушеніемъ духа времени, зато съ другой стороны усиливались и оплотнялись прежнія наклонности и привычки самаго ранняго дѣтства. Его увлеченіе идеею освобожденія крестьянъ, быть можетъ, было отвлеченное, теоретическое; къ тому же онъ по природѣ былъ неизмѣнно добрымъ для всѣхъ, даже для тѣхъ, кого называли „хамами" (VII, № 178). Либо придется допустить, что опроверженіе Радищева было только преувеличеннымъ „оппортунизмомъ", доведеннымъ до того, что надѣтая маска могла плотно пристать къ лицу, и въ сознаніи и совѣсти начали совершаться трудно объясняемыя сдѣлки между добрыми пожеланіями и невольнымъ преклоненіемъ предъ признаваемымъ за непреодолимое господствомъ зла" [1]).

Возвращаясь къ Бѣлинскому, мы находимъ опять, что для него не остались скрыты эти черты интимныхъ мыслей Пушкина. Съ одной стороны, въ обществѣ и особенно въ томъ кружкѣ энтузіастовъ искусства, въ которомъ вращался Бѣлинскій, личность Пушкина была предметомъ живѣйшаго интереса: о немъ ловили слухи, самые легкіе намеки истолковывались; съ другой стороны, проницательный взглядъ Бѣлинскаго и безъ того угадывалъ по самымъ произведеніямъ процессъ мысли, лежавшій въ ихъ подкладкѣ. Онъ былъ восторженный почитатель Пушкина, иногда даже пристрастный толкователь его поэзіи, но отъ него

---

1) „В. Европы" 1887, апрѣль, стр. 785.

не укрылось нѣсколько тѣсное воззрѣніе поэта на нѣкоторыя отношенія русской жизни. Вотъ, напр., какъ говоритъ онъ объ этомъ предметѣ по поводу „Бориса Годунова“: „Вообще надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ и потому не всегда вѣрно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобы что-нибудь вѣрно оцѣнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдѣлить отъ себя и хладнокровно посмотрѣть на него, какъ на что-то чуждое себѣ, внѣ себя находящееся, а Пушкинъ не всегда могъ дѣлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напр., онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта“ [1]).

Бѣлинскій, всегда строго ставившій требованія художества и высоко цѣнившій его присутствіе въ поэтическихъ произведеніяхъ, не шелъ также безусловно за Пушкинымъ въ его слишкомъ абсолютной постановкѣ искусства, когда Пушкинъ хотѣлъ отогнать чернь отъ алтаря поэзіи. Бѣлинскій понималъ побужденія поэта, признавалъ его творческое право,—потому что поэтъ не обязанъ идти за духовно-малолѣтними, — „но каждый умный человѣкъ въ правѣ требовать, чтобы поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени, или по крайней мѣрѣ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній“... И вообще опредѣленіе всего характера Пушкинской поэзіи—характера возвышеннаго и человѣчнаго, — и теоретическаго міровоззрѣнія, не умѣвшаго справиться съ задачами дѣйствительности,—это опредѣленіе у Бѣлинскаго остается глубоко вѣрнымъ и донынѣ заслуживающимъ изученія [2]).

Какой же выводъ изъ тѣхъ противорѣчій, какія представляетъ самъ Пушкинъ въ своемъ высокомъ пониманіи искусства и своихъ разнорѣчивыхъ гражданскихъ понятіяхъ, и тѣхъ противорѣчій, къ какимъ приходятъ толковники, принимающіе его то за исключительнаго художника, то за поэта - гражданина, то наконецъ за какого-то „все-человѣка“? — Это послѣднее выраженіе, съ которымъ у насъ до сихъ поръ носятся, должно быть отброшено прежде всего: оно предполагаетъ человѣка, живущаго

---

[1]) Сочиненія Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 638.

[2]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 402—408 и др.

внѣ пространства и времени или желающаго „обнять необъятное“. Отзывчивость Пушкина, умѣнье усвоивать характеръ далекихъ временъ и народовъ, настроеніе людей различныхъ историческихъ эпохъ и степеней развитія, есть рѣдкая, но вовсе не одному Пушкину принадлежащая черта сильной творческой фантазіи. Это—та же черта, какая, напримѣръ, была (въ гораздо меньшей только степени) у его поэтическихъ предшественниковъ, Жуковскаго—умѣвшаго повторять нѣмецкую романтику, Батюшкова—въ которомъ восхищались его стихотвореніями на античныя и итальянскія темы, даже у Дельвига—въ которомъ самъ Пушкинъ удивлялся мастерству антологическаго стиля и т. д. Эта черта сильно развита въ нѣмецкой поэзіи, которая со временъ романтизма много работала надъ усвоеніемъ чужихъ національныхъ стилей; та же черта является у того Мериме́, который—при всемъ громадномъ отдаленіи французской литературы отъ народныхъ и особливо чуженародныхъ стихій—могъ создать извѣстныя пѣсни западныхъ славянъ, обманувшія самого Пушкина... У Пушкина эта черта развилась сильнѣе по самымъ условіямъ нашей литературы: въ теченіе полутора вѣка она направляла свой трудъ на изученіе и усвоеніе европейскаго содержанія и литературныхъ формъ, и Пушкинъ, которымъ завершился ея старый періодъ и начался новый, работалъ въ томъ же смыслѣ своими художественными воспроизведеніями...

Эта поэтическая отзывчивость Пушкина указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что основною чертою его геніальнаго таланта было именно художественное творчество. Много разъ его біографы и критики объясняли, какъ его поэзія, исходя изъ жизненныхъ данныхъ, преображала ихъ въ прекрасныя художественныя созданія, гдѣ на реальной простой основѣ создавались изящные образы, но уже съ гораздо болѣе глубокимъ значеніемъ; какъ особенно въ первую пору, среди буйныхъ увлеченій молодости, съ ихъ иногда некрасивой обстановкой, его вдругъ осѣняло творческое вдохновеніе и у него выливались задушевныя, глубокія, изящныя произведенія. Анненковъ находилъ, что эти произведенія бывали даже такъ далеки отъ дѣйствительной жизни поэта, что между ними напрасно было бы искать какого-либо соотвѣтствія и связи [1].

---

[1]) Вотъ, напр., что говоритъ Анненковъ по поводу извѣстнаго посланія къ Чаадаеву изъ Кишинева, въ апрѣлѣ 1821 года.

„Стихотвореніе написано... въ самомъ разгарѣ политическихъ страстей и байроническаго броженія у Пушкина. Спокойный, мудро-эпическій тонъ пьесы находится въ совершенномъ противорѣчіи со всѣмъ, что мы знаемъ о бѣшеной жизни Пушкина

Это художественное настроеніе, которое самъ Пушкинъ ощущалъ въ себѣ, какъ таинственную силу, и которое онъ воспитывалъ разнообразными изученіями, и составляло основу того возвышеннаго образа мыслей, по которому хотятъ видѣть въ Пушкинѣ по преимуществу поэта-гражданина. Геніальный поэтъ высоко ставилъ значеніе искусства: оно представлялось ему независимою свободною дѣятельностью; личность поэта казалась чѣмъ-то жреческимъ и пророческимъ, — отсюда, быть можетъ, гораздо больше, чѣмъ изъ его аристократическихъ пристрастій, исходило его сильно развитое чувство личной независимости и достоинства; отсюда же, — какъ, вѣроятно, и изъ врожденной доброты характера, — происходило его мягкое, гуманное чувство, которое кажется особеннымъ свойствомъ его поэзіи. Это сознаніе своего высокаго достоинства, какъ поэта, много разъ было высказано Пушкинымъ въ его произведеніяхъ. Оно было исполнено гордости, почти высокомѣрія:

Ты царь; живи одинъ...

Поэтическое творчество есть возвышенное служеніе. Чему? — На это самъ Пушкинъ отвѣчалъ различно. Съ одной стороны, поэзія довлѣетъ самой себѣ; поэтъ рожденъ для вдохновенья, для сладкихъ звуковъ и молитвъ; живя въ сферѣ возвышенныхъ думъ, онъ презираетъ чернь... Пушкинъ держался этого взгляда отчасти по унаслѣдованнымъ, между прочимъ, еще отъ классической древности, представленіямъ о служеніи „Аполлону", или чистому искусству, отчасти отвѣчалъ этимъ презрѣніемъ къ (свѣтской или мелкой литературной) черни на то непониманіе или на тѣ злостныя нападенія разнаго рода, съ какими встрѣчался на своемъ поприщѣ. Но, съ другой стороны, поэтическое творчество имѣетъ свои болѣе реальныя цѣли: вдохновеніе и сладкіе звуки не могутъ быть безсодержательны, должны имѣть какое-нибудь отношеніе къ людямъ, къ обществу, — и самъ Пушкинъ объясняетъ, въ чемъ должна быть цѣль поэзіи и чѣмъ самъ онъ воздвигъ себѣ нерукотворный памятникъ. Въ знаменитомъ, почти

въ эту эпоху, и еще разъ показываетъ, какъ заблуждаются біографы и въ какое заблужденіе вводятъ читателей, когда на основаніи стихотвореній, въ которыхъ личность поэта является преображенною поэзіей и творчествомъ, вздумаютъ судить о дѣйствительномъ реальномъ ея видѣ въ извѣстный моментъ. Правда, что они могутъ сказать: въ поэтическомъ отраженіи писатель болѣе походитъ на самого себя, чѣмъ въ дрязгахъ и треволненіяхъ жизни, но тогда уже не слѣдуетъ вовсе и заниматься послѣдней, а довольствоваться только однимъ художническимъ ея обликомъ" „Пушкинъ въ Александровскую эпоху", стр. 156).

предсмертномъ стихотвореніи онъ указываетъ, что его поэзія не была однимъ витаніемъ въ чистой области фантазіи, что въ ней онъ служилъ обществу: онъ убѣжденъ, что былъ полезенъ „прелестью стиховъ“ (которая дѣйствительно довершила формальное образованіе нашей литературы), что онъ пробуждалъ добрыя чувства и призывалъ милость къ падшимъ; наконецъ, онъ думалъ, что возславилъ свободу „въ жестокій вѣкъ“. Все это было естественнымъ слѣдствіемъ его поэтическаго склада. Истинное поэтическое одушевленіе, широкій проницающій взглядъ на жизнь и человѣка сами собою сливаются съ возвышеннымъ настроеніемъ нравственнымъ, — и это указывалъ Бѣлинскій, какъ черту его личнаго и поэтическаго характера, объясняющую его высокія идеи объ искусствѣ и его требованія общественныя. Этимъ поэзія Пушкина достигала своей нравственной цѣли, и какъ прелесть стиховъ, то-есть художественная сторона его произведеній, впервые пріобщала массу общества къ наслажденію чистой поэзіей и уже тѣмъ оказывала великую услугу внутреннему развитію общества, такъ и его высокія нравственныя идеи, идеи чистой человѣчности, благотворно вліяли на воспитаніе общества. Въ этомъ смыслѣ Пушкинъ былъ поэтомъ-гражданиномъ точно такъ же, какъ бываетъ имъ каждый поэтъ съ истиннымъ художественнымъ и человѣчнымъ настроеніемъ. Этого довольно для его славы, и напрасно было бы искать для Пушкина славы поэта-гражданина въ смыслѣ именно консервативнаго поэта-публициста, какъ это видимо желаютъ теперь утверждать. Не думаютъ о томъ, что роль соціальнаго поэта въ этомъ смыслѣ неизмѣримо тѣснѣе, ограниченнѣе роли поэта-гуманиста, какимъ былъ Пушкинъ, и если хотятъ непремѣнно настаивать на подобномъ взглядѣ, то историческая критика встрѣчается съ цѣлымъ рядомъ недоумѣній. Пушкинъ-политикъ (какимъ онъ желалъ иногда быть) безъ сравненія ниже Пушкина-поэта. Можно объяснить тогдашними условіями русской жизни вообще и личными обстоятельствами поэта, почему онъ вмѣшивался или былъ вовлекаемъ въ злобу дня, почему, оставляя область поэтическаго творчества, строилъ себѣ политическія теоріи; но часто нельзя сочувствовать этимъ послѣднимъ, нельзя не видѣть, что поэтъ не только противорѣчилъ самому себѣ въ разныя эпохи своей жизни, но противорѣчилъ иногда въ одно и то же время. То, чему онъ вѣрилъ раньше и что отвергалъ потомъ, не всегда было ошибкой, и къ чему приходилъ позднѣе, не всегда было поправкой. Та общественная тенденція, какой онъ хотѣлъ служить въ тридцатыхъ годахъ, была слишкомъ очевидно несостоятельна: въ основѣ лежали, ко-

нечно, наилучшія побужденія; послѣднею цѣлью было извѣстное обезпеченіе свободы, личной и общественной, но средства были проблематическія; онъ думалъ, что эти средства приноравливаются къ данному порядку вещей, но заблуждался и въ этомъ. Отсюда рядъ колебаній, которыя все больше раскрываются намъ въ его біографіи, но были замѣтны и для болѣе проницательныхъ современниковъ. Онъ дѣлаетъ уступки, чтобы имѣть возможность провести долю своей идеи, но уступки принимаются лишь какъ должное, и онъ все-таки не можетъ сдѣлать того, что желалъ. Нерѣдко онъ вполнѣ искренно мирится съ данными условіями, даже увлекается различными лицами и фактами тѣхъ временъ, но затѣмъ приходитъ въ отчаяніе, потому что не можетъ разрѣшить ложнаго круга, въ которомъ находился. Не все, что онъ воспѣвалъ иногда, было сочувственно для живыхъ умовъ, ставившихъ себѣ тотъ же вопросъ общественнаго успѣха; по нѣкоторымъ его произведеніямъ можно было думать, что онъ является пѣвцомъ своего времени, которое въ концѣ концовъ было одной изъ тягостныхъ эпохъ русской исторіи... Но внутреннее чувство указывало ему противорѣчія, и онъ то питалъ себя иллюзіями, создавая надежды, которыя вовсе не осуществились въ теченіе второй четверти столѣтія, то наконецъ вспоминалъ, что онъ прославилъ свободу „въ жестокій вѣкъ". Было не мало случаевъ, гдѣ онъ, высказываясь въ строго-консервативномъ смыслѣ, потомъ поправлялъ себя въ иномъ стихотвореніи, интимномъ письмѣ, эпиграммѣ. Самую поэзію свою онъ то ставилъ какъ личное служеніе искусству для искусства, то дѣлалъ ее выраженіемъ общественнаго долга; во вторую эпоху своей жизни онъ возводилъ „Исторію" Карамзина въ свой историческій и политическій кодексъ и дѣлаетъ даже прискорбныя ошибки въ способѣ защиты этого кодекса, но „Исторія Села Горохина" была несомнѣннымъ отголоскомъ другого взгляда на историческій вопросъ; онъ ревностно защищалъ свои генеалогическія идеи, но самъ же находилъ, что „имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ, можетъ быть, *всѣ* наши старинныя родословныя"; онъ мирится частію тенденціозно, частію искренно съ существующими условіями и не находитъ словъ своему негодованію противъ иныхъ фактовъ, которые были только прямыми послѣдствіями тѣхъ условій, и т. д.

Опредѣляя характеръ Пушкинской поэзіи и ея историческое значеніе, Бѣлинскій считаетъ ее болѣе созерцательной, нежели рефлектирующей; муза Пушкина насквозь проникнута гуманностью, и хотя умѣетъ страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни,

но смотритъ на нихъ какъ на роковую неизбѣжность—„не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія“. Этотъ взглядъ вытекалъ изъ самой натуры Пушкина, и ему былъ обязанъ Пушкинъ изящною кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи; но отсюда же проистекаютъ и ея недостатки. „По своему возрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго“ [1]).

Критика 50-хъ годовъ, которая черезъ нѣсколько лѣтъ вынужденнаго молчанія впервые возстановила традицію значенія Бѣлинскаго, принимала всѣ основныя положенія Бѣлинскаго и также видѣла въ Пушкинѣ не поэта-мыслителя, а художника по преимуществу. „Пушкинъ не былъ поэтомъ какого-нибудь опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь, какъ Байронъ, не былъ даже поэтомъ мысли вообще, какъ, напримѣръ, Гёте и Шиллеръ. Художественная форма „Фауста“, „Валленштейна“, „Чайльдъ Гарольда“ возникла для того, чтобы въ ней выразилось глубокое воззрѣніе на жизнь; въ произведеніяхъ Пушкина мы не найдемъ этого“. Но тѣмъ болѣе критика возвышала чисто-поэтическій характеръ Пушкина. „Онъ, по особенности своего поэтическаго настроенія, именно соотвѣтствовалъ если не всѣмъ, то по крайней мѣрѣ одной изъ важнѣйшихъ потребностей своего времени, которое, впрочемъ, едва ли не должно еще назвать и нашимъ временемъ. Его произведенія могущественно дѣйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзіи въ массѣ русскаго общества; они умножили въ десять разъ число людей, интересующихся литературою и черезъ то дѣлающихся способными къ воспринятію высшаго нравственнаго развитія. Онъ самъ прекрасно очертилъ это достоинство литературныхъ произведеній, говоря:

Плодятъ читателей они;
Гдѣ есть повѣтріе на чтенье,
Тамъ просвѣщенье, тамъ добро...

---

[1]) Сочин. Бѣл., т. VIII, изд. 2-е, стр. 402.

„Говоря о значеніи Пушкина въ исторіи развитія нашей литературы и общества, должно смотрѣть не на то, до какой степени выразились въ его произведеніяхъ различныя стремленія, встрѣчаемыя на другихъ ступеняхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе настоятельнѣйшую потребность и тогдашняго и даже нынѣшняго времени—потребность литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. Въ этомъ отношеніи значеніе Пушкина неизмѣримо велико... Онъ первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго дѣла... Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ всей русской публики на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель. Вся возможность дальнѣйшаго развитія русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкинымъ“ [1]).

Истолкованія Пушкина 40-хъ и 50-хъ годовъ дѣлались, когда еще не было собрано столько біографическихъ и литературныхъ данныхъ, какими пользуемся мы теперь; но дальнѣйшія изысканія не измѣняютъ въ существѣ положеній, поставленныхъ прежнею критикой. Указанныя здѣсь свойства Пушкинской поэзіи и послужили основаніемъ ея вліянія на дальнѣйшее развитіе литературы. Его произведенія дали никогда прежде недостигнутый образецъ совершенства формы, художественной цѣльности, тонко выработаннаго языка: съ Пушкинымъ былъ завершенъ періодъ формальнаго развитія нашей литературы, стоявшей прежде въ постоянной зависимости отъ чужого образца, съ непобѣжденною условностью языка, съ неумѣньемъ изображать подлинныя черты русской жизни, съ недоразвитымъ представленіемъ о возвышающемъ нравственномъ смыслѣ искусства. Художественная высота Пушкинской поэзіи, кромѣ изумительныхъ по красотѣ произведеній личной лирики, выразилась первымъ установленіемъ того глубокаго реализма въ изображеніяхъ русской дѣйствительности, который сталъ съ тѣхъ поръ господствующей чертой нашей литературы и источникомъ ея дальнѣйшаго успѣха и современнаго европейскаго значенія. Пушкинъ самъ не довершилъ всего, что̀ было имъ намѣчено,—какъ остались только въ зачаткѣ его планы соціальнаго романа,—но и то, что̀ было сдѣлано,—его повѣсть, драма, историческій романъ, указало эту дорогу. Трезвое чутье дѣйствительности, кроткое, гуманное чувство, запечатлѣнныя въ его произведеніяхъ, классическая форма,—остались его художественнымъ завѣтомъ, который остался памятенъ для его преемниковъ, ощущавшихъ на себѣ его вліяніе. Это чувство учениче-

---

[1]) „Современникъ“, 1855, мартъ, стр. 30—32.

ства и преемства было сильно въ Гоголѣ, которымъ было воспринято непосредственно, и затѣмъ сознавалось его послѣдователями въ соціальномъ романѣ, той славной плеядой, которая начала дѣйствовать въ сороковыхъ годахъ и которой послѣднія произведенія доходятъ до нашихъ дней. — Въ этомъ, а не въ какой-либо общественно политической доктринѣ, заключается историческое значеніе Пушкина и великое наслѣдіе, оставленное имъ дальнѣйшему развитію литературы.

III.

НАРОДНОСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Впечатлѣніе, произведенное событіями конца двадцать пятаго года, по замѣчанію весьма достовѣрныхъ наблюдателей, оказывало свое дѣйствіе въ теченіе всего описываемаго періода. Ближайшіе современники полагали, что эти событія должны были надолго остановить успѣхи, которыхъ безъ этого они, повидимому, ожидали.—Ah, mon prince! vous avez fait bien du mal à la Russie, vous l'avez reculée de cinquante ans (ахъ, князь; вы сдѣлали много зла Россіи, вы ее отодвинули назадъ на пятьдесятъ лѣтъ),—говорилъ въ первые же дни князю Трубецкому одинъ изъ его будущихъ судей, вліятельное лицо новаго царствованія. Ту же мысль высказываетъ, нѣсколько времени спустя, Чаадаевъ въ извѣстномъ „Философическомъ письмѣ“ [1]).

Можно сомнѣваться въ томъ, дѣйствительно ли только эти событія отодвинули Россію на пятьдесятъ лѣтъ назадъ, могло ли отдѣльное явленіе оказать столь обширное и продолжительное вліяніе на судьбу огромной націи,—и не имѣлъ ли, напротивъ, этотъ ходъ вещей болѣе глубокаго корня въ цѣломъ характерѣ времени и общества. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ характеръ всего больше опредѣлялся пассивнымъ положеніемъ народной мысли, вялостью образовательныхъ инстинктовъ въ болѣе цивилизован-

[1]) Въ 1829.—Онъ говоритъ о несчастной судьбѣ нашей цивилизаціи и, упомянувъ о Петрѣ Великомъ, дѣло котораго далеко не принесло всѣхъ желанныхъ результатовъ, продолжаетъ: „Une autre fois, un autre grand prince, nous associant à sa mission glorieuse, nous mena victorieux d'un bout de l'Europe à l'autre; revenus chez nous de cette marche, à travers les pays les plus civilisés du monde, nous ne rapportâmes que des idées et des aspirations dont une immense calamité, qui nous recula d'un demi-siécle, fut le résultat“ (стр. 28).

номъ верхнемъ слоѣ: не было яснаго сознанія и запроса на другой порядокъ вещей, или же это сознаніе ограничивалось столь тѣснымъ кругомъ истинно образованныхъ людей, что въ ту минуту этотъ кругъ не оказывалъ никакого вліянія на теченіе дѣлъ, и его желанія не принимались ни въ какое соображеніе. Наступавшій порядокъ вещей вполнѣ отвѣчалъ представленіямъ и нравамъ большинства и пользовался чрезвычайной популярностью. Но событія двадцать пятаго года имѣли, однако, свое значеніе, какъ лишнее побужденіе къ усиленному консерватизму. Такой консерватизмъ начинается въ сущности гораздо раньше, потому что послѣдніе годы предыдущаго царствованія уже достаточно яснымъ образомъ вступили на эту дорогу; но событія конца 1825 года возбудили опасеніе возможности повторенія какого-нибудь подобнаго движенія въ будущемъ, увеличили до чрезвычайной степени предубѣжденіе противъ всякаго признака политическихъ интересовъ въ обществѣ. Новое время только продолжало въ этомъ отношеніи взглядъ на вещи, господствовавшій въ послѣдніе годы царствованія Александра I, но этотъ взглядъ примѣнялся теперь съ гораздо большей настойчивостью и суровостью, и, кажется, нѣтъ основанія утверждать, чтобы эта программа была именно вынужденная, чтобы безъ упомянутыхъ событій въ наступавшемъ періодѣ можно было бы ожидать продолженія либерализма первыхъ лѣтъ имп. Александра.

Наступившая теперь система была, слѣдовательно, та же консервативная система опеки, но самой полной и строгой, какая только была употребляема въ русской жизни. Съ самаго начала система заявила тотъ принципъ, что такъ какъ броженіе двадцатыхъ годовъ происходило отъ поверхностнаго воспитанія и отъ вольнодумства, заимствованнаго изъ иностранныхъ ученій, то слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на воспитаніе молодыхъ поколѣній, дать силу въ воспитаніи истиннымъ русскимъ началамъ и строго удалять изъ него все, что̀ бы имъ противорѣчило. На тѣхъ же началахъ должна была основаться вся государственная и общественная жизнь. Сущность началъ была опредѣлена совершенно положительно, и въ національной жизни признаны были законными только тѣ дѣйствія и явленія, которыя отвѣчали пунктамъ опредѣленнаго теперь національнаго символа, въ числѣ которыхъ впервые названо было оффиціально слово „народность".

Сущность понятій, поставленныхъ теперь краеугольнымъ камнемъ всей національной жизни, была очень близка къ тѣмъ, которыя уже начали господствовать въ послѣдніе годы императора Александра I. Это былъ тотъ традиціонный идеалъ, какъ онъ

издавна высказывался въ мнѣніяхъ всей консервативной партіи и изложенъ въ запискѣ Карамзина; но теперь программа выполнялась съ невиданной при Александрѣ послѣдовательностью, которая была тѣмъ больше, что новая власть не имѣла прошедшаго, которое располагало бы ее къ какимъ-нибудь уступкамъ либерализму. Традиціонныя начала были развиты, усовершенствованы, поставлены на степень непогрѣшимой истины и явились какъ бы новой системой, которая была закрѣплена именемъ народности.

Чтобы говорить о литературныхъ идеяхъ этого времени, необходимо составить себѣ понятіе объ этой оффиціально заявленной народности, потому что она составила ту почву, на которой допускалось движеніе умственной жизни, тотъ кругъ идей, который дѣлался обязательнымъ для литературы и науки. Эта почва оказывала на литературу и науку самое существенное вліяніе; литература и наука, представляя умственную дѣятельность общества, въ исполненіи своей задачи прежде всего должны были встрѣтиться съ этой почвой, которая хотѣла впередъ указать имъ ихъ содержаніе и ихъ границы. Эти отношенія и опредѣлили практическое положеніе литературы и ея общественный смыслъ: оффиціально заявленная народность составляла исходный пунктъ для литературы, которая должна была или безусловно подчиниться ея теоріи, или становиться къ ней въ критическое отношеніе, и при этомъ или отыскивать для нея теоретическія основанія или, напротивъ, разойтись съ ней.

Мы не имѣемъ ни возможности, ни намѣренія говорить о цѣломъ характерѣ этого періода, и укажемъ, въ предѣлахъ нашей задачи, лишь нѣкоторыя общія черты системы, которой принадлежала господствующая роль въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій и безъ знакомства съ которой невозможно ясно представить ни движенія понятій за тотъ періодъ, ни того характера ихъ, какой складывался въ результатѣ ихъ впослѣдствіи.

Историческое значеніе системы, о которой мы говоримъ, обозначилось ясно даже для массы общественнаго мнѣнія, когда этотъ періодъ смѣнился царствованіемъ имп. Александра II. Намъ еще очень памятно то радостное, полное ожиданій возбужденіе, какимъ ознаменовалось начало новаго періода, и памятно также, какъ судили тогда о предшествовавшей эпохѣ.

Точно повязка упала съ глазъ,—такъ ясно начинали видѣть слабыя стороны прошедшаго. Сужденіе было согласное и важно было тѣмъ болѣе, что вызвано было фактами, высказано было послѣ историческаго испытанія системы, когда оказалось, что

система слишкомъ самонадѣянно считала себя непогрѣшимой и присвоивала себѣ исключительную дѣятельность, что она не въ силахъ была удовлетворить потребностямъ національной жизни даже въ той области, которую она выбрала предметомъ своей главнѣйшей спеціальной заботы — въ военномъ дѣлѣ, въ дѣлѣ національной защиты. Общественное мнѣніе впервые послѣ долгаго молчанія стало высказываться довольно явственно. То время между прочимъ памятно особеннымъ распространеніемъ рукописной литературы, которая была именно признакомъ пробужденія общественнаго мнѣнія. Были здѣсь легкія тенденціозныя стихотворенія и эпиграммы, но была въ особенности литература публицистическая, трактовавшая политическіе и общественные вопросы, нерѣдко съ вѣрной оцѣнкой недавняго прошлаго и всегда съ искреннимъ желаніемъ лучшаго порядка. Эта литература была согласна въ своихъ приговорахъ о протекшей эпохѣ. Въ результатѣ, не только общество, но само правительство сознавало, что нуженъ иной путь для внутренней политики: заговорили о гласности, образованіи, о крестьянскомъ вопросѣ, о необходимости реформы въ различныхъ отрасляхъ общественности и управленія, и т. д. Эти желанія сами собой указывали, чего именно недоставало прошедшему періоду, чѣмъ онъ не удовлетворялъ потребностямъ государства и общества. Въ общемъ итогѣ, желанія эти сводились къ одному — къ исправленію вопіющихъ недостатковъ прежняго управленія и къ нѣкоторому простору для общественной инициативы; они отрицали нетерпимость и стѣснительность опеки, которая была господствующей чертой прежняго времени.

Такимъ образомъ, первыя свободно высказанныя мнѣнія просвѣщенной части общества становились противъ системы, которая, однако, въ числѣ своихъ началъ выставила „народность“. Въ чемъ же состояла или какъ понималась эта народность?

Многіе изъ лучшихъ современниковъ уже давно начали сомнѣваться въ „народномъ“ характерѣ системы; они соглашались, что она удовлетворяла преданіямъ массы, но утверждали, что въ болѣе широкомъ смыслѣ она вовсе не была народна, такъ какъ по своей крайней исключительности не давала никакого исхода для развитія умственныхъ и матеріальныхъ силъ народа, оставляя огромную долю самого народа въ рабствѣ, и наконецъ, что даже въ способѣ ея дѣйствій господствовали взгляды, внушенные чужой, западной реакціей. Тѣ критики, которые въ концѣ

50-хъ годовъ впервые рѣшились отдать себѣ отчетъ въ характерѣ минувшихъ десятилѣтій, именно замѣчали тѣсную связь между нашей системой и пріемами европейской реакціи, которые, будучи восприняты первоначально при Александрѣ, подъ вліяніемъ Меттерниха, получили теперь новое развитіе и были послѣдовательно распространены на всѣ отрасли управленія.

Одинъ изъ публицистовъ упомянутой рукописной литературы положительно доказывалъ это господство Меттерниховой системы въ нашей внутренней политикѣ, несмотря на все различіе двухъ странъ, которое дѣлало эту систему не только излишней и неразумной въ Россіи, но и вредной для ея развитія. „Поддержаніе status quo въ Европѣ, особенно въ Турціи и Австріи; возвѣщеніе и огражденіе, словомъ и дѣломъ, охранительнаго, неограниченнаго монархическаго начала повсюду; преимущественная опора на матеріальную силу войска; поглощеніе властью, сосредоточенной въ одной волѣ, всѣхъ силъ народа, что особенно поражаетъ въ организаціи общественнаго воспитанія и въ колоссальномъ развитіи административнаго элемента, къ ущербу прочимъ; обрусѣніе иноплеменныхъ народовъ, присоединенныхъ къ имперіи на особыхъ правахъ; стремленіе создать, хотя бы насильственнымъ образомъ, единство вѣроисповѣданія, законодательства и администраціи; подавленіе всякаго самостоятельнаго проявленія мысли какъ въ литературѣ, такъ и въ обществѣ, и надзоръ надъ нею; регламентація, военная дисциплина и полицейскія мѣры даже въ томъ, что наименѣе подлежитъ имъ, и такъ далѣе,—все это неопровержимо обличаетъ у насъ присутствіе системы, возникшей въ Австріи, по вслѣдствіе горькой необходимости, какъ conditio sine qua non ея существованія,—въ Россіи же не подходящей подъ прямыя условія ея быта, а потому мѣшающей правильному развитію ея нравственныхъ, умственныхъ и матеріальныхъ силъ“ [1]).

Безспорно, что всѣ эти пріемы были близко похожи на ту политику, которая развивалась въ континентальной Европѣ, особенно въ Австріи, въ періодъ реставраціи; это были пріемы того Polizeistaat, которое тогда казалось верхомъ политической мудрости и наилучшимъ способомъ управленія народами. Тѣмъ легче могли установиться эти пріемы въ нашей жизни, которая не представляла никакихъ элементовъ самостоятельности, и слѣдовательно, никакихъ затрудненій, и по той же причинѣ у насъ эти пріемы имѣли, быть можетъ, наиболѣе тягостное и неблаго-

[1]) „Мысли вслухъ объ истекшемъ тридцатилѣтіи Россіи“ (мартъ, 1855),—статья, которая приписывалась Т. Н. Грановскому.

пріятное вліяніе. Въ государствахъ западныхъ шла явная борьба національныхъ и общественно-политическихъ силъ противъ данной средневѣковой формы государства; реакціонное управленіе было для послѣдней средствомъ самосохраненія; въ самомъ обществѣ политическіе инстинкты были такъ сильны, что могли выдерживать это давленіе. У насъ было совсѣмъ напротивъ: наша государственная жизнь не представляла ничего подобнаго тому броженію, какое совершалось въ австрійской имперіи, громадная масса общества оставалась еще на степени развитія вполнѣ патріархальной, она нуждалась не въ стѣсненіи, а въ возбужденіи ея умственной и нравственной дѣятельности; ее нужно было не удерживать суровыми ограниченіями, а напротивъ, поощрять и двигать впередъ, потому что въ ней вѣками накопилось и безъ того слишкомъ много лѣни и бездѣйствія.

Эти свойства системы, принимавшей своею характеристикой „народность", становились ясны въ періодъ крымской войны. Рукописная публицистика была преисполнена разсужденіями о внѣшней и внутренней политикѣ Россіи, которымъ нельзя отказать въ большой вѣрности: политическія обстоятельства и положеніе вещей внутри слишкомъ настоятельно указывали, даже для людей мало думавшихъ, значеніе прежняго хода дѣлъ по его наступившимъ послѣдствіямъ.

Припомнимъ нѣкоторые факты.

Въ европейской политикѣ Россія, за исключеніемъ первой турецкой войны и покровительства Греціи, строго слѣдовала началамъ Священнаго Союза и защищала легитимизмъ. Вліяніе Россіи въ этомъ смыслѣ было очень сильное въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ и много служило къ поддержанію въ Европѣ старыхъ абсолютистскихъ партій и къ подавленію движеній конституціонныхъ. Въ свое время это вліяніе могло льстить національному самолюбію, но авторитетъ тратился на чужія дѣла, намъ въ сущности постороннія, и результаты не были благопріятны для Россіи: она слишкомъ самоувѣренно ставила свой авторитетъ противъ цѣлаго движенія, котораго однако не въ силахъ была бы удержать; она становилась наперекоръ внутреннему политическому развитію европейскаго общества, и немудрено, что возбудила противъ себя упорную вражду въ большинствѣ этого общества. Эта вражда, начавшись еще съ послѣднихъ годовъ царствованія Александра, когда Россія уже открыто стала на эту дорогу, увеличилась въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій до ненависти, которая сдѣлала крымскую войну чрезвычайно популярной на всемъ европейскомъ Западѣ. Такимъ образомъ, „народному" харак-

теру тогдашняго положенія Россіи даны были черты самаго крайняго консерватизма, и результаты этой политики обратились противъ нея же. Въ крымской войнѣ противъ Россіи оказались не только Англія, вражда которой объяснялась политическимъ недовѣріемъ, не только Франція, къ которой Россія была постоянно не расположена, какъ къ гнѣзду либерализма, не только Сардинія, въ которой Россія не желала признавать конституціонной реформы,— противъ Россіи оказались даже государства, правительства которыхъ находили особенную поддержку Россіи. Россія поддерживала, въ тридцатыхъ годахъ, Турцію, которая, взамѣнъ, угнетала родственныя намъ славянскія племена; поддержала въ венгерскую войну распадавшуюся Австрію, для которой побѣда послужила только къ возстановленію самаго необузданнаго абсолютизма, обращеннаго опять противъ нашихъ единоплеменниковъ, и которая затѣмъ, въ періодъ крымской войны, когда Россія могла бы ожидать отъ нея отплаты за услугу, предпочла „удивить міръ своей неблагодарностью", т.-е. насмѣяться надъ Россіей.

Такимъ образомъ, результаты этой политики въ европейскихъ дѣлахъ далеко не были благопріятны для Россіи въ матеріальномъ отношеніи: она кончилась столкновеніемъ, въ которомъ Россія понесла только потери; на великую отрицательную пользу въ нравственныхъ послѣдствіяхъ войны для общества, эта политика, конечно, не разсчитывала. Трудно также доказать, чтобы эта политика была дѣйствительно народна, т.-е., чтобы она отвѣчала требованіямъ національнаго блага и характера. Это благо вовсе не требовало поддержки себялюбивымъ интересамъ постороннихъ правительствъ, и скорѣе терпѣло великій ущербъ отъ того разъединенія съ европейской жизнью, которое сопровождало эту политику. Что касается „національнаго характера", изъ него мудрено было бы вывести какое-нибудь обязательное правило въ вопросахъ такого отдаленнаго интереса. Для народа, не имѣвшаго никакихъ представленій о политическихъ отношеніяхъ, эти вопросы просто не существовали, и со временъ войны 1812 года, едва ли не единственнымъ случаемъ, гдѣ проявлялось нѣкоторое народное участіе, была греческая война за освобожденіе, во время которой высказалось сочувствіе общества и народа къ греческимъ единовѣрцамъ. Въ этомъ, чуть ли не единственномъ случаѣ дѣйствительнаго интереса, онъ совпадалъ съ интересами всей западной Европы. Въ другихъ вопросахъ нашей политики, масса не имѣла никакого яснаго представленія, а въ образованномъ классѣ общественное мнѣніе, какъ увидимъ, было раздѣлено... Такимъ образомъ, „народность" внѣшней политики была сомнительна.

Во внутреннихъ дѣлахъ теорія требовала безграничнаго авторитета власти и самой полной опеки надъ всѣми сторонами государственной, народной и общественной жизни. Въ этомъ, какъ мы замѣтили, не было новаго, но теперь опека достигла, вѣроятно, самыхъ широкихъ размѣровъ, какіе только когда-нибудь у насъ имѣла. Она стремилась связать въ одномъ крѣпкомъ узлѣ всѣ нити управленія, распространить надзоръ на всѣ движенія національной жизни, все подвести къ одному уровню. Слѣдствіемъ было чрезвычайное распространеніе бюрократіи, которая оставалась для центральной власти единственнымъ средствомъ управленія и контроля. За обществомъ не признавалось никакого значенія; общественное мнѣніе лишено было всякаго вліянія; общество не могло само ничего дѣлать въ своихъ интересахъ, даже самыхъ элементарныхъ, и могло двигаться только въ данныхъ рамкахъ; за него думали и дѣйствовали канцеляріи, и ему оставалось повиноваться.

Развитіе бюрократіи влекло за собой всѣ неизбѣжныя его послѣдствія. Во всѣхъ дѣлахъ, въ администраціи и судѣ, господствовало бумажное производство, совершавшееся въ канцелярской тайнѣ, недоступное не только критикѣ, но даже свѣдѣнію общественнаго мнѣнія, не имѣвшее надъ собой никакого ограниченія и контроля, кромѣ власти непосредственнаго высшаго начальства, которое считало себя всевѣдущимъ и непогрѣшимымъ и не находило интереса открывать недостатки своего вѣдомства. Каждая власть была всесильна надъ тѣмъ, что было ниже ея, и въ свою очередь безотвѣтна передъ высшей инстанціей, такъ что въ цѣломъ лѣстница управленія представляла рядъ ступеней произвола администраціи, противъ котораго были почти беззащитны управляемое общество и народъ. Дѣла обыкновенно шли прекрасно и все обстояло благополучно на бумагѣ, но никто не свѣрялъ бумаги съ дѣйствительностью. Случалось иногда, что вопіющее ихъ противорѣчіе бросалось въ глаза такъ, что нельзя было его скрыть; слѣдовали изъ высшихъ правительственныхъ областей строгія кары произволу, но въ цѣломъ дѣла продолжали идти попрежнему.

Понятно, что бюрократія больше и больше парализовала общесственныя силы. Не допуская никакого участія общества въ рѣшеніи вопросовъ, затрогивавшихъ самые существенные его интересы; не выслушивая этой заинтересованной стороны, бюрократія сама лишала себя запаса свѣдѣній о предметѣ, какой бы могъ быть доставленъ участіемъ общества, и рѣшала эти вопросы по необходимости односторонне или совсѣмъ невѣрно,—кромѣ того,

отдаленіе общества отъ участія въ его собственныхъ дѣлахъ еще больше усиливало ту вѣковую умственную лѣнь, которая и безъ того удручала русское общество и могла стать роковымъ бѣдствіемъ національной жизни,—еслибы событія не пришли, наконецъ, разбудить общество и государство отъ тяжелаго сна.

Частныя вредныя дѣйствія бюрократіи также обнаружились очень скоро. Безконтрольность чиновничества, его огромное размноженіе и скудное содержаніе, какое давалось государствомъ на эту многочисленную армію, повели къ крайней его испорченности: взяточничество, противъ котораго оказывались безсильны негодованіе и строгость правительства, господствовало во всѣхъ ступеняхъ управленія, отъ низшихъ и до высшихъ. Существовала почти опредѣленная такса за тѣ или другія услуги чиновничества, за полученіе мѣстъ, за административныя и судебныя рѣшенія и т. д. Обычай былъ давнишній, и общество почти мирилось съ нимъ, тѣмъ больше, что видѣло невозможность для бѣднаго чиновничества существовать однимъ казеннымъ жалованьемъ. Правительство, безъ сомнѣнія, искренно желало помочь этому печальному положенію вещей, но по обычаю думали помочь ему только новыми бюрократическими мѣрами, которыя размножили формализмъ, но оказывались совсѣмъ безполезны, потому что единственнымъ средствомъ избавиться отъ этого зла было измѣненіе самой системы, поднятіе общественнаго мнѣнія и иниціативы, а этого не считали возможнымъ допустить. Подъ конецъ періода, правительство, наконецъ, серьезно озаботилось чрезмѣрнымъ размноженіемъ и испорченностью чиновничеста: предпринято было „сокращеніе переписки", уменьшеніе штатовъ, но дѣло оттого поправилось мало: вредъ, производимый исключительной бюрократіей, продолжался, хотя чиновниковъ, быть можетъ, и убавилось; нѣсколько случаевъ суроваго осужденія казнокрадства не уничтожили давнишняго зла.

Наше политическое устройство съ давнихъ временъ отличалось смѣшеніемъ власти законодательной, администраціи и суда. При чрезвычайномъ развитіи бюрократіи, это смѣшеніе отзывалось особенно тяжелыми послѣдствіями. Въ правленіе имп. Александра былъ уже сознанъ этотъ капитальный порокъ нашего устройства, но планы совѣтниковъ Александра, хотѣвшихъ устранить это смѣшеніе властей, не осуществились, и въ послѣдующемъ періодѣ оно продолжалось во всей силѣ. Это спутывало, наконецъ, всѣ нравственныя понятія общества. Законъ и въ крупныхъ и мелкихъ отправленіяхъ своихъ зачастую отступалъ передъ произволомъ бюрократической власти, распоряжавшейся безкон-

трально каждая въ своемъ районѣ. Старые суды еще доходятъ до нашего времени, и памятна ихъ медленная канцелярская процедура, усложненная множествомъ инстанцій, знаменитая своимъ произволомъ и лихоимствомъ.

Одной изъ главнѣйшихъ заботъ того времени было устройство многочисленной арміи, въ которой видѣли и залогъ внѣшняго политическаго могущества, и внутренняго спокойствія. Военная служба слыла самой „благородной“ службой. Нѣтъ надобности говорить много объ этой военной системѣ, недостатки которой такъ трагически доказаны были крымской войной. На армію уходили лучшія молодыя силы народа, — уходили безвозвратно вслѣдствіе крайне долгаго срока службы,—и самая крупная часть бюджета. Вооруженія Россіи поддерживали ея политическое вліяніе въ Европѣ, но это вліяніе, не приносившее пользы самой странѣ, раздражало противъ Россіи европейское общественное мнѣніе, вслѣдствіе упомянутаго характера русской внѣшней политики. Внутри усиленныя вооруженія отзывались обѣднѣніемъ народа, изъ среды котораго наполнялось войско и на плечахъ котораго лежало содержаніе этого войска и всего государственнаго механизма.

Военная дисциплина и парадная выправка играли главнѣйшую роль въ устройствѣ арміи. Въ критическую минуту оказалось, что за этимъ забыты были самыя существенныя потребности арміи на военное время, между прочимъ вооруженіе, которое оказалось совершенно неудовлетворительнымъ въ сравненіи съ вооруженіемъ непріятельскихъ войскъ [1]). Защита Севастополя показала, что не было недостатка въ мужествѣ арміи и даже въ военныхъ талантахъ, но организація была ничтожна. Замѣчательный рядъ преобразованій, совершенныхъ въ прошлое царствованіе въ нашемъ военномъ дѣлѣ и затронувшихъ самыя существенныя стороны военнаго устройства, представлялъ самъ по себѣ достаточную критику этого прошедшаго.

Чрезмѣрное развитіе милитаризма захватывало и многія чисто гражданскія отрасли управленія: такъ, вѣдомство межевое, лѣсное, путей сообщенія, горное, инженерное, получили усиленный военный характеръ. нисколько не требовавшійся сущностью дѣла;

[1]) Когда это положеніе дѣла измѣнилось въ прошлое царствованіе, люди, бывшіе свидѣтелями прежняго порядка, раскрыли вполнѣ его недостатки въ разсказахъ, нерѣдко поразительныхъ, — къ сожалѣнію только, раскрыли поздно. Разсказы этого рода появляются до сихъ поръ; укажемъ для примѣра помѣщенныя въ „Р. Архивѣ“ (1870) воспоминанія одного полкового казначея (очень близкаго свидѣтеля) о порядкахъ въ интендантскомъ вѣдомствѣ во время Крымской войны.

наконецъ, уголовное судопроизводство, по многимъ родамъ дѣлъ, также стало переходить въ вѣдѣніе военныхъ судовъ. Современники объясняли это предпочтеніе военныхъ порядковъ тѣмъ, что высшая власть не довѣряла медленной и лихоимной гражданской бюрократіи. Надобно полагать, что это объясненіе была вѣрно,— но насколько самая возможность подобнаго недовѣрія свидѣтельствовала о нормальности такого положенія вещей, всегда ли такая перемѣна ролей оказывала дѣйствительную помощь, и не теряли ли, напротивъ, спеціальныя дѣла, какъ упомянутыя выше, отъ военныхъ порядковъ, и особенно уголовное судопроизводство въ дѣлахъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ военнымъ предметамъ? Наконецъ, почему же сохранялась въ другихъ отрасляхъ та испорченная бюрократія, которой не довѣряли здѣсь? Рядомъ съ этимъ совершалось другое явленіе: идеаломъ службы была служба военная. Она сообщала извѣстныя качества, которыя считались лучшими качествами служащаго человѣка: безпрекословное чинопочитаніе, механическую исполнительность, суетливую расторопность. Поэтому, военная служба открывала дорогу во всѣ отрасли управленія, не исключая и очень спеціальныхъ, какъ, напр., гусарская служба вела къ оберъ-прокурорству при св. синодѣ; предполагалось, что упомянутыя качества дѣлаютъ военнаго человѣка годнымъ во всякой службѣ, какая бы ни была ему указана. Такъ, всего чаще назначались военные попечителями учебныхъ округовъ, и т. п. Но нужны ли и достаточны ли военныя доблести въ дѣлахъ школы и науки?

Тоже начало правительственнаго авторитета проводилось въ дѣлахъ церковныхъ. Наша церковь, со временъ Петра Великаго и послѣдняго патріарха, стала въ подчиненное отношеніе къ свѣтской власти, которая, предоставляя ей предметы спеціально и исключительно духовные, никогда не уступала рѣшающаго голоса, какъ только церковный вопросъ имѣлъ связь съ политическими и общественными отношеніями. Немногіе голоса, которые въ теченіи XVIII-го столѣтія рѣшались говорить въ пользу независимости церкви, пропадали безслѣдно: она была безпрекословно подчинена гражданской власти, и церковное управленіе шло заурядъ со всякой другой администраціей. Теперь этотъ порядокъ оставался неизмѣннымъ, но также получилъ еще большую бюрократическую опредѣленность и строгость. При Александрѣ I была разъ допущена нѣкоторая тѣнь религіозной свободы, которая, между прочимъ, выразилась разрѣшеніемъ масонскихъ ложъ и библейскаго общества и терпимостью къ расколу, напр., къ духоборству. Теперь масонскія ложи, закрытыя при Александрѣ, были

запрещены еще разъ; библейское общество, пріостановленное при Александрѣ, было упразднено окончательно; терпимость для раскола кончилась. Взглядъ, господствовавшій теперь, вообще не допускалъ никакихъ „вмѣшательствъ" общества въ дѣла, которыя считались уже обезпеченными, если для нихъ существовали особыя канцеляріи; предполагалось, что канцеляріи знаютъ вообще наилучшимъ образомъ то, что имъ поручено, и частнымъ людямъ не было уже никакого дѣла до этихъ предметовъ.

Положеніе раскола значительно измѣнилось со временъ Александра. Этотъ періодъ былъ въ особенности временемъ систематическаго преслѣдованія. Господствовавшій взглядъ требовалъ полнаго единства и форменнаго однообразія въ церковной, какъ въ гражданской жизни націи, а расколъ былъ вопіющимъ нарушеніемъ этой дисциплины. Дѣла о расколѣ трактовались какъ государственная тайна; составлялись многоразличные комитеты для опредѣленія раскольничьихъ толковъ и степени ихъ государственной опасности, при чемъ различные секретные комитеты (со стороны церковной власти, министерства внутр. дѣлъ, высшей полиціи) не знали иногда даже о существованіи одинъ другого. Невозможность преодолѣть расколъ административно-полицейскими мѣрами, вслѣдствіе самой громадности дѣла, заставила ограничить преслѣдованіе и направить его въ особенности противъ тѣхъ сектъ, которыя были признаны наиболѣе вредными. Преслѣдованіе производилось тѣми же средствами полицейской бюрократіи, и испорченность чиновничества дѣлала то, что преслѣдуемые откупались: чиновники считали раскольничьи дѣла прибыльной статьей; расколъ искоренялся на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ не думалъ уменьшаться. Въ раскольничьей массѣ еще больше распространялись скрытность и недовѣріе къ оффиціальнымъ властямъ, и къ прежнимъ сектамъ стали прибавляться новыя, вновь изобрѣтаемыя подъ вліяніемъ существовавшихъ условій [1]). Когда, въ царствованіе Александра II, наступилъ опять болѣе мягкій образъ дѣйствій по расколу, когда съ него былъ снятъ канцелярскій секретъ, и онъ сталъ предметомъ литературныхъ разъясненій, историческихъ и бытовыхъ, — то однимъ изъ первыхъ указаній литературы былъ фактъ, что оффиціальная цифра раскола, по прежнимъ свѣдѣніямъ министерства внутреннихъ дѣлъ, далеко не представляла цифры дѣйствительной. Такимъ образомъ, высшая власть, при всѣхъ своихъ средствахъ, не знала даже

[1]) Такъ, напримѣръ, думаютъ объ особенномъ распространеніи въ то царствованіе секты „странниковъ".

численности раскола; точно также не знала она настоящаго отношенія низшихъ бюрократическихъ властей къ расколу, который былъ для нихъ предметовъ эксплуатаціи, и не знала дѣйствительнаго значенія раскола въ народной средѣ. Болѣе гуманное отношеніе къ расколу въ наше время стало производить „обращенія“ гораздо болѣе искреннія и дѣйствительныя, чѣмъ бывало прежде, и вообще, даже теперь, успѣло подѣйствовать противъ раскола несравненно сильнѣе, чѣмъ всѣ преслѣдованія прошлыхъ десятилѣтій. Нѣтъ сомнѣнія, что только дальнѣйшее развитіе и бо́льшая широта этой терпимости могутъ вообще дать церковно-народнымъ отношеніямъ то нормальное положеніе, какого имъ до сихъ поръ недостаетъ.

Какъ вопросъ о расколѣ былъ дѣломъ бюрократіи и оставался секретомъ для общества, такъ оно оставалось чуждо и другимъ явленіямъ, совершавшимся въ области церкви. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ событій этого рода въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій было возсоединеніе уніатовъ. Это актъ, который долженъ былъ восполнить историческій ущербъ, понесенный русской церковью въ XVI-мъ столѣтіи, совершился чисто оффиціальнымъ образомъ: общество не знало о приготовлявшемся событіи, не участвовало своимъ содѣйствіемъ или мнѣніемъ въ его совершеніи, и должно было просто принять его, какъ совершившійся фактъ. Этотъ способъ дѣйствій шелъ вообще въ параллель съ образомъ дѣйствій относительно Польши и западнаго края: власть устраняла всякое участіе общественнаго мнѣнія, и дѣйствуя только силой авторитета, должна была довольствоваться результатами, которые были удовлетворительны въ формальномъ отношеніи, но, какъ стало ясно впослѣдствіи, не давали прочнаго, дѣйствительнаго разрѣшенія вопроса...

Традиціонный порядокъ вещей не улучшился и во внутренней церковной жизни. Отношеніе церкви къ обществу было слишкомъ внѣшнее: при полномъ подчиненіи государству, церковное управленіе слишкомъ часто было орудіемъ административно-полицейскихъ цѣлей, относилось къ обществу сухо и формально и вообще отличалось тѣми свойствами, противъ которыхъ въ послѣдующее время печать успѣла высказаться весьма рѣшительно (газеты „День“, „Москва“) и противъ которыхъ теперь замѣтно извѣстное движеніе въ самомъ духовенствѣ. Этотъ формализмъ отношеній церкви къ обществу усиливался безправнымъ положеніемъ низшаго духовенства: епархіальная власть была надъ нимъ всесильна. Священникъ былъ связанъ не только въ своихъ іерархическихъ отношеніяхъ, но и въ отношеніяхъ къ паствѣ: если

не ошибаемся, и до сихъ поръ, чтобы сказать проповѣдь, священникъ обязанъ представить ее на „благословеніе“, т.-е. на цензуру къ своему начальству. И не только живое слово этимъ связывалось; стѣсненіе невыгодно отражалось и на самомъ содержаніи проповѣдей, которыя чрезвычайно рѣдко выходили изъ обыкновенныхъ реторическихъ общихъ мѣстъ, а своимъ полу-славянскимъ языкомъ, который считался обязательнымъ, еще больше удалялись отъ жизни. Духовное образованіе, представляемое семинаріями, совершалось по преданіямъ XVIII-го столѣтія и мало содѣйствовало сближенію духовнаго сословія съ обществомъ и его умственными интересами. Духовенство выдѣлялось въ касту и оставалось внѣ того движенія, которое совершалось въ свѣтской наукѣ и литературѣ.

Дѣло народнаго просвѣщенія шло, въ сущности, въ тѣхъ формахъ, какія даны были ему въ царствованіе имп. Александра. Время дѣлало свое, и ученое образованіе оказывало успѣхи вслѣдствіе того, что европейская наука начинала пріобрѣтать достойныхъ и компетентныхъ дѣятелей, и отдѣльныя мѣры правительства, о которыхъ упомянемъ дальше, принесли несомнѣнную пользу русской наукѣ. Но, въ сущности, положеніе науки въ обществѣ оставалось и теперь столь же непрочно, какъ и прежде; образованіе, которое должна была давать школа, было слишкомъ ограниченно и по своему распространенію, и по содержанію..

Прежде всего, „*народное* просвѣщеніе“ по прежнему ограничивалось только верхними свободными сословіями, въ очень небольшой степени существовало для низшаго городского населенія и вовсе не существовало для крестьянъ, т.-е. именно для народа, для основы націи. Крѣпостное право продолжало дѣлать школу недоступной для крестьянства. Оно было недоступно и для цѣлой народной массы, — не только по ея матеріальному положенію, но и по взгляду, который находилъ образованіе безполезнымъ и даже вреднымъ для низшихъ классовъ, и который въ теченіе всего описываемаго періода съ упорствомъ старался подавлять „необузданное (?) стремленіе молодыхъ людей изъ низшихъ сословій къ высшему образованію, изъемлющему ихъ изъ первобытнаго состоянія безъ пользы для государства“. Этотъ принципъ дѣйствовалъ вполнѣ успѣшно.

Дѣло университетовъ въ началѣ описываемаго періода стало лучше, чѣмъ было въ послѣдніе годы имп. Александра; изъ университетовъ вышли и въ нихъ потомъ дѣйствовали ученые и писатели, оказавшіе важное вліяніе на умственное развитіе рус-

скаго общества; тѣмъ не менѣе, положеніе университетовъ въ цѣломъ было очень неблагопріятное. Высшія сферы имѣли противъ нихъ предубѣжденіе, сохранившееся отъ временъ Александра и вновь подкрѣпленное вліяніемъ германскаго и австрійскаго обскурантизма. Со времени безпокойствъ въ германскихъ университетахъ въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ, нѣмецкія правительства смотрѣли на университеты, какъ на гнѣздо „демагогическихъ происковъ", и извѣстно, съ какой наглостью и съ какимъ успѣхомъ Магницкій эксплуатировалъ эту тему на нашихъ университетахъ, увѣривши власти, что наши университеты (находившіеся въ младенческомъ состояніи) также заражены вольнодумствомъ. Магницкій былъ, правда, удаленъ на первыхъ же порахъ новаго царствованія (потому что раньше, въ порывахъ своей наглости, успѣлъ, говорятъ, задѣть весьма высокопоставленныхъ лицъ), и безобразія его были прекращены, — но это вовсе не означало уничтоженія реакціонной системы, и въ министерствѣ держались еще нѣсколько лѣтъ сначала Шишковъ, потомъ Ливенъ, оба люди очень старой школы и точно также предубѣжденные противъ образованія. Извѣстно, какія понятія вообще имѣлъ Шишковъ о наукѣ; взятый Александромъ I въ минуту затрудненія, какъ человѣкъ, противъ котораго не было возможно ни малѣйшее обвиненіе въ вольнодумствѣ, которымъ тогда перекорялись даже сами обскурантныя партіи, принадлежа къ разнымъ системамъ мракобѣсія,—Шишковъ, очевидно, держался только какъ почтенная и безобидная древность. Ливенъ былъ піэтистъ, и едва ли лучше Шишкова удовлетворялъ требованіямъ своего положенія. Впервые мѣсто министра народнаго просвѣщенія занято было человѣкомъ, дѣйствительно образованнымъ тогда, когда былъ назначенъ Уваровъ. Но и самъ Уваровъ не удовлетворялъ требованіямъ дѣла, мало чувствовалъ и защищалъ насущную потребность образованія для общества и особенно для народа: онъ вовсе не шелъ наравнѣ съ развивавшимися умственными стремленіями общества, самъ преслѣдовалъ иныя нѣсколько свободныя проявленія литературы,—но даже его мнѣнія казались слишкомъ смѣлы въ тогдашнемъ оффиціальномъ мірѣ, и при всей умѣренности своихъ взглядовъ, при всей дипломатической осторожности своего образа дѣйствій, онъ былъ не въ силахъ отстаивать дѣло просвѣщенія и университетовъ отъ предубѣжденій, господствовавшихъ въ высшей правительственной сферѣ и, наконецъ, долженъ былъ оставить свое мѣсто. Про его преемникахъ снова пошли въ ходъ понятія, совершенно напоминавшія

піэтистовъ временъ импер. Александра [1]). Событія 1848 года совершенно неожиданно отозвались у насъ увеличеніемъ строгостей, усиленіемъ надзора за университетами, за литературой и общественнымъ мнѣніемъ. Странно сказать, но въ русскомъ обществѣ также опасались революціоннаго броженія. Едва ли нужно говорить, что на дѣлѣ не представлялось и тѣни какой-нибудь опасности: масса общества предавалась безмятежному сну...

Университеты въ лучшую пору уваровскаго управленія пріобрѣли запасъ русскихъ профессоровъ, окончившихъ свое ученое воспитаніе за границей и стоявшихъ на уровнѣ европейской науки; и значительно поднялись сравнительно съ прежнимъ. Дѣятельность университетовъ могла бы служить опорой для распространенія въ русской жизни общественнаго сознанія и вкуса къ наукѣ, къ сожалѣнію, эта дѣятельность была слишкомъ стѣснена тѣмъ крайнимъ недовѣріемъ, о которомъ мы упоминали: исходя изъ лучшихъ вліяній науки и литературы, она вовсе не была во вкусѣ опеки. Высшая власть подозрительно смотрѣла на университетскую жизнь; попечители округовъ, почти всегда назначавшіеся изъ лицъ, по прежней службѣ совершенно чуждыхъ учебному вѣдомству, почти всегда раздѣляли эту подозрительность, не имѣли ни интереса, ни пониманія въ дѣлѣ просвѣщенія и, главнымъ образомъ, видѣли свое дѣло въ полицейскомъ присмотрѣ. Недостатокъ нравственнаго и умственнаго простора не могъ не стѣснять образовательной дѣятельности университетовъ; онъ дѣйствовалъ подавляющимъ образомъ, часто превращалъ профессуру въ простое отправленіе ученаго промысла и подвергалъ тяжелому испытанію ревность и энергію лучшихъ людей, которымъ именно всего больше приходилось чувствовать на себѣ этотъ гнетъ. Для примѣра довольно вспомнить, какъ тяжело доставалось, въ особенности послѣднее время, Грановскому: это былъ одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ людей, какіе только были у насъ въ то время, одинъ изъ избранныхъ умовъ, стоявшихъ во главѣ нашей образованности, человѣкъ самыхъ спокойныхъ политическихъ убѣжденій, умѣренность которыхъ стала даже поводомъ раздора его съ нѣкоторыми изъ его ближайшихъ друзей, наконецъ, человѣкъ, пользовавшійся большой популярностью и уваженіемъ въ образованномъ обществѣ, и все это не спасло его отъ притѣсненій и отъ полицейскаго надзора,—напротивъ.

Мы упоминали о томъ духѣ милитаризма и военной дисцип-

---

[1]) Ср. объ этомъ и вообще о характерѣ тогдашней системы любопытныя замѣчанія въ Р. Архивѣ, 1868, стр. 989—991.

линны, который вообще старались тогда распространить и на пріемы управленія и на общественную жизнь. Особеннымъ разсадникомъ его служило въ особенности военное воспитаніе, долженствовавшее готовить офицеровъ для арміи. Впослѣдствіи само правительство—вѣроятно, опять по тому же опыту крымской войны—убѣдилось, какъ мало удовлетворительно было это воспитаніе, которое ставило воспитанника съ самаго дѣтства въ строгія формы службы, обращало все вниманіе на внѣшнюю военную дрессировку и, забывая потребности общаго воспитанія, готовило людей, знавшихъ рутину фрунтовой службы, но мало развитыхъ и мало способныхъ къ самостоятельному и сознательному дѣйствію даже въ своей спеціальности. Реформа военно-учебныхъ заведеній въ царствованіе имп. Александра II отвергла эту систему военной дрессировки съ малолѣтства и поставила своимъ принципомъ то несомнѣнно вѣрное правило, что воспитаніе общеобразовательное должно быть первой ступенью, а спеціальное—уже второй...

Не будемъ приводить дальнѣйшихъ примѣровъ того, какъ взгляды, господствовавшіе въ высшихъ сферахъ, отражались въ различныхъ областяхъ управленія, какъ принципъ исключительнаго авторитета всюду вносилъ правительственный надзоръ и опеку, въ формѣ военной и бюрократической, вездѣ стѣсняя и подавляя самостоятельныя движенія общества. Принятая система была въ самомъ полномъ смыслѣ охранительная—система Священнаго Союза во внѣшней и внутренней политикѣ, защита абсолютнаго монархическаго принципа въ другихъ государствахъ и суровое осуществленіе патріархальной абсолютной монархіи внутри. Несмотря на то, что вся практика жизни указывала на отсутствіе политической зрѣлости общества; несмотря на то, что система именно заботилась о томъ, чтобы въ это общество не проникалъ никакой элементъ политическаго движенія; несмотря на то, что бросалось въ глаза, какъ много еще оставалось Россіи сдѣлать въ образованіи, общественныхъ правахъ и учрежденіяхъ для того, чтобы походить на европейскіе народы,—несмотря на все это система, проникнутая увѣренностью въ непогрѣшимости своихъ началъ и, вѣроятно, основываясь также на внѣшнемъ политическомъ значеніи Россіи въ Европѣ, утверждала, что Россія уже достигла самостоятельности и извнѣ, и внутри. Русская жизнь считалась вступившей въ свой окончательно зрѣлый возрастъ и отдѣлена была отъ жизни общеевропейской и даже противопоставлена послѣдней заявленіемъ исключительныхъ особен-

ностей, дававшихъ русской жизни положеніе, независимое отъ теченія европейскаго развитія и даже совсѣмъ чуждое ему: особенности Россіи относительно политическихъ формъ и религіознаго характера выражены были извѣстными началами, выставленными и истолкованными въ самомъ исключительномъ смыслѣ; особенность бытовая и культурная выражена была народностью, понятою еще менѣе удовлетворительно.

Эти начала были, кромѣ того, непререкаемы: въ нихъ была категорически высказана вся программа русской жизни, они указывались въ прошедшей исторіи и предполагались въ будущемъ,— въ такомъ же смыслѣ, какъ въ „Исторіи“ и въ „Запискѣ“ Карамзина, который съ самыхъ первыхъ вѣковъ видитъ въ Россіи такое же, только менѣе сложное, государство, какъ въ девятнадцатомъ столѣтіи, и открываетъ въ немъ тѣ же отличительныя начала. Нельзя не замѣтить сходства и въ самомъ осуществленіи правительственнаго идеала съ той программой, какую предполагалъ Карамзинъ. Дѣйствительно, въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій, характеръ правленія былъ именно тотъ патріархально-консервативный, который казался такимъ всеразрѣшающимъ и привлекательнымъ Карамзину. Мы говорили о результатахъ: въ концѣ концовъ нельзя было не видѣть, что за наружнымъ порядкомъ было мало дѣйствительныхъ улучшеній и успѣховъ и, напротивъ, накопилось столько административной и общественной порчи, что, наконецъ, для всѣхъ стала очевидна необходимость иного пути, необходимость цѣлаго ряда реформъ, которыя и отмѣтили царствованіе Александра II, какъ начинавшееся исполненіе давно назрѣвшей задачи, какъ давно необходимый переломъ въ исторіи.

Люди, близко видѣвшіе высшія сферы прежняго періода, положительно говорятъ, что въ нихъ было искреннее желаніе улучшеній, напр., расположеніе къ освобожденію крестьянъ, къ уничтоженію бюрократической испорченности и т. п. Но, къ удивленію, для этого не было сдѣлано ничего, или, по крайней мѣрѣ, ничего энергическаго и дѣйствительнаго. При всемъ громадномъ авторитетѣ, который сама власть очень хорошо сознавала, она отказывалась отъ рѣшительныхъ дѣйствій по этимъ предметамъ, она считала ихъ слишкомъ трудными, имѣла опасенія о благополучномъ ихъ разрѣшеніи. Такъ, напримѣръ, было въ крестьянскомъ вопросѣ,—хотя въ тоже время власть не останавливалась передъ самыми крутыми мѣрами противъ такъ-называемыхъ крестьянскихъ „бунтовъ“,—настоящій смыслъ которыхъ можетъ теперь уже не требовать особыхъ разъясненій. Какъ

объясняется это противорѣчіе между твердымъ сознаніемъ безграничнаго авторитета и безсиліемъ въ разрѣшеніи настоятельнѣйшихъ трудностей и уничтоженіи самыхъ вопіющихъ злоупотребленій, до сихъ поръ трудно сказать [1]).

Причины этому могли быть различны. Предстоявшіе вопросы, прежде всего, выходили изъ рутины дѣлъ, какія обыкновенно приходилось рѣшать правительственной власти. Уже съ давнихъ временъ власть успокоилась на существующемъ порядкѣ вещей. Нововведенія, какія дѣлались послѣ великихъ Петровскихъ реформъ, почти никогда больше не затрогивали коренныхъ вопросовъ государственнаго и общественнаго быта; власть вводила много новаго въ административныхъ способахъ, но почти не касалась существеннаго — ни крѣпостного права, ни системы податей, ни рекрутства, ни управленія, ни множества другихъ вещей, которыя имѣли громадное значеніе въ народной жизни, были тяжкимъ бременемъ для народа и, даже въ интересѣ самого государства, требовали коренного и глубокаго преобразованія. Со временъ Петра (особенно въ серединѣ XVIII-го вѣка) власть была или беззаботна въ этихъ предметахъ, или опасалась ихъ трогать, видя въ нихъ такъ-называемыя „основы“ нашей жизни (тѣмъ больше, что для высшаго класса—таинственнаго, который имѣлъ по крайней мѣрѣ придворное вліяніе—старые порядки были всего чаще выгодны)—или же индифферентны. При Екатеринѣ II поднимался отвлеченный вопросъ объ облегченіи крѣпостного права и кончился обширными раздачами населенныхъ имѣній; Александръ I возымѣлъ сильную антипатію ко многимъ подобнымъ порядкамъ русской жизни, но не исполнилъ главнѣйшихъ изъ своихъ преобразовательныхъ плановъ, отчасти по недостатку характера, отчасти по недостатку знанія русской жизни: этого знанія недоставало и у его молодыхъ совѣтниковъ, а старые были убѣждены, что преобразовывать было нечего, потому что прежніе порядки дѣйствительно вполнѣ соотвѣтствовали привычнымъ эгоистическимъ интересамъ высшаго сословія. Старые совѣтники успѣли, наконецъ, убѣдить императора Александра, что для русской жизни ненужны никакія реформы, что мы и безъ того велики и насъ „боятся въ Европѣ“.

Новый періодъ, вторая четверть столѣтія, не задавался никакими идеально-великодушными планами, какъ имп. Александръ, напротивъ, относился къ подобнымъ вещамъ очень враждебно;

---

[1]) См. исторію безсильныхъ попытокъ рѣшенія крестьянскаго вопроса во второй четверти столѣтія въ книгѣ г. Семевскаго.

онъ желалъ улучшеній въ формахъ управленія, искалъ внѣшнихъ государственныхъ выгодъ, руководясь и административными соображеніями, и заботами о народномъ благосостояніи, но при этомъ не хотѣлъ ни на минуту выйти изъ роли безусловнаго авторитета, и это послѣднее едва ли не было одной изъ главныхъ причинъ, почему планы улучшеній не состоялись или ограничились немногими слабыми начатками. Власть отчасти не знала, какъ и во времена имп. Александра, всего характера вещей, и если видѣла иногда совершавшіяся злоупотребленія, то не видѣла всего ихъ объема или употребляла противъ нихъ мѣры и совѣты той же бюрократіи, въ честность которой сама не вѣрила. Такъ, едва ли она знала въ истинномъ свѣтѣ смыслъ и практику крѣпостного права, вообще тягостное положеніе народной массы. Наконецъ, она слишкомъ легко допускала обманывать себя внѣшней выставкой порядка и подготовленными впечатлѣніями. Отчасти, между прочимъ, вслѣдствіе той же исключительности авторитета, не допускавшей выраженій общественнаго мнѣнія, власть, вѣроятно, преувеличивала вещи; съ другой стороны, напр., могла думать, что препятствія для нововведеній, облегчающихъ народъ, неодолимы, что, напр., освобожденіе крестьянъ вызоветъ большое и даже опасное недовольство помѣщиковъ или опасное волненіе крестьянъ и т. п. Словомъ, вина неудачъ была въ самой сущности положенія: такія реформы едва ли возможны были вообще для тѣхъ понятій объ авторитетѣ, слишкомъ нетерпимыхъ и исключительныхъ: присвоивая себѣ всѣ отправленія государства и общества, авторитетъ хотѣлъ не только дѣйствовать, но и думать за всѣхъ, не допускалъ никакой общественной иниціативы или мнѣнія; издавна отвыкши отъ голоса общества, не признавалъ у общества иныхъ потребностей, кромѣ тѣхъ, какія самъ ему предоставлялъ. Между тѣмъ, самыя реформы, какія были нужны и какія только и могли помочь замѣченнымъ недостаткамъ, въ своемъ результатѣ (который власть должна была, въ извѣстной степени, предполагать) представляли собой, во-первыхъ, возвышеніе общественнаго элемента,—потому что такое дѣйствіе должна была необходимо имѣть всякая освободительная мѣра,—во-вторыхъ, реформы едва ли могли быть практически исполнены безъ участія самого общества, одними бюрократическими средствами, слѣдовательно, опять должны были дать извѣстный просторъ общественному мнѣнію. Ни то, ни другое не входило, однако, въ виды власти и даже прямо противорѣчило ея представленіямъ о своемъ достоинствѣ. Такъ, рѣшеніе крестьянскаго вопроса необходимо вело бы за собой мысль объ извѣстной обще-

ственной свободѣ, а эта послѣдняя вообще представлялась только вреднымъ мечтаніемъ, порожденіемъ западной необузданности.

Общественные нравы понятнымъ образомъ отражали въ себѣ господствующую систему: общества, мало развитыя политически и мало образованныя, обыкновенно бываютъ слишкомъ доступны подобнымъ вліяніямъ. Большинство, по своему давнишнему характеру, совершенно отвѣчало тому, что̀ отъ него требовалось. Это было полное отсутствіе всякаго самостоятельнаго сужденія объ общественныхъ предметахъ; эти предметы даже были и мало извѣстны, такъ какъ правительство допускало только весьма ограниченную и только оффиціальную публичность своихъ дѣйствій, и обсужденіе вопросовъ внутренней политики было совершенно закрыто отъ общества и литературы. Разговоры объ этихъ предметахъ велись съ крайней осторожностью; немногія попытки писать о нихъ дѣлались только подъ секретомъ; если правительство иногда находило необходимость въ содѣйствіи ученаго и литературнаго изысканія, то и эти сочиненія (какъ, напр., книга Надеждина о скопцахъ, книжка Даля о томъ же, и т. п.) или оставались въ рукописяхъ и пропадали въ канцелярскихъ архивахъ, или печатались въ самомъ ограниченномъ числѣ экземпляровъ только для оффиціальнаго употребленія, и лишь изрѣдка подъ великою тайной проникали въ публику. Большинство, быть можетъ, еще менѣе прежняго стало интересоваться ходомъ вещей, или довольствовалось оффиціальными свѣдѣніями и слухами; еще больше привыкало полагаться вполнѣ на авторитетъ. Оттого впослѣдствіи это общество и бросилось съ такимъ жаромъ на общественные вопросы: они имѣли всю прелесть новизны, слишкомъ долго лежавшей подъ запретомъ.

Въ такихъ практическихъ условіяхъ складывалось то представленіе о русской жизни, которое оффиціально господствовало въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій и краеугольнымъ камнемъ котораго былъ упомянутый символъ, высказанный впервые, если не ошибаемся, Уваровымъ и послѣ охотно повторяемый, какъ удачная, хотя не вполнѣ ясная формула. Сущность этого представленія состояла въ томъ, что Россія есть совершенно особое государство и особая національность, непохожія на государства и національности Европы. На этомъ основаніи она отличается и „должна“ отличаться отъ Европы всѣми основными чертами національнаго и государственнаго быта: къ ней совершенно неприложимы требованія и стремленія европейской жизни. Въ ней господствуетъ наилучшій порядокъ вещей, согласный съ требованіями религіи и истинной политической мудрости. Европа

имѣетъ свои историческія отличія: въ религіи—католицизмъ или протестантство, въ государствѣ—конституціонныя или республиканскія учрежденія, въ обществѣ—свободу слова и печати, свободу общественную и т. п.; она гордится ими, какъ прогрессомъ и преимуществомъ, но этотъ прогрессъ есть заблужденіе и результатъ французскаго вольнодумства и революціи, поправшей въ прошломъ столѣтіи религію и монархію, и хотя укрощенной, но оставившей слѣды своего пагубнаго вліянія и зародыши дальнѣйшихъ европейскихъ безпорядковъ и волненія умовъ. Россія осталась свободна отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, которыя только разъ пришли возмутить ея общественное спокойствіе. Она сохранила въ цѣлости преданія вѣковъ и, будучи тѣмъ предохранена отъ безпокойствъ и обмановъ конституціонныхъ, не можетъ сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы, и не можетъ не поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи Россія также поставлена въ положеніе, несходное съ европейскимъ, исключительное и завидное. Ея исповѣданіе заимствовано изъ византійскаго источника, вѣрно хранившаго древнія преданія церкви, и Россія осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средѣ и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами. Правда, въ русской церкви также происходили несогласія, и часть невѣжественнаго народа ушла въ расколъ, но правительство и церковь употребляютъ всѣ убѣжденія и особливо мѣры строгости къ возвращенію заблудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій. Эти отщепенцы не имѣютъ и не должны имѣть мѣста въ государствѣ православномъ; они заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія по ихъ невѣжеству, когда ихъ заблужденія не приносятъ значительнаго вреда, но вообще терпимы быть не могутъ.

Россія и во внутреннемъ своемъ бытѣ не похожа на европейскіе народы. Ее можно назвать вообще особою частью свѣта. Съ своими особыми учрежденіями, съ древней вѣрой, она сохранила патріархальныя добродѣтели, мало извѣстныя народамъ западнымъ. Таково, прежде всего, народное благочестіе, полное довѣріе народа къ предержащимъ властямъ и безпрекословное повиновеніе; такова простота нравовъ и потребностей, не избалованныхъ роскошью и не нуждающихся въ ней. Нашъ бытъ удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія; но онъ

отвѣчаетъ нашимъ нравамъ и свидѣтельствуетъ о неиспорченности народа: такъ, крѣпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшеніи) сохраняетъ въ себѣ много патріархальнаго: хорошій помѣщикъ лучше охраняетъ интересы крестьянъ, чѣмъ могли бы они сами, и положеніе русскаго крестьянина лучше положенія западнаго рабочаго.

Европа, конечно, опередила Россію въ цивилизаціи и наукѣ; но зато Россія не знаетъ ихъ злоупотребленій и предохраняется отъ нихъ. Высшія учрежденія блюдутъ за тѣмъ, чтобы наука приносила только полезное, и запрещаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ. Надзоръ цензурный за привозимыми иностранными книгами и своею печатью стремится къ этой цѣли. Къ намъ не проникаютъ извращенныя умствованія западныхъ вольнодумцевъ, тѣ необузданныя ученія, которыя нарушаютъ въ Европѣ общественное спокойствіе и наполняютъ умы ложными теоріями и неуваженіемъ къ власти и порядку. Тотъ же авторитетъ строго караетъ у насъ случающіяся нарушенія правилъ и пресѣкаетъ ихъ вредное дѣйствіе.

На этихъ основаніяхъ Россія процвѣтаетъ, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемъ. Она сильна своимъ громаднымъ протяженіемъ, многочисленностью племенъ и патріархальными добродѣтелями народа. Извнѣ она не боится враговъ; ея голосъ рѣшаетъ европейскія дѣла, поддерживаетъ колеблющійся порядокъ; ея оружіе, милліонъ штыковъ, можетъ поддержать это вліяніе, и ему случалось наказывать и истреблять революціонную крамолу.

О внутреннемъ порядкѣ дѣлъ было такое же представленіе. Его основы не могли подлежать сомнѣнію. Управленіе утверждается на всеобщемъ, всестороннемъ и исключительномъ попеченіи власти о благѣ народа. Устройство государства не представляетъ никакого дѣленія властей, которое производитъ столько постоянныхъ столкновеній въ другихъ странахъ, и никакой борьбы однѣхъ частей націи или сословій противъ другихъ,—всѣмъ, напротивъ, назначено опредѣленное мѣсто, и надъ всѣми возвышается одинъ руководящій авторитетъ. Есть недостатки въ практическомъ теченіи дѣлъ, но они происходятъ не отъ несовершенства законовъ и учрежденій, а отъ неисполненія этихъ законовъ и отъ людскихъ пороковъ. Люди должны исправиться усиленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинѣ, устраненіемъ вредныхъ книгъ, строгой цензурой и т. п. Всѣ эти мѣры вообще необходимы для удержанія въ обществѣ должнаго порядка и спокойствія...

Однимъ словомъ, система представляла выработанное цѣлое;

въ ней были, однако, нѣкоторыя неясности. Такая неясность была въ крестьянскомъ вопросѣ, гдѣ система колебалась между требованіями человѣколюбія и даже требованіями политическаго благоразумія съ одной стороны, и съ другой—нежеланіемъ раскрыть недостатокъ въ существующемъ порядкѣ вещей, начать ломку учрежденій, которая могла бы отразиться въ умахъ появленіемъ либеральныхъ идей. Такое же колебаніе существовало въ нѣкоторыхъ вопросахъ внѣшней политики,—въ особенности въ славянскомъ вопросѣ. Россія вступилась (вмѣстѣ съ другими державами) за дѣло грековъ, покинутое при Александрѣ I, и признала нравственную обязанность подать помощь единовѣрцамъ, такая же обязанность была къ турецкимъ славянамъ, не только единовѣрнымъ, но и единоплеменнымъ,—но этой обязанности противорѣчило признаніе права (турецкой) монархіи. Освобожденіе славянскихъ народовъ могло быть достигнуто только ихъ возстаніемъ, слѣдовательно, Россіи необходимо было бы вступить въ связь съ революціоннымъ движеніемъ, а это было невозможно. Вопросъ такъ и остался невыясненнымъ: Россія оказывала славянскимъ племенамъ свое политическое содѣйствіе только въ извѣстной мѣрѣ; въ русскомъ обществѣ система допускала въ нѣкоторой степени пропаганду славянофильства, оказала ей помощь учрежденіемъ славянской каѳедры въ университетахъ и т. п., допускала высказываться фантастическимъ мечтаніямъ о „полуночномъ орлѣ“, простирающемъ крылья надъ всѣмъ славянскимъ міромъ, но въ то же время подавляла всѣ нѣсколько пылкія выраженія славянофильства въ обществѣ. Наконецъ, не говоря о другихъ примѣрахъ, молчаніе, наложенное на общество и литературу, было, конечно, естественнымъ слѣдствіемъ системы, присвоивавшей себѣ исключительную непогрѣшимость и не допускавшей возраженій, но вмѣстѣ было признакомъ того же колебанія и неискренности,—потому что, напримѣръ, цензурныя запрещенія не только останавливали какія бы то ни было вмѣшательства литературы въ настоящее теченіе дѣлъ, но распространялись даже на извѣстные и несомнѣнные историческіе факты, о которыхъ, однако, не позволялось говорить, на многія вопіющія явленія народной и общественной жизни, о которыхъ знала сама власть, но которыя также старалась скрыть цензурными запрещеніями.

Если были такія неясности, колебанія и противорѣчія въ кругу самой системы, которыя могли вызывать сомнѣнія и возраженія, то еще больше спорныхъ вопросовъ должно было явиться въ томъ случаѣ, если бы приложить критику къ цѣлому ходу жизни. Критическая мысль уже зародилась въ русскомъ обществѣ. Въ

цѣломъ или частями, прямо или косвенно, практически или теоретически критика не могла не коснуться самой системы, заявлявшей себя единственнымъ результатомъ прошедшаго и единственнымъ содержаніемъ русской жизни и ея обязательной программой въ настоящемъ,—и отсюда выросло движеніе, борьба мнѣній, усилія мысли создать критическій выходъ, которыя составляютъ умственную исторію описываемыхъ десятилѣтій.

Таковы были нѣкоторыя общія черты того представленія о русской народности, какое господствовало оффиціально въ теченіе описываемаго времени. Въ теоретическомъ смыслѣ, какъ мы замѣчали, это было развитіе или распространеніе идеала, наслѣдованнаго отъ консервативной старины и поддержаннаго европейской реакціей. Въ ряду нашихъ общественныхъ понятій его можно, кажется, опредѣлить какъ національную романтику, кончавшуюся бюрократизмомъ, весьма параллельную европейскому феодальному романтизму временъ реставраціи, который также кончался реакціей.

„Народность" составляла одно изъ главныхъ притязаній системы. По Карамзину слѣдовало, что Россія при Александрѣ I не стояла на своей настоящей дорогѣ, что власть слишкомъ увлекалась западными нравами и забывала о томъ, какое должно быть настоящее русское правленіе, котораго „требовалъ" Карамзинъ. Система, наступившая теперь, хотѣла именно осуществить это требованіе, и настаивала на томъ, что порядокъ вещей, ею представляемый, есть единственный, соотвѣтствующій русскому народу и доказываемый его исторіей. Утверждая свою „народность", система являлась какъ будто даже исправленіемъ ошибки, которую теорія Карамзина видѣла въ Петровской реформѣ. Многимъ современникамъ казалось, что вторая четверть нынѣшняго столѣтія знаменуетъ поворотъ съ дороги, указанной Петромъ Великимъ, была тою „контръ-революціею" противъ революціи Петра, о которой думалъ Пушкинъ; что система этого времени есть столько же, если не болѣе, великое явленіе, какъ была въ свое время реформа Петра,—и по своей энергіи и по тому направленію, которое давала русской жизни,—направленію, „свободному отъ подражательности", „національному" и „самобытному". Можно было бы привести много примѣровъ подобнаго взгляда изъ тогдашней литературы, но не ссылаясь на нее теперь, чтобы не опираться только на панегирики, укажемъ на очень извѣстную въ свое время книгу маркиза Кюстина. Маркизъ, пріѣзжавшій въ

Россію въ концѣ тридцатыхъ годовъ и видѣвшій людей и вещи въ лучшую пору системы, дѣлаетъ эту самую параллель съ Петромъ Великимъ, которая выходитъ невыгодна для послѣдняго. Замѣтимъ, что такъ говоритъ писатель, книга котораго такъ долго считалась непозволительной по своимъ враждебнымъ изображеніямъ русской жизни. Кюстинъ говоритъ о системѣ описываемаго періода съ восторженными похвалами; его мнѣніе было отчасти мнѣніе французскаго консерватора, но, безъ сомнѣнія, онъ также повторялъ, что слышалъ въ русскомъ аристократическомъ кругѣ.

Масса общества дѣйствительно вѣрила въ эту систему и въ тѣ историческія качества, которыя приписывались ей теоріей. Вѣрили даже и люди мыслящіе, но въ преувеличенномъ патріотизмѣ терявшіе способность къ критикѣ. Мы увидимъ дальше, что въ славянофильскомъ ученіи были многія темы, очень сходныя съ вышеизложеннымъ идеаломъ. Правда, система часто не одобряла славянофильства (она также въ своемъ родѣ не любила „идеологіи"), но ихъ сущность была иногда сходная, потому что въ обѣихъ точкахъ зрѣнія главную долю составляли преданіе, консерватизмъ, національная исключительность и болѣе или менѣе враждебное отношеніе къ Европѣ.

Какое же было историческое значеніе этой системы въ ряду общественно-политическихъ представленій, проходившихъ въ нашей жизни?

Панегиристы системы не были совсѣмъ неправы, когда указывали ея противоположность съ тѣмъ направленіемъ, какое дано было русской жизни Петровской реформой. Въ самомъ дѣлѣ, противоположность существовала, хотя въ совершенно иномъ смыслѣ. Обѣ системы, очень сходныя по характеру авторитета, въ обоихъ случаяхъ производившаго одинаково безграничную и нетерпимую опеку надъ обществомъ, представляли великую разницу въ своемъ содержаніи, въ понятіяхъ о народномъ благѣ. У Петра было критическое отношеніе къ русской жизни и ея недостаткамъ, отношеніе, часто поражающее геніальною ясностью взгляда, и этотъ взглядъ привелъ Петра къ мысли о необходимости связать Россію съ Европой, внести въ русскую жизнь европейскую науку и цивилизацію, хотя бы Петръ и не понималъ ихъ съ достаточной широтой [1]). Въ этомъ критическомъ отношеніи и лежала

[1]) Онъ понималъ ихъ съ исключительной государственно-утилитарной точки зрѣнія, за которую его многіе обвиняли, и которая, конечно, еще не представляетъ дѣйствительнаго введенія науки и цивилизаціи; но многіе ли тогда и въ западной Европѣ признавали настоящія права мысли и знанія, и настоящія требованія цивилизаціи?—о тогдашнемъ русскомъ обществѣ нечего и говорить.

вся сила Петровской реформы, вся причина ея могущественнаго дѣйствія на русскую жизнь, продолжавшагося долго послѣ самого Петра. Здѣсь, напротивъ, *такого* критическаго отношенія совершенно не было. Данное положеніе вещей считалось наилучшимъ; нужно было только усовершенствовать его съ чисто внѣшней стороны, не касаясь его внутренняго смысла, не задаваясь мудреными вопросами о томъ, соотвѣтствуетъ ли оно существеннымъ интересамъ націи, требованіямъ времени, указаніямъ науки и цивилизаціи. Точка зрѣнія была исключительно консервативная; русская жизнь и ея „начала" почитались наилучшими и даже не подлежащими критикѣ. Къ Европѣ, ея наукѣ и цивилизаціи новый періодъ относился съ предубѣжденіемъ, недовѣріемъ и враждой; онъ видѣлъ свой идеалъ въ національной исключительности, въ удержаніи даннаго положенія вещей.

Въ этомъ былъ историческій смыслъ этого періода; отсюда открывается и оборотная сторона дѣла.

Консерватизмъ Александровскихъ временъ, развившійся въ описываемыя десятилѣтія въ оффиціальную систему народности, имѣлъ обычныя историческія послѣдствія. Стараніе удерживать въ бездѣйствіи народныя и общественныя силы и подавлять ихъ стремленія имѣло слѣдствіемъ то, что значительная ихъ часть и въ самомъ дѣлѣ осталась въ неподвижности и застоѣ, которые въ историческомъ счетѣ равняются движенію назадъ. Дѣйствительность въ концѣ-концовъ, въ самые послѣдніе годы имп. Николая, опровергла то, что система думала о превосходствѣ своихъ началъ и своего способа дѣйствій. Результатъ былъ неудивителенъ: задатки его лежали въ ошибкахъ самой системы.

Тогдашній консерватизмъ утверждалъ, и большинство общества вѣрило, что Россія въ самомъ дѣлѣ есть совсѣмъ особое государство, въ которомъ все есть и должно быть свое особенное и для котораго не дѣйствительны условія и требованія европейскаго развитія. Правда, для Россіи вовсе не были обязательны европейскія формы развитія въ тѣсномъ смыслѣ, не необходимы частности ея учрежденій, жизни и обычаевъ: но капитальная ошибка упомянутаго мнѣнія была въ томъ, что оно не хотѣло видѣть, что естественный ходъ націи долженъ былъ, однако, приводить ее къ болѣе совершеннымъ формамъ жизни, чѣмъ были формы тогдашнія; что разъ начавшееся образованіе неизбѣжно должно было приносить, и уже дѣйствительно приносило, иныя понятія, общественно-политическія и нравственныя, которыя не могли уживаться съ прежнимъ складомъ жизни и которымъ, однако, система не хотѣла давать никакого мѣста; что, напр.,

по этимъ новымъ понятіямъ должно было быть иное положеніе народа, чѣмъ то, какое давала система, — хотя и ставила имя этого народа въ своемъ символѣ; что, наконецъ, Россія уже вступила въ европейскія связи и могла сохранить значеніе только признавая эти связи, только выдерживая открывшееся соперничество не одною матеріальною силой, но и культурнымъ развитіемъ.

Матеріальное могущество Россіи, повидимому, не оставляло больше ничего желать. Вліяніе ея въ Европѣ не подлежало сомнѣнію; основанное императоромъ Александромъ, при военномъ разгромѣ и общественномъ упадкѣ европейскихъ государствъ, оно было наслѣдовано новымъ періодомъ и продолжалось теперь, какъ могущественный матеріальный оплотъ европейской реакціи. Никому почти не приходило въ голову, что это вліяніе Россіи было не совсѣмъ прочно, что оно не имѣло за себя достаточныхъ внутреннихъ основаній. Какъ при Александрѣ I внѣшнее величіе далеко не сопровождалось равномѣрнымъ внутреннимъ развитіемъ, и государство страдало неустройствами, такъ продолжалось и теперь, и это противорѣчіе не могло уйти отъ разсчетовъ исторіи. При всемъ внѣшнемъ политическомъ значеніи Россіи въ теченіе десятилѣтій до Крымской войны, при всемъ напряженіи бюрократической и милитарной опеки, во внутреннемъ устройствѣ и въ ходѣ дѣлъ оставались цѣлы существенныя язвы русской жизни, и это положеніе вещей давало врагамъ Россіи поводъ называть ее „колоссомъ на глиняныхъ ногахъ“.

Внутренней силы нельзя было создать тѣми средствами, какія для этого употреблялись. Исключительная опека необходимо оставляетъ общество младенческимъ, потому что стѣсненіе свободы движеній одинаково ослабляетъ и останавливаетъ развитіе членовъ и въ физической жизни человѣка и въ государствѣ. Опека лишала общество самодѣятельности и въ умственно-нравственномъ, и въ матеріально-экономическомъ отношеніи; охраняя „народную“ самобытность, она не допускала въ Россію ни смѣлыхъ выводовъ европейской науки, ни желѣзныхъ дорогъ, какъ будто и эти послѣднія были также вольнодумствомъ; „самобытность“ кончалась и умственною, и матеріальною бѣдностью и отсталостью. Мысль о томъ, что истинное могущество націи достигается только свободнымъ развитіемъ ея самодѣльно работающихъ силъ, была непонятна. Думали, что для этого достаточно формальной дисциплины и всеобщей опеки, и казалось, что въ примѣрѣ Россіи это подтверждалось: ея громадныя пространства, многочисленное, хотя и раскиданное населеніе издавна представляли большую военную,

а слѣдовательно и политическую силу; крайняя національная исключительность, вошедшая въ нравы вслѣдствіе продожительнаго отдѣленія отъ Европы, увеличивала эту силу государства сплоченностью русскихъ земель и нетерпимостью къ иноземному,—при этомъ положеніи дѣла, неглубокому наблюдателю можно было впасть въ недоразумѣніе и смѣшать внѣшній объемъ силъ Россіи съ внутренней культурной энергіей. Но это были двѣ совершенно разныя вещи. Благодаря своему пространству и населенію, Россія могла выставлять огромныя силы, но эти усилія истощали ее больше, чѣмъ это бывало у другихъ народовъ, внѣшніе успѣхи почти всегда сопровождались внутреннимъ разореніемъ: „копѣйка“ ставилась „ребромъ“.

Что внутреннее положеніе страны не отвѣчало внѣшнему величію—это рѣзко обнаружилось въ кризисѣ крымской войны. Все вниманіе, въ теченіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, было направлено на армію; но при испытаніи оказалось, что она совершенно отстала отъ армій европейскихъ; ея вооруженіе оказалось устарѣлымъ до безполезности; армія не могла двигаться по отсутствію дорогъ, содержаніе арміи стало источникомъ злоупотребленій—всѣ недостатки управленія сказались въ критическую минуту. Самая опасность отечества не останавливала безобразныхъ фактовъ, противъ которыхъ, въ долгіе годы, не могла ничего сдѣлать вынужденная къ молчанію общественная совѣсть. Бѣдственныя послѣдствія исключительной опеки, превращавшейся въ безнаказанный бюрократическій произволъ и подавлявшей даже самыя искреннія и доброжелательныя заявленія общественнаго мнѣнія,—оказались въ полной мѣрѣ.

Отсутствіе внутренней силы указывалось уже изъ положенія громадной массы народа. Какъ бы для ироніи надъ „народностью“, эта масса была крѣпостная или полу-крѣпостная, и роль народа была чисто пассивная. Безправный юридически, невѣжественный, бѣдный, запуганный народъ былъ той основой, на которой утверждалось гордое зданіе системы. И въ положеніи этой крестьянской массы въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій не произошло никакой перемѣны. Напротивъ, законъ закрѣплялъ традиціонный порядокъ вещей, и замѣчено было даже, что при составленіи „Свода“, законоположенія о крѣпостномъ состояніи крестьянъ точно съ умысломъ соединили въ себѣ все, что можно было найти невыгоднаго для крестьянъ въ различныхъ указахъ, изданныхъ по частнымъ случаямъ; узаконенія выгодныя для крестьянъ обращены въ невыгодныя для нихъ, наконецъ нѣкоторые указы Петра Великаго, для крестьянъ выгодные, прямо, устра-

вены [1]). Но въ то же время на этой бѣднѣйшей и безпомощной массѣ лежала вся тягость содержанія государства: на ней лежали налоги и рекрутство.

На ту же народную массу падала другая тягость. Въ традиціонныхъ порядкахъ государственнаго хозяйства одну изъ главнѣйшихъ статей дохода поставляла откупная система, гдѣ печальнымъ образомъ выгода казны ставилась въ зависимость отъ народной испорченности.

То, въ чемъ состоитъ ручательство народнаго блага и національнаго, государственнаго могущества,—какъ мы едва начинаемъ это понимать теперь, — гражданская свобода для всѣхъ, широкое народное образованіе, хоть какая-нибудь степень самоуправленія и народнаго представительства, строгое уравненіе всѣхъ передъ закономъ, возможное уравненіе въ несеніи государственныхъ тягостей, — всѣ эти вещи, къ которымъ и теперь едва начинаетъ привыкать тугое пониманіе большинства, не только не существовали тогда, но были немыслимы. Мы увидимъ дальше, что въ тѣ годы только немногимъ изъ лучшихъ умовъ въ образованнѣйшей части общества ясно представлялась мысль о необходимости новыхъ общественныхъ формъ, какъ единственнаго условія народнаго благосостоянія; но и эта мысль не могла быть высказана, и эти люди—были люди, заподозрѣнные въ неблагонамѣренности. Въ такомъ противорѣчіи была господствовавшая система „народности" съ истинными требованіями національнаго развитія, и такъ мало представляла она перспективы на какое-нибудь согласіе съ этими требованіями.

Но кромѣ этого положенія народныхъ массъ, главной опоры и сущности государства,—система мало оправдывалась и другими явленіями національной жизни. При всемъ національномъ высокомѣріи, которымъ отличалось то время (мы „кормили" Европу; въ популярныхъ представленіяхъ могли „закидать ее шапками"), нельзя было скрыть, что Россія была предметомъ несомнѣнной эксплуатаціи экономической. Свои производства были бѣдны. Внѣшняя торговля Россіи была исключительно въ рукахъ иностранцевъ. Въ то время, когда мы гордились своими богатствами, называли южную Россію житницей Европы, — мы поставляли Европѣ только сырые продукты, которые возвращались къ намъ въ видѣ иностраннаго товара, очень невыгодно нами покупаемаго; отъ „житницы" наибольшій процентъ доставался иностран-

[1]) См. В. Порошина—Nos questions russes. Paris, 1865. Тѣ же замѣчанія дѣлаетъ Н. И. Тургеневъ.

нымъ негоціантамъ. Русская промышленность довольствовалась обыкновенно только простѣйшими производствами: всѣ издѣлія, нѣсколько тонкія или сложныя, или поставлялись иностранной торговлей, или готовились въ Россіи у иностранныхъ заводчиковъ и иностранными мастерами, которые вообще держались въ Россіи почти такъ же, какъ было въ XVII-мъ столѣтіи, т.-е. обогащаясь сами и не сообщая русскимъ ничего изъ своихъ техническихъ знаній, умѣнья и предпріимчивости. Развитію промышленной предпріимчивости и народнаго обогащенія препятствовали наконецъ и свои домашнія причины. Противъ этой предпріимчивости была, непонятнымъ образомъ, предубѣждена сама власть. Сравненіе съ послѣдующимъ положеніемъ вещей очень объясняетъ, до какой степени была стѣснена и находилась въ застоѣ даже экономическая жизнь: стоитъ взглянуть на обширное нынѣшнее развитіе акціонерной предпріимчивости, или желѣзно-дорожнаго дѣла, въ прежнее время немыслимое. Это послѣднее было тогда по принципу закрыто для частныхъ предпріятій; само государство построило только одну значительную дорогу, какихъ теперь въ немного лѣтъ построены десятки...

Система „народности“ не могла похвалиться и внутреннимъ распорядкомъ, судами и администраціей. Мы упоминали выше о недостаткахъ управленія, объ отсутствіи правосудія и простой честности въ чиновничествѣ,—недостаткахъ, которые были очень хорошо извѣстны самой власти. Когда потомъ часть этихъ старинныхъ золъ истреблена была новыми учрежденіями, можно было видѣть, что причина этихъ недостатковъ въ прежнее время была вовсе не въ недостаткѣ добродѣтели въ людяхъ, а въ самомъ характерѣ прежнихъ учрежденій, открывавшихъ полный просторъ этой испорченности. Эти недостатки *должны были* быть, потому что ничто не было защищено отъ произвола бюрократіи. Судья въ закрытомъ судѣ, администраторъ, вооруженный произволомъ и канцелярской тайной, всегда и вездѣ всемогущи надъ частными лицами; отсутствіе общественнаго права всегда и вездѣ открываетъ обширное поле злоупотребленіямъ. Наконецъ, время „народности“ страннымъ образомъ совпадало съ особеннымъ господствомъ „нѣмцевъ“, что замѣчала тогда и малоопытная масса публики.

Далѣе, въ этой системѣ не давалось никакого права дѣйствительной наукѣ: наука понималась только въ тѣсномъ утилитарномъ значеніи, внѣ котораго не только не допускалась, но даже преслѣдовалась. Ея мѣсто было строго опредѣлено извѣстными бюрократическими рамками, которыя дѣлали изъ нея нѣчто стран-

ное, стѣсненное и обрѣзанное: каждый разъ, когда мысль научная или общественная приходила въ малѣйшее столкновеніе съ принятыми мнѣніями и обычаями, даже съ предразсудками и суевѣріями, эта мысль трактовалась какъ зловредный умыселъ. Назвавши Чаадаева, Кирѣевскаго, Надеждина, Полевого, Хомякова, Аксакова, Бѣлинскаго, Грановскаго, Рулье и т. д., которымъ пришлось испытать это на себѣ; упомянувши о стѣсненіи университетскаго преподаванія, о строгостяхъ цензуры, о полномъ отсутствіи публицистики, мы укажемъ положеніе вещей въ этомъ отношеніи.

Въ рукописной литературѣ пятидесятыхъ годовъ, а въ послѣднее время и въ печати, явилось много разсказовъ о цензурѣ, какова она была въ теченіе описываемаго періода, и особенно въ концѣ его. Можно сказать, что она дошла тогда до своего nec plus ultra. Не довольно было одной обыкновенной цензорской опеки; опасались, что она не можетъ усмотрѣть за всѣми проступками печати; отсюда учрежденіе спеціальныхъ цензуръ, число которыхъ больше и больше умножалось,—потому что каждое министерство, каждое отдѣльное вѣдомство желали оградить свои секреты отъ любопытства печати, къ которой вообще относились весьма недружелюбно. Оказывалось, конечно, что вѣдомства затрудняли обсужденіе подлежащихъ имъ предметовъ до полной невозможности; возможны были панегирики, но не была возможна критика...

Изъ сказаннаго до сихъ поръ можно угадывать положеніе общественнаго мнѣнія и литературы. Первое упало въ сравненіи даже съ тѣмъ, что было во времена Александра I, когда если не право, то обычай ввели извѣстную свободу мнѣній и интересъ къ ходу событій. Теперь въ особенности сталъ господствовать тотъ извѣстный принципъ, по которому считалось непозволительнымъ разбирать дѣйствія правительства ни въ осужденіе ему, ни въ похвалу, потому что даже похвала предполагала право на разсужденіе, но авторитетъ былъ такъ ревнивъ, что послѣдняго не могъ допустить ни подъ какимъ видомъ; впрочемъ, похвалы были расточаемы изобильно... Отсюда отсутствіе публичности; слѣдовательно, незнаніе того, что дѣлается въ странѣ, или знаніе изъ одного оффиціально-бюрократическаго источника; наконецъ, безучастіе къ событіямъ и интересамъ, въ которыхъ само общество не имѣло никакой активной роли.

Литература не говоритъ о самыхъ капитальныхъ, насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорило во времена импер.

Александра I не только общественное мнѣніе образованнѣйшихъ круговъ, но отчасти и печать, какъ ни была она тогда непривычна къ подобнымъ предметамъ. Такъ, литература ни словомъ не заикалась теперь о политическихъ предметахъ, о внутреннихъ дѣлахъ, о необходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о крестьянскомъ вопросѣ, словомъ, обо всемъ, что̀ касалось государства и управленія. Литература какъ будто не подозрѣваетъ этихъ вопросовъ, не можетъ заявить, что желала бы ими заниматься. Въ лучшихъ представителяхъ она ушла въ художественные интересы, стремилась къ отвлеченной философіи, ставила общіе нравственные вопросы (мы скажемъ далѣе, какъ въ этой сферѣ она успѣла поддержать свое прогрессивное движеніе). Публицистика не существовала; даже въ той скромной формѣ, въ какой мы имѣемъ ее теперь, она показалась бы неслыханною дерзостью, преступленіемъ. Мы будемъ имѣть случай упоминать о томъ, какія вещи могли тогда возбуждать подозрѣнія и осужденія. Предметы политическіе были до такой степени удаляемы отъ общественнаго вѣдома, что новѣйшая политическая исторія изгонялась изъ преподаванія и изъ литературы; политическая экономія относима была къ числу предметовъ опасныхъ, и т. д.

Такое положеніе вещей не могло быть благопріятно для успѣховъ общества и литературы: строгая опека, допускавшая только самую узкую область мнѣній, опредѣленныхъ этой системой, равнялась категорическому отрицанію всякаго движенія впередъ. Но если только общество имѣло какіе-нибудь задатки силы и историческаго значенія, ему предстояла только одна дорога—стремиться къ болѣе полному развитію національнаго ума усвоеніемъ европейской науки и къ внутреннему политическому усовершенствованію; для литературы одна дорога — дѣятельное служеніе дѣлу свободной критической мысли и общественнаго сознанія. Такимъ образомъ, необходимое условіе внутренняго развитія вело литературу, выражавшую лучшія прогрессивныя стремленія общества, совершенно въ иномъ направленіи, чѣмъ указывала и требовала система. Отсюда неизбѣжно было столкновеніе двухъ направленій, и такъ какъ одно изъ нихъ поддерживалось всѣмъ могуществомъ авторитета, то роль литературы становилась чрезвычайно трудной...

При всѣхъ стѣсненіяхъ, какія она должна была выносить, литература не измѣняла своему предназначенію, и если взвѣсить трудности, съ которыми ей приходилось бороться, то нельзя не признать за ея главными дѣятелями высокой заслуги. Литера-

тура указывала обществу лучшіе нравственные и общественные идеалы, защищала дѣло просвѣщенія.

Реакція послѣднихъ годовъ имп. Александра I подавила много начатковъ общественной мысли и понизила ея уровень,—но не могла измѣнить историческаго развитія. Въ новомъ, наступившемъ періодѣ оно продолжалось, и литература раздѣлилась, какъ бывало прежде, на двѣ главныя стороны, которыя выразили собой два господствовавшія надъ жизнью направленія. Одна вошла вполнѣ въ ту роль, какая ей предписывалась, превозносила существующіе порядки и стала вообще орудіемъ и изображеніемъ реакціоннаго консерватизма. Другая—восприняла начатое прежде дѣло критики, изслѣдованія національныхъ и общественныхъ отношеній: это было послѣдовательное продолженіе той общественной мысли, которая заявлялась съ конца XVIII-го вѣка дѣятельностью Новикова и Радищева, и потомъ—либерализмомъ временъ имиер. Александра I. На первое время, въ началѣ описываемаго періода, литература какъ-будто отступила отъ вопросовъ, какіе были уже поставлены въ обществѣ, и съ особенною ревностію обратилась къ вопросамъ теоретической философіи и чистаго искусства. Это было, въ извѣстной степени, слѣдствіемъ реакціонныхъ стѣсненій; но, съ другой стороны было также и естественнымъ развитіемъ понятій. Въ то самое время, когда упомянутыя стѣсненія подавляли въ литературѣ всякій признакъ общественно-политическихъ интересовъ и по необходимости приводили умственную жизнь къ чисто-отвлеченнымъ и совершенно общимъ вопросамъ, то же направленіе производили и другія вліянія. Такъ, въ этомъ смыслѣ дѣйствовали вліянія европейской литературы, въ которой философскія изученія и романтическое искусство именно въ то время были господствующимъ интересомъ и которая продолжала быть для насъ источникомъ новыхъ понятій. Въ самой русской литературѣ въ то время Пушкинъ явился первымъ самостоятельнымъ представителемъ художественной, объективной, и вмѣстѣ политически-индифферентной или даже консервативной поэзіи, и литературѣ въ виду этого явленія выпадала естественная задача—объяснить Пушкина и установить теоретическія понятія искусства и литературы. Наконецъ,—и это было не послѣднее обстоятельство, объясняющее дальнѣйшій ходъ литературы,—общественное возбужденіе двадцатыхъ годовъ само вызывало необходимость если не въ именно томъ, какое случилось, то въ подобномъ обращеніи къ общимъ вопросамъ: горячее и искреннее по своимъ побужденіямъ, исторически замѣчательное по своимъ стремленіямъ къ народному благу, тогдашнее дви-

женіе было слишкомъ мало созрѣвшимъ и слишкомъ дилеттантскимъ. Нужно было выработать болѣе ясныя теоретическія представленія, болѣе полныя понятія о народной жизни,—къ тому и другому, прямо или косвенно, служили тѣ изученія, которыя стали теперь главнымъ умственнымъ интересомъ наиболѣе просвѣщенной части общества. Какъ повидимому онѣ ни удалялись отъ прежняго движенія, но въ концѣ концовъ эти философскія, художественныя, историческія, народныя стремленія и увлеченія литературы, мало-по-малу выясняясь, возвратились къ тому же общественному вопросу: одно время какъ будто оставленный литературою, онъ являлся вновь съ гораздо большею внутреннею опредѣленностью.

Прежде, чѣмъ перейти къ изображенію этого движенія литературы, должно остановиться на той сторонѣ ея, которая прямо представляла собой status quo, чувствовала въ немъ себя дома и была имъ поощряема. Мы встрѣтимъ здѣсь очень крупныя имена, даже самыя крупныя, какія были въ этомъ періодѣ въ литературѣ поэтической.

Консервативная литература, развившая оффиціальную народность, была въ близкой связи съ романтизмомъ. Мы видѣли выше, что Жуковскій съ самаго начала былъ склоненъ къ консервативному бездѣйствію. Его поэзія, наполненная заоблачными стремленіями, никакимъ путемъ не могла столкнуться съ земною дѣйствительностью; она могла возростать безпрепятственно въ какихъ-угодно условіяхъ. Она принесла свою несомнѣнную воспитательную пользу, потому что умы и сердца, искавшіе идеальной пищи, находили ее здѣсь въ той изящной формѣ, которая подготовляла Пушкина; но должно сказать, что истинную питательность эта поэзія пріобрѣтала только вмѣстѣ съ другими, болѣе сильными элементами. Жуковскій, напр., переводилъ и помогалъ понимать Шиллера,—но должно было прочитать самого Шиллера или другіе еще переводы изъ него, не сдѣланные Жуковскимъ, чтобы получить о немъ правильное понятіе. Перенося къ намъ европейскій романтизмъ, Жуковскій выбиралъ изъ него только отвлеченный, далекій отъ жизни романтическій мистицизмъ, который, внушая равнодушіе къ дѣйствительности, и завершался слишкомъ легкимъ примиреніемъ съ ней... Пушкинъ, начавши съ либерализма, впослѣдствіи покинулъ это направленіе. Его общественныя понятія удовлетворились тою жизнью, какая была на лицо, и даже его художественныя потребности удовлетворялись изысканнымъ и искусственнымъ блескомъ этой эпохи,

не замѣчая или избѣгая замѣчать его подкладку. Изъ Пушкина не могло уже выйти Державина; тѣмъ не менѣе нѣкоторые мотивы дѣлали его писателемъ если не партіи, то извѣстной стороны общественнаго мнѣнія, именно той, которая воспринимала и воздѣлывала представленія оффиціальной народности. Эта сторона во всякомъ случаѣ могла бы видѣть въ величайшемъ русскомъ поэтѣ сторонника своихъ идей, и бывало, что она ссылалась на него какъ на „гласъ народа“,—какъ теперь многіе хотятъ сдѣлать Пушкина именно выразителемъ Уваровскаго символа. Затѣмъ, когда новая ступень общественнаго чувства выразилась въ поражающемъ юморѣ и сатирѣ Гоголя, то позднѣе подъ вліяніемъ тѣхъ же условій этотъ писатель отказался отъ знаменательнаго смысла своихъ произведеній, но такъ какъ перетолковать этого смысла было невозможно, онъ хотѣлъ исправить ошибку второю частью „Мертвыхъ душъ“ и „Выбранными мѣстами“, которыя, въ своей тенденціозной части, оказались также безжизненны, какъ теорія, которой онъ хотѣлъ служить [1])...

Такого рода дѣйствіе оказывала даже на первостепенные таланты общественная среда, то огромное большинство, на понятіяхъ котораго утверждалась система оффиціальной народности. Вліяніе авторитета, поддерживавшаго эту систему, отражалось на всемъ характерѣ жизни: наблюдателю могло казаться, что таковъ въ самомъ дѣлѣ самый характеръ народа, вся его исторія и все будущее; даже сильные умы и таланты, вращаясь въ этой жизни, подвергаясь многоразличнымъ ея впечатлѣніямъ, сживались съ нею и усвоивали ея теорію. Настоящее казалось разрѣшеніемъ исторической задачи; „народность“ считалась отысканною, а съ нею указывался и предѣлъ стремленій: оставалось отдыхать на лаврахъ...

Въ этой обыкновенной средѣ большинства господствующій тонъ производилъ странную литературу, въ которой была будто бы и журналистика, и поэзія, и наука, было даже извѣстное оживленіе, по крайней мѣрѣ, шумъ, но которая однако поражаетъ своею пустотою и натянутостью. Журналистика ограничивалась почти исключительно литературными интересами; легкая повѣсть или романъ, легкая литературная критика, индифферентныя историческія и другія статьи, путешествія, разнаго рода анекдотическій матеріалъ—составляли главную сущность ея со-

[1]) Характеръ „Выбранныхъ Мѣстъ“ извѣстенъ, но чтобы получить объ нихъ полное понятіе, надо читать еще тѣ письма и отрывки, которые были выключены изъ нихъ, при печатаніи самимъ авторомъ или его друзьями и которые изданы были въ Р. Арх. 1866, стр. 1830 и слѣд.

держанія. Вопросы общественные были вообще для литературы закрыты; изданія серьезныя не пробовали даже говорить о нихъ,—потому что о нихъ можно было говорить только въ извѣстномъ тонѣ благонамѣренной скромности въ родѣ того, какъ говорили „благодарные граждане“ у Гоголя. Литература рутинная такъ о нихъ и говорила. Предметы политическіе,—говорить о которыхъ наша литература, какъ извѣстно, получила нѣкоторое право только очень еще недавно,—считались вообще опасными: предполагалось, что занятія современной исторіей и политикой не могутъ принести обществу ничего, кромѣ вреда,—потому что европейская жизнь полагалась испорченной и представляющей только примѣры безразсуднаго вольнодумства и преступнаго своеволія. Единственная частная газета съ политическимъ отдѣломъ была знаменитая „Сѣверная Пчела“; она помѣщала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно проповѣдовала подобную точку зрѣнія: Россія и Европа, именно Европа конституціонная, представляли рѣзкую противоположность—порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволія съ другой; Россіи нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизація приводитъ Западъ къ безбожію и революціямъ; намъ слѣдуетъ всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза. „Сѣверная Пчела“ не находила словъ, чтобы выражать свое отвращеніе къ конституціямъ и насмѣхаться надъ ними: парламентскіе ораторы Франціи и Англіи были „крикуны“, вольнодумцы, которыхъ слѣдовало просто усмирять полицейскими мѣрами. Революціонныя движенія 1830 и 1848 года только доставили привилегированной политической газетѣ поводъ къ взрывамъ благонамѣреннаго негодованія [1]... Правда, „Сѣверная Пчела“ уже съ первыхъ поръ своего существованія стала пріобрѣтать свою извѣстную репутацію, которая должна еще украситься отъ историческихъ разоблаченій, уже начинающихъ появляться; но эта репутація, дѣлавшая ее предметомъ презрѣнія въ кругу образованнаго меньшинства, не мѣшала ей представлять собой цѣлый огромный слой русскаго общества, изъ средняго грамотнаго класса, чиновничества, дворянства, гостинодворской публики, военнаго сословія, даже высшаго,—которые удовлетворялись понятіями „Сѣверной Пчелы“. Гречъ, который, го-

[1]) Каковы были взгляды нашихъ политическихъ газетъ (политическія свѣдѣнія кромѣ „Сѣв. Пчелы“ помѣщались еще въ Спб. и Моск. „Вѣдомостяхъ“, но особенно характеристичны были въ первой), можно достаточно увидѣть изъ любопытнаго ряда выписокъ, сдѣланныхъ въ статьѣ г. Антоновича при 8-мъ томѣ второго изданія „Исторія Восемн. Столѣтія“ Шлоссера, Спб. 1871.

воря о своихъ связяхъ съ Булгаринымъ, самъ, какъ разсказываютъ, съ изумительною откровенностью сравнивалъ себя съ „каторжникомъ, таскающимъ за собой свое ядро“ [1]),—Гречъ и его сподвижникъ имѣли своего рода популярность, въ тѣ времена очень обширную.

Политическія отношенія этой пары и ея связи съ различными оффиціальными учрежденіями до сихъ поръ не вполнѣ выяснены; но извѣстно уже и теперь, что эти связи были довольно тѣсныя, какъ бы дружескія. Одно оффиціальное учрежденіе прямо руководило политическими мнѣніями „Сѣверной Пчелы“ и одно время политическія извѣстія доставлялись въ газету готовыя изъ этого учрежденія [2]).

„Сѣверная Пчела“ имѣла, конечно, свои грязные элементы, которыхъ нельзя навязывать всѣмъ послѣдователямъ ея мнѣній, въ большинствѣ болѣе наивнымъ и незнающимъ, нежели злокачественно-лицемѣрнымъ; но она, безъ сомнѣнія, высказывала не свои только личныя мнѣнія, когда предавалась національному самохвальству и брани на Европу съ одной стороны и рабскому уничиженію съ другой. То же, или почти то же отсутствіе критики относительно нашего внутренняго положенія намъ случалось указывать и у людей совершенно иного нравственнаго достоинства, чѣмъ дѣятели „Сѣверной Пчелы“ [3]).

Мы видѣли, что первая романтическая школа уже отличалась этимъ недостаткомъ общественной критики. Теперь эта школа дошла до своего послѣдняго предѣла. Главными ея чертами остались въ поэзіи—стремленіе къ (мнимой) свободѣ поэтическаго вдохновенія и творчества, своего рода Kraftgenialität (какъ у нѣмцевъ прошлаго вѣка), кончавшаяся только необузданностью фразы; въ понятіяхъ общественныхъ тотъ преувеличенный или, вѣрнѣе, извращенный патріотизмъ, который по своему логическому достоинству уходилъ мало дальше „Сѣверной Пчелы“. Въ этомъ стилѣ писалъ Кукольникъ свои романтически-надутыя патріотическія драмы; ихъ шумная популярность показываетъ, что онѣ приходились по умственнымъ средствамъ большинства, которое удовлетворялось наборомъ громкихъ фразъ, находя въ немъ вдохновеніе и истинный патріотизмъ. Случай съ одной

[1]) См. „Зарю“, 1871, № 4.

[2]) См., напр., „Русскій Архивъ“ 1869, стр. 1557—1558.

[3]) Замѣчательно, что тотъ же самый Булгаринъ, внѣ литературы, высказывалъ очень мѣткія и смѣлыя сужденія о тогдашнемъ порядкѣ вещей — правда, посыпая ихъ лестью. Ср. записки его къ Дубельту, въ „Изслѣдованіяхъ и статьяхъ“ г. Сухомлинова, Спб. 1889, т. II.

извѣстной его драмой показываетъ, что даже высшія оффиціальныя учрежденія—которыя руководили политическими мнѣніями общества,—какъ бы давали ей свою санкцію,—такъ что усумниться въ ней, какъ это сдѣлалъ Полевой, становилось преступленіемъ.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ у насъ вошелъ въ большую моду историческій романъ во вкусѣ Вальтера Скотта: этотъ романъ отличался той же тенденціей и, за немногими только исключеніями, задавался не столько желаніемъ понять и изобразить эпоху, сколько желаніемъ набрать побольше романтической эффектности и особенно представить русскія доблести. Наиболѣе популярнымъ романистомъ этого стиля былъ Загоскинъ; въ его романахъ было бы напрасно искать историческаго колорита, и хотя въ его сентиментальномъ прикрашиваньи стараго и новаго была искренность, которая миритъ съ нимъ и которая до сихъ поръ поддерживаетъ популярность этого писателя въ извѣстномъ кругѣ читателей,—но при всемъ томъ въ тенденціяхъ Загоскина было много и того, что называли тогда кваснымъ патріотизмомъ, и консервативная нетерпимость дѣлала его человѣкомъ партіи. Любовь къ „своему русскому", „народному", къ сожалѣнію и тогда, какъ слишкомъ часто видимъ теперь, служила подкладкой и поводомъ или предлогомъ для обскурантизма, у однихъ простодушнаго — отъ недостатка образованія, у другихъ сознательнаго и злостнаго. Не очень далеко отъ подобнаго обскурантизма стоялъ иногда и Загоскинъ. Въ такомъ же родѣ складывался входившій тогда въ моду „нравоописательный" романъ. Эти романы, имѣвшіе притязаніе изображать русскую жизнь, писались по извѣстному шаблону, какъ старинныя комедіи. Въ нихъ являлись дѣйствующія лица добродѣтельныя и прочныя, добродѣтель страдала, но въ концѣ концовъ награждалась, а порокъ наказывался,—въ результатѣ выводилось нравоученіе въ духѣ консервативной морали: въ неурядицахъ жизни виноваты только людскіе пороки, все остальное было совершенно хорошо. Большинство этихъ романовъ были совершенно плохи, и если даже взять наиболѣе замѣчательныя произведенія этого разряда, написанныя до вліяній Гоголя, мы найдемъ въ нихъ иногда хорошія намѣренія (наприм. сибирскіе романы Калашникова), но и совершенное неумѣнье найти настоящую точку зрѣнія, и логическую, и художественную. За отсутствіемъ ея эти романы, и подобныя имъ произведенія той поры, оставались совершенно безплодны въ литературномъ движеніи: жизнь изображалась въ условномъ книжномъ стилѣ, съ выдуманными людьми, съ реторической добродѣтелью, съ обличеніемъ отвлеченныхъ по-

роковъ. Эта литература не знала Гоголя; но она не воспользовалась и Грибоѣдовымъ.

Какіе литературные нравы складывались въ этомъ кругѣ, объ этомъ можно было читать въ различныхъ воспоминаніяхъ изъ этого времени. Назовемъ воспоминанія Греча, воспоминанія о Гречѣ другихъ лицъ, записки Глинки, воспоминанія И. И. Панаева. Эти кружки, гдѣ играли роль Гречъ и Булгаринъ, Воейковъ, Сенковскій, Кукольникъ, гдѣ странно соприкасались литература и тайная полиція, романтическій задоръ и восторженная благонамѣренность [1]), были весьма характеристичны. Внѣшній видъ оживленія заставлялъ думать этихъ писателей, что ими держится литература и что литература такова и должна быть, какъ они ее разумѣли; у нихъ не было ни малѣйшаго подозрѣнія о совершенномъ ничтожествѣ ихъ фразистой реторики и ихъ общественной философіи. За исключеніемъ двухъ-трехъ людей сомнительной репутаціи, которые играли роль въ этой литературѣ, дѣятели ея были вовсе не дурные люди: это были только люди, слѣдовавшіе за общимъ теченіемъ, не испытывавшіе, вмѣстѣ съ массой общества, никакихъ тревогъ сомнѣнія и вполнѣ вѣрившіе въ господствующую систему. Наступившее движеніе вытѣснило эту литературу на задній планъ, откуда она уже не выходила и гдѣ она еще долго служила вкусамъ полуобразованной части общества.

Романтическая напыщенность, внѣшній блескъ и отсутствіе содержанія, непониманіе дѣйствительности, отличающіе консервативную романтическую школу, любопытнымъ образомъ отражаются и въ тогдашнемъ искусствѣ, особенно въ томъ, которое болѣе замѣтнымъ образомъ было связано съ тенденціями времени и хотѣло въ своей сферѣ служить имъ. Прославленныя тогда картины Брюлова представляютъ много общаго съ романтическимъ „размахомъ“ Кукольника. Въ то время поставлено было нѣсколько памятниковъ знаменитымъ русскимъ людямъ, и эти памятники отличаются замѣчательной неестественностью и отсутствіемъ сознанія мѣста, времени и народа: таковъ Ломоносовъ, поставленный подъ полярнымъ кругомъ въ античной наготѣ, едва прикрываемый какой-то мантіей; такова фигура Кліо, поставленная въ губернскомъ городѣ для изображенія Карамзина. Натянутая торжественность и фальшивость этихъ произведеній бросались въ глаза даже иностранцамъ [2]); понятно, что въ этихъ

[1]) Въ порывѣ такой благонамѣренности Кукольникъ заявлялъ готовность „завтра быть акушеромъ, если прикажутъ“. См. „Рус. Стар.“ 1870, II, стр. 384.

[2]) См., напримѣръ, нѣсколько отзывовъ объ этихъ и подобныхъ произведеніяхъ у Кюстина, Диксона и проч.

памятникахъ, видимо удовлетворявшихъ тогдашнимъ оффиціальнымъ представленіямъ о „народности“, всего меньше было русскаго и народнаго.

Наиболѣе популярнымъ журналистомъ этой консервативной литературы былъ Сенковскій, писатель со свѣдѣніями и талантомъ, но которому, несмотря на то, придется занять очень жалкое мѣсто въ исторіи этого времени. Сенковскій на первое время умѣлъ дать своему журналу интересъ для обыденной публики запасомъ легкаго чтенія и внѣшнимъ шутовскимъ остроуміемъ, но отсутствіе содержанія было таково, что журналъ наконецъ упалъ до полнаго ничтожества. Сенковскій стоялъ совершенно внѣ интересовъ русской мысли; его остроуміе, въ сущности очень дешевое, которымъ онъ такъ нравился своей публикѣ, не имѣло никакой иной подкладки, кромѣ полнаго равнодушія къ интересамъ русской литературы, а также чрезвычайнаго самолюбія и озлобленія за то, что живая литература, прошла мимо его, оставила его въ сторонѣ и позади себя. Насмѣшки барона Брамбеуса направились вскорѣ и на тѣ произведенія нашей литературы, которыя являлись высшимъ пунктомъ ея развитія и лучшимъ ея пріобрѣтеніемъ, какъ, напр., произведенія Гоголя, которыхъ онъ умышленно или дѣйствительно не понималъ. Сенковскій сталъ вообще враждебно къ новому литературному движенію; онъ не признавалъ его и думалъ, что можетъ смѣяться надъ нимъ. Немудрено, что въ наше время критика отнеслась къ Сенковскому недовѣрчиво и находила его дѣятельность двусмысленной. Въ самомъ дѣлѣ, когда явились Гоголь, критика Бѣлинскаго, „натуральная школа“, то эти новыя направленія, очевидно затрогивавшія самую жизнь, съ одной стороны были не вполнѣ вразумительны людямъ господствующей школы, съ другой имъ инстинктивно не нравились, какъ что-то имъ не подчинявшееся, шедшее мимо установленныхъ преданій, задававшее какіе-то новые вопросы. „Сѣверная Пчела“ и журналы ея сорта всячески нападали на это новое движеніе; выходки Сенковскаго противъ него получали тотъ же смыслъ и, безъ сомнѣнія, должны были быть пріятны людямъ, имѣвшимъ контроль надъ литературой и не желавшимъ, чтобы въ ней являлась какая-нибудь независимая мысль, какое-нибудь вліятельное направленіе. Смѣхотворство и шутовство Сенковскаго становились рядомъ съ полицейскими доносами „Сѣверной Пчелы“. Такъ его и понимала упомянутая позднѣйшая критика, которая иногда не щадила никакихъ выраженій для характеристики общественной роли Сенковскаго, приписывая ему роль чисто полицейскую. Но пока относительно послѣдняго нѣтъ

еще никакихъ основаній, и роль Сенковскаго объясняется, кажется, проще общими условіями литературы и личнымъ положеніемъ Сенковскаго. Въ самомъ началѣ Сенковскій могъ выбрать свою дорогу именно подъ впечатлѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; соображенія личной безопасности и эгоизма могли отогнать всякую мысль о какой-либо пропагандѣ. Съ другой стороны, онъ воспитался въ чужомъ обществѣ и не въ русскихъ интересахъ; повидимому, онъ не былъ вовсе ревностнымъ полякомъ, но и въ русскомъ обществѣ держался на сторожѣ. Быть можетъ, въ первое время и ученая дѣятельность, въ которой его ученики приписываютъ ему великія заслуги, занимала его настолько, что онъ не чувствовалъ особой любви къ литературѣ, какъ это бываетъ нерѣдко. По уму и начитанности онъ стоялъ выше своей тогдашней обстановки,—и все это вмѣстѣ могло производить въ немъ то высокомѣрное отношеніе къ русской литературѣ, въ которомъ онъ, наконецъ, счелъ для себя позволительнымъ самое безцеремонное шутовство: это отношеніе могло показаться ему сначала естественнымъ (оно имѣло успѣхъ), и онъ не могъ отказаться отъ него впослѣдствіи, и потому, что уступить и сойти со сцены было непріятно для его самолюбія, и потому, что начавшееся движеніе уже вскорѣ оказалось ему не по силамъ. По нашему мнѣнію, Сенковскій едва ли игралъ ту злостную роль, какую ему приписываютъ; это былъ литературный пустоцвѣтъ, который только и могъ вырости въ окружающихъ его условіяхъ. Онъ принялъ эти условія, не задалъ себѣ никакого высшаго идеала и кончилъ полнымъ паденіемъ [1]).

Наконецъ, господствующій тонъ отразился и въ историческихъ представленіяхъ. Какъ дальше увидимъ, новое движеніе вызвало особенное оживленіе историческихъ работъ; но какую исторію создавало себѣ то большинство, которое видѣло въ настоящемъ высшій пунктъ историческаго „преуспѣянія"? Исторія, которая была тогда признана оффиціально, преподавалась въ школахъ, которой разрѣшено было довести разсказъ до новѣйшаго времени,—по основной мысли была отчасти продолженіемъ „Исторіи Государства Россійскаго", отчасти оригинальнымъ построеніемъ. Съ Карамзинымъ новая оффиціальная исторія расхо-

[1]) Мы считаемъ почти излишнимъ упоминать о другомъ мнѣніи, которое объясняетъ дѣятельность Сенковскаго какъ еще одинъ лишній примѣръ „польской интриги". Этой интриги нигдѣ не видно, а напротивъ, оказывается (см. статью о тайныхъ обществахъ въ западномъ краѣ при имп. Александрѣ, въ „Зарѣ", 1871, кн. 5), что Сенковскій, относительно „польской интриги", добросовѣстно исполнялъ обязанности русскаго чиновника.

дилась во взглядѣ на Петра Великаго и реформу; Карамзинъ не любилъ ихъ,—она видѣла въ Петрѣ величайшаго изъ русскихъ государей. Она расходилась также съ Карамзинымъ во взглядѣ на Новгородъ, на Литовскую Русь. Затѣмъ основные пункты Карамзина повторялись. Русская исторія не представляла столько разнообразія и блеска, какъ исторія западная; но она богата мудрыми государями, славными подвигами, высокими добродѣтелями. Исторія самодержавія начинается съ Рюрика; прерванное или ослабленное прискорбными междоусобіями удѣльнаго періода (представляющаго дѣленіе Россіи между князьями одного дома, вслѣдствіе дурного понятія о престолонаслѣдіи), оно должно было пасть подъ татарскимъ нашествіемъ, но возстало вновь подъ мудрой политикой великихъ князей и царей московскихъ. Принявъ христіанство изъ Византіи, Россія получила второе изъ своихъ основныхъ и незыблемыхъ началъ—православіе, которое разъ навсегда установило въ ней истинное просвѣщеніе. Съ древнѣйшихъ временъ мудрые іерархи и учители церкви поддерживали чистоту этого просвѣщенія, которое въ этомъ видѣ дошло и до нашего времени и, доставляя намъ твердыя правила вѣры и нравственности, устраняло отъ насъ всѣ зловредныя ученія, въ какія ввергался не имѣвшій этой нити Западъ. Третье основное начало русской жизни,—народность, являлось какъ плодъ новѣйшаго времени и новѣйшаго правленія: съ Петра Великаго Россія должна была многое заимствовать изъ Европы; вовлекаемая въ европейскія дѣла, заимствовала европейскіе нравы, а также и нѣкоторыя заблужденія—новое время возвращаетъ ее къ истиннымъ началамъ русской народности. Съ водвореніемъ ихъ русская жизнь, наконецъ, устанавливается на истинной стезѣ преуспѣянія, и Россія, усвоивая себѣ знанія безъ самомнѣнія лжеименнаго разума и плоды цивилизаціи безъ ея заблужденій, можетъ гордиться предъ Европой.

Исторія Россіи была постепеннымъ стремленіемъ къ этому блаженному настоящему, разрѣшавшему всѣ вопросы. Принципы были даны съ самаго начала совершенно готовые, а внутренняя исторія какъ будто состояла только въ рядѣ мѣропріятій, которыя власть употребляла для ихъ утвержденія. Историки не видѣли другихъ элементовъ историческаго развитія, не видѣли и тѣни той борьбы въ самыхъ народныхъ массахъ, тѣхъ разнообразныхъ явленій внутренней жизни, изслѣдованіе которыхъ представляетъ теперь особенную привлекательность для историковъ. Народъ, напротивъ, представлялся страдательной массой, предметомъ правительственныхъ распоряженій, не имѣвшимъ ни

голоса, ни собственнаго разсужденія. Словомъ, историки переносили въ прошедшее свои представленія о настоящемъ; ихъ исторія дѣлалась не только исторіей государства, какъ было у Карамзина, но просто исторіей правительства. Народная масса была груба и невѣжественна, — ей дали государство и просвѣтили ее христіанствомъ, привели въ порядокъ ея гражданскую жизнь, дали ей законы и т. д. Правда, были волненія и мятежи, но они происходили только отъ необузданныхъ страстей и невѣжества, и власть въ концѣ концовъ усмиряла ихъ и возстановляла порядокъ; были бѣдствія, были жестокости правителей, но народъ „умѣлъ" сносить ихъ „безропотно". Въ числѣ мудрыхъ мѣръ приводилось и закрѣпощеніе крестьянства...

Мы упомянули, что историки этой категоріи брались изображать и настоящее. Можно себѣ представить, что это былъ постоянный и слишкомъ неумѣренный панегирикъ, историческая амплификація извѣстной темы, что все обстоитъ благополучно, и что граждане благословляютъ свою судьбу. Людямъ разсудительнымъ и тогда странно было читать эти вещи; еще страннѣе было читать ихъ впослѣдствіи, когда теченіе событій совершенно опровергнуло панегирикъ: неумѣренныя восхваленія иногда становились похожи на иронію...

Въ дополненіе къ этой исторіи являлись труды, менѣе проникнутые оффиціальностью, но не менѣе отличавшіеся восхваленіемъ русской старины, отрицаніемъ Европы и превознесеніемъ настоящаго. Однимъ изъ самыхъ характерныхъ образчиковъ такой исторіи можетъ служить „Исторія русской словесности, преимущественно древней" Шевырева, и другія произведенія этого писателя, представлявшаго, вмѣстѣ съ Погодинымъ, особую школу, которой не надо смѣшивать съ славянофильствомъ (хотя между ними было все-таки много общаго). Стиль Шевырева, отличавшійся елейнымъ краснорѣчіемъ, соотвѣтствовалъ содержанію его теоріи, находившей въ древней Руси всѣ нравственные идеалы: онъ опять переносилъ въ прошедшее тѣ понятія и нравы, какими жилъ въ настоящемъ, и не представляя себѣ возможности иныхъ формъ жизни, прямо выставилъ высшимъ идеаломъ не только личнымъ, но и гражданскимъ, добродѣтель „смиренія"; смыслъ прошедшей исторіи и задачу будущей онъ видѣлъ для русскаго народа въ „приниженіи личности".

Такія черты принимала литература, выроставшая изъ тогдашняго положенія вещей, изъ господствующихъ понятій и нравовъ. Она была, съ одной стороны, продолженіемъ консервативнаго романтизма, съ другой, примѣненіемъ оффиціальной народности;

вообще это была литература неподвижности и застоя, отличавшихъ огромное большинство общества. Она не предполагала ни возможности другого порядка идей, ни возможности сомнѣнія, сурово опекаемая, она не имѣла даже сознанія своего положенія, полагала, что иначе быть не можетъ и не должно, и наконецъ завершалась мрачнымъ обскурантизмомъ „Маяка“, или, чтобы мнимо-научнымъ образомъ оправдать свое существованіе, возводила въ принципъ отсутствіе всякой личной и общественной свободы и самодѣятельности.

Не трудно видѣть, каково могло быть въ этомъ порядкѣ вещей положеніе той части литературы, которая продолжала прежнее прогрессивное движеніе. Въ указанномъ сейчасъ хорѣ консервативныхъ голосовъ не было мѣста ея стремленіямъ, какъ не было имъ отголоска и основанія въ настроеніи огромнаго большинства общества. Она выдѣлилась особыми группами писателей изъ общей массы и, скоро замѣченная своимъ тѣснымъ кругомъ читателей, не ускользнула и отъ вниманія учрежденій, которымъ принадлежалъ контроль надъ печатью и общественнымъ мнѣніемъ. На первыхъ же порахъ она была отмѣчена, какъ либеральная, и подпала всѣмъ тяжелымъ стѣсненіямъ, какимъ подвергается мысль, нѣсколько выходящая изъ общей рутины, въ обществѣ, большинство котораго не ощущаетъ умственныхъ потребностей. Цензурный гнетъ былъ тѣмъ тяжеле, чѣмъ больше было разстояніе понятій съ обѣихъ сторонъ. Въ этомъ противорѣчіи литература была совершенно безправна: случалось, что и цензурное одобреніе не спасало отъ гоненія со стороны высшихъ учрежденій—уничтожались самыя изданія, съ наказаніемъ и издателей, и цензоровъ. Положеніе писателя было совершенно безпомощное: писатель не только терялъ въ журналѣ свою собственность и испытывалъ тяжелое насиліе надъ своимъ умственнымъ трудомъ,—онъ совсѣмъ терялъ почву подъ ногами, потому что весь образъ его мыслей оказывался недозволительнымъ, стоящимъ внѣ закона; въ обществѣ онъ являлся человѣкомъ заподозрѣннымъ. Стѣсненія, обыкновенно сопровождающія цензуру, были у насъ тѣмъ тяжеле, что падали на незначительное меньшинство, лишенное опоры въ обществѣ, еще не привыкшемъ давать мѣсто критикѣ и различію мнѣній. Въ цѣломъ работа литературы затруднялась, дѣлалась отрывочной, случайной, умственное развитіе общества шло съ тѣми скачками, умолчаніями, неясностями, поспѣшными порывами, которые до сихъ поръ, къ сожалѣнію, отражаются въ нашей жизни и дѣлаютъ наши обще-

ственныя понятія въ большинствѣ столько шаткими, недодуманными и случайными.

Нужно помнить объ этихъ условіяхъ, чтобы въ должной степени оцѣнить трудъ тѣхъ немногихъ писателей, которые, въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій, достойнымъ образомъ представляли истинные интересы общественнаго развитія. Этотъ трудъ внушаетъ къ себѣ истинное уваженіе. Люди, его исполнявшіе, были предоставлены своимъ личнымъ нравственнымъ силамъ въ обществѣ, масса котораго даже не понимала ихъ усилій, подъ тяжелымъ недовѣріемъ и подозрѣніями, подъ опасностью личнаго спокойствія. Не надо также удивляться, что эта обстановка отражалась неблагопріятными вліяніями на самомъ ходѣ умственной работы. Вслѣдствіе того, что новое содержаніе, которое стремилась выработать литература, становилось болѣе или менѣе запретнымъ плодомъ, что наука проникала къ намъ только отрывками, новое движеніе литературы нерѣдко впадало въ односторонности, увлеченія, иногда нѣсколько фантастическія: иначе и быть не могло, потому что ни одна мысль не договаривалась до конца, не достигала всесторонняго обсужденія.

Въ виду этихъ условій, дѣятельность тогдашней прогрессивной литературы представляется гораздо болѣе значительной, чѣмъ вообще думаютъ. При всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, она поддержала интересъ свободнаго изслѣдованія и общественной критики; опираясь на силы небольшого числа избранныхъ умовъ, она стала лучшимъ выраженіемъ умственнаго движенія и задаткомъ его будущаго.

Мы упоминали, что литература этихъ десятилѣтій продолжала трудъ и расширила задачи, поставленныя людьми двадцатыхъ годовъ. Обстоятельства, а вмѣстѣ и самая сущность дѣла сообщили ей, однако, иной характеръ. Она совершенно покидаетъ политическіе вопросы, не только потому, что они были закрыты для нея внѣшнимъ образомъ, но и по доброй волѣ; она сохранила почтеніе къ предшественникамъ, но чувствовала, что поставленные ими вопросы еще не по силамъ и даже не нужны русскому обществу, что имъ должна предшествовать приготовительная работа, большее развитіе общественнаго сознанія. Поэтому, хотя литература и отступила въ сторону отъ намѣченныхъ прежде путей, но въ концѣ концовъ глубже вникаетъ въ существенную сторону дѣла: въ изученіе русскаго общества, его историческихъ отношеній, его умственныхъ и нравственныхъ потребностей.

Несмотря на то, что такимъ образомъ она стала внѣ собственно политическихъ и общественныхъ вопросовъ, въ ея фило-

софскомъ, историческомъ, поэтическомъ содержаніи сказывалась очень ясная общественная тенденція: ея отношеніе къ господствующимъ понятіямъ и порядкамъ было существенно отрицательное. Для этой литературы не могла остаться скрытой несостоятельность системы оффиціальной народности. Благодаря теоретическимъ изученіямъ и внутреннимъ инстинктамъ, для этой литературы открывались иныя перспективы: въ настоящемъ, она не могла примириться съ тѣсными рамками, которыя отводимы были для національныхъ силъ; въ исторіи она начинала открывать народные элементы, которыхъ не видѣла и не признавала система и которымъ, очевидно, должна была предстоять своя будущность. Не примиряясь съ теоріей системы, эта литература еще меньше могла признать нормальность и цѣлесообразность ея практическихъ примѣненій. Разъ получивши интересъ къ общечеловѣческимъ идеаламъ, познакомившись болѣе серьезно, чѣмъ бывало прежде, съ содержаніемъ и исторіей европейскаго просвѣщенія, эта литература не могла не взглянуть съ болѣе широкой точки зрѣнія и болѣе правдиво на явленія русской дѣйствительности. Ставя уже теперь вопросъ о народномъ благѣ и развитіи своимъ основнымъ интересомъ, литература, изъ своего теоретическаго удаленія, больше и больше подходила къ народной жизни, которая и стала исходнымъ пунктомъ ея стремленій: одни идеально возвеличивали народъ, думая въ философской, исторической и поэтической идеализаціи его открыть пути его возрожденія; другіе искали того же въ критическомъ анализѣ дѣйствительности, въ сознаніи слабыхъ сторонъ прошедшей и настоящей народной жизни, находя въ этомъ сознаніи первый шагъ общественнаго совершеннолѣтія.

Въ томъ и другомъ смыслѣ и направленіи эта литература оказала свои большія заслуги. Ея труды стоили ей много борьбы: она далеко не была въ состояніи сказать всего, что̀ думала, но и тѣмъ, что̀ было сказано, она успѣла ввести въ обращеніе много разумныхъ и благотворныхъ понятій. Высокимъ требованіямъ, какія она ставила для національной жизни, высокимъ идеаламъ и цѣлямъ, какіе указывала она для серьезныхъ умовъ, мы обязаны многими изъ тѣхъ лучшихъ общественныхъ понятій, какія въ наше время начинаютъ бросать корень въ обществѣ, и многими изъ тѣхъ общественныхъ преобразованій, для которыхъ царствованіе Александра II нашло въ обществѣ и глубокое сочувствіе, и ревностныхъ исполнителей.

То время было нравственнымъ приготовленіемъ къ современной преобразовательной эпохѣ. Въ періодъ крымской войны,—

о которомъ мы столько разъ вспоминали и который принесъ такъ много разочарованій,—люди, воспитавшіеся подъ вліяніемъ этой литературы, не падали духомъ: они получали твердую увѣренность, что паденіе старыхъ упорныхъ заблужденій и самообольщеній будетъ первымъ началомъ нашего общественнаго возрожденія. Въ пятидесятыхъ годахъ лучшіе люди современной литературы начали съ благодарнаго признанія заслуги дѣятелей того времени, какъ своихъ предшественниковъ и учителей [1]).

. . . .

[1]) Указать хотя бы главную литературу для настоящей главы было бы слишкомъ трудно по громадности матеріала: сюда относилась бы цѣлая литература о Николаевскомъ времени, по администраціи, вопросу крестьянскому, просвѣщенію, расколу, литературѣ и цензурѣ, искусству. Въ частности, ближайшіе источники доставляетъ сама литература того времени (Пушкинъ, Жуковскій, Гоголь, Некрасовъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Писемскій и пр.) и журналистика, гдѣ на одной сторонѣ стоятъ: „Московскій Телеграфъ“, „Моск. Вѣстникъ“ (Погодина), „Европеецъ“ (Кирѣевскаго), „Отеч. Записки“ (съ 1839), „Современникъ“ (съ 1847), — на другой: „Сѣверная Пчела“, „Библіотека для Чтенія“ (съ 1834), „Маякъ“, „Москвитянинъ“; особую группу составили „Московскіе сборники“ славянофиловъ.

Важна, далѣе, исторія университетовъ, хотя она писалась пока только въ оффиціальномъ отношеніи, и исторія цензуры.

Изъ особыхъ детальныхъ сочиненій назовемъ:

— Заблоцкій-Десятовскій, „Графъ Киселевъ и его время“. 4 тома. Спб. 1882.

— В. Семевскій, „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка“. Спб. 1888. 2 тома.

— Шашковъ, „Крѣпостные крестьяне предъ освобожденіемъ“. „Слово“, 1881, кн. 4.

— Отто, „Графъ Аракчеевъ и военныя поселенія“. Спб. 1871; „Бунтъ военныхъ поселеній 1831 года“. Спб. 1870.

— Сухомлиновъ, „Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію“. Спб. 1889, 2 тома (во 2-мъ любопытнѣйшіе матеріалы для характеристики положенія литературы въ Николаевское время; см. статьи о Пушкинѣ, Полевомъ, Гоголѣ, Н. Ф. Павловѣ, славянофилахъ).

— Иконниковъ, „Русскіе университеты въ связи съ ходомъ умственнаго развитія“. „Вѣстн. Европы“, 1876, кн. 9—11.

— Скабичевскій, „Очерки развитія прогрессивныхъ идей въ нашемъ обществѣ 1825—1860“, рядъ статей въ „Отеч. Запискахъ“ 1870—72; отдѣльная книга съ этимъ заглавіемъ была напечатана, Спб. 1872, но въ свѣтъ не вышла;—его же, Очерки изъ исторіи цензуры.

— Пятковскій, „Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія. Монографіи и критическія статьи“. Спб. 1876, 2 тома; 2-е изд. 1888.

— Анненковъ, „Воспоминанія и критическіе очерки“. 3 тома. Спб. 1877—1881 (о Пушкинѣ, Станкевичѣ; „Замѣчательное десятилѣтіе, 1838—1848“); его же: „Идеалисты тридцатыхъ годовъ“ (Герценъ и Огаревъ). „Вѣстн. Европы“, 1883, кн. 3—4.

— А. Станкевичъ, „Т. Н. Грановскій“. М. 1869.

— О. Миллеръ, Біографія Достоевскаго въ полномъ собраніи сочиненій.

Наконецъ, множество матеріаловъ автобіографическихъ, напр., воспоминанія Вигеля, Греча, біографія Погодина (начата г. Барсуковымъ), воспоминанія Панаева, г-жи Пассекъ, Переписка Ив. Аксакова и т. д., и т. д.

IV.

ПРОЯВЛЕНІЯ СКЕПТИЦИЗМА. ЧААДАЕВЪ.

Изслѣдуя въ данномъ періодѣ элементы, приготовлявшіе къ послѣдующей преобразовательной эпохѣ и потому предполагавшіе отрицаніе системы, построенной на оффиціальной народности, мы должны остановиться прежде всего на Чаадаевѣ. Личность Чаадаева долго оставалась не вполнѣ ясною и до сихъ поръ стоитъ довольно одиноко въ исторіи нашего умственнаго развитія, хотя уже не мало было писано о немъ въ пользу его и противъ него. Въ самомъ дѣлѣ, откуда выросло то содержаніе, какимъ удивлено было русское общество въ его „Философическомъ письмѣ"? Откуда развился тотъ крайній скептицизмъ относительно русской жизни, который нежданно высказался среди самодовольнаго общества и повлекъ за собой такія суровыя репрессаліи? Какъ явились несомнѣнные католическіе вкусы Чаадаева? Какое вліяніе оставилъ онъ, и оставилъ ли, въ нашей литературѣ и общественныхъ понятіяхъ? Не рѣшая сполна этихъ вопросовъ, еще не вполнѣ доступныхъ исторіи, остановимся на общей характеристикѣ мнѣній Чаадаева и сочиненій его, которыя, за исключеніемъ „Письма", до сихъ поръ еще не были извѣстны на русскомъ языкѣ.

Прежде всего, характеръ умственнаго движенія въ описываемые годы можетъ указать, что скептицизмъ Чаадаева относительно русской жизни и исторіи вовсе не былъ вещью случайной; онъ стоитъ въ тѣсной связи съ такъ-называемымъ „западнымъ" направленіемъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ (хотя и не сливается съ нимъ) и долженъ былъ имѣть историческіе антецеденты. Такія явленія въ умственной жизни не бываютъ вообще явленіями единичными, анекдотическими. Если Чаадаевъ

произвелъ впечатлѣніе, имѣлъ своихъ защитниковъ и враговъ въ кругу лучшихъ умовъ того времени,—о чемъ мы имѣемъ не мало свидѣтельствъ,—это значило, что въ его идеяхъ, какъ ни были онѣ своеобразны, былъ общій историческій элементъ.

Въ чемъ же состояла эта историческая связь, и какъ шло развитіе самого Чадаева? Біографія Чаадаева [1]), какъ мы ска-

---

[1]) Въ дополненіе къ біографіи, составленной М. И. Жихаревымъ („Вѣстникъ Европы", 1871), приводимъ біографическія указанія тѣхъ свѣдѣній о Чаадаевѣ, какія намъ встрѣчались въ литературѣ:

1836. „Телескопъ", т. 34, № 15, стр. 275—310: „Философическія письма".

1843. „La Russie en 1839", par le marquis de Custine. Seconde éd., т. IV, стр. 370—374.

1843. Paul de Julvecourt, „Le faubourg St.-Germain Moscovite. Les Russes à Paris". 2 vol.

1847. Haxthausen, „Studien über die innern Zustände etc., Russlands". Berlin, 1847—1852, III, стр. 3.

1853. Herzen, „Du developpement", etc., стр. 94—96, и затѣмъ отдѣльныя воспоминанія въ „Полярной Звѣздѣ", гдѣ перепечатано и „Письмо" Чаадаева (т. VI, 1861, стр. 141—162).

1854. „Раутъ", Н. Сушкова. М., стр. 294, 295, 365.

1856. „Моск. Вѣдом." № 46, 17 апрѣля (извѣщеніе о смерти Чаадаева).

— „Современникъ", № 7, отд. 5, стр. 5 (некрологъ Чаадаева, Лонгинова).

1858. „Московскій универс. благородный пансіонъ", Н. Сушкова, стр. 19, также въ Приложеніяхъ, стр. 18, 26—29 (письмо Ч. къ кн. Вяземскому о книгѣ Гоголя „Выбранныя Мѣста", и пр., 1847).

1860. Сочиненія Дениса Давыдова, ч. 3, стр. 142 (письмо Давыдова къ Пушкину о Ч.).

1860. „Русскій Вѣстникъ" № 5, Соврем. Лѣтоп., стр. 21—25, замѣтка о предыдущемъ, Лонгинова. - Тамъ же, № 18, Соврем. Лѣтоп., стр. 153.

1860. „Tendances catholiques dans la société russe", par le P. J. Gagarin, въ Парижѣ и Наумбургѣ (изъ журнала Correspondant).

1861. „Библіограф. Записки", № 1, стр. 1—18. Статья о Чаадаевѣ и нѣсколько его писемъ, между прочимъ, письмо къ Жуковскому, отъ 21 мая 1851.

1861. „Полн. Собраніе Сочиненій Хомякова", I, стр. 720—721.

1862. „Oeuvres choisies de P. Tchadaïef, publiées pour la première fois par le P. Gagarin". 208 стр.

1862. „Р. Вѣстн.", № XI, стр. 119—160: Воспоминанія о П. Я. Ч., Лонгинова (пересказано содержаніе „Философическаго письма" и въ концѣ два французскія письма Ч. къ Шеллингу).

1862. Записки Якушкина, стр. 51, 59—60.

1863. „Р. Архивъ", стр. 871—873 (извѣстіе о парижскомъ изданіи).

1865. „Р. Вѣстникъ", августъ, стр. 547.

1866. „Р. Архивъ", № 7, письмо Ч. къ кн. Вяземскому (то же, что у Сушкова, Моск. Унив. Панс.).

1868. „Воспоминанія о Чаадаевѣ" Д. Свербеева (1856), въ „Р. Архивѣ", стр. 976—1001.

1868. „Эпизодъ изъ жизни Чаадаева (1820 годъ)", Лонгинова,—тамъ же, стр. 1317 и 1328.

зали, еще имѣетъ много пробѣловъ, и къ такимъ принадлежитъ именно та пора его жизни, когда его взгляды сложились въ религіозную философію, на которой онъ основывалъ и свою философію исторіи. Поэтому и теперь остаются не вполнѣ ясны вліянія, которыя дѣйствовали на него въ эту пору и, наконецъ, опредѣлили его умственную физіономію.

Историческая роль Чаадаева опредѣляется вообще тѣмъ, что онъ былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ уцѣлѣвшихъ въ обществѣ дѣятелей, развитіе которыхъ принадлежало десятымъ и двадцатымъ годамъ,—времени Наполеоновскихъ войнъ и либеральнаго движенія. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ звеньевъ, которыя связали ту оживленную эпоху съ эпохой тридцатыхъ годовъ и связали два характера мысли, въ сущности мало похожіе. Первое образованіе Чаадаева шло тѣмъ путемъ и въ тѣхъ размѣрахъ, какъ оно шло тогда, да и позднѣе, у аристократической молодежи. Это было образованіе легкое, свѣтское; довершеніе этого образованія было уже его собственнымъ дѣломъ. Одаренный задатками сильнаго ума и пытливости, онъ очень рано вступилъ въ жизнь; рано началась для него и та пора, когда складывается впервые образъ мыслей, и естественно, что, при живости ума, онъ долженъ былъ въ особенности подпадать впечатлѣніямъ времени и общества. Это время и общество были оригинальныя и исключительныя: Чаадаевъ юношей вступилъ въ армію въ тревожные и богатые возбужденіями годы отечественной войны и походовъ въ Европу, и это время положило, вѣроятно, основы его дальнѣйшаго развитія. Здѣсь впервые должна была произвести на него могущественное дѣйствіе европейская умственная и политическая жизнь, которая дала ему оставшійся навсегда идеалъ; здѣсь, вѣроятно, имѣла свой корень и его религіозная философія.

Въ понятіяхъ людей Александровскаго времени по предме-

1870. „Р. Архивъ“, стр. 676—679 (въ ст. Свербеева о Герценѣ), стр. 1579 (въ зап. Якушкина о Мих. Чаадаевѣ).

1870. „Р. Старина“, т. I, стр. 162—165 (письмо Вигеля къ митр. Серафиму о статьѣ Чаадаева), стр. 291—293 (письмо митр. Серафима о томъ же графу Бенкендорфу), стр. 606.

1870. „Отеч. Записки“, ноябрь, стр. 30—31 (въ статьѣ г. Скабичевскаго).

1871. Богдановича, Ист. царств. импер. Александра I, V, 508—512.

1872. „Девятнадцатый Вѣкъ“, Бартенева, стр. 387, 388, 403.

1873. „Вѣстникъ Европы“, ноябрь, новые отрывки изъ неизданныхъ бумагъ Чаадаева).

1882. Альбомъ московской Пушкинской выставки 1880 года (портретъ Чаадаева).

1889. „Russische Selbstzeugnisse. Russisches Christenthum“, von Victor Frank. Paderborn.

тамъ нравственной и общественной философіи было вообще много идеалистическаго, но неопредѣленнаго. Мысль не укладывалась въ положительную форму, напротивъ, всего чаще оставалась на степени теоретическаго афоризма, идеальнаго стремленія, потому, конечно, что самые идеалы были слишкомъ новы, что дѣйствительность слишкомъ мало на нихъ походила и, не давая имъ необходимой практической опоры, по-неволѣ заставляла этихъ людей витать въ теоріяхъ, отвѣчавшихъ ихъ чувству; наконецъ, не были сильны и научныя средства. Такъ было не съ однимъ либеральнымъ молодымъ поколѣніемъ двадцатыхъ годовъ. То же было и въ планахъ самой правительственной сферы. Начиная съ первыхъ замысловъ имп. Александра до тайныхъ обществъ конца царствованія, всѣ идеалы общественной реформы отличаются и слишкомъ книжнымъ и сантиментальнымъ построеніемъ: таковы „Лагарповъ планъ“, проектъ Сперанскаго въ сферѣ оффиціальной, и таковы же конституціонные и преобразовательные планы тайныхъ обществъ; таковы стремленія библейскія, масонскія. При всемъ различіи этихъ плановъ, въ нихъ проходитъ одна общая черта,— ихъ нѣсколько странное, далекое отношеніе къ русской жизни; при всемъ отличающемъ ихъ желаніи служить благу народа, при несомнѣнно благородныхъ намѣреніяхъ многихъ личностей,— во всемъ этомъ было что-то произвольное, неприлаженное. Люди, задававшіеся преобразовательными идеалами, слишкомъ легко удовлетворялись общими положеніями и готовыми рѣшеніями и, не отдавая себѣ отчета въ русской дѣйствительности, довольствовались однимъ общимъ представленіемъ о неудовлетворительности существующаго положенія вещей. Въ ходу были въ особенности теоріи политическія, навѣянныя европейскими вліяніями, а также возбуждаемыя первыми инстинктивными стремленіями русской жизни: эти теоріи, чрезвычайно сложныя въ сущности, казались однако общедоступными.

Реформаторы, изъ сферы правительства и изъ тайныхъ обществъ, одинаково легко брались за предметъ: подъ ихъ руками быстро создавались конституціонные планы, подкладка которыхъ заимствовалась готовая изъ европейскихъ политическихъ идей; въ то время не сомнѣвались обращаться въ подобныхъ случаяхъ прямо къ иностранцамъ, которые сами не находили въ этомъ ничего страннаго. Такъ, въ началѣ царствованія обращаются къ Бентаму съ вопросами о законодательствѣ; такъ, Лагарпъ пишетъ свой планъ, и имп. Александръ негодуетъ даже, что Сперанскій его „обрусилъ“ [1]); такъ, составляется тайное общество по

[1]) Русскій Архивъ, 1871, ст. Погодина о Сперанскомъ.

программѣ Тугендбунда и пишутся конституціи по англійскимъ и американскимъ образцамъ. Бо́льшая часть людей, возымѣвшихъ тогда политическіе интересы, получили ихъ подъ впечатлѣніями европейской жизни и сличенія русской дѣйствительности съ цивилизаціей и свободой западныхъ народовъ. Такимъ образомъ, большинство приходило отсюда не къ изученію, а къ нравственному возбужденію, къ негодованію на существующее зло, и экзальтированное чувство тѣмъ легче вѣрило въ тѣ политическія средства, которыя могли будто бы привести къ желанной цѣли. Люди, какъ Н. И. Тургеневъ, который уже тогда ясно видѣлъ, что всѣ эти конституціонныя построенія не имѣютъ никакого значенія передъ крестьянскимъ вопросомъ, требующимъ разрѣшенія прежде всего,—такіе люди бывали исключеніемъ...

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, что не слѣдуетъ, однако, пренебрежительно относиться къ этому явленію. Основная идея и мотивы всѣхъ этихъ плановъ имѣютъ несомнѣнную цѣну въ исторіи общественныхъ понятій; ихъ пріемъ и отношеніе къ предмету — одинаковые, какъ мы видѣли, и въ правительствѣ, и въ средѣ общества, — были дѣломъ времени. Ихъ неполнота, ихъ произвольность совершенно понятны какъ первый шагъ политическаго сознанія. Этимъ опытамъ трудно было быть лучше. Историческая потребность понята была высшими слоями образованнаго общества, и это стремленіе къ общественной свободѣ по необходимости оставалось отвлеченнымъ, потому что практическихъ указаній не давала народная жизнь, давно потерявшая всѣ признаки этой свободы, не было и указаній научныхъ, потому что не было еще своей политической науки, и наука историческая только-что начиналась. Наконецъ, и прежняя жизнь вовсе не научала особенному вниманію къ народной жизни, къ истинному характеру дѣйствительности: девятнадцатый вѣкъ, конечно, гораздо меньше можно обвинить за эти эксперименты in anima vili, чѣмъ восемнадцатое столѣтіе. Нуженъ былъ цѣлый процессъ развитія, чтобы общественная мысль научилась правильному и разумному отношенію къ народу, и либерализмъ Александровскаго времени именно представлялъ начало этого процесса.

Эта отвлеченность нравственныхъ и общественныхъ понятій того времени, объясняемая самыми условіями русской жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ была и отраженіемъ европейскихъ космополитическихъ идей. Наслѣдіе революціи, этотъ космополитизмъ въ нашемъ либеральномъ кругу былъ въ особенности развитъ сближеніемъ народовъ въ продолженіе Наполеонскихъ войнъ; потомъ

реакція Священнаго Союза, поставивъ себѣ задачей всеобщее преслѣдованіе либерализма, опять его усиливала и, предполагая тѣсную связь либеральныхъ волненій въ разныхъ краяхъ Европы, сама внушала либеральнымъ партіямъ, что ихъ дѣло есть общее дѣло свободы. Дѣйствительно, вліяніе этихъ космополитическихъ идей составляетъ характеристическую черту того времени, ярко обнаруживаясь и тогдашнимъ политическимъ положеніемъ Россіи и внутренней жизнью, въ которую съ особенной силой стали проникать разнообразные отголоски европейскаго броженія, отъ крайняго піэтизма до политическаго свободомыслія. Наши либералы интересовались европейскими событіями, сочувствовали революціоннымъ вспышкамъ двадцатыхъ годовъ, искали своихъ авторитетовъ между корифеями европейскаго либерализма и т. п. Въ ихъ образѣ мыслей составлялся извѣстный кодексъ либеральныхъ принциповъ, который они принимали несмотря на все его разногласіе съ нравами и обычаями русской жизни, принимали, какъ дѣло образованности и дѣло чести. Любопытно встрѣтить, что въ этомъ кодексѣ либераловъ не послѣднюю роль играли и классическія воспоминанія: они читали Цицерона, Ливія, Тацита, и классическая цитата нерѣдко приводилась въ подкрѣпленіе мнѣній [1]).

Чаадаевъ имѣлъ тѣсныя связи съ либеральнымъ кружкомъ двадцатыхъ годовъ. По обычаю времени, мы встрѣчаемъ его въ масонской ложѣ; его коснулось и тайное общество [2]), хотя не видно, чтобъ онъ игралъ въ немъ какую-нибудь роль: судя по его позднѣйшимъ отзывамъ объ этомъ обществѣ, онъ, вѣроятно, признавалъ его только въ смыслѣ дружескаго кружка и мирной пропаганды и не сочувствовалъ никакимъ практическимъ предпріятіямъ, о которыхъ могла идти рѣчь. Во всякомъ случаѣ, его сношенія съ обществомъ прервались его отъѣздомъ заграницу, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ [3]). Но какъ бы то ни было, Чаадаевъ переживалъ этотъ періодъ идеальнаго и космополитическаго либерализма, въ которомъ и должны заключаться зародыши его позднѣйшихъ воззрѣній. Посланія Пушкина рисуютъ

[1]) См., напр., въ запискахъ Якушкина.

[2]) Въ тѣхъ же запискахъ разсказывается, что Чаадаевъ согласился на сдѣланное ему Якушкинымъ предложеніе вступить въ тайное общество.

[3]) Въ одномъ изъ писемъ, писанныхъ къ нему заграницу (въ началѣ 1825), упоминается интересный рядъ его друзей и знакомыхъ, о которыхъ онъ желалъ имѣть новости. Въ этомъ ряду упомянуты имена: Граббе, Алекс. Пушкинъ, кн. Вяземскій, Тургеневы, Никита Муравьевъ, кн. С. Трубецкой, Матвѣй Муравьевъ, кажется фонъ-Визины.

эту пору ихъ дружбы, когда Чаадаевъ являлся передъ нимъ то „мудрецомъ“, то „мечтателемъ“; впослѣдствіи (въ 1830 г.) Пушкинъ читалъ въ рукописи рядъ тѣхъ писемъ, изъ которыхъ одно появилось потомъ въ „Телескопѣ“, и изъ его отзывовъ объ этомъ чтеніи не видно, чтобы идеи Чаадаева поразили его, какъ что-нибудь совсѣмъ новое: вѣроятно, по крайней мѣрѣ, не было ново ихъ скептическое направленіе.

Біографія Чаадаева до сихъ поръ мало объясняетъ, откуда взялась та особенность его мнѣній, которая явнымъ образомъ выразилась въ „Философическихъ письмахъ“ и которая должна была особенно увеличить раздраженіе, ими вызванное. Мы говоримъ о его католическихъ наклонностяхъ. Мы имѣемъ мало свѣдѣній о томъ, какъ обнаруживались у него эти понятія въ жизни; на дѣлѣ онъ не былъ, говорятъ, католикомъ, онъ умеръ православнымъ, — но іезуитъ Гагаринъ говоритъ о томъ, какъ много ему „обязанъ“, и какъ отношенія съ Чаадаевымъ въ тридцатыхъ годахъ „оказали могущественное вліяніе“ на его будущее. Гдѣ же искать источника этихъ католическихъ наклонностей?

Извѣстно, что католицизмъ нашелъ много послѣдователей въ нашемъ высшемъ обществѣ во времена императора Александра. Историкъ іезуитовъ въ Россіи разсказываетъ, съ какимъ успѣхомъ они вели свою пропаганду, какъ толпами обращались въ католичество великосвѣтскія дамы, какъ іезуитскіе пансіоны начали дѣйствовать на самыя юныя поколѣнія. Въ іезуитскомъ пансіонѣ на три четверти было воспитанниковъ изъ семействъ высшей аристократіи. Здѣсь воспитывались люди, игравшіе впослѣдствіи значительную роль въ нашей общественной и государственной жизни, напр., Алексѣй и Михаилъ Орловы, Бенкендорфъ; здѣсь учились Голицыны, Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Волконскіе, Шуваловы, Ростопчины, Строгановы, Полторацкіе, Толстые, Вяземскіе и т. д. [1]). Рядомъ шли многочисленныя тайныя обращенія въ католицизмъ. Католическая пропаганда еще съ конца прошедшаго столѣтія свила себѣ прочное гнѣздо въ русскомъ высшемъ обществѣ, и русскія аристократическія имена доставили въ новѣйшее время католицизму значительный контингентъ, въ которомъ были дѣятельные пропагандисты и даже свои знаменитости: таковы имена г-жи Свѣчиной, кн. Зинаиды Волконской, Гагарина, Шувалова, Августина Голицына и т. д. Любопытный читатель найдетъ характеристическія

---

[1]) Іезуиты въ Россіи, М. Морошкина, Т. II. стр. 111, 114, 115, 127.

подробности въ книгѣ о. Морошкина, въ біографіи Свѣчиной, въ сочиненіяхъ самихъ обращенныхъ.

Чѣмъ объяснялось это явленіе,— отчего „рвалось изъ всѣхъ силъ въ объятія латинства русское родовитое барство“? Нѣтъ сомнѣнія, что важную роль играли здѣсь тотъ недостатокъ порядочнаго воспитанія въ православномъ духѣ, то отдаленіе высшаго круга отъ русской жизни и отъ русскаго духовенства, не представлявшагося достаточно полированнымъ и свѣтскимъ, то „невѣжество“ и „легкомысліе, свойственное женщинамъ нашего высшаго общества въ вещахъ самыхъ серьезныхъ“, та вкрадчивость и ловкость католическихъ аббатовъ, „имѣющихъ такія мягкія маперы, говорящихъ такъ вкрадчиво, такъ нѣжно и на такомъ прекрасномъ языкѣ, какъ игривый французскій“ и т. д. всѣ тѣ причины, которыя приводятся о. Морошкинымъ. Но это были не единственныя причины, и выставленные недостатки русскаго барства были не единственныя вещи, дѣлавшія его доступнымъ пропагандѣ. Если говорить о ближайшихъ явленіяхъ, то самъ о. Морошкинъ приводитъ факты, представляющіе въ очень печальномъ видѣ русское духовенство конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія [1]): недостатокъ образованія былъ таковъ, что религіозное обученіе и не могло быть удовлетворительно, и даже безъ чужой пропаганды могло являться у людей, въ другихъ отношеніяхъ довольно образованныхъ, и это незнаніе своей вѣры и это отдаленіе отъ своего духовенства. Образованнѣйшіе люди изъ духовенства, какъ напр., Самборскій, поощряемый и уважаемый самой властью, были очень непохожи на своихъ сотоварищей, и были въ то же время очень рѣдки. Слѣдовательно, вина упомянутаго отдаленія должна лежать не на одномъ исключительно „барствѣ“. Съ другой стороны, удаленіе отъ народной вѣры было не единственнымъ примѣромъ удаленія отъ народной жизни. Точно также удаленіе это простиралось на множество другихъ отношеній, гдѣ такимъ же образомъ порывалась связь между однимъ классомъ — сильнымъ, богатымъ, привилегированнымъ, и другимъ—слабымъ, бѣднымъ и беззащитнымъ. Но если во всѣхъ другихъ отношеніяхъ отдаленіе отъ народа поощрялось всѣми господствующими учрежденіями и нравами, было ли удивительно, что совершалось наконецъ и удаленіе религіозное? Словомъ, причина явленія заключалась не въ однихъ личныхъ недостаткахъ многихъ людей высшаго сословія, но главнымъ образомъ въ общихъ условіяхъ, напр., въ недостаткахъ самой цер-

[1]) Іезуиты, т. I, стр. 268—269.

жовности въ учрежденіяхъ, совершенно выдѣлявшихъ высшее сословіе въ особую, ничѣмъ не связанную съ народомъ, привилегированную касту.

Шире ставитъ эти причины распространенія католической пропаганды другой историкъ іезуитовъ, Самаринъ. Изображая высшую общественную среду, гдѣ по преимуществу совершалась пропаганда, Самаринъ говоритъ: „...Эта среда подчинялась не однимъ латинскимъ вліяніямъ. Отверстая для всего и ко всему воспріимчивая, она проникалась еще охотнѣе либеральными стремленіями, совершенно искренними, но безплодными по своей отвлеченности, и съ особенною любовью лелѣяла туманныя мечты о какомъ-то будущемъ духовномъ единеніи племенъ и правительствъ, въ безразличномъ равнодушіи ко всѣмъ формуламъ вѣры. Всякое со стороны занесенное ученіе, политическое или религіозное, всякая фантазія, всякій призракъ, могли, до извѣстной степени, разсчитывать на успѣхъ и внушать сочувствіе. Конечно, одно съ другимъ не клеилось, но все вмѣстѣ ускоряло *разложеніе народныхъ стихій*, издавна начавшееся въ нашемъ дворянствѣ. Таково свойство внутренней пустоты, при легкой воспріимчивости. Повидимому, все сіяло благонамѣренностью; зародыши всевозможныхъ благихъ начинаній носились въ общественной атмосферѣ, а между тѣмъ живое, народное самосознаніе гибло. При сильно развитомъ государственномъ патріотизмѣ терялся народный смыслъ; историческая память была какъ бы отшиблена; непосредственное ощущеніе всего пережитаго прошедшаго въ каждой минутѣ настоящаго было утрачено; народный языкъ сдѣлался какъ бы чужимъ, своя вѣра упала на степень всякой иной вѣры.

„О вѣрѣ, въ тѣ времена, разсуждали такимъ образомъ: всѣ вѣроисповѣданія одинаково хороши... На латинца, который бы вздумалъ перейти въ православіе, высшее общество взглянуло бы такъ же неблагосклонно, какъ и на православнаго, переходящаго въ латинство. И тотъ и другой, въ его глазахъ, прослыли бы отступниками; мало того, оно нашло бы для второго обстоятельства смягчающія вину — въ обаяніи высшей цивилизаціи и въ искренности убѣжденія, заявленной смѣлостью поступка. Этотъ взглядъ, изъ общественной сферы, перешелъ въ правительственную и прослылъ терпимостью.

„И въ эту-то дряблую и рыхлую среду, безсильную духомъ, оторванную отъ народной и церковной почвы, питавшей ее вещественно и духовно, врѣзались іезуиты, съ ихъ строго опредѣленнымъ ученіемъ, во всеоружіи испытанной своей діалектики и вѣковой педагогической опытности. Съ какой стороны могли они

встрѣтить отпоръ?..“ Люди Екатерининскаго времени не имѣли голоса въ этихъ дѣлахъ; духовенство—„но въ тѣ гостиныя, гдѣ царствовали іезуиты и гдѣ графъ Местръ доказывалъ, что православная церковь отложилась отъ римской и казнена растлѣніемъ, нашихъ священниковъ не пускали; да притомъ, имъ ли, застѣнчивымъ, неловкимъ, неопытнымъ въ управленіи дамскими совѣстями, неспособнымъ даже выслушать исповѣди на французскомъ языкѣ, имъ ли было вступать въ споры и выдерживать состязанія, на которыхъ судьями были бы князья и княгини, графини и графы, подкупленные вкрадчивымъ краснорѣчіемъ іезуитовъ и очарованные галантерейностью ихъ обращенія?“

„Дѣло обошлось не только безъ борьбы, даже безъ отпора“ [1]).

Въ этихъ словахъ мѣтко указаны нѣкоторыя черты людей и времени. Князь Голицынъ, поступившій атеистомъ въ оберъ-прокуроры синода и только послѣ обратившійся—не столько въ православіе, сколько въ мрачный піэтизмъ, аристократическія барыни, которыхъ дурачили іезуиты, заслуживаютъ презрительнаго отзыва, какимъ надѣлилъ ихъ Самаринъ. Но повторяемъ, что для болѣе вѣрной оцѣнки католической пропаганды слѣдовало бы прибавить нѣкоторыя другія черты. Князь Голицынъ, поощрявшій іезуитовъ, и великосвѣтскія барыни и аристократическіе господа, уходившіе въ католицизмъ, не этимъ однимъ заслуживали бы подобнаго отзыва,—и не переходя въ католицизмъ, большинство людей этой категоріи не много приносили проку своему отечеству... Самаринъ намекаетъ на это, говоря о „разложеніи народныхъ стихій“,—но другія стороны этого разложенія были едва ли не гораздо еще хуже католицизма. Были люди неприкосновенные къ іезуитству и католицизму, которые не выиграли отъ этого ни въ личномъ, ни въ гражданскомъ своемъ достоинствѣ, и дѣйствовали не хуже тѣхъ враговъ православія и русской народности, какими были люди, описываемые Самаринымъ. Тотъ же князь Голицынъ, послѣ изгнанія іезуитовъ, нисколько не сдѣлался лучше и полезнѣе для русскаго просвѣщенія. За католической пропагандой, однимъ словомъ, скрывалось зло, гораздо болѣе крупное, и придавать ей слишкомъ большую важность едва ли бы не значило „бичевать маленькихъ воришекъ для удовольствія большихъ“ и извращать историческую перспективу.

Самаринъ едва ли правъ, напримѣръ, противупоставляя дѣятелямъ Александровскаго времени людей временъ Екатерины.

[1]) Самаринъ. Іезуиты, М. 1866, стр. 265—267.

„Терпимость", о которой идетъ рѣчь, не была въ это время совершенной новостью; она была результатомъ и Екатерининскаго времени. „Народная и церковная почва" была покинута гораздо ранѣе. О. Морошкинъ приводитъ въ своей книгѣ примѣры воспитанія *тѣхъ временъ*, и это воспитаніе, безъ сомнѣнія, уже готовило прозелитовъ католицизму. Таково было воспитаніе Свѣчиной. „Дряблая и рыхлая среда" стала таковой еще гораздо раньше. Когда воспитался этотъ князь Голицынъ, „изучившій до тонкости и до малѣйшихъ подробностей науку царедворскую,—почти невѣжда въ православіи и жалкое игралище всѣхъ сектантовъ,—религіозная Торичелліева пустота", какъ его сильно характеризовалъ о. Морошкинъ? Эта „Торичелліева пустота" (не только религіозная, притомъ, но и вообще умственная) образовалась въ тѣ самыя времена, которыя хочетъ возвеличить Самаринъ.

Терпимость, которую Самаринъ изображаетъ похожею на невѣжественное равнодушіе, не была однако такъ безплодна и неумѣстна. Она не ограничивалась тѣми глупыми примѣрами, какіе доставляетъ кн. Голицынъ; не забудемъ, что она была распространена отчасти и на домашній расколъ, и въ этомъ исправленіи болѣе мягкій и примирительный способъ дѣйствій былъ желателенъ для русской народной жизни,—и вообще „терпимость" была не лишнимъ понятіемъ въ русскомъ обществѣ, которое слишкомъ мало знакомо съ нимъ даже теперь.

Въ объясненіе успѣха католической пропаганды приводятъ еще иронически „застѣнчивость, неловкость и неопытность въ управленіи дамскими совѣстями" нашего духовенства, представляя эти качества, какъ достоинство въ сравненіи съ іезуитской ловкостью и беззастѣнчивостью; но не соединялась ли ловкость съ большею образованностью, и не заходила ли неопытность нашего духовенства слишкомъ далеко, если, наконецъ, стали оказываться подобные побѣги? Въ этомъ сравненіи есть опять болѣе серьезная сторона. Іезуиты были, конечно, аферисты, но не всѣ же католическіе духовные были таковы, и въ русскомъ обществѣ тѣ и другіе естественно являлись съ тѣмъ положеніемъ, какое католицизмъ вообще доставлялъ своему духовенству, съ сознаніемъ своего привычнаго авторитета. Общественное положеніе нашего духовенства было очень на это не похоже, и на умы легкомысленные это обстоятельство легко могло производить впечатлѣніе,—а кто же виноватъ, если не умѣло противодѣйствовать наше духовенство?

Наконецъ, многоиспытанная діалектика и вѣковая педагоги-

ческая опытность. На первую, конечно, слѣдовало отвѣчать такой же діалектикой, и почему же мало или вовсе не отвѣчали? Что касается до педагогической опытности, относительно ея существовало и образовывалось тогда общее представленіе, которое держалось и долго спустя. Можно сказать, что только новѣйшая исторія педагогіи разрушила предразсудокъ о педагогическомъ искусствѣ іезуитовъ; въ то время въ ней были увѣрены самымъ добросовѣстнымъ, хотя и нѣсколько простодушнымъ образомъ. Обвинять исключительно отдѣльныя лица или разрядъ лицъ опять было бы мудрено, или исторически невѣрно. Разумовскій пускался въ разсужденія съ де-Местромъ; Разумовскій,—замѣчаетъ о. Морошкинъ, — былъ воспитанъ заграницей и совершенно въ латинскомъ духѣ, но и это воспитаніе совершилось опять въ тѣ же Екатерининскія времена, и Разумовскій былъ ихъ наслѣдіемъ. Ростопчинъ, который, по замѣчанію того же автора, считался вообще (да и теперь многими считается) „за самаго русскаго" и съ такой аффектаціей возставалъ противъ галломаніи, былъ наилучшаго мнѣнія объ іезуитскомъ пансіонѣ. Мало того, даже Батюшковъ, другъ Жуковскаго и Карамзина, другъ Пушкина, Вяземскаго и т. д., восторгается лицеемъ Николя, перебравшагося въ Одессу, скорбитъ, что аббатъ имѣетъ враговъ, и утверждаетъ „по внутреннему убѣжденію", что іезуитскому лицею „надобно пожелать здравія и долгоденствія для пользы и славы Россіи!" [1]).

Въ оправданіе собственно правительства можно сказать, что оно не остановилось на рѣшеніи исправить свои ошибки, когда убѣдилось въ нихъ.

Возражать противъ обличительныхъ положеній Самарина и о. Морошкина дѣло не совсѣмъ благодарное, потому что у насъ тотчасъ находятся люди, которые усмотрятъ въ этомъ чуть не отсутствіе патріотизма. Но должно внести нѣсколько безпристрастія въ давнопрошедшую исторію и рѣшиться признать недостатки жизни, которые сказывались въ случаяхъ, подобныхъ католической пропагандѣ. Нельзя объяснять эту пропаганду однимъ недомекомъ и пустотой нѣсколькихъ вельможъ, легкомысліемъ аристократическихъ барынь, и произносить карающій приговоръ исторіи только надъ этими одними людьми, не устоявшими противъ соблазна. Причины явленія были шире, и если оно обнаружилось преимущественно въ высшей сферѣ, то ею не исчер-

[1]) Морошкинъ, Іезуиты, II, 426—427, 475. Р. Архивъ, 1867, стр. 1523—2530. Между прочимъ, о „старой партіи" читатель найдетъ страницы, чрезвычайно любопытныя у такого автора, какъ о. Морошкинъ, Іез., II, стр. 502—507.

пывалось, такъ какъ самая сфера была произведеніемъ и отраженіемъ цѣлаго порядка вещей въ жизни общественной, въ образованіи и въ церковности. И странно видѣть въ этомъ явленіи только борьбу духовенства двухъ исповѣданій; напротивъ, въ ней съ значительною силой участвовало именно и то „обаяніе цивилизаціи", которое мимоходомъ называетъ Самаринъ.

Чтобы объяснить себѣ успѣхъ католическихъ идей, не надо забыть общаго характера времени, когда въ Европѣ все сильнѣе распространялись стремленія ко всякой реставраціи, когда религіозный вопросъ выступилъ съ особенной силой, и когда въ нашемъ собственномъ обществѣ началось какое-то религіозное броженіе. Въ этомъ броженіи католическія тенденціи не были единственными; онѣ сталкивались съ тенденціями протестантскими, съ методизмомъ и всѣхъ родовъ мистикой. Въ то время, когда одни слушали де-Местра, другіе увлекались библейскимъ обществомъ, квакерами, г-жей Крюднеръ, Госнеромъ, и т. д.; находила своихъ послѣдователей даже Татаринова. Вопросъ оставался одно время какъ бы открытымъ, и былъ серьезенъ по степени серьезности тѣхъ, кто имъ интересовался. Библейское общество, мистицизмъ, раціонализмъ увлекали и образованнѣйшихъ людей въ новомъ поколѣніи духовенства (библейскимъ мистикомъ былъ и Филаретъ, впослѣдствіи митрополитъ московскій и коломенскій), и даровитѣйшихъ государственныхъ людей, какъ Сперанскій, и людей либеральнаго поколѣнія, уже составлявшихъ свое тайное общество.

Рядомъ съ этимъ не удивителенъ и успѣхъ католическихъ идей. То и другое были явленіями одного порядка, и хотя въ обоихъ случаяхъ были наивныя или нелѣпыя крайности, но съ другой стороны было здѣсь и „обаяніе цивилизація". Въ одномъ случаѣ дѣйствовалъ на людей нашего общества примѣръ Лондонскаго Библейскаго Общества, личности его дѣятелей, энергическіе характеры квакеровъ, примѣры знаменитыхъ людей Европы, мистическая литература; въ другомъ случаѣ дѣйствовали такіе же примѣры и знаменитости католицизма. Такъ, графъ де-Местръ, другъ іезуитовъ и сотрудникъ католической пропаганды, былъ вмѣстѣ писатель европейской извѣстности, съ великимъ авторитетомъ въ католическихъ кругахъ Европы, съ которыми наша аристократія была въ давнихъ и близкихъ сношеніяхъ. И хотя де-Местръ, собственно говоря, плохо представлялъ европейскую образованность, потому что былъ реакціонеръ и обскурантъ,—но это другой вопросъ: люди религіозные въ то время не замѣчали и не понимали этого обскурантизма.

Кромѣ того, католическая пропаганда была по преимуществу, даже исключительно французская, и въ этомъ смыслѣ она особенно имѣла упомянутое „обаяніе". Она могла находить себѣ сильную опору во французскомъ вліяніи, вообще отличавшемъ тогдашнюю нашу образованность. Французскія религіозныя (т.-е. католическія) идеи могли быть весьма естественнымъ дополненіемъ къ господству французскаго образованія вообще: по крайней мѣрѣ для этого открывалась уже дорога господствомъ французскаго языка [1]) и французской литературы.

Неудивительно поэтому, что католическія идеи находили путь въ умы не однихъ легкомысленныхъ графинь или княгинь; ихъ принимали люди болѣе серьезные, различной степени дарованій, конечно увлекавшіеся не одной ловкостью и галантерейностью аббатовъ. Разумовскій могъ быть, вѣроятно, причисленъ къ нѣсколько серьезнымъ людямъ; назовемъ еще кн. Козловскаго, знаменитаго въ свое время своимъ умомъ и блестящимъ остроуміемъ; одного изъ декабристовъ, Лунина; въ болѣе позднее время В. Печерина и проч. Между дамами несимпатична Свѣчина, но за ней нельзя не признать ни ума, ни дарованія.

Кромѣ отрицательныхъ оснований, о которыхъ мы выше упоминали, на этихъ людей должна была дѣйствовать историческая сторона католицизма, его роль цивилизующая, которая была несомнѣнна въ прошедшемъ Европы и отъ которой многіе тогда ждали всего и въ настоящемъ; его удивительная церковная организація, его могущество, которое, какъ ожидали, должно было возродиться вновь, замѣчательныя личности его представителей и т. д. Возстановленіе религіи послѣ революціоннаго погрома и потомъ реставрація повели къ замѣчательному распространенію католическихъ идей, которыя снова получили роль въ политикѣ и въ общественной жизни, въ литературѣ и въ наукѣ. Литература временъ реставраціи въ особенности окрашена была этимъ католическимъ колоритомъ: Де-Местръ, Бональдъ, Ламенне́, Шатобріанъ, Мишо, писатели европейской славы, возвеличивали католическіе принципы въ общественной философіи, въ исторіи, съ оттѣнками, которые могли удовлетворять различнымъ вкусамъ и требованіямъ. Поэтизированье среднихъ вѣковъ, составлявшее одну изъ главныхъ особенностей романтизма и нѣмецкаго, и

[1]) Какъ велико было его господство, это извѣстно. Планы преобразованія Россіи обсуждались по-французски, герои 1812-го года щеголяли французскимъ языкомъ. Мало этого. Уже въ 1830-мъ году Пушкинъ, первый русскій писатель того времени, пишетъ къ Чаадаеву на французскомъ языкѣ: „je vous parlerai la langue de l'Europe; *elle m'est plus familière que la nôtre*"!

французскаго, было особенно на руку католицизму, и извѣстно, что это направленіе производило множество обращеній въ католицизмъ даже въ протестантской Германіи, и именно въ томъ образованномъ кругу, гдѣ могли сильнѣе дѣйствовать теоретическія соображенія. Нѣсколько похожее дѣйствіе эта атмосфера оказывала и у насъ на тѣхъ людей, которые сближались съ тогдашними умственными интересами европейскаго общества.

Въ числѣ этихъ людей былъ и Чаадаевъ.

Послѣ первыхъ впечатлѣній европейской жизни, испытанныхъ въ теченіе Наполеоновскихъ войнъ, въ Петербургѣ Чаадаевъ, повидимому вмѣстѣ съ либеральнымъ кружкомъ своихъ друзей, отдавался тѣмъ великодушнымъ мечтамъ, которыя наполняли ихъ нравственное существованіе и вознаграждали ихъ за тяжелыя и непріятныя испытанія дѣйствительности. Дальнѣйшіе пути этихъ друзей разошлись: одни искали удовлетворенія въ политической агитаціи и погибли, какъ декабристы; другіе испугались опасности и уцѣлѣли, но, не покинувъ любимыхъ нѣкогда мечтаній, вели въ обществѣ половинчатую жизнь, какъ М. Орловъ; иные хотѣли примириться съ жизнью, какъ Пушкинъ;—не говоримъ о тѣхъ, которые, недолго задумываясь, продали идеалы за наличныя выгоды. Чаадаевъ былъ изъ тѣхъ, которые никогда, кажется, не были наклонны къ политической агитаціи, но въ немъ осталась наклонность къ размышленію, исканіе отвѣтовъ на мудреные вопросы жизни, къ которымъ они считали возможнымъ и необходимымъ прилагать точку зрѣнія европейскаго идеала. Въ позднѣйшей перепискѣ Чаадаева съ прежними друзьями, напр. съ Пушкинымъ, М. Орловымъ, И. Д. Якушкинымъ, очевидно продолженіе давно начатыхъ бесѣдъ о религіи, морали, объ отношеніи науки къ откровенію, объ исторической судьбѣ націй и т. д. По всей вѣроятности, эти вопросы занимали его и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, проведенныхъ имъ заграницей послѣ 1821 до 1826, и въ то время окончательно для него опредѣлились подъ новымъ усиленнымъ вліяніемъ европейской жизни, ея историческихъ памятниковъ, представителей ея тогдашняго броженія, съ которыми онъ между прочимъ встрѣчался. Это былъ разгаръ реставраціи, обновленныхъ католическихъ идей, эпоха романтизма, философской исторіи и т. п. Біографъ упоминаетъ только объ отрывочныхъ знакомствахъ Чаадаева въ европейскомъ научномъ и литературномъ мірѣ; но его знакомство съ Шеллингомъ, съ мистическимъ ученымъ Экштейномъ, впослѣдствіи дружескія связи съ французскимъ графомъ Сиркуромъ

и т. п. [1]), были, конечно, не случайнымъ его интересомъ. Этому времени надо приписать образованіе его мнѣній въ томъ видѣ, какъ они выразились въ „Философическихъ Письмахъ". Развившееся въ то время стремленіе къ философскому изученію исторіи, къ объясненію жизни народовъ основными принципами, опредѣлявшими ихъ историческую дѣятельность, и въ частности, стремленіе къ объясненію европейской цивилизаціи, созданной христіанствомъ, развившейся на Западѣ подъ вліяніемъ католическаго единства западной Европы, опредѣляли и взгляды Чаадаева въ этомъ отношеніи.

Въ примѣненіи къ русской жизни эти идеи довольно естественно могли вести къ тому результату, къ какому пришелъ Чаадаевъ. Кружокъ двадцатыхъ годовъ вообще страдалъ чувствомъ неудовлетворенности. Возникшіе вопросы не находили себѣ отвѣта и, какъ обыкновенно бываетъ, возбуждали тревожное исканіе выхода и раздражительное отношеніе къ настоящему, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ меньше дѣйствительность давала надежды на улучшеніе. Въ либеральномъ кружкѣ двадцатыхъ годовъ это раздраженіе повело къ политической экзальтаціи, у Чаадаева перешло въ его религіозно-философскіе взгляды.

Скептическое отношеніе Чаадаева къ русской жизни связано, во-первыхъ, съ высокимъ понятіемъ временъ реставраціи объ историческомъ значеніи католицизма, и, во-вторыхъ, съ прошедшей исторіей нашего общества. Этотъ скептицизмъ кажется въ Чаадаевѣ неожиданнымъ на первый взглядъ; мы съ удивленіемъ встрѣчаемъ его среди литературной рутины; но онъ становится понятенъ, если сопоставить его съ тѣми критическими запросами и сомнѣніями, которые давно высказывались въ литературѣ и въ жизни, съ первой русской сатиры до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибоѣдова. Въ этомъ рядѣ различныхъ ступеней общественной мысли можно прослѣдить постоянно возрастающій уровень идеальныхъ требованій, и если вспомнить при этомъ, что литература всегда далеко не вполнѣ высказывала накоплявшееся недовольство, и принять въ соображеніе эту скрытую, но тѣмъ не менѣе дѣйствительную работу мысли, мы найдемъ объясненіе для этой неожиданной степени скептицизма. Притомъ Чаадаевъ, предполагая писать только для ближайшихъ друзей, могъ обойтись безъ умолчаній и безъ лицемѣрія. Было бы ошибкой считать выры-

[1]) Есть намеки на его другія знакомства, напр. съ Балланшемъ, Ламенне и пр. Замѣтимъ, что между прочимъ Экштейнъ и первое время Ламенне были въ числѣ друзей г-жи Свѣчиной.

вающіеся изрѣдка подобныя проявленія одной произвольной необузданностью писателя, потерявшаго дорогу, потому что это явленіе имѣетъ какъ свои антецеденты, такъ и свои послѣдствія. Мы упомянемъ дальше, какъ цѣнили Чаадаева замѣчательнѣйшіе люди нашей литературы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, люди различныхъ воззрѣній, чувствовавшіе на себѣ дѣйствіе высказанныхъ имъ мыслей.

Сочиненія Чаадаева состоятъ, главнымъ образомъ, изъ тѣхъ „Философическихъ Писемъ", изъ которыхъ одно первое было напечатано въ „Телескопѣ", 1836. Сколько было всѣхъ писемъ, хорошенько неизвѣстно; во французскомъ изданіи 1862 года помѣщено четыре, изъ которыхъ послѣднее говоритъ объ архитектурѣ. Въ рукописяхъ осталось еще одно или два письма, которыя могли принадлежать сюда же. Затѣмъ, во французскомъ изданіи помѣщена упомянутая въ біографіи „Апологія Сумасшедшаго". Далѣе, записка, довольно длинная, адресованная къ гр. Бенкендорфу и писанная Чаадаевымъ отъ имени Ивана Кирѣевскаго послѣ запрещенія журнала „Европеецъ" (1832), который Кирѣевскимъ издавался и на второй книжкѣ подвергся запрещенію. Кромѣ того, во французскомъ изданіи помѣщено нѣсколько писемъ Чаадаева къ А. И. Тургеневу, кн. С. С. Мещерской, одно письмо къ Шеллингу и кн. И. С. Гагарину (іезуиту); позднѣе еще нѣсколько писемъ Чаадаева—къ кн. Вяземскому, Жуковскому, М. И. Жихареву и др.—были помѣщены въ разныхъ нашихъ изданіяхъ за послѣдніе годы.

Первое письмо своимъ началомъ предполагаетъ уже что-то, ему предшествовавшее; во второмъ авторъ говоритъ опять о „предыдущихъ письмахъ" [1]). Пушкинъ, читавшій эти письма въ рукописи, въ своемъ письмѣ къ Чаадаеву по этому поводу (въ 1830 году) также говоритъ объ отрывочности, и нѣкоторыя замѣчанія, которыя онъ дѣлаетъ Чаадаеву, относятся къ предметамъ, упоминаемымъ во второмъ и третьемъ письмѣ французскаго изданія [2]).

Такимъ образомъ, литературныя права Чаадаева заключа-

---

[1]) Самая помѣта времени въ письмахъ неясна: первое помѣчено 1829 г., 1 декабря; второе безъ обозначенія времени; третье—1829, 16 февраля.

[2]) Письмо Пушкина явилось, кажется, въ первый разъ въ сочиненіи іезуита Гагарина: Les tendances catholiques; отсюда оно перепечатано было въ „Библіогр. Зап." 1861, и повторено въ Oeuvres Choisies, стр. 166—168. Подлинникъ его, если не ошибаемся, мы видѣли въ собраніи автографовъ Московскаго Публичнаго Музея.

ются собственно только въ „первомъ письмѣ“, которое появилось въ печати при его жизни, но для бóльшаго знакомства съ писателемъ не лишнее остановиться и на другихъ его сочиненіяхъ, которыя хотя до сихъ поръ не видѣли у насъ печати, но въ свое время были извѣстны друзьямъ автора. Упомянуть о другихъ его сочиненіяхъ, тѣсно связанныхъ съ письмомъ общей точкой зрѣнія, необходимо тѣмъ болѣе, что Чаадаевъ дѣйствовалъ не только, какъ писатель, своимъ на минуту появившимся и вызвавшимъ бурю письмомъ, но и какъ представитель особаго оригинальнаго взгляда въ кругу людей, стоявшихъ тогда впереди умственнаго движенія нашего общества. Въ его сочиненіяхъ, какъ и въ перепискѣ, мы найдемъ именно долю того содержанія, какое онъ тамъ высказывалъ.

„Философическое письмо“ обращается къ дамѣ, съ которой авторъ говорилъ о религіи, и составляетъ продолженіе начатыхъ разговоровъ. Ихъ бесѣда о религіи внесла тревогу и сомнѣніе въ ея душу: авторъ не находитъ въ этомъ удивительнаго. „Это —естественное слѣдствіе настоящаго порядка вещей, которому покорены всѣ сердца, всѣ умы... Самыя качества, которыми вы отличаетесь отъ толпы, дѣлаютъ васъ еще воспріимчивѣе къ вредному вліянію воздуха, которымъ вы дышите... Могъ ли я очистить атмосферу, въ которой мы живемъ?“ Авторъ предвидѣлъ, какія страданія можетъ причинять „религіозное чувство, не вполнѣ развитое“, и это вынуждало его къ умолчаніямъ...

Чаадаевъ продолжаетъ говорить о необходимости религіознаго чувства [1]), и затѣмъ приступаетъ къ общему вопросу, составляющему главную тему письма. Онъ замѣчаетъ, что для души также необходимо извѣстное діэтетическое содержаніе, какъ для тѣла. „Знаю, что повторяю старую поговорку; но въ нашемъ отечествѣ она имѣетъ всѣ достоинства новости“.

„Это одна изъ самыхъ жалкихъ странностей нашего общественнаго образованія, что истины, давно извѣстныя въ другихъ странахъ и даже у народовъ, во многихъ отношеніяхъ менѣе насъ образованныхъ, у насъ только-что открываются. И это оттого, что мы никогда не шли вмѣстѣ съ другими народами;

[1]) Это начало письма трудно не отнести къ извѣстному опредѣленному лицу—противъ чего говоритъ біографъ Чаадаева и самъ Чаадаевъ въ одномъ изъ рукописныхъ документовъ. Тѣмъ лицомъ, къ которому были адресованы письма, называютъ вообще г-жу Панову; другіе называли Е. Н. Орлову, жену М. Ѳ., урожденную Раевскую,—но она заявляла печатно, что письма Чаадаева написаны раньше ея знакомства съ нимъ, и она читала ихъ въ рукописи, и не сполна, только въ 1834 („Вѣстн. Европы“, 1872, февр., стр. 867).

мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человѣчества, ни къ Западу, ни къ Востоку, не имѣемъ преданій ни того, ни другого. Мы существуемъ какъ бы внѣ времени, и всемірное образованіе человѣческаго рода не коснулось насъ. Эта дивная связь человѣческихъ идей въ теченіе вѣковъ, эта исторія человѣческаго разумѣнія, доведшія его въ другихъ странахъ міра до настоящаго положенія, не имѣли на насъ никакого вліянія. То, что у другихъ народовъ давно вошло въ жизнь, для насъ до сихъ поръ есть только умствованіе, теорія“.

Примѣры такого положенія вещей,—продолжаетъ авторъ,—недалеки: у насъ нѣтъ даже хорошаго распредѣленія жизни, тѣхъ обыкновеній и навыковъ, которые даютъ уму приволье, душѣ правильное движеніе.

„Посмотрите вокругъ себя. Все какъ будто на ходу. Мы всѣ какъ будто странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія... нѣтъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія; нѣтъ ничего постояннаго, непремѣннаго: все проходитъ, протекаетъ, не оставляя слѣдовъ ни на внѣшности, ни въ васъ самихъ. Дома мы будто на постоѣ, въ семействахъ какъ чужіе, въ городахъ какъ будто кочуемъ, и даже больше, чѣмъ племена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаннѣе къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ нашимъ городамъ. Не воображайте, чтобъ эти замѣчанія были ничтожны. Бѣдные! Неужели къ прочимъ нашимъ несчастіямъ мы должны прибавить еще новое: несчастіе ложнаго о себѣ понятія?“..

У всѣхъ народовъ бываютъ періоды сильной, страстной дѣятельности, періоды юношескаго развитія, когда создаются ихъ лучшія воспоминанія, поэзія и плодотворнѣйшія идеи. Здѣсь источникъ и основаніе дальнѣйшей ихъ исторіи. „Мы не имѣемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ. Вотъ горестная исторія нашей юности. Мы совсѣмъ не имѣли возраста этой безмѣрной дѣятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвѣтствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвѣтнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не най-

дете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ протекшее живо, сильно, картинно. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушіи ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ, безъ прошедшаго и будущаго"...

Какая-то странная судьба разобщила насъ отъ всемірной жизни человѣчества, и чтобъ сравняться съ другими народами, намъ надо „переначать для себя снова все воспитаніе человѣческаго рода. Для этого, передъ нами — исторія народовъ и плоды движенія вѣковъ".

Народы живутъ только могущественными впечатлѣніями прошедшаго на умы ихъ и соприкосновеніемъ съ другими народами. Черезъ это каждый человѣкъ чувствуетъ свою связь съ цѣлымъ человѣчествомъ. У насъ этого нѣтъ. „Мы явились въ міръ какъ незаконнорожденныя дѣти, безъ наслѣдства, безъ связи съ людьми, которые намъ предшествовали, не усвоили себѣ ни одного изъ поучительныхъ уроковъ минувшаго. Каждый изъ насъ долженъ самъ связывать разорванную нить семейности, которою мы соединялись бы съ цѣлымъ человѣчествомъ. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, что̀ у другихъ сдѣлалось привычкою, инстинктомъ. Наши воспоминанія не далѣе вчерашняго дня; мы, такъ сказать, чужды самимъ себѣ... Мы растемъ, но не зрѣемъ; идемъ впередъ, но по какому-то косвенному направленію, не ведущему къ цѣли"...

Обращаясь опять къ народамъ Запада, Чаадаевъ указываетъ, что всѣ они имѣютъ общую физіономію, результатъ ихъ общей истріи, и затѣмъ свой индивидуальный характеръ. Это ихъ родовое наслѣдіе; каждое частное лицо пользуется готовыми плодами этого наслѣдія. „Теперь сравните сами: много ли соберете вы у насъ начальныхъ идей, которыя какимъ бы то ни было образомъ могли бы руководствовать насъ въ жизни?" И замѣтимъ, что здѣсь дѣло идетъ не объ идеяхъ науки и литературы, но о самыхъ обыденныхъ идеяхъ жизни, о тѣхъ идеяхъ, которыя овладѣваютъ ребенкомъ съ колыбели и образуютъ его нравственное бытіе еще до вступленія въ міръ и общество. Такія идеи даетъ человѣку историческая жизнь западнаго общества. „Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Онѣ развиваются изъ происшествій, содѣйствовавшихъ образованію общества; онѣ — необходимыя начала міра общественнаго. Вотъ что̀ составляетъ атмосферу Запада; это болѣе чѣмъ исторія, болѣе чѣмъ психологія: это физіологія европейца. Чѣмъ вы замѣните все это?"

Авторъ не знаетъ, можно ли вывести изъ всего этого какое-

нибудь безусловное правило, но не сомнѣвается, что это общее положеніе народа отражается на духѣ каждаго отдѣльнаго лица. „Отъ этого вы найдете, что всѣмъ намъ недостаетъ нѣкотораго рода основательности, методы, логики. Силлогизмъ Запада намъ неизвѣстенъ. Въ нашихъ лучшихъ головахъ есть что-то больше, чѣмъ неосновательность. Лучшія идеи, отъ недостатка связи и послѣдовательности, какъ безплодные призраки, цѣпенѣютъ въ нашемъ мозгу. Человѣкъ теряется, не находя средства притти въ соотношеніе, связаться съ тѣмъ, что ему предшествуетъ и что послѣдуетъ; онъ лишается всякой увѣренности, всякой твердости; имъ не руководствуетъ чувство общаго существованія, и онъ заблуждается въ мірѣ. Такія потерявшіяся существа встрѣчаются во всѣхъ странахъ, но у насъ эта черта общая... Даже въ нашемъ взглядѣ я нахожу что-то чрезвычайно неопредѣленное, холодное, нѣсколько сходное съ физіономіею народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Находясь въ другихъ странахъ, и въ особенности южныхъ, гдѣ лица такъ одушевлены, такъ говорящи, я сравнивалъ не разъ моихъ соотечественниковъ съ туземцами, и всегда поражала меня эта нѣмота нашихъ лицъ".

Иностранцы ставили намъ въ достоинство нѣкотораго рода безпечную отважность, особенно въ низшихъ классахъ. Но „они не видятъ, что то же самое начало, которое иногда придаетъ намъ эту смѣлость, дѣлаетъ насъ въ то же время неспособными ни къ глубокомыслію, ни къ постоянству; они не видятъ, что это равнодушіе къ матеріальнымъ опасностямъ дѣлаетъ насъ также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истинѣ, ко всякой лжи, и что тѣмъ самымъ уничтожаетъ въ насъ всѣ сильныя возбужденія, которыя стремятъ людей по пути совершенствованія... Я совсѣмъ не хочу сказать, что у насъ только пороки, а добродѣтели у европейцевъ: избави Боже! Но я говорю, что для вѣрнаго сужденія о народахъ надобно изучить общій духъ, ихъ животворящій"...

По нашему положенію между Востокомъ и Западомъ, мы должны бы соединить въ себѣ два великія начала разумѣнія: воображеніе и разсудокъ, должны бы совмѣщать исторію всего міра въ нашемъ гражданственномъ образованіи. Но на дѣлѣ можно подумать, что „общій законъ человѣчества не для насъ. Отшельники въ мірѣ, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не пріобщили ни одной идеи къ массѣ идей человѣчества; ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію человѣческаго разумѣнія, и исказили все, что сообщило намъ это совершенство-

ваніе... Странное дѣло! Даже въ мірѣ наукъ, который обнимаетъ все, наша исторія разобщена отъ всего, ничего не объясняетъ, ничего не доказываетъ... Чтобъ обратить на себя вниманіе, мы должны были распространиться отъ Берингова пролива до Одера... Повторю еще: мы жили, мы живемъ какъ великій урокъ для отдаленныхъ потомствъ, которыя воспользуются имъ непремѣнно, но въ настоящемъ времени, чтò бы ни говорили, мы составляемъ пробѣлъ въ порядкѣ разумѣнія. Для меня нѣтъ ничего удивительнѣе этой пустоты и разобщенности нашего существованія. Конечно, въ этомъ виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но неправы и люди, которыхъ содѣйствіе во всемъ, чтò свершается въ нравственномъ мірѣ, неизбѣжно. Заглянемъ еще разъ въ исторію: она объясняетъ бытіе народовъ лучше всего".

И Чаадаевъ противопоставляетъ начала нашей жизни тому движенію, которое совершалось въ Европѣ, „одушевляемой животворящимъ началомъ единства". Мы вступили въ связь съ растлѣнной Византіей, потомъ стали добычей завоевателей, и остались внѣ историческихъ идей, развивавшихся у нашихъ западныхъ братій.

„Сколько свѣтлыхъ лучей прорѣзало въ это время мракъ, покрывавшій всю Европу! Большая часть познаній, которыми умъ человѣческій теперь гордится, была уже предчувствуема тогдашними умами; характеръ новѣйшаго общества былъ уже опредѣленъ; міру христіанскому не доставало только формъ прекраснаго, и онъ отыскалъ ихъ, обративъ взоры на древности язычества. Уединившись въ своихъ пустыняхъ, мы не видали ничего происходившаго въ Европѣ. Мы не вмѣшивались въ великое дѣло міра... Несмотря на названіе христіанъ, мы не тронулись съ мѣста, тогда какъ западное христіанство величественно шло по пути, начертанному его божественнымъ основателемъ...

„Послѣ этого, скажите, справедливо ли у насъ почти общее предположеніе, что мы можемъ усвоить европейское просвѣщеніе,—развившееся такъ медленно и, притомъ, подъ прямымъ и очевиднымъ вліяніемъ одной нравственной силы,—сразу, даже не затрудняясь розысканіемъ, какъ это дѣлалось?"

Чаадаевъ не соглашается съ этимъ, и утверждаетъ, что „тотъ рѣшительно не понимаетъ христіанства, кто не замѣчаетъ въ немъ стороны чисто исторической". „Но вы возразите,—продолжаетъ онъ далѣе: — развѣ мы не христіане, развѣ образованіе возможно только по образцу европейскому? Безъ сомнѣнія, мы христіане: но развѣ абиссинцы не христіане же? Разумѣется,

можно образоваться отлично отъ Европы: развѣ японцы не образованы и, если вѣрить одному изъ нашихъ соотечественниковъ, даже болѣе насъ? Но неужели вы думаете, что христіанство абиссинцевъ и образованность японцевъ могутъ возсоздать тотъ порядокъ, о которомъ я говорилъ сію минуту, порядокъ, который составляетъ конечное предназначеніе человѣчества? Неужели вы думаете, что эти жалкія отклоненія отъ божественныхъ и человѣческихъ истинъ низведутъ небо на землю?"

Въ послѣдней части письма авторъ разъясняетъ дѣйствіе христіанства на ходъ европейскаго образованія: христіанство создало особый кругъ, извѣстную нравственную сферу, которая связывала всѣ народы Европы въ одно семейство. „Чтобъ понять семейное развитіе этихъ народовъ, не нужно даже изучать исторію: прочтите только Тасса, и вы увидите, какъ всѣ они склоняются въ прахъ передъ Іерусалимомъ; вспомните, что въ продолженіе пятнадцати вѣковъ они молились Богу на одномъ языкѣ, покорялись одной нравственной власти, имѣли одно убѣжденіе". Онъ указываетъ далѣе періоды религіознаго развитія западной Европы, въ которомъ видитъ основу ея историческаго развитія: времена гоненій, распространенія христіанства, ересей и соборовъ, нашествія варваровъ, первыхъ усилій образованія, величайшее возбужденіе религіознаго чувства и упроченіе религіозной власти. Онъ указываетъ господство религіи и въ новѣйшей исторіи и т. д. „Философическое и литературное развитіе ума и образованіе нравовъ подъ вліяніемъ религіи оканчиваетъ эту исторію, которая имѣетъ точно такое же право на названіе священной, какъ и исторія древняго избраннаго народа".

Относительно русской жизни послѣдній выводъ выраженъ въ слѣдующихъ словахъ: „Итакъ, если эта сфера, въ которой живутъ европейцы, сфера единственная, гдѣ человѣческій родъ можетъ достигнуть своего конечнаго предназначенія, есть плодъ религіи; если, напротивъ, враждебныя обстоятельства отстранили насъ отъ общаго движенія, въ которомъ общественная идея христіанства развилась и приняла извѣстныя формы; если эти причины отбросили насъ въ категорію народовъ, которые не могли воспользоваться всѣмъ вліяніемъ христіанства, то не очевидно ли, что должно стараться оживить въ насъ вѣру всѣми возможными способами? Вотъ что̀ я хотѣлъ сказать, говоря, что у насъ должно переначать все воспитаніе человѣческаго рода".

Въ началѣ второго письма Чаадаевъ ставитъ эпиграфъ изъ Essai sur les moeurs, Вольтера: „Можно спросить, какимъ образомъ, среди столькихъ потрясеній, междоусобій, заговоровъ, преступленій и безумствъ, нашлось столько людей, воздѣлывавшихъ искусства полезныя и искусства пріятныя въ Италіи, а потомъ въ другихъ христіанскихъ государствахъ; этого мы не видимъ подъ владычествомъ турокъ“. Авторъ выводитъ изъ своихъ предшествующихъ писемъ, какъ важно правильно понять послѣдовательность идеи въ теченіе вѣковъ, и что—когда мы проникнемся той основной мыслью, что въ умѣ человѣка нѣтъ другой истины кромѣ той, какая была вложена въ него въ началѣ вещей самимъ Богомъ,—то нельзя смотрѣть на движеніе вѣковъ, какъ смотритъ обыкновенная исторія. Провидѣніе или вполнѣ мудрый разумъ управляетъ не только теченіемъ событій, но оказываетъ прямое и постоянное дѣйствіе на умъ человѣка. Это постоянное дѣйствіе Провидѣнія доказывается чисто метафизическимъ разсужденіемъ и совершается такимъ образомъ, что разумъ человѣка остается совершенно свободнымъ. Поэтому неудивительно, что былъ народъ, который въ особенной чистотѣ сохранялъ первыя божественныя сообщенія, и что являлись люди, какъ бы обновлявшіе первобытный фактъ нравственнаго міра. Не будь этого народа и этихъ привилегированныхъ людей, мы должны бы были предположить, что божественная идея была всегда и вездѣ одинакова: это значило бы уничтожить всякую личность и свободу,—а онѣ являются только въ развитіи умовъ, нравственныхъ силъ, знаній. Но, признавая эту мысль, мы только подтверждаемъ существующій фактъ, именно, что извѣстные народы и люди обладаютъ извѣстнымъ просвѣщеніемъ, котораго другіе не имѣютъ.

Человѣкъ шелъ всегда по указанному ему пути только при свѣтѣ истинъ, открытыхъ ему высшимъ разумомъ. Въ этомъ смыслѣ должно понимать религіозное единство исторіи, и такова должна быть истинная философія исторіи, которая показываетъ намъ разумное существо подчиненнымъ тому же общему закону, какъ все твореніе.

Въ наше время человѣческій умъ облекаетъ всякій родъ знанія въ *историческую* форму. Онъ постоянно возвращается къ прошедшему, собираетъ новыя силы въ созерцаніи пройденнаго поприща, въ изученіи силъ, направлявшихъ его ходъ въ теченіе вѣковъ. Это, конечно, очень счастливый для науки оборотъ, потому, что узкое настоящее не составляетъ всей силы человѣческаго разума и что въ немъ есть другая сила, которая, собирая въ одну мысль и времена прошедшія, и времена обѣтованныя,

составляетъ его истинное существо и ставитъ его въ истинную сферу его дѣятельности.

Но нынѣшняя точка зрѣнія исторіи не удовлетворяетъ разума. Несмотря на всѣ усилія критики, несмотря на то содѣйствіе, какое оказали исторіи естественныя науки, нынѣшняя наука не могла достичь ни единства, ни той высокой нравственности, какая проистекала бы изъ яснаго пониманія универсальнаго закона. Когда христіанскій духъ господствовалъ въ наукѣ, глубокая мысль, хотя и плохо связанная, бросала на эту область знанія долю священнаго вдохновенія; но историческая критика тогда едва начиналась, и событія сохранялись въ памяти людей такъ смутно, что вся ясность религіи не могла разогнать этого мрака. Въ наше время разумъ требуетъ совершенно новой философіи исторіи, которая будетъ такъ же мало походить на существующую теперь философію, какъ нынѣшняя астрономія мало походитъ на наблюденія астрономовъ древности. „Никогда не будетъ достаточно фактовъ, чтобы все доказать, и ихъ было больше чѣмъ нужно, чтобы можно было все предчувствовать, еще со временъ Моисея и Геродота". Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, служатъ эти сближенія вѣковъ и народовъ, какія дѣлаетъ тщеславная ученость? Что̀ значатъ всѣ эти генеалогіи языковъ, народовъ и идей? Слѣпая или упрямая философія все-таки будетъ отдѣлываться отъ нихъ или своей старой теоріей о всеобщемъ единообразіи человѣчества, или своей любимой теоріей объ естественномъ развитіи человѣческаго духа, безъ всякой другой причины кромѣ собственной динамической силы его природы. Извѣстно, что для этой философіи человѣческій духъ есть просто комокъ снѣга, который катится и оттого увеличивается. Но эта философія не въ состояніи открыть плана, смысла въ ходѣ вещей, подчинить этому плану человѣческій умъ и принять всѣ послѣдствія, выходящія отсюда относительно нравственнаго міра. Поэтому излишне работать только надъ матеріаломъ фактовъ,— ихъ собрано довольно; надо стараться нравственно характеризовать великія эпохи исторіи, стараться строго опредѣлить черты каждаго вѣка по законамъ практическаго разума. Историческій матеріалъ теперь почти истощенъ, и исторіи остается только размышлять (méditer).

Тогда исторія естественно войдетъ въ общую систему философіи и будетъ впредь ея составною частью. Многое тогда перейдетъ отъ исторіи на долю романистовъ и поэтовъ, но многое займетъ болѣе высокое и яркое мѣсто въ новой системѣ. „Эти вещи стали бы получать свой характеръ истины не отъ одной

хроники, но какъ въ тѣхъ аксіомахъ естественной философіи, которыя открыты были опытомъ и наблюденіемъ, но которыя геометрическій разумъ свелъ въ формулы и уравненія, — точно такъ же здѣсь печать достовѣрности сталъ бы съ тѣхъ поръ налагать разумъ нравственный". Такова будетъ, напр., та мало понятая (не по отсутствію данныхъ и памятниковъ, а по отсутствію идей) эпоха, какую представляетъ начало христіанства, или то время, которое за нимъ послѣдовало и о которомъ философскій фанатизмъ дѣлалъ такое ложное представленіе. Гигантскія фигуры, теперь затерянныя въ толпѣ историческихъ лицъ, выступятъ изъ окружающей ихъ тѣни; между тѣмъ какъ многія другія славы, которымъ люди долго оказывали нелѣпое или преступное уваженіе, навсегда упадутъ. Такова будетъ судьба многихъ лицъ библейской исторіи и многихъ знаменитыхъ людей древности: Моисея и Сократа, Давида и Марка-Аврелія. Люди узнаютъ разъ навсегда, что Моисей указалъ людямъ истиннаго Бога, тогда какъ Сократъ завѣщалъ имъ только малодушное сомнѣніе; что Давидъ есть совершенный образецъ священнѣйшаго героизма, тогда какъ Маркъ-Аврелій есть только любопытный примѣръ искусственнаго величія и наружной добродѣтели. Катонъ не будетъ возбуждать удивленія своей бѣшеной добродѣтелью, а съ другой стороны имя Эпикура избавится отъ тяготѣющаго надъ нимъ предразсудка, и его память получитъ новый интересъ. Имя Аристотеля будетъ произноситься почти съ отвращеніемъ, имя Магомета — съ глубокимъ почтеніемъ. Наконецъ, быть можетъ, родъ позора будетъ связанъ съ великимъ именемъ Гомера, и приговоръ, произнесенный Платономъ по религіозному инстинкту противъ этого развратителя людей, не будетъ больше считаться одной изъ его утопическихъ выходокъ, но примѣромъ удивительнаго предугадыванія мыслей будущаго... „Всѣ эти идеи, которыя до сихъ поръ едва коснулись человѣческаго ума или только лежали безъ жизни въ нѣсколькихъ независимыхъ головахъ, тогда безвозвратно войдутъ въ нравственное чувство человѣческаго рода и сдѣлаются аксіомами здраваго смысла".

Однимъ изъ важнѣйшихъ уроковъ этой исторіи будетъ то, что она установитъ въ памяти людей относительное значеніе народовъ, исчезнувшихъ со сцены міра, и наполнитъ сознаніе народовъ существующихъ чувствомъ того назначенія, которое они призваны исполнить. Каждый народъ, ясно понявъ прошедшія эпохи своей жизни, пойметъ должнымъ образомъ и свое настоящее, и свою будущую задачу. Такимъ образомъ, у всѣхъ народовъ явится истинное національное сознаніе, которое соста-

вится изъ извѣстнаго числа положительныхъ идей, очевидныхъ истинъ, выведенныхъ изъ ихъ воспоминаній, — глубокихъ убѣжденій, господствующихъ болѣе или менѣе надъ всѣми умами и ведущихъ всѣхъ къ одной цѣли. Національности, вмѣсто того, чтобъ раздѣляться, будутъ соединяться для одного гармоническаго результата, и, быть можетъ, народы протянутъ другъ другу руки въ истинномъ чувствѣ общаго интереса человѣчества, который будетъ не что иное, какъ хорошо понятый интересъ каждаго народа.

Это не будетъ то космополитическое будущее, о которомъ мечтаетъ философія. Народы должны, напротивъ, составить свою домашнюю мораль, отличную отъ морали политической; должны узнать себя какъ индивидуумовъ, сознать свои пороки и добродѣтели, исправить сдѣланныя ошибки и утвердиться въ добрѣ. Таковы первыя условія усовершенствованія массъ: онѣ должны ясно понять свое прошедшее, чтобы найти силу дѣйствовать на свое будущее.

Историческая критика не будетъ только дѣломъ любознательности. Она станетъ строгимъ судьей всякой славы, всякихъ величій прошедшаго; она разрушитъ всѣ фантомы, всѣ ложные образы, загромождающіе человѣческую память, чтобы изъ прошедшаго, представленнаго въ его истинномъ свѣтѣ, вывести извѣстныя заключенія для настоящаго и съ увѣренностью взглянуть на будущее.

Наконецъ, самымъ важнымъ урокомъ этой исторіи будетъ то, что люди не будутъ увлекаться безсмысленной системой механическаго усовершенствованія нашей природы, которое опровергается опытомъ всѣхъ вѣковъ, и узнаютъ, что, напротивъ, человѣкъ, предоставленный самому себѣ, всегда шелъ путемъ безконечнаго упадка, и что если нельзя отвергать извѣстныхъ періодовъ прогресса, высокихъ порывовъ мысли, какіе бывали у всѣхъ народовъ, то мы не видимъ у нихъ, однако, постояннаго и непрерывнаго движенія впередъ. Такое движеніе есть только въ томъ обществѣ, къ которому мы принадлежимъ; правда, мы приняли то, что прежде насъ открыто было умомъ древнихъ; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы наше общество достигло своего нынѣшняго состоянія безъ того историческаго явленія, которое совершилось внѣ естественнаго хода человѣческихъ идей, внѣ всякой связи событій, т.-е. безъ *христіанства*.

Если мы обратимся къ тому, что̀ предшествовало этому явленію, мы увидимъ, что древній міръ не имѣлъ въ себѣ никакого принципа прочности. Что̀ сталось съ глубокой мудростью

Египта, прелестной красотой Іонія, суровыми добродѣтелями Рима, ослѣпительнымъ блескомъ Александріи? Не воздвигалъ ли человѣкъ зданія, чтобы оно только превратилось въ прахъ? Не поднимался ли онъ такъ высоко, чтобъ только тѣмъ ниже упасть? —Не заблуждайтесь: не варвары разрушили древній міръ. Это былъ сгнившій трупъ; они только развѣяли его прахъ по вѣтру... Паденіе Римской имперіи приписываютъ порчѣ нравовъ и происшедшему изъ нея деспотизму. Но въ этой всеобщей революціи дѣло шло не объ одномъ Римѣ: погибала цѣлая цивилизація. Египетъ фараоновъ, Греція Перикла, второй Египетъ Лагидовъ, вся Греція Александра, простиравшаяся за Индъ, наконецъ, самое іудейство, когда оно эллинизировалось, все это слилось въ римской массѣ и составило одно общество, представлявшее собой всѣ предыдущія поколѣнія, заключавшее всѣ нравственныя и умственныя силы, какія до тѣхъ поръ развились въ человѣческой природѣ. Такимъ образомъ, не имперія, а цѣлое человѣческое общество было уничтожено, и опять возобновилось съ этого дня. Новое общество было создано христіанствомъ, и созданіе не было дѣломъ человѣческимъ: все было сдѣлано *мыслью истины*. Непосредственное дѣйствіе этого событія, новыя силы, новыя потребности, имъ созданныя, то удивительное уравненіе умовъ, которые стали „желать истины и способны принимать ее“, въ какомъ бы они ни были состояніи, все это отмѣчаетъ то время поразительнымъ характеромъ провидѣнія и высшаго разума.

Это—новое общество и новая цивилизація.

Громадное превосходство этого новаго общества надъ древнимъ не было достаточно оцѣнено, потому что въ мірѣ видѣли отдѣльныя государства. Но не видѣли того, что въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ это новое общество представляло настоящую федеральную систему, которая была нарушена только реформаціей; что до тѣхъ поръ народы считали себя однимъ обществомъ, раздѣленнымъ географически, но единымъ нравственно; что долго у нихъ не было другого публичнаго права, кромѣ постановленій церкви; что ихъ войны считались междоусобіями; что двигали ими одни интересы. Исторія среднихъ вѣковъ есть буквально исторія одного христіанскаго народа. Вольтеръ очень вѣрно замѣчаетъ, что мнѣнія бывали причиной войнъ только у однихъ христіанъ; это было потому, что царство мысли не могло утвердиться въ мірѣ иначе, какъ давая самому принципу мысли всю его реальность. Если реформація нарушила этотъ порядокъ вещей и уничтожила единство, то нельзя сомнѣваться, что придетъ время, когда черты, раздѣляющія народы,

опять изгладятся, и первоначальный принципъ общества обнаружится снова, въ новой формѣ, и съ большей энергіей, чѣмъ когда-либо...

Въ этомъ-то европейскомъ семействѣ и нужно изучать истинный характеръ новаго общества, а не въ той или другой странѣ: здѣсь находится истинный принципъ прочности и прогресса, отличающій міръ новый отъ міра древняго. Такъ, несмотря на всѣ испытанные имъ перевороты, это общество не только не потеряло ничего изъ своей жизненности, но съ каждымъ днемъ его силы возрастаютъ. Ни арабы, ни турки, ни татары не могли его уничтожить, и только укрѣпили его. Исторія древняго міра была, собственно говоря, непродолжительна, и, однако, сколько обществъ погибло въ древности въ этотъ короткій періодъ, между тѣмъ какъ въ исторіи новѣйшихъ народовъ мѣняются только географическія границы, а самое общество и народы *остались неприкосновенны*. Изгнаніе мавровъ изъ Испаніи, уничтоженіе американскихъ населеній, уничтоженіе татаръ въ Россіи только подтверждаютъ эту мысль. Такъ близится и паденіе Оттоманской имперіи; затѣмъ придетъ очередь другихъ не-христіанскихъ народовъ. Таковъ кругъ всемогущаго дѣйствія истины: то оттѣсняя народы, то обнимая ихъ въ свою окружность, этотъ кругъ постоянно расширяется и приближаетъ насъ къ возвѣщеннымъ временамъ.

Сила христіанскаго общества заключается именно въ томъ, что оно одно дѣйствительно одушевляется интересомъ мысли, и это самое составляетъ усовершаемость новѣйшихъ народовъ, въ которой находится тайна ихъ цивилизаціи.

Удивительно то равнодушіе, съ какимъ смотрятъ обыкновенно на новѣйшую цивилизацію, между тѣмъ ясное пониманіе ея есть уже и разрѣшеніе соціальной задачи. Въ самомъ дѣлѣ, эта цивилизація содержитъ въ себѣ результатъ всѣхъ протекшихъ вѣковъ, и будущіе вѣка будутъ только ея результатомъ. Никогда масса идей, распространенныхъ на поверхности міра, не была такъ сосредоточена, какъ въ современномъ обществѣ; никогда въ жизни человѣческаго существа одна мысль не обнимала такъ всей дѣятельности его природы, какъ въ наше время. Мы наслѣдовали все, когда-либо сдѣланное людьми; нѣтъ точки на землѣ, которая была бы изъята отъ вліянія нашихъ идей; во всей вселенной есть только одна умственная сила, и такимъ образомъ, всѣ основные вопросы нравственной философіи необходимо заключены въ одномъ вопросѣ о новѣйшей цивилизаціи... Между нами никогда не будетъ ни китайской неподвижности, ни гре-

ческаго упадка; еще менѣе можно представить себѣ полное уничтоженіе нашей цивилизаціи. „Стоитъ оглянуться кругомъ себя, чтобы въ этомъ убѣдиться. Нужно было бы, чтобы весь земной шаръ былъ перевернутъ вверхъ дномъ, чтобы повторился переворотъ, подобно тому, который далъ ему его настоящую форму, для того, чтобы нынѣшняя цивилизація разрушилась. Если только не произойдетъ второго всемірнаго потопа, невозможно представить себѣ полнаго разрушенія нашего просвѣщенія. Если, напримѣръ, будетъ поглощено цѣликомъ одно изъ двухъ полушарій,—того, что уцѣлѣетъ отъ нашей цивилизаціи въ другомъ полушаріи, довольно будетъ, чтобы обновить человѣческій духъ".

Въ заключеніе письма авторъ объясняетъ, что если вліяніе христіанства на развитіе нынѣшней цивилизаціи до сихъ поръ было мало оцѣнено, то виной этого были протестанты. Онъ возстаетъ противъ упорства протестантовъ, которые не находятъ христіанства уже со второго или съ третьяго вѣка, или находятъ только въ той степени, сколько было необходимо, чтобъ оно не разрушилось совсѣмъ; въ среднихъ вѣкахъ они видятъ язычество, которое было хуже, чѣмъ въ древнемъ мірѣ; взамѣнъ того, незаслуженнымъ образомъ и ошибочно превозносятъ такъ-называемое возрожденіе наукъ и т. д. Чаадаевъ надѣется, что эта исторія будетъ нѣкогда освѣщена совершенно иначе, и замѣчаетъ въ спискѣ, что съ тѣхъ поръ, какъ это было написано, Гизо въ значительной степени исполнилъ эту надежду [1]). И что же сдѣлала эта реформація, столько восхваляемая протестантами? Она возвратила міръ въ разрозненность (désunité) язычества, и если ускорила движеніе ума, то отняла у человѣчества высокую и плодотворную идею всеобщности. Протестантскія церкви отличаются страннымъ духомъ разрушенія и какъ будто стремятся уничтожить другъ друга,—къ чему же имъ таинство евхаристіи, зачѣмъ соединяться съ Спасителемъ, если люди раздѣляются другъ отъ друга?

Чаадаевъ становится на сторону католицизма, защищаетъ папство, какъ олицетвореніе единства. Не входя въ это изложеніе, мы приведемъ только общую точку зрѣнія: „Развѣ таково ученіе Того, кто пришелъ на землю, чтобы принести въ нее жизнь, и кто побѣдилъ смерть? Развѣ мы уже на небѣ, что можемъ безнаказанно отвергнуть условія нынѣшней экономіи? И эта экономія не есть ли только соединеніе чистыхъ мыслей ра-

[1]) Онъ разумѣетъ именно Cours d'histoire moderne, читанный Гизо въ 1828 г. и изданный въ тридцатыхъ годахъ.

зумнаго существа съ необходимостями его существованія? А первая изъ этихъ необходимостей есть общество, соприкосновеніе умовъ, сліяніе идей и чувствъ; только тогда, когда удовлетворяется эта необходимость, истина дѣлается живою, и изъ области умозрѣнія нисходитъ въ область реальнаго; только тогда она изъ мысли дѣлается фактомъ, получаетъ наконецъ характеръ силы природы, и дѣйствіе ея становится такъ же несомнѣнно, какъ дѣйствіе всякой другой естественной силы. Но какъ сдѣлается все это въ обществѣ идеальномъ, которое существовало бы только въ ожиданіяхъ и въ воображеніи? Вотъ невидимая церковь протестантовъ,— дѣйствительно невидимая какъ ничто" [1])...

Не будемъ останавливаться подробно на третьемъ письмѣ, которое занято развитіемъ тѣхъ же мыслей. Все письмо состоитъ изъ отдѣльныхъ эпизодовъ, гдѣ Чаадаевъ говоритъ о древнемъ искусствѣ, которое онъ обвиняетъ въ чувственномъ матеріализмѣ, затѣмъ характеризуетъ тѣ личности, которыя были имъ упомянуты прежде: Моисея, Давида, Сократа и Марка-Аврелія, Эпикура, Магомета, наконецъ, Гомера. Одного послѣдняго эпизода будетъ достаточно, чтобы показать взглядъ Чаадаева на искусство и поэзію классическаго язычества.

„Вопросъ о томъ вліяніи, какое имѣлъ Гомеръ на человѣческій духъ, есть теперь вопросъ рѣшенный. Теперь очень хорошо извѣстно, что такое гомерическая поэзія, извѣстно, какъ она способствовала опредѣленію греческаго характера, который въ свою очередь опредѣлилъ характеръ всего древняго міра; теперь знаютъ, что эта поэзія замѣнила собой другую поэзію, болѣе высокую, болѣе чистую, отъ которой остались только обрывки; знаютъ также, что она поставила новый порядокъ идей на мѣсто другого порядка идей, который родился не изъ почвы Греціи, и что эти первобытныя идеи, вытѣсненныя новой мыслью, удалившіяся или въ мистеріи Самоѳракіи, или въ тѣнь другихъ святилищъ утраченныхъ истинъ, существовали съ тѣхъ поръ только

[1]) Полная мысль Чаадаева, кажется, достаточно ясна въ слѣдующей тирадѣ, которую онъ пишетъ по поводу протестантства: „La réformation a enlevé à la conscience de l'être intelligent la féconde et sublime idée d'universalité. Le fait propre de tout schisme dans le monde chrétien est de rompre cette mystérieuse *unité*, dans laquelle est comprise toute la divine pensée du christianisme et toute sa puissance. C'est pour cela que l'Eglise catholique jamais ne transigera avec les communions séparées. Malheur à elle et malheur au christianisme, si le fait de la division est jamais reconnu par l'autorité légitime! Tout ne serait bientôt derechef que chaos des idées humaines, mensonge, ruine et poussière. Il n'y a que la fixité visible, pour ainsi dire palpable, de la vérité, qui puisse conserver le régne de l'esprit sur la terre", etc. Стр. 83. Это единство есть, конечно, папство.

для небольшого числа избранныхъ или адептовъ [1]); но чего не знаютъ, мнѣ кажется, это—того, что̀ Гомеръ можетъ имѣть общаго съ нашимъ временемъ, что̀ еще остается отъ него во всеобщемъ пониманіи... Для насъ Гомеръ остается только Тифономъ или Ариманомъ настоящаго міра, какъ онъ былъ имъ въ томъ мірѣ, какой былъ имъ созданъ. Въ нашихъ глазахъ, гибельный героизмъ страстей, грязный идеалъ красоты, необузданная любовь къ земному, все это идетъ къ намъ отъ него. Замѣтьте, что въ другихъ цивилизованныхъ обществахъ міра никогда не было ничего подобнаго. Только греки вздумали идеализировать и обоготворить порокъ и преступленіе; такимъ образомъ, поэзія зла была только у нихъ и у народовъ, наслѣдовавшихъ ихъ цивилизацію. Въ среднихъ вѣкахъ можно ясно видѣть, какое направленіе приняла бы мысль христіанскихъ народовъ, еслибы она вполнѣ отдалась той рукѣ, которая вела ее... Поэзія гомерическая, послѣ того какъ на древнемъ Западѣ она отвела теченіе мыслей, которыя привязывали людей къ великимъ днямъ творенія, сдѣлала то же и на новомъ Западѣ; перешедши къ намъ съ наукой, философіей, литературой древнихъ, она такъ отождествила насъ съ ними, что въ настоящую минуту мы все еще висимъ между міромъ лжи и міромъ истины. Хотя теперь и очень мало занимаются Гомеромъ и, конечно, мало его читаютъ, его боги и герои тѣмъ не менѣе оспариваютъ почву у христіанской мысли. Потому что дѣйствительно въ этой поэзіи, совершенно земной, совершенно матеріальной, есть удивительная увлекательность, чрезвычайно пріятная для порока нашей природы, увлекательность, которая ослабляетъ фибру разума, держитъ его глупо прикованнымъ къ своимъ фантомамъ и очарованіямъ, убаюкиваетъ и усыпляетъ его своими могущественными иллюзіями“. Только глубокое нравственное чувство, исходящее изъ христіанской истины, можетъ освободить насъ отъ этого рокового заблужденія. „Что касается до меня, я думаю, что для нашего полнаго возрожденія въ смыслѣ откровеннаго разума намъ нужно еще какое-нибудь великое покаяніе, какое-нибудь всемогущее искупленіе, вполнѣ ощущаемое всѣмъ христіанскимъ міромъ, испытываемое всѣми, какъ великая физическая катастрофа на поверхности нашего міра; безъ этого, я не понимаю, какъ мы могли бы избавиться отъ грязи, которая все еще оскверняетъ нашу память“.

[1]) Въ примѣчаніи Чаадаевъ указываетъ на тѣсную связь Гомера съ греческимъ искусствомъ и на неважность, въ этомъ случаѣ, вопроса о томъ, существовала или нѣтъ самая личность Гомера.

Въ заключеніе письма Чаадаевъ опять возвращается къ русской жизни:

„Вотъ мы въ концѣ нашей галлереи. Я не сказалъ вамъ всего, чтò хотѣлъ сказать, но надо кончить. И знаете ли чтò? Въ сущности, мы, русскіе, не имѣемъ ничего общаго съ Гомеромъ, съ греками, римлянами, германцами; все это совершенно намъ чуждо. Но что вы хотите! надо говорить языкомъ Европы. Наша экзотическая цивилизація такъ придвинула насъ (nous a adossés) къ Европѣ, что хотя у насъ и нѣтъ ея идей, у насъ нѣтъ другого языка, кромѣ ея языка: итакъ, намъ приходится говорить имъ. Если небольшое число привычекъ ума, преданій, воспоминаній, какія у насъ есть, если наше прошедшее не привязываетъ насъ ни къ какому народу на землѣ, если мы въ самомъ дѣлѣ не принадлежимъ ни къ одной изъ системъ нравственной вселенной, то своей общественной поверхностью мы принадлежимъ, однако, міру Запада. Эта связь, правда, очень слабая; не соединяя насъ съ Европой такъ тѣсно, какъ воображаютъ, и не давая намъ чувствовать во всѣхъ пунктахъ нашего существа великое движеніе, которое тамъ совершается, — эта связь ставитъ, однако, наши будущія судьбы въ зависимость отъ судебъ европейскаго общества. Такимъ образомъ, чѣмъ больше мы будемъ стараться амальгамироваться съ ней, тѣмъ будетъ для насъ лучше. Мы жили до сихъ поръ совершенно одни; то, чтó мы узнали отъ другихъ, осталось на нашей внѣшности какъ простое украшеніе, не проникая вовнутрь нашихъ душъ; въ настоящее время силы *верховнаго общества* (société souveraine) такъ увеличились, его дѣйствіе на остальную долю человѣческаго рода такъ расширилось, что мы скоро будемъ унесены во всеобщемъ вихрѣ, съ душой и тѣломъ. Вѣрно то, что мы, конечно, не можемъ долго оставаться въ нашей пустынѣ. Поэтому будемъ дѣлать все, чтò можемъ, для того, чтобы приготовить путь новому поколѣнію. Мы не можемъ оставить ему того, чего у насъ не было: вѣрованій, воспитаннаго временемъ разума, рѣзко очерченной личности, мнѣній, развитыхъ въ теченіе долгой умственной жизни, одушевленной, дѣятельной, обильной результатами,—оставимъ имъ по крайней мѣрѣ нѣсколько идей, которыя, хотя и не были найдены нами самими, но, будучи передаваемы такимъ образомъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, будутъ все-таки имѣть въ себѣ долю традиціоннаго элемента, и по этому самому будутъ имѣть нѣсколько больше силы, больше плодотворности, чѣмъ наши собственныя мысли. Этимъ способомъ мы заслужимъ у потомства, мы не пройдемъ на землѣ безполезно".

Для опредѣленія мнѣній Чаадаева за время, предшествовавшее появленію его статьи, могло бы служить и упомянутое письмо къ гр. Бенкендорфу по поводу запрещенія журнала „Европеецъ“. Писанное отъ имени издателя этого журнала, Кирѣевскаго, оно, безъ сомнѣнія, заключало въ себѣ и мысли самого Чаадаева. Это было въ 1832 году, когда Кирѣевскій, вернувшись изъ-заграницы, былъ еще поклонникомъ западныхъ идей и когда между нимъ и Чаадаевымъ могло быть въ этомъ смыслѣ много общаго. То, что̀ говорится въ этомъ письмѣ о либерализмѣ двадцатыхъ годовъ, ошибочность котораго была понята, о различіи условій и народнаго характера, не допускающемъ у насъ прямого введенія западныхъ учрежденій, о желаніяхъ въ настоящемъ, состоявшихъ въ усиленіи образованія, въ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса, въ развитіи религіознаго элемента—все это могло быть, и вѣроятно было, одинаково мнѣніе Кирѣевскаго и Чаадаева.

Послѣднимъ значительнымъ его произведеніемъ была „Апологія Сумасшедшаго“. Написанная по поводу извѣстнаго объявленія его сумасшедшимъ, „Апологія“ отдѣлена отъ писемъ промежуткомъ въ нѣсколько лѣтъ и представляетъ съ письмами нѣкоторую разницу, которую можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первыхъ, едва ли сомнительно, что „Апологія“ написана подъ давленіемъ преслѣдованія, которое обрушилось на Чаадаева и повидимому оставило въ немъ навсегда впечатлѣніе. Съ другой стороны, прошло нѣсколько лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ были написаны „Письма“; прежнее возбужденіе улеглось, и авторъ, возвращаясь къ темѣ своихъ „Писемъ“, могъ хладнокровнѣе отнестись къ предмету. Но при всемъ томъ, „Апологія“ въ своемъ родѣ также весьма замѣчательна. Авторъ дѣлаетъ извѣстныя уступки, соглашается признать извѣстныя преувеличенія въ своихъ прежнихъ словахъ, говоритъ безъ прежняго абсолютнаго скептицизма,—по всей вѣроятности искренно, вслѣдствіе того, что въ его мнѣніяхъ дѣйствительно черезъ нѣсколько лѣтъ явилось больше спокойнаго размышленія; въ двухъ-трехъ мѣстахъ мы найдемъ также вещи, написанныя какъ будто намѣренно въ извѣстномъ предохранительномъ смыслѣ;—но въ то же время Чаадаевъ не уступаетъ ничего той публикѣ, которая напала на него съ такимъ ожесточеніемъ; напротивъ, „Апологія“ есть новое обвиненіе противъ этой публики, высказанное съ убѣжденіемъ и чувствомъ своего достоинства. Вообще, „Апологія“ остается любопытнымъ, талантливымъ произведеніемъ, которое

по многимъ чертамъ своего содержанія, къ сожалѣнію, не устарѣло и до сихъ поръ.

Указавъ въ началѣ статьи слова апостола Павла о любви, повелѣвающей вѣрить и терпѣть, авторъ замѣчаетъ, что катастрофа, такъ странно исказившая его умственное существованіе, была въ сущности результатомъ зловѣщихъ криковъ одной части общества при появленіи страницъ, правда ѣдкихъ, но заслуживавшихъ не такого пріема.

„Правительство,—говоритъ Чаадаевъ, — въ сущности только исполнило свой долгъ; можно даже сказать, что строгость, употребленная противъ насъ въ эту минуту, не имѣетъ ничего чрезвычайнаго, потому что, конечно, она далеко не превзошла ожиданій многочисленной публики. Что же, въ самомъ дѣлѣ, надо было сдѣлать правительству, самому благонамѣренному, какъ не сообразоваться съ тѣмъ, что оно искренно считаетъ серьезнымъ желаніемъ страны? Что же касается до криковъ публики, это совсѣмъ иное дѣло. Есть разные способы любить свое отечество: напримѣръ, самоѣдъ, который любитъ родные снѣга, дѣлающіе его подслѣповатымъ, дымную юрту, гдѣ онъ проводитъ, скорчившись, половину своей жизни, протухлый жиръ своихъ оленей, окружающій его вонючей атмосферой, конечно онъ любитъ свою родину не такъ, какъ англійскій гражданинъ, гордый учрежденіями и высокой цивилизаціей своего славнаго острова, и безъ сомнѣнія было бы очень жалко, еслибы намъ приходилось еще любить нашу родину на манеръ самоѣдовъ. Любовь къ отечеству есть вещь прекрасная, но еще прекраснѣе любовь къ истинѣ... Правда, что мы, русскіе, всегда бывали довольно беззаботны о томъ, что истинно и что ложно. Поэтому, не слѣдуетъ очень сердиться на общество, если оно было живо затронуто нѣсколько ѣдкой апострофой, обращенной къ его слабостямъ. Поэтому, увѣряю васъ, я вовсе не досадую на эту милую публику, которая такъ долго меня баловала: я стараюсь отдать себѣ отчетъ въ моемъ странномъ положеніи хладнокровно, безъ всякаго раздраженія“...

„Я никогда не искалъ популярности и овацій толпы; я всегда думалъ, что родъ человѣческій долженъ идти только вслѣдъ за своими естественными главами, помазанниками Бога; что онъ можетъ идти впередъ по пути своего истиннаго прогресса только подъ руководствомъ тѣхъ, кто тѣмъ или другимъ образомъ получилъ отъ самого неба миссію и силу вести его; что общее мнѣніе (la raison générale) вовсе не есть абсолютно справедливое мнѣніе (la raison absolue), какъ это думалъ одинъ великій ни-

сатель нашего времени; что инстинкты большинства бываютъ безконечно болѣе страстны, болѣе узки, болѣе эгоистичны, чѣмъ инстинкты отдѣльнаго человѣка; что такъ-называемый здравый смыслъ народа вовсе не есть здравый смыслъ; что истина выходитъ не изъ шумной толпы; что ее нельзя представить цифрой; наконецъ, что умъ человѣческій во всей своей силѣ, во всемъ своемъ блескѣ всегда обнаруживался только въ одинокомъ мыслителѣ". Авторъ не хочетъ разбирать, какъ случилось, что онъ очутился вдругъ передъ гнѣвной публикой, и переходитъ къ объясненію своей точки зрѣнія, ставя центральнымъ предметомъ спорнаго вопроса европейскую цивилизацію и Петровскую реформу. Слѣдующее мѣсто о Петрѣ Великомъ можно считать первымъ категорическимъ заявленіемъ того образа мыслей и того взгляда на реформу, которые становились тогда основаніемъ мнѣній цѣлой школы и спорнымъ пунктомъ, рѣзко раздѣлившимъ эту школу отъ славянофильской.

„Уже триста лѣтъ Россія стремится слиться съ западомъ Европы, извлекаетъ оттуда всѣ самыя серьезныя свои идеи, всѣ благотворнѣйшія знанія, всѣ живѣйшія наслажденія. Въ теченіе болѣе чѣмъ столѣтія она дѣлаетъ лучше. Величайшій изъ нашихъ царей, тотъ, который, говорятъ, началъ для насъ новую эру, которому, говорятъ, мы обязаны своимъ величіемъ, своей славой и всѣми благами, какими теперь владѣемъ, отрекся, полтораста лѣтъ тому назадъ, отъ древней Россіи передъ лицомъ цѣлаго міра. Онъ смелъ своимъ могущественнымъ дуновеніемъ всѣ наши учрежденія; онъ вырылъ пропасть между нашимъ прошедшимъ и нашимъ настоящимъ и бросилъ въ нее кучей всѣ наши преданія. Онъ отправился въ страны Запада самымъ малымъ и возвратился къ намъ самымъ великимъ; онъ преклонился передъ Западомъ и всталъ нашимъ повелителемъ и законодателемъ. Онъ ввелъ въ нашъ языкъ слова Запада; свою новую столицу онъ назвалъ именемъ Запада; онъ бросилъ свой наслѣдственный титулъ и принялъ титулъ Запада; наконецъ, онъ почти отказался отъ собственнаго имени и много разъ подписывалъ свои верховныя рѣшенія именемъ Запада. Съ этого времени, постоянно обращая глаза на страны Запада, мы, такъ сказать, только вдыхали въ себя воздухъ, приходившій оттуда, и питались имъ. Должно сказать, что наши государи, которые всегда почти вели насъ за руку, которые почти всегда вели страну на буксирѣ, безъ всякаго участія съ ея стороны, государи сами налагали на насъ нравы, языкъ, одежду Запада. По книгамъ Запада мы выучились называть имена вещей. Нашей собственной

исторіи научилъ насъ человѣкъ изъ странъ Запада; мы переводили литературу Запада, мы учили ее наизусть, мы украшались его обрывками, и наконецъ мы были счастливы, что походили на Западъ, мы хвалились, когда онъ хотѣлъ считать насъ между своими.

„Надо согласиться, что оно было прекрасно, это созданіе Петра Великаго... Глубоко было сказанное имъ слово: видите ли тамъ эту образованность, плодъ стольких трудовъ, видите ли эти науки, эти искусства, которыя стоили столько пота стольким поколѣніямъ! все это — ваше, съ условіемъ, что вы освободитесь отъ своихъ суевѣрій, что вы отвергнете свои предразсудки, что вы не будете ревнивы къ своему варварскому прошедшему, что вы не станете хвастаться вѣками своего невѣжества, что ваше честолюбіе будетъ состоять въ томъ, чтобы усвоить себѣ труды всѣхъ народовъ, богатства, пріобрѣтенныя умомъ человѣческимъ на всѣхъ широтахъ земного шара. И этотъ великій человѣкъ трудился не для одной своей націи... Зрѣлище, которое онъ представилъ вселенной, когда, покинувъ царское величіе и свою страну, онъ скрылся въ послѣднихъ рядахъ цивилизованныхъ народовъ,—развѣ это зрѣлище не было новымъ усиліемъ человѣческаго генія выйти изъ тѣсной ограды родины, чтобы утвердиться въ великой сферѣ человѣчества? Таковъ былъ урокъ, который мы должны были воспринять: мы дѣйствительно имъ воспользовались, и до сихъ поръ мы шли тѣмъ путемъ, который указалъ намъ великій императоръ. Наше громадное развитіе есть только исполненіе этой великолѣпной програмы. Никогда народъ не былъ менѣе пристрастенъ къ самому себѣ, чѣмъ народъ русскій, какъ создалъ его Петръ Великій, и никогда другой народъ не получалъ болѣе славныхъ успѣховъ на пути совершенствованія. Высокій разумъ этого необыкновеннаго человѣка въ совершенствѣ угадалъ, какой долженъ былъ быть нашъ исходный пунктъ на дорогѣ цивилизаціи и умственнаго движенія міра. Онъ увидѣлъ, что намъ почти совсѣмъ недостаетъ историческихъ данныхъ, и что намъ нельзя утвердить нашего будущаго на этомъ безсильномъ основаніи; онъ очень хорошо понялъ, что намъ, поставленнымъ лицомъ къ лицу съ древней цивилизаціей Европы, послѣднимъ выраженіемъ всѣхъ прежнихъ цивилизацій, незачѣмъ задыхаться въ нашей исторіи, незачѣмъ влачиться, подобно народамъ Запада, черезъ хаосъ національныхъ предразсудковъ, узкими тропинками мѣстныхъ идей, по ржавой колеѣ туземнаго преданія; что намъ надо было свободнымъ порывомъ нашихъ внутреннихъ силъ, энер-

гическимъ усиліемъ національнаго сознанія взять сразу тѣ судьбы, которыя намъ были предназначены. Поэтому онъ освободилъ насъ отъ всѣхъ этихъ антецедентовъ, которые загромождаютъ историческія общества и затрудняютъ ихъ путь; онъ открылъ нашъ умъ для всѣхъ великихъ и прекрасныхъ идей, какія существуютъ между людьми; онъ передалъ намъ Западъ весь, какимъ сдѣлали его вѣка, и отдалъ намъ всю его исторію за исторію, все его будущее за будущее".

Чаадаевъ утверждаетъ дальше, что всего этого Петръ не могъ бы сдѣлать, еслибы имѣлъ дѣло съ націей, имѣющей богатую исторію, рѣзко очертившійся характеръ, глубоко вкоренившіяся учрежденія; съ другой стороны, такая нація не потерпѣла бы, чтобы у нея отнимали ея прошедшее. Но этого не было: Петръ имѣлъ передъ собой бѣлую бумагу, а если нація была такъ послушна его волѣ, значитъ, въ ея прошедшемъ не было ничего, что могло бы узаконить сопротивленіе...

„Наши фанатическіе славяне,—продолжаетъ онъ,—въ своихъ различныхъ поискахъ, быть можетъ, будутъ иногда откапывать предметы любопытства для нашихъ музеевъ, для нашихъ библіотекъ; но, кажется, позволительно сомнѣваться, чтобы они успѣли когда-нибудь извлечь изъ нашей исторической почвы, чѣмъ можно было бы наполнить пустоту нашихъ душъ, чѣмъ конденсировать неопредѣленность (vague) нашихъ умовъ. Взгляните на средневѣковую Европу: нѣтъ событія, которое не было бы тамъ въ нѣкоторомъ смыслѣ абсолютной необходимостью, которое не оставило бы глубокихъ слѣдовъ въ сердцѣ человѣчества. И почему это? Потому, что за каждымъ событіемъ вы находите идею, потому что средневѣковая исторія есть исторія мысли новѣйшихъ временъ, которая стремится воплотиться въ искусствѣ, въ наукѣ, въ жизни человѣка, въ обществѣ... Я знаю, что не всѣ исторіи имѣютъ строгій, логическій ходъ исторіи этой удивительной эпохи; но вѣрно то, что таковъ истинный характеръ историческаго развитія... Съ жизнью народовъ бываетъ почти такъ же, какъ съ жизнью индивидуумовъ. Всѣ люди жили, но только человѣкъ геніальный или человѣкъ, поставленный въ извѣстныя особыя условія, имѣетъ настоящую исторію. Положимъ, напримѣръ, что народъ, по стеченію обстоятельствъ, не имъ созданныхъ, по дѣйствію географическаго положенія, не имъ выбраннаго, распространяется на громадномъ протяженіи страны, не имѣя сознанія о томъ, что онъ дѣлаетъ, и что въ одинъ прекрасный день онъ окажется народомъ могущественнымъ,—это будетъ, конечно, удивительный феноменъ, и можно будетъ

удивляться ему сколько угодно; но что же, по вашему, должна сказать о немъ исторія? Въ сущности, это фактъ чисто матеріальный, фактъ, такъ сказать, географическій, въ огромныхъ размѣрахъ, безъ сомнѣнія, но и только. Исторія возьметъ его, занесетъ его въ свои лѣтописи, потомъ закроется за нимъ, и кончено. Истинная исторія этого народа начнется только съ того дня, когда онъ будетъ охваченъ той идеей, которая ему довѣрена, которую онъ призванъ осуществить, и когда онъ начнетъ выполнять ее съ тѣмъ постояннымъ, хотя скрытымъ инстинктомъ, который ведетъ народы къ ихъ предназначенію. Вотъ моментъ, который я призываю въ пользу моего отечества всѣми силами моего сердца, вотъ задача, которую мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы взяли на себя, мои любезные друзья и сограждане, которые живете въ вѣкѣ, высоко поучительномъ, и которые теперь такъ хорошо показали мнѣ, какъ вы живо воспламенены святой любовью къ отечеству".

Послѣ этой иронической фразы Чаадаевъ возвращается къ предмету съ другой стороны,—и говоритъ о той школѣ, которая утверждала, что намъ вовсе не зачѣмъ учиться у Запада, что мы принадлежимъ Востоку и что наше будущее на Востокѣ [1]).

Начавъ съ того, что міръ издавна раздѣленъ между Востокомъ и Западомъ, Чаадаевъ характеризуетъ цивилизаціи восточную и западную ихъ извѣстными отличительными чертами.

„Но вотъ является новая школа. Не хотятъ больше Запада, хотятъ разрушить дѣло Петра Великаго, хотятъ снова въ пустыню. Забывая то, что Западъ сдѣлалъ для насъ, и неблагодарные къ великому человѣку, который насъ цивилизовалъ, къ Европѣ, которая насъ научила, эти люди отвергаютъ и Европу, и великаго человѣка, и въ своемъ поспѣшномъ жарѣ этотъ новѣйшій патріотизмъ провозглашаетъ насъ любимыми дѣтьми Востока. Какая намъ была надобность, говорятъ, искать просвѣщенія у народовъ Запада? Развѣ среди насъ не было всѣхъ зародышей общественнаго порядка, безконечно лучшаго, чѣмъ порядокъ Европы? Отчего не предоставили дѣла времени? Оставленные намъ самимъ, нашему ясному уму, плодотворному принципу, скрытому въ нѣдрахъ нашей могущественной природы, и особенно на-

[1]) Обратимъ пока вниманіе читателя, что въ 1829, и даже въ 1837 году, когда вѣроятно была написана „Апологія", Чаадаевъ не могъ имѣть въ виду собственно славянофильскую школу, какъ она понималась въ сороковыхъ годахъ и которая тогда только-что образовывалась; многія черты относятся и къ ней, но главнымъ образомъ къ школѣ оффиціальной народности. Ср. замѣчанія Свербеева, въ „Р. Архивѣ".

шей священной религіи, мы скоро превзошли бы всѣ эти народы, преданные заблужденію и лжи. И въ чемъ намъ было завидовать Западу? Его религіознымъ войнамъ, его папѣ, его рыцарству, его инквизиціи? Прекрасныя вещи въ самомъ дѣлѣ! И развѣ Западъ есть отечество науки и всѣхъ глубокихъ вещей? Извѣстно, что это Востокъ. Возвратимся же на этотъ Востокъ, къ которому мы вездѣ касаемся, откуда мы недавно извлекали наши вѣрованія, наши законы, наши добродѣтели, все, что сдѣлало насъ могущественнѣйшимъ народомъ на землѣ. Древній Востокъ падаетъ: развѣ не мы его естественные преемники? Отселѣ между нами будутъ сохраняться эти удивительныя преданія, между нами осуществятся всѣ тѣ великія и таинственныя истины, храненіе которыхъ было поручено Востоку отъ начала вещей.—Вы понимаете теперь,—продолжаетъ Чаадаевъ,—откуда пришла буря, которая недавно разразилась надо мной, и вы видите, что среди насъ въ національной мысли совершается настоящая революція, страстная реакція противъ просвѣщенія, противъ идей Запада,—противъ того просвѣщенія, противъ тѣхъ идей, которыя сдѣлали насъ тѣмъ, что мы есть, которыхъ плодъ есть сама та реакція, то движеніе, которыя теперь толкаютъ насъ противъ нихъ. Но на этотъ разъ толчокъ не идетъ сверху. Напротивъ, никогда, говорятъ, въ высшихъ областяхъ общества память нашего царя-реформатора не уважалась больше, чѣмъ теперь. Итакъ, иниціатива вполнѣ принадлежитъ странѣ. Куда поведетъ насъ этотъ первый фактъ эманципированнаго разума націи? Богъ знаетъ! Но когда любишь серьезно свое отечество, нельзя не быть тягостно поражену этимъ отступничествомъ нашихъ наиболѣе передовыхъ (avancés) умовъ отъ вещей, которыя сдѣлали нашу славу, наше величіе, и мнѣ кажется, хорошій гражданинъ долженъ стараться, сколько можетъ, объяснить это странное явленіе".

Но, хотя мы и находимся на востокѣ Европы, мы никогда не принадлежали Востоку, наша исторія не имѣетъ ничего общаго съ Востокомъ, характеръ нашей жизни иной; мы просто—страна сѣвера, и по идеямъ, и по климату очень далекая отъ долины Кашемира и береговъ Ганга. Нѣкоторыя наши провинціи сосѣдятъ съ Востокомъ, но нашъ центръ вовсе не тамъ.

„Истина въ томъ, что мы еще никогда не разсматривали своей исторіи съ философской точки зрѣнія. Ни одно изъ великихъ событій нашего національнаго существованія не было точно характеризовано, ни одна изъ нашихъ великихъ эпохъ не была откровенно оцѣнена; отсюда всѣ эти странныя фантазіи, всѣ эти

утопіи прошедшаго, всѣ эти мечты невозможнаго будущаго, которыя мучатъ теперь наши патріотическіе умы. Нѣмецкіе ученые открыли нашихъ лѣтописцевъ, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ; потомъ Карамзинъ разсказалъ намъ звучнымъ языкомъ дѣянія и подвиги нашихъ государей; въ наше время посредственные писатели, неловкіе антикваріи, нѣкоторые неудавшіеся поэты, не владѣя ни наукой нѣмцевъ, ни перомъ знаменитаго историка, усиливаются нарисовать или возстановить времена и нравы, о которыхъ никто между нами не сохранилъ ни воспоминанія, ни любви: такова сущность нашихъ трудовъ по національной исторіи. Надо согласиться, что изъ всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствіе судебъ, насъ ожидающихъ". Но намъ теперь нужно именно строгое и искреннее изслѣдованіе важнѣйшихъ историческихъ моментовъ народной жизни, гдѣ эта жизнь высказывалась во всей своей глубинѣ,—потому что здѣсь-то и заключается будущее. Если эти моменты рѣдки—признайте это: „не отталкивайте истины, не воображайте, что вы жили жизнью народовъ историческихъ, тогда какъ, погребенные въ вашей неизмѣримой гробницѣ, вы жили только жизнью ископаемыхъ". Но если вы встрѣтите моменты, когда нація дѣйствительно жила, когда билось ея сердце, если васъ обступала народная волна,—тогда размышляйте, изучайте, и вашъ трудъ не будетъ потерянъ: вы увидите, чѣмъ можетъ быть ваше отечество въ великіе дни, чего оно должно ожидать въ будущемъ. Такимъ авторъ считаетъ моментъ, когда народъ, послѣ смутъ междуцарствія, самостоятельнымъ порывомъ своихъ силъ вновь основалъ порядокъ и возвелъ на престолъ новую династію... „Видно изъ этого,—говоритъ Чаадаевъ,—что я далеко не требую, какъ утверждали, что слѣдуетъ уничтожить всѣ наши воспоминанія".

„Я сказалъ только и повторяю, что пора бросить ясный взглядъ на наше прошлое, и бросить не за тѣмъ, чтобы извлекать изъ него старыя сгнившія реликвіи, старыя идеи, которыя пожрало время, старыя вражды, которыя давно покинулъ здравый смыслъ нашихъ государей и народа,—но чтобы знать, что намъ думать о нашихъ антецедентахъ. Вотъ что я пытался сдѣлать въ трудѣ, который остался неконченнымъ и къ которому должна была служить введеніемъ статья, такъ странно возбудившая національное тщеславіе. Конечно, была нетерпѣливость въ выраженіи, крайность въ мысли; но чувство, господствующее во всемъ отрывкѣ, нисколько не враждебно отечеству: это—глубокое чувство нашихъ слабостей, выраженное съ болью, съ горестью, и только.

„Повѣрьте, я больше, чѣмъ кто-либо изъ васъ, люблю свое отечество, желаю ему славы, умѣю цѣнить высокія качества своего народа; но справедливо также, что патріотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совсѣмъ по тому способу, какъ то, чьи крики разрушили мое спокойное существованіе... Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что время слѣпыхъ амуровъ прошло, что теперь прежде всего мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, у меня нѣтъ этого блаженнаго (béat) патріотизма, этого лѣниваго патріотизма, который устраивается такъ, чтобы видѣть все въ лучшую сторону, который засыпаетъ за своими иллюзіями и которымъ, къ сожалѣнію, въ наше время страдаетъ много нашихъ хорошихъ умовъ. Я думаю, что если мы пришли послѣ другихъ, то для того, чтобы дѣлать лучше другихъ, чтобы не впадать въ ихъ ошибки, въ ихъ заблужденія, въ ихъ суевѣрія... Я считаю, что наше положеніе счастливое, если мы съумѣемъ имъ воспользоваться... Этого мало: я имѣю глубокое убѣжденіе, что мы призваны рѣшить большую часть задачъ соціальнаго порядка, завершить большую часть идей, возникшихъ въ старыхъ обществахъ"...

Чаадаевъ возвращается опять къ мысли о выгодности нашего положенія, позволяющаго намъ пользоваться готовымъ историческимъ опытомъ другихъ народовъ, пользоваться, не будучи связанными ни традиціей, ни общественною порчей. „У насъ нѣтъ этихъ страстныхъ интересовъ, этихъ готовыхъ мнѣній, этихъ утвердившихся предразсудковъ; мы приходимъ съ дѣвственными умами на встрѣчу каждой новой идеѣ. Въ нашихъ учрежденіяхъ,—свободныхъ созданіяхъ (oeuvres spontanées) нашихъ государей или слабыхъ слѣдахъ порядка вещей, воздѣланнаго ихъ всемогущимъ плугомъ; въ нашихъ нравахъ—странной смѣси неловкаго подражанія и обрывковъ давно изжитаго соціальнаго быта; въ нашихъ мнѣніяхъ, которыя все еще тщетно стараются установиться о самыхъ мелкихъ вещахъ,—ничто не противодѣйствуетъ непосредственному осуществленію всѣхъ благъ, какія Провидѣніе предназначаетъ человѣчеству... Исторія (т.-е. прошедшее) не принадлежитъ намъ больше, это правда, но наука намъ принадлежитъ; мы не можемъ начинать сначала весь трудъ человѣческаго ума, но мы можемъ участвовать въ его дальнѣйшихъ трудахъ; прошедшее уже не въ нашей власти, но будущее

наше. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что большая часть міра угнетена своими преданіями, своими воспоминаніями: не будемъ завидовать ограниченному кругу, въ которомъ онъ хлопочетъ; несомнѣнно, что въ сердцѣ большей части націй есть глубокое чувство свершившейся жизни, которое господствуетъ надъ жизнью настоящей, упрямое воспоминаніе о протекшихъ дняхъ, которое наполняетъ нынѣшніе дни. Оставимъ ихъ бороться съ ихъ неумолимымъ прошедшимъ".

Мы имѣемъ ту чрезвычайную выгоду, что у насъ, не связанныхъ исторіей, нѣтъ, какъ у западныхъ народовъ, неизмѣнной необходимости, что мы можемъ измѣрить каждый шагъ, который намъ предстоитъ, обдумывать каждую идею, которая касается нашего разума. „Намъ позволено,— говоритъ онъ,—надѣяться на благосостояніе еще болѣе обширное, чѣмъ то, о какомъ мечтаютъ самые пламенные служители прогресса, и чтобы достигнуть до этихъ окончательныхъ результатовъ, намъ нуженъ только одинъ верховный актъ той высшей воли, которая заключаетъ въ себѣ всѣ воли націи, которая выражаетъ всѣ ея стремленія, которая уже не разъ открывала ей новые пути, развертывала передъ ней новые горизонты, и низвела въ ея разумъ новое просвѣщеніе" [1]).

„Что же,—спрашиваетъ затѣмъ Чаадаевъ,—развѣ я предлагаю своему отечеству дурное будущее? Находите вы, что я вызываю для него не славную судьбу?" Но Чаадаевъ соглашается наконецъ, что онъ преувеличилъ свои требованія и отъ прошедшаго.

„Да, было преувеличеніе въ этомъ своего рода допросѣ (réquisitoire), направленномъ противъ великаго народа, вся вина котораго въ концѣ концовъ была только въ томъ, что онъ былъ заброшенъ къ послѣднимъ предѣламъ всѣхъ цивилизацій міра, далеко отъ странъ, гдѣ естественно должно было собраться просвѣщеніе, далеко отъ очаговъ, гдѣ оно блистало въ теченіе вѣковъ; было преувеличеніемъ не признать того, что мы пришли въ міръ на почву, нетронутую и не оплодотворенную предыдущими поколѣніями, гдѣ ничто не говорило намъ о протекшихъ вѣкахъ, гдѣ не было никакого слѣда новаго міра; было преувеличеніемъ не отдать ея доли этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утѣшаетъ за пустоту нашихъ лѣтописей, которой принадлежитъ честь каждаго подвига

[1]) Припоминается при этомъ тотъ скептикъ двадцатыхъ годовъ, который считалъ необходимымъ для Россіи второго Петра Великаго. См. „Общественное движеніе при Александрѣ I", 3-е изд. Спб. 1900.

мужества, каждаго прекраснаго самоотверженія нашихъ отцовъ, каждой прекрасной страницы нашей исторіи; наконецъ, быть можетъ, было преувеличеніемъ на минуту опечалиться о судьбѣ націи, изъ нѣдръ которой родилась могущественная натура Петра Великаго, универсальный умъ Ломоносова и граціозный геній Пушкина.

„Но затѣмъ надо согласиться также, что фантазіи нашей публики удивительны.

„Вспомнимъ, что вскорѣ послѣ злополучной публикаціи, о которой идетъ рѣчь, на нашей сценѣ играна была новая пьеса [1]). И надо сказать, что никогда нація не подвергалась такому бичеванію, никогда страна не была влачима по землѣ такимъ образомъ, никогда не бросали въ лицо публики такой грязью, и никогда, однако, не было болѣе полнаго успѣха. Неужели же серьезно думающій человѣкъ, глубоко размышлявшій о своемъ отечествѣ, о своей исторіи, о характерѣ народа, будетъ осужденъ на молчаніе, потому что ему нельзя будетъ устами комедіанта высказать патріотическое чувство, его гнетущее? Что же дѣлаетъ насъ такими внимательными къ циническому уроку комедіи и такими подозрительными къ серьезному слову, идущему до сущности вещей? Надо сказать, это — потому, что у насъ есть теперь только патріотическіе инстинкты, что мы еще очень далеки отъ сознательнаго патріотизма старыхъ націй, созрѣвшихъ въ умственномъ трудѣ, просвѣщенныхъ знаніями, размышленіями науки; что мы любимъ наше отечество еще по способу тѣхъ юныхъ народовъ, которыхъ еще не мучила мысль, которые еще отыскиваютъ принадлежащую имъ идею, еще отыскиваютъ роль, какую они призваны исполнить на сценѣ міра; что наши умственныя силы еще не упражнялись на вещахъ серьезныхъ; что, однимъ словомъ, трудъ ума до сего дня почти не существовалъ у насъ...

„Обдѣланные, отлитые, созданные нашими государями и нашимъ климатомъ, мы только въ силу покорности стали великимъ народомъ. Просмотрите съ начала до конца наши лѣтописи, вы найдете въ нихъ на каждой страницѣ глубокое дѣйствіе власти, постоянное вліяніе почвы и почти никогда не найдете дѣйствія общественной воли. Во всякомъ случаѣ справедливо также сказать, что отрекаясь отъ своей силы и отдавая ее въ руки своихъ повелителей, уступая природѣ своей страны, русскій народъ обнаруживалъ высокую мудрость, что онъ при-

[1]) Говорится, конечно, о „Ревизорѣ“.

знавалъ, такимъ образомъ, высшій законъ своихъ судебъ: странный результатъ двухъ разнородныхъ элементовъ, котораго онъ не могъ не признать, не вредя своему существу, не подавляя самаго принципа своего возможнаго прогресса"...

„Апологія" осталась неконченной. Вслѣдъ за переданнымъ нами, поставлена II глава, въ первыхъ строкахъ которой Чаадаевъ приступаетъ, повидимому, къ подробному изложенію своей теоріи, и въ началѣ останавливается на одномъ господствующемъ фактѣ нашей исторіи, который обнаруживается въ ней постоянно, который составляетъ существенный элементъ нашего умственнаго безсилія. „Этотъ фактъ—есть фактъ географическій".

Возвратимся къ первой статьѣ Чаадаева.

Въ своемъ общемъ смыслѣ она имѣла то любопытное историческое значеніе, что, явившись въ періодъ полнѣйшаго развитія системы оффиціальной народности, выставила самое крайнее противорѣчіе этой системѣ. Во все теченіе этого періода не было высказано такого рѣзкаго, безпощаднаго приговора надъ русской дѣйствительностью и ея прошедшимъ: здѣсь собралось столько горькаго чувства, столько неотразимаго сознанія въ недостаткахъ русской жизни, сколько не было ни у кого еще изъ дѣятелей нашей умственной жизни,—и сколько авторитетъ, привыкшій къ панегирику, вѣроятно даже не считалъ возможнымъ.

О силѣ этого протеста можно судить по впечатлѣнію, которое онъ произвелъ. Можно признать съ Чаадаевымъ, что правительство въ своей мѣрѣ послѣдовало только общему голосу, было даже умѣреннѣе его требованій, не удовлетворило его ожиданіямъ. Можно повѣрить, что меньше оскорбилось правительство, слишкомъ въ себѣ увѣренное, чѣмъ та масса, которая жила непробуднымъ убѣжденіемъ, что міръ ея — наилучшій изъ возможныхъ міровъ. Для такихъ людей всякое сомнѣніе есть святотатство, и таковымъ именно была сочтена статья Чаадаева [1]); а для тѣхъ, кто по своему умственному развитію способенъ былъ разсуждать, она была еще досаднѣе тѣмъ, что въ обвиненіяхъ чувствовалась правда.

При чтеніи статьи Чаадаева теперь съ перваго взгляда видны слабыя стороны его теоріи и натянутость нѣкоторыхъ ея примѣненій; историческіе вопросы, здѣсь разбираемые, довольно уже

[1]) См. характеристическую переписку объ ней въ Р. Старинѣ.

знакомы теперь въ нашей литературѣ, и писателю не такъ легко достанется фантастическій или преувеличенный выводъ. Въ то время вопросы были новы, и выводы тѣмъ больше производили впечатлѣнія.

Выше отчасти указано, откуда шелъ этотъ скептицизмъ Чаадаева. Ближайшій источникъ былъ тотъ же, изъ котораго исходило движеніе двадцатыхъ годовъ: живое впечатлѣніе европейской гражданственности и сознаніе того, какъ неизмѣримо отстала русская дѣйствительность. Чаадаевъ былъ свидѣтелемъ порывовъ тайнаго общества, и также ихъ полной безуспѣшности и нескладности. Католическое доктринерство, вывезенное изъ-за границы или тамъ усовершенствованное, придало его теоріямъ ту нетерпимую исключительность, которая должна была еще усилить его домашнія впечатлѣнія. Вернувшись въ Россію, онъ не нашелъ лучшихъ друзей: время перемѣнилось такъ, что сначала ему не съ кѣмъ было подѣлиться мыслью; наконецъ, одиночество и хандра собрали въ воображеніи Чаадаева всѣ мрачныя стороны русской жизни, и онѣ съ небывалой до тѣхъ поръ горечью высказались въ „Письмѣ". Чаадаевъ, вѣроятно, справедливо въ своей „Апологіи" указывалъ на болѣзненное настроеніе, въ которомъ была писана его статья.

Скептицизмъ Чаадаева завершаетъ то, что высказывалось отрицательнаго въ русскомъ обществѣ и литературѣ. Люди тайнаго общества были вооружены противъ положенія вещей: Пушкинъ въ молодости сталъ какъ будто сатирическимъ органомъ тогдашнихъ либераловъ и изображалъ разочарованіе Онѣгина; Грибоѣдовъ писалъ филиппики своего Чацкаго: неизвѣстный авторъ письма 1824 г. высказывалъ объ умственномъ состояніи русскаго общества мысли, который иногда очень родственны съ мыслями Чаадаевскаго „Письма". Если собрать всѣ эти симптомы сомнѣнія, которые высказывались у наиболѣе мыслящихъ людей того времени—мы найдемъ, что скептицизмъ Чаадаева имѣетъ свою родословную. Чаадаевъ только возвелъ эти сомнѣнія въ систему, распространилъ ихъ на прошедшее (либералы уже не вѣрили въ историческія картины Карамзина), и, наконецъ, далъ своей системѣ доктринерное основаніе...

Историки нашей литературы любятъ указывать въ нашемъ національномъ характерѣ ту готовность къ самообличенію, яркія доказательства которой они видѣли въ непрерывающемся рядѣ сатиры со временъ Кантемира. Надобно сказать, однако, что когда Чаадаевъ поставилъ эту готовность въ серьезное испытаніе,

она оказалась не такъ велика [1]), или что она есть только въ извѣстномъ избранномъ кругѣ. Общество, которое дѣлало уже имена Кантемира, фонъ-Визина, Державина, Крылова, наконецъ Грибоѣдова, Пушкина и пр. предметами своей гордости, не могло вынести *этого* обличенія. Чаадаевъ въ „Апологіи" указываетъ странное явленіе, что вслѣдъ за проклятіями его „Письму", эта самая публика выслушивала и превозносила „Ревизора", гдѣ русская жизнь вовсе не была польщена. Но искусство имѣетъ свои привилегіи—и вмѣстѣ съ тѣмъ, художественная литература, даже у самого Гоголя, никогда не открывала отрицательной стороны жизни въ такой наготѣ, въ такой безусловной ясности. Въ самомъ Гоголѣ масса слишкомъ легко теряла общій смыслъ за шуткой, которая напоминала ей смѣшные водевили, Гоголь въ „Разъѣздѣ" превосходно изобразилъ впечатлѣнія комедіи въ большинствѣ публики, и въ концѣ концовъ истинный смыслъ произведенія пришлось объяснить самому автору. Наконецъ, и Гоголь также имѣлъ ожесточенныхъ враговъ. „Письмо" Чаадаева не представляло никакого смягчающаго элемента: несообразности и бѣдность русской жизни, какія отдѣльными чертами уже давно бросались въ глаза образованнѣйшимъ людямъ,—всѣ эти тяжелыя мысли, накопившіяся многими рядами разочарованій, были собраны здѣсь въ одномъ фокусѣ.

„Письмо" Чаадаева, какъ и его „Апологія" (вѣроятно извѣстная въ свое время только дружескому кругу) поражали серьезностью своего тона: каковы бы ни были ихъ ошибки, теперь очень видныя, онѣ рѣзко выдѣляются своимъ тономъ изъ массы литературы. Это—уже не та условная литература, которая съ ребяческою важностью занималась отведенными ей предметами или говорила о предметахъ дѣйствительно серьезныхъ, только ставя ихъ въ приличное отдаленіе отъ русской жизни: это—совсѣмъ иной уровень, иная складка мысли,—тотъ уровень, въ которомъ (повторяемъ: даже предполагая ошибки въ содержаніи) чувствуется прочное созрѣваніе общественной мысли.

Обратимся къ „Письму", какъ оно представлялось въ тогдашнихъ условіяхъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что масса общества, вооружившаяся противъ Чаадаева, обнаружила большое малодушіе и умственную несостоятельность. Біографъ Чаадаева разсказываетъ, что около мѣсяца въ Москвѣ почти не было дома, гдѣ бы не говорили про Ча-

[1]) Передъ тѣмъ, „Горе отъ ума" долго казалось невозможнымъ въ нашей печати. Много другихъ цензурныхъ вопросовъ того времени такимъ же образомъ возводились на степень вопросовъ государственной важности.

адаевскую статью, что люди всѣхъ слоевъ и категорій общества соединились въ одномъ общемъ воплѣ проклятія человѣку, дерзнувшему оскорбить Россію; что студенты московскаго университета изъявляли, какъ говорятъ, желаніе съ оружіемъ въ рукахъ мстить за оскорбленіе націи. Только небольшое просвѣщенное меньшинство находило статью замѣчательной и собиралось отвѣчать на нее научнымъ опроверженіемъ... Чаадаевъ справедливо говоритъ въ „Апологіи", что эту бурю произвела ребяческая непривычка къ мышленію. Вся опасность (если кто видѣлъ опасность) выставленныхъ мнѣній легко могла быть устранена одной свободой ихъ обращенія и ихъ обсужденія со стороны другихъ. Къ сожалѣнію, обстоятельства сдѣлали это невозможнымъ, — въ результатѣ умственная дѣятельность общества еще лишній разъ была запутана.

Свобода критики, безъ сомнѣнія, вскорѣ открыла бы слабыя стороны Чаадаева, какъ бы ни взглянула критика на его изображенія настоящаго; она конечно *и тогда* увидѣла бы капитальныя ошибки въ построеніи его системы, въ основномъ представленіи Чаадаева о европейскомъ прогрессѣ. Въ самомъ дѣлѣ, даже съ точки зрѣнія безусловнаго признанія европейскаго прогресса, какой держится Чаадаевъ, его положенія далеко не выдерживали критики. Его историческая теорія могла быть вѣрна развѣ только до XV-го столѣтія, когда еще господствовало превозносимое имъ церковное единство западной Европы: протестантизмъ, съ XVI-го столѣтія разорвавшій это единство, былъ результатомъ того же развитія, и не только не былъ упадкомъ европейской умственной жизни, а былъ напротивъ новымъ ея возбужденіемъ. Папское единство въ прежнемъ смыслѣ было не только поколеблено, но разрушено бозвозвратно: новое религіозное движеніе не было отдѣльной сектой, а напротивъ, обширнымъ движеніемъ, которое увлекло не отдѣльныя части общества, а цѣлыя націи. Протестантизмъ вводилъ новый умственный принципъ, отъ котораго уже не можетъ отказаться исторія религіознаго развитія,—свободу критики, освобожденіе мысли,—и этотъ принципъ составлялъ съ тѣхъ поръ столь необходимую черту европейскаго прогресса, что онъ проникаетъ всѣ направленія жизни и науки, все равно, католической или протестантской. Католической церкви уже скоро пришлось бороться съ научной мыслью, осуждать Коперника, Галилея, наполнять безконечный каталогъ Индекса, и однако въ концѣ концовъ покоряться проклинаемой ею наукѣ. Открытія XV—XVI-го вѣка, вмѣстѣ съ Возрожденіемъ и Реформаціей начинающія новую исторію умственной жизни Европы,

потомъ раціонализмъ и скептицизмъ XVII-го и XVIII-го столѣтій, совершались вовсе не въ духѣ католицизма,— но тѣмъ не менѣе они были господствующими явленіями европейскаго прогресса, которыми и опредѣляется его современный характеръ, не только не поддерживающій католическо-папскаго единства, но положительно его отвергающій.

Чаадаевъ чувствовалъ несовмѣстимость подобныхъ явленій съ его теоріей, и мы видѣли, какъ строго онъ съ своей точки зрѣнія осуждаетъ и Возрожденіе и протестантизмъ. Такимъ образомъ, въ ряду тогдашнихъ направленій европейскаго мышленія теорія Чаадаева являлась тѣсной католической доктриной, которая была скорѣе теоріей реакціонной, чѣмъ теоріей прогресса. Въ нашей литературѣ исторія была однако настолько знакома, что уже въ то время противъ Чаадаева могли быть приведены достаточно сильные историческіе аргументы.

Подобнымъ образомъ противъ него и тогда могли быть приведены достаточно сильныя возраженія по русской исторіи: ему могли, между прочимъ, отвѣчать то самое, что самъ онъ высказалъ потомъ въ „Апологіи". А главное, въ томъ, не прямо высказанномъ, но предполагаемомъ пунктѣ, будто для Россіи былъ необходимымъ именно тотъ путь цивилизаціи, какой выражался католическимъ единствомъ, ему и тогда могли бы сказать, что если самое это единство оказалось исторически несостоятельнымъ, то естественно слѣдовало, что русскому народу для его европейскаго воспитанія не было необходимости обращаться къ принципу, пережитому и покидаемому самой Европой, а напротивъ, надо было остеречься его.

Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя и еще болѣе энергическія возраженія были бы выставлены противъ Чаадаева въ литературѣ, еслибы онъ не подвергся иному обличенію [1]): не будь этого, статья Чаадаева вызвала бы конечно самую оживленную полемику—разумѣя не ругательства квасныхъ патріотовъ и прислужниковъ, что явилось бы, конечно, прежде всего и въ наибольшемъ количествѣ, но полемику со стороны лучшихъ дѣятелей литературы. Публика могла бы убѣдиться, что существованіе Россіи не подвергалось отъ статьи Чаадаева опасности, а для людей серьезныхъ открылась бы борьба мнѣній, которая могли быть не лишена самыхъ оживляющихъ интересовъ, потому что

[1]) Біографъ Чаадаева видитъ особенное великодушіе въ томъ, что Хомяковъ отказался отъ подобнаго спора; но Хомяковъ только исполнилъ литературное приличіе.

статья Чаадаева давала для этого богатый матеріалъ. Но полемика не состоялась...

По словамъ біографа, „безусловно сочувствующихъ и совершенно согласныхъ (съ Чаадаевымъ) не было ни одного человѣка", и этому легко повѣрить: не говоря о большинствѣ, которое просто не понимало возможности подобныхъ вопросовъ, и люди образованные не могли бы войти во всѣ его аргументы и выводы. Нечего говорить, что начинавшаяся славянофильская школа самымъ рѣшительнымъ образомъ протестовала бы противъ подобнаго нарушенія ея идеальныхъ святынь. Люди другого лагеря точно также не приняли бы историческихъ выводовъ Чаадаева. Герценъ, чрезвычайно высоко ставившій Чаадаева по его умственно-возбуждающему значенію, вѣроятно отвергалъ его выводы въ то время также рѣшительно, какъ впослѣдствіи.

Къ сожалѣнію, мы не знаемъ никакихъ отзывовъ людей этого рода о статьѣ Чаадаева, высказанныхъ въ то время. Осталось, кажется, только письмо Пушкина отъ іюля 1830 года, но оно повидимому относится къ послѣднимъ двумъ „Письмамъ" Чаадаева,—по крайней мѣрѣ о первомъ здѣсь ничѣмъ не намекается. Пушкинъ говоритъ объ историческихъ мнѣніяхъ Чаадаева, которыя были для него новы, но не говоритъ ничего объ отрицательномъ изображеніи русской жизни. Отзывъ Пушкина во всякомъ случаѣ любопытенъ, какъ отзывъ человѣка того же поколѣнія и тѣхъ же преданій. Онъ замѣчаетъ отрывочность статьи и предполагаетъ, что изложеніе связано съ предшествовавшими разсужденіями, для читателя неизвѣстными... „Потому,—продолжаетъ онъ,—первыя страницы нѣсколько темны, и я думаю, что вы сдѣлаете лучше, если замѣните ихъ простымъ примѣчаніемъ, или сдѣлаете изъ нихъ извлеченіе. Я готовъ былъ также замѣтить вамъ безпорядокъ и отсутствіе метода во всей статьѣ, но подумалъ, что это—письмо и что *этотъ родъ* извиняетъ и уполномочиваетъ и эту небрежность и это laisser aller. Все, что вы говорите о Моисеѣ, Римѣ, Аристотелѣ, идеѣ истиннаго Бога, древнемъ искусствѣ, протестантизмѣ, все это изумительно по силѣ, *правдѣ* и краснорѣчію. Все, что ни является портретомъ и картиной—все широко, блестяще и грандіозно. Со *взглядомъ* вашимъ на исторію, *мнѣ совершенно новымъ*, я однакожъ не могу всегда согласиться; напримѣръ, я не понимаю ни вашего отвращенія къ Марку-Аврелію, ни вашего предпочтенія Давиду, псалмамъ котораго удивляюсь и я, если только они имъ написаны. Не вижу я также, отчего сильная и наивная живопись Гомера возмущаетъ васъ. Не говоря уже о поэтическомъ досто-

инствѣ, это и по вашему мнѣнію великій историческій памятникъ. Все, что представляетъ кроваваго Иліада, развѣ не находится также и въ Библіи? Вы видите христіанское единство въ католицизмѣ, то-есть въ папѣ. Не въ идеѣ ли оно Христа, которая есть и въ протестанствѣ? Первая идея была монархическою, потомъ сдѣлалась республиканскою. Я дурно выражаюсь, но вы понимаете меня“...

Любопытно, что Пушкинъ видѣлъ въ письмахъ не только теоретическое содержаніе, но и художественное произведеніе— извиняетъ недостатокъ метода формой письма, восхищается картинами. Историческій взглядъ Чаадаева для него новъ, хотя пріемъ этотъ былъ знакомъ и тогда людямъ, изучавшимъ нѣмецкую философію; католической точки зрѣнія Пушкинъ также не замѣтилъ. При всемъ томъ, Пушкинъ вѣрно оцѣнилъ понятіе о христіанскомъ единствѣ, составляющее основу мнѣній Чаадаева, —и хотя, повидимому, не чувствовалъ связи между идеализмомъ Чаадаева, явно католическимъ, и его мнѣніями о Гомерѣ или Маркѣ-Авреліи, но не соглашался съ этими приговорами.

Если Пушкинъ, не занимавшійся философско-историческими вопросами, тѣмъ не менѣе угадывалъ основную ошибку Чаадаева, безъ сомнѣнія ее совсѣмъ ясно поняли бы дѣятели новаго поколѣнія, болѣе изучавшіе эти вопросы.

Тѣмъ не менѣе, статья Чаадаева была событіемъ. Мы не будемъ говорить объ ея значеніи тѣми гиперболическими выраженіями, какія употребляетъ его біографъ, но вліяніе Чаадаева во всякомъ случаѣ несомнѣнно. Статья, прочитанная всѣми, кого интересовалъ предметъ, должна была произвести на людей размышляющихъ сильное впечатлѣніе. Это была одна изъ тѣхъ немногихъ вещей нашей литературы, въ которыхъ говорила не литературная рутина; ставился вопросъ историческаго національнаго существованія. Чаадаевъ ошибался въ своей теоріи, — но въ его статьѣ было нѣсколько поразительныхъ страницъ, которыя посвящены русской дѣйствительности и шли наперекоръ всѣмъ принятымъ мнѣніямъ, и особенно самообольщеніямъ. Можно сказать, что ея отрицаніе шло даже дальше всего того, что могло быть въ мнѣніяхъ самыхъ передовыхъ людей того времени: никто не указывалъ съ такой уничтожающей рѣзкостью на младенчество нашей цивилизаціи, на младенчество нашего сознанія. Нечего говорить о томъ, насколько Чаадаевъ непримиримо расходился съ начинавшейся тогда славянофильской школой. Но, главнымъ образомъ, точка зрѣнія Чаадаева была полной противоположностью тѣмъ взглядамъ, какіе принадлежали системѣ оффи-

ціальной народности: здѣсь статья Чаадаева была сочтена оскорбительнымъ для чести Россіи пасквилемъ, преступленіемъ, святотатствомъ. И не могли иначе судить о ней люди, для которыхъ всѣ вопросы были уже рѣшены, которые утверждали, по-французски: „le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer"... Чаадаевъ въ „Апологіи" не совсѣмъ ошибался въ предположеніяхъ о томъ, изъ какихъ слоевъ общества направилось сильнѣйшее озлобленіе противъ него... Теперь извѣстно, что первое обвиненіе поднялъ противъ него извѣстный Вигель.

Противорѣчіе заявлено было открыто, и отсюда такой взрывъ въ массѣ общества, который не имѣетъ другого подобнаго въ исторіи нашей литературы. И здѣсь историческое значеніе произведенія Чаадаева: заявленіемъ своихъ идей онъ открывалъ путь для критическаго сознанія.

Своимъ суровымъ обличеніемъ недостатковъ русской жизни, высотой указанныхъ имъ требованій европейской цивилизаціи Чаадаевъ, какъ немногіе другіе, способствовалъ уничтоженію того національнаго самообольщенія, которое издавна было одной изъ главнѣйшихъ помѣхъ нашему образованію. Выставляя высокій идеалъ общечеловѣческой цивилизаціи, Чаадаевъ побуждалъ общество возвысить и свои стремленія; почти отчаяваясь въ русской жизни, Чаадаевъ тѣмъ самымъ долженъ былъ вызывать реакцію живыхъ силъ, къ какому бы онѣ лагерю ни принадлежали...

Въ наше время значеніе Чаадаева нѣсколько забыто. Недавно было высказано мнѣніе, что письмо Чаадаева не оказало особенно глубокаго вліянія въ нашей литературѣ и осталось безслѣдно. Едва ли такъ. Прежде всего, историческая роль Чаадаева заключается не въ одномъ этомъ „Письмѣ", погибшемъ, едва увидѣвши печать, но также въ личномъ вліяніи, которое могло совершаться и внѣ литературы, и въ этомъ смыслѣ положеніе Чаадаева можно сравнить съ положеніемъ Станкевича. Это вліяніе Чаадаева началось съ Пушкина [1]) и продолжалось въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Выраженія, въ которыхъ говоритъ о немъ Герценъ, могутъ служить тому достаточнымъ свидѣтельствомъ. Герценъ могъ преувеличивать это значеніе, могъ ошибаться о нравствен-

[1]) Объ ихъ отношеніяхъ достаточно было сказано біографомъ Чаадаева. Тонъ ихъ отношеній виденъ и въ приведенномъ нами письмѣ Пушкина: оно оканчивается такъ: „Пишите же мнѣ, мой другъ, еслибы даже вамъ пришлось бранить меня. Лучше, — говоритъ Экклезіастъ, — слушать наставленія мудраго, нежели пѣсни безумца".

номъ характерѣ Чаадаева, но во всякомъ случаѣ личность, которая своимъ умомъ и мнѣніями могла оказывать впечатлѣніе на такого требовательнаго судью, не могла быть незначительной. Мы приведемъ дальше слова другого замѣчательнаго человѣка того времени, изъ которыхъ видно, что такое же значеніе придавали Чаадаеву и въ совершенно противуположномъ лагерѣ. За Чаадаевымъ оставалась память его статьи, и онъ дѣятельно участвовалъ своими мнѣніями въ тѣхъ бесѣдахъ и спорахъ, которые въ то время пріобрѣли важное образовательное значеніе и въ которыхъ, за отсутствіемъ свободной литературы, велось развитіе идей и опредѣлялись мнѣнія.

Поставленный между двумя партіями, существенно идеалистическими, скептицизмъ Чаадаева относительно русской жизни былъ, конечно, ближе къ той, которая настаивала на принципахъ европейской цивилизаціи, но онъ служилъ для обѣихъ сильнымъ возбужденіемъ къ провѣркѣ понятій. Онъ подавалъ примѣръ независимости мысли, потому что, несмотря на малодушныя уступки въ минуту страха, онъ сохранялъ сущность своихъ мнѣній и, какъ извѣстно изъ разсказовъ, въ сороковыхъ годахъ общій тонъ его былъ таковъ же, каковъ онъ былъ въ тридцатыхъ годахъ. У него была готова остроумная насмѣшка, когда національное самомнѣніе впадало въ крайности, онъ оживлялъ споръ и освѣщалъ предметъ съ новой, неожиданной стороны. То время особенно занято было стремленіемъ опредѣлить философски начала національной жизни и доказать ихъ исторически, и еще въ письмахъ 1829 г. Чаадаевъ настаиваетъ на необходимости историческаго изученія. Историческая критика, по его понятіямъ, должна была стать высокой умственной силой: она должна была „уничтожить всѣ историческіе фантомы, разрушить всѣ ложные образы, для того, чтобы, представивъ уму прошедшее въ его истинномъ свѣтѣ, она могла вывести изъ него какія-нибудь несомнѣнныя заключенія для настоящаго и съ увѣренностью обратить взглядъ на безконечныя пространства, которыя развертываются передъ нею“. „Только возвращаясь (историческимъ изученіемъ) къ своимъ протекшимъ существованіямъ, — говоритъ онъ тамъ же, — массы и отдѣльныя лица научатся исполнять свои предназначенія; только въ ясномъ пониманіи прошедшаго они найдутъ силу дѣйствовать на свое будущее“. „Серьезная мысль нашего времени, — говоритъ онъ въ „Апологіи“, — требуетъ именно суроваго размышленія, искренняго анализа тѣхъ моментовъ, гдѣ жизнь обнаруживалась у народа съ большей или меньшей глубиной, гдѣ его общественный принципъ выказался во всей своей

истинѣ,—потому что здѣсь будущее, здѣсь элементы его возможнаго прогресса". Этого и доискивались въ слѣдующія десятилѣтія наши историки; за столкновеніемъ ихъ теорій Чаадаевъ слѣдилъ съ особеннымъ интересомъ. Слишкомъ преувеличенно видѣть въ немъ преобразователя историческаго метода, какъ видитъ его біографъ; но косвенное и возбуждающее вліяніе его не подлежитъ сомнѣнію.

Его крайнее сомнѣніе относительно русской жизни было той точкой перелома, откуда начинался новый періодъ въ нашемъ умственномъ развитіи, перелома, которому въ литературѣ художественной соотвѣтствуетъ появленіе сатиры Гоголя. Въ дѣятельности, какъ и въ личномъ характерѣ Чаадаева было много недостатковъ; въ его понятіяхъ было много ошибочнаго, но чтобы судить подобнаго рода недостатки и ошибки мнѣній, необходимо брать ихъ въ связи съ общими условіями. Чаадаевъ находилъ, что нашимъ умамъ вообще недостаетъ основательности, логики, и онъ былъ правъ, потому что дѣйствительно ни одна мысль, касавшаяся общественныхъ отношеній, не находила у насъ правильнаго и полнаго развитія. Многообразныя стѣсненія, связывавшія нашу умственную жизнь и приводившія къ этимъ послѣдствіямъ, отразились и въ самыхъ построеніяхъ Чаадаева: предоставленный личнымъ силамъ, безъ возможности открытаго развитія своихъ понятій, безъ провѣрки, Чаадаевъ рядомъ съ высокими идеальными требованіями впадаетъ въ самыя странныя заблужденія, отзывавшіяся его личнымъ мистицизмомъ, и которымъ не могли ни мало сочувствовать самые горячіе его поклонники.

Мы упоминали о томъ, какъ высоко ставилъ Чаадаева Герценъ, писатель той школы, съ которой Чаадаевъ соглашался въ высокомъ представленіи объ европейской цивилизаціи и во враждебномъ отношеніи къ исключительной національности, этой „географической добродѣтели", отличавшей славянофиловъ и школу оффиціальной народности. Но почти съ неменьшей симпатіей относились къ Чаадаеву люди, которые по всему характеру своихъ понятій должны были быть и были его заклятыми теоретическими противниками. „Почти всѣ мы знали Чаадаева,—говорилъ Хомяковъ въ засѣданіи московскаго общества любителей русской словесности, 28 апрѣля 1860,—многіе его любили, и, можетъ быть, никому не былъ онъ такъ дорогъ, какъ тѣмъ, которые считались его противниками. Просвѣщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце,—таковы тѣ качества, которыя всѣхъ къ нему привлекали: но въ такое время, когда повидимому мысль погру-

жалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ особенно былъ дорогъ тѣмъ, что онъ и самъ бодрствовалъ, и другихъ побуждалъ,—тѣмъ, что въ сгущающемся сумракѣ того времени онъ не давалъ потухать лампадѣ и игралъ въ ту игру, которая извѣстна подъ именемъ: „живъ курилка". Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга. Еще болѣе дорогъ онъ былъ друзьямъ своимъ какою-то постоянною печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума... Чѣмъ же объяснить его извѣстность? Онъ не былъ ни дѣятелемъ-литераторомъ, ни двигателемъ политической жизни, ни финансовою силою, а между тѣмъ имя Чаадаева извѣстно было и въ Петербургѣ, и въ большей части губерній русскихъ, почти всѣмъ образованнымъ людямъ, не имѣвшимъ даже съ нимъ никакого прямого столкновенія"... Хомяковъ, съ своей точки зрѣнія, приписываетъ извѣстность Чаадаева тому, что онъ жилъ и умственно дѣйствовалъ въ Москвѣ—потому что, „гдѣ бы ни былъ центръ государственный, Москва не перестала и никогда не перестанетъ быть общественною столицей русской земли". Москва, конечно, способствовала обширной извѣстности Чаадаева тѣмъ свойствомъ создавать себѣ авторитеты, о которомъ упоминаетъ біографъ Чаадаева: но лучшій источникъ извѣстности Чаадаева былъ безъ сомнѣнія въ томъ, что когда прошелъ первый пылъ негодованія противъ него, общество снова обратило на него свою благосклонность по тому чувству, которое въ „сгущающемся сумракѣ" того времени отдавало уваженіе проявленіямъ независимой мысли: эти проявленія составляли большую рѣдкость.

„Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами,—говоритъ Чаадаевъ.—Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что прошло время слѣпыхъ амуровъ, что теперь мы, прежде всего, обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его". Мы не скажемъ, что Чаадаевъ не имѣлъ права на эти слова.

V.

РАЗВИТІЕ НАУЧНЫХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ „НАРОДНОСТИ".

Внѣ точки зрѣнія системы оффиціальной народности, представлявшей неподвижное преданіе,—сущность умственныхъ интересовъ, какіе развивались въ тѣ времена, сводится къ двумъ различнымъ и во многихъ отношеніяхъ противоположнымъ взглядамъ, которые высказывались славянофилами и ихъ противниками. Оффиціальная „народность" была полное подтвержденіе, посильное теоретическое оправданіе и восхваленіе status quo. Живое развитіе литературныхъ идей начало съ того, что покинуло эту почву: поставивши себѣ задачей критическое изслѣдованіе, оно тѣмъ самымъ стало въ оппозиціонное отношеніе къ принятому образу мыслей литературному, а также и общественному. Первый, рѣзкій примѣръ этого выразился въ скептицизмѣ Чаадаева. Дальнѣйшею ступенью развитія были съ одной стороны славянофилы, съ другой—такъ-называемые западники. Та и другая школы опредѣлились полнѣе только уже въ сороковыхъ годахъ, и образовались не вдругъ, а мало-по-малу. Переходомъ къ нимъ, отъ прежняго романтическаго либерализма, послужило то распространеніе нѣмецкой философіи въ тридцатыхъ годахъ, котораго такъ опасался Пушкинъ для нашихъ молодыхъ умовъ, и въ которомъ эти умы дѣйствительно отдалились отъ мнѣній, принятыхъ большинствомъ, и получили подготовку къ новымъ, ими поставленнымъ вопросамъ. Новыя направленія, начавъ съ отвлеченной философіи, скоро перешли къ вопросамъ національной жизни, и впервые стремились поставить ихъ критическимъ образомъ, найти имъ философско-историческое основаніе и вывести практическія послѣдствія.

Но прежде, чѣмъ перейти къ этимъ двумъ школамъ, мы сдѣ-

лаемъ небольшое отступленіе, чтобы сдѣлать краткій очеркъ развитія тѣхъ изученій, которыя должны были въ то время давать матеріалъ для того и другого рѣшенія о нашей „народности“, и указать относительное значеніе этихъ изученій сравнительно съ ихъ послѣдующимъ объемомъ.

Новыя литературныя школы отличались отъ прежняго романтизма между прочимъ тѣмъ, что болѣе ясно сознавали тѣсную связь своего теоретическаго образа мыслей съ оцѣнкой практическаго положенія вещей; ихъ идеи не оставались такъ легко одними отвлеченными понятіями или сантиментальными стремленіями,—напротивъ, имъ нетрудно было переводить ихъ на практическое требованіе.

Обѣ школы, какъ ни были различны по содержанію, въ своемъ внѣшнемъ положеніи были одинаково связаны господствующими нравами и стѣснены въ изслѣдованіи. Обѣ стояли выше этихъ нравовъ, и обѣ становились внѣ системы оффиціальной народности, хотя славянофилы были къ ней во многомъ очень близки и иной разъ даже сливались съ ней. Обѣ школы искали, каждая по-своему, бо́льшей свободы общественной мысли, и ихъ должно было нравственно соединить это сходство ихъ критическаго отношенія къ господствующимъ нравамъ, но, къ сожалѣнію, онѣ не съумѣли должнымъ образомъ понимать другъ друга (въ особенности славянофилы—понимать своихъ противниковъ). Въ своемъ содержаніи двѣ школы расходились до противоположности: онѣ различно смотрѣли на русскую исторію, слѣдовательно, на все прошедшее и настоящее русскаго общества, но сходились въ томъ, что переживаемое время считали рѣшительнымъ моментомъ, поворотомъ въ общественной исторіи. Особеннымъ пунктомъ разногласія были взгляды на реформу Петра Великаго, которая для однихъ была великое національное событіе, введеніе Россіи на путь европейской цивилизаціи; для другихъ почти бѣдствіе, лишившее Россію ея истиннаго національнаго развитія, —но оба направленія въ настоящую минуту считали дѣло „реформы“ конченнымъ, одинаково думали, что для русскаго общества наступилъ періодъ самосознанія и самостоятельности. Этою самостоятельностью каждая сторона считала свою собственную школу, особенно славянофилы, которые приписывали своимъ идеямъ спеціально русское, народное значеніе и видѣли въ нихъ истинное выраженіе народнаго духа. Это была философско-мистическая вѣра. Ихъ противники, болѣе скептическіе, видѣли недостатки дѣйствительности, понимали возможность лучшаго, и этотъ

разрывъ съ господствующими недостатками настоящаго считали новой эпохой русской мысли, если еще не русской жизни.

Мы видѣли, что сестема оффиціальной народности также высказывала мысль объ окончательной самобытности нашего развитія, которая опиралась главнымъ образомъ на военномъ и политическомъ значеніи Россіи, но система настаивала на патріархальныхъ началахъ, не допуская никакой свободы для критической мысли.

Такимъ образомъ, это было болѣе или менѣе общее представленіе. Два направленія, о которыхъ теперь говоримъ, конечно меньше придавали значенія аргументу матеріальной силы, но когда западники признавали одну цивилизацію, къ которой надо было примкнуть и русскому народу,—по мнѣнію славянофиловъ, довольно согласному съ тогдашними оффиціальными мнѣніями, для Россіи наступало время заявить начала славянской цивилизаціи, какъ для цивилизаціи западной наступало время паденія.

Съ тѣхъ поръ и донынѣ мы постоянно встрѣчаемся въ нашей литературѣ съ этимъ самомнѣніемъ, неизлеченнымъ бывшими опытами, которое высокомѣрно относится къ Европѣ не только политической, но и умственной, заявляетъ притязаніе учить заблудившійся Западъ и навязываетъ себя славянскому міру: мы теперь обратились къ народнымъ источникамъ своей жизни, и черпая изъ нихъ, наконецъ не нуждаемся въ руководствѣ, начинаемъ свою собственную цивилизацію и можемъ предоставить Европу ея судьбѣ. Эта судьба и теперь представляется многимъ какъ безъисходное заблужденіе, начавшееся разложеніе.

Насколько же оправдывалось это національное высокомѣріе фактами нашей общественной и умственной жизни? И съ другой стороны, насколько можно было бы считать дѣло Петровской реформы законченнымъ?

Каковы были факты, которыми могла опредѣляться степень общественнаго самосознанія и въ особенности факты изученія народной жизни, которое въ ту пору оставалось единственной мѣркой самосознанія, потому что нравы не допускали никакихъ другихъ его проявленій и примѣненій?

При всей исторической заслугѣ передовыхъ людей того времени, должно сказать, что предѣлы „самосознанія" были тогда весьма ограничены.

Противъ него прежде всего и сильнѣе всего говорило внутреннее состояніе самого общества: оно не представляло и тѣни самодѣятельности, безъ которой трудно было бы вообразить вообще какую-нибудь сознательную самобытность національнаго принципа,

о которой говорили славянофилы. Правда, политическая реакція, которая еще продолжалась по прежнему во многихъ государствахъ Европы, могла нѣсколько объяснять заблужденіе нашихъ политиковъ на счетъ общественнаго положенія,—но сопоставленія съ Европой, особенно любимыя славянофилами, съ этой стороны были совершенно неудачны. Должно сказать, что противники славянофиловъ въ этомъ отношеніи понимали вещи гораздо ближе къ истинѣ.

Далѣе, кругъ людей, въ которыхъ шло умственное движеніе, былъ слишкомъ небольшой, и тѣ, за невозможностью ставить прямые общественные и народные вопросы, или за необходимостью выяснить первыя теоретическія понятія, были поглощены общими вопросами—поэзіи, искусства, человѣчности, науки, нравственнаго воспитанія общества, пробужденія основныхъ интересовъ національнаго достоинства и блага.

Эти люди „сороковыхъ годовъ“ въ обоихъ лагеряхъ представляли рядъ замѣчательныхъ умовъ, дарованій и характеровъ, но ихъ было слишкомъ мало, и надо было много времени, чтобы достигнуть былъ массою общества тотъ уровень общественнаго сознанія, гдѣ оно обнаружилось бы практическими результатами. „Народъ“ былъ уже для нихъ тою послѣднею цѣлью, которой должны были служить успѣхи общественнаго прогресса,—но они, какъ и все общество, были отдѣлены отъ этого народа всѣми вѣковыми правами и учрежденіями (начиная съ крѣпостного права). Естественно, что однимъ изъ первыхъ и главнѣйшихъ трудовъ общественнаго сознанія должно было стать изученіе этого народа—научное изслѣдованіе его характера и исторіи, вѣрное художественное воспроизведеніе его жизни.

Въ этомъ и поставляли обѣ стороны заслугу своего времени. Обращеніе къ народу (хотя весьма еще недостаточное и книжное) казалось достаточнымъ для утвержденія, что наша жизнь въ своемъ развитіи кончила съ реформой, а по мнѣнію славянофиловъ кончила и съ Европой. Но любопытно наблюдать, какъ самыя средства самосознанія заимствовались изъ тѣхъ же возбужденій европейской жизни и науки. Въ самомъ дѣлѣ только европейское образованіе могло внушить русскимъ мыслителямъ тотъ просвѣщенный энтузіазмъ, съ которымъ они служили своимъ идеямъ; только оно давало ихъ мысли логическую силу и научную прочность. Пути, которыми они шли къ цѣли, были весьма различны: Хомяковъ, въ дополненіе къ своей національной теоріи, ради скорѣйшаго сліянія съ народомъ, надѣвалъ знаменитые кафтанъ и мурмолку; Герценъ дѣлался соціалистомъ, другіе фурье-

ристами,—но и мурмолка была не непосредственнымъ внушеніемъ народной идеи, а тоже западной выдумкой, а именно такой же романтической демонстраціей [1]), какъ древніе костюмы новѣйшихъ нѣмецкихъ „тевтоновъ", и въ сущности была также искусственна, какъ соціализмъ и фурьеризмъ. Вліяніе европейской литературы и образованности было очень сильное, и тѣмъ самымъ указывало недостаточность умственныхъ средствъ русскаго общества. Самый процессъ „самосознанія" совершался по воздѣйствіямъ европейской науки. Мы вовсе не отвергаемъ при этомъ большого самостоятельнаго труда русской литературы, но хотимъ сказать, что тѣмъ не менѣе „самосознаніе" вовсе не было дѣломъ одного собственнаго и самостоятельнаго созерцанія народности, результатомъ „сліянія" съ народомъ, одного „прикосновенія къ почвѣ". Въ томъ разнообразіи изученій, которыя, въ особенности съ тридцатыхъ годовъ, обращены были на различныя стороны народной исторіи и современнаго быта, и которыя—въ тогдашнихъ условіяхъ—одни могли приготовлять къ нравственно-общественному единству съ народомъ, мы постоянно встрѣчаемся съ различными примѣненіями европейской науки.

Это вліяніе было весьма давнее. Съ восемнадцатаго вѣка умственное развитіе нашего общества представляетъ непрерывное и постоянное европейское вліяніе. Это было параллельное движеніе въ литературѣ художественной, гдѣ постепенно усвоивались европейскія формы и идеальныя представленія, и въ научномъ образованіи, гдѣ съ первыхъ переводовъ, дѣланныхъ по приказаніямъ Петра, постоянно переносились въ наши школы и въ наши книги свѣдѣнія изъ научнаго запаса Европы. Въ XVIII-мъ вѣкѣ въ нашей литературѣ и образованіи отражались, слабымъ образомъ, многоразличныя направленія европейской мысли, теологическія, философскія, нравственно-практическія. Это отраженіе европейскихъ тенденцій стало осязательно въ концѣ прошлаго и первыхъ десятилѣтіяхъ нынѣшняго вѣка. Въ описываемое время это вліяніе становится еще глубже. Если прежде оно дѣйствовало болѣе или менѣе поверхностно и понятія перенимались, какъ мода, внѣшнимъ образомъ, то теперь оно начинаетъ проникать въ самыя основанія мнѣній, создавать школы, словомъ, входить существеннымъ элементомъ въ самый характеръ общественной образованности.

[1]) Мурмолка не сливала, конечно, съ народомъ, но не скажемъ, чтобы она была излишня: эта невинная демонстрація была любопытной пробой оффиціальной народности. Послѣдняя не выдержала этой пробы: народный костюмъ Хомякова показался неприличнымъ, и ему приказывали его снять.

Съ двадцатыхъ годовъ начинается особенная наклонность къ изученію нѣмецкой философіи, въ ея послѣднихъ школахъ. Начиная съ Канта до Гегеля и его учениковъ правой и лѣвой стороны, нѣмецкія системы находили болѣе или менѣе усердныхъ послѣдователей; система Канта еще въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтія излагалась въ нашихъ университетахъ, старыхъ и вновь основанныхъ, непосредственными учениками Канта, приглашенными изъ Германіи профессорами, а также и русскими учеными [1]). Система Шеллинга нашла, кажется, перваго послѣдователя въ Велланскомъ въ началѣ столѣтія, и затѣмъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ имѣла цѣлый рядъ приверженцевъ, которые дѣлали ее основаніемъ своей ученой и литературной дѣятельности [2]). Затѣмъ пришла очередь Гегеля. Извѣстно, какъ сильно было увлеченіе этой философіей въ тѣхъ кружкахъ, изъ которыхъ вышли потомъ наиболѣе вліятельные люди литературы сороковыхъ годовъ. Гегелевская философія была общимъ полемъ, на которомъ сходились и мѣряли свои силы представители обоихъ направленій этой литературы. Философское несогласіе, различное пониманіе отвлеченныхъ положеній предшествовало и сопутствовало тому раздору, который не замедлилъ обнаружиться въ практическихъ воззрѣніяхъ этихъ партій, въ ихъ понятіяхъ литературныхъ, нравственныхъ и національныхъ.

Нѣмецкая философія, вмѣстѣ съ другими вліяніями новой научной критики, о которыхъ скажемъ дальше, была прекраснымъ подготовленіемъ къ изученію національнаго вопроса. Философія очищала для него путь, устраняя прежнія неясныя представленія, существовавшія по преданію или пріобрѣтенныя случайно, и вносила извѣстную логическую систему; исторія, понимаемая съ новой точки зрѣнія, становилась изслѣдованіемъ внутренней жизни народа, объясненіемъ его національной особенности и въ этомъ широкомъ смыслѣ пріобрѣтала значеніе и объемъ, о которыхъ не помышляли прежніе историки. Вліяніе философскихъ изученій дало иной характеръ научной любозна-

[1]) См. Сухомлинова, Матеріалы; Словарь моск. профессоровъ, и Ист. моск. унив. 1855. Кантіанецъ Мельманъ при Екатеринѣ, въ 1795 году, былъ даже высланъ обратно заграницу за то, по показанію „Словаря“, что „несмотря на свою ученость и другія хорошія стороны, нерѣдко, увлекаясь новою философіею, слишкомъ свободно и неосторожно высказывалъ одностороннія и ложныя свои убѣжденія относительно предметовъ религіозныхъ“.

[2]) Свѣдѣнія о школѣ нашихъ шеллингистовъ см. въ статьяхъ г. Скабичевскаго, „От. Зап“. 1870—1871.

тельности и безъ сомнѣнія облегчило усвоеніе новыхъ методовъ, какіе выработаны были въ то время въ наукахъ нравственныхъ и историческихъ. Вновь образовавшіеся у насъ умственные вкусы и потребности искали раціональныхъ основаній для понятій народности, государства, общества. Эти основанія доставлялъ тогда, кромѣ философіи, цѣлый рядъ другихъ изученій—исторія права, сравнительное языкознаніе и миѳологія, исторія и этнографія, въ ихъ новой формѣ, наконецъ политическая экономія, — которыя затѣмъ нашли мѣсто и въ нашей литературѣ.

Нѣмецкая наука считалась тогда высшимъ пунктомъ, какого достигло развитіе человѣческаго мышленія;—и какъ бы мы ни смотрѣли теперь на гордыя притязанія тогдашней философіи, вліяніе ея и вообще европейской науки у насъ было безспорно плодотворно и необходимо, потому что самая наша самостоятельность была немыслима безъ усвоенія критическаго пріема. Наши изслѣдователи естественно брались за то, что считалось лучшимъ умственнымъ оружіемъ, какое только было тогда въ Европѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ходъ нашихъ изученій и нашего „самосознанія“ проникали и тѣ частныя направленія, которыя образовались въ европейской наукѣ подъ вліяніемъ ея особенныхъ условій. Такъ въ наукѣ нѣмецкой, о которой мы преимущественно говоримъ, высказались тенденціи германскаго общества первыхъ десятилѣтій,—гдѣ чувствовались и остатки освободительнаго движенія конца прошлаго вѣка, и господство реакціонно-романтическаго успокоенія и увлеченія стариной, и наконецъ новые зачатки движенія, соотвѣтствовавшіе событіямъ 1830-го и 1848-го годовъ. Эти особенныя черты времени, которыя мы встрѣтимъ вообще въ различныхъ областяхъ тогдашней науки, въ философіи и въ наукѣ права, въ исторіи, сравнительномъ языкознаніи, политической экономіи,—обыкновенно вліяли на общую постановку вопросовъ, обнаруживались въ личныхъ пристрастіяхъ передовыхъ ученыхъ, въ примѣненіяхъ теорій. Понятно, что эти черты европейской науки отражались и у насъ. Мы укажемъ дальше нѣкоторые примѣры этого рода, и замѣтимъ теперь вообще, что не только нѣмецкая (по преимуществу) наука оказала великую помощь нашему пониманію своего прошлаго и своей настоящей дѣйствительности, сообщеніемъ общихъ научныхъ положеній и пріемовъ изслѣдованія,—но передавала при этомъ и свои частныя направленія. Такъ что не только самое наше самосознаніе было въ большой степени обязано европейскому знанію, но даже и нѣкоторыя особенныя тенденціи, которыя считались у насъ собственнымъ нашимъ выводомъ, самымъ настоящимъ результа-

томъ уже достигнутой нами зрѣлости (напр., у славянофиловъ), бывали иногда только повтореніемъ теорій, узнанныхъ въ европейской литературѣ.

Въ развитіи нашей науки о народѣ въ особенности важную роль заняла исторіографія. Исходнымъ пунктомъ ея движенія въ описываемомъ періодѣ была „Исторія государства Россійскаго“ [1]), которая завершила собой предыдущій періодъ нашей исторической литературы. Историческія понятія Карамзина образовались на идеяхъ и вкусахъ XVIII-го вѣка: онъ понималъ исторію какъ искусство; въ частностяхъ онъ доставилъ много замѣчательныхъ изслѣдованій, но, собственно говоря, не далъ исторической системы; преувеличенная идеализація старины и желаніе начать „исторію государства“ съ Рюрика дали совершенно фальшивую постановку первыхъ вѣковъ исторіи; желаніе живописать, разцвѣтить и „раскрасить“ кончалось весьма часто реторикой.

Слѣдующій рядъ изслѣдователей довольно ясно увидѣлъ эти слабыя стороны Карамзина. Въ этомъ рядѣ выступаетъ прежде всего Каченовскій (ум. 1842), начавшій свои работы съ перваго десятилѣтія нынѣшняго вѣка, когда Карамзинъ писалъ первые томы „Исторіи“. Каченовскій сталъ во главѣ такъ-называемой скептической школы. Въ свое время онъ подвергался жестокимъ нападеніямъ всей фаланги писателей, которые клялись именемъ Карамзина; впослѣдствіи, уже по его смерти, Погодинъ считалъ нужнымъ сурово (и не совсѣмъ прилично) обличать основателя скептической школы; но затѣмъ еще новое поколѣніе взяло его подъ свою защиту и вѣрнѣе оцѣнило заслугу Каченовскаго для своего времени [2]). Это не былъ большой талантъ;

[1]) Имя Карамзина давно уже употреблялось „потомствомъ“ для прикрытія извѣстныхъ тенденцій, и по этому случаю имя Карамзина сдѣлали какимъ-то фетишемъ. Воніявшіе за Карамзина въ новѣйшее время запамятовали, какъ относились къ нему ближайшіе преемники его въ русской исторіографіи, и какъ для нихъ уже, сорокъ лѣтъ тому назадъ, при всемъ великомъ уваженіи къ его имени, были видны его слабыя стороны и заблужденія, которыя они много разъ и указывали.

[2]) См. разныя статьи г. Кавелина, въ его Сочин., т. II. Ср. отзывъ г. Рѣдкина въ его автобіографіи: онъ положительно называетъ Каченовскаго „*первымъ критикомъ* отечественной исторіи“, и замѣчаетъ, что „болѣе всѣхъ онъ обязанъ (въ университетѣ) лекціямъ по русской исторіи Каченовскаго, въ отношеніи не столько самаго содержанія, сколько *ученыхъ пріемовъ*“ (Біогр. словарь моск. унив., II, стр. 380). Новую и справедливую оцѣнку Каченовскаго представляетъ еще г. Иконниковъ въ своей книжкѣ: „Скептическая школа въ русской исторіографіи и ея противники“ (изъ Кіев. унив. извѣстій). Кіевъ, 1871. Ср. университетскія воспоминанія Гончарова.

въ его журнальной дѣятельности было много странностей, тяжеловѣсной неловкости; раздраженіе выводило его иногда изъ предѣловъ благоразумія; въ своихъ „скептическихъ“ мнѣніяхъ въ исторіи онъ обыкновенно переступалъ мѣру; во мнѣніяхъ литературныхъ онъ, угрюмый классикъ и старовѣръ, былъ цѣлью остроумія поклонниковъ Карамзина и веселыхъ романтиковъ — при всемъ томъ, дѣятельность Каченовскаго въ русской исторіографіи заслуживаетъ уваженія и не лишена своихъ результатовъ, которыхъ не закроютъ ни нападки его литературныхъ враговъ, ни смѣшныя стороны его журнальной дѣятельности, ни нападки Погодина.

Заслуга Каченовскаго состояла въ постоянной и упорной защитѣ критическаго пріема и права историческаго сомнѣнія. У него не было ни увлеченія реторикой, ни малѣйшаго желанія „раскрасить“ исторію. Единственнымъ авторитетомъ его была научная критика, правила которой онъ извлекалъ изъ примѣра нѣмецкихъ ученыхъ. Первымъ руководителемъ его былъ Шлёцеръ, высоко имъ цѣнимый. Каченовскому одному изъ первыхъ приходилось бороться въ защиту Шлёцера противъ невѣжественныхъ притязаній людей, которые бросали тѣнь на этого писателя и его мнѣнія изъ-за того, что онъ былъ иностранецъ, и при этомъ самихъ себя выставляли защитниками отечества, вѣры и добродѣтели. Защищая Шлёцера, Каченовскій самъ не боялся подобныхъ нареканій и смѣло выступалъ противъ Карамзина, когда послѣдній былъ на верху своей славы и когда стать противъ него значило навлечь на себя ожесточенную вражду его многочисленныхъ поклонниковъ. Написанный Каченовскимъ разборъ Карамзинскаго предисловія, т.-е. общихъ понятій Карамзина объ исторіи, объ основныхъ ея началахъ и требованіяхъ, объ ея моральномъ значеніи, этотъ разборъ [1]) вовсе не такъ незначителенъ, какъ хотѣли представлять приверженцы Карамзина: въ немъ высказано много вѣрныхъ замѣчаній о существенныхъ недостаткахъ Карамзинской манеры и о требованіяхъ исторіи, какъ науки. Въ разборѣ предисловія Каченовскій, между прочимъ, замѣтилъ, что во фразѣ Карамзина: „Знаніе всѣхъ правъ въ свѣтѣ, *ученость нѣмецкая*, остроуміе Вольтерово, ни самое глубокомысліе Макіавелево, въ историкѣ не замѣняютъ таланта изображать дѣйствіе“, —французскіе переводчики „Исторіи“ Карамзина вмѣсто „нѣмецкая“ поставили „обширнѣйшая“. Каченовскій ловитъ ихъ на этомъ: „Французская гордость не разсудила за благо упомянуть

[1]) „Вѣстн. Европы“, 1818—1819.

объ *учености нѣмецкой!* Нѣтъ, милостивые государи! не *обширнѣйшая*, а именно *нѣмецкая* ученость важна для русскаго историка. Признательный авторъ не скрываетъ, кому онъ обязанъ всѣмъ тѣмъ, что̀ объяснено въ древней нашей исторіи, онъ очень знаетъ, что не имѣвши такихъ предшественниковъ, каковы, напримѣръ, *Байеръ, Миллеръ, Тунманнъ, Штриттеръ*, а особливо знаменитый *А. Шлецеръ*, намъ очень мудрено было бы предпринять путешествіе къ храму исторіи; и теперь еще путь къ нему безпрестанно углаживается учеными германцами", и проч.

Дѣйствительно, безъ названныхъ ученыхъ мудренѣе было бы предпринять путешествіе ко храму русской исторіи. Понятно, что при этомъ важно было не столько количество разрѣшенныхъ ими вопросовъ, сколько критическій методъ. Въ этомъ послѣднемъ много научился отъ нихъ и Карамзинъ, въ своихъ частныхъ изслѣдованіяхъ; но Каченовскій ближе держался къ ихъ пріемамъ, и уже не поддавался той сантиментальности, которая въ Карамзинѣ казалась такъ увлекательна для массы читателей и такъ не нравилась людямъ съ болѣе строгими требованіями.

Новымъ шагомъ въ его ученыхъ мнѣніяхъ было знакомство съ Нибуромъ. Знаменитая книга Нибура о римской исторіи (1811 — 32) произвела на Каченовскаго сильное впечатлѣніе какъ цѣлая система критики, выходящей изъ историческаго скептицизма. Признанное высокое достоинство трудовъ Нибура было для него ручательствомъ, что наука оправдываетъ тѣ скептическіе пріемы, которые были употреблены имъ самимъ. Онъ сталъ пользоваться ими смѣлѣе, и уже вскорѣ началъ съ меньшимъ довѣріемъ относиться къ самому Шлёцеру. Въ нашей литературѣ Нибуръ былъ, кажется, впервые указанъ Лелевелемъ, въ его статьяхъ объ исторіи Карамзина [1]). Затѣмъ сталъ говорить о новой критикѣ Каченовскій [2]). „Мы стоимъ на прагѣ неожиданныхъ перемѣнъ въ понятіяхъ нашихъ о ходѣ происшествій на сѣверѣ въ давно-минувшіе вѣка. Наступитъ время, когда мы удивляться будемъ тому, что съ упорствомъ и такъ долго оставались во мглѣ предубѣжденій, почти невѣроятныхъ. Утѣшимся же, если мысль сія можетъ показаться непріятною для самолюбія нашего! Примѣръ передъ глазами: таковы ли нынѣ первые вѣка Рима, какими представлялись они взорамъ ученыхъ до Нибура?" Онъ думалъ, что можетъ примѣнить тѣ же требованія къ русской старинѣ, и смѣло беретъ на себя отвѣтственность своихъ

[1]) Сѣв. Архивъ, 1822—23.
[2]) „Вѣстн. Евр." 1826, и далѣе.

сомнѣній и отрицаній. „Очень понимаю, — говоритъ онъ, приступая къ изложенію своихъ скептическихъ мнѣній о Русской Правдѣ, противъ послѣдователей Карамзина, — на что отваживается изслѣдователь, дерзающій отвергать положеніе, принятое всѣми за истину очевидную, несомнительную, не требующую никакихъ доказательствъ, не уязвленную никакими стрѣлами опроверженій, запечатлѣнную довѣріемъ Татищева, Шлёцера, князя Щербатова, Болтина, Карамзина, Раковецкаго, Эверса, скажу болѣе, за истину, освященную благороднымъ патріотизмомъ соотечественниковъ, гордящихся величественною мыслію, что Россія во времена столь отдаленныя уже имѣла систему своихъ писанныхъ законовъ. Можетъ быть, навлеку на себя тучу возраженій; но я самъ нетерпѣливо буду ждать оныхъ... Цицеронъ упоминаетъ о двухъ непреложныхъ законахъ для исторіи: 1) не смѣть говорить ничего ложнаго; 2) смѣло предлагать истинное" и проч.

Сомнѣнія Каченовскаго, въ самыхъ существенныхъ пунктахъ, оказались несостоятельными; но онъ первый настаивалъ на необходимости строго наблюдать общую вѣроятность историческихъ данныхъ о древнемъ періодѣ, и если преувеличилъ черезъ мѣру свои отрицанія, то первый, конечно, внушилъ болѣе здравый и естественный взглядъ на русскую старину, чѣмъ какой распространяла „Исторія государства Россійскаго". Его отвращеніе къ патріотической реторикѣ особливо замѣчательно въ то время, когда она была всеобщей манерой относиться къ прошедшему (и настоящему). Приведенные выше отзывы его учениковъ и людей, еще заставшихъ конецъ его дѣятельности, удостовѣряютъ, что Каченовскій казался учителемъ исторической критики людямъ, за которыми должно признать пониманіе дѣла и знаніе старой русской исторіи.

За Каченовскимъ, какъ писатель также весьма характеристическій, слѣдуетъ Полевой. Онъ былъ забытъ очень скоро; его сочиненія — разумѣемъ сочиненія его перваго періода, въ „Телеграфѣ" и въ „Исторіи Русскаго Народа" — исполненныя слишкомъ поспѣшно, давно потеряли значеніе и вспоминаются только исторически; при всемъ томъ „Исторія Русскаго Народа" была по времени явленіе замѣчательное. Какъ у Каченовскаго, такъ и у Полевого главной задачей было примѣнить къ русской исторіи тѣ выводы и методы изслѣдованія, какіе были тогда выработаны европейской наукой. Въ своемъ журналѣ, который въ первомъ десятилѣтіи описываемаго періода былъ, безъ сомнѣнія, лучшимъ отголоскомъ тогдашней умственной жизни, онъ постоянно ука-

зывалъ новыя явленія европейской науки, которыя, по его мнѣнію, должны были быть восприняты нашею образованностью и примѣнены къ изученію русской жизни. Его раздражало незнакомство нашего общества съ этими успѣхами европейскаго знанія, и онъ съ лихорадочною поспѣшностью стремился усвоить ихъ нашей литературѣ. „У насъ—говорилъ онъ съ досадой въ своемъ журналѣ—переводятъ нѣмецкую дрянь прошлаго вѣка, подъ именемъ исторій, географій, юридическихъ книгъ, и въ голову не придетъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, ни Савиньи". Досада была справедлива.

Полевой вполнѣ признавалъ заслугу Карамзина. „Онъ создавалъ и матеріалы, и сущность, и слогъ исторіи; былъ критикомъ лѣтописей и памятниковъ, генеалогомъ, хронологомъ, палеографомъ, нумизматомъ. Своимъ трудомъ отъ вызвалъ рядъ послѣдователей и издателей матеріаловъ. Таковы гр. Румянцевъ, Калайдовичъ, Строевъ, Погодинъ, Востоковъ. Самая Академія Наукъ какъ будто ожила", и проч. Но Полевой столько же видѣлъ и недостатки Карамзина. Онъ прекрасный разсказчикъ, его великая заслуга состоитъ въ томъ, что по своему изящному изложенію книга его дѣлаетъ исторію доступной для всякаго читателя: но Карамзину совершенно недостаетъ историческо-философской мысли, которая бы давала смыслъ историческому развитію народа: недостаетъ истиннаго отношенія къ предмету— почему онъ переноситъ свои понятія на отдаленную древность; гдѣ онѣ были непримѣнимы; изъ дурно понятой любви къ отечеству подкрашиваетъ исторію и т. д. Упреки были опять совершенно справедливы, и въ „Исторіи Русскаго Народа", писанной какъ будто въ антитезъ „Исторіи государства Россійскаго", найдется не мало замѣчаній, гдѣ Полевой вѣрно исправляетъ ошибки Карамзина, и если самъ не угадываетъ историческаго пріема, то подходитъ къ нему очень близко.

Главными образцами Полевого въ исторической критикѣ были, на первомъ планѣ, Нибуръ, „первый историкъ нашего вѣка" (которому онъ нѣсколько простодушно и вмѣстѣ хвастливо посвятилъ свою книгу), затѣмъ въ особенности Гизо, Тьерри, Гееренъ. Это были дѣйствительно замѣчательнѣйшія имена тогдашней исторической науки, и изъ нихъ можно видѣть, къ чему стремился Полевой въ своей книгѣ. Онъ хочетъ писать „философскую" исторію, которая не останавливалась бы на одной внѣшности событій, не разсказывала только единичные факты, наружно связанные хронологіей, но раскрывала бы ихъ внутреннія основанія и развитіе, необходимую послѣдовательность и т. д.

Поэтому онъ пишетъ исторію не государства, а „народа", старается отыскать въ его судьбахъ общія явленія, управляющія событіями, опредѣлить основныя формы быта, смѣнявшіяся въ различные періоды, и т. д.

Исполненіе не отвѣтило планамъ, но книга Полевого не лишена отдѣльныхъ весьма вѣрныхъ замѣчаній объ этой „внутренней" жизни и заявила требованія, которыхъ уже не могли обойти послѣдующіе историки. Опровергнуть его теорію было бы не трудно, но для этого нужно было выработать также теорію. Послѣ Полевого изученіе русской исторіи замѣчательно расширяется именно въ теоретическомъ направленіи, въ стремленіи освѣтить общимъ принципомъ отдѣльные факты исторической жизни, на чемъ Полевой настаивалъ [1]).

Въ тридцатыхъ годахъ въ нашей наукѣ обнаружилось особенное движеніе, можно сказать, начинается новый періодъ въ нашей исторіографіи. Внѣшнее основаніе къ этому дала правительственная инипіатива, открывшая возможность новыхъ историческихъ предпріятій: таковы были учрежденіе археографической экспедиціи, мѣры для образованія новыхъ профессоровъ въ наши университеты. Изданіе памятниковъ было до тѣхъ поръ почти исключительно дѣломъ частныхъ лицъ: памятное имя графа Румянцова стоитъ во главѣ людей, которые способствовали трудамъ этого рода. Теперь явилась мысль, что собраніе историческихъ памятниковъ должно быть и дѣломъ правительства, какъ предпріятіе, служащее къ національной славѣ. Особая экспедиція объѣхала значительную часть Россіи и собрала массы матеріала; начались изданія Археографической коммиссіи, которыя стали съ тѣхъ поръ основаніемъ для изслѣдованій о русской древности, —хотя самыя изданія, при тогдашнихъ ученыхъ силахъ, и не были вполнѣ удовлетворительны. Съ другой стороны, приняты были мѣры къ улучшенію ученаго сословія. Основанъ былъ такъназываемый профессорскій институтъ—въ Дерптѣ, гдѣ, какъ полагалось, всего удобнѣе можетъ быть почерпнута нѣмецкая наука. Образовавшіеся тамъ профессора дѣйствовали до недавнихъ годовъ, и нельзя не признать, что большинство изъ нихъ сумѣло усвоить правильные научные методы, выработанные ученой Германіей. Затѣмъ много будущихъ профессоровъ отправлено было для довершенія своихъ изученій заграницу; между ними были

[1]) Полной картины дѣятельности Полевого до сихъ поръ нѣтъ. Лучшей литературной біографіей его остается извѣстная статья Бѣлинскаго, 1846 (Сочин., т. XII). Много любопытнаго въ воспоминаніяхъ Ксеноф. Полевого; но крайнія пристрастія автора заставляютъ относиться ко многимъ его показаніямъ съ недовѣріемъ.

также лица, выбранныя особо для изученія законовѣдѣнія, по мысли Сперанскаго, который, рядомъ съ составленіемъ Полнаго Собранія и Свода Законовъ, хотѣлъ приготовить школу раціональныхъ юристовъ. Правительство имѣло въ виду практическія цѣли, но и по его мнѣнію единственнымъ средствомъ къ ихъ достиженію было обращеніе къ нѣмецкой наукѣ. Въ то время (въ первыхъ тридцатыхъ годахъ) нѣмецкіе университеты и наука не казались правительству такъ подозрительны, какъ было прежде и какъ еще случилось послѣ. Господствующія школы и личности тогдашней нѣмецкой науки шли изъ той среды, которая стремилась успокоиться отъ политическихъ волненій; съ одной стороны господствовала умѣренная школа Гегелевской философіи, которая искала примиренія съ дѣйствительностью и стала государственной прусской философіей, а съ другой была на верху своей славы знаменитая историческая школа права,—школа, по своимъ принципамъ преимущественно консервативная. Сперанскій именно адресовалъ своихъ кліентовъ къ Савиньи, главѣ школы, и отдалъ ихъ подъ его непосредственное руководство. Савиньи и другія знаменитости берлинскаго и другихъ университетовъ Германіи, принадлежавшіе отчасти къ той же школѣ, стали вообще авторитетами для нашихъ юристовъ и историковъ. Въ біографіяхъ этихъ послѣднихъ и ихъ собственныхъ разсказахъ о томъ времени можно видѣть, какое сильное впечатлѣніе производила на нихъ эта наука, которую они видѣли здѣсь во-очію въ ея знаменитѣйшихъ представителяхъ, съ авторитетомъ глубокаго знанія и строгой системы: это была умственная сила, которой они готовились быть участниками и въ которой почерпали сознаніе своей задачи и своего достоинства [1]).

Эти странствованія русскихъ ученыхъ заграницу и близкое ознакомленіе съ нѣмецкой наукой составили, безъ сомнѣнія, большую образовательную силу. Мы видѣли изъ примѣровъ Каченовскаго и Полевого, что запросъ на эту науку ясно высказывался въ литературѣ еще ранѣе, чѣмъ явилась эта возможность непосредственно черпать изъ нѣмецкаго источника: Каченовскій преклонялся передъ Нибуромъ; Полевой, кромѣ Нибура, зналъ Савиньи, Риттера и проч. Литература едва ли не была еще слишкомъ слабосильна, чтобы самой усвоить произведенія этихъ и подобныхъ имъ ученыхъ; Риттеръ и Савиньи на русскомъ языкѣ

[1]) См., напр., біографіи Неволина, Рѣдкина, Крылова и проч.; статьи А. Благовѣщенскаго (также одного изъ посланныхъ тогда заграницу), въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1835, ч. VI, Исторія и методъ науки законовѣдѣнія; о воспитанникахъ Сперанскаго, въ „Р. Вѣстн.“ 1871 и друг.

въ то время едва ли бы нашли достаточно читателей. Посланный за границу контингентъ усвоивалъ результаты нѣмецкой науки изъ прямого знакомства съ замѣчательнѣйшими личностями и ученіями Германіи: отчасти наши ученые еще застали самого Гегеля, а потомъ его ближайшихъ учениковъ; юристы слушали Савиньи, Кленце, Эйхгорна, Рудорфа, Ганса; юристы и историки слушали и изучали Ранке, Риттера, Бёка, Шлейермахера и т. д. Были, наконецъ, любознательные люди, которые безъ оффиціальныхъ порученій проходили ту же школу, какъ Ив. Кирѣевскій, нѣсколько позднѣе Станкевичъ и многіе другіе. Возвратившіеся ученые заняли каѳедры права и исторіи въ университетахъ и, внося новые методы науки вообще, вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣтили новый періодъ и въ изученіяхъ собственной русской жизни. Таковы въ ученой разработкѣ права и въ профессорскомъ преподаваніи имена Неволина, Калмыкова, Куницына, Иванишева, Рѣдкина, Крылова, не упоминая людей менѣе замѣчательныхъ. Уже въ слѣдующемъ десятилѣтіи результаты новыхъ вліяній оказались на изученіи русскаго права и вообще русской исторіи: съ одной стороны впервые примѣнены были къ древнимъ памятникамъ строгіе пріемы историко-юридической критики, съ другой расширилась общая историческая точка зрѣнія. Ближайшее поколѣніе ученыхъ, образовавшихся уже въ Россіи, но подъ вліяніями этой вновь пересаженной науки, ставитъ изученіе русской исторіи совершенно новымъ, оригинальнымъ образомъ: это была первая раціональная критика основныхъ элементовъ старой исторической жизни. Назовемъ въ этомъ новомъ ряду ученыхъ въ особенности Д. Валуева, Н. Качалова, Кавелина, Павлова, Соловьева.

Въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ продолжались, хотя въ меньшемъ размѣрѣ, пилигримства русскихъ ученыхъ въ европейскіе, особливо нѣмецкіе университеты. Такія же вліянія, какъ въ правѣ, оказывала нѣмецкая наука въ исторіи и филологіи, съ ихъ различными связями и развѣтвленіями. Наконецъ, для новаго расширенія русской исторіи и изученія народности открывался еще одинъ, до того времени почти неизвѣстный путь,—изученіе славянства, получившее первую дѣйствительную поддержку въ учрежденіи славянскихъ каѳедръ въ университетахъ. Наличныя ученыя средства опять были явнымъ образомъ недостаточны, и для основанія новыхъ каѳедръ были опять устроены путешествія будущихъ славистовъ по славянскимъ землямъ. Эти путешественники стали настоящими основателями славянскихъ изученій у насъ: Бодянскій, Григоровичъ, Прейсъ, Срезневскій. И на этотъ разъ правительственная мѣра шла за мыслью,

которая уже высказывалась въ ученомъ кругу: необходимость изученія стараго славянскаго міра обнаруживалась при первомъ серьезномъ вниманіи къ русской древности; еще раньше указывали эту необходимость Каченовскій, Венелинъ; изслѣдованія древнихъ памятниковъ и языка приводили къ этому изученію Востокова, Калайдовича; случайныя встрѣчи русскихъ съ славянствомъ привлекали любознательность къ изученію этого родственнаго міра, и Пушкинъ черезъ французскія подражанія передавалъ сербскую народную поэзію; наконецъ, къ намъ стали доходить, въ двадцатыхъ годахъ, отголоски славянскаго движенія, особенно изъ Чехіи и Сербіи, и въ средѣ собственно литературной, внѣ университетской школы, являются тѣ же славянскія симпатіи, которыя впослѣдствіи развились въ цѣлую теорію, какъ, напр., у Хомякова, Д. Валуева и вообще у первыхъ славянофиловъ. Съ интересомъ научно-литературнымъ связывался, особенно у славянофиловъ, интересъ національно-политическій, сначала неясный, потомъ болѣе опредѣленный. Упомянутые путешественники вернулись изъ своихъ странствій съ первымъ отчетливымъ знаніемъ славянскихъ фактовъ,—съ различной, правда, степенью пониманія историческаго и современнаго національнаго вопроса, но съ одинаковою ревностью къ распространенію новаго ученія, которое дѣйствительно бросило корень въ (необширной, впрочемъ) школѣ ихъ учениковъ и въ литературѣ.

Подъ всѣми этими вліяніями изученіе русской исторіи (все еще въ особенности древней) принимаетъ новое направленіе, которое вполнѣ опредѣлилось къ сороковымъ годамъ. Это направленіе, впервые твердо ставшее на научной почвѣ въ объясненіи внутренняго процесса русской исторіи, характеризуется въ особенности трудами Соловьева, у котораго новая точка зрѣнія была разработана въ наиболѣе обширномъ размѣрѣ съ первыхъ его диссертацій и до цѣлой „Исторіи Россіи".

Смыслъ новаго направленія обнаружился уже при самомъ началѣ, въ столкновеніи его съ прежней школой. Представителемъ ея былъ тогда Погодинъ: онъ почувствовалъ себя оскорбленнымъ и не могъ простить Соловьеву и другимъ ученымъ того же направленія, что они не идутъ подъ его опеку.

Погодинъ есть одинъ изъ самыхъ характеристическихъ представителей въ литературѣ различныхъ взглядовъ, отличавшихъ систему оффиціальной народности. Дѣятельность его была весьма разнообразна, и во многихъ отношеніяхъ онъ сдѣлалъ извѣстныя пріобрѣтенія для русской исторіи. Онъ приготовлялся къ своимъ трудамъ въ то время, когда въ разработкѣ русской исторіи по-

лучили право гражданства и утвердились критика Шлёцера, многоразличныя изслѣдованія и указанія Карамзина, точныя изысканія нѣмецкихъ ученыхъ, какъ Кругъ, Лербергъ, Френъ, вообще когда установлялась предварительная частная критика отдѣльныхъ фактовъ и происходили приготовительныя работы, почти исключительно направлявшіяся на древній періодъ. Погодинъ началъ свои труды, усвоивши это наслѣдіе. Нѣмецкіе ученые, какъ Кругъ, вообще тогда мало расположенные ожидать многаго отъ русскихъ ученыхъ въ серьезной научной критикѣ, отдали справедливость изслѣдованіямъ Погодина по русской древности. Предметъ этихъ первыхъ изслѣдованій остался навсегда любимымъ предметомъ Погодина: это былъ такъ-называемый норманнскій періодъ, въ которомъ послѣ онъ считалъ себя какъ будто исключительнымъ хозяиномъ. Изслѣдованія Погодина главнымъ образомъ направлялись на критику частностей, и въ этомъ смыслѣ онъ разъяснилъ нѣсколько отдѣльныхъ вопросовъ нашей древней исторіи. Но критика Погодина была чисто внѣшняя; опредѣляя самъ свои пріемы, онъ назвалъ ихъ „математическимъ методомъ",—иначе говоря, это былъ счетъ по пальцамъ фактовъ, записанныхъ въ лѣтописи, пріемъ весьма элементарный, при которомъ могла ускользать сущность вопроса, не поддающаяся цифрамъ. Съ „математическимъ методомъ" соединилась вражда ко всякимъ теоріямъ и обобщеніямъ, которыя разъясняли бы самый смыслъ фактовъ, ихъ связь и послѣдовательность, словомъ, внутреннее развитіе явленій: Погодинъ отвергалъ все это, какъ „высшіе взгляды", и въ этомъ смыслѣ полемизировалъ съ новой школой, т.-е. съ Соловьевымъ и другими. Погодину съ тѣхъ поръ вообразилось, что его кто-то поставилъ дядькой надъ русской исторіей; онъ считалъ себя въ правѣ дѣлать выговоры, замѣчанія, даже не совсѣмъ благовидно обвинять. Полемика его противъ новыхъ историковъ, нерѣдко не совсѣмъ приличная достоинству оберегаемой имъ науки, кончилась тѣмъ, что на него перестали обращать вниманіе: такъ спорилъ онъ противъ Соловьева, впослѣдствіи противъ Костомарова.

Кромѣ изслѣдованій о древнемъ періодѣ, Погодинъ и въ другихъ работахъ дѣлалъ нѣчто полезное. Онъ издавалъ переводныя книги по всеобщей и русской исторіи, печаталъ историческіе матеріалы, въ своемъ журналѣ давалъ много мѣста историческимъ изслѣдованіямъ. Онъ составилъ, наконецъ, большую историческую коллекцію, гдѣ собралъ не мало замѣчательныхъ памятниковъ старой письменности, матеріаловъ для новѣйшей русской исторіи, разнаго рода древностей, — все это составило богатое „древле-

хранилище", которое Погодинъ продалъ потомъ въ Публичную Библіотеку, въ Петербургѣ. Наконецъ, Погодинъ содѣйствовалъ и изученію славянства. Вмѣстѣ съ Шевыревымъ, онъ перевелъ „Institutiones linguae slavicae" Добровскаго, въ своемъ журналѣ печаталъ свѣдѣнія о славянскихъ земляхъ, завязывалъ личныя сношенія съ славянскими учеными, распространялъ по-своему славянскія тенденціи, и т. п.

Но напрасно искать у Погодина какого-нибудь цѣльнаго взгляда на русскую исторію, кромѣ того, какой мы указывали. Какъ противникъ „высшихъ взглядовъ" (со временъ Полевого), онъ и не имѣетъ ихъ; онъ разбираетъ иногда остроумно отдѣльныя явленія, но не понимаетъ внутренняго хода развитія. Поэтому, когда онъ хочетъ объяснить историческое движеніе, бросить взглядъ на общую судьбу народа, на главные моменты его исторической жизни, его размышленія оканчиваются общими мѣстами о русскомъ величіи, о громадности имперіи, о неисповѣдимыхъ путяхъ и т. п. Русская исторія представляется ему рядомъ чудесъ, передъ которыми онъ изумляется, благоговѣетъ, приходитъ въ священный ужасъ, наконецъ, даже прорицаетъ. Его критики еще въ сороковыхъ годахъ замѣтили эту черту и справедливо называли взглядъ Погодина „мистическимъ созерцаніемъ". Въ научномъ смыслѣ оно, конечно, не значило ничего; но оно имѣло другія примѣненія.

Мистическое созерцаніе въ исторіи сопровождалось особой публицистической теоріей, о которой мы упоминали только нѣсколькими словами: теорія сводилась къ панегирику настоящаго. Погодинъ чувствовалъ себя въ лучшемъ изъ міровъ. Сравнивая старую русскую исторію съ западной, онъ только въ этомъ убѣждался: сколько въ западной исторіи онъ находилъ неразумнаго, несправедливости и угнетенія, столько въ русской—разумности, патріархальной простоты и добродѣтели. Исходный пунктъ развитія указывалъ онъ въ томъ, что на западѣ государства образовались вслѣдствіе завоеванія, а у насъ вслѣдствіе мирнаго призванія. Это послѣднее противоположеніе казалось Погодину аксіомой, и онъ извлекалъ изъ нея много выгодныхъ для Россіи послѣдствій; но, кромѣ того, исторія Россіи совершалась еще рядомъ чудесныхъ вмѣшательствъ и неисповѣдимыхъ вожденій, и отсюда—процвѣтаніе Россіи. О Западѣ Погодинъ былъ невысокаго мнѣнія, и самонадѣянность нашего историка доходила до того, что Германію онъ называлъ нашими „пятидесятыми губерніями". Понятно, какіе практическіе выводы слѣдовали отсюда для настоящаго; мораль басни подходила очень близко къ тому, что въ то же

время проповѣдывала „Сѣверная Пчела". Это была высокопарная лесть существующему порядку, и съ другой—вызовы въ новую славянскую политику, которые впрочемъ тогда публикѣ оставались не вполнѣ извѣстны [1]). Противники, отдавая справедливость многимъ чисто спеціальнымъ работамъ Погодина, обыкновенно не придавали значенія его общимъ теоріямъ, находя, что онъ только вторитъ системѣ оффиціальной народности, и неудивительно также, что это отношеніе къ Погодину и его сотоварищу Шевыреву распространялось въ значительной мѣрѣ на славянофиловъ, которые не довольно ясно отдѣляли себя отъ этихъ тенденцій и этого способа выраженія [2]).

Первые труды Соловьева старая школа обвинила въ легкомысліи и почти неблагонамѣренности, во всякомъ случаѣ въ непочтительности къ старшимъ. Взгляды Соловьева были, дѣйствительно, сильнымъ ударомъ для старой школы: на глазахъ стража русской исторіи она принимала новый видъ и направленіе. Труды Соловьева старая школа желала подвести подъ ту же категорію „высшихъ взглядовъ", которые были ей ненавистны, и противъ которыхъ она имѣла нѣкоторое право возставать по поводу Полеваго. Но школа не видѣла, или не хотѣла видѣть, что теперь это не были уже произвольныя приложенія готовыхъ теорій къ недостаточно изученнымъ фактамъ, а совершенно опредѣленныя положенія, которыя выставлялись именно потому, что ихъ подтверждала цѣлая послѣдовательность фактовъ. Погодинъ и другіе историки его стиля, хотя замѣчали извѣстныя общія явленія старой исторіи, напр., господство между князьями родовыхъ от-

[1]) Погодинъ уже впослѣдствіи напечаталъ свои публицистическія рѣчи и статьи, тогдашнія и позднѣйшія: Рѣчи, 1830—1872; Историко-политическія письма и записки въпродолженіи Крымской войны, 1853—1856; Польскій вопросъ, 1831—1867, и наконецъ: „Собраніе статей, писемъ и рѣчей по поводу славянскаго вопроса", М. 1878, изданное уже послѣ его смерти.

[2]) Подробная біографія Погодина издается Н. П. Барсуковымъ (2 вып. Спб. 1889). О немъ есть уже большое количество некрологовъ и оцѣнокъ.

— Автобіографическая статья въ словарѣ моск. профессоровъ. М. 1855.

— Пятидесятилѣтіе гражданской и ученой службы М. П. Москва, 1872 (списокъ его сочиненій и изданій).

— Некрологи: Бестужева-Рюмина, въ „Др. и Новой Россіи", 1876, № 2,—стр. 147—158; Никитенскаго, „Виленскій Вѣстникъ", 1876, № 18; Н. Попова (Погодинъ какъ славянскій публицистъ), въ сборникѣ „Родное Племя", 1876, № 2; Ив. Аксакова, въ „Правосл. Обозрѣніи", 1876, №2, стр. 393—397.

— Погодинъ, какъ профессоръ. Ѳ. И. Буслаева. Газета Гатцука, 1876, № 16—18.

— Погодинъ его отношеніе къ Кіеву. С. Пономарева. „Кіевлянинъ", 1876, № 9—12, и т. д.

— Ср. также „Вѣстникъ Европы", 1872, августъ, по поводу „Рѣчей" Погодина.

ношеній и т. п., но не собрали своихъ понятій во что-нибудь цѣльное. Старое воззрѣніе высказывалось всего чаще такими произвольными и реторическими разсужденіями, какъ фразы о чудесныхъ путяхъ русской исторіи, какъ сравненія между древней русской и западной исторіей, или восклицанія о томъ, что призваніе Рюрика „безсмертно въ русской исторіи“, что „Москва есть корень, зерно, сѣмя русскаго государства“, что славянскіе народы „составляютъ съ нами одно живое цѣлое, соединены съ нами неразрывными узами крови и языка“ (и однако же оторваны отъ насъ?), что своими естественными произведеніями „мы можемъ надѣлить Европу, не имѣя нужды ни въ какомъ изъ ея товаровъ“ и т. п.

Защищая диссертацію: „Исторія отношеній между русскими князьями Рюрикова дома“ (1847), Соловьевъ въ своей рѣчи высказалъ мысль, что у насъ заботились до тѣхъ поръ особенно о томъ, какъ раздѣлить русскую исторію, что теперь надо, напротивъ, стараться соединить ея части въ одно цѣлое, связать раздробленное и неправильно противопоставленное; надо возсоздать наукой живой организмъ русской исторіи, а онъ уже самъ укажетъ на раздѣленіе необходимое и естественное. Современные критики справедливо замѣчали, что это былъ пріемъ, до тѣхъ поръ невиданный въ русской исторической литературѣ, и результатомъ его былъ новый взглядъ на государственную жизнь древней Россіи. При этомъ взглядѣ отстраняются случайныя, поверхностныя представленія объ эпохахъ русской исторіи и открывается дѣйствительное, органическое ея развитіе. Такъ, по мнѣнію Соловьева, удѣлы, которымъ придавалась такая важность, не существовали до XIII-го столѣтія, и послѣ не имѣли большого значенія. Такъ онъ ограничивалъ вліяніе монгольскаго ига, давая ему весьма второстепенное значеніе. Въ свое изслѣдованіе онъ не допускалъ никакихъ мистическихъ истолкованій, никакой реторики. Отстранивъ, такимъ образомъ, всѣ случайныя явленія, закрывавшія истинный ходъ развитія, изслѣдователь имѣетъ возможность наблюдать внутреннее движеніе исторіи. Положительное содержаніе взглядовъ Соловьева составляла извѣстная теорія родового быта, по которой древняя Россія въ своей государственной жизни представляла сначала господство родовыхъ отношеній, которыя постепенно замѣняются государственными и окончательно падаютъ при Иванѣ Грозномъ, въ его борьбѣ съ боярствомъ. Этимъ завершился одинъ періодъ русской исторіи, и съ новой династіей Россія вступаетъ въ новый періодъ своего существованія.

Разсматривая эту пору нашей исторіографіи теперь, черезъ

десятки лѣтъ, когда новый взглядъ уже до значительной степени опредѣленъ, дополненъ и ограниченъ другими теоріями,—мы все-таки должны признать за идеями Соловьева то значеніе, которое было приписано имъ тогдашней критикой. Дѣйствительно, его взгляды впервые начинали у насъ органическую, внутреннюю исторію. Въ научномъ смыслѣ труды Соловьева и его современниковъ и товарищей стояли безъ сомнѣнія выше всего, что имъ предшествовало. Тотъ порывъ къ усвоенію критическаго метода европейской науки, который такъ рѣзко и нѣсколько простодушно высказывается у Каченовскаго и Полеваго, здѣсь уже оканчивается: новый изслѣдователь стоитъ на уровнѣ европейской науки, приступаетъ къ дѣлу уже знакомый съ новыми требованіями исторической критики, понимаетъ и примѣняетъ ихъ не внѣшнимъ образомъ, а вводитъ въ самый процессъ своего разсужденія.

Направленіе, которое можно характеризовать трудами Соловьева, было вообще направленіе, или историческій пріемъ, цѣлаго ряда болѣе или менѣе замѣчательныхъ изслѣдователей, начавшихъ дѣйствовать въ то время. Это была группа ученыхъ, которые были свободны отъ старой рутины, которые вносили въ свое изученіе новые методы историческаго и юридическаго изслѣдованія національной жизни, какъ цѣлое воззрѣніе; они понимали исторію не какъ мертвую номенклатуру фактовъ, подкрашенную реторикой, а какъ теоретическое объясненіе живого явленія, совершавшагося по извѣстнымъ законамъ: старина тѣсно связывалась съ настоящимъ, какъ части одного силлогизма. Своимъ общимъ взглядомъ на вещи эта группа не отдѣлялась отъ живыхъ интересовъ лучшей части литературы, и тѣмъ самымъ не лишала себя тѣхъ плодотворныхъ возбужденій, какія вообще наука получаетъ отъ жизни. Оттого историческая школа сороковыхъ годовъ и была такъ плодотворна для изученія русской исторіи и современной народной дѣйствительности: она не обняла предмета со всѣхъ сторонъ, но приступила къ нему съ вѣрными пріемами. Многія имена изъ этого ученаго круга останутся памятны въ русской исторіографіи; таковы имена Кавелина, Калачова, Н. Павлова, Д. Валуева, Аѳанасьева, г. Буслаева, К. Аксакова и друг.

При этихъ именахъ вспоминается весь литературный кружокъ конца тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, къ которому нѣкоторые изъ названныхъ лицъ тѣсно примыкали, кружокъ писателей, которые, не бывши спеціалистами русской исторіи, не мало содѣйствовали ея успѣху распространеніемъ общихъ воззрѣній европейской науки, кружокъ, гдѣ соединялись разнообразные умствен-

ные интересы, проникавшіе въ то время въ нашу литературную среду. Чаадаевъ, Грановскій, Герценъ, Бѣлинскій, наконецъ, славянофилы, съ своей точки зрѣнія, ставили изслѣдованію совсѣмъ новыя требованія, чѣмъ ставились до того времени; общій уровень понятій возвышался, а вмѣстѣ съ тѣмъ разработка русской исторіи становилась серьезнѣе и многостороннѣе.

Невозможно отвергать того вліянія, какое въ этихъ условіяхъ оказывала европейская наука. Здѣсь уже не можетъ быть рѣчи о какомъ-нибудь случайномъ вліяніи тѣхъ или другихъ писателей; напротивъ, тутъ дѣйствовалъ весь объемъ новыхъ понятій, принесенныхъ самыми различными изученіями—и нѣмецкой философіей Гегеля, и исторіей права въ смыслѣ Савиньи, и новой національно-бытовой исторіей, въ смыслѣ Гизо и Тьерри, и изученіемъ народной старины, въ смыслѣ Гримма, и т. д. Славянофилы имѣли слабость упрекать Соловьева и других защитниковъ теоріи родового быта, что они—послѣдователи нѣмца Эверса, что ихъ направленіе—не русское. Приверженцы теоріи не отвергали, что она впервые дана Эверсомъ, прямо признавали, что „старанія новѣйшихъ ученыхъ уяснять родовыя отношенія, игравшія столь важную роль въ первоначальномъ бытѣ нашихъ предковъ... непосредственно связываются съ основной идеей Эверса“ и вообще высоко ставили этого ученаго; но изъ всего ихъ отношенія къ Эверсу было видно, что они цѣнили его именно потому, что онъ первый сталъ объяснять древній русскій бытъ съ естественной точки зрѣнія, принявши для этого въ основаніе по общему у всѣхъ народовъ ходу развитія государственнаго быта изъ патріархальныхъ отношеній, и первый показалъ самый способъ разработки древнихъ русскихъ памятниковъ съ этой точки зрѣнія. Теорія Эверса была принята нашими учеными именно потому, что всего больше отвѣчала тѣмъ историческимъ взглядамъ, какіе они пріобрѣтали вообще изъ всего тогдашняго изученія [1]).

---

[1]) Калачовъ, въ Архивѣ истор.-юрид. свѣдѣній о Россіи; Сочиненія К. Аксакова, т. I, стр. 60—61.

Общія оцѣнки и некрологи Соловьева (ум. въ 1879 г.): Памяти С. М. Соловьева. Слова митр. Макарія, прот. И. А. Сергіевскаго и прот. А. М. Иванцова-Платонова, въ „Правосл. Обозр.“, 1879, № 10.

— Памяти С. М. Соловьева. Библіографическій списокъ ученыхъ трудовъ его, сост. Замысловскимъ. Журн. Мин. Просв. 1879, № 11.

— „Вѣстникъ Европы“, 1879, № 11.

— Др. и Новая Россія, 1879, № 11—12.

— „С. М. Соловьевъ“, В. И. Герье. Спб. 1880 (изъ „Истор. Вѣстника“).

— Списокъ ученыхъ трудовъ, составл. Н. А. Поповымъ.

— Наконецъ, автобіографическая записка въ „Біограф. Словарѣ“ моск. профессоровъ. М. 1855.

Новая точка зрѣнія въ особенности направила свое вниманіе на формы быта, на постепенное развитіе учрежденій, усложнявшіяся отношенія и т. д. Историки съ успѣхомъ внесли тотъ же способъ историческаго объясненія и въ другую область народной жизни,—въ область миѳологіи, обычая и преданія. Въ этомъ отношеніи особенно любопытный примѣръ представили труды Кавелина, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны въ этомъ смыслѣ: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи" (1848) и обширный разборъ книги Терещенка: „Бытъ русскаго народа". Въ первомъ изъ этихъ сочиненій онъ представлялъ съ своей стороны теоретическое изслѣдованіе на той же почвѣ, на которую сталъ Соловьевъ; во второмъ онъ дѣлаетъ для своего времени замѣчательный опытъ объясненія народнаго быта и преданій: примѣняя къ народной миѳологіи, преданію и обычаю способъ изслѣдованія, какой исторія юридическаго быта прилагала къ учрежденіямъ, авторъ не безъ успѣха разъяснялъ этотъ предметъ прежде, чѣмъ началось спеціальное изслѣдованіе его при помощи сравнительнаго языкознанія и сравнительной миѳологіи. Историческая критика открывала здѣсь новый предметъ изученія и вступала на чрезвычайно плодотворный путь. Это былъ одинъ изъ любопытныхъ опытовъ той внутренней исторіи, къ которой стала теперь стремиться наука. Впослѣдствіи, этнографическое изученіе у насъ значительно расширилось, но мы и до сихъ поръ не имѣемъ исторической картины народнаго быта по плану, черты котораго были обозначены Кавелинымъ. Въ томъ же смыслѣ изученія внутреннихъ процессовъ исторіи исполнились труды Калачова, Д. Валуева, Аѳанасьева, и проч. Изслѣдованіе бытовой исторіи пріобрѣло въ эти годы интересъ, какого она никогда еще не представляла для нашихъ изыскателей. И здѣсь мы опять сходимся лицомъ къ лицу съ нѣмецкой наукой.

Эта отрасль науки, изученіе этнографіи, народной поэзіи и языка, въ тѣ годы соединялась у насъ по преимуществу съ понятіемъ народности, и распространеніе этого научнаго интереса считалось особеннымъ признакомъ народнаго „самосознанія". До извѣстной степени это было справедливо. Въ прежнія времена, конечно, не было такого интереса къ быту простого народа; въ восемнадцатомъ вѣкѣ у насъ почти также, какъ и вездѣ въ Европѣ, пренебрегали народомъ, какъ грубой, невѣжественной толпой; два-три благородные человѣка поднимали голосъ въ защиту его отъ крѣпостного и чиновничьяго угнетенія, начиналось отчасти любопытство къ народнымъ повѣрьямъ, пѣснямъ и быту, но никто не думалъ ввести серьезно народные интересы въ литературу; во

времена карамзинской школы народъ являлся въ литературѣ только подъ видомъ „добрыхъ поселянъ“ въ сантиментальномъ подражаніи мечтамъ Руссо о „природномъ состояніи“; романтизмъ былъ немного ближе къ настоящему народу; наука тѣхъ временъ не видѣла интереса этнографіи,—такъ что, когда послѣ Гоголя народная жизнь была впервые введена въ литературу, когда обратилась къ народу самая наука, которая стала приглядываться къ его быту, нравамъ и обычаямъ, прислушиваться къ пѣснямъ, сказкамъ, пословицамъ и повѣрьямъ; можно было дѣйствительно подумать, что ключъ къ „самопознанію“ найденъ. Но оглядываясь теперь на сдѣланное въ этомъ направленіи, нельзя не увидѣть, что то были только начатки, первыя пробы знанія, и притомъ наиболѣе серьезное въ этой области было сдѣлано въ особенности благодаря опять научнымъ вліяніямъ преимущественно Германіи. Новая этнографическая наука была наукой по преимуществу германской. Могутъ сказать, что не нужно было, разумѣется, выдумывать новыхъ методовъ, когда раціональные методы были уже извѣстны, и мы бы ихъ не заимствовали, еслибы у насъ самихъ не явилось потребности въ этихъ новыхъ изученіяхъ; справедливо, но въ этомъ заимствованіи обнаруживалась, однако, несамостоятельность нашей ученой литературы. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря о недостаточности одного спеціально-этнографическаго изученія для дѣйствительнаго уразумѣнія народной жизни, нельзя не видѣть, что и здѣсь къ намъ приходили не только научные методы, но и частныя тенденціи, составлявшія особенность самой нѣмецкой науки въ ту эпоху.

Первое правильное изученіе народной древности и современной бытовой поэзіи составляетъ вполнѣ достояніе XIX-го столѣтія. Это—сравнительное языкознаніе, миѳологія, этнографія, археологія и пр. Начавъ съ разныхъ сторонъ и подъ вліяніемъ различныхъ интересовъ, эти науки все больше и больше расширяли свою область, тѣсно связались другъ съ другомъ, и стремятся стать цѣлой многообъемлющей наукой народной психологіи. Быстрое, въ одно поколѣніе, созданіе науки сравнительнаго языкознанія было почти вполнѣ дѣломъ нѣмецкихъ ученыхъ. Съ одной стороны, послѣ романтическихъ указаній Фр. Шлегеля на Индію и миѳологическихъ трудовъ Крейцера, вниманіе ученыхъ обратилось на восточное родство европейскихъ племенъ: послѣ первыхъ англійскихъ изслѣдователей индѣйской литературы развилось изученіе санскрита, въ которомъ увидѣли первобытный языкъ, по богатству стоявшій выше греческаго и переносившій въ еще болѣе глубокую древность. Геніальные труды Вильгельма

Гумбольдта создавали новую науку языка и открывали невѣдомую доселѣ область историческаго изслѣдованія. Уже вскорѣ Францъ Боппъ издалъ знаменитую сравнительную грамматику языковъ арійскаго племени, раздѣленныхъ громадными пространствами и періодами времени, гдѣ исторія языка указала ихъ тѣсную связь и общее происхожденіе. Въ это сравненіе введены были тогда же и нарѣчія славянскаго языка, и указанъ былъ путь, къ которому должно было пристать русской наукѣ, когда бы она хотѣла слѣдить за древнѣйшими временами народной исторіи.

Съ другой стороны, наука языкознанія исходила изъ преимущественно національнаго мотива, изъ обращенія къ старинѣ вслѣдствіе патріотическаго увлеченія идеалами народной древности, простотой народнаго быта, богатой однако лучшими движеніями здраваго ума и сердца—какъ это было у братьевъ Гриммовъ. Между знаменитыми трудами Якова Гримма особенное вліяніе въ тогдашней наукѣ пріобрѣли „Нѣмецкая миѳологія“ и „Древности нѣмецкаго права“, гдѣ онъ научно и вмѣстѣ поэтически возстановлялъ германскую древность до-христіанской поры, когда народъ самъ создавалъ свой бытъ, окружалъ его самобытными нравственно-религіозными и юридически-бытовыми представленіями, облекая ихъ въ живые миѳическіе образы и полные смысла обряды. Гриммъ по справедливости считается основателемъ сравнительной миѳологіи, которая — въ союзѣ съ сравнительнымъ языкознаніемъ—раскрывала, наконецъ, непонятную до того времени тайну народной религіи миѳовъ и преданій. Ставя эту задачу относительно германской древности, которая, по доказанному уже племенному родству, должна была представлять много общаго съ древностью славянской, Гриммъ въ своихъ изслѣдованіяхъ нерѣдко касался и этой послѣдней, бросая на нее свѣтъ новаго научнаго взгляда, и здѣсь опять данъ былъ пунктъ, гдѣ русская наука естественно могла примкнуть къ той же точкѣ зрѣнія и методу. Миѳологія, какъ понималъ ее Гриммъ, была, конечно, совсѣмъ не то, чѣмъ ее считали прежде: становясь исторіей народныхъ вѣрованій, она обнимала всю умственную и нравственную жизнь народа въ первобытныя времена, и такъ какъ народъ вообще стойко сохраняетъ старину, то миѳологія достигала и до настоящаго, въ которомъ сберегались еще старыя пѣсни, повѣрья и суевѣрья. Миѳологія дѣлалась исторіей народнаго міровоззрѣнія: отсюда, это изученіе и считало себя истиннымъ объясненіемъ народнаго характера и преимущественной школой изученія „народности“.

Таковъ былъ, въ двухъ словахъ, новый научный элементъ,

который предстояло воспринять русской наукѣ. Послѣ всего того, что сдѣлано было для русской исторіи въ прежнихъ трудахъ, устанавливавшихъ въ ней научныя понятія западной исторіографіи, послѣ трудовъ Шлёцера, Карамзина, Каченовскаго, Полевого, Эверса, Соловьева, была, наконецъ, усвоена и еще новая сторона европейской науки, открывавшая перспективу въ еще болѣе глубокіе слои народной жизни [1]).

Наши изученія этого рода, вообще говоря, устанавливаются прочно только съ тѣхъ поръ, какъ началось знакомство съ нѣмецкими изслѣдованіями. Только въ одномъ случаѣ, исключеніе можетъ составлять изслѣдованіе старо-славянскаго языка, гдѣ извѣстная статья Востокова: „Разсужденіе о славянскомъ языкѣ“ (1820 г.) независимымъ образомъ опредѣлила основныя историческія черты стараго славянскаго языка и его отношеній къ другимъ нарѣчіямъ; хотя еще долго послѣ считался авторитетомъ Добровскій, система котораго въ сущности уничтожалась теоріей Востокова. Свое настоящее примѣненіе эта послѣдняя получила у насъ только около сороковыхъ годовъ, въ той школѣ славистовъ, которая образовалась въ то время за границей и заняла вновь открытыя каѳедры славянскихъ нарѣчій. Раньше филологическіе взгляды Востокова были должнымъ образомъ оцѣнены впервые самимъ Добровскимъ, Копитаромъ, затѣмъ Шафарикомъ и вообще западными славянскими учеными. Востоковъ нѣсколько разъ примѣнялъ свою систему къ грамматическому объясненію и критикѣ памятниковъ, сдѣлалъ описанія множества подобныхъ памятниковъ, составилъ богатый словарь старо-славянскаго языка (изданный только позднѣе), но цѣльныя системы сравнительной грамматики старо-славянскаго языка и другихъ нарѣчій всего болѣе обязаны опять западнымъ ученымъ, послѣ изслѣдованія Боппа и Потта, Миклошичу, ученику Копитара, Шлейхеру и др. У насъ однимъ изъ первыхъ опытовъ сравнительнаго изученія языка была диссертація Каткова: „Объ элементахъ и формахъ славянорусскаго языка“ (1845), послѣ которой можно указать еще нѣсколько трудовъ по сравнительной грамматикѣ славянскихъ нарѣчій и нѣсколько работъ, принадлежащихъ уже послѣднимъ годамъ.

[1]) Къ этимъ же послѣднимъ десятиліямъ нужно отнести и первое раціональное изученіе археологіи памятниковъ; до того времени оно ограничивалось только немногими отдѣльными примѣрами. И здѣсь опять понятіе о древностяхъ каменнаго и проч. вѣковъ, пріемы изученія памятниковъ бытовыхъ даны были готовые европейскими изслѣдованіями, — что, конечно, не уменьшаетъ заслуги примѣненія этихъ пріемовъ къ новымъ фактамъ.

Сравнительный методъ въ миѳологіи и этнографіи, обозначаемый обыкновенно именемъ Гримма, также былъ примѣненъ у насъ довольно поздно. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія разсужденія о древней русской миѳологіи были обыкновенно чистой фантазіей; русскія миѳологіи составлялись на манеръ старинныхъ французскихъ книжекъ для дѣтей о классической миѳологіи; авторы миѳологій брали дѣйствительныя или придуманныя названія древнихъ языческихъ „боговъ" и подыскивали имъ какіе-нибудь аттрибуты: кромѣ Перуна, явились „Усладъ", „Лель" и т. п. Послѣ Карамзина, ограничивались лѣтописными данными, но произволъ продолжалъ рисовать фантастическіе узоры на этомъ фонѣ, который едва считался принадлежащимъ къ исторіи. Первыми серьезными собирателями и истолкователями остатковъ древней миѳологіи, народныхъ преданій, обычаевъ, произведеній народной поэзіи являются Снегиревъ и Сахаровъ. Первый приступалъ къ предмету съ научнымъ образованіемъ, хотя по другой области и значительно устарѣлымъ, но признаки ученой критики, и особенно большая масса приведеннаго въ извѣстность матеріала долго поддерживали значеніе сборниковъ Снегирева. Но, кромѣ того, что въ трудахъ Снегирева недоставало настоящаго сравнительнаго пріема, — когда въ нѣмецкой литературѣ даны уже были замѣчательные образцы его, —Снегиревъ сохранилъ еще наклонность къ произволу и строилъ выводы, для которыхъ не оказывалось основанія въ источникахъ. У Сахарова не было и этой научной подготовки. Его занятія народной стариной, повидимому, вызваны были съ одной стороны представленіемъ о научной важности предмета, хотя неяснымъ, съ другой— тѣмъ инстинктивнымъ чувствомъ, которое, дѣйствуя внѣ научныхъ мотивовъ, тѣмъ сильнѣе обнаруживаетъ стремленія времени. Сахаровъ имѣетъ несомнѣнныя заслуги какъ ревностный археологъ-собиратель, какъ библіографъ, издатель матеріаловъ, долго составлявшихъ необходимую настольную книгу для изслѣдователей народности; но какъ истолкователь народныхъ преданій и поэзіи онъ стоитъ совершенно внѣ науки. Онъ говоритъ о старинѣ въ особенномъ мистическомъ тонѣ, подражая мнимо-народному складу, но объясняетъ очень мало, и мистическій тонъ былъ натянутъ и фальшивъ.

Новый шагъ въ изученіи народной старины сдѣланъ былъ упомянутыми славистами, внесшими къ намъ близкое знакомство съ славянскимъ міромъ и его литературой. Изслѣдованіе ихъ еще не стояло вполнѣ на точкѣ зрѣнія сравнительно-филологическаго метода, но уже знало о немъ, а главное, имѣло въ рас-

поряженіи обширный славянскій матеріалъ для сличеній и соображеній и, въ большинствѣ случаевъ, отличалось здравой и осторожной критикой. Таковы были труды Срезневскаго, Бодянскаго, Костомарова (въ работахъ котораго по миѳологіи и этнографіи находятъ вліяніе Крейцеровской „Символики", которая въ Германіи послужила только ступенью къ сравнительному методу), Касторскаго, а также Надеждина. Новые изслѣдователи старались исчерпать миѳологическія и бытовыя извѣстія, записанныя въ старыхъ памятникахъ, широко пользовались современными народными преданіями не только русскаго, но въ особенности и славянскаго міра, чтобы реставрировать древнюю славянскую народную религію; въ отдѣльныхъ случаяхъ прибѣгали и къ средствамъ сравнительнаго метода. Но полное примѣненіе метода нѣмецкой науки было сдѣлано писателями, выступившими нѣсколько позднѣе. Главнѣйшія изслѣдованія въ этомъ направленіи сдѣланы были Буслаевымъ и Аѳанасьевымъ, который умеръ, не успѣвши докончить своего обширнаго труда, — перваго цѣльнаго труда, какой только представляетъ наша литература въ этой любопытной области [1]).

Миѳологическія и поэтическія воззрѣнія русской старины предстали въ совершенно новомъ видѣ. Перспектива шла несравненно дальше, чѣмъ достигали предыдущія изслѣдованія, она шла до тѣхъ до-историческихъ временъ, когда не только русское племя еще не выдѣлялось отъ цѣлаго славянства, но и само славянство было близко къ общему арійскому корню, до тѣхъ временъ, когда совершалась первая формація языка и вмѣстѣ миѳологіи. Сравнительный методъ указывалъ потомъ дальнѣйшую судьбу миѳа, его различныя перерожденія до той поры, когда начинается лѣтописная исторія, когда старое міровоззрѣніе приходитъ въ столкновеніе съ христіанствомъ и отчасти исчезаетъ подъ новымъ сильнымъ вліяніемъ, отчасти сохраняется наперекоръ ему и кладетъ въ него свой отпечатокъ. Новая критика была въ состояніи разъяснить много вещей, до тѣхъ поръ совершенно непонятныхъ, указать тѣсную связь явленій, раньше незамѣченную, найти правильную послѣдовательность тамъ, гдѣ прежде видѣли случайность, и т. п. Это и былъ признакъ, что критика становилась на вѣрную дорогу. Какая громадная разница раздѣляла новый взглядъ отъ прежняго, можно наглядно судить по разбору нѣкоторыхъ старыхъ легендъ, сдѣланному

[1]) Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. Опытъ сравнит. изученія слав. преданій и вѣрованій, въ связи съ миѳическими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Три тома. М. 1866—1869.

Буслаевымъ въ противоположность прежнему объясненію ихъ Шевыревымъ. Прежній взглядъ оказывался только произвольной реторикой: новая критика открывала въ легендѣ фактъ соединенія двухъ различныхъ теченій народнаго миѳа, — уже дѣйствительную черту внутренней исторіи быта.

Въ настоящую минуту то или другое изъ прежнихъ рѣшеній будутъ, конечно, замѣнены, и уже замѣняются, болѣе вѣрными и точными; но изслѣдованія уже стоятъ на прочной дорогѣ сравнительнаго метода, расширеннаго новыми пріемами.

Какъ бывало обыкновенно въ исторіи нашей науки, усвоеніе новаго сравнительнаго метода произошло долго спустя послѣ того, какъ методъ установленъ въ самой нѣмецкой наукѣ. Братья Гриммы были основателями этого направленія въ Германіи: ихъ дѣятельность начинается съ первыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія и наполняетъ всю первую его половину. Капитальный трудъ Якова Гримма, „Нѣмецкая миѳологія“, гдѣ уже собранъ былъ громадный запасъ изслѣдованій, вышла въ 1835 г.; еще ранѣе, 1828, явились „Древности нѣмецкаго права“, гдѣ подобная критика была приложена къ объясненію народныхъ юридическихъ понятій, обрядности и обычаевъ. У насъ первые опыты усвоить методъ являются не раньше конца сороковыхъ или даже начала пятидесятыхъ годовъ, когда дѣятельность Гриммовъ была уже близка къ своему концу.

Какъ замѣчено, сравнительный методъ отразился у насъ не только своей научной основой, но вмѣстѣ и тѣми особенностями личныхъ воззрѣній самого Гримма. Это вліяніе состояло въ извѣстной идеализаціи патріархальной старины. У Гримма она имѣла свои психологическія и общественныя основанія въ условіяхъ времени. Гриммъ началъ свои труды въ первые годы нынѣшняго вѣка (отчасти подъ впечатлѣніями иноземнаго господства) въ непосредственной связи съ романтиками и подъ ближайшимъ вліяніемъ исторической школы права; глубокое изученіе, одушевляемое горячимъ патріотическимъ чувствомъ, такъ привязало его къ этой старинѣ, что онъ самъ жилъ въ ней, находя въ ней свои идеалы, наивную, но глубокую поэзію, простые, но патріархально-разумные нравы; личный характеръ братьевъ Гриммовъ только содѣйствовалъ этой идеализаціи, которая неизбѣжно отразилась въ самой сущности ихъ трудовъ, при всей силѣ ихъ критики [1]).

Эта идеализація старины, безъ сомнѣнія, выходила изъ пре-

[1]) Ср. Гервинуса, Gaschichte des neunzehnten Jahrh. VIII, Erste Hälfte, стр. 57 и д.

дѣловъ науки, если вмѣшивалась въ рѣшеніе практическихъ вопросовъ: въ самомъ дѣлѣ, въ ней есть односторонность, которая слишкомъ поддается преувеличенію, и въ этомъ случаѣ легко переходитъ въ фальшивую и несимпатичную тенденцію. Идеализація Гримма зарождалась въ тяжелыхъ условіяхъ національной жизни, подъ гнетущимъ сознаніемъ чужого господства; германская древность представляла для него не только міръ поэзіи, но и міръ народной самостоятельности и свободы, и онъ оставался вѣренъ своему идеализму и въ практической дѣйствительности. Многія личныя черты мнѣній Гримма повторялись у нашихъ изслѣдователей, и именно привлекательная сторона археологической поэзіи и народолюбія Гримма отразилась, какъ надо думать, въ представленіяхъ Буслаева о высокомъ нравственномъ значеніи народной поэзіи; но въ примѣненіяхъ къ народной практической дѣйствительности оставались неясности, которыя въ свое время давали поводъ къ недоразумѣніямъ. Аѳанасьевъ также тѣсно примыкаетъ къ нѣмецкимъ этнографамъ—Гримму, Куну, Шварцу; но его историческіе интересы не ограничивались далекой стариной, которую такъ легко можетъ закрывать туманъ идеализаціи; ему ближе были другія стороны исторической жизни, гдѣ менѣе выступала практическая дѣйствительность. Но научная критика (хотя бы еще не вполнѣ точная въ Гриммовой школѣ) приносила свою пользу: Буслаевъ расходился въ объясненіяхъ народно-поэтической старины съ теоріями, гдѣ безъ достаточнаго критическаго основанія сантиментально прикрашивалась старина, какъ у Шевырева, славянофиловъ, Безсонова и пр.

Славянофилы заняли свое особое мѣсто въ исторіи изученія русской народности. Въ теченіе описываемаго періода ихъ мнѣнія, хотя и высказались съ рѣзкой исключительностью, давшей имъ въ литературѣ своеобразную роль, но еще далеко не были, или не могли быть высказаны съ должной полнотой. Мы остановимся впослѣдствіи на различныхъ мнѣніяхъ этой школы, въ особенности настаивавшей на необходимости возвращенія къ народности и утверждавшей свои собственныя народныя качества, и замѣтимъ здѣсь только, что по научному пріему школа мало отдѣлялась отъ „западнаго“ направленія, которому себя противополагала. Старѣйшіе славянофилы, какъ Ив. Кирѣевскій, Хомяковъ, затѣмъ Самаринъ, К. Аксаковъ воспитались на той же нѣмецкой философіи. Въ сороковыхъ годахъ обѣ враждебныя стороны представлялись какъ бы различными вѣтвями одной школы, языкъ которой онѣ одинаково понимали. К. Аксаковъ писалъ свою первую диссертацію въ духѣ Гегелевской философіи. На

подкладкѣ этой философіи развились потомъ другія мнѣнія славянофиловъ; идея историческаго предназначенія народовъ была одинаково знакома обѣимъ сторонамъ, и онѣ расходились только въ ея примѣненіи; въ историческомъ изученіи славянофилы также, какъ ихъ противники, направили свое вниманіе на формы быта, на характеръ учрежденій, въ которыхъ слѣдили внутреннюю исторію народа. Споръ о родовомъ или общинномъ бытѣ древней Руси могъ вовсе не быть рѣзкимъ вопросомъ между двумя партіями; многія цѣнныя замѣчанія славянофиловъ по русской исторіи могли составлять скорѣе личную заслугу писателей, чѣмъ заслугу школы; Д. Валуевъ, какъ изслѣдователь мѣстничества, могъ идти рядомъ съ Кавелинымъ или Соловьевымъ, которые, съ своей стороны, могли тогда участвовать въ славянофильскихъ изданіяхъ; научный интересъ къ славянскому міру также былъ болѣе или менѣе общій ученымъ обѣихъ сторонъ и т. д. Впослѣдствіи, стороны опредѣлились рѣзче. Славянофилы утверждали, что до сихъ поръ на русскую исторію смотрѣли черезъ очки иностранной науки, а свой взглядъ они считали истиннымъ русскимъ [1]), но ни-

[1]) Вотъ нѣсколько славянофильскихъ отзывовъ, въ которыхъ любопытно отношеніе къ Карамзину:

„Нѣмцы первые стали объяснять русскимъ ихъ исторію. Байеръ, Миллеръ, Шлёцеръ, Эверсъ, не принадлежа къ народу, не имѣя съ нимъ жизненной связи, принялись толковать его жизнь. Русскіе сами, получивъ иностранное воззрѣніе, смотрѣли также не по-русски на свою исторію, какъ и на все свое. Ломоносовъ, въ природѣ котораго, впрочемъ, болѣе другихъ проявлялись русскія движенія, Карамзинъ и другіе изображали русскую исторію такъ, что въ ней русскаго собственно ничего не было видно. Но дальнѣйшее знакомство съ лѣтописями и грамотами, но бытъ простого народа, сохранившійся въ своей тысячелѣтней оригинальности подѣйствовали, наконецъ, на взгляды нашихъ ученыхъ, и желаніе понять русскую исторію настоящимъ образомъ, желаніе самобытнаго воззрѣнія—пробудилось. Политическій взглядъ, гдѣ обыкновенно рисуются князья, войны, дипломатическіе переговоры и законы, взглядъ шлёцеровскій и карамзинскій былъ, наконецъ, оставленъ, и въ наше время вниманіе обратилось на бытъ народный, на общественныя, внутреннія причины его жизни“. Таково направленіе новыхъ ученыхъ, особенно Соловьева. Но— „желаніе не есть достиженіе, и г. Соловьевъ съ послѣдователями—все-таки послѣдователь другого нѣмца, Эверса“ (послѣдователемъ перваго нѣмца, Шлёцера, оставался еще Погодинъ). Поэтому и оказывалась надобность въ новой, уже чисто русской точкѣ зрѣнія (Соч. К. Аксакова, I, стр. 59). Аксаковъ не обратилъ вниманія на то, что вопросъ былъ не только въ томъ, что мы учились у нѣмцевъ, но и въ томъ, что таковъ былъ и ходъ цѣлой науки. Нѣмецкая наука, не знавшая въ XVIII вѣкѣ русской народной жизни, не знала также точно и нѣмецкой жизни: это была точка зрѣнія, принадлежавшая всей образованности прошлаго столѣтія, а съ возникновеніемъ новыхъ историческихъ взглядовъ тѣ же нѣмцы, именно Эверсъ, первые указали необходимость новаго пріема: они же „оставили взглядъ шлёцеровскій и карамзинскій“ и „обратили вниманіе на бытъ народный, на общественныя, внутреннія причины (вѣроятно: пружины) его жизни“, какъ авторъ указывалъ это въ Соловьевѣ—послѣдователѣ Эверса.

какой особой новой науки съ ними не явилось, и напротивъ, теперь, какъ и прежде, во многихъ случаяхъ требовалось содѣйствіе иностранной науки. Въ собственныхъ мнѣніяхъ самихъ славянофиловъ, иногда очень справедливыхъ, не было, однако, „новой науки"; а иногда эти мнѣнія не были и справедливы. Не были славянофилы и спеціально народными людьми. Впослѣдствіи выяснилось, что они представляли собой, въ идеѣ, не русскій народъ,—какимъ до настоящей минуты создала его исторія, а только одну его часть и сторону, притомъ въ чертахъ московскаго семнадцатаго вѣка. Существенная особенность славянофильства заключалась именно въ томъ, что настоящей Русью, настоящимъ русскимъ народомъ они считали Москву и русскій народъ семнадцатаго вѣка, и упорно отвергали „петербургскій періодъ", какъ чужой, нѣмецкій, не народный: такимъ образомъ они отбрасывали цѣлый историческій періодъ, и искали идеала внѣ и отдѣльно отъ него,—какъ будто въ исторіи возможны такія исключенія того, что намъ лично не нравится. Отсюда ихъ теорія складывалась въ особенный, тѣсно-національный мистицизмъ.

Въ такихъ и подобныхъ общихъ чертахъ представлялось научное изученіе народности къ тому времени, когда въ нашей общественной жизни наступилъ новый періодъ [1]). Нельзя не видѣть, что изслѣдованіе народности историческое и этнографическое шло при несомнѣнномъ вліяніи теорій европейскихъ, даже у тѣхъ писателей, которые съ негодованіемъ отвергали все иностранное. Какъ поэтому, такъ и по другимъ причинамъ мудрено было бы говорить тогда, чтобы „самосознаніе", хотя бы теоретическое, было уже достигнуто. Во-первыхъ, въ изученіи народа оставалось слишкомъ много пробѣловъ, вслѣдствіе которыхъ, даже для образованнаго меньшинства, оставались неясны весьма существенныя стороны народной жизни. Во-вторыхъ, само образованное общество, которое, при умственномъ бездѣйствіи или подавленности массъ, одно могло представлять собой дѣятельную часть націи,—это общество обнаруживало такъ мало самостоятельности или было такъ стѣснено въ самыхъ первоначальныхъ не только практическихъ, но умственныхъ дѣйствіяхъ, что самостоятельность *общества* была, конечно, воображаемая...

На дѣлѣ, она достигалась только немногими лучшими умами,

---

[1]) Подробное изложеніе собственно этнографическихъ изученій русской народности было представлено нами въ нашей „Исторіи русской этнографіи", 4 тома, Спб., 1890—92.

и для того, чтобы она могла быть передана обществу, нужно было значительное повышеніе уровня понятій, и кромѣ того, чтобы самые принципы были болѣе выяснены со стороны ихъ практическаго примѣненія. Къ сожалѣнію, литература была въ этомъ отношеніи совершенно связана. Люди сороковыхъ годовъ (въ обоихъ направленіяхъ, о которыхъ здѣсь говорится), напр., сознавали вполнѣ необходимость освобожденія крестьянъ; но понятно, что и затѣмъ оставался еще цѣлый рядъ дальнѣйшихъ освобожденій, которыя нужно было бы пройти обществу, чтобы найти свое первое нормальное положеніе. Объ этомъ послѣднемъ масса общества имѣла еще самыя неясныя представленія, а для людей передовыхъ это была только отвлеченность, теорія, для которой связанная общественная жизнь того времени не давала никакой опоры.

Чтобы опредѣлить размѣры движенія описываемаго времени, нужно сравнить его не только съ тѣмъ, изъ чего оно вышло, но и съ тѣмъ, что̀ за нимъ послѣдовало.

Въ двадцатыхъ годахъ, люди, представлявшіе наибольшую степень общественнаго развитія, бросились на идею политическаго преобразованія. Интересъ къ народу, у лучшихъ людей той поры глубоко искренній и благородный, былъ только у немногихъ сознательный, а у большей части былъ интересъ романтическій. Въ томъ періодѣ, о которомъ говоримъ, въ понятіяхъ произошла большая перемѣна. Романтическіе взгляды вымираютъ болѣе и болѣе; прежняя политическая идея, сохранивъ свой смыслъ нравственнаго возбужденія, перестала удовлетворять. Романтическій интересъ къ народу смѣняется болѣе и болѣе положительнымъ, и таково именно было значеніе тѣхъ изученій народной жизни, ходъ которыхъ мы указывали. Историческое и этнографическое изученія стремились понять народную жизнь какъ она есть,—достигали этого, конечно, не вдругъ, дѣлали ошибки, но въ результатѣ, въ сороковыхъ годахъ, какъ моментъ развитія, были уже гораздо выше романтической точки зрѣнія двадцатыхъ годовъ.

Правда, историческія изслѣдованія сороковыхъ годовъ вращались почти исключительно на древнемъ періодѣ. Доводить изслѣдованія до новѣйшихъ временъ и ихъ учрежденій и порядковъ— не допускало самое положеніе литературы, въ которой сколько-нибудь откровенная исторія новѣйшихъ временъ была невозможна подъ цензурными запрещеніями; но, съ другой стороны, ученые, вынужденные къ молчанію здѣсь, нашли болѣе широкій интересъ въ изслѣдованіяхъ прошедшаго; отыскивая основныя идеи исто-

рическаго развитія, они естественно искали ихъ корней въ прошедшемъ, и къ позднѣйшимъ явленіямъ само собой должны были прилагаться послѣдствія рѣшеній, принятыхъ относительно фактовъ основныхъ.

Но внутренніе политическіе вопросы при всѣхъ недостаткахъ въ ихъ постановкѣ двадцатыхъ годовъ, естественно, однако, возникали въ общественномъ развитіи, и потому должны были возвратиться въ послѣдующемъ его ходѣ. Заслоненные въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, они, однако, продолжаютъ жить, о нихъ помышляетъ (какъ, напр., о крестьянскомъ вопросѣ, хотя безплодно) сама власть, а наконецъ, ихъ практическія требованія отчасти осуществляются въ послѣдующія десятилѣтія,—въ „періодъ реформъ“.

Сравнивая, далѣе, вторую четверть вѣка съ послѣдующимъ временемъ нельзя не видѣть, что изученія „народности“ чрезвычайно расширились противъ сороковыхъ годовъ. Выше мы указали, какъ развивалась наша исторіографія отъ Карамзина до Соловьева. Начавъ съ изображенія родового быта, Соловьевъ въ послѣдующихъ историческихъ періодахъ сталъ опять по преимуществу историкомъ государства—но уже не патріархальнымъ, какъ Карамзинъ, а раціоналистическимъ. Славянофилы пришли къ другой постановкѣ вопроса. Вмѣсто родового быта и его явленій, они находили въ древней русской исторіи господство общины, и старое государство понимали какъ особый любовный союзъ цѣлой великой общины, земли, съ властью; этотъ союзъ существовалъ, по ихъ мнѣнію, въ теченіе всего древняго періода, разорванъ былъ Петромъ Великимъ и долженъ былъ возстановиться, когда русскій народъ возвратится къ истиннымъ началамъ своей жизни, нарушеннымъ реформой: признаки возвращенія они видѣли, между прочимъ, въ своемъ собственномъ образѣ мыслей.

Дальнѣйшее развитіе исторіографіи принесло новую точку зрѣнія, которая была одинаково и результатомъ самаго хода науки и отголоскомъ возроставшихъ народныхъ или народническихъ стремленій. Это была такъ-называемая федеративная теорія, въ особенности изложенная Костомаровымъ. Эта теорія, почувствованная уже давно, прежде всего становилась въ противорѣчіе съ историками государственной централизаціи, выставляя кромѣ потока государственнаго развитія потокъ народной жизни, не всегда сливавшійся съ первымъ; она не принимала, что народъ, разъ создавъ государство, уже отказался отъ своей автономіи и отдавалъ ее безповоротно въ руки государства; она не считала государства такимъ идеальнымъ учрежденіемъ, которое

создается разъ навсегда и остается непогрѣшимымъ авторитетомъ, а напротивъ видѣла въ немъ учрежденіе съ временными формами, характеръ которыхъ опредѣляется—въ высшей инстанціи—представленіями и потребностями массъ, — и защищала для этихъ массъ право самоопредѣленія. То, что въ народныхъ движеніяхъ прошедшихъ вѣковъ для теоріи централизаціонной казалось только „анти-государственнымъ“ элементомъ, здѣсь являлось отраженіемъ естественныхъ инстинктовъ народной жизни, которые, правда, могли принимать ложное направленіе, но сами по себѣ были законны и становились анти-государственными только потому, что въ существовавшемъ государствѣ не находили себѣ правильнаго удовлетворенія. Народныя движенія стараго времени обозначали не борьбу стараго отживающаго элемента (народной автономіи) съ новымъ (государствомъ), которому одному принадлежитъ будущее, а напротивъ борьбу двухъ элементовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое право; если по обстоятельствамъ времени, по наличнымъ силамъ, фактическій исходъ борьбы оканчивался въ пользу государства, то онъ не уничтожалъ въ будущемъ возвращенія народнаго вопроса и новаго его рѣшенія.

Съ другой стороны, федеративная теорія сталкивалась и съ славянофильской точки зрѣнія. Между ними было не мало общаго въ нѣкоторыхъ положеніяхъ, и также въ томъ, что въ обѣихъ вопросъ о народѣ былъ не только дѣломъ размышленія, но и внушеніемъ чувства; но была и значительная разница. Для славянофиловъ та русская земля, та великая община, въ которой они видѣли основаніе своего національнаго идеала, была земля и община великорусская; средоточіемъ русской исторіи дѣлалась Москва, священный символическій городъ, которому они давали почти мистическое значеніе. Теорія федеративная также знала это значеніе земли, но какъ въ древней Руси она видѣла федерацію автоматическихъ земель, такъ не теряла ихъ изъ виду и въ дальнѣйшемъ движеніи исторіи. Съ теченіемъ времени земли теряли свою отдѣльность, сливались въ большія массы, наконецъ въ единое государство, но не уничтожались, и русская нація не была однородное цѣлое, къ которому удобно было бы примѣнить московскіе идеалы XVII-го вѣка. Русская народность, кромѣ великорусской, имѣетъ другія обширныя вѣтви, каковы Малоруссія и Бѣлоруссія, которыя и старой исторіей, и языкомъ, и бытомъ значительно отличаются отъ великорусской массы, и соединенныя съ послѣдней отчасти при исключительныхъ условіяхъ, отчасти только въ позднѣйшее время, не могутъ принимать московской мѣрки, и, мало того, — по праву народности развивать

свои особенныя черты,—должны въ этомъ отношеніи имѣть извѣстный просторъ и льготу. Въ этихъ условіяхъ московская символика не имѣетъ смысла для *цѣлаго* русскаго народа; она должна ограничиться предѣлами своего племени, и предоставить другимъ племенамъ свойственное имъ развитіе; пунктомъ соединенія цѣлаго является не московскій XVII-й вѣкъ, а скорѣе новая Россія.

Если здѣсь въ образованіе историческихъ и этнографическихъ мнѣній вмѣшивались наконецъ и непосредственныя живыя вліянія —начинавшееся броженіе общественныхъ стихій, то еще яснѣе было это вмѣшательство въ области литературы.

Романтизмъ смѣнился у насъ направленіемъ, обратившимся къ изученію и изображенію народной жизни. Наше обращеніе къ „народности" шло параллельно подобному же явленію, которое возникало тогда въ разныхъ краяхъ Европы: здѣсь оно обнаруживалось или прямо въ видѣ политическаго „принципа національностей", или въ видѣ общественнаго движенія, которое было съ одной стороны реакціей космополитическому началу революціи (и здѣсь имѣло свою консервативную сторону), а съ другой — реакціей противъ нивелирующаго абсолютизма и стремившагося возродиться феодализма (и здѣсь оно было демократическимъ и прогрессивнымъ). Въ нашей жизни, въ рукахъ авторитета, это же стремленіе создало систему оффиціальной народности. Но рядомъ съ нею возникали народные интересы среди самого общества. Свободные отъ предвзятой консервативной тенденціи оффиціальной системы, они скорѣе обращались къ народу для самого народа, исходя отъ непосредственнаго чувства къ родинѣ и отъ неясныхъ мечтаній о благѣ народа, въ которомъ начинала чувствоваться національная сущность государства. Движеніе это въ началѣ было весьма неопредѣленное и стихійное;—мы видѣли, какъ историки, по теоретическимъ указаніямъ науки, искали проникнуть въ смыслъ народнаго бытія, какъ самоучки-этнографы и археологи пытались понять старину и настоящій народный бытъ, и т. д.; но здоровая сила движенія выразилась въ особенности въ литературѣ, оригинальными, яркими произведеніями, которыя сразу начали новый литературный періодъ,—произведеніями Гоголя. Народная жизнь въ первый разъ заняла прочное мѣсто въ литературѣ и для ея изображенія въ первый разъ нашлись настоящія краски въ школѣ Гоголя. Такимъ же явленіемъ было возникновеніе славянофильства, гдѣ интересъ къ народу принялъ спеціально-московскій оттѣнокъ. Наконецъ, то же движеніе выразилось возникновеніемъ малорусской литературы: оно было совершенно параллельно славянскому возрожденію, и любопытно тѣмъ

болѣе, что если народности западно-славянскія находили особый стимулъ въ томъ, что были окружены и подавляемы чужой народностью, къ которой принадлежала и государственная власть, то здѣсь областная литература возникала въ государствѣ той же русской народности. Ихъ старая исторія была одна, новая—шла вмѣстѣ, но въ промежутокъ ихъ раздѣленія легла сильная разница между сѣверомъ и югомъ, и послѣдній выдѣлился въ такую особность, которая уже чувствовала свое различіе отъ великорусскаго племени и не находила удовлетворенія своимъ народнымъ инстинктамъ въ простомъ слiянiи съ сѣверомъ. Малорусская литература брала своимъ содержаніемъ поэтическіе мотивы своего быта и своей южной исторіи—за періодъ отдѣльности отъ сѣвера, собственно и положившій самый яркій отпечатокъ на эту народность. Этнографическое изученіе встрѣчалось здѣсь съ явленіемъ, для котораго нужна была совершенно иная мѣрка. Случилось, что одинъ изъ самыхъ талантливыхъ представителей малорусской литературы былъ вмѣстѣ и замѣчательнымъ историкомъ: въ немъ нашла своего главнаго представителя федеративная теорія въ древней русской исторіи. Объясняя внутреннія политическія отношенія въ древней Руси, теорія служила въ то же время и для объясненія основаній малорусской народной исторіи.

Событія польскаго возстанія вызвали еще новое явленіе того же порядка,—вопросъ западно-русской народности, явившійся въ послѣдніе годы какъ реакція польскому національному господству. Къ сожалѣнію, и тотъ, и другой вопросы до послѣдняго времени не были доступны свободной критикѣ, и, напротивъ, стали предметомъ реакціонной эксплуатаціи, которая только запутывала ихъ и бросала на нихъ фальшивый свѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія, что когда кончится эта эксплуатація малорусскаго, бѣлорусскаго, а также и польскаго вопроса и откроется возможность опредѣлить настоящее положеніе дѣла, то для исторической науки предстоитъ еще задача правильнѣе объяснить многое и въ прошедшемъ.

Новыя колебанія произошли и въ отношеніяхъ къ западнославянскому вопросу. Изученіе славянства у насъ развилось, вкратцѣ, слѣдующимъ образомъ. До учрежденія славянскихъ каѳедръ въ университетахъ (1835) и до посылки нѣсколькихъ лицъ для спеціальнаго изученія славянскихъ земель,—знакомство съ славянскимъ міромъ было у насъ весьма ограниченное. Немногіе ученые, какъ Востоковъ, Кеппенъ, Калайдовичъ, знали движеніе новѣйшихъ славянскихъ литературъ; еще немногіе другіе имѣли о немъ болѣе или менѣе неопредѣленныя представ

ленія. Правильное изученіе началось только со введеніемъ этого предмета въ университетскій курсъ филологіи.

Эти первые русскіе слависты сдѣлали очень много для славянскихъ изученій и для установленія славяновѣдѣнія въ Россіи, но меньше сдѣлали для объясненія общественныхъ и политическихъ славяно-русскихъ отношеній. Сами они, изъ общенія съ западно-славянскими литературами, находившимися тогда въ процессѣ возрожденія, вынесли романтическія представленія о великомъ значеніи народности, о славянскомъ братствѣ и „взаимности“, но безъ достаточно яснаго представленія о томъ, чѣмъ практически должна была выражаться эта взаимность. Но внѣ ученой славистики, идеи о славянскомъ братствѣ приводили къ панславистическимъ мечтаніямъ, хотя мало или совсѣмъ не проникавшимъ въ литературу, какъ у Хомякова (стихотвореніе „Орелъ“), Погодина, въ Кирилло-Меѳодіевскомъ кружкѣ Костомарова. Славянофильская школа питала къ этимъ панславянскимъ мечтаніямъ теплыя сочувствія; впослѣдствіи въ ея изданіяхъ („Р. Бесѣда“) приглашены были къ участію представители западнаго славянства; западный кружокъ относится къ этому панславизму не только съ равнодушіемъ, но даже враждебно. Дѣло въ томъ, что казалось неяснымъ содержаніе этого славянскаго единства: его защитники у насъ, какъ Погодинъ (иногда славянофилы), являлись въ домашнихъ вопросахъ приверженцами оффиціальной народности или археологическими консерваторами, и для непосвященныхъ и постороннихъ (какъ былъ западный кружокъ) союзъ съ славянствомъ казался только подкрѣпленіемъ этого направленія. Славянофилы отвергали западъ и противопоставляли ему востокъ и славянство; но что дали бы послѣдніе взамѣнъ общечеловѣческаго просвѣщенія, котораго западъ былъ дѣятелемъ? Наконецъ, славянскія мечтанія увлекали умы въ какое-то фантастическое будущее, когда въ настоящемъ русскому обществу предстояло обезпечивать свои самые настоятельные интересы.

Новый оттѣнокъ взглядовъ на славянскія отношенія явился съ новымъ поколѣніемъ славистовъ, при ближайшемъ знакомствѣ съ жизнью возрождающагося славянства. Путешествія въ славянскія земли стали дѣломъ довольно обыкновеннымъ; слависты второго поколѣнія могли являться туда болѣе приготовленными или предупрежденными, и хотя у многихъ держалось еще прежнее романтическое отношеніе къ мелкимъ *народнымъ* литературамъ, но у другихъ являлись впечатлѣнія, не совсѣмъ похожія на прежнее. Были молодые слависты, которые, не увидѣли въ славянскомъ мірѣ той могущественной силы, которою нѣкогда грозился пан-

славизмъ; „единая семья“ славянскихъ народовъ оказалась раздроблена и языкомъ, и религіей, и степенью развитія, и политическими интересами; идея „славянской взаимности“ была заявлена, но взаимность сдѣлала мало успѣховъ. Въ славянскомъ мірѣ очевидно не было единства, и слависты новаго поколѣнія приходили къ убѣжденію, что это единство можетъ быть утверждено только однимъ способомъ — господствомъ или гегемоніей Россіи, или на первый разъ введеніемъ русскаго языка, какъ общаго литературнаго языка для всѣхъ славянскихъ племенъ; никакія другія средства не помогутъ дѣлу, и усилія славянскихъ племенъ создавать и развивать свои литературы безполезны, даже вредны, потому что отдаляютъ время объединенія посредствомъ русскаго языка. Нельзя придавать большой цѣны явленіямъ современной западно- и южно-славянской литературъ; въ каждой отдѣльной народности литература слишкомъ тѣсна, чтобы обнять всеславянскій интересъ, чтобы дать средства для широкихъ созданій поэзіи и науки... Была ли вѣрна или невѣрна новая точка зрѣнія, но любопытна была такая перемѣна понятій въ средѣ самой школы, въ короткій промежутокъ болѣе близкаго знакомства съ положеніемъ вещей. Разница въ основномъ принципѣ была слишкомъ ощутительна. Въ прежнее время, приверженцы славянской идеи радовались возникновенію славянскихъ литературъ, какъ возрожденію народностей, и ихъ разнообразіе казалось тѣмъ разнообразіемъ діалектовъ древней Греціи, которое служило къ большему богатству и красотѣ греческаго языка. Теперь, это разнообразіе казалось вавилонскимъ смѣшеніемъ языковъ, которое чѣмъ скорѣе кончится, тѣмъ лучше, т.-е. казалось почти тѣмъ же, что̀ видѣли въ этомъ прежніе противники славянофильства.

Эта перемѣна отразилась и на домашнемъ „славянскомъ“ вопросѣ. Славянофилы колебались въ своихъ отношеніяхъ къ развитію нашихъ мѣстныхъ литературъ, малорусской и бѣлорусской, въ своихъ отношеніяхъ къ польской народности. Они то признавали ихъ право на существованіе, то сомнѣвались... Въ теоріи и теперь повторялось слово „народъ“, но обрусительныя наклонности не разъ становились въ противорѣчіе съ этимъ словомъ.

Въ 1867-мъ происходилъ славянскій съѣздъ на московской этнографической выставкѣ. Есть книга, разсказывающая объ этомъ съѣздѣ, о торжественныхъ встрѣчахъ, обѣдахъ, концертахъ, длинныхъ рѣчахъ, заявленіяхъ братскихъ чувствъ и т. д. Но, вообще говоря, значеніе съѣзда осталось нѣсколько двусмысленно: „братья“ увидѣли въ своемъ путешествіи не только то одно, что̀ хотѣли

имъ показать, и едва ли убѣдились въ томъ, въ чемъ хотѣли увѣрить ихъ славянофилы, старые и новые. Въ людяхъ непредубѣжденныхъ съѣздъ подтвердилъ недовѣріе къ фантастическимъ изображеніямъ славянскаго вопроса. Между восточными и западными „братьями“ обнаруживались недоразумѣнія, которыхъ нельзя было скрыть.

Такъ, и съ этой стороны практическая жизнь освѣщала новымъ свѣтомъ вопросы народные и племенные, и открывала дѣйствительныя отношенія, которыхъ не видно было въ прежнемъ теоретическомъ идеализмѣ.

Наконецъ, новыя стороны народной жизни открыты были изученію и сознанію событіями внутренней исторіи послѣдняго времени. Центральнымъ и основнымъ изъ нихъ была крестьянская реформа. Нѣтъ сомнѣнія, что источникомъ ея были два побужденія: нравственное — сознаніе общественной несправедливости, низводившей громадную часть господствующей націи въ положеніе безправной и угнетаемой массы, и матеріальное—сознаніе явнаго вреда для государства отъ неправильныхъ экономическихъ отношеній. То и другое выростало издавна въ обществѣ, — исторію этого сознанія можно ясно прослѣдить въ теченіе послѣдняго столѣтія. Тѣмъ не менѣе, оно стало болѣе или менѣе отчетливо только съ самымъ началомъ реформы, когда въ первый разъ явилась возможность открыто говорить объ этомъ предметѣ. Еще памятно недавнее время, когда предстоявшее рѣшеніе крестьянскаго вопроса наполнило наше полусознательное существованіе невиданнымъ оживленіемъ, въ которомъ высказались разнообразныя понятія и тенденціи, надежды и досады, вызванныя ожидаемымъ преобразованіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ стало возможно и началось серьезное изслѣдованіе. Вопросъ былъ такъ важенъ, касался такъ глубоко народной и государственной жизни, что можно безъ преувеличенія сказать, что наше изученіе этой жизни, наше „самосознаніе“ начинается только съ тѣхъ поръ, какъ разрѣшался крестьянскій вопросъ. Въ самомъ дѣлѣ, о какомъ „самосознаніи“ могла быть рѣчь, когда десятки милліоновъ коренного народа имперіи были *юридически*, государственнымъ закономъ, устранены отъ всякой возможности какого-либо образованія, какого-нибудь иного сознанія, кромѣ гнетущаго чувства своей безпомощности и беззащитности. Крѣпостная реформа впервые дозволяла понимать „народъ“ въ томъ смыслѣ, въ какомъ ему могло быть приписано нравственное значеніе, когда слово „народъ“, какъ обозначеніе національной идеи, перестало быть странной фикціей, двусмысліемъ и печальной ироніей.

Признаніе гражданскаго достоинства за крѣпостнымъ „народомъ“ не могло не сопровождаться большимъ вниманіемъ къ исторической судьбѣ народныхъ массъ. Такъ федеративная теорія, высказанная именно въ этотъ періодъ освобожденія, исправляла или дополняла въ этомъ смыслѣ прежніе взгляды — историковъ государственности и историковъ славянофильскихъ. Исторія народныхъ движеній, козачества, крестьянскихъ возстаній, до тѣхъ поръ темная, получала свое объясненіе; это была уже не исторія излишнихъ и только вредныхъ броженій „противо-государственнаго начала“,—напротивъ, историкъ наблюдалъ здѣсь проявленія подлинной народной стихіи, естественныхъ народныхъ влеченій, и находилъ имъ объясненіе, почти оправданіе. Въ такомъ же смыслѣ началось—опять современно съ крестьянской реформой, —изученіе другого народнаго явленія, раскола. Прежняя исторія трактовала расколъ исключительно только съ точки зрѣнія богословской полемики и оффиціальной народности: это былъ своего рода религіозный бунтъ толпы, тѣмъ болѣе упорной, чѣмъ болѣе она была невѣжественна; правительства неизмѣнно преслѣдовали этотъ бунтъ въ теченіе двухсотъ лѣтъ; къ сожалѣнію, преслѣдованіе большей частью было безуспѣшно, хотя необходимо и справедливо, потому что заблужденіе, доходившее до послѣднихъ крайностей, было вредно и для государства и для церкви. Теперь исторія впервые отнеслась къ расколу безпристрастно, по крайней мѣрѣ безъ предвзятаго осужденія. Она старалась возстановить бытъ, понятія и обстоятельства, при которыхъ возникалъ расколъ, и приходила къ заключенію, что онъ имѣлъ свои основанія вовсе не въ бунтовскихъ наклонностяхъ невѣжественной массы, а въ условіяхъ времени, — что по всему характеру тогдашняго религіознаго быта народъ могъ естественно придти къ тѣмъ понятіямъ, которыя казались такъ странны новѣйшему обличенію и вовсе не были странны въ XVII-мъ вѣкѣ. Изслѣдованіе пошло еще далѣе. Разсматривая ближе народное міровоззрѣніе семнадцатаго вѣка, при началѣ раскола, оно находило, что тѣ понятія, которыя потомъ стали считаться особенностью раскола, были вообще тогдашней народной религіей. Корни ея лежали далеко въ предшествующихъ вѣкахъ, когда христіанство впервые установилось прочно въ умахъ народа, но — при бѣдности просвѣщенія—установилось не въ чистотѣ строгой догматики, а подъ вліяніемъ старыхъ преданій и грубаго быта. Религіозныя воззрѣнія тѣхъ временемъ вѣрно характеризуются словомъ „двоевѣріе“, которымъ упрекалъ свое время старый благочестивый писатель, и гдѣ смѣшались оба источника народныхъ

вѣрованій—преданія, уцѣлѣвшія отъ язычества, и новые предметы поклоненія, принесенные христіанствомъ. Нѣкогда „двоевѣріе“ было принадлежностью всей народной массы; позднѣе расколъ, въ началѣ своемъ, былъ также своего рода народной религіей, упорно хранившей внѣшнюю церковную старину; Никоновское исправленіе книгъ должно было отвергнуть многое въ этой старинѣ, такъ какъ она дѣйствительно отступала отъ настоящихъ церковныхъ правилъ. До тѣхъ поръ народъ спокойно держался стараго обычая; многія его заблужденія раздѣляли даже лица изъ высшей іерархіи. Когда, при Никонѣ, употреблено было принужденіе, народъ естественно бросился на защиту старины, въ которой искренно видѣлъ „истинную вѣру“. Дальнѣйшія преслѣдованія вывели расколъ изъ естественнаго развитія; подъ анаѳемой и правительственнымъ гоненіемъ, онъ, предоставленный собственнымъ средствамъ, рисковалъ на всевозможные религіозные толки, впадая въ самыя разнообразныя заблужденія, но во все продолженіе гоненій твердо стоялъ за то, что считалъ своимъ религіознымъ правомъ.

Подобное объясненіе раскола было совершенно не похоже на прежнія, безъ сомнѣнія было ближе къ истинѣ и обнаруживало больше теплаго участія къ народу. Въ параллель этому въ литературѣ высказалось и новое отношеніе къ современному расколу,—заявлена потребность въ религіозной терпимости, необходимость иного порядка въ церковной администраціи и вообще иныхъ отношеній церкви къ государству. Въ этомъ вопросѣ большая заслуга принадлежитъ славянофильскимъ изданіямъ. здѣшнимъ и заграничнымъ, которыя очень вѣрно и настойчиво указывали слабыя стороны существующихъ отношеній. Собственно говоря, здѣсь было не много новаго, потому что не только вопросъ вѣротерпимости, но и вопросъ о положеніи нашей церкви въ государствѣ давно былъ достаточно ясенъ для людей образованныхъ, но важно было, что эти мнѣнія были заявлены въ литературѣ. Критическая сторона славянофильскихъ мнѣній въ этомъ вопросѣ (насколько она была высказана Ив. Аксаковымъ въ статьяхъ „Дня“, „Москвы“, „Москвича“, „Руси“, и Самаринымъ, въ его характеристикѣ личности и мнѣній Хомякова) не можетъ не возбуждать сочувствія.

Предметъ, затронутый здѣсь, имѣлъ великую важность, какъ для историческаго, такъ и для современнаго практическаго уразумѣнія русской жизни. Начало къ которому сводятся въ послѣднемъ результатѣ новыя мнѣнія, есть, конечно, начало терпимости или свободы совѣсти, и еслибы мы искали источниковъ

этихъ мнѣній—осуществленіе которыхъ могло бы составить высоко важный моментъ нашего „самосознанія“,—едва ли бы мы нашли этотъ источникъ гдѣ-нибудь, кромѣ идей европейской образованности. Къ сожалѣнію, мы не находимъ его въ преданіяхъ нашей исторіи [1]), и находимъ долгую, упорную и славную борьбу изъ-за этого начала въ исторіи западной, которая и передаетъ намъ въ этомъ отношеніи свои уроки.

Далѣе. Къ послѣднимъ годамъ принадлежитъ также особенное распространеніе изученій новѣйшей исторіи. До сихъ поръ, кромѣ исторіи чисто оффиціальной, другая не существовала. Единственнымъ средствомъ, какимъ пріобрѣталось пониманіе новѣйшаго общественнаго развитія,—было изученіе литературы, та литературно-историческая критика, которая возникла у писателей двадцатыхъ годовъ, потомъ продолжалась въ трудахъ Полевого, и наконецъ особенно у Бѣлинскаго. Вслѣдствіе теоріи, что литература есть выраженіе общества, историческій обзоръ художественной литературы дѣлался рамкой для исторіи самаго общества,—но, конечно, только въ той степени, насколько послѣдняя въ нее входила. Рамка была, однако, тѣсна: наша литература, не свободная и до сихъ поръ, не была полнымъ выраженіемъ общества, и исторія поэтическихъ произведеній не разъясняла достаточно его внутреннихъ отношеній. Поэтому, начавшееся въ послѣдніе десятки лѣтъ изученіе исторіи домашней, закулисной, прошлаго и нынѣшняго вѣка, явилось какъ нѣчто совершенно новое, и, повидимому, возбудило большое вниманіе: какъ ни былъ этотъ матеріалъ большею частію отрывоченъ и безсвязенъ, онъ все-таки давалъ множество любопытныхъ извѣстій, недоступныхъ прежде. Дѣйствительная исторія очень затруднительна и до сихъ поръ, и даже многое изъ упомянутыхъ матеріаловъ могло являться въ печати только ради своей безсвязности и отрывочности. Но при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ разработки матеріала, онъ самъ по себѣ былъ важной новостью: то, что прежде было извѣстно лишь по преданіямъ, или узнавалось только изъ иностранныхъ книгъ, становилось общедоступнымъ. Это была ве-

[1]) Находить упомянутый источникъ въ воззрѣніяхъ „народа“—едва ли возможно: терпимость народа къ расколу, раскольничьихъ сектъ другъ къ другу, объясняется, кажется намъ, тѣмъ долгимъ общимъ угнетеніемъ, крѣпостнымъ, церковнымъ и чиновничьимъ, которое сближало ихъ въ общей антипатіи къ этому гнету, или же объясняется индифферентизмомъ. По крайней мѣрѣ, эти причины играютъ важную роль, и если въ народномъ быту наши этнографы указываютъ примѣры вѣротерпимости, то эти инстинкты еще должны воспитаться до сознательнаго правила. Припомнимъ вражду раскольничьихъ сектъ или недавніе случаи нападеній на штундистовъ.

ликая разница съ тѣмъ, что было въ сороковыхъ годахъ, даже два десятилѣтія назадъ. Такъ нашему „національному самосознанію“ недоставало тогда даже самыхъ существенныхъ свѣдѣній о нашей недавней исторіи...

Наконецъ, новый періодъ нашей общественности, особенно заявленіе крестьянской реформы, дали мѣсто еще одному обширному изученію — экономическому. Оно началось, правда, еще раньше, но, крайне стѣсненное прежде въ примѣненіи къ положенію крѣпостного населенія, теперь впервые ставилось серьезнымъ образомъ какъ относительно собиранія матеріала, такъ и относительно его разъясненія. Когда работали крестьянскіе комитеты и редакціонныя коммиссіи, вопросъ дѣятельно разрабатывался и въ литературѣ. И опять, какъ самое пониманіе ненормальности крѣпостного быта было въ значительной степени воспитано европейской образованностью, такъ теперь европейская наука давала опору теоретическимъ рѣшеніямъ.

Этотъ новый предметъ общественнаго изученія былъ едва ли не важнѣйшимъ изъ всѣхъ предшествующихъ по богатству указаній для уразумѣнія народной дѣйствительности. Въ первый разъ въ литературѣ, и въ мнѣніяхъ общества, раскрывалась истинная картина народнаго быта, разоблачаемая отъ умолчаній и отъ лицемѣрнаго прикрашиванья; историческія и современныя мрачныя стороны народнаго быта въ первый разъ открыто указывались общественной совѣсти и еще болѣе возбуждали сказавшееся сочувствіе къ народной массѣ. Вліяніе этого изученія и впечатлѣніе крестьянской реформы отразились на самыхъ различныхъ сторонахъ общественныхъ понятій. Броженіе политическихъ идей, прошедши съ двадцатыхъ годовъ ступени романтическаго либерализма, тяжелыхъ сомнѣній, философско-историческихъ изслѣдованій, устанавливалось въ реальный интересъ обще-народнаго развитія. Экономическая справедливость, которая становилась исходнымъ пунктомъ новыхъ понятій, уже заключала въ себѣ рѣшеніе другихъ вопросовъ народной жизни. Освобожденіе—чтобы быть логически вѣрнымъ—предполагало цѣлый рядъ новыхъ преобразованій, которыя только и дѣлали его дѣйствительнымъ: необходимость общественной равноправности для народа—въ правѣ равнаго суда и участія въ земскомъ самоуправленіи, въ правѣ на образованіе, — эта необходимость не представляла сомнѣнія для людей, искренно искавшихъ общественнаго улучшенія. Мы видѣли, какъ нравственное вліяніе крестьянской реформы отразилось на оживленіи мѣстныхъ народностей особенно малорусской, въ основаніи котораго лежало то же стремленіе образованныхъ

классовъ сблизиться съ народомъ и служить его нравственнымъ интересамъ. Обществу, которое такъ долго обвиняли въ отдѣленіи отъ народа, открывалась теперь возможность завязать съ нимъ нравственную связь, которой безъ сомнѣнія суждено развиться въ практически-дѣйствительную связь, а эта послѣдняя только и можетъ быть основаніемъ настоящей, а не воображаемой національной образованности.

Не будемъ говорить о рядѣ другихъ реформъ, отмѣтившихъ прошлое царствованіе, — реформъ въ судѣ, администраціи, печати, земствѣ, городахъ. Эти реформы, отчасти задуманныя подъ очевиднымъ вліяніемъ европейскихъ взглядовъ и учрежденій (какъ реформа судебная), тѣсно связаны съ крестьянской реформой, какъ послѣдовательное ея продолженіе, и имѣли подобное же дѣйствіе: онѣ раскрывали еще разъ народную жизнь съ такой реальной ясностью, какой еще не достигало литературное изученіе. Затѣмъ, до какой степени были необходимы эти преобразованія, или насколько ихъ дальнѣйшая судьба удовлетворила ихъ первой идеѣ и ожиданіямъ общества,—объ этомъ безпристрастный читатель можетъ найти достаточно указаній въ литературѣ послѣднихъ годовъ.

Во всемъ этомъ движеніи, совершавшемся со времени Крымской войны, проявлялось уже не мало признаковъ дѣйствительнаго самосознанія, въ серьезномъ смыслѣ этого слова, и сравнивъ то, что было пріобрѣтено теперь въ этомъ отношеніи, съ понятіями сороковыхъ годовъ, нельзя не увидѣть большой разницы. Много, что было тогда однимъ теоретическимъ предположеніемъ, становилось дѣломъ практической жизни; реформы, о которыхъ едва позволялось помышлять литературѣ, совершались на дѣлѣ, изученіе „народности“ сдѣлало несомнѣнные успѣхи въ историческихъ, бытовыхъ и экономическихъ изслѣдованіяхъ; началась впервые нѣсколько открытая работа общественнаго мнѣнія и литературы по предметамъ внутренней политики.

Но уже вскорѣ въ исполненіи преобразованій, возбуждавшихъ столько ожиданій, стала, болѣе и болѣе очевидно, брать верхъ реакція консервативныхъ элементовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ развитіи общественнаго мнѣнія является новый поворотъ.

Рядомъ съ тѣми успѣхами, которыми уже начали у насъ гордиться вслѣдствіе начатыхъ преобразованій, въ одной части общества и литературы развивается сильный скептицизмъ, который недовѣрчиво относился къ ходу вещей и прослылъ „отрицаніемъ“.

Объ этомъ отрицаніи, или противъ него, было наговорено и еще говорится такъ много враждебно-фальшиваго, что, быть можетъ, не излишне сказать нѣсколько словъ объ его истинномъ смыслѣ. Прежде всего, „отрицательное направленіе“ имѣло различные предметы и уровни; съ конца пятидесятыхъ годовъ въ числѣ его представителей стояли нѣсколько замѣчательнѣйшихъ писателей нашихъ (начиная, напр., съ Добролюбова и кончая Салтыковымъ), затѣмъ отрицаніе получало другой особенный типъ въ младшемъ поколѣніи, послужившій предметомъ обличенія для столькихъ романистовъ и публицистовъ, и подъ конецъ изуродованный ими до потери человѣческаго образа. Въ числѣ обличителей „отрицанія“ стали въ первомъ ряду даже лучшіе писатели прежняго періода, какъ авторъ „Отцовъ и Дѣтей“, который самъ еще незадолго передъ тѣмъ съ сочувствіемъ рисовалъ отрицательные типы прошлаго періода и который теперь въ личности Базарова, конечно, изображалъ людей, дѣйствовавшихъ около 1860 года. Въ послѣднее время вражда къ „отрицанію“ доходитъ до того, что въ эту категорію относятъ вообще всякую попытку независимой критики, всякое сомнѣніе въ вѣрности охранительнаго идеала или въ обширности нашихъ гражданскихъ успѣховъ, всякое несогласіе съ грубымъ національнымъ самодовольствомъ и самохвальствомъ. Публицисты извѣстнаго свойства не уставали обвинять въ „отрицаніи“ и заподозривать огуломъ все, что не принимало ихъ реакціоннаго символа, и имъ долго вѣрила не только мало развитая масса, но, къ сожалѣнію, и люди вліятельныхъ сферъ. Все то, что нѣкогда испугалось начавшихся реформъ, при первомъ признакѣ реакціи поспѣшило стать за охранительные принципы и съ благонамѣреннымъ негодованіемъ возстать противъ „отрицанія“.

Здѣсь не мѣсто указывать всѣ источники и подробности этого направленія, объяснять частныя свойства и увлеченія нѣкоторыхъ его оттѣнковъ; но нельзя не видѣть, что вообще съ конца пятидесятыхъ годовъ и донынѣ, въ общественномъ мнѣніи и въ литературѣ проходитъ—съ различной силой—черта сомнѣнія и критики, предметомъ которыхъ служитъ современное состояніе русской жизни.

Для опредѣленія сущности явленія не требуется большихъ объясненій. Въ глубинѣ отрицанія лежали весьма ясные положенія и идеалы, и желчныя проявленія скептицизма вызывались накопившимся нетерпѣливымъ ожиданіемъ реформъ, которое не было удовлетворено ни ходомъ преобразованій, ни настроеніемъ общества, или скрытно враждебнымъ, или сантиментально поверх-

ностнымъ и готовымъ вернуться на старую дорогу, еслибы такъ сложились обстоятельства. „Отрицаніе“ именно было слѣдствіемъ нравственнаго вліянія крестьянской реформы. Эта давно жданная лучшими людьми реформа своей основной идеей производила на нихъ столь сильное впечатлѣніе, что невозбужденное чувство не удовлетворялось ни слишкомъ перѣшительными мѣрами, ни слишкомъ легкимъ отношеніемъ къ дѣлу даже со стороны такъ-называемаго прогрессивнаго общества. Недовольство было вполнѣ естественно, если припомнить всѣ обстоятельства дѣла. При первыхъ возникшихъ сомнѣніяхъ естественно представлялся прошедшій долгій застой, который слишкомъ вошелъ въ нравы и грозилъ остановить начавшееся дѣло на полдорогѣ... Дѣйствительно, прошло немного лѣтъ, и опасенія стали почти оправдываться [1]).

[1]) Писателямъ сороковыхъ годовъ, которымъ становилось непонятно современное сомнѣніе, слѣдовало вспомнить, что нѣкогда говорили люди ихъ поколѣнія объ „отрицаніи“ своего времени, о тѣхъ проявленіяхъ скептицизма, какія они видѣли въ свое время. Вотъ для примѣра отрывокъ, писанный въ сороковыхъ годахъ. Авторъ, объясняя причины тогдашнихъ проявленій скептицизма, говоритъ:

„Просто, мы возмужали и пришли къ тому возрасту, когда и человѣкъ и народъ начинаютъ отдавать отчетъ себѣ въ томъ, что сдѣлалъ и дѣлаетъ—оттого мы стали строже и къ себѣ и къ другимъ; стали пытливѣе и недовѣрчивѣе. Словомъ, наступило время разсудка, анализа, критики. Этотъ поворотъ въ нашей жизни начался полнымъ отрицаніемъ, сомнѣніемъ во всемъ, даже въ нашихъ юношескихъ силахъ, и очень немногіе поняли настоящій смыслъ этого явленія. Въ литературѣ, въ отдѣльныхъ мнѣніяхъ послышалась тогда (хоть это было и очень недавно) та странная, пестрая разноголосица, то смѣшеніе языковъ, которыя наполнили собою послѣднее десятилѣтіе и. которыхъ замирающіе отзывы слышатся еще и до сихъ поръ. Большинство не вынесло общаго скепсиса, овладѣвшаго всѣмъ и всѣми. Оно испугалось той видимой пустоты, которую въ немъ оставляло скептическое направленіе времени, и отъ общаго кораблекрушенія преданій, готовыхъ убѣжденій, непередуманныхъ вѣрованій, каждый спасался куда могъ и какъ могъ. Отъ дѣйствительности кто бѣжалъ въ прошедшее и на немъ успокаивался, разумѣется подкрасивъ его по своему крайнему разумѣнію; кто бѣжалъ въ будущее и въ него перенесъ все то, чего недоставало въ настоящемъ. Самое незначительное число осталось при настоящемъ, смотрѣло на него прямо и старалось разгадать его разумныя требованія...

„Скептическое направленіе—необходимый результатъ отжитого прошедшаго, необходимый прологъ къ зарождающемуся будущему,—произвело на насъ благодѣтельное дѣйствіе. Недавно еще высказывалось оно рѣзко, отвлеченно, а теперь мы можемъ уже отчасти провидѣть его результаты сквозь хламъ и соръ, которымъ еще завалена наша литература. Такъ мы быстро идемъ впередъ! Оно, какъ медицинскіе яды, съѣло, сожгло въ насъ гнилые соки и очистило кровь. Когда ложныя понятія, взгляды, стремленія, чувства, вся эта формалистика недавняго прошедшаго, въ которыхъ оно силилось увѣковѣчиться, мало-по-малу были расшатаны и разрушены, туманъ исчезъ изъ головы, и прежнія аксіомы сдѣлались по крайней мѣрѣ теоремами,—что оставалось дѣлать! Отбросить всѣ нелѣпые и узенькіе взгляды, всѣ изношенныя чувствійца, служившія теперь лишь для пріятнаго, но совершенно безполез-

Человѣкъ безпристрастный едва ли скажетъ, чтобы наша общественная дѣйствительность не доставляла слишкомъ много основаній для отрицательнаго направленія, чтобы даже самыя крайности его не были порожденіемъ другихъ крайностей. Противники скептическаго направленія (какъ еще недавно оказалось въ отношеніи извѣстной доли печати къ Салтыкову) не бываютъ достаточно правдивы, чтобы признавать эти основанія. И, взглянувъ безъ предубѣжденія на источники разныхъ отраслей нынѣшняго „отрицанія", не теряясь въ „пестрой разноголосицѣ мнѣній" и не смущаясь „видимой пустотой", которую онъ будто бы производитъ, мы найдемъ, что онъ ставитъ для нашего развитія новыя задачи и требованія. Въ практической жизни, начавшееся преобразованіе нашего общественнаго быта не удовлетворяло возбужденныхъ желаній, и будущій историкъ замѣтитъ, что въ этомъ скептицизмѣ нашего времени, который шелъ рядомъ съ реакціоннымъ движеніемъ, именно заключался вѣрный инстинктъ развитія, и что ему предстояло смѣниться положительнымъ направленіемъ, но уже новаго, высшаго порядка.

. . . . .

Такъ, съ двадцатыхъ годовъ и донынѣ, шла постоянная работа общества надъ опредѣленіемъ своихъ элементовъ и ихъ должнаго устройства. Наиболѣе дѣятельна была эта работа въ царствованіе Александра II, когда правительственная иниціатива въ началѣ приняла открыто прогрессивное направленіе, и въ отвѣтъ на это началась оживленная дѣятельность самого общества. Цѣль еще далеко не достигнута: масса, хотя освобожденная, остается безъ нравственнаго обезпеченія, безъ образованія, безъ дѣйствія на нее образованныхъ классовъ и, слѣдовательно, почти безъ возможности участвовать сознательно въ высшихъ интересахъ національнаго развитія; общество не имѣетъ свободной иниціативы и простора для своей дѣятельности.

Въ такихъ условіяхъ и донынѣ трудно говорить о самосознаніи общества иначе, какъ разумѣя только разъединенное меньшинство наиболѣе образованныхъ людей, одушевляемыхъ общественнымъ интересомъ,—хотя теоретическія основанія этого самосознанія уже выработались до значительной ясности. Еще труднѣе было говорить объ этомъ въ сороковыхъ годахъ, когда кругъ

наго препровожденія времени, отказаться отъ предубѣжденій, предрасположеній къ прошедшему и будущему, и серьезно приняться за дѣло, ища одной истины и ничего больше"... (1846).

Эти слова написаны какъ будто о нашемъ собственномъ времени.

такихъ людей былъ еще тѣснѣе, когда невозможно было даже говорить объ основной необходимой реформѣ, произведенной теперь, когда гораздо ограниченнѣе былъ самый запасъ свѣдѣній объ историческомъ развитіи общества и народномъ бытѣ. Съ другой стороны, относительно способовъ, какими достигалось это самоопредѣленіе, должно замѣтить, что если въ своей сущности оно исходило отъ внутреннихъ побужденій развитія, то теоретическая его работа шла постоянно по слѣдамъ европейской науки и опыта.

Вотъ обстоятельства, которыя нужно имѣть въ виду, опредѣляя историческое значеніе двухъ главныхъ литературныхъ школъ, которыя въ описываемое время образовались внѣ системы оффиціальной народности. Усилія и стремленія тогдашней литературы имѣютъ такимъ образомъ значеніе именно какъ переходъ отъ романтизма двадцатыхъ годовъ къ нашему времени. Понятія и выводы этой литературы не могутъ не казаться намъ неполными, но все же они были великимъ успѣхомъ противъ старой традиціонной точки зрѣнія: своими критическими требованіями эта литература доказывала несостоятельность системы оффиціальной народности и, оставляя позади старый романтизмъ, нашла болѣе вѣрную точку зрѣнія на народную и общественную жизнь, и послѣдующее время шло тѣмъ самымъ путемъ развитія, который— нерѣдко замѣчательнымъ образомъ—предчувствовали лучшіе люди тогдашней литературы.

VI.

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

Общій взглядъ и теологическая система славянофильства.

Въ то самое время, когда Чаадаевъ пришелъ къ крайнему скептицизму „Философскихъ писемъ“, въ литературѣ подготовлялась точка зрѣнія, которая отличалась столько же крайнимъ увлеченіемъ въ совершенно противоположную сторону. Это было славянофильство [1]).

---

[1]) Въ первомъ изданіи книги мы говорили, что „еще не пришло время для полной оцѣнки этого направленія“, что оно „до нынѣ продолжаетъ свою роль въ литературѣ“ и „его первые дѣятели отчасти дѣйствуютъ до сихъ поръ; другіе, которые сошли со сцены, еще не имѣютъ настоящихъ біографій; собранія ихъ сочиненій только начаты“. Въ настоящее время многое измѣнилось: со смертію И. С. Аксакова отошелъ въ исторію послѣдній, младшій, представитель стараго славянофильскаго кружка. Исторія начинается для этого замѣчательнаго направленія,—хотя все еще далеко не полная, какъ бываетъ особенно у насъ неполна всякая исторія недавняго времени. Правда, настоящихъ біографій главныхъ дѣятелей славянофильства мы и теперь не имѣемъ; но законченная дѣятельность даетъ бо́льшую возможность выводовъ, и частію опубликованы многіе интересные матеріалы.

— Полное собраніе сочиненій И. Кирѣевскаго. Москва, 1861, 2 тома.

— Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. М. 1861 и дал., и новыя изданія. Т. I, разныя статьи. Томъ II. Соч. богословскія. (Прага и Москва). Томъ III—IV. Соч. историческія.

— Сочиненія Ю. Ѳ. Самарина. Томъ I. Статьи разнороднаго содержанія и по польскому вопросу. М. 1887.—Томъ II—III. Крестьянское дѣло до Высоч. рескрипта 20 ноября 1857 года,—по іюнь 1859 года. 1878, 1885.—Томъ V. Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ. 1880.—Т. VI. Іезуиты и пр. 1887.

— Полное собраніе сочиненій К. С. Аксакова. Томъ I. (Второе заглавіе: К. С. Аксакова сочиненія историческія). М. 1861. — Т. II. К. С. Аксакова сочиненія филологическія. Часть I. М. 1875. — Т. III: то же, часть II. Опытъ русской грамматики. М. 1880.

— Иванъ Серг. Аксаковъ въ его письмахъ. Часть первая. Учебные и служебные годы. Томъ I. Письма 1839—1848 годовъ. Съ портретомъ автора. М. 1888.— Томъ II. Письма 1848—1851 годовъ. М. 1888.

По нашей задачѣ, мы ограничимся только тою частью ихъ дѣятельности, которая принадлежитъ выбранному нами періоду. Понятно, что эта часть не была наиболѣе характеристична. Славянофилы, какъ и остальная литература, не могли въ то время высказать своихъ мнѣній достаточно полно; но и тогда они успѣли выставить нѣкоторыя изъ главныхъ своихъ положеній и рѣзко выдѣлялись въ литературѣ какъ особая школа. Намъ приходится въ этихъ началахъ ихъ дѣятельности наблюдать задатки дальнѣйшаго, болѣе обширнаго развитія ихъ мнѣній; изъ ихъ позднѣйшей дѣятельности мы заимствуемъ только немногія необходимыя указанія.

Въ послѣдующее время, — по причинамъ, о которыхъ упомянемъ дальше, — число приверженцевъ славянофильства стало больше; они составили даже какъ бы новую школу въ славянофильскомъ духѣ. Эти новые послѣдователи, хотя иногда значительно отступаютъ отъ первоначальной школы, придаютъ великое значеніе начинателямъ славянофильства, считаютъ ихъ ученіе цѣлымъ умственнымъ переворотомъ, вслѣдствіе котораго русская мысль получаетъ наконецъ самобытность и народность: это — новый періодъ, уничтожающій то подчиненіе Европѣ, которымъ такъ долго страдала наша образованность.

Это была мечта и самихъ славянофиловъ. При началѣ ихъ дѣятельности, имъ казалось, что они именно призваны свергнуть европейское иго и выставить знамя русской самостоятельной мысли, найти истинно народныя основы нашего общественнаго и умственнаго бытія и дать имъ силу. Новѣйшіе послѣдователи думаютъ, что они дѣйствительно это сдѣлали, и что не признаютъ этого только люди, лишенные пониманія, упорствующіе въ заблужденіи, или даже дурные патріоты. Славянофилы относятся

— Славянофильство и либерализмъ. Опытъ систематическаго обозрѣнія того и другого. Н. Линицкаго. Кіевъ, 1882.

— „Константинъ Аксаковъ". „Вѣстникъ Европы", 1884, мартъ, апрѣль.

— Вл. Соловьевъ. Очерки изъ исторіи русскаго сознанія. „Вѣстникъ Европы", 1889, май, іюнь и д.

— Н. Пановъ. Славянофильство какъ философское ученіе. Журн. минист. просвѣщ. 1880.

— О. Миллеръ. Основы ученія первоначальныхъ славянофиловъ. „Русская Мысль", 1880.

— Погодинъ. „Къ вопросу о славянофилахъ" (по поводу перваго изданія настоящей книги). „Гражданинъ", 1878. Также Э. Мамонова въ „Русскомъ Архивѣ".

— Иностранные отзывы о славянофильствѣ за новѣйшее время: — Mack. Wallace, Russia (въ нѣмецкомъ переводѣ: Russland. Leipz., 1879); — An. Leroy Beaulieu, L'Empire des Tsars, Paris, 1881, т. I; — Tomaš G. Masaryk, Slovanské studie. I. Slavjanofilství Jv. Vas. Kirějevského. Прага, 1889 (изъ чешскаго журнала Athenaeum).

къ этимъ людямъ обыкновенно съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ, ихъ эпигоны—съ озлобленіемъ [1]).

Школа, извѣстная впослѣдствіи подъ именемъ славянофильства, образовалась около второй половины тридцатыхъ годовъ. Ея старѣйшими представителями были братья Кирѣевскіе (Иванъ Вас., 1806—1856, и Петръ Вас. 1808—1856), Хомяковъ (1804—1860); къ нимъ тѣсно примыкали болѣе молодые: Дмитрій Валуевъ, умершій въ 1845 г.; Аксаковы: Константинъ (1817—1860) и Иванъ (ум. 1887); Ю. Ѳ. Самаринъ (ум. 1876); далѣе, Кошелевъ, Елагинъ, Новиковъ, Чижовъ и др.

Казалось бы, что столь замѣчательное явленіе въ исторіи нашей образованности, какимъ считаютъ славянофильство, должно имѣть свои антецеденты въ предшествующемъ ходѣ русской общественной мысли, но до сихъ поръ генеалогія славянофильскаго ученія не была хорошенько опредѣлена ни его послѣдователями, ни противниками. Если видѣть его сущность въ приверженности къ началамъ древней Руси, во враждѣ къ Петровской реформѣ, то очень длинный рядъ предшественниковъ его можно найти въ теченіе всего XVIII-го вѣка между людьми, у которыхъ сохранялась или непосредственная память, или преданья о временахъ до-Петровскихъ, — этотъ рядъ можно было бы начать пожалуй отъ царевны Софьи и стрѣльцовъ, и далѣе считать въ немъ царевича Алексѣя; русскую партію при Аннѣ и Елизаветѣ; людей стараго вѣка при Екатеринѣ, какъ князь Щербатовъ; далѣе, Шишкова и „Бесѣду“. Какъ ни странны были бы многія изъ этихъ аналогій, онѣ не были бы лишены извѣстнаго основанія,—потому что вражда къ преобразованіямъ Петра и къ „петербургскому періоду“ не одинъ разъ высказывалась славянофилами съ крайней настойчивостью, и старина восхвалялась съ самымъ рѣшительнымъ предпочтеніемъ [2]). Прибавимъ, что теологическая сторона славянофильскихъ понятій нерѣдко вполнѣ напоминаетъ о религіозной исключительности и теологическихъ притязаніяхъ старой московской Россіи.

[1]) „Заря“, „Время“ (или „Эпоха“) Достоевскаго и т. п.

[2]) Г. Ламанскій указываетъ слѣдующихъ начинателей и предшественниковъ славянофильства. „Въ этотъ періодъ видимаго упадка внутреннихъ народныхъ силъ,—говоритъ онъ,—въ періодъ, заключенный крымской войною и парижскимъ миромъ, возникла у насъ такъ-называемая школа славянофиловъ, имѣвшая впрочемъ высокодаровитыхъ и замѣчательныхъ предшественниковъ въ Ломоносовѣ и Болтинѣ, Карамзинѣ (послѣдняго періода) и Грибоѣдовѣ, митр. Платонѣ и Голубинскомъ, и въ другихъ нашихъ духовныхъ писателяхъ“... („День“, 1865, № 50 и 51, стр. 1200). Но, очевидно, что напр., Ломоносовъ или Болтинъ, какъ позднѣе Грибоѣдовъ, могутъ только нѣкоторыми сторонами совпадать съ славянофильствомъ, а другими они совпадаютъ—съ западничествомъ.

Но съ другой стороны не трудно видѣть, что это сравненіе было бы неточно. При всемъ пристрастіи къ старинѣ, славянофилы ставятъ вопросъ гораздо сложнѣе и мудренѣе, чѣмъ консервативные патріоты XVIII-го вѣка. Славянофильство—не простой инстинктъ или преданіе, а цѣлое новое ученіе, дѣйствующее философскими доказательствами, владѣющее средствами той новѣйшей образованности, на которую нападаетъ во имя народной старины. Оно такъ отличается отъ людей XVIII вѣка и степенью образованія и свойствомъ многихъ общественныхъ стремленій (гдѣ иногда идетъ рядомъ съ лучшими представителями либерализма), что сходство прекращается, и въ славянофильствѣ приходится признать явленіе иного порядка.

Далѣе, славянофиловъ нельзя сравнивать съ Шишковымъ и его приверженцами, какъ дѣлалъ Бѣлинскій въ разгарѣ полемики; они любятъ старину не такимъ наивно-грубымъ образомъ, и многое въ ихъ понятіяхъ было бы для Шишкова китайскою грамотой. Словомъ, источниковъ славянофильства должно искать гораздо ближе: своими сочувствіями оно дѣйствительно связано съ преданіями стараго вѣка и, постоянно твердя о нихъ, успѣло даже усвоить иныя непривлекательныя стороны этихъ, собственно московскихъ, преданій, но эта связь—теоретически надуманная, и славянофильство по своему происхожденію есть явленіе существенно новое, характеръ котораго лежитъ въ условіяхъ русской образованности въ первыя десятилѣтія нашего вѣка. Его теоретическое содержаніе было развито по пріемамъ и подъ указаніями европейской литературы, именно романтизма и нѣмецкой философіи: въ его основаніи была извѣстная нравственно-общественная сила, были здоровые элементы народолюбія, но, столкнувшись въ своемъ развитіи съ тяжелыми общественными условіями, эта сила не сохранила правильнаго направленія и впала въ односторонности, съ которыми осталась до конца.

Извѣстны разсказы автора „Былого и Думъ“ о томъ, какъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ складывались въ Москвѣ двѣ партіи, вскорѣ овладѣвшія литературой; какъ шли оживленныя бесѣды и споры въ кружкѣ, гдѣ дружелюбно сходились люди, ставшіе вскорѣ потомъ руководителями двухъ различныхъ направленій въ литературѣ и общественныхъ понятіяхъ.

Содержаніе споровъ вращалось на томъ, что́ было тогда господствующимъ интересомъ новаго литературнаго поколѣнія. Это была нѣмецкая философія съ тѣмъ всеобъемлющимъ значеніемъ, по которому она сосредоточивала въ себѣ вопросы отвлеченнаго мышленія и частныя примѣненія въ предметахъ политической

жизни, исторіи, литературы. Къ разсказамъ автора „Былого и Думъ“ идутъ параллельно воспоминанія Самарина:

„Въ то время,—говоритъ онъ,—общество московскихъ ученыхъ и литераторовъ распадалось на два кружка, такъ-называемыхъ западниковъ и такъ-называемыхъ славянофиловъ. Первый, и многочисленнѣйшій, групировался около новоприбывшихъ изъ-за границы профессоровъ московскаго университета и представлялъ собою отраженіе, въ маломъ размѣрѣ, господствовавшей въ то время, въ нѣмецкомъ ученомъ мірѣ, правой стороны Гегелевой школы. Въ другомъ кружкѣ вырабатывалось мало-по-малу воззрѣніе православно-русское... Представителями его были Хомяковъ и Кирѣевскіе.

„Оба кружка не соглашались почти ни въ чемъ; тѣмъ не менѣе ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли какъ бы одно общество; они нуждались одинъ въ другомъ и притягивались взаимнымъ сочувствіемъ, основаннымъ на единствѣ умственныхъ интересовъ и на глубокомъ, обоюдномъ уваженіи. При тогдашнихъ условіяхъ, полемика печатная была немыслима и, какъ въ эпоху предшествовавшую изобрѣтенію книгопечатанія, ее замѣняли послѣдовательные и далеко не безплодные словесные диспуты. Споры вертѣлись около слѣдующихъ темъ: возможенъ ли логическій переходъ, безъ скачка или перерыва, отъ понятія чистаго бытія, черезъ понятіе небытія, къ понятію развитія и бытія опредѣленнаго, отъ Seyn, черезъ Nichts, къ Werden и къ Daseyn? Иными словами, чтò правитъ міромъ: свободно-творящая воля, или законъ необходимости?

„Далѣе, какъ относится православная церковь къ латинству и протестантству: какъ первобытная среда начальнаго безразличія, изъ которой, путемъ дальнѣйшаго развитія и прогресса, вышли другія, высшія формы религіознаго міросозерцанія, или какъ вѣчно пребывающая и неповрежденная полнота Откровенія, подчинившагося въ западномъ мірѣ латино-германскимъ представленіямъ и вслѣдствіе этого раздвоившагося на противоположные полюсы? Наконецъ, въ чемъ заключается разница между русскимъ и западно-европейскимъ просвѣщеніемъ, въ одной ли степени развитія или въ самомъ характерѣ просвѣтительныхъ началъ? Предстоитъ ли русскому просвѣщенію проникаться болѣе и болѣе не только внѣшними результатами, но и самыми началами западно-европейскаго просвѣщенія или, вникнувъ глубже въ свой собственный, православно-русскій духовный бытъ, опознать въ немъ начала новаго, будущаго фазиса общечеловѣческаго просвѣщенія?

„...Невѣроятнымъ покажется, что люди неглупые могли такъ

долго жить и жить умственною жизнью, въ области отвлеченнаго умозрѣнія, повернувшись спиною къ вопросамъ политическимъ. Между тѣмъ, это несомнѣнно...

„О политическихъ вопросахъ никто въ то время не толковалъ и не думалъ. Это составляло одну изъ отличительныхъ особенностей московскаго учено-литературнаго общества сороковыхъ годовъ, которой не могли объяснить себѣ люди предшествовавшей эпохи. Они прислушивались и въ недоумѣніи пожимали плечами" [1]).

Итакъ почвой, на которой развивались славянофильскія идеи, была нѣмецкая философія; изъ нея славянофилы заимствовали свою аргументацію, средства борьбы и постановку руководящихъ вопросовъ. Къ спорамъ о чистомъ и опредѣленномъ бытіи, рѣшавшимъ вопросъ объ отношеніи знанія и вѣры, непосредственно примыкали споры изъ области философіи исторіи, о значеніи міра восточнаго и западнаго, объ отношеніи православія къ католичеству и протестантству. Это были вопросы отвлеченные и универсальные. Если въ то время не толковали и не думали о политическихъ вопросахъ, это было довольно естественно: не говоря о томъ, что прикосновеніе къ политикѣ было въ тѣ времена не безопасно и для нея не было мѣста въ тогдашнихъ нравахъ, она исчезала или подразумѣвалась въ тѣхъ всеобъемлющихъ вопросахъ, на которыхъ сосредоточено было все вниманіе обѣихъ сторонъ; частные вопросы разрѣшались сами собой, какъ скоро устанавливались основныя положенія. Въ концѣ концовъ, развитіе мнѣній привело и къ прямымъ политическимъ вопросамъ.

Въ этихъ предварительныхъ состязаніяхъ славянофильское ученіе выработалось уже до значительной выдержанности: когда оно выступило особымъ направленіемъ въ литературѣ, оно явилось въ ней какъ готовый рядъ понятій, которымъ были довольно вѣрны всѣ члены школы. Это было уже довольно поздно, въ половинѣ сороковыхъ годовъ, когда вслѣдъ за „Симбирскимъ Сборникомъ" (наполненнымъ историческими матеріалами), появились „Сборникъ" Валуева и „Московскіе Сборники". Слѣдить постепенное развитіе славянофильства въ печатной литературѣ, поэтому, довольно мудрено. Впрочемъ, еще до этого славянофильскіе писатели примыкали иногда къ людямъ, близкаго съ ними, но тѣмъ не менѣе особаго направленія въ „Москвитянинѣ". Это

[1]) Ср. съ этими воспоминаніями біографіи Станкевича и Грановскаго; воспоминанія Свербеева о Чаадаевѣ и Герценѣ (Р. Архивъ, 1868, стр. 976; 1870, стр. 673); „Воспоминаніе студенства 1832 — 1835 г.", К. Аксакова (День, 1862, № 39 — 40); воспоминанія Кавелина объ А. П. Елагиной и проч.

союзничество отразилось на ихъ литературныхъ отношеніяхъ; противники славянофиловъ не всегда могли выдѣлить ихъ изъ писателей этого журнала, не внушавшаго сочувствій, тѣмъ больше, что сами славянофилы давали поводъ къ этому смѣшенію, — и когда печатная полемика наконецъ открылась, это повело къ большому раздраженію обѣихъ сторонъ.

Кружокъ славянофиловъ тѣмъ удобнѣе могъ согласовать свои идеи въ одно ученіе, что это былъ тѣсный кружокъ, связанный дружескими и родственными отношеніями. Ихъ внѣшнее положеніе въ литературѣ могло казаться болѣе выгоднымъ, чѣмъ положеніе ихъ противниковъ. Славянофилы, вообще люди довольно независимые (большей частью, довольно или очень богатые помѣщики, занимавшіе мѣсто между верхними слоями средняго дворянства и настоящей аристократіей), въ литературѣ появлялись рѣдко, не испытывали неудобствъ журнальной дѣятельности, могли сосредоточиться на выработкѣ своего ученія.

Дружескія отношенія двухъ сторонъ, о которыхъ мы упоминали, удержались не надолго. Рѣзкая противоположность мнѣній вызвала, наконецъ, враждебныя личныя отношенія. Если не ошибаемся, первый примѣръ нетерпимости поданъ былъ славянофилами, въ рукописномъ стихотвореніи Языкова противъ Чаадаева [1]. Языковъ, поэтъ славянофильства, принялъ такой тонъ, который выходилъ уже изъ предѣловъ литературнаго спора, — и хотя отдѣльныя лица обѣихъ партій продолжали встрѣчаться, но вообще миръ былъ нарушенъ, и литературная полемика уже съ первыхъ славянофильскихъ изданій приняла характеръ недружелюбный и язвительный. Къ сожалѣнію, славянофильство подавало къ нему поводъ и другими обстоятельствами. Выше упомянуто было объ его связяхъ съ дѣятелями „Москвитянина“. Когда на страницахъ этого журнала появились имена Хомякова, Кирѣевскаго, извѣстнаго тогда славянофильскаго псевдонима М... З... К..., и проч., рядомъ съ разсужденіями Погодина, Шевырева и проч., и между ними не разъ можно было замѣтить большое согласіе, противники славянофильства не могли не отнестись и къ нему съ тою же враждой, какую внушалъ имъ этотъ журналъ, — представлявшій весьма непривлекательный сборъ казенныхъ взглядовъ оффиціальной народности.

Сами славянофилы держались при этомъ различно. Многіе изъ нихъ были люди съ широкимъ образованіемъ, для которыхъ встрѣча съ противоположнымъ образомъ мыслей не была непріятна,

---

[1]) Напечатано было въ біографіи послѣдняго, написанной Жихаревымъ.

какъ случай для провѣрки и новаго доказательства своихъ идей; изъ нихъ Кирѣевскій самъ прежде принадлежалъ къ тому лагерю, противъ котораго онъ сталъ въ новомъ поворотѣ своихъ взглядовъ — и, быть можетъ, поэтому онъ и отличался всего больше терпимостью мнѣній. Но, наконецъ, исключительность теоріи повлекла за собой и въ полемикѣ рѣзкость, тѣмъ болѣе неумѣстную, что спорить, въ печати, противъ самыхъ основаній ихъ теоріи, противники ихъ не могли безъ нѣкоторой опасности, или же не могли вовсе [1]).

Славянофилы были притомъ преисполнены гордости своею системой, и противники ихъ не могли простить имъ этихъ притязаній: во-первыхъ, эти притязанія далеко не были ими доказаны и въ полемикѣ затрогивались мотивы, на которые невозможно было прямо отвѣчать; во-вторыхъ, оставалось невыяснено отношеніе славянофильства къ оффиціальной народности.

---

[1]) Противники знали другъ друга довольно хорошо и не останавливались передъ личными намеками. Критикъ „Моск. Сборника“ и „Москвитянина“, упомянутый М... З... К..., нападая на Бѣлинскаго, попрекалъ его нетвердостью его мнѣній (вѣроятно по старой памяти о статьѣ Бѣлинскаго: „Бородинская годовщина“) и говорилъ такимъ образомъ: „Вовсе не чуждый эстетическаго чувства — чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его, — Бѣлинскій какъ будто пренебрегалъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая обратилась наконецъ въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей“ (Москвит. 1847, ч. 2). Бѣлинскій отвѣчалъ „Москвитянину“ въ „Современникѣ“, и упоминая о разныхъ мелкихъ нападкахъ перваго, между прочимъ говорилъ: „...Но пока г. Бѣлинскій не видитъ никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками, или прибѣгать въ спорѣ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама съумѣетъ увидѣть разницу между человѣкомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многіе изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ, — и между какимъ-нибудь баричемъ, который изучалъ народъ чрезъ своего камердинера, и думаетъ, что любитъ его больше другихъ, потому что сочинилъ или принялъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который, между служебными и свѣтскими обязанностями, занимается также и литературою, въ качествѣ дилеттанта... Въ наше время талантъ самъ по себѣ не рѣдкость; но онъ всегда былъ и будетъ рѣдкостью въ соединеніи съ страстнымъ убѣжденіемъ, съ страстною дѣятельностію, потому что только тогда онъ можетъ быть дѣйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ“... (Сочин. XI, стр. 257).

Мы упоминаемъ объ этомъ положенія славянофильства въ литературѣ потому, что ихъ послѣдователи обыкновенно сваливаютъ вину вражды на такъ-называемую западную партію. На дѣлѣ, это было не совсѣмъ такъ, и если на комъ лежитъ вина того, что два направленія — при всемъ стѣсненномъ положеніи литературы—не могли найти общаго дѣла, то скорѣе эта вина лежитъ на самихъ славянофилахъ. Наконецъ, увлекаясь проповѣдью о новыхъ началахъ, о будущемъ паденіи западной цивилизаціи и торжествѣ восточной, школа забывала насущныя потребности времени, когда противъ нея, также какъ и противъ другого направленія стоялъ общій врагъ, обскурантизмъ. Это послѣднее обстоятельство школа слишкомъ часто забывала и потомъ. Намъ кажется вообще, что она отчасти по собственной винѣ сдѣлала для развитія общественнаго мнѣнія меньше, чѣмъ могла бы сдѣлать...

Съ другой стороны, славянофильство, хотя и очень близкое къ господствовавшей оффиціальной народности, не пользовалось благосклонностью высшихъ сферъ, которыя, если не осуждали основныхъ его тенденцій, то вѣроятно думали, что оно идетъ въ нихъ слишкомъ далеко и берется не за свое дѣло, предпринимая истолкованіе истинныхъ началъ русской жизни. Исторія этихъ тогдашнихъ отношеній славянофильства съ властью только теперь начинаетъ раскрываться,—но извѣстно было, что славянофиламъ приходилось испытывать личныя неудобства своего образа мыслей. Правда, неудобства не были чрезмѣрны, но тѣмъ не менѣе онѣ существовали, и литературная дѣятельность славянофильства, въ теченіе описываемаго періода, не разъ терпѣла непріятныя помѣхи. Первый славянофильскій журналъ явился только въ 1856 году.

Въ первое время существованія школы была болѣе понятна ея исключительность; это могла быть извѣстная гордость новой найденной мыслью, самоувѣренность людей, убѣжденныхъ въ своемъ ученіи. Съ такими чувствами дѣйствительно славянофилы впервые выступали на свое поприще: сознавая, что являются въ литературу съ новымъ содержаніемъ, и одушевляемые мыслью служить народной идеѣ, они могли преувеличить значеніе этого содержанія и потерять мѣру въ выраженіяхъ. Но эта исключительность и потомъ является почти общей и постоянной чертой школы, и если отчасти объясняется указаннымъ сейчасъ увлеченіемъ и свойствомъ тѣснаго кружка, то существенной причины ея надо искать въ характерѣ самаго ученія.

Какимъ же образомъ составилось новое ученіе? Выше замѣ-

чено, что его трудно непосредственно связать съ какимъ-нибудь предшествующимъ направленіемъ: въ прежней литературѣ не было ученія съ такими рѣзко опредѣленными чертами. Напротивъ, источника его должно въ особенности искать въ новѣйшемъ умственномъ движеніи. Основатели славянофильства были образованные люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; они начинали съ того движенія, которое дѣйствовало въ двадцатыхъ годахъ, и затѣмъ довоспитались на нѣмецкой философіи: изъ нея они брали способъ разсужденія и по ней составили теоретическія положенія своей системы. Въ этомъ отношеніи славянофилы не отличались отъ своихъ противниковъ и также мало, какъ тѣ, могли похвалиться народной оригинальностью, на которой настаивали. Ихъ философія стремится къ тому, чтобы открыть истинно-народныя начала русской жизни, развить ихъ и дать имъ мѣсто въ нашемъ образованіи и практическомъ быту. Но они ошибались, когда думали, что идея народа пришла къ нимъ не иначе, какъ отъ самого народа, что они являются единственными вѣрными выразителями его истиннаго духа и стремленій. Патріотическая любовь къ народу несомнѣнно одушевляла славянофиловъ — какъ и всѣхъ лучшихъ людей литературы, — и они стремились уразумѣть исторію и современный бытъ, — но ихъ отношеніе къ народу нерѣдко въ значительной степени было именно теоретическое и искусственное. Они были людьми своего времени, и это отношеніе къ народу было главнымъ образомъ *философско-романтическое*. Въ свойствахъ славянофильскаго ученія дѣйствительно находятся существенные признаки романтическаго происхожденія. При его началѣ было столько же поэтическаго увлеченія, сколько теоретическихъ основаній, или даже больше: крайне идеалистическій, если не фантастическій, колоритъ постоянно отличалъ славянофильскую теорію. Такую романтическую черту представляетъ стремленіе къ давнему прошедшему; народъ, къ которому они стремились, былъ не столько настоящій нынѣшній народъ, — которому они, конечно, желали добра, — сколько идеальный, и именно прошедшій, потому что этотъ прошедшій народъ всего удобнѣе можно было изобразить представителемъ тѣхъ началъ, которыя они ставили краеугольнымъ камнемъ системы. Они должны были дѣлать неизбѣжную уступку исторіи и дѣлали оговорки о недостаткахъ старины, но на дѣлѣ она поставляла имъ главный запасъ образцовъ и только прошедшее казалось истиннымъ выраженіемъ русскаго народнаго духа. Ихъ философія была желаніемъ возвеличить московскій бытъ до-петровскаго времени и возвести его на степень новаго

принципа цивилизаціи. Этотъ московскій бытъ они считали чистымъ, безъ примѣси, русскимъ и изъ любви къ нему враждебно относились къ Петровской реформѣ и такъ-называемому петербургскому періоду.

Подъ научнымъ и литературнымъ вліяніемъ времени, особенно подъ вліяніемъ новѣйшей философіи исторіи, новая школа не довольствовалась популярными формами романтическаго патріотизма и оффиціальной народностью: она ставила вопросъ гораздо шире, искала національный принципъ, предназначеніе, роль народа въ судьбахъ человѣчества и т. д.: все это облеклось теперь въ форму философско-исторической теоріи. И въ чисто литературномъ смыслѣ школа тѣсно примыкала къ прежнимъ романтикамъ. Старѣйшіе изъ славянофиловъ воспитались въ самый разгаръ европейскаго романтизма и его русскихъ повтореній (Пушкинъ уже затронулъ панславистскую тему, которая потомъ обильно повторялась славянофилами). Первыя заявленія школы также были поэтическія — въ стихотвореніяхъ Хомякова, Языкова, поэтовъ пушкинской школы, къ которымъ послѣ присоединяются Константинъ и Иванъ Аксаковы.

Положеніе русскаго общества въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ особенно содѣйствовало этому порыву идеалистическаго патріотизма. Сухой формализмъ оффиціальной народности насильственно подводилъ подъ свою мѣрку всѣ движенія общественной мысли и чувства и гнетущимъ образомъ дѣйствовалъ на живые умы, въ которыхъ была потребность самостоятельной работы и свободнаго убѣжденія. Передъ тѣмъ только совершилась трагическая судьба предыдущаго поколѣнія. Но у людей мыслящихъ не потерялась потребность идеала; настоящее не удовлетворяло; прямая практическая дѣятельность въ смыслѣ пробудившихся общественныхъ стремленій была невозможна,— и умственный трудъ лучшихъ людей новаго поколѣнія пошелъ на исканіе общихъ принциповъ, на созданіе отвлеченнаго идеала. Движеніе пошло по двумъ направленіямъ. Оба не удовлетворялись настоящимъ, но одно относилось къ нему прямо отрицательнымъ образомъ и, видя его недостатки,— безсознательность и безсиліе общества, невѣжество народа,— ожидало спасенія отъ большаго распространенія образованности, отъ усвоенія европейскаго знанія. Другое направленіе также искало лучшаго, но отъ настоящаго бросилось къ прошедшему. Въ прошедшемъ,—которое такъ удобно отдалено отъ насъ,—оно не видѣло этого мучительнаго разлада, напротивъ, находило полное единство власти, общества и народа, господство однихъ крѣпкихъ преданій, вѣрованій и обычаевъ,—

и на этомъ остановилось. Это направленіе хотѣло служить народу черезъ самый народъ: европейское образованіе, вошедшее послѣ Петра и принятое на вѣру, было фальшивое, потому что не соотвѣтствовало характеру народа; отдѣленный реформой отъ высшаго класса, народъ вѣрно сохранилъ настоящую національную дорогу, по которой шла отверженная высшими классами старина; слѣдовательно, надо было оставить ихъ судьбѣ высшіе классы, или стараться обратить ихъ и изучать этотъ народъ, чтобы въ его преданіи найти средства исцѣленія.

Это было славянофильство.

Понятно, что могло быть много увлекательнаго въ этой мысли служенія народу, въ стремленіи слиться въ одну жизнь съ нимъ, изучить таинственныя пружины его бытія, создавшія его удивительную исторію и сохранившія его цѣлымъ, среди столькихъ падавшихъ и падающихъ на него бѣдствій. Эта мысль могла казаться гораздо болѣе энергической, чѣмъ „рабское“ слѣдованіе за Европой, чѣмъ повтореніе чужой образованности, которая оторвала насъ отъ народа, не принесши пользы ни намъ, ни народу; въ этой мысли былъ смѣлый вызовъ укоренившемуся заблужденію (по мнѣнію славянофиловъ) и надежда стать основателями новаго періода въ національномъ сознаніи. Но съ противной стороны могло казаться, что этотъ путь, хотя оригинальный и великодушный, былъ не особенно смѣлый и кромѣ того ошибочный: могло казаться, что это направленіе не додумало своихъ выводовъ, боится взглянуть въ глаза дѣйствительности и открыто признать ея истинные недостатки; что, восхваляя старину, оно попадаетъ въ то же безысходное положеніе, которое уже стоило національной жизни одного переворота; что, въ концѣ концовъ, это направленіе, отвергая настоящее, создастъ идеалы, которые ничѣмъ не лучше этого настоящаго и могутъ служить только къ большему его утвержденію.

Дѣйствительно, славянофильскій идеалъ иногда былъ такъ двусмысленъ въ этомъ отношеніи, что въ нихъ видѣли иногда просто союзниковъ обскурантизма...

Нѣтъ сомнѣнія, что въ славянофильствѣ было теплое отношеніе къ народу, о которомъ забыли и общество, и офиціальная народность; и эта была лучшая, наиболѣе сочувственная сторона ученія. Къ сожалѣнію, во взглядахъ славянофиловъ была неясность, вслѣдствіе которой ихъ сочувствіе къ народу принесло въ литературѣ меньше пользы, чѣмъ они предполагаютъ; ихъ исключительная теорія не всегда разбирала, гдѣ враги народа и гдѣ его друзья.

Переходя къ обозрѣнію славянофильскихъ мнѣній и ихъ значенія въ исторіи общественныхъ понятій, мы ограничимся общими чертами ихъ, предоставляя читателю обращаться за частностями къ самымъ сочиненіямъ.

Общая связь славянофильскаго ученія была приблизительно слѣдующая.

Русская жизнь находится въ настоящую минуту въ ложномъ положеніи. Петровская реформа нарушила естественный ходъ старой русской жизни; заимствованіе чужой цивилизаціи внесло въ нее разладъ. Заимствованная цивилизація, отдаливъ образованные классы отъ народа, сдѣлала ихъ безполезными для національнаго развитія, даже вредными, потому что ихъ образованіе взято съ оригинала, который не только чуждъ русскому народному духу, но самъ стоитъ на ложной дорогѣ и близокъ къ упадку. Для спасенія русскаго развитія должно уничтожить этотъ разладъ и подчиненіе чужой цивилизаціи; для этого слѣдуетъ возвратиться къ старому единству, къ тѣмъ началамъ, въ которыхъ развивалась русская жизнь до Петра и на которыхъ она выработала свою крѣпкую, истинно народную особенность. Народъ, заброшенный и загнанный въ теченіе „петербургскаго періода“, сохранилъ вѣрно преданія старины въ своемъ бытѣ, въ своихъ вѣрованіяхъ и общественныхъ инстинктахъ: поэтому слѣдуетъ обратиться къ нему, чтобы найти нужные намъ элементы развитія. Думать о томъ, чтобы поднять народъ до нашего образованія, странно и даже смѣшно, потому что его внутреннее содержаніе гораздо выше нашей привитой и внѣшней образованности.

Русскій народъ принадлежитъ къ одному изъ двухъ міровъ, на которые дѣлится европейская образованность, и въ настоящее время главный его представитель. Эти два міра — восточный греко-славянскій и западный. Между ними лежитъ глубокое и коренное различіе. Образованность западная составилась изъ трехъ элементовъ: римской церкви, древней римской образованности и завоеванія, опредѣлившаго бытовыя формы Запада. Христіанство въ западномъ и восточномъ мірѣ получило весьма различный характеръ. Въ римской церкви, съ тѣхъ поръ, какъ она отдѣлилась отъ общенія съ церковью вселенской, христіанство извратилось вслѣдствіе элемента внѣшней разсудочности, съ которымъ римская церковь опредѣляла и свое ученіе, и свое устройство, и затѣмъ вслѣдствіе происшедшаго отсюда папскаго авторитета, который сталъ выше церкви. Протестантство было естественнымъ результатомъ этого характера церкви, когда она поставила ло-

гическій разумъ выше сознанія вселенской церкви, а затѣмъ совершенно послѣдовательно развились всѣ его секты и направленія; изъ реформаціи, заявившей право частнаго сужденія, столь же естественно развилось ученіе Штрауса. На той же сухой разсудочности выросла и вся образованность и литература западной Европы: ея философское мышленіе есть безконечная борьба и смѣна логическихъ отвлеченій, которая, въ концѣ концовъ, производила „общую слѣпоту къ тѣмъ живымъ убѣжденіямъ, которыя лежатъ выше сферы разсудка и логики". Государственная жизнь Европы была основана завоеваніемъ, насиліемъ, и отсюда все дальнѣйшее ея движеніе совершалось также рядомъ насилій, борьбой партій, переворотами.

Совсѣмъ иной порядокъ вещей является въ восточномъ грекославянскомъ православномъ мірѣ, главнымъ представителемъ котораго является теперь русскій народъ. Восточное христіанство есть православіе, отличительная черта котораго есть неизмѣнное храненіе вселенскаго преданія. Православіе есть поэтому единственное истинное христіанство; его ученія—тѣ ученія, которыя собраны и утверждены соборами вселенской церкви, сознаніемъ цѣлаго христіанства. Духовная философія восточныхъ отцовъ церкви—особенно писавшихъ послѣ раздѣленія церквей—есть истинная христіанская философія, основанная не на разсудочномъ механизмѣ, а на высшемъ нравственно-свободномъ умозрѣніи: эти философы, „держась постоянно въ самомъ, такъ сказать, средоточіи истиннаго убѣжденія, отсюда яснѣе могли видѣть и законы ума человѣческаго, и путь, ведущій его къ истинному знанію". Русскій народъ принялъ христіанство изъ этого чистаго источника, черезъ него получилъ и результаты древней образованности, не въ той односторонней и неполной римской формѣ, въ какой они наслѣдованы были Западомъ, а получилъ ихъ прямо съ Востока, гдѣ они уже прошли черезъ христіанское ученіе, были имъ очищены и исправлены. Византійскіе писатели издавна были извѣстны русской церкви и стали основаніемъ древнерусской образованности, которая, безъ сомнѣнія, уступала западной во внѣшнемъ развитіи разума, но превышала ее глубокимъ чувствомъ живой христіанской истины. Въ государственномъ устройствѣ такая же разница: начало русскаго государства отличается отъ начала государствъ западныхъ тѣмъ, что у насъ не было завоеванія, а было добровольное призваніе. Этотъ основной фактъ отражается и на всемъ дальнѣйшемъ развитіи общественныхъ отношеній: у насъ не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той вну-

тренней борьбы, какая постоянно дѣлила западное общество, не было сословій; земля была не личной собственностью феодальной аристократіи, но принадлежала общинѣ; наша церковь не враждовала съ свѣтскою властью и не стремилась къ свѣтскому господству, и т. д. Весь бытъ и образованность древней Руси носятъ на себѣ печать восточнаго православія и мирнаго основанія государства: развитіе шло естественно, религіозное сознаніе было основною нравственною силою и руководствомъ въ жизни; народный бытъ отличался единствомъ понятій и единствомъ нравовъ. Государство было обширной общиной, власть принадлежала царю, представлявшему общую волю, тѣсная связь общины выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимъ древнія вѣча.

Великая ошибка и вредъ Петровской реформы состояли именно въ томъ, что Петръ отвергъ эти народныя начала русскаго развитія и, поставивъ русское образованіе на путь подражанія Европѣ, налагалъ на восточный міръ чуждыя ему понятія міра западнаго. Реформа была насильственна и, какъ насиліе, принесла ложные плоды: народное единство было разорвано; государственная жизнь стала совершаться внѣ участія народнаго сознанія, развивалась внѣшнимъ образомъ, но падала во внутреннемъ живомъ смыслѣ; образованіе высшихъ классовъ отрывало ихъ отъ народа; церковь впадала въ сухой формализмъ; народъ, покинутый, остался одинъ вѣренъ старымъ основнымъ началамъ, но впалъ въ невѣжество, разбился на секты и т. д.

Для того, чтобы жизнь снова пошла своимъ естественнымъ ходомъ, сообразнымъ со всѣмъ исконнымъ характеромъ грекославянскаго православія, нужно возвратиться къ началамъ древней Руси. Нѣтъ надобности отвергать все, что было нами пріобрѣтено отъ Запада, потому что многое, или иное, изъ этихъ пріобрѣтеній было полезно, такъ какъ онѣ „дозволили намъ овладѣть современными пріемами діалектическаго познанія и обогатиться громадною опытностью Запада“. Но необходимо отвергнуть самый принципъ западной образованности, и притомъ не только потому, что онъ намъ несвойственъ, но и потому, что онъ оказывается несостоятельнымъ и на самой своей родинѣ.

Начала западной образованности были ложны, потому что отвергали общее сознаніе вселенской церкви. Дальнѣйшая образованность, развившаяся изъ этихъ началъ, въ концѣ концовъ, должна была оказаться ложною. Она пріобрѣла большую разсудочную силу, произвела множество полезныхъ открытій, увеличила внѣшнія удобства жизни, но страдаетъ въ самомъ корнѣ

тѣмъ внутреннимъ разладомъ, который происходитъ отъ разъединенія разума и вѣры. Современная (въ сороковыхъ годахъ) европейская образованность явнымъ образомъ выказываетъ несостоятельность своихъ началъ, ищетъ во всевозможныхъ философскихъ теоріяхъ и религіозныхъ сектахъ исхода изъ этого положенія, и—въ лучшихъ умахъ—начинаетъ постигать необходимость того начала, которое всегда хранилось въ образованности восточной. Такимъ образомъ, для насъ становится тѣмъ настоятельнѣе необходимость возвращенія къ этому началу: она подтверждается сознаніемъ самого Запада, къ которому пришелъ онъ послѣ многовѣковаго опыта.

Зрѣлище, которое намъ представляется въ нашей современной жизни такъ-называемымъ образованнымъ обществомъ, чрезвычайно печально. Это общество не принадлежитъ своему народу; оно рабски принимаетъ чужія понятія, чужіе обычаи, даже чужой языкъ; оно увлекается всѣмъ западнымъ, какъ бы оно ни было странно и даже нелѣпо; оно относится съ пренебреженіемъ къ народу, точно къ низшему племени, хотя живетъ трудами этого народа. Для того, чтобы устранить это прискорбное положеніе общества, возстановить утраченное единство съ народомъ, дать жизни истинное направленіе, осуществить вполнѣ наше національное предназначеніе и занять подобающее намъ высокое, независимое и господствующее мѣсто въ цивилизаціи, надо обратиться къ народу, изучать его исторію, преданія, нравы и обычаи, слиться съ этимъ народомъ въ одномъ сознаніи: общество должно перевоспитаться, воспринять въ себя снова затерянныя имъ народныя начала.

Въ такомъ приблизительно смыслѣ говорила школа въ концѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Къ нашему времени нѣкоторыя изъ этихъ положеній значительно выяснились, дошли до прямого практическаго требованія—и выяснились во многихъ случаяхъ не въ пользу школы. Эта позднѣйшая редакція славянофильскихъ положеній не относится, впрочемъ, къ нашей задачѣ.

Понятно, что эти мысли не всѣми высказывались одинаково, и мы старались привести ихъ по возможности въ среднемъ выводѣ, не внося крайностей отдѣльныхъ мнѣній. Одни изъ послѣдователей школы были болѣе, другіе—менѣе осторожны; одни сохраняли философское спокойствіе, другіе впадали въ раздраженіе и нетерпимость, вызывая то же въ противномъ лагерѣ [1]).

[1]) Болѣе рѣзкое изложеніе этой теоріи, какъ она высказывалась откровенно въ устныхъ бесѣдахъ и спорахъ, читатель можетъ найти въ біографіи Чаадаева, со-

Славянофильское ученіе не было ни разу изложено цѣльнымъ образомъ, но основная его тема въ различныхъ ея отрасляхъ была развиваема писателями школы довольно согласно. Чувствовалось, что это были люди, которые сговорились въ главныхъ основаніяхъ. Сходство общаго романтическо-православнаго направленія и самое положеніе ихъ въ литературѣ дѣлали для нихъ удобнымъ это соглашеніе. Выше замѣчено, что основатели славянофильства были вообще люди болѣе или менѣе независимые, имѣвшіе возможность работать не торопясь, развить на досугѣ свою систему, дѣлиться взглядами,—прежде чѣмъ внести ихъ въ печать. Многія изъ ихъ работъ оставались извѣстны только здѣсь, въ своемъ кругу, и даже пріобрѣтали своего рода славу, еще не выходя въ литературу — напр., историческія занятія Петра Кирѣевскаго и его собраніе народныхъ пѣсенъ; трактатъ Хомякова о всеобщей исторіи, откуда долго были извѣстны только отрывки; нѣкоторыя статьи К. Аксакова.

Болѣе дѣятельная пропаганда славянофильства начинается въ половинѣ сороковыхъ годовъ. До этого времени имена славянофильскихъ писателей появлялись въ журналахъ и книгахъ только болѣе или менѣе случайнымъ образомъ, или съ чисто литературными произведеніями, или безъ ясной позднѣйшей окраски. Въ 1845-мъ году началось было изданіе „Москвитянина" подъ редакціей Ивана Кирѣевскаго, продолжавшееся, впрочемъ, только нѣсколько мѣсяцевъ. Въ томъ же году изданъ былъ „Сборникъ" Валуева. Затѣмъ слѣдовали „Московскіе Сборники" 1846, 1847 и 1852 годовъ; наконецъ, съ 1856-го года „Русская Бесѣда", въ которую вошли отчасти и работы прежнихъ лѣтъ.

Въ изложеніи основныхъ положеній школы одно изъ первыхъ, если не первое мѣсто, принадлежало Ивану Кирѣевскому. Въ началѣ, въ молодую пору его развитія и во время изданія „Европейца" (1832), его образъ мыслей, какъ извѣстно, былъ вовсе не славянофильскій: онъ былъ поборникъ европейскаго просвѣщенія, защитникъ Петровской реформы — совершенно въ томъ смыслѣ, какъ послѣ говорили о томъ противники славянофиловъ. Но уже и тогда [1]) въ его мнѣніяхъ были задатки позд-

ставленной г. Жихаревымъ. Оно можетъ объяснить, между прочимъ, почему журнальная полемика двухъ партій принимала въ тѣ времена такой враждебный характеръ.

[1]) Кирѣевскій очень рано задумалъ выбрать для себя литературное поприще, и еще въ 1827-мъ г. онъ писалъ къ Кошелеву: „Я буду имѣть вѣсъ въ литературѣ, и дамъ ей свое направленіе... Мы возвратимъ права истинной религіи, изящное согласимъ съ нравственностью, возбудимъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слова" и проч. (Сочин. Кир., т. I, біогр., стр. 13).

нѣйшаго православно-славянскаго направленія. Перемѣна взглядовъ произошла главнымъ образомъ, кажется, подъ вліяніемъ его брата Петра, который съ самаго начала имѣлъ идеи славянофильскаго характера, а также подъ вліяніемъ схимника Филарета и духовныхъ лицъ Оптиной пустыни, съ которыми Ив. Кирѣевскій вошелъ въ дружескія отношенія. Особеннымъ предметомъ его изученія издавна была философія; онъ продолжалъ заниматься ею и потомъ, болѣе и болѣе увлекаясь своей новой точкой зрѣнія. Работая надъ будущимъ философскимъ сочиненіемъ, онъ прилежно изучалъ отцовъ церкви, для чего уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучился по-гречески. „Ученіе о святой Троицѣ,—говорилъ онъ,—не потому только привлекаетъ мой умъ, что является ему какъ высшее средоточіе всѣхъ святыхъ истинъ, намъ откровеніемъ сообщенныхъ,—но и потому еще, что, занимаясь сочиненіемъ о философіи, я дошелъ до того убѣжденія, что направленіе философіи зависитъ, въ первомъ началѣ своемъ, отъ того понятія, которое мы имѣемъ о Пресвятой Троицѣ“. Такова была исходная точка его послѣднихъ трудовъ. Біографъ его не безъ основанія утверждаетъ, что перемѣна взглядовъ въ Кирѣевскомъ не была такимъ противорѣчіемъ, какъ можно думать; правда, его историческія представленія о значеніи европейской цивилизаціи и положеніи русскаго образованія очень измѣнились съ конца двадцатыхъ годовъ, но въ пріемахъ мышленія Кирѣевскій и тогда уже не довольствовался чисто-философской дѣятельностью ума, но искалъ такъ-называемой „цѣльности воззрѣнія“, т.-е. въ работу мысли вносилъ и чувство, вѣру. „Кто не понялъ мысли чувствомъ,—говорилъ онъ еще въ 1827-мъ году,—тотъ еще не понялъ ее вполнѣ, точно также какъ и тотъ, кто понялъ ее однимъ чувствомъ“ [1]).

Изъ этого основного принципа естественно выростали тѣ взгляды, какіе мы выше излагали. Главная доля общихъ философско-историческихъ положеній школы дана была Кирѣевскимъ. Въ особенности важны здѣсь его статьи: „Обозрѣніе современнаго состоянія литературы“ (1845), которое должно было служить введеніемъ къ славянофильскому изданію „Москвитянина“; далѣе: „О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи“ (1852), въ послѣднемъ „Московскомъ Сборникѣ“, и наконецъ „О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи“ (1856), руководящая статья „Русской Бесѣды“. Здѣсь устанавливаются вообще взгляды школы на отно-

[1]) Сочиненія, т. I, біографія, стр. 82, 100.

шенія восточнаго и западнаго міра, различныя свойства ихъ образованности, на превосходство православно-славянскаго начала, на необходимость его изученія и введенія въ жизнь, гдѣ оно составитъ новую эпоху не только въ русской, но и всемірной цивилизаціи.

Другой братъ, Петръ Кирѣевскій, съ самаго начала отличался своеобразнымъ взглядомъ на вещи, который впослѣдствіи и сообщилъ старшему брату. Онъ избралъ предметомъ изученія русскую исторію и народный бытъ. Его литературная дѣятельность ограничилась почти только одной статьей о древней русской исторіи (по поводу изслѣдованій Погодина), въ „Москвитянинѣ“ 1845 года [1]), которая, по мнѣнію Ивана Кирѣевскаго, „представляетъ самую ясную картину первобытнаго устройства древней Руси“ [2]). Здѣсь объясняется начало русскаго государства путемъ мирнаго призванія варяговъ, устройство родовыхъ общинъ, княжеское и вѣчевое управленіе и т. д., причемъ авторъ пользуется сравненіями изъ древняго быта другихъ славянскихъ племенъ и старается вообще указать параллельность древней ихъ исторіи. Эти взгляды Петра Кирѣевскаго повторены были его братомъ, а потомъ получили въ особенности развитіе въ сочиненіяхъ К. Аксакова. Плодомъ изученія народнаго быта было обширное собраніе пѣсенъ, начатое П. Кирѣевскимъ въ 1831-мъ году и возросшее, наконецъ, до весьма обширныхъ размѣровъ. Самъ собиратель не успѣлъ издать своего собранія, отчасти потому, что хотѣлъ собрать сколько возможно болѣе текстовъ, отчасти, кажется, и по цензурнымъ затрудненіямъ,—въ тѣ времена и подобное изданіе считалось не безопаснымъ [3]). Издано было только собраніе духовныхъ стиховъ и нѣсколько отдѣльныхъ пѣсенъ. Полное изданіе сборника Кирѣевскаго, дополненное изъ другихъ источниковъ, сдѣлано было уже впослѣдствіи московскимъ Обществомъ любителей Россійской словесности-

[1]) № 3, стр. 11—46.

[2]) Сочин., т. II, стр. 263.

[3]) Вотъ отрывокъ изъ письма Ив. Кирѣевскаго къ брату Петру, въ 1844-мъ году. „Если министръ будетъ въ Москвѣ, то тебѣ непремѣнно надобно *просить его о пѣсняхъ*, хотя бы къ тому времени тебѣ и не возвратили экземпляровъ изъ цензуры. Можетъ быть, даже и не возвратятъ, но просить о пропускѣ это не мѣшаетъ. Главное, на чемъ основываться (!), это то, что пѣсни *народныя*, а что весь народъ поетъ, то не можетъ сдѣлаться *тайною* (!), и цензура въ этомъ случаѣ столько же сильна, сколько Перевощиковъ надъ погодою. — Уваровъ вѣрно это пойметъ, также и то, какую репутацію сдѣлаетъ себѣ въ Европѣ наша цензура, запретивъ *народныя пѣсни*, и еще *старинныя*. Это будетъ смѣхъ во всей Германіи“ (Соч., I, біогр., стр. 93). Столько резоновъ нужно было имѣть въ запасѣ для изданія пѣсенъ!

Рядомъ съ Иваномъ Кирѣевскимъ стоитъ имя Хомякова, о которомъ послѣдователи школы говорятъ вообще съ самымъ восторженнымъ удивленіемъ. Это былъ человѣкъ съ тонкимъ, парадоксальнымъ умомъ, съ блестящей способностью къ діалектикѣ, легко впадавшей въ софизмы, съ очень разнообразными свѣдѣніями. Противники отдавали справедливость его уму, но многимъ не были сочувственны нѣкоторыя стороны его литературнаго характера. Хомяковъ любилъ поспорить съ людьми противоположнаго лагеря и развертывать въ спорѣ свои обширныя свѣдѣнія и діалектическую ловкость, которую иногда употреблялъ во зло. Это былъ энциклопедистъ школы, самый разносторонній изъ ея писателей. Онъ былъ и богословъ, и историкъ, и этнографъ, и филологъ, и эстетикъ, и сельскій хозяинъ и проч. Онъ въ разныхъ направленіяхъ развивалъ славянофильскую тему и былъ вообще однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ и вліятельныхъ членовъ школы. Нѣкоторые пункты славянофильскаго ученія въ особенности были предметомъ его истолкованій. Таковы его богословскія сочиненія, основная мысль которыхъ заключается въ опредѣленіи церковныхъ отношеній Востока и Запада, въ теологическомъ доказательствѣ несостоятельности западной церкви,—католической или протестантской одинаково,—въ изложеніи и апологіи ученій православія. Во внутреннихъ вопросахъ ему отдается заслуга объясненія вопроса о сельской общинѣ, который въ особенности выступилъ на сцену и разъяснялся въ славянофильскихъ изданіяхъ при началѣ крестьянской реформы.

Далѣе, славянофилы придаютъ великое значеніе упомянутому выше трактату о всеобщей исторіи, изданному только впослѣдствіи. Затѣмъ Хомяковъ касался множества другихъ вопросовъ, теоретическихъ и практическихъ, которые вообще привлекали вниманіе школы.

Самаринъ началъ свою литературную дѣятельность диссертаціей о двухъ проповѣдникахъ временъ Петра, или собственно о направленіяхъ, дѣйствовавшихъ въ русской церкви того времени. Диссертація, впрочемъ, явилась только отрывкомъ обширнаго сочиненія, которое не увидѣло свѣта по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ автора, и опять издано было только въ наше время. Направленіе этой книги уже ясно славянофильское. Затѣмъ Самаринъ относительно мало участвовалъ въ славянофильскихъ изданіяхъ: ему приписывали, между прочимъ, нѣкоторыя критическія статьи славянофильскихъ изданій, направленныя противъ писателей и журналовъ западнаго направленія. Далѣе, онъ является болѣе дѣятельнымъ сотрудникомъ „Русской Бе-

сѣды“ и „Дня“, и наконецъ, въ послѣдніе годы, онъ составилъ себѣ новую публицистическую славу книгами объ „Окраинахъ Россіи“ и другими изданіями. Эта послѣдняя дѣятельность Самарина не входитъ въ рамку нашихъ очерковъ, и намъ довольно указать въ ней послѣдовательное выполненіе той же славянофильской програмы: дѣло идетъ теперь о практическихъ вопросахъ, трактовать которые было въ прежнее время совершенно невозможно; но самое изученіе предмета сдѣлано, или по крайней мѣрѣ начато было очень давно, въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ. Общая теорія о центрѣ и окраинахъ ставится въ извѣстномъ славянофильскомъ смыслѣ, какъ примѣняли ее въ послѣдніе годы изданія Ив. Аксакова.

Въ разработкѣ исторической стороны славянофильскихъ взглядовъ, начало которой положено было Петромъ Кирѣевскимъ, много обѣщали труды Д. Валуева, автора изслѣдованій о мѣстничествѣ и издателя извѣстнаго „Сборника“ (1845). Исходя изъ славянофильскаго предположенія о различіи, противоположности западнаго и восточнаго міра, Валуевъ указывалъ необходимость освободиться отъ подчиненія Западу и выработать изъ самихъ себя внутреннія начала своей нравственной и умственной жизни: для этого надо было возвратиться къ изученію нашего прошедшаго, къ изученію племени, къ которому мы принадлежимъ, а также племенъ единовѣрныхъ,—здѣсь должны для насъ открыться отличительныя особенности нашей національности и вообще внутреннее содержаніе восточнаго, греко-славянскаго, православнаго міра, содержаніе, въ разработкѣ котораго только и заключается будущее нашей собственной, самобытной образованности.

Другимъ ревностнымъ историческимъ изслѣдователемъ, изъ болѣе молодого поколѣнія, былъ Константинъ Аксаковъ. Главными темами, къ которымъ онъ любилъ возвращаться, были объясненіе древняго общиннаго быта (въ опроверженіе теоріи Соловьева о родовомъ бытѣ), древняго народовластія, думъ и соборовъ, и обличеніе „петербургскаго періода“, которому приписывалось самое губительное вліяніе. Константинъ Аксаковъ былъ пылкая, увлекающаяся, благородная натура, въ которой не было тѣни искусственности. Народъ былъ первымъ и главнымъ предметомъ его увлеченія; на него онъ возлагалъ всѣ свои надежды, возвеличивалъ его и въ стихотворныхъ диѳирамбахъ (которые, между прочимъ, печатались въ газетѣ „День“, въ числѣ стихотвореній „изъ прежняго періода“), и въ историческихъ изслѣдованіяхъ, гдѣ также его вниманіе и сочувствіе направлялись къ интересамъ народной массы. Въ этомъ смыслѣ его мнѣнія не-

рѣдко бывали полезнымъ противовѣсомъ взгляду историковъ государственности и централизаціи, для которыхъ народъ, съ его инстинктивными политическими движеніями, представлялся только противуобщественнымъ элементомъ. Значеніе трудовъ К. Аксакова по древней русской исторіи въ свое время было оцѣнено Костомаровымъ. Но увлеченіе любимой идеей доводило Аксакова, какъ вообще славянофиловъ, до историческаго непониманія. Таковъ взглядъ его на петербургскій періодъ, который кажется ему произвольнымъ, лишеннымъ народнаго значенія, вреднымъ. Таковъ и его взглядъ на древніе соборы, важность которыхъ онъ преувеличивалъ и на которыхъ онъ довѣрчиво строилъ особую систему государственнаго устройства: эта система, въ противоположность политическому формализму Запада, исходившему изъ вражды и недовѣрія власти и народа,—отвергала такъ называемыя „гарантіи" и основывалась на любовномъ единствѣ...

Печатные труды Ивана Аксакова за то время были немногочисленны: это были почти исключительно поэтическія произведенія, въ которыхъ развивались славянофильскіе идеалы и дѣлались опыты поэзіи въ народномъ стилѣ. Вмѣстѣ съ стихотвореніями и другими чисто литературными произведеніями К. Аксакова, Хомякова, Языкова и нѣк. др., это была особенная поэзія славянофильства, въ которой вообще не столько свободнаго поэтическаго творчества, сколько тенденціознаго чувства. Къ этому времени принадлежатъ и другіе труды Ив. Аксакова, въ свое время не имѣвшіе возможности появиться въ печати. Таково было его изученіе раскола, начатое по оффиціальному порученію. Позднѣе онъ издалъ замѣчательное изслѣдованіе объ украинскихъ ярмаркахъ. Изученіе народнаго быта — въ широкомъ смыслѣ — было особеннымъ предметомъ его занятій. Впослѣдствіи, какъ издатель „Дня", „Москвы", „Москвича", наконецъ, „Руси", онъ былъ главнымъ, наконецъ, единственнымъ и послѣднимъ представителемъ школы по разнымъ предметамъ современной внутренней и частію внѣшней политики [1]).

Не будемъ пересчитывать другихъ тогдашнихъ послѣдователей школы, которые участвовали въ славянофильскихъ изданіяхъ посильнымъ повтореніемъ и развитіемъ общей темы.

Славянофильскія идеи съ самаго начала находили мало кредита у ихъ противниковъ. Большею частью противники считали излишнимъ опровергать систему,—такъ она казалась произвольной.

[1]) О дѣятельности Ив. Аксакова въ качествѣ издателя „Руси" укажемъ въ особенности статьи г. Арсеньева въ „Вѣстн. Европы" въ концѣ 80-хъ гг. и также статьи по поводу изданія „Переписки" Аксакова.

Вражда къ славянофильству была весьма естественна. Въ то время, какъ лучшія силы литературы стремились пробудить въ обществѣ критическое сознаніе, возвыситься надъ той оффиціальной народностью, которую проповѣдывалъ бюрократическій консерватизмъ, славянофилы вступали въ эту борьбу мнѣній съ такими взглядами, по которымъ ихъ нерѣдко можно было принять за союзникомъ оффиціальной народности.

Въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ, когда начиналась новѣйшая публицистика славянофиловъ и литература вообще нѣсколько оживилась, сами противники желали отдать справедливость лучшей сторонѣ ихъ мнѣній [1]) и желали, кажется, вызвать ихъ на болѣе ясное изложеніе ихъ идей, на соглашеніе въ томъ, что могло быть общимъ интересомъ обѣихъ сторонъ. Эти противники не хотѣли смѣшивать ихъ съ „Москвитяниномъ", какъ то дѣлалось прежде, съ сочувствіемъ отыскивали у нихъ просвѣщенныя понятія о свободѣ мысли, необходимости изслѣдованія и т. п., не раздѣляли ихъ мнѣній, но охотно признавали въ нихъ то же стремленіе къ истинѣ и общественному благу [2]). Это были мнѣнія, высказанныя въ пору ожиданій и надеждъ, когда для обѣихъ сторонъ только-что появлялась возможность болѣе широкой литературной дѣятельности. Но и эти мнѣнія значительно измѣнились нѣсколько лѣтъ спустя, когда обнаружилось, что школа не могла устоять на почвѣ свободнаго изслѣдованія,—какъ этого не допускаетъ самая сущность ея идей.

Это предвидѣли уже и противники ихъ въ сороковыхъ годахъ. Этихъ старыхъ противниковъ винятъ, что они несправедливо приравнивали славянофиловъ къ „Маяку", и къ „Москвитянину" Погодина и Шевырева. Но сосѣдство было дѣйствительно близкое. Съ „Маякомъ" славянофилы имѣли общаго — крайнюю вражду къ Западу и теологическія свойства ихъ философіи. Глава славянофиловъ, Кирѣевскій, считалъ возможнымъ говорить о „Маякѣ", который былъ похожъ на „Домашнюю Бесѣду" Аскоченскаго. Что касается до „Москвитянина", то съ нимъ славянофиловъ иногда почти невозможно было отличить. „Москвитянинъ", какъ журналъ Погодина и Шевырева, видѣлъ отличительныя черты русской народности и исторіи въ томъ же, въ чемъ находили ихъ славянофилы: Шевыревъ въ яркихъ краскахъ изображалъ православное благочестіе русской старины, какъ исконную націо-

---

[1]) Въ свое время это дѣлалъ и Бѣлинскій.

[2]) Современникъ, 1856, № 2, стр. 68 и слѣд. Эти мысли высказывались по поводу нѣкоторыхъ страницъ Кирѣевскаго, быть можетъ, больше всѣхъ остальныхъ славянофиловъ признававшаго свободу мнѣній.

нальную основу, и утверждалъ, что любомудріе древнихъ русскихъ мыслителей превышаетъ глубиною философію Гегеля. Кромѣ любви къ старинѣ, достойной служить образцомъ для настоящаго по „цѣльности воззрѣнія", — „Москвитянинъ" сходился съ славянофилами и въ частныхъ представленіяхъ о русской исторіи: по поводу статьи Погодина, „Параллель русской исторіи съ исторіею западныхъ европейскихъ государствъ", славянофилы находили, что его мысль о коренномъ различіи между исторіей западной и нашей — „неоспорима", и противоположенія Запада и Востока у нихъ очень сходны. „Москвитянинъ" едва ли не впервые распространялъ теорію о „гніеніи" Запада [1), — которая близко совпадала съ тѣмъ мнѣніемъ, какое имѣли о Западѣ славянофилы. Правда, у славянофиловъ было свое критическое отношеніе къ современной дѣйствительности, на которое „Москвитянинъ" не рисковалъ.

Надобно вспомнить тогдашнее время, чтобы оцѣнить впечатлѣніе этого союза или близости съ „Москвитяниномъ". Журналъ Погодина не пользовался уваженіемъ, велся плохо, вмѣстѣ съ „Маякомъ" онъ былъ въ литературѣ представителемъ „древняго благочестія" и квасного патріотизма; теперь къ этой тенденціи присоединялась новая школа изъ людей другого порядка, людей съ несомнѣннымъ талантомъ и образованіемъ. Старовѣрство вооружалось философскими доказательствами; во имя народа проповѣдывалось отрицаніе той образованности, которая едва бросала корень въ русскомъ обществѣ, — могло казаться, что оффиціальная народность или обскурантизмъ встрѣчали новыхъ союзниковъ.

Не входя въ подробности тогдашней полемики (которая, притомъ, часто вовсе не могла касаться самыхъ существенныхъ спорныхъ пунктовъ, или могла только намекать на нихъ), остановимся на нѣкоторыхъ изъ главнѣйшихъ положеній школы.

Славянофильская система имѣетъ ту особенность, рѣдкую въ общественно-политическихъ взглядахъ нашего времени, что существенное основаніе ея — теологическое. Сюда сводится и нелюбовь къ Западу, и возвеличеніе русской, до-петровской старины: мы должны отвратиться отъ Запада, потому что его просвѣщеніе намъ чуждо и лишено *верховной истины*; должны обратиться къ старинѣ, потому что она, хотя и не всегда сознательно,

[1]) Въ статьѣ Шевырева, о которомъ вообще см. „Очерки Гоголевскаго періода", въ „Современникѣ" 1855.

была проникнута ученіемъ, заключающимъ въ себѣ эту верховную истину.

Мы не можемъ разбирать здѣсь, вѣрно ли изображаютъ славянофилы самую эту верховную истину: это—предметъ, исключительно богословскій; скажемъ только о томъ историческомъ и соціальномъ употребленіи, какое они дѣлали изъ этой общей мысли.

Они подходятъ къ этому предмету съ различныхъ сторонъ. Кирѣевскій нѣсколько разъ возвращается къ нему, и, напримѣръ, опредѣляя отношенія европейскаго просвѣщенія къ нашему, утверждаетъ, будто бы самый Западъ, истощивъ свою латино-германскую цивилизацію, очевидно ищетъ теперь другого, болѣе широкаго, начала просвѣщенія, и что это начало онъ найдетъ именно въ православіи. Еще недавно, лѣтъ тридцать назадъ [1]),—говоритъ Кирѣевскій,—думали, что вся разница европейскаго и русскаго просвѣщенія заключается не въ качествѣ, а въ степени; но „съ тѣхъ поръ“ и въ томъ, и въ другомъ, и въ западномъ, и въ русскомъ просвѣщеніи произошла сильная перемѣна. Европейское просвѣщеніе достигло полноты развитія, его особенность ярко выразилась, опредѣлились его итоги, и въ результатѣ оказалось „общее чувство недовольства“. Правда, науки процвѣтали, внѣшняя жизнь устраивалась, но жизнь лишена была своего внутренняго смысла; анализъ разрушилъ всѣ основы, на которыхъ стояло европейское просвѣщеніе съ самаго начала. Вмѣстѣ съ тѣмъ самый анализъ дошелъ до сознанія своей ограниченности и односторонности и убѣдился, что высшія истины лежатъ внѣ круга его діалектическаго процесса. Этотъ результатъ выраженъ, по словамъ Кирѣевскаго, передовыми мыслителями Запада. И теперь Западу предстоитъ или быть равнодушнымъ ко всему, что выше чувственныхъ интересовъ, а это невозможно и унизительно,—или возвратиться къ своимъ начальнымъ убѣжденіямъ, но они разрушены анализомъ. Чтобъ избѣгнуть этой мучительной пустоты, Западъ сталъ изобрѣтать разныя новыя начала жизни, мѣшалъ старое съ новымъ, возможное съ невозможнымъ. Вообще, современный характеръ европейскаго просвѣщенія, по мнѣнію Кирѣевскаго, совершенно однороденъ съ той эпохой древней греко-римской образованности, когда, развившись до противорѣчія самой себѣ, она необходимо должна была „принять въ себя другое новое начало, хранившееся у другихъ племенъ, не имѣвшихъ до того времени всемірно-исторической значительности“. Каждое

[1]) Писано въ 1852 г.

время имѣетъ свой господствующій жизненный вопросъ, и если дѣйствительно таково положеніе западной цивилизаціи, то всѣ вопросы европейской жизни—вопросы о движеніи умовъ, о наукѣ, о формахъ общественнаго устройства,—„сливаются въ одинъ существенный, живой, великій вопросъ объ отношеніи Запада къ тому незамѣченному до сихъ поръ началу жизни, мышленія и образованности, которое лежитъ въ основаніи міра православно-словенскаго."

Такимъ образомъ, вопросъ ставился совершенно категорически. Не только мы должны стать на дорогу, завѣщанную намъ нашей стариной, но и для самой Европы эта дорога есть единственный способъ обновить свою цивилизацію, дошедшую до послѣднихъ предѣловъ своего развитія. Это—тема всеобщая у славянофиловъ, съ тою разницей, что одни, какъ самъ Кирѣевскій, еще признаютъ за Западомъ его прежнія заслуги и желаютъ ему возвратиться на путь истинный, а другіе раздражены противъ него за вражду къ Востоку и предоставляютъ Западъ его гибели! Кирѣевскій видитъ высокія умственныя достоинства западной цивилизаціи, находитъ нелѣпой мысль, будто мы должны бросить то, чѣмъ уже воспользовались отъ нея, считаетъ даже нужнымъ и дальнѣйшее общеніе съ ней, — подъ условіемъ вѣрности основному православно-славянскому началу; другіе утверждаютъ прямо, что Западъ гніетъ, что отъ него слѣдуетъ бѣжать, чтобъ не заразиться гніеніемъ, что зараза даже замѣтна и у насъ. Остановимся пока на умѣренномъ выраженіи этихъ мыслей у Кирѣевскаго.

Прежде всего тотъ же авторъ въ началѣ статьи, изъ которой приведена послѣдняя цитата, довольно хорошо понимаетъ новѣйшее движеніе умовъ въ Европѣ. Вотъ отрывокъ:

„Умственныя движенія на Западѣ,—говоритъ онъ,—совершаются теперь съ меньшимъ шумомъ и блескомъ, но очевидно имѣютъ *болѣе глубины и общности*. Вмѣсто ограниченной сферы событій дня и внѣшнихъ интересовъ, мысль устремляется къ самому источнику всего внѣшняго, къ *человѣку, какъ онъ есть*, и къ его *жизни, какъ она должна быть*. Дѣльное открытіе въ наукѣ уже болѣе занимаетъ умы, чѣмъ пышная рѣчь въ камерѣ. Внѣшняя форма судопроизводства кажется менѣе важною, чѣмъ внутреннее развитіе справедливости; живой духъ народа существеннѣе его наружныхъ устроеній. Западные писатели начинаютъ понимать, что подъ громкимъ вращеніемъ общественныхъ колесъ таится неслышное движеніе нравственной пружины, отъ которой зависитъ все, и потому въ мысленной заботѣ своей ста-

раются перейти отъ явленія къ причинѣ, отъ формальныхъ внѣшнихъ вопросовъ хотятъ возвыситься къ тому объему идеи общества, гдѣ и минутныя событія дня, и вѣчныя условія жизни, и политика, и философія, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религія, и вмѣстѣ съ ними словесность народа, сливаются въ одну необозримую задачу: *усовершенствованіе человѣка и его жизненныхъ отношеній*" [1]).

Эти послѣднія слова дѣйствительно указывали господствующее стремленіе европейской образованности, и еслибы авторъ далъ больше вниманія этой точкѣ зрѣнія, онъ, быть можетъ, не пришелъ бы къ выводу, что она уже кончила кругъ своего развитія. Выводъ не могъ не поражать и, чтобы опровергать его, нужно было бы разсказывать исторію современной Европы, съ великими созданіями ея новѣйшей науки, съ ея энергическими усиліями къ „усовершенствованію человѣка и его жизненныхъ отношеній",— откуда приходили и къ намъ тѣ немногія крохи, которыя въ сущности были главной опорой нашего собственнаго умственнаго развитія. Но какъ могли возникнуть въ Кирѣевскомъ эти мысли? Увлекаясь своимъ религіознымъ настроеніемъ и старыми философскими воспоминаніями, Кирѣевскій думалъ, что рѣшенія вопроса о западномъ просвѣщеніи надо искать въ положеніи той отвлеченной философіи, на которой совершалось нѣкогда его собственное развитіе. Это положеніе казалось ему неудовлетворительнымъ; онъ видѣлъ (справедливо) въ новѣйшихъ системахъ колебаніе, непрочность и напрасныя усилія схватить абсолютный принципъ, котораго философія такъ давно доискивалась. Ему казалось, что это колебаніе обозначаетъ послѣднія попытки, даже конецъ той „разсудочной мысли", которою Западъ исключительно жилъ, по его мнѣнію; а въ этихъ порывахъ уловить абсолютное, онъ находилъ еще не вполнѣ сознанное стремленіе—именно къ православно-славянскому началу. Во всемъ этомъ вѣрно было одно, —что спекулятивная философія Гегелевой и Шеллинговой школы дѣйствительно отживала свое время. Чистое умозрѣніе этой школы дѣйствительно потеряло вѣру въ новыхъ поколѣніяхъ. Но это далеко не былъ упадокъ самой „разсудочной мысли". Напротивъ, новый періодъ ея ничѣмъ не уступалъ прежнимъ въ научной дѣятельности, но только принималъ новое направленіе. На мѣсто отвлеченныхъ теолого-философскихъ умозрѣній наука все больше обращалась къ точнымъ положительнымъ изученіямъ—въ многоразличныхъ областяхъ науки. Естествознаніе выступаетъ наконецъ

[1]) Сочин., II, стр. 4—5.

на первый планъ, и пріемы точнаго знанія распространяются и на тѣ области, которыя прежде брала въ свою опеку отвлеченная философія—на исторію, право, общественныя и политическія науки и проч. „Передовые мыслители“ были здѣсь, въ этихъ направленіяхъ науки, и едва ли у нихъ Кирѣевскій встрѣтилъ бы тѣ недоумѣнія о послѣдней судьбѣ европейской образованности, о которыхъ упоминаетъ. Самъ онъ, къ сожалѣнію, не указываетъ, кто были мыслители, на которыхъ онъ ссылается.

Направленіе, пріобрѣтавшее теперь все большую силу въ наукѣ, правда, уже не думало объ основаніи новой спекулятивной философіи, но не потому, чтобы „разсудочная мысль“ истощилась, а именно потому, что теперь она расширила область изслѣдованія до такихъ размѣровъ, о которыхъ и не помышляла ученость за нѣсколько десятковъ лѣтъ ранѣе. Тѣ приложенія абсолютной Гегелевской философіи, которыми думали прежде опредѣлить содержаніе и пріемы частныхъ наукъ, именно оказывались совершенно неудовлетворительными,—такова была Гегелевская философія исторіи, его ученіе о правѣ, его философія природы,—потому что новѣйшее реально-историческое изученіе и естественныя науки показали, фактами, грубыя ошибки построеній a priori. „Разсудочная мысль“ стала только на высшую ступень противъ прежней.

Такимъ образомъ, разсужденіе о положеніи европейской мысли, въ этомъ отношеніи, основано было на недоразумѣніи. Кирѣевскій не замѣчалъ и странности своего вывода, будто разложеніе западной образованности, имъ предполагаемое, совершалось въ теченіе указанныхъ имъ тридцати лѣтъ—слишкомъ короткій срокъ, чтобы въ теченіе его могъ стать замѣтнымъ упадокъ многовѣковой цивилизаціи. Далѣе, на такомъ же недоразумѣніи основывались сужденія о нравственномъ и общественномъ положеніи Европы. Отмѣчая случайные, притомъ мало доказанные факты, школа готова была съ заключеніемъ, что нравы падаютъ,—все по той же причинѣ,—но уже то обширное общественное броженіе, которое ясно высказывалось въ тѣ годы (быть можетъ, слишкомъ поспѣшными опытами и теоріями) и дѣйствовало въ смыслѣ „усовершенствованія жизненныхъ отношеній“ и въ пользу низшихъ классовъ народа, могло бы объяснить, что европейская жизнь не только не утомилась, но полна энергіи: она ставила вопросъ въ высшей степени трудный, съ давнихъ вѣковъ нетронутый, ставила его не пугаясь громадныхъ препятствій, созданныхъ долгой прошедшей исторіей общества и, кажется, что—несмотря на всѣ, неизбѣжныя, ошибки—это было дѣло, исполненное высокаго че-

ловѣческаго достоинства, и конечно не такое, которое говорило бы о безсиліи, равнодушіи и упадкѣ. Далѣе, славянофилы, особенно Кирѣевскій и Хомяковъ, останавливаются на положеніи религіознаго вопроса, преимущественно въ Германіи,—указываютъ на разладъ въ религіозной мысли, на борьбу различныхъ партій, изъ которыхъ каждая считаетъ себя истинной формулой христіанства, и выводятъ отсюда, что въ религіозномъ отношеніи Европа также находится въ безвыходномъ положеніи, и уже ищетъ иного, „не замѣченнаго прежде“ начала, которое возстановило бы потерянное нравственно-религіозное равновѣсіе. На этотъ разладъ они смотрятъ съ высоты своего начала, какъ на рядъ жалкихъ заблужденій, изъ которыхъ однако западнымъ людямъ такъ легко было бы выйти, и этой церковной анархіи противопоставляется наше единство и крѣпкое согласіе... Но и это едва ли такъ. Славянофилы сравнивали вещи, очень непохожія одна на другую, потому что дѣйствительно жизнь западныхъ церковныхъ общинъ, преимущественно германскихъ, имѣетъ чрезвычайно мало общаго съ восточнымъ порядкомъ вещей. Прежде всего, подобное сопоставленіе можетъ впасть въ грубую ошибку уже потому, что церковная дѣятельность совершается тамъ на виду, такъ что высказываются всѣ движенія религіозной мысли, между тѣмъ какъ наша церковная жизнь вовсе не допускала сколько-нибудь свободнаго обсужденія церковныхъ дѣлъ, такъ что здѣсь мы видимъ только единство молчанія,—самъ Хомяковъ могъ защищать православіе только французскими брошюрами, печатанными за границей; во-вторыхъ, дѣлая сравненія, не надо было забывать нашего внутренняго церковнаго быта, напр., многомилліоннаго раскола. Быть можетъ, тогда представились бы соображенія, при которыхъ нельзя было бы подшучивать надъ какой-нибудь куръ-гессенской церковью, не помнящей своего родства съ остальнымъ протестантствомъ.

Далѣе, западное религіозное мышленіе стояло въ условіяхъ, какихъ еще не подозрѣвало наше общество. Переживавшееся время было замѣчательно особеннымъ распространеніемъ критическаго изслѣдованія: западная религіозная философія стояла лицомъ къ лицу съ этимъ изслѣдованіемъ, и такъ или иначе должна была считаться съ нимъ, отвѣчать на изслѣдованіе своей критикой, защищаться отъ его отрицательныхъ и скептическихъ притязаній, дѣлать ему уступки. Такъ происходили раціоналистическія секты и ученія, которыя имѣютъ весьма достаточное основаніе своего бытія. Славянофилы сурово отвергаютъ это направленіе теологіи какъ „сухой раціонализмъ“, „разсудочную религію“ и т. п., но

для того, чтобы осудить эти направленія, нужно было ихъ опровергнуть—тѣмъ оружіемъ, которое они употребляютъ. Этого нашими славянофилами не было сдѣлано. Упомянутыя критическія изслѣдованія относятся столько же и къ восточному началу, сколько къ западному; но въ нашей умственной жизни онѣ до сихъ поръ не только не имѣли мѣста, но большею частью остаются вовсе неизвѣстны. Европейская религіозная образованность не прячется отъ этихъ изслѣдованій и имѣетъ во всякомъ случаѣ ту высокую цѣну, что вступаетъ въ открытую и смѣлую борьбу съ тѣми трудностями, которыя предстояли ей отъ развитія критики и скептицизма.

Догматическіе споры нѣмецкихъ церквей могутъ казаться скучными и безполезными, какъ вообще мелкіе споры,—но едва ли они составляютъ особенно важное явленіе современной религіозной жизни. Несравненно важнѣе были другіе споры, которые издавна захватывали религіозную жизнь Запада и дѣйствовали на самую сущность ея: это—тѣ споры, которые мало-по-малу ограничивали важность догматической стороны религіи, и давали преобладаніе ея нравственной сторонѣ. На этомъ основаніи Западъ выработалъ—въ разныхъ странахъ больше или меньше—понятіе и чувство терпимости, которая еще слишкомъ мало была извѣстна Востоку и безъ сомнѣнія должна бы принадлежать къ существеннымъ чертамъ христіанства, какъ ученія и какъ государственной религіи. Если слова „свобода духа", „цѣльность воззрѣнія" не одни только слова, то въ нихъ должна заключаться и полная свобода изслѣдованія для тѣхъ, у кого извѣстные вопросы возникли. Въ западной образованности уже давно была заявлена и давно выполнялась такая свобода изслѣдованія, и Западу конечно съ большимъ правомъ можно приписать эту свободу духа, которую славянофилы усвояютъ одному Востоку.

Вслѣдствіе свободы изслѣдованія, въ западной религіозной образованности естественно развилось упомянутое стремленіе ея стоять вровень съ наукой, брать въ разсчетъ ея результаты, мириться съ ними, когда они приносятъ то или другое видоизмѣненіе принятыхъ прежде понятій. Раціонализмъ, столь ненавистный славянофиламъ, есть явленіе неизбѣжное тамъ, гдѣ люди не отворачиваются отъ науки. Для „цѣльности воззрѣнія" нужно, конечно, чтобы результаты науки не противорѣчили религіозному сознанію, и вѣра не должна требовать такихъ уступокъ отъ разума, которыя составляли бы противорѣчіе съ результатами знанія. Отсюда извѣстное видоизмѣненіе религіозныхъ представленій отъ одного историческаго періода до другого; отсюда устраненіе

многихъ заблужденій, напр., средневѣковыхъ представленій о порядкѣ природы, которымъ прежде приписывалась почти догматическая важность и которыя теперь оскорбили бы достоинство религіи, если бы имъ давалось и теперь такое же значеніе. Исторія научаетъ, что религіозныя представленія шли такимъ образомъ параллельно съ общимъ движеніемъ образованности, расширялись, освобождались отъ случайныхъ заблужденій, выростали въ достоинствѣ. Общее развитіе человѣчества и развитіе религіозныхъ представленій идутъ рядомъ, и возвращеніе назадъ и здѣсь точно также было бы упадкомъ и заблужденіемъ, какъ въ другихъ областяхъ цивилизаціи.

Между тѣмъ, славянофилы именно этого и желаютъ. Кирѣевскій говоритъ о необходимости для Европы возвращенія къ восточному началу: онъ для этого предлагалъ особенный путь умозрѣнія (мы упомянемъ о немъ дальше). Другіе славянофилы прямо ожидали, что Европа должна принять православіе; Хомяковъ принялъ живѣйшій интересъ въ обращеніи Пальмера; славянофилы придавали великое значеніе обстоятельству, что у нѣсколькихъ англичанъ явилась мысль о соединеніи англиканства съ православной церковью... Но такъ какъ церковныя формы Запада и Востока были формы историческія, весьма древняго образованія, то ожидаемое усвоеніе восточной формы Западомъ представило бы весьма удивительное явленіе въ исторіи цивилизаціи и возможность его нуждалась бы въ объясненіи.

Кирѣевскій, вообще едва ли не наиболѣе спокойный изъ славянофиловъ, не разъ высказывалъ мысль, что хотя для Запада и для нашихъ его послѣдователей необходимъ поворотъ къ восточному началу, но что при этомъ не только Западу не должно отказываться отъ пріобрѣтеннаго имъ запаса образованности, но и намъ не должно покидать того, что мы успѣли заимствовать отъ Запада. Другіе славянофилы и тогда, и послѣ смотрѣли на дѣло иначе: западная цивилизація была для нихъ только предметомъ вражды; имена европейскихъ писателей, не подходившихъ подъ ихъ вкусъ, особенно имена, пріобрѣтавшія популярность у насъ въ послѣднее время, вызывали въ нихъ издѣвательства, весьма неумѣстныя по состоянію нашей собственной учености. Такъ, позднѣе этому издѣвательству подвергались Фохтъ, Спенсеръ, Ренанъ, Бокль „съ братіею“. Можно себѣ представить, что подобное отношеніе къ европейской литературѣ не было способно внушать особенное уваженіе и—довѣріе къ практическому вліянію славянофиловъ на общественныя дѣла, если бы когда-нибудь таковое предстояло.

Въ связи съ возведеніемъ восточнаго начала въ высшее основаніе человѣческаго мышленія Кирѣевскій посвятилъ особую статью объясненію „необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи". Эти новыя начала—восточныя. Такъ какъ для самаго существованія философіи необходима свободная дѣятельность разума, то Кирѣевскій старается доказать, что такая свобода совершенно возможна при этихъ началахъ,—только разумъ долженъ быть вѣрующій, разумъ и самый способъ мышленія должны возвыситься до сочувственнаго согласія съ вѣрою. Это послѣднее дѣлается такимъ образомъ: „Внутреннее сознаніе, что есть въ глубинѣ души живое общее средоточіе для всѣхъ отдѣльныхъ силъ разума, сокрытое отъ обыкновеннаго состоянія духа человѣческаго, но *достижимое* для ищущаго, и одно достойное постигать высшую истину,—такое сознаніе постоянно возвышаетъ самый образъ мышленія человѣка: смиряя его разсудочное самомнѣніе, онъ не стѣсняетъ свободы естественныхъ законовъ его разума; напротивъ, укрѣпляетъ его самобытность и вмѣстѣ съ тѣмъ добровольно подчиняетъ его вѣрѣ". Передъ тѣмъ Кирѣевскій только-что указалъ, что въ основаніи восточной философіи лежатъ неизмѣнныя положенія съ ясно обозначенными и твердыми границами, что эти положенія „неприкосновенны" (Соч. II, 307 и слѣд.): очевидно, что „самобытности" разума при этомъ быть не можетъ, это будетъ та же средневѣковая ancilla theologiae. Самъ Кирѣевскій чувствовалъ, что разуму не много будетъ тутъ дѣла: „для развитія этого самобытнаго православнаго мышленія,—говоритъ онъ,—не требуется особенной геніальности. *Напротивъ*, геніальность, предполагающая непремѣнно оригинальность, могла бы даже повредить полнотѣ истины" (Соч. II, 331). Странное признаніе,—но весьма послѣдовательное: въ такой системѣ философіи, которая уже впередъ имѣетъ свое неприкосновенное основаніе, дѣйствительно не потребуется геніальности: придется только наполнять схоластическія схемы. Но какова будетъ сама философія?

Эти основанія восточной философіи давно положены. Кирѣевскій указываетъ ихъ у византійскихъ писателей, преимущественно послѣ раздѣленія церквей, и удивляется, что эта возвышенная философія, несмотря на всѣ достоинства, была „такъ мало доступна разсудочному направленію Запада, что не только никогда не была оцѣнена западными мыслителями, но, что̀ еще удивительнѣе, до сихъ поръ осталась имъ почти вовсе неизвѣстною" (II, стр. 256). Кирѣевскій, говоря это, забывалъ, что этихъ восточныхъ философовъ онъ могъ читать только въ изданіяхъ, сдѣлан-

ныхъ западными учеными, которымъ вообще мы обязаны своими свѣдѣніями о византійской древности.

Вопросъ образованности такимъ образомъ связывался съ вопросомъ чисто-церковнымъ. Кирѣевскій, какъ мы видѣли, пришелъ къ убѣжденію, что направленіе всякой философіи зависитъ отъ того понятія, какое мы имѣемъ о св. Троицѣ (Соч. I, біогр., стр. 100). Слѣдовательно, вопросъ о философскихъ направленіяхъ превращался въ вопросъ догматическій, въ споръ исповѣданій, принимающихъ то или другое понятіе объ упомянутомъ догматѣ. Именно, различныя понятія о немъ послужили главнѣйшимъ поводомъ къ разрыву церквей восточной и западной, къ разрыву двухъ міровъ европейской образованности. Вопросъ объ отношеніи Россіи къ Европѣ и ея цивилизаціи, вопросъ о нашемъ національномъ значеніи, о нашей будущей роли въ человѣчествѣ долженъ былъ рѣшиться въ теологическомъ трактатѣ. Эту задачу взялъ на себя Хомяковъ: разрѣшеніемъ ея заняты изданныя заграницей богословскія сочиненія Хомякова. Содержаніе ихъ и заслугу писателя Самаринъ указываетъ въ томъ, что Хомяковъ „выяснялъ и выяснилъ идею церкви въ логическомъ ея опредѣленіи“ [1]).

Мы не можемъ входить въ разсмотрѣніе этихъ сочиненій, исполненныхъ догматическаго и церковно-учительнаго содержанія. Это—защита и возвеличеніе православной церкви, какъ единственной, сохранившей древній вселенскій характеръ и основное содержаніе церкви, надъ западными исповѣданіями, которыя отпали отъ вселенскаго единства и потеряли истинный смыслъ христіанства. Издатель указываетъ высокую заслугу Хомякова въ томъ, что онъ сталъ на новую, широкую точку зрѣнія въ вопросѣ, который до тѣхъ поръ рѣшался односторонне. Положеніе церкви, или нашей теологической школы, относительно католичества и протестантства было до сихъ поръ оборонительное, и притомъ такое, что, защищаясь отъ католичества, школа становилась антипапистской, и защищаясь отъ протестантства, становилась антипротестантской: она принимала вопросы такъ, какъ они ставились враждебными исповѣданіями, и почти вынуждена была браться противъ нихъ за оружіе, издавна выработанное ими для ихъ междоусобной войны. Этимъ путемъ обѣ школы приняли одна—закваску протестантскую, другая католическую; успѣхъ одной отзывался невыгодно для другой, и наконецъ, съ теченіемъ этой борьбы, „раціонализмъ просочился въ православную школу и

---

[1]) Соч. Хомякова, т. II, стр. XXVII.

остылъ въ ней въ видѣ научной оправы къ догматамъ вѣры, въ формѣ доказательствъ, толкованій и выводовъ". Такъ, въ восемнадцатомъ столѣтіи одно направленіе представлялось Ѳеофаномъ, другое—Стефаномъ Яворскимъ, и все, что являлось послѣ, группируется около ихъ капитальныхъ сочиненій и представляетъ какъ бы оттиски съ нихъ, но ослабленные и смягченные. Школа раздвоилась и становилась въ уровень съ противникомъ; Хомяковъ первый взглянулъ на католичество и протестантство съ точки зрѣнія самыхъ основаній церкви, *сверху*, и потому могъ опредѣлить ихъ.

Богословскіе трактаты Хомякова написаны съ большимъ діалектическимъ искусствомъ и должны занять почетное и своеобразное мѣсто въ догматической литературѣ, котораго, впрочемъ, мы опредѣлить не беремся [1]). Эта литература, какъ всякая спеціальность, имѣетъ свои вопросы, свои условія, и здѣсь, быть можетъ, его аргументы дѣйствительно такъ могущественны, какъ изображаетъ Самаринъ. Но рѣшеніе поставленнаго вопроса заключается не въ одной догматической аргументаціи. Система, построенная Хомяковымъ, быть можетъ, отличается строгою логикою, но остается чистой отвлеченностью и безъ опоры въ исторіи и дѣйствительной жизни остается поэтическимъ идеаломъ, или логической фикціей. Система, которую изображаетъ Хомяковъ, есть вмѣстѣ учрежденіе—въ томъ смыслѣ, какъ говоритъ о немъ Самаринъ (стр. XXVII—XXVIII), но послѣдній самъ сознаетъ и доказываетъ, что реальное учрежденіе далеко не соотвѣтствуетъ логическо-идеальному построенію Хомякова. Откуда же это противорѣчіе, и не есть ли построеніе Хомякова произвольное и воображаемое? Существующій характеръ и пониманіе учрежденія не есть, конечно, дѣло одного нынѣшняго поколѣнія, не есть слѣдствіе только его степени разумѣнія или неразумѣнія; это результатъ цѣлой, весьма продолжительной, исторіи, начало которой даже довольно трудно опредѣлить. Самъ Хомяковъ хорошо понималъ, что „учрежденіе" можетъ становиться въ крайне фальшивыя положенія (стр. 75); не менѣе ясно понимаетъ это и Самаринъ (стр. VI—VIII, XXV—XXVI); но какимъ же образомъ раздѣлить отвлеченную систему отъ учрежденія, которое именно и служитъ предметомъ идеальнаго возвеличенія и должно давать для этого основаніе? Жизнь имѣетъ дѣло и должна считаться не съ логической формулой или идеальнымъ представленіемъ прин-

[1]) Они встрѣтили тогда въ нашей литературѣ, сколько знаемъ, одинъ только отголосокъ, въ книжкѣ г. Николая Барсова: „Новый методъ въ богословіи. По поводу богословскихъ сочиненій Хомякова", и проч. Спб. 1870.

ципа, а съ реальнымъ явленіемъ, унаслѣдованнымъ отъ прошедшаго въ настоящее. Можетъ быть, что логическая формула и идеальное представленіе соотвѣтствуютъ основному характеру учрежденія, въ первоначальную пору его образованія въ давнопрошедшихъ историческихъ условіяхъ; но съ тѣхъ поръ оно прошло новый многовѣковой путь. Могло ли учрежденіе остаться свободнымъ отъ вліянія исторіи, чтобы на немъ не отпечатлѣлось, и притомъ трудно изгладимымъ образомъ, дѣйствіе условій, въ какихъ оно существовало въ теченіе своей послѣдующей исторіи? Возможно ли, чтобы явленіе, создавшееся въ извѣстную эпоху въ духѣ ея понятій, могло въ томъ же смыслѣ и формахъ жить и дѣйствовать въ другое время, послѣ долгаго періода хотя бы „разсудочной" образованности?

Въ частности русскія условія, въ которыя поставленъ вопросъ, таковы, что самое приближеніе къ его разъясненію крайне затруднительно. Такимъ образомъ широкіе, высокомѣрные планы Хомякова могутъ считаться далекою отъ жизни отвлеченностью или фантастическимъ идеаломъ. „Непроницаемая туча недоразумѣній", о которой говоритъ самъ его издатель, дѣйствительно такъ велика, что люди, которые даже искренно бы желали разъяснить вопросъ, едва могутъ видѣть свою цѣль и различать другъ друга. Если нужно объяснить великое начало религіи и цивилизаціи, нужно бы, кажется, прежде всего позаботиться хоть о какомъ-нибудь разсѣяніи „непроницаемой тучи", позаботиться, такъ сказать, о разрѣшеніи домашняго вопроса. То, о чемъ мы говоримъ, будетъ гораздо труднѣе, чѣмъ полемика съ г. Лоренси. Между тѣмъ сами славянофилы, какъ это кажется многимъ, дотрогиваются изрѣдка до непроницаемой тучи, но вовсе не разгоняютъ ее, а иногда сами ее увеличиваютъ.

По разсказамъ современниковъ, отношеніе Хомякова къ предмету было свободное; это было свободное убѣжденіе просвѣщеннаго человѣка, который не боялся противнаго мнѣнія, даже искалъ его, чтобы удовлетворить своей потребности пропаганды или діалектическаго спора. Но школа, къ сожалѣнію, представила слишкомъ много доказательствъ того, что въ ней нѣтъ этого свободнаго отношенія. Если въ сочиненіяхъ самого Кирѣевскаго и Хомякова найдутся выраженія, въ которыхъ проглядываетъ нетерпимость, то у послѣдователей нетерпимость есть правило. Забывая о всѣхъ существующихъ условіяхъ, они высокомѣрно заявляютъ свои принципы въ столь исключительномъ духѣ, что и разъясненіе вопросовъ дѣлается совершенно невозможнымъ. Правда, иногда они заявляютъ свое недовольство современными качествами

„учрежденія“, заявляютъ даже съ нѣкоторою рѣзкостью,—но въ другое время если не сами хватаются за „камень“ (Соч. Хом., II, стр. 16), то указываютъ на этотъ камень, за который и хватаются другіе.

Наша литература, по обстоятельствамъ ея положенія, никогда до сихъ поръ не могла говорить объ этихъ предметахъ съ какой-нибудь искренностью и ясностью. Очевидно было, однако, что въ литературѣ развилось, въ параллель всему остальному ея содержанію, извѣстное критическое направленіе. Предметы религіозные были исключены изъ обыкновенной, не спеціальной, литературы, но интересы вопроса существовали; новѣйшія философскія и историко-критическія произведенія иностранныхъ литературъ болѣе или менѣе были извѣстны въ образованномъ кругу и нѣкоторыя изъ нихъ производили впечатлѣніе, котораго не могли устранить произведенія домашнія. Наше критическое направленіе высказалось только отрывочно, урывками, насколько было возможно; въ цѣломъ объемѣ литературы оно было едва замѣтно, а для обыкновенной массы читателей едва ли и вообще понятно. Но и этихъ немногихъ выраженій, отчасти вызванныхъ другой крайностью, бывало для славянофиловъ достаточно, чтобы обрушиваться на новѣйшую литературу и тѣмъ оказывать просвѣщенію истинно медвѣжью услугу. Они смѣшивали въ одну кучу все, что не нравилось имъ въ новѣйшей литературѣ, и предавали все огульному осужденію, — и въ томъ числѣ труды и мысли людей, вѣроятно, не уступающихъ имъ въ любви къ истинѣ и въ желаніи общаго блага. Въ упоръ имъ, славянофилы выставляли свою систему, позади которой лежалъ „камень“. Не должно удивляться, если, наконецъ, стали считать славянофиловъ въ той категоріи, въ которой они сами, конечно, не желали себя считать.

Оговоримся, что факты подобнаго рода принадлежатъ главнымъ образомъ болѣе позднему времени, но эти факты важны тѣмъ, что они вовсе не случайны, и, напротивъ, обличаютъ дѣйствительный характеръ школы, ея исключительность, — которая можетъ смягчаться личными свойствами и образованностью нѣкоторыхъ ея послѣдователей, но принадлежатъ къ сущности ученія.

Хомяковъ, кажется, еще болѣе, чѣмъ Кирѣевскій, былъ убѣжденъ въ неизмѣримомъ превосходствѣ ихъ теологической системы и ея прочной опредѣленности. Они почти не считаютъ нужнымъ спорить противъ мнѣній, которыя отвергали ихъ систему въ средѣ самаго русскаго общества и литературѣ; эти мнѣнія они

считаютъ (также у Самарина, стр. XXXVI—XXXVII) какъ бы несуществующими, чѣмъ-то случайно навѣяннымъ чужими вліяніями, непродуманнымъ, пустымъ, и полагаютъ, что могутъ не обращать вниманія даже на критическіе результаты европейскаго изслѣдованія, а просто вести разсчеты съ западными церквами, обличать и обращать. Такъ Хомяковъ и дѣлаетъ, считая свою систему за готовый несомнѣнный кодексъ, которымъ онъ можетъ побѣдоносно обличить Западъ. Онъ съ жалостью говоритъ, напримѣръ, о „нравственномъ изнеможеніи“ Запада, о „страхѣ, овладѣвшемъ западными религіозными партіями“, т.-е. католичествомъ и протестантствомъ, и т. д. (т. II, стр. 76—77). По словамъ его, эти „раціоналистическія секты, въ ужасѣ отъ грозящей опасности, ищутъ союза противъ общаго ихъ врага, невѣрія“. Въ этомъ союзѣ онъ видитъ вѣрный признакъ упадка, безсилія и отсутствія истинной вѣры.

„Лѣтъ сто тому назадъ, ни паписты, ни протестанты даже не подумали бы приглашать другъ друга дѣйствовать сообща. Нынѣ нравственная ихъ энергія надломлена, и отчаяніе наталкиваетъ ихъ на путь, очевидно, ложный, ибо не могутъ же они не понимать, что если (въ чемъ я не сомнѣваюсь) *одно* христіанство всесильно противъ невѣрія и заблужденія, то, наоборотъ, въ *десяткѣ* различныхъ христіанствъ, дѣйствующихъ совокупно, человѣчество съ полнымъ основаніемъ опознало бы сознанное безсиліе и замаскированный скептицизмъ“. Но, во-первыхъ, если дѣйствительно существуетъ въ западныхъ раціоналистическихъ сектахъ этотъ страхъ, то развѣ та же опасность не стоитъ и передъ системой Хомякова? Хомяковъ какъ будто не понимаетъ возможности того, чтобы для нихъ и для нея могъ быть одинъ и тотъ же вопросъ, и ему кажется, что всемогущимъ средствомъ противъ этой опасности, цѣлительнымъ бальзамомъ противъ изнеможенія раціоналистическихъ сектъ можетъ просто служить догматика, имъ предлагаемая. Далѣе, если дѣйствительно для этихъ сектъ наступаетъ теперь трудное время, то едва ли есть какая-нибудь бѣда въ союзѣ раціоналистическихъ сектъ, какъ думаетъ Хомяковъ. Можетъ быть, дѣйствительно, извѣстныя стороны этихъ сектъ, какъ чисто историческія формы религіи, изжили свое время, и нынѣшнее религіозное движеніе, можетъ быть, есть именно признакъ, что этотъ процессъ совершается; но за этимъ долженъ наступить новый періодъ дальнѣйшаго развитія — которое восприметъ въ себя результаты нынѣшней борьбы и, надо думать поэтому, будетъ происходить далеко не въ томъ направленіи, какое предлагаетъ Хомяковъ. Религіозная исторія,

начиная съ среднихъ вѣковъ, показываетъ, что развитіе заключается здѣсь именно въ томъ, что догматика все больше теряетъ значеніе и возростаетъ чисто нравственное вліяніе религіи. Приведенный Хомяковымъ историческій примѣръ поставленъ не совсѣмъ вѣрно. Правда, *сто* лѣтъ тому назадъ, ни паписты, ни протестанты не подумали бы приглашать другъ друга дѣйствовать сообща; но если считать, что это было хорошо (Хомяковъ именно думаетъ, что тогда „энергія не была надломлена“), то еще лучше было *двѣсти* лѣтъ тому назадъ, — тогда паписты и протестанты еще рѣзались изъ-за различія своихъ исповѣданій. То, что кажется Хомякову полнымъ упадкомъ, — возможность сближенія между ними,—есть скорѣе успѣхъ, потому что свидѣтельствуетъ о терпимости, объ уваженіи къ чужому вѣрованію.

Главныя богословскія сочиненія Хомякова явились (на французскомъ языкѣ) въ началѣ пятидесятыхъ годовъ; нѣкоторыя теоретическія ихъ основанія обнаруживались, конечно, и въ другихъ, не-богословскихъ, его сочиненіяхъ; наконецъ, общія его мысли высказывались имъ въ тѣхъ бесѣдахъ, въ которыхъ соединялись въ прежнее время представители обоихъ литературныхъ направленій и которыя замѣняли тогда отсутствіе свободной печати. Въ этомъ пунктѣ мнѣнія также были весьма различны. Противники славянофиловъ, представлявшіе собою прямое продолженіе прежняго движенія, воспринимали и распространяли гуманистическую сторону европейской образованности; они увлекались идеалами европейской поэзіи, усвоивали сколько можно результаты европейской науки и стремились внести тѣ и другіе въ умственный запасъ русскаго общества. Первое время обѣ стороны витали въ чисто отвлеченной сферѣ, но немного нужно было времени, чтобы для тѣхъ и другихъ стала чувствоваться практическая дѣйствительность. Ихъ идеи вскорѣ начали переходить отъ отвлеченностей къ живымъ интересамъ, сталъ опредѣляться ихъ образъ мыслей въ общественныхъ предметахъ. Что касается такъ-называемыхъ западниковъ, то съ тѣмъ критеріемъ, какой составился въ ихъ понятіяхъ, для нихъ становилось ясно положеніе полу-образованнаго общества, которому недостаетъ еще многихъ самыхъ простыхъ принадлежностей просвѣщенія; они скоро почувствовали и трудность собственнаго положенія, потому что для ихъ дѣятельности представлялись неодолимыя препятствія въ правахъ, въ малочисленности дѣятелей, въ безучастіи подавленной и необразованной массы. Но тѣмъ больше усиливалось убѣжденіе, что только успѣхи свободнаго образованія могутъ обѣ-

щать что-нибудь лучшее. И въ это время славянофилы выставляли свое ученіе, которое своимъ неяснымъ, полу-мистическимъ содержаніемъ какъ будто поддерживало именно то, противъ чего первые боролись, старалось оправдать и возвеличить то, въ чемъ они видѣли существенное препятствіе для достиженія лучшаго будущаго: противъ европейскаго просвѣщенія въ духѣ свободной мысли они выставляли теологическій принципъ; противъ стремленія къ лучшему будущему, въ смыслѣ европейскаго образованія, они рекомендовали прошедшее. Сначала открылся довольно мягкій споръ, потомъ рѣзкая литературная борьба.

Какъ бываетъ нерѣдко въ подобныхъ случаяхъ, съ обѣихъ сторонъ была правда и съ обѣихъ сторонъ ошибки. Славянофилы были правы въ томъ, что, указывая на теологическій принципъ и древнюю Россію, имѣли въ виду и народъ; имъ казалось, что въ своей теологіи и археологіи они отыскиваютъ истинный нервъ народной жизни и возстановляютъ національное начало, столь долго пренебреженное. Дѣйствительно, необходимо было напоминать о народѣ, — и славянофилы не мало содѣйствовали установленію лучшаго отношенія къ народной жизни, чѣмъ то было прежде. Но они ошибались въ томъ, что предавались своей точкѣ зрѣнія слишкомъ исключительно. Славянофилы успѣли схватить одну черту историческаго прошедшаго, но впадали въ глубокое заблужденіе, когда въ одной чертѣ думали видѣть все, и когда изъ прошедшаго хотѣли сдѣлать будущее. Идеализируя старину и народъ, они нерѣдко защищали въ нихъ и то, чего нельзя было защищать справедливо; отсюда становились возможны упреки и обвиненія въ старовѣрствѣ и обскурантизмѣ. Противники ихъ не могли убѣждаться исторіей съ теологической точки зрѣнія; не могли убѣждаться подкрашенными изображеніями стараго быта, котораго послѣдствія были еще такъ очевидны въ настоящемъ; не могли понять и спокойно выносить фантастическихъ, исключительныхъ и самонадѣянныхъ теорій въ виду настоящаго, чувствуемаго зла, которое стояло съ этими теоріями въ какомъ-то родствѣ.

Возвратимся къ историческому примѣненію теологической системы. Въ школѣ издавна принято было положеніе о противоположности западнаго и восточнаго міра, романо-германскаго и православно-славянскаго. Ее высказывали и Кирѣевскіе, и Хомяковъ, и Д. Валуевъ и затѣмъ всѣ, безъ исключенія, послѣдователи славянофильства до нашихъ дней. Въ нашей славянофиль-

ской школѣ это положеніе было разработано съ большими подробностями; восточное православіе было отожествлено со славянствомъ и составилась историческая теорія, изъ которой слѣдовало, что православіе есть всеобщая религія славянскаго міра: христіанство было принято славянами изъ Византіи, слѣдовательно, въ православной формѣ, и если оно потомъ было утрачено нѣкоторыми племенами, то теперь, для успѣха ихъ новѣйшаго возрожденія, они должны возвратиться къ православію.

Откуда взялось это рѣзкое противоположеніе западной Европы и славянскаго міра? Съ одной стороны, оно было слѣдствіемъ теологическаго возбужденія; съ другой, было, безъ сомнѣнія, навѣянно западнымъ панславизмомъ. Съ начала XIX-го столѣтія начинается политическое освобожденіе и національное возрожденіе славянскихъ и православныхъ народовъ. Освобожденіе Сербіи, броженіе народностей въ австрійскихъ земляхъ, возникновеніе чешской и иныхъ литературъ, споры венгровъ съ хорватами и пр., создали такъ-называемый панславизмъ. Имъ искренно увлекались славянскіе патріоты, чаявшіе какого-нибудь освобожденія отъ иноземнаго гнета, и ему повѣрили многіе изъ публицистовъ западной Европы: мысль что панславизмъ можетъ быть въ связи съ тайными завоевательными планами Россіи (которой въ то время очень боялись, особенно въ Германіи), — мысль совершенно ошибочная, какъ это фактически доказала потомъ венгерская война, — на нѣкоторое время сдѣлала панславизмъ предметомъ толковъ въ европейской литературѣ, вопросомъ дня. Въ той формѣ, какую давали этому вопросу и само славянское движеніе, и европейская печать, панславизмъ нашелъ послѣдователей и у насъ, еще съ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Въ то тремя написано было Хомяковымъ извѣстное стихотвореніе о полуночномъ орлѣ, высоко поставившемъ свое гнѣздо (1832).

Поэтическія мечты такимъ образомъ предшествовали научному знакомству съ славянскимъ міромъ. Въ славянофильскомъ кружкѣ оно только-что тогда начиналось — у Хомякова, у Петра Кирѣевскаго. Эти мечты собственно и дали направленіе послѣдующимъ мнѣніямъ славянофиловъ объ этомъ предметѣ. Первой пробой серьезнаго изученія былъ извѣстный „Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ, ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ“. Издатель этого Сборника, Валуевъ, былъ воспитанникъ и другъ Кирѣевскихъ, о которомъ остались самые сочувственные отзывы обѣихъ сторонъ. „Смерть похитила его въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ, — говорилъ Кавелинъ. Съ юношескимъ благороднымъ самоотверженіемъ, онъ весь отдался наукѣ, и без-

прерывныя занятія ускорили его преждевременную кончину. Валуевъ умеръ очень-очень молодъ, когда силы, не уравновѣшенныя опытомъ и строгою дѣйствительностью, бьютъ сильнымъ ключомъ, ища себѣ удовлетворенія; когда дѣйствительное и возможное, настоящее и будущее, сливаются въ одномъ радужномъ цвѣтѣ, и самодовольное воображеніе чаруетъ человѣка, обманываетъ его, раскрашивая мечту красками существенности. Какъ многіе, и онъ не былъ чуждъ нѣкоторыхъ странныхъ (т.-е. славянофильскихъ) мыслей и предубѣжденій. Но его благородная, любящая натура, положительный складъ его ума рѣзко имъ противорѣчили и не давали имъ развиться до послѣднихъ выводовъ въ его головѣ и сердцѣ"... Валуевъ принялъ ученіе, но не могъ побѣдить въ себѣ внутреннихъ возраженій противъ его крайностей, и въ той статьѣ, гдѣ онъ высказалъ свои общіе взгляды и говорилъ о новой русской наукѣ, Кавелинъ вѣрно указывалъ эту двойственность его мнѣній. „Изъ того, что онъ безпрестанно и во всѣхъ отношеніяхъ противополагаетъ Европу Россіи и славянскому міру,—изъ общаго тона статьи можно думать, что, по его мнѣнію, эта русская наука должна быть противоположна европейской. Впрочемъ, авторъ чрезвычайно остороженъ... Нетерпѣніе скорѣе видѣть осуществленіе своихъ любимыхъ надеждъ томило его, и вотъ онъ видитъ, что время созданія этой науки уже наступаетъ, что появляется заря золотого будущаго, и потомъ онъ опять становится робкимъ передъ голосомъ дѣйствительности: онъ понимаетъ эту науку только какъ возможную или только какъ имѣющую быть. Погружаясь въ будущее, онъ тяготится настоящимъ отношеніемъ европейскаго міра къ славянскому; ему кажется, что западная наука заслоняетъ насъ; возвращаясь къ взгляду болѣе практическому, болѣе дѣйствительному, онъ чувствуетъ, какъ благодѣтельно и какъ необходимо было бы Россіи вліяніе Европы, онъ примиряется съ реформою Петра. Оба направленія—дѣйствительное, и не дѣйствительное, вытекающее изъ исторіи и опирающееся на надежду, высказались въ странномъ смѣшеніи, непримиренныя, несоглашенныя между собою" [1]).

Эта двойственность была неудивительна въ такомъ искусственно-составленномъ ученіи, какъ славянофильское; но Валуева выгодно отличаетъ то, что онъ съ самаго начала направился на фактически-научное изслѣдованіе. Таковы его труды о мѣстничествѣ — плодъ неутомимыхъ изысканій, не отклоняемыхъ предвзятыми

[1]) Соч. Кавелина, II, стр. 42—48.

идеями; таковъ его „Сборникъ“, который можно назвать первымъ значительнымъ трудомъ у насъ по изученію славянскаго міра. Этотъ приступъ къ дѣлу былъ такъ естественъ, такъ правиленъ, что въ „Сборникъ“ могли войти и труды писателей, нисколько не принадлежавшихъ къ славянофильскому лагерю, напримѣръ, Грановскаго, Кавелина.

Въ предисловіи къ „Сборнику“ Валуевъ высказалъ свой взглядъ на русскую науку, которая должна освѣтить намъ наше прошедшее и будущее и даже бросить новый свѣтъ на событія европейскаго міра,—и свой взглядъ на отношенія наши къ Западу. Это—общія славянофильскія идеи, высказанныя съ юношескимъ увлеченіемъ и потому, быть можетъ, особенно характеристическія для опредѣленія школы. Валуевъ находитъ, что дѣло Петра окончилось въ первой четверти XIX-го столѣтія завершеніемъ государственнаго зданія, имъ основаннаго, — и вмѣстѣ съ тѣмъ окончилось, или должно окончиться время европейскаго господства надъ нашей образованностью. Мы начинаемъ обращаться къ самимъ себѣ, и новѣйшія событія, внѣшнія и внутреннія, указываютъ новый путь русской жизни. Такими событіями были—появленіе, при помощи Россіи, новыхъ православныхъ государствъ (Греція, Сербія, Молдавія и Валахія), соединеніе армянъ восточнаго исповѣданія въ одну область, возсоединеніе Уніи, заведеніе православныхъ школъ на Востокѣ, проповѣдь евангелія язычникамъ въ отдаленныхъ краяхъ Россіи; во внутреннихъ дѣлахъ—изданіе Свода и Полнаго Собранія Законовъ, полюбовное размежеваніе черезполосныхъ владѣній, изданіе источниковъ нашей исторіи, постепенное введеніе русскаго языка въ высшихъ классахъ, почти забывшихъ его, появленіе національныхъ русскихъ поэтовъ въ лицѣ Пушкина и Гоголя. Только наша наука еще не послѣдовала этому общему движенію, и особенно наука историческая. Ея задача—познакомить классы общества, воспитанные подъ европейскимъ вліяніемъ, съ тѣми, которыхъ это вліяніе почти не коснулось, познакомить Россію съ народами единовѣрными и единоплеменными, и тѣмъ дать ей возможность узнать самую себя.

Цѣль, безъ сомнѣнія, прекрасная; но въ то время, какъ эта наука была еще искомая, или еще только начиналась, Валуевъ уже высказываетъ свои приговоры западной жизни и образованности, и возвеличиваетъ русскую жизнь и образованность—древнюю. Хотя мы и должны еще заимствовать у Запада его внѣшнее, матеріальное просвѣщеніе,—но, „если понимать подъ просвѣщеніемъ не одни вещественныя улучшенія въ быту человѣка,

а то совокупное умственное и нравственное движеніе, которое должно соединять народы въ единство братолюбивой жизни и осуществлять въ обществѣ чистую мысль христіанства, во сколько она осуществима въ человѣкѣ,—то *во всякомъ случаѣ* еще останется подъ сомнѣніемъ, кого съ большею справедливостію можно назвать просвѣщенною—Россію ли XV и XVI вѣка, или ей современную католическую и протестантскую Европу"? [1]). Онъ сначала не берется произносить „приговоръ міру латинскому", —трудами котораго пользуется наша образованность, —но въ послѣдующемъ изложеніи произноситъ этотъ приговоръ, обвиняя европейское просвѣщеніе, что оно стремится только къ внѣшнему блеску и мишурѣ, наполняющимъ пустоту жизни просвѣщеннаго большинства. Онъ недовѣрчивъ даже къ лучшему плоду „латинскаго" просвѣщенія, къ наукѣ, потому что, „къ сожалѣнію, нерѣдко и лучшіе умы"—чего они ищутъ въ этой наукѣ, искусствѣ и самомъ просвѣщеніи, которому служатъ? Часто, если и безсознательно, они ищутъ того же *комфорта*, усыпленія мысли и силъ души въ ограниченности той или другой системы или рутины, удовлетворенія всѣмъ новымъ изысканнымъ требованіямъ просвѣщеннаго существованія и его нравственнаго сибаритства... И наконецъ не было ли такое развитіе всесторонняго комфорта, удовлетворяющаго всѣмъ потребностямъ человѣка, основною задачею всего западнаго просвѣщенія и всего западнаго человѣчества" [2])? Западъ оказалъ, конечно, свои услуги человѣчеству, но не ему принадлежитъ настоящая истина. „Своими опытами и даже своими заблужденіями онъ не менѣе принесъ въ общее достояніе человѣчества и служилъ ему, чѣмъ сколько служили христіанству, высшему и конечному единству всего человѣческаго, *другіе* народы и земли своимъ страдательнымъ и робкимъ бездѣйствіемъ,—которое, можетъ быть, *одно* дѣлало возможнымъ въ недозрѣвшемъ духовно человѣкѣ сохраненіе въ чистотѣ его духовнаго завѣта" [3]). То богатство, которое мы получаемъ отъ Запада, даровое, или купленное только „утратами изъ своей внутренней жизни" (потому что, увлекаясь блескомъ Запада, мы забываемъ о своемъ народномъ), это богатство непрочно; оно привито къ намъ внѣшнимъ образомъ, но не могло перейти въ кровь и соки самой жизни, остается чѣмъ-то чуждымъ и не обѣщаетъ никакого живого плода. Мы не можемъ помочь Западу въ его дѣлѣ,—потому

---

[1]) Сборникъ, 1845, стр. 2, прим.
[2]) Тамъ же, стр. 12.
[3]) Стр. 8.

что отдѣлены отъ него всѣмъ прошедшимъ и всѣмъ, что̀ есть въ насъ своего и живого: Западъ долженъ самъ „довершить назначенный ему кругъ жизни“. А намъ пора подумать о томъ, чтобы изъ самихъ себя выработать начала нашей умственной и нравственной жизни,—иначе обрекаемъ себя на вѣчную посредственность и умственное несовершеннолѣтіе, надъ которыми посмѣется самый Западъ.

Очевидно, что здѣсь повторяются мысли Кирѣевскихъ и Хомякова; въ этихъ мысляхъ уже были задатки всѣхъ крайностей и увлеченій славянофильства. Основная мысль высказывается ясно: цивилизація Запада—чисто внѣшняя забота о комфортѣ, лишенная „духовнаго завѣта“, фальшивая. Развиваемая дальше, эта мысль была очень похожа на извѣстный приговоръ о гніеніи Запада, еще раньше произнесенный тогдашнимъ союзникомъ славянофиловъ, „Москвитяниномъ“. Славянофилы, кажется, не выражались объ этомъ предметѣ такъ сильно, какъ этотъ журналъ [1]), но самыя теоріи трудно было различить, потому что осужденіе Запада и у славянофиловъ было достаточно категорическое. Увлеченіе доходило до послѣднихъ крайностей. Надо было забыть исторію западной образованности, добывавшей цѣною тяжкихъ жертвъ, преслѣдованій, инквизиціонныхъ костровъ, тѣ знанія, которыя выводили насъ изъ ребяческаго невѣжества,— чтобы говорить о Западѣ съ этимъ высокомѣріемъ и впередъ хоронить его цивилизацію. Въ людяхъ, иначе понимавшихъ исторію, эти мнѣнія должны были вызывать самое непріятное впечатлѣніе,—тѣмъ больше, что была часть общества, которая могла воспользоваться этими возгласами славянофиловъ такъ, какъ они и сами не ожидали. Защитники оффиціальной народности должны были съ удовольствіемъ услышать мысль о гніеніи Запада и еще больше утвердиться въ своей программѣ, —надобно думать, не похожей все-таки на ту, которую предлагали славянофилы.

Отожествляя православіе и славянство, школа понимала это такъ, что славянское не-православное не есть истинно-славянское,

---

[1]) „Москвитянинъ“ утверждалъ положительно, что Западъ сгнилъ, и соотвѣтственными красками изображалъ это гніеніе. Вотъ отрывокъ, гдѣ Шевыревъ изображаетъ наше „общеніе“ съ этимъ Западомъ: „Въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тѣсныхъ сношеніяхъ съ Западомъ, мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, носящимъ въ себѣ злой, заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыханія. Мы цалуемся съ нимъ, обнимаемся, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства—и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ въ потѣхѣ пира будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ“ и проч. („Москвитянинъ“, 1841, № 1, стр. 217). Извѣстно, что самая мысль о гніеніи Запада заимствована была изъ французскаго источника.

что для предстоящаго славянскаго единства необходимо, чтобы славяне латинскаго и другихъ исповѣданій приняли восточное православіе. Славяне католики, уніаты, протестанты составляютъ расколъ тѣмъ болѣе прискорбный, что заблужденіе теологическое усиливается заблужденіемъ національнымъ.

Такъ какъ все построеніе славянофильскаго ученія было предвзятой идеальной теоріей, то указанная мысль была необходима для полноты, и выводы изъ нея сдѣланы раньше, чѣмъ она могла быть доказана. Есть, правда, историческія свидѣтельства, указывающія, что у нѣкоторыхъ племенъ, принадлежащихъ теперь къ католической церкви, христіанство было въ первый разъ принесено изъ Византіи,—но потомъ должно было уступить господству католицизма. Вотъ единственный фактъ, которымъ могли воспользоваться славянофилы, и они извлекли изъ него цѣлую историческую и національную теорію. Но если оставить въ сторонѣ вопросъ общаго преимущества восточной церкви надъ западною, не подлежащаго спору,—какимъ образомъ изъ упомянутаго факта слѣдовалъ славянофильскій выводъ? Фактъ этотъ дѣйствительно былъ, но за нимъ слѣдовалъ другой переходъ нѣсколькихъ изъ славянскихъ племенъ въ католицизмъ, судьбы котораго они и раздѣлили: несмотря на переходъ къ западной церкви, эти племена остались славянскими, имѣли свою образованность, достигавшую высокой степени въ Чехіи, въ Польшѣ, у славянъ далматинскихъ. Неправославный отдѣлъ славянства обнимаетъ цѣлыя обширныя племена, многіе милліоны людей; они раздѣлены были отъ главнаго православнаго племени, русскаго, не только исповѣданіемъ, но цѣлымъ ходомъ своей исторіи, характеромъ быта; ихъ народность развилась въ особый своеобразный типъ, они вѣка сживались съ своей религіей, дорожили ею,—а по теоріи оказывалось, что все это было только такъ, что ихъ историческое существованіе была одна ошибка. Спрашивается: что же имъ дѣлать съ своей исторіей, съ тѣми свойствами, какія пріобрѣла ихъ жизнь не только отъ исповѣданія, но и отъ цѣлаго ряда другихъ условій и которыя стали второй ихъ природой? Не споримъ, что славянское католичество, съ латинскимъ богослуженіемъ, съ церковной принадлежностью къ чужому центру, можетъ представлять свои ненормальныя стороны; но если народы сжились съ этимъ и дорожатъ своими религіозными преданіями и вовсе не желаютъ отъ нихъ отказываться? или, если исторія представляла имъ иной выходъ изъ этого положенія вещей, напр., какъ чешскій протестантизмъ, и они предпочитаютъ этотъ путь своей религіозной жизни? или самый католицизмъ преобразуется, и приближается

къ здравымъ требованіямъ времени? или, наконецъ, если эти славянскіе католики и протестанты думаютъ,—и могутъ думать это справедливо,—что теперь пришло время болѣе спокойнаго рѣшенія религіозныхъ несогласій, время вѣротерпимости, и народы разныхъ исповѣданій могутъ спокойно соединяться для общихъ интересовъ, оставаясь каждый при своей религіи?—Славянофилы, несмотря на всѣ эти историческія недоумѣнія, настаиваютъ на своей системѣ, и въ результатѣ является одно—религіозная исключительность; вопросъ національнаго единства *подчиняется* вопросу теологическому.

Но если вообще для людей, не увлеченныхъ духомъ школы, невозможно было помириться съ славянофильской постановкой конфессіональнаго начала и съ выведенными изъ него послѣдствіями, то вопросъ, кажется, еще больше запутывался другими мнѣніями школы. Та двойственность, на которую мы уже указывали, и которая, напримѣръ, то отвергала реформу Петра и ея результаты, то признавала ся дѣйствіе неистребимымъ, или признавала великія заслуги Запада, а потомъ отвергала его [1]), повторяется и здѣсь. Ставя выше всего свою теологическую систему, славянофилы въ то же время неоднократно высказывались противъ практическаго выраженія принципа въ „учрежденіи". Ихъ критика настоящаго положенія учрежденія бывала нерѣдко такова, что съ ней согласится каждый просвѣщенный человѣкъ, но при этомъ возникаетъ противорѣчіе, котораго они не рѣшаютъ. Можно понять, что извѣстное начало, переходя въ практическую жизнь, теряетъ высоту своего идеальнаго достоинства, бываетъ не всѣми понято, подвергается злоупотребленіямъ и т. п.; но здѣсь оказывается, что рѣчь идетъ не объ однихъ частныхъ и случайныхъ недостаткахъ, поправимыхъ и неважныхъ, а напротивъ, о недостаткахъ столь крупныхъ, что ими заслоняется самая сущность принципа, отчего онъ теряетъ даже свое вліяніе на общество, перестаетъ направлять его дѣятельность и т. д. Гдѣ же началась порча, и чѣмъ она можетъ быть исправлена? Мнѣніе школы состоитъ, кажется, въ томъ, что порча начинается со временъ Петра, въ основанномъ имъ бюрократическомъ государствѣ; но, во-первыхъ, исторія раскола доказывала бы противное—что внутренній разладъ въ самомъ учрежденіи начался гораздо раньше; во-вторыхъ, если первое прикосновеніе Петра могло произвести порчу, значитъ, учрежденіе уже тогда не имѣло достаточной внутренней силы. Съ исторической точки зрѣнія, такого рода измѣ-

[1]) Подобные примѣры у Кирѣевскаго, Валуева, и пр.

неніе въ характерѣ учрежденія вообще является результатомъ не одиихъ случайныхъ внѣшнихъ условій, но самой сущности учрежденія. Въ счетахъ между стариной и реформой гораздо естественнѣе искать вину совершившагося факта не въ томъ, кто нарушалъ старину, а въ слабости самой старины, которую не трудно было устранить тому, кому она мѣшала. Вмѣстѣ съ тѣмъ, славянофилы недостаточно объясняютъ и другое обстоятельство: если есть недостатки въ нашемъ религіозномъ просвѣщеніи, то гдѣ заключается ихъ исправленіе, въ строгомъ ли возстановленіи старины, или въ прививкѣ новыхъ понятій къ прежнему содержанію? Старина была сурово исключительна; она едва ли бы не потребовала именно того, въ чемъ сами славянофилы видятъ стѣсненіе религіознаго просвѣщенія и его современные недостатки. Есть большое основаніе думать, что собственныя требованія славянофиловъ отъ религіознаго просвѣщенія внушаются вовсе не духомъ нашей старины, а именно духомъ той западной образованности, отъ которой они вообще многимъ позаимствовались. Таковы именно кажутся намъ ихъ заявленія объ иномъ устройствѣ отношеній церкви къ государству, о преобразованіяхъ въ церковномъ управленіи, о большей терпимости къ умѣреннымъ сектамъ раскола, о нѣкоторой свободѣ изслѣдованія и т. п. И что, наконецъ, они предложатъ западному славянству, въ которомъ хотятъ вести свою пропаганду, если сами недовольны?..

Въ этихъ послѣднихъ указаніяхъ мы опять имѣли въ виду позднѣйшія заявленія славянофильства,—потому что въ сороковыхъ годахъ славянофилы не могли высказаться достаточно объ этихъ предметахъ; но тѣ противорѣчія, которыя обнаруживались позднѣе, заключались уже и въ первоначальныхъ положеніяхъ школы, въ самой постановкѣ теологическаго принципа.

VII.

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

Историческіе и общественные идеалы славянофильства.

Историческая теорія славянофиловъ, какъ естественно ожидать, была тѣсно связана съ теоріей теологической. Какъ въ чисто догматическомъ смыслѣ верховная истина принадлежитъ православно-славянскому міру, а ложь—міру западному, такъ и въ жизни исторической православно-славянскій міръ, и въ частности русскій народъ, представляетъ истинное выраженіе христіанскихъ началъ общества и государства, а міръ западный— ихъ извращеніе.

Въ такомъ смыслѣ вопросъ поставленъ былъ еще братьями Кирѣевскими. Далѣе, эту теорію повторилъ Д. Валуевъ; потомъ развивалъ ее, историко-юридическими соображеніями, славянофильскій полемистъ М... З... К..., въ спорѣ съ Кавелинымъ о роли и значеніи личности въ исторіи русскаго общества; наконецъ, всего ярче высказывалъ ее К. Аксаковъ. У послѣдняго историческая теорія славянофильства получила наиболѣе полную обработку.

Относительно мнѣній Кирѣевскаго, достаточно напомнить его слова о древней русской жизни, въ статьѣ „о характерѣ просвѣщенія Евр пы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи". Вотъ его основныя положенія:

„Обширная русская земля, даже во времена раздѣленія своего на мелкія княжества, всегда сознавала себя какъ одно живое тѣло и не столько въ единствѣ языка находила свое притягательное средоточіе, сколько въ единствѣ убѣжденій, происходящихъ изъ *единства вѣрованія* въ церковныя постановленія. Ибо ея необозримое пространство было все покрыто, какъ бы одною

непрерывною сѣтью, неисчислимымъ множествомъ уединенныхъ монастырей, связанныхъ между собою сочувственными нитями духовнаго общенія. Изъ нихъ единообразно и единомысленно разливался свѣтъ сознанія и науки (?) во всѣ отдѣльныя племена и княжества. Ибо не только духовныя понятія народа изъ нихъ исходили, но и всѣ его понятія нравственныя, общежительныя и юридическія, переходя черезъ ихъ образовательное вліяніе, опять отъ нихъ возвращались въ общественное сознаніе, принявъ одно общее направленіе...

„Потому этотъ русскій бытъ (бытъ, уцѣлѣвшій и теперь въ народѣ) и эта, прежняя, въ немъ отзывающаяся, жизнь Россіи, драгоцѣнны для насъ, особенно по тѣмъ слѣдамъ, которые оставили на нихъ чистыя христіанскія начала, дѣйствовавшія безпрепятственно на добровольно покорившіяся имъ племена славянскія...“ [1]).

Надежду на будущее процвѣтаніе славянскаго народа даютъ, впрочемъ, не какія-нибудь племенныя особенности,—эти особенности могутъ только ускорить или замедлить развитіе; свойство плода зависитъ отъ свойства сѣмени, т.-е. восточнаго, византійскаго христіанства. Оно измѣнило нравственныя понятія русскаго человѣка, и все общественное устройство древней Руси должно было принять направленіе христіанское.

Древняя русская церковь твердо опредѣлила границы между собою и мірскимъ государствомъ, не смѣшивалась съ его интересами, стояла надъ нимъ какъ высшій идеалъ — и никогда не искала формальнаго господства надъ правительственной властью. Русь была нравственно „святая Русь“, и не похожа была въ этомъ на „священную римскую имперію“.

Далѣе. „*Духовное вліяніе церкви* на это естественное развитіе общественности могло быть тѣмъ полнѣе и чище, что никакое препятствіе историческое не мѣшало внутреннимъ убѣжденіямъ людей выражаться въ ихъ внѣшнихъ отношеніяхъ. *Не искаженная завоеваніемъ*, русская земля, въ своемъ внутреннемъ устройствѣ, не стѣснялась тѣми насильственными формами, какія должны возникать изъ борьбы двухъ ненавистныхъ другъ другу племенъ, принужденныхъ, въ постоянной враждѣ, устраивать свою совмѣстную жизнь. Въ ней не было ни завоевателей, ни завоеванныхъ. Она не знала ни желѣзнаго разграниченія неподвижныхъ сословій, ни стѣснительныхъ для одного преимуществъ другого, ни истекающей оттуда *политической и нравственной борьбы*... Она не знала и необходимаго порожденія этой

[1]) Сочин., т. II, стр. 259 и слѣд.

борьбы: искусственной формальности общественныхъ отношеній и болѣзненнаго процесса общественнаго развитія, совершающагося насильственными измѣненіями законовъ и бурными переломами постановленій. И князья, и бояре, и духовенство, и народъ, и дружины княжескія, и дружины боярскія, и дружины городскія, и дружина земская,—всѣ классы и виды населенія были проникнуты однимъ духомъ, одними убѣжденіями, однородными понятіями, одинакою потребностью общаго блага...

„Вслѣдствіе такихъ естественныхъ, простыхъ и единодушныхъ отношеній, и законы, выражающіе эти отношенія, не могли имѣть характеръ искусственной формальности; но, выходя изъ двухъ источниковъ: изъ бытового преданія и изъ внутренняго убѣжденія, они должны были, въ своемъ духѣ, въ своемъ составѣ и въ своихъ примѣненіяхъ, носить характеръ болѣе *внутренней*, чѣмъ внѣшней *правды*, предпочитая очевидность существенной справедливости—буквальному смыслу формы; святость преданія—логическому выводу; нравственность требованія—внѣшней пользѣ... Внутренняя справедливость брала въ древне-русскомъ правѣ перевѣсъ надъ внѣшнею формальностію...

„Въ древней Россіи внутренняя цѣльность самосознанія, къ которой самые обычаи направляли русскаго человѣка, отражалась и на формахъ его жизни семейной, гдѣ законъ постояннаго, ежеминутнаго самоотверженія былъ не геройскимъ исключеніемъ, но дѣломъ общей и обыкновенной обязанности...

„При такомъ устройствѣ нравовъ, простота жизни и простота нуждъ была не слѣдствіемъ недостатка средствъ и не слѣдствіемъ неразвитія образованности, но требовалась самымъ характеромъ основного просвѣщенія. На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности... Русскій человѣкъ, больше золотой парчи придворнаго, уважалъ лохмотья юродиваго. Роскошь проникала въ Россію, но какъ зараза, отъ сосѣдей. Въ ней извинялись; ей поддавались какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религіозную, но и нравственную и общественную", и т. д. [1]).

Таковы были представленія Кирѣевскаго о русской старинѣ [2]).

[1]) Въ дальнѣйшемъ изложеніи Кирѣевскаго укажемъ еще страницы (т. II, 275—277), гдѣ онъ собираетъ найденныя имъ особенности древней Россіи и отличія просвѣщенія русскаго отъ западно-европейскаго.

[2]) Статья, изъ которой приводимъ выписки, появилась въ 1852 г. Самыя мысли, конечно, были заявлены Кирѣевскимъ въ своемъ кругѣ гораздо раньше.

Въ томъ же основномъ смыслѣ о характерѣ старой русской исторіи говорилъ славянофильскій полемистъ, писавшій подъ буквами М... З... К..., которыя скрывали одно изъ главнѣйшихъ именъ славянофильской школы [1]).

По формѣ статьи, состоящей почти только изъ возраженій, въ ней нѣтъ послѣдовательнаго изложенія собственнаго взгляда автора, но въ руководящихъ положеніяхъ заключаются отличительныя особенности славянофильской исторической теоріи. Авторъ статьи, оспаривая теорію Кавелина о родовомъ бытѣ и развитіи личности въ древней Россіи, уже заявляетъ теорію общиннаго быта, и древнюю Русь изображаетъ въ идеальныхъ чертахъ общества, построеннаго на истинно-христіанскихъ началахъ.

Вотъ главныя положенія, здѣсь выставленныя:

Отвергая мнѣніе Кавелина о силѣ родового начала въ древнемъ русскомъ бытѣ и слабости общиннаго, авторъ находитъ, что, слѣдя за развитіемъ государства, Кавелинъ упустилъ изъ виду русскую *землю*, что напротивъ, „общинное начало составляетъ основу, грунтъ всей русской исторіи, прошедшей, настоящей и будущей; сѣмена и корни всего великаго, возносящагося на поверхности, зарыты въ его плодотворной глубинѣ...

„Не общинное начало, а родовое устройство, которое было низшею его степенью, клонилось къ упадку, а такъ какъ въ немъ были зачатки жизни и сознанія, то оно спасло себя и облеклось въ другую форму. Родовое устройство прошло, а общинное начало уцѣлѣло въ городахъ и селахъ, выражалось внѣшнимъ образомъ въ вѣчахъ, позднѣе въ земскихъ думахъ. Древнеславянское, общинное начало, освященное и оправданное началомъ духовнаго общенія, внесеннымъ въ него церковью, безпрестанно расширялось и крѣпло...

„Семейство и родъ представляютъ видъ общежитія, основанный на единствѣ кровномъ; городъ съ его областью — другой видъ, основанный на единствѣ областномъ, и позднѣе епархіальномъ; наконецъ, единая, обнимающая всю Россію государственная община,—послѣдній видъ, выраженіе земскаго и церковнаго единства. Всѣ эти формы различны между собою, но онѣ суть только формы, моменты постепеннаго расширенія одного общиннаго начала, одной потребности жить вмѣстѣ въ согласіи и любви, потребности, сознанной каждымъ членомъ общины, какъ верховный законъ, обязательный для всѣхъ, и носящій свое оправданіе

[1]) „Москвитянинъ“, 1847 г., ч. II, стр. 135—174 (въ статьѣ „о мнѣніяхъ „Современника“ историческихъ и литературныхъ“), по поводу статьи Кавелина о юридическомъ бытѣ древней Россіи.

въ самомъ себѣ, а не въ личномъ произволеніи каждаго. Таковъ общинный бытъ въ существѣ его; онъ основанъ не на личности и не можетъ быть на ней основанъ (противный взглядъ утверждалъ, что общественное устройство древней Руси было слабо, именно по недостатку развитія личности); но онъ *предполагаетъ высшій актъ личной свободы и сознанія — самоотреченіе.*

„Въ каждомъ моментѣ его развитія онъ выражается въ двухъ явленіяхъ, идущихъ параллельно и необходимыхъ одно для другого. Вѣче родовое (напр. княжескіе сеймы) и родоначальникъ. Вѣче городовое и князь. Вѣче земское, или дума, и царь.

„Первое служитъ выраженіемъ общаго связующаго начала; второе — личности.

„Положимъ, взаимныя отношенія князей опредѣлялись родовымъ началомъ; но что такое князь въ отношеніи къ міру, если не представитель личности, равно близкій каждому, если не признанный заступникъ и ходатай каждаго лица передъ міромъ? Почему община не можетъ обойтись безъ него?..

„Князь былъ для нея не только военачальникъ: и въ предпочтеніи одного князя другому видны слѣды не патріархальнаго, до-варяжскаго быта старѣйшинъ, а болѣе возвышеннаго христіанскаго понятія о призваніи личной власти, о нравственныхъ обязанностяхъ свободнаго лица"...

Въ древней Руси христіанство привилось гораздо ближе и сильнѣе, чѣмъ, напримѣръ, у германцевъ, хотя послѣдніе и могли быть лучше къ нему приготовлены: „по свидѣтельству исторіи, которое изъ двухъ племенъ, германское или славяно-русское, приняло христіанство добровольнѣе, ближе къ сердцу? которое прониклось имъ глубже и принесло ему въ жертву болѣе народныхъ предразсудковъ и безнравственныхъ обычаевъ?.. Если сравнить весь бытъ Кіевской Руси въ XI-мъ и XII-мъ вѣкахъ и современный бытъ любого изъ германскихъ племенъ, въ которомъ изъ нихъ вліяніе новаго ученія окажется наиболѣе ощутительнымъ?" Кіевская Русь вообще представляется автору въ свѣтломъ, привлекательномъ видѣ сравнительно съ послѣдующими временами (и это справедливо). При этомъ сравненіи съ позднѣйшей Русью, авторъ дѣлаетъ такое признаніе: „Въ Кіевскомъ періодѣ не было вовсе ни тѣсной исключительности, ни суроваго невѣжества позднѣйшихъ временъ [1]). Это не значитъ, — спѣшитъ прибавить авторъ, — чтобы исторія пошла назадъ; явились иныя

[1]) Впослѣдствіи К. Аксаковъ совершенно отвергалъ присутствіе этихъ недостатковъ и въ позднѣйшей эпохѣ.

выставляла ихъ въ строгомъ логическомъ построеніи. Приведенные сейчасъ тезисы заключали въ себѣ цѣлую законченную систему, и, какъ увидимъ далѣе, историческія мнѣнія славянофильства были главнымъ образомъ развитіемъ этой системы.

Итакъ, программа была дана, хотя самъ авторъ считалъ ее наполовину гипотезой. Но если уже дѣло становилось на почву научнаго изслѣдованія, а не однихъ идеалистическихъ стремленій, то программа требовала доказательствъ—и гипотезамъ не было мѣста. Въ виду мнѣній противной стороны, нужно было доказывать все, начиная съ чисто-теоретическихъ положеній о развитіи идеи человѣка или идеи народа и до историческихъ заключеній о значеніи русской общины. Такъ, была еще чистой гипотезой мысль, что нашъ *бытъ* представляетъ уже разрѣшеніе вопроса, то-есть, примиреніе начала личности и начала объективной нормы, или правильный, объединяющій всѣ интересы общественный союзъ. Гипотезой было и то положеніе, что общинный бытъ славянъ основанъ былъ не на отсутствіи личности, и что христіанство внесло въ него сознаніе и свободу. Нужно было доказывать и предполагаемыя достоинства старой вѣчевой общины, которыя возбуждали сомнѣніе не только неопредѣленностью отправленій этой общины, но и ея дальнѣйшей судьбой, въ которой она не могла выдержать исторической пробы, и т. д. Впослѣдствіи эти вопросы и дѣйствительно поднимались въ спорахъ двухъ сторонъ, вызывая самыя несходныя рѣшенія, и тема, выставленная славянофилами, не доказана до сихъ поръ... Особенное вниманіе этотъ вопросъ возбудилъ снова въ пору крестьянской реформы; бытовая крестьянская община встрѣтила горячихъ защитниковъ и внѣ славянофильскаго лагеря; но эти защитники, отдавая всю справедливость славянофильскому взгляду на бытовую общину, не находили возможнымъ согласиться съ цѣлой теоріей, ни съ славянофильскимъ обобщеніемъ этого начала на всю національную жизнь, ни съ теологическими толкованіями, ни съ историческими заключеніями... Въ сороковыхъ годахъ, славянофильская тема казалась еще менѣе убѣдительна. Общее указаніе на значеніе общиннаго быта въ древнемъ русскомъ быту было справедливо и составляетъ заслугу славянофильскихъ историковъ, какъ и ихъ указаніе на современную сельскую общину; но противники справедливо отвергали преувеличенія, на которыхъ выстроена была вся идеальная теорія русской исторіи. Картина древняго общиннаго быта, нарисованная славянофилами, могла быть очень обольстительна,—но гдѣ доказательства, что такова была дѣйствительно жизнь древней Руси; гдѣ доказательства той

„свободы“, того „сознанія“, той „любви“, которыя приписывала ей теорія; была ли община въ самомъ дѣлѣ такимъ всепроникающимъ началомъ, или, напротивъ, не уцѣлѣла ли она просто какъ одна изъ тѣхъ формъ быта, которыя могли сохраниться лишь потому, что не мѣшали государственному развитію и ни въ чемъ не сталкивались съ требованіями времени, напримѣръ, съ развитіемъ велико-княжества, стремленіями московскаго самодержавія, съ реформой Петра и т. п.? Какъ, при великомъ предполагаемомъ значеніи этого начала и непрерывномъ его вліяніи, русская жизнь стараго времени могла дойти до такого восточнаго деспотизма въ управленіи и до такой бѣдности умственнаго образованія, какія несомнѣнно отличали московскую Русь?

Словомъ, теорія нуждалась въ доказательствахъ. Эту задачу въ особенности взялъ на себя К. Аксаковъ.

Онъ не вдругъ сталъ защитникомъ этой теоріи. Его диссертація о Ломоносовѣ написана еще подъ другими вліяніями; онъ былъ тогда чистымъ гегельянцемъ, держался обычныхъ взглядовъ на ходъ русской исторіи и смотрѣлъ на эпоху Петра, какъ на переходъ отъ исключительной національности къ общечеловѣческой цивилизаціи. Но уже вскорѣ въ его мнѣніяхъ произошла радикальная перемѣна. Въ то же время, когда появилась его диссертація (1846), онъ является участникомъ „Московскихъ Сборниковъ“, гдѣ его статьи, подписанныя псевдонимомъ „Имрекъ“, были уже славянофильской критикой тогдашней литературы. Аксаковъ окончательно остановился потомъ на принятой имъ точкѣ зрѣнія и сталъ горячимъ ея проповѣдникомъ. Его давнишній народный патріотизмъ [1]) нашелъ въ славянофильствѣ самую сочувственную для него формулу: народъ сталъ его господствующей идеей—таковы его стихотворенія, его критическія статьи, публицистика, труды историческіе...

Не входя въ подробности историческихъ трудовъ К. Аксакова, укажемъ на оцѣнку ихъ, сдѣланную Костомаровымъ [2]), ко-

---

[1]) Въ біографіи Погодина, составляемой г. Барсуковымъ, есть любопытныя черты о средѣ, въ которой выросталъ К. Аксаковъ, — о домѣ С. Т. Аксакова. Погодинъ очень сблизился съ нимъ въ концѣ 1820 годовъ, и въ своемъ дневникѣ отмѣчаетъ въ 1829 году: „Петръ прорубилъ окошко, а Аксаковъ (С. Т.) его заколотитъ“. „Жизнь и труды М. П. Погодина“, книга вторая. Спб. 1889, стр. 315; см. также стр. 214 и далѣе.

[2]) „Труды Аксакова останутся навсегда знаменательными для науки русской исторіи,—говоритъ Костомаровъ. Онъ опровергъ теорію родового быта, на которой хотѣли построить русскую исторію; онъ обратилъ вниманіе на другое древнее начало въ русской исторіи — общинное, вѣчевое, которое прежде наукою оставлено было въ тѣни; онъ возвѣстилъ плодотворную мысль удалиться отъ рабскаго подра-

торая впрочемъ требуетъ оговорокъ. Въ томъ, что Костомаровъ считаетъ заслугою К. Аксакова, не все принадлежало лично ему. Такъ самое основное изъ его положеній объ общинномъ началѣ въ древней русской жизни было ранѣе заявлено школой и, какъ мы видѣли въ статьѣ М... З... К..., заявлено самымъ рѣшительнымъ образомъ. Общинная идея была принята Аксаковымъ готовая, и ему принадлежитъ только дальнѣйшее ея развитіе и, можно прибавить, доведеніе ея до крайности. Что касается „русскаго воззрѣнія", которому Костомаровъ приписываетъ столь высокую цѣну трудовъ К. Аксакова, относительно его существуетъ, кажется, нѣкоторое недоразумѣніе. Для новѣйшихъ историковъ, и не принадлежавшихъ вовсе къ славянофильскому лагерю, была вообще ясна необходимость изученія бытовыхъ явленій; это сознаніе вообще являлось въ русской исторической и этнографической наукѣ, какъ результатъ ея собственной зрѣлости, а также какъ результатъ вліяній науки европейской. Не отвергая того, что писатели славянофильской школы дѣятельно участвовали въ выработкѣ этого сознанія, было бы исторически невѣрно приписать это сознаніе имъ однимъ. Не трудно было бы провѣрить научную заслугу обоихъ литературныхъ направленій, обративъ вниманіе на самые результаты, добытые ихъ новѣйшимъ историческимъ изученіемъ. Едва ли можно оспаривать, что наибольшая сумма этихъ результатовъ была пріобрѣтена не тенденціозными работами въ славянофильскомъ духѣ, а именно болѣе безпристрастными научными изслѣдованіями, не только свободными отъ этой тенденціи, но даже ей враждебными...

У К. Аксакова общія, болѣе или менѣе неопредѣленныя положенія Кирѣевскихъ, коротко высказанные тезисы М... З... К...,

жанія западнымъ теоріямъ, обратиться къ разработкѣ народной жизни, и вмѣсто чуждыхъ, наносныхъ взглядовъ поискать своихъ, народныхъ. Онъ превосходно отгадалъ характеръ Ивана Грознаго и тѣмъ открылъ путь къ простому и ясному уразумѣнію его эпохи; наконецъ, онъ нашелъ двойственность земли и государства въ русской исторіи—идею великую, плодъ того русскаго воззрѣнія, надъ которымъ глумились и издѣвались, и безъ котораго неосуществима плодотворность научной дѣятельности въ сферѣ русской исторіи, ибо никакія событія непонятны, если мы не знаемъ воззрѣнія, образовавшагося у того народа, который творилъ эти событія и участвовалъ въ нихъ". Но Костомаровъ находитъ также ошибки и преувеличенія въ мнѣніяхъ Аксакова, происходившія отъ идеализма, отличающаго послѣдователей этой школы. Таковы сужденія Аксакова о земскихъ соборахъ, о правѣ кормленія и т. п. Самъ Костомаровъ находитъ, что „русское воззрѣніе" Аксакова бывало не совсѣмъ вѣрно, что московскій патріотизмъ заставлялъ его видѣть въ древней Руси такія совершенства, какихъ она вовсе не имѣла, какъ, напр., свободу торговыхъ сношеній, вѣротерпимость и т. п. (О значеніи критическихъ трудовъ К. Аксакова въ русской исторіи. Спб. 1861). Ср. „Вѣстн. Евр.", 1884, кн. 3—4.

являются въ болѣе обработанной формѣ, съ объясненіями и подробностями. Вмѣстѣ съ тѣмъ, основная идея доводится до ея крайнихъ предѣловъ. Личный характеръ дѣлалъ то, что для Аксакова его идеи стали какъ будто исторической религіей.

Въ особенности характеристичны тѣ статьи его по русской исторіи, которыя въ первый разъ напечатаны въ первомъ томѣ собранія его сочиненій. Эти статьи, писанныя около 1850 года, еще не были вполнѣ обработаны для печати и являются въ томъ видѣ, какъ были написаны авторомъ подъ всѣмъ вліяніемъ его чувства, несдерживаемыя тѣми соображеніями, которыми писатель долженъ иногда невольно руководиться, приступая къ печати [1]). Мнѣнія Аксакова исходятъ изъ слѣдующихъ основаній:

„Россія — земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны. Очень ошибутся тѣ, которые вздумають прилагать къ ней европейскія воззрѣнія и на основаніи ихъ судить о ней [2]). Но такъ мало знаетъ Россію наше просвѣщенное общество, что такого рода сужденіе слышишь часто. Помилуйте,—говорятъ многіе,—неужели вы думаете, что Россія идетъ какимъ-то своимъ путемъ? На это *отвѣтъ простой*: нельзя не думать того, *что̀ знаешь*, что̀ таково на самомъ дѣлѣ ..

„Исторія нашей родной земли такъ самобытна, что разнится (отъ западной) съ самой первой своей минуты. Здѣсь-то, въ самомъ началѣ, раздѣляются эти пути, русскій и западно-европейскій, до той минуты, когда странно и насильственно встрѣчаются они, когда Россія даетъ страшный крюкъ, кидаетъ родную дорогу и примыкаетъ къ западной [3]).

„Всѣ европейскія государства основаны завоеваніемъ. Вражда есть начало ихъ. Власть явилась тамъ непрізнанною и вооруженною, и *насильственно* утвердилась у покоренныхъ народовъ...

„Русское государство, напротивъ, было основано не завоева-

---

[1]) Если мы не ошибаемся въ своемъ предположеніи, то надобно сожалѣть, что вѣроятно цензурныя соображенія не дозволили издателямъ напечатать этихъ статей въ полномъ составѣ; см., напр. стр. 15—16.

[2]) Нужно слѣдовательно „русское воззрѣніе“. Но большинство, почти всѣ противники, которыхъ упрекаетъ далѣе Аксаковъ, если прилагали къ нашей исторіи европейскія воззрѣнія, то въ томъ же смыслѣ какъ онъ самъ—напримѣръ, употребляя извѣстные пріемы новѣйшей исторической критики, выработанные не нами и которыми пользовался самъ славянофильскій историкъ. Теорія родового быта—одно изъ главнѣйшихъ преступленій Соловьева въ глазахъ славянофиловъ — хотя бы она и была ошибочна, не дѣлаетъ же въ самомъ дѣлѣ взглядовъ Соловьева нѣмецкими, а это искренно думалъ К. Аксаковъ.

[3]) Петро̀вская реформа.

ніемъ, а *добровольнымъ призваніемъ* власти. Поэтому, не вражда, а миръ и согласіе есть его начало. Власть явилась у насъ желанною, не враждебною, но защитною, и утвердилась съ согласія народнаго...

„Итакъ, въ основаніи государства западнаго: *насиліе, рабство* и *вражда*. Въ основаніи государства русскаго: *добровольность, свобода* и *миръ*. Эти начала составляютъ важное и рѣшительное различіе между Русью и Западною Европою, и опредѣляютъ исторію той и другой.

„Пути совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могутъ сойтись между собою, и народы, идущіе ими, *никогда* не согласятся въ своихъ воззрѣніяхъ. Западъ, изъ состоянія рабства переходя въ состояніе бунта, принимаетъ бунтъ за свободу, хвалится ею и видитъ рабство въ Россіи. Россія же постоянно хранитъ у себя призванную ею самою власть, хранитъ ее добровольно, свободно, и поэтому въ бунтовщикѣ видитъ только раба съ другой стороны, который также унижается передъ новымъ идоломъ бунта, какъ передъ старымъ идоломъ власти; ибо бунтовать можетъ только рабъ, а свободный человѣкъ не бунтуетъ.

„Но пути эти стали еще различнѣе, когда важнѣйшій вопросъ для человѣчества присоединился къ нимъ: вопросъ вѣры. Благодать сошла на Русь. Православная вѣра была принята ею. Западъ пошелъ по дорогѣ католицизма. *Страшно* въ такомъ дѣлѣ говорить свое мнѣніе; но если мы не ошибаемся, то скажемъ, что *по заслугамъ* (!) дался и истинный и ложный путь вѣры,— первый Руси, второй Западу.

„Ясно стало для русскаго народа, что истинная свобода только тамъ, идѣже духъ Господень“ [1]).

Очевидно, что это опредѣленіе основаній русской исторіи было развитіемъ мысли, которую мы видѣли у Кирѣевскихъ и М... З... К... Но теорія все-таки оставалась теоріей и, за отдѣльными исключеніями, фактическое доказательство ея мало подвинулось впередъ. Такъ, относительно положенія о добровольномъ призваніи власти, высказаннаго еще Петромъ Кирѣевскимъ, Погодинъ тогда же приводилъ факты, показывавшіе, что добровольность въ остальной русской землѣ, которую стали занимать варяги, была очень сомнительная: новая власть, „желанная“, „защитная“ по словамъ Аксакова, распространялась рядомъ „воеваній“, „примученій“ и т. п. Возраженіе не было опровергнуто, но К. Акса-

[1]) Полн. собр. соч. К. Аксакова, I, стр. 7—9.

ковъ продолжалъ идеализировать „добровольное призваніе“ и возвелъ его въ цѣлый возвышенный фактъ народнаго духа... Наконецъ, еслибы и признать это различіе въ основаніи русскаго и западнаго государства,—оно еще не давало права для вывода о совершенной противоположности Запада и Востока.

Эту противоположность, кажется, никто изъ славянофиловъ не изображалъ такими смѣлыми контрастами, какъ Аксаковъ; Западъ осужденъ на рабство, и свобода остается одному Востоку—это странное злоупотребленіе словомъ „свобода“ встрѣчается нерѣдко въ его историческихъ разсужденіяхъ.

Далѣе, теологическій принципъ славянофильства повторяется и здѣсь съ тѣмъ же господствующимъ значеніемъ... Окончивъ свой очеркъ древней русской жизни, Аксаковъ предвидѣлъ возраженіе. „Намъ скажутъ: неужто же было полное блаженство? Конечно, нѣтъ. На землѣ нельзя найти совершеннаго положенія, но можно найти совершенныя начала. Нѣтъ *ни въ одномъ* обществѣ *истиннаго христіанства*, но христіанство истинно, и христіанство есть единый истинный путь. Слѣдовательно, этимъ единымъ истиннымъ путемъ и надобно идти. *Вся сила* въ томъ, что человѣкъ призналъ за законъ, за начало. Въ основу русской жизни легли истинныя начала, съ чѣмъ, *я думаю*, нельзя не согласиться“, и проч. [1]). Передъ тѣмъ, онъ рѣшилъ, что Западу „по заслугамъ“ данъ былъ ложный путь, а намъ—истинный путь вѣры. Когда же успѣли оказать эти заслуги и Западъ, и русскій народъ? И какія онѣ были?

Историческія основанія этого заключенія опять не совсѣмъ достаточны. Выше мы упоминали объ общихъ явленіяхъ восточной и западной религіозности, которыя не укладываются въ мѣрку теоріи; также произвольно теорія истолковываетъ и факты русской исторіи. Русская древность представляется Аксакову въ самомъ радужномъ цвѣтѣ. Русскіе славяне, еще язычники, впередъ уже готовы были къ христіанскому благочестію. Аксаковъ утверждаетъ, что русскій народъ искони обнаруживалъ наклонность къ воспріятію истинныхъ началъ. Въ статьѣ о язычествѣ древнихъ славянъ, Аксаковъ старается доказать, что еще при язычествѣ славяне жили „въ чаяніи христіанства“ [2]). „Язычество русскаго славянина было *самое чистое язычество*, было, при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, постоянное ощущеніе общаго высшаго смысла вещей и событій.

[1]) Стр. 15.
[2]) Стр. 311 и слѣд.

Слѣдовательно, вѣрованіе темное, неясное, готовое къ просвѣщенію и ждавшее луча истины". „Когда вспомнишь, какъ крестился русскій народъ, невольно умиляешься душою. Русскій народъ крестился легко и безъ борьбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу. Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи" и т. д.

Миѳологическія изслѣдованія, уже начатыя въ то время, когда писалъ Аксаковъ, показывали, что русская языческая миѳологія не представляла никакихъ подобныхъ особенностей и имѣла, напротивъ, чрезвычайно много общаго съ цѣлой индо-европейской миѳологіей, особливо германской и литовской,—что главнѣйшая разница русской миѳологіи съ другими была та, что она не успѣла пройти всѣхъ ступеней развитія, уже пройденныхъ язычествомъ другихъ племенъ, когда была застигнута введеніемъ христіанства. Поэтому—отсутствіе жрецовъ и выработаннаго языческаго поклоненія. Съ другой стороны, введеніе христіанства не было такъ мирно и безмятежно. Какъ ни скупа наша лѣтопись на фактическія свѣдѣнія объ этомъ предметѣ, въ ней сохранилось воспоминаніе объ упорствѣ язычества въ разныхъ краяхъ древней Руси. Исторія народной поэзіи и преданій свидѣтельствуетъ о множествѣ „языческихъ воспоминаній", и писатель даже такого поздняго времени, какъ XIV-е столѣтіе, черезъ нѣсколько вѣковъ послѣ „озаренія", съ негодованіемъ говоритъ о „двоевѣріи", т.-е. полу-языческомъ христіанствѣ народа.

Въ другой статьѣ объ основныхъ чертахъ русской исторіи, Аксаковъ указываетъ отличительную особенность русскаго народа и его исторіи—въ христіанской простотѣ и смиреніи. „Русская исторія,—говоритъ онъ,—въ сравненіи съ исторіей запада Европы отличается такою простотою, что приведетъ въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ (?). Русскій народъ не любитъ становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной фразы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе не большую роль; принадлежность личности—необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея—и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго щегольского драматизма страстей. Русская исторія—явленіе совсѣмъ иное. Дѣло въ томъ, что здѣсь другую задачу задалъ себѣ народъ на землѣ, что христіанское ученіе глубоко легло въ основаніе его жизни. Отсюда, среди бурь и волненій,

насъ посѣщавшихъ, эта молитвенная тишина и смиреніе, отсюда внутренняя духовная жизнь вѣры. Не отъ недостатка силъ и духа, не отъ недостатка мужества возникаетъ такое кроткое явленіе! Народъ русскій, когда бывалъ вынужденъ обстоятельствами явить свои силы, обнаруживалъ ихъ въ такой степени, что гордые и знаменитые храбростью народы, эти лихіе бойцы человѣчества, падали въ прахъ предъ нимъ, смиреннымъ, и тутъ же, въ минуту побѣды, дающимъ пощаду. Смиреніе, въ настоящемъ смыслѣ, несравненно бо́льшая и высшая сила духа, чѣмъ всякая гордая безстрашная доблесть. Вотъ съ какой стороны, со стороны христіанскаго смиренія, надо смотрѣть на русскій народъ и его исторію"... [1]).

Настоящее является Аксакову наградой этого смиренія: — „И Господь возвеличилъ смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми сосѣдями и пришельцами къ отчаянной борьбѣ, она повалила ихъ всѣхъ одного за другимъ. Ей дался просторъ на землѣ. Въ трехъ частяхъ свѣта [2]) ея владѣнія, седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предѣлахъ *невыносимое* знойное лѣто и *невыносимая* вѣчная зима; въ ея предѣлахъ солнце восходитъ на одномъ концѣ и заходитъ на другомъ въ одно и то же время. И вотъ гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидѣла страшное могущество силы матеріальной, и для нея понятной—и снѣдаемая ненавистью, въ какомъ-то *тайномъ ужасѣ*, смотритъ она на это страшное, полное жизни, тѣло,— души котораго понять не можетъ"... [3]).

Тема нашего смиренія была одинмъ изъ любимыхъ предметовъ краснорѣчія Шевырева, и это новый пунктъ соприкосновенія славянофильства съ „Москвитяниномъ". Извѣстно, до чего Шевыревъ доводилъ это восхваленіе русскаго смиренія [4]). Едва ли надо говорить, что притязанія на христіанскую добродѣтель плохо мирились и съ историческими фактами. Россія стала громаднымъ государствомъ едва ли вслѣдствіе смиренія: ея завоеванія съ XV-го вѣка, потомъ войны Ивана Грознаго и царя Але-

[1]) Стр. 18.

[2]) Тогда еще не были проданы русско-американскія владѣнія.

[3]) Стр. 20—21.

[4]) Въ свое время особенно знаменита была тирада о смиреніи и простотѣ русскаго человѣка, въ „Поѣздкѣ въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь" (М. 1852). Шевыревъ восхищается, какъ не жаденъ русскій человѣкъ, не завистливъ: летаетъ вокругъ него птица,—онъ не бьетъ ея; плаваетъ кругомъ рыба, онъ не ловитъ ея, и „довольствуется скудною, и часто нездоровою пищею", и т. п.

ксѣя не были особенно смиренны, а XVIII-е столѣтіе особливо отличалось не-смиренными завоеваніями, и на этотъ разъ Аксаковъ, повидимому, ничего не имѣетъ противъ „петербургскаго періода“, вообще столь ему непріятнаго. О томъ, насколько обнаруживала смиренія наша внутренняя исторія, упомянемъ дальше. Относительно новѣйшаго настроенія русскаго общества и самихъ славянофиловъ противники должны были, наконецъ, замѣтить, что ихъ смиреніе такъ высокомѣрно, что ничѣмъ не уступаетъ самой непохвальной западной гордости; и напоминали стихотвореніе Хомякова, гдѣ говорится, что —

„Онъ (Богъ)—съ тѣмъ, кто гордости лукавой
Въ слова смиренья не рядилъ“.

„Западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ“, — говоритъ Аксаковъ, — но развѣ этимъ ограничивается исторія Запада? Древняя русская жизнь, да и новая, была, конечно, проще; но эта простота была только слѣдствіемъ немудренаго патріархальнаго быта, какой въ свое время бывалъ и во всей Европѣ, а вовсе не какой-нибудь особенной врожденной добродѣтели. Съ другой стороны, „красивый эффектъ“ западной жизни былъ естественнымъ спутникомъ цивилизаціи, утонченной формой общежитія; наконецъ онъ бывалъ естественнымъ пріемомъ, манерой національнаго темперамента, напр., темперамента южныхъ племенъ, вообще несравненно болѣе живого, подвижнаго, впечатлительнаго, чѣмъ темпераментъ сѣверный: англичанинъ также могъ бы похвалиться степенностью передъ французомъ или итальянцемъ. Наконецъ, въ „яркомъ нарядѣ“, если онъ и былъ, также нѣтъ бѣды, какъ въ томъ „комфортѣ“, который послужилъ обвиненіемъ противъ Запада у Д. Валуева.

Изображеніе награды, доставшейся Россіи за ея смиреніе, напоминаетъ хвастливый патріотизмъ временъ, предшествовавшихъ крымской войнѣ... Славянофилы, какъ и масса общества, послѣ этой войны и даже прежде ея окончанія, убѣждались въ фальшивости этого тона [1]).

Въ опредѣленіи внутреннихъ отношеній древней Руси, центральнымъ положеніемъ Аксакова является мысль о двойственности земли и государства, которая кажется Костомарову „великою идеею“.

„Народъ призываетъ власть добровольно, призываетъ ее въ

[1]) См., напр., стихотвореніе Хомякова: „Россія“ 1854 г. (въ „Стих.“ 1861, стр. 122—123), и позднѣйшую публицистику „Русской Бесѣды“.

лицѣ князя-монарха, какъ въ лучшемъ ея выраженіи, и становится съ нею въ *пріязненныя* отношенія. Это — союзъ народа съ властію", или союзъ Земли и Государства.

„Земля, какъ выражаетъ это слово,—неопредѣленное и мирное состояніе народа. Земля призвала себѣ Государство на защиту, огражденіе; прежде всего отъ враговъ внѣшнихъ, потомъ и отъ враговъ внутреннихъ. Отношеніе Земли и Государства легло въ основаніе русской исторіи. Въ первыя времена Россія управлялась цѣлымъ родомъ, совокупностью князей въ отдѣльныхъ княжествахъ, и въ каждомъ княжествѣ повторялись тѣ же самыя отношенія. Князей стало много, они сами спорили между собою, и между князьями возможенъ былъ выборъ: поэтому они часто перемѣщались...

„Наконецъ, время княжихъ междоусобій прошло. Явился великій князь, и потомъ царь московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе Земли и Государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому, какъ князь собиралъ вѣче, царь созывалъ земскую думу или земскій соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣніе. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа... Спрашивали выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы...

„Во все время русской исторіи народъ русскій не измѣнилъ правительству, не измѣнилъ монархіи. Если и были смуты, то онѣ состояли въ вопросѣ о личной законности государя: о Борисѣ, Лжедимитріѣ и Шуйскомъ. Но никогда не раздавался голосъ въ народѣ:—не надо намъ монархіи, не надо намъ самодержавія, не надо намъ царя. Напротивъ, въ 1612-мъ г. одолѣвъ враговъ своихъ и будучи безъ государя, вновь громко и единогласно призвалъ народъ царя...

„Любопытно, хотя вкратцѣ, взглянуть на этотъ бытъ, на эти незыблемыя, неизмѣнныя отношенія между властію и народомъ, отношенія свободныя, разумныя, не рабскія, и потому обезпеченныя отъ всякой революціи.

„Государево и земское дѣло—вотъ слова, которыя слышались изъ устъ народа, вотъ слова, которыя слышались изъ устъ государя; какъ часто встрѣчаемъ ихъ въ древнихъ, и отъ государя, и отъ народа идущихъ грамотахъ"...

И затѣмъ Аксаковъ дѣлаетъ краткій очеркъ земли—народа, съ его общиннымъ бытомъ, и государства, съ его правительствен-

ной дѣятельностью. Въ этой жизни не было ни западной аристократіи, ни западной демократіи. „Вся Россія была подъ двумя властями—*Земли* и *Государства*, раздѣлялась на два отдѣла—на людей *земскихъ* и людей *служилыхъ*“.

„Что же соединяло эти два отдѣла, что составляло неразрывную связь между ними?.. Вѣра и жизнь; вотъ почему всякій чиновникъ, начиная отъ боярина, былъ свой человѣкъ народу; вотъ почему, переходя изъ земскихъ людей въ служилые, онъ не становился чуждымъ Землѣ. Выше всѣхъ этихъ раздѣленій было единство вѣры и единство жизни, быта, соединявшее Россію въ одно цѣлое. Вѣрою и жизнію само государство становилось земскимъ“.

Въ началѣ этого изложенія, Аксаковъ, изображая отношенія между народомъ и призванной имъ властью, ставшія потомъ отношеніями Земли и Государства, восхваляя ихъ „свободное соглашеніе“, предвидитъ возраженіе и отвѣчаетъ на него:

„Но нѣтъ никакого обезпеченія, скажутъ намъ; или народъ, или власть могутъ измѣнить другъ другу. *Гарантія* нужна!—*Гарантія* не нужна! *Гарантія* есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра; пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣтъ добраго, чѣмъ стоять съ помощью зла. Вся сила въ *идеалѣ*. Да и что значатъ условія и договоры, какъ скоро нѣтъ силы внутренней? Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ на это желанія. Вся сила въ нравственномъ убѣжденіи. Это сокровище есть въ Россіи, потому что она всегда въ него вѣрила и не прибѣгала къ договорамъ“ [1]).

Итакъ, мы имѣемъ картину древне-русскаго устройства и вмѣстѣ—идеалъ.

Славянофилы часто упрекали своихъ противниковъ, что они принимаютъ готовыя европейскія теоріи, чуждыя русской жизни, и строятъ на нихъ русскую исторію. Въ настоящемъ случаѣ дѣлается нѣчто похожее. Взглядъ Аксакова есть тоже готовая теорія, созданная чувствомъ и приложенная къ русской исторіи раньше, чѣмъ разработка послѣдней давала бы право вывести подобную теорію. Не скажемъ, чтобы она была совершенно произвольна; нѣкоторыя частности ея можно основывать на фактическихъ данныхъ, но цѣлый составъ теоріи остается произволенъ. Побужденіемъ къ построенію теоріи служило весьма похвальное сочувствіе къ народу; это сочувствіе украсило его исторію всѣми

[1]) Стр. 9—11. К. Аксаковъ вообще не разъ возвращается къ этой темѣ, но она достаточно рельефно высказана и въ приведенныхъ нами цитатахъ, и другихъ мы приводить не будемъ.

идеальными качествами, которыхъ желало бы народу въ дѣйствительности; способъ изложенія взятъ былъ самими славянофилами изъ пріемовъ той же западной науки, которая передъ тѣмъ именно занята была созданіемъ философіи исторіи, стремилась осмыслить исторію народовъ нравственно-общественными началами, указать особыя идеальныя задачи, поставленныя судьбою или Провидѣніемъ каждому изъ народовъ въ его историческомъ бытіи... Но въ то время, какъ противники славянофильства все-таки больше старались держаться фактической почвы, Аксаковъ бросился въ идеализмъ, напоминающій философскую романтику двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Его историческая теорія свидѣтельствуетъ всего больше о силѣ увлекавшаго его чувства.

Аксаковъ вѣрно замѣчаетъ присутствіе двухъ элементовъ стараго русскаго быта — Земли и Государства, другими словами: общиннаго самоуправленія и правительственной централизаціи. Но было слишкомъ поспѣшно представить старый русскій бытъ, какъ осуществленіе нравственнаго идеала, какъ истинное христіанское государство. Уже въ то время, когда писалъ Аксаковъ, историческая наука относилась очень недовѣрчиво къ подобнымъ теоріямъ и искала болѣе реальнаго объясненія исторіи—въ изученіи условій природныхъ, этнографическихъ, экономическихъ, въ изученіи отношеній народа къ цѣлому движенію цивилизаціи и т. п. Теорія Аксакова не выдерживала критики и въ ближайшемъ смыслѣ. Отношенія „Земли" и „Государства" не были такъ мягки и пріязненны, какъ изображаетъ Аксаковъ. Начиная съ ихъ первой связи, которая вовсе не была столь идиллическая, и до послѣдняго времени, исторія этихъ отношеній, быть можетъ, есть скорѣе наоборотъ—исторія постоянной борьбы, чѣмъ исторія „любовнаго, свободнаго соглашенія". Древняя община, вѣче, земская дума, тѣсно связанныя Аксаковымъ въ его теоріи, не были такъ связаны въ самой жизни. Костомаровъ приводилъ возраженія, которыя дѣлали сомнительнымъ изображеніе земскихъ думъ и соборовъ въ теоріи Аксакова. Исторія московскаго самодержавія вообще не подходитъ подъ эту теорію: Государство развивалось вовсе неравномѣрно съ Землей, и Земля еще въ московскомъ періодѣ осталась назади, или внизу. Мнѣніе земскаго собора было не обязательно для власти, слѣдовательно, могло быть приведено къ нулю. Земля, наконецъ, бѣжала отъ Государства, въ казачество, въ расколъ, въ шайки Разина; еще старое московское государство прикрѣпило крестьянъ къ землѣ и положило основаніе крѣпостному праву.

Аксаковъ рѣшительно возстаетъ противъ „гарантіи", то-есть

гарантіи конституціонной, которою европейскія государства утверждали свои отношенія земли и государства, представителей народа и центральной власти. Гарантія противна Аксакову, какъ свидѣтельство недовѣрія. Но, если и правда, что она не всегда была дѣйствительной опорой противъ захватовъ той или другой стороны, то она все-таки была заявленіемъ *права*, и есть страны, гдѣ гарантія имѣла издавна очень дѣйствительную силу, какъ въ Англіи... Въ государствѣ, которое идеализировалъ Аксаковъ, гарантіи нечего было бы и ограждать.

Далѣе Аксаковъ вѣрно указываетъ единство быта въ старой Россіи, неразрывную связь, которую полагали между различными слоями народа вѣра и жизнь, или однообразіе понятій и нравовъ. Можно справедливо увлекаться подобнымъ единствомъ, если оно существовало, и противополагать его, какъ идеалъ, тому разладу, который дѣлитъ высшіе классы отъ массы націи, дѣлаетъ ихъ даже совершенно чуждыми народу паразитами. Все это прекрасно, но въ данномъ случаѣ есть историческія обстоятельства, которыя заставляютъ очень ограничить заключеніе Аксакова. „Единство быта“, чтобы стать завиднымъ идеаломъ, требуетъ одной, существенно важной оговорки.

Факты показываютъ, что старый русскій бытъ могъ сохранить свое единство только потому, что это былъ повсюду первобытный патріархальный бытъ. Основа его міровоззрѣнія была миѳически религіозная; ея не касались еще никакіе запросы критической мысли; образованіе было такъ незначительно, что высшіе классы почти ничѣмъ не отличались отъ низшихъ; характеръ этого образованія былъ тотъ самый, какимъ до сихъ поръ отличаются „начетчики“ православные и раскольничьи въ простомъ народѣ; такіе начетчики бывали одинаково во всѣхъ классахъ народа, и ихъ міровоззрѣніе было сходно потому, что основывалось на одинакомъ чтеніи и одинакой тѣснотѣ умственнаго горизонта во всемъ, что было внѣ этого чтенія; преданіе было поэтому всесильно. Того же рода единство было въ нравахъ: Россія, отдаленная событіями своей исторіи отъ остального міра, впала въ крайнюю національную и религіозную исключительность, которая, конечно, самымъ могущественнымъ образомъ противодѣйствовала всякому нововведенію и помогала сохраненію старины. Въ этой исключительности прожиты были цѣлые вѣка...

Но, очевидно, что этотъ порядокъ вещей не могъ удержаться въ народѣ, которому предстояла бы болѣе широкая историческая жизнь. Еслибы этотъ порядокъ сохранялся неизмѣнно, онъ приводилъ бы къ застою и національному паденію; это была бы

остановка въ развитіи, какую представляли Китай или Турція; если же задатки развитія были, оно неизбѣжно должно было столкнуться съ преданіемъ такъ или иначе. И столкновенія дѣйствительно бывали. Уже древняя русская жизнь произвела цѣлый рядъ ересей, въ которыхъ—среди ихъ заблужденій—нельзя не видѣть стремленія развить преданіе или, отвергнувъ его, найти болѣе широкое содержаніе. Тотъ или другой видъ отрицанія долженъ былъ составить необходимую ступень въ дальнѣйшемъ движеніи. Болѣе высокая ступень образованности, большее количество свѣдѣній о природѣ, о человѣческой исторіи, однимъ словомъ, знакомство съ тѣмъ, что уже въ тѣ времена было пріобрѣтаемо образованностью европейской,—неизбѣжно ограничивали и подрывали бы старую традицію во всемъ томъ, что въ ней не соотвѣтствовало новому научному содержанію. Это произошло бы, еслибъ и не было реформы Петра, или еслибы она не употребляла своихъ суровыхъ и насильственныхъ средствъ. Славянофилы сами утверждали, что Россія и до Петра заимствовала отъ Запада „все хорошее“ [1]), сохраняя, однако, свою сущность; но на дѣлѣ заимствовалось тогда далеко не все, что было нужно, и вообще очень немногое, и только поэтому старина и могла спокойно сохраняться: заимствованнаго „хорошаго“ было слишкомъ мало, чтобы затронуть ее. Такимъ образомъ, традиціонное воззрѣніе древней Руси не могло бы уцѣлѣть при бо̀льшей степени образованія, и слѣдовательно, единство понятій удержаться не могло: высшіе классы, которымъ доставалась въ первое время бо̀льшая или вся доля образованности, именно поэтому (а вовсе не по существу самой образованности) должны были отдалиться отъ народа. Это было, безъ сомнѣнія, прискорбно, но при *существовавшемъ уже различіи* въ матеріальномъ и юридическомъ положеніи сословій было неизбѣжно.

Это вовсе не значило также, чтобы такое раздѣленіе стало роковымъ и неисправимымъ. Матеріальное и юридическое положеніе низшихъ сословій уже измѣняется къ лучшему; рядомъ съ общественною равноправностью открывается возможность бо̀льшаго успѣха образованности и въ народной массѣ. Стремленія лучшихъ людей современнаго общества идутъ именно къ тому, чтобы возстановить старое единство или, лучше сказать, основать новое—не изгнаніемъ и отверженіемъ западной образованности и не возстановленіемъ старины, а просто расширеніемъ образованности въ самомъ народѣ.

[1]) Соч. Аксакова, стр. 48.

Паденіе старыхъ обычаевъ было такимъ образомъ естественно. Замѣтимъ, кромѣ того, что старые обычаи, относясь къ различнымъ сторонамъ жизни, могутъ имѣть и весьма различную цѣнность: или чисто бытовую, какъ извѣстная обстановка частной жизни, или болѣе высокую цѣнность общественно-политическую, какъ выраженіе извѣстнаго политическаго права. Обычаевъ послѣдняго рода имѣла много, напримѣръ, Англія; и утрата такихъ обычаевъ (еслибы ихъ не замѣняли другіе, лучшіе) была бы дѣйствительно вредомъ, потерей и упадкомъ для національной жизни. Не оправдывая Петровскаго истребленія старыхъ обычаевъ, должно признать, однако, что обычаевъ этого второго разряда едва ли русская жизнь потеряла много при реформѣ. Наконецъ, въ судьбѣ обычая играетъ роль и еще одно обстоятельство—расширеніе самого государства: сохраненіе стараго обычая въ высшихъ классахъ, начиная съ двора, было удобно въ тѣсныхъ условіяхъ московскаго быта; оно было труднѣе въ Петровскомъ государствѣ, которое по необходимости сближалось съ Европой, начинало распространяться на страны западной цивилизаціи и принимало въ себя множество новыхъ элементовъ, ассимиляція которыхъ (если государство къ ней стремилось) не могла обойтись безъ той или другой уступки и съ его стороны. А славянофилы также, какъ другіе, гордятся завоеваніями и пріобрѣтеніями новой Россіи.

Естественно, что при такомъ общемъ взглядѣ на древнюю Русь Аксаковъ вообще относился къ явленіямъ ея жизни съ крайнимъ оптимизмомъ. Примѣровъ можно привести очень много. Нравы славянъ были самые кроткіе нравы, язычество русскихъ славянъ—самое чистое язычество, что бы ни говорила лѣтопись о „звѣринскихъ“ обычаяхъ нѣкоторыхъ племенъ, о способѣ дѣйствій самихъ князей, что бы ни говорила „Русская Правда“ о кровавой мести и т. п. Тѣ же нравы онъ находитъ въ поэзіи былинъ, и если въ ней встрѣчаются не особенно человѣколюбивые подвиги богатырей, у Аксакова готово наивно-казуистическое объясненіе [1]). Мнѣній его въ этомъ случаѣ не смущаютъ

[1]) „Такая строгая казнь,—говоритъ онъ по поводу „ученія“ Марины Добрыней, состоявшаго въ томъ, что Добрыня рубитъ ей руку, ногу и голову съ языкомъ,—совершенная съ полнымъ спокойствіемъ Добрыней, не можетъ служить опредѣленіемъ его нравственнаго образа и кидать на него тѣнь обвиненія въ жестокости. Это обычай всѣхъ богатырей того времени; будучи не личнымъ дѣломъ, а обычаемъ, подобный поступокъ лишенъ злобы и свирѣпости, вытекающихъ уже изъ личнаго ощущенія. Гдѣ постоянно играютъ палицы, копья и стрѣлы, тамъ главное дѣло подвигъ, а жизнь становится дѣломъ второстепеннымъ, и большого уваженія къ ней не оказывается“, и т. д. (стр. 344). Но что же такое обычай, какъ не результатъ и сводъ частныхъ личныхъ ощущеній?

никакіе факты грубости нравовъ, которыхъ къ сожалѣнію древняя Русь представляетъ не мало.

Аксакову хочется доказать, что древній народный взглядъ уже заключалъ въ себѣ тѣ принципы разумности и свободы, которые у противниковъ славянофильства считались пріобрѣтеніемъ и заслугой европейскаго просвѣщенія. Оспаривая въ этомъ смыслѣ мнѣнія Соловьева (въ разборѣ VII-го тома его Исторіи), онъ указываетъ на первомъ планѣ идею Земли, осуществленную въ земскихъ соборахъ. Далѣе, онъ утверждаетъ, что древняя Русь выразила также свой взглядъ на свободу международныхъ отношеній и торговли, и ссылается при этомъ на слова московскихъ пословъ шведамъ: „Сотворилъ Богъ человѣка *самовластна* и далъ ему волю сухимъ и водянымъ путемъ, гдѣ ни захочетъ, ѣхать: такъ вамъ противъ воли Божіей стоять не годится, всѣхъ поморскихъ и нѣмецкихъ государствъ гостямъ и всякимъ торговымъ людямъ землею и моремъ задержки и неволи чинить не пригоже“. Аксаковъ ссылается также на подобныя выраженія въ грамотѣ царя Ѳеодора къ Елизаветѣ по поводу того, что англійская торговая компанія не пропускала въ Россію кораблей другихъ, къ компаніи не принадлежавшихъ, и иностранныхъ купцовъ. Далѣе, Аксаковъ утверждаетъ, что Россія высказывала „извѣстный, признанный и другими за нею взглядъ, что каждый имѣетъ право исповѣдывать свою вѣру“, по поводу того, что англичанамъ предоставлено было жить у насъ „въ своей вѣрѣ“. „Въ приведенныхъ нами примѣрахъ,—говоритъ Аксаковъ,—достаточно, кажется, высказывается высокій взглядъ русскаго народа. Это—*русское воззрѣніе,* которое въ то же время есть истинное, общечеловѣческое“ [1]).

Относительно всего этого Костомаровъ замѣчалъ уже преувеличенія Аксакова. Въ самомъ дѣлѣ, земскіе соборы, именно за отсутствіемъ „гарантіи“, были весьма непрочнымъ учрежденіемъ; это были послѣднія воспоминанія вѣчевого устройства, не тронутыя властью только потому, что при господствѣ тогдашняго патріархальнаго деспотизма это учрежденіе не могло повести ни къ какому ущербу для царской власти. Потому-то вскорѣ оно и могло такъ легко выйти совершенно изъ употребленія. Мнимый взглядъ древней Россіи на свободу международныхъ сношеній не оправдывался нисколько ея собственной практикой. Московскіе дипломаты, у которыхъ не было недостатка въ лукавствѣ, могли ссылаться на „самовластіе“ человѣка, на его волю ѣхать сухимъ

---

[1]) Сочин., стр. 250—253.

и водянымъ путемъ гдѣ ни захочетъ, — когда такъ нужно было по ихъ соображеніямъ; но очень извѣстно, что для самихъ русскихъ купцовъ эта воля была крайне стѣснена: отправиться, хотя бы для торговли, въ чужое государство было чрезвычайно трудно, почти невозможно. Точно также не оправдывается фактами мнимый взглядъ древней Руси на свободу исповѣданій. Иностранцамъ позволяли жить „въ своей вѣрѣ“ (нельзя же было всѣхъ заѣзжихъ людей обращать въ православіе), но тѣмъ и кончалась терпимость: это не мѣшало русскимъ считать вѣру западныхъ христіанъ, католиковъ и протестантовъ, поганою, какъ они считали поганымъ магометанство или язычество; нечего и говорить о томъ, что для русскаго было немыслимо перейти изъ православія въ другое христіанское исповѣданіе.

К. Аксаковъ до такой степени увлеченъ, что смѣло утверждаетъ, будто древняя Русь нисколько не знала національной исключительности. Приведя слова Нестора, что у всякаго языческаго народа свой обычай, „мы же, христіане, законъ имамы единъ, елицы во Христа крестихомся, во Христа облекохомся“, Аксаковъ восклицаетъ: „вотъ когда (и вотъ какъ ясно, глубоко и истинно) уже перейдены были границы той исключительной національности, въ которой пребывали мы, *по мнѣнію Запада* [1]), до начала прошедшаго столѣтія, и *которой у насъ никогда не бывало*“ [2]). Онъ возвращается къ той же мысли въ другомъ мѣстѣ, отказываясь отъ противоположнаго мнѣнія, которое было высказано имъ прежде, въ диссертаціи о Ломоносовѣ. „Напрасно говорили (я самъ напечаталъ это нѣкогда), что Петръ возсталъ противъ исключительной русской національности. Исключительности въ Россіи не было вовсе; все полезное принималось и до Петра, только это не мѣшало русскимъ оставаться русскими“. Повторивъ опять цитату изъ Нестора [3]), Аксаковъ говоритъ: „Христіанская вѣра — вотъ союзъ человѣческій, вотъ союзъ нашъ. Всѣ христіане братья. Это истинное пониманіе христіанской вѣры есть основаніе всей нашей исторіи“ и проч. [4]).

Не говоря о томъ, что приведенное мѣсто изъ Нестора не допускаетъ такого тенденціознаго толкованія, заключая только самое общее противоположеніе христіанства другимъ, нехристіанскимъ вѣрамъ, — должно повторить опять, что старая рус-

---

[1]) Въ этомъ Западѣ Аксаковъ, вѣроятно, считалъ и русскихъ историковъ, которые держались этого мнѣнія.

[2]) Стр. 20.

[3]) Онъ замѣчаетъ, что „это важное указаніе принадлежитъ Ю. Ө. Самарину“.

[4]) Стр. 42.

ская исторія слишкомъ часто свидѣтельствуетъ о національной и религіозной исключительности, чтобы противъ нея можно было спорить серьезно. Быть можетъ, кіевскій періодъ,—вообще весьма непохожій на послѣдующія эпохи,—еще представлялъ нѣкоторые факты въ пользу мнѣнія Аксакова, но чѣмъ дальше въ московскій періодъ, тѣмъ исключительность становится суровѣе и нетерпимѣе.

Такимъ образомъ, въ понятіяхъ К. Аксакова древняя Россія была идеальное, истинно-христіанское государство, и если жизнь ея не была полное блаженство, по свойственнымъ человѣчеству слабостямъ, то обладала истинными началами и шла по истинному пути. Если этотъ путь не былъ совершенъ до конца, въ этомъ виновата была реформа.

Выше упомянуто, что сначала Аксаковъ имѣлъ о реформѣ иное понятіе, то самое, которое поддерживалось противниками славянофильства. Въ диссертаціи о Ломоносовѣ онъ понимаетъ реформу, какъ необходимый историческій моментъ русской жизни, какъ отрицаніе національной исключительности и восприятіе общечеловѣческаго развитія. Теперь онъ думалъ совершенно противное и считалъ реформу не иначе, какъ за *измѣну* власти передъ народомъ, ей никогда не измѣнявшимъ [1]).

Петръ совершенно извратилъ ходъ русской жизни. Переворотъ, имъ произведенный, былъ самый важный изъ всѣхъ переворотовъ въ русской исторіи, потому что коснулся самыхъ корней родного дерева. Въ самомъ дѣлѣ: „Изъ *могучей* земли, могучей болѣе всего вѣрою и внутреннею жизнію, смиреніемъ и тишиною, Петръ захотѣлъ образовать могущество и славу *земную*, захотѣлъ, слѣдовательно, оторвать Русь отъ родныхъ источниковъ ея жизни, захотѣлъ втолкнуть Русь на путь Запада—путь ложный и опасный“. Благодареніе Богу, что только одна часть Руси оставила путь смиренія,—но эта часть сильна и богата, и отъ нея зависитъ другая, „не измѣнившая вѣрѣ и землѣ родной“... Историки (какъ Соловьевъ) говорятъ, что Петръ былъ только продолжателемъ, что заимствованія отъ иностранцевъ дѣлались и прежде. Дѣйствительно, заимствованія дѣлались и прежде: при истинно-христіанскомъ взглядѣ русскаго народа на другіе народы (объ этомъ взглядѣ было сейчасъ говорено), русскому народу естественно было принимать „все хорошее“: такъ при Димитріи Донскомъ принято огнестрѣльное оружіе, при Іоаннѣ IV книгопечатаніе, при Ѳеодорѣ—даже внутреннее военное устрой-

[1]) Сочин., стр. 10, *конецъ* 15-й и *начало* 16-й, стр. 19.

ство. Но Петръ все-таки былъ не продолжателемъ: прежде брали полезное, не заимствуя чужой жизни, а Петръ сталъ принимать все, не только полезное и общечеловѣческое, но частное и національное, самую иностранную жизнь, перемѣнялъ на иностранный ладъ всю систему управленія, образъ жизни, одежду, самый языкъ,—такъ, что „даже самое полезное, что принимали въ Россіи и до Петра, непремѣнно стало не свободнымъ заимствованіемъ, а рабскимъ подражаніемъ". Къ этому присоединилось насиліе, вслѣдствіе котораго реформа стала настоящимъ переворотомъ, *революціей*.

Въ другомъ мѣстѣ (въ разборѣ I-го тома Исторіи Соловьева) Аксаковъ предлагаетъ свое дѣленіе русской исторіи на періоды по столицамъ (кіевскій періодъ, владимірскій, московскій, петербургскій) и слѣдующимъ образомъ характеризуетъ послѣдній, петербургскій періодъ. „Государство совершаетъ переворотъ, разрываетъ союзъ съ Землею и подчиняетъ ее себѣ, начиная новый порядокъ вещей. Оно спѣшитъ построить новую столицу, *свою*, не имѣющую ничего общаго съ Россіею, никакихъ русскихъ воспоминаній. Измѣняя землѣ русской, народу, государство измѣняетъ и народности, образуется по примѣру Запада, гдѣ наиболѣе развилась государственность, и вводитъ подражательность чужимъ краямъ, западной Европѣ. Гоненіе на *все* (?) русское. Люди государственные, люди служилые, переходятъ на сторону государства. Народъ, собственно простой народъ, остается при прежнихъ началахъ. Переворотъ сопровождается насиліемъ. Впослѣдствіи, переобразованные верхніе классы дѣйствуютъ соблазномъ разврата, выгодъ и преимуществъ на простой народъ; отъ него по одиночкѣ отстаютъ и переходятъ на враждебную сторону, но весь народъ, въ цѣломъ, остается тотъ же. Россія раздѣлилась на двое и на двѣ столицы. Съ одной стороны, государство съ своей иностранной столицей Санкт-Петербургомъ; съ другой стороны, земля, народъ, съ своей русской столицей Москвой". Затѣмъ, дальнѣйшія отношенія Государства и Земли опредѣляются такъ: „Нашествіе Наполеона на Государство и Землю русскую. Государство, въ смятеніи, обращается къ Землѣ и къ Москвѣ, и проситъ о помощи. Москва принимаетъ ударъ. Москва и Земля спасаютъ и себя, и Государство. Несмотря на то, полный плѣнъ нравственный, подъ игомъ Запада, верхнихъ классовъ, примыкающихъ къ Государству. Наконецъ, наступаетъ борьба. Москва начинаетъ и продолжаетъ дѣло нравственнаго освобожденія... Русская мысль начинаетъ освобождаться изъ плѣна: *вся* (?) дѣятельность ея въ Москвѣ и изъ Москвы,—и окончаніе долгаго

испытанія, а вмѣстѣ и торжество и возникновеніе истинной Руси и Москвы, кажется, приближается... Главное, существенное дѣло— нравственная духовная свобода. Она возникаетъ" [1]).

Въ приведенныхъ мнѣніяхъ, кажется, сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо высказанъ славянофильскій взглядъ на реформу. „Петербургскій періодъ" былъ предметомъ оживленныхъ споровъ и противники славянофиловъ собрали много опроверженій страннаго историческаго взгляда. Должно, впрочемъ, сказать, что защитники реформы также не были свободны отъ преувеличеній: восхваляя реформу, они доводили до крайности защиту государственности, и заслуга славянофильства была въ томъ, что, выставляя крайность противоположную, они заставили противниковъ ограничить панегирикъ реформы и внимательнѣе всмотрѣться въ ея достоинства и недостатки.

Тѣмъ не менѣе, славянофильскій взглядъ, въ его рѣшительной формѣ у Аксакова, безъ сомнѣнія, не выдерживаетъ критики. Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Аксаковъ строитъ произвольную систему, которая далеко не оправдывается фактами. Прежде всего, совершенно невѣроятной должна показаться съ исторической точки зрѣнія, такая необыкновенная „измѣна", какою Аксаковъ считаетъ Петровскую реформу. Измѣна народности вовсе не такая легкая вещь, въ особенности для такого множества людей, которые пошли вслѣдъ за реформой. Петръ и его послѣдователи дѣйствительно отказались отъ многихъ обычаевъ, но русская народность не исчерпывалась этими обычаями; иначе, это была бы слишкомъ ограниченная мелкая народность. Другіе, напротивъ, думали, и справедливо, что Петръ не только не измѣнялъ русской народности, но былъ однимъ изъ лучшихъ ея выраженій и раскрылъ новыя ея стороны, которыя не находили себѣ мѣста въ прежнемъ порядкѣ вещей... Многія его мѣры были насильственны, и во многихъ онъ не можетъ быть оправданъ; но другія крутыя нарушенія старины были неизбѣжно связаны съ самымъ свойствомъ его дѣла. Это дѣло — дѣйствительно переворотъ, революція, но эта революція, во первыхъ, была необходима по всему ходу предшествующей исторіи, и подобные перевороты вообще не бываютъ чисто личнымъ дѣломъ одного человѣка; во-вторыхъ, революція произведена была самымъ представителемъ той власти, съ которой Земля вошла въ „свободное соглашеніе", которой предоставила полномочія, неограниченныя никакой „гарантіей", и которая по этому самому уже задолго

[1]) Сочин., стр. 23, 41—43, 49—50.

передъ тѣмъ стала „самодержавной". Такимъ образомъ и по своей теоріи Аксаковъ не имѣлъ бы основаній говорить объ „измѣнѣ".

Далѣе, состояніе до-петровской Россіи вовсе не было таково, какъ изображаетъ Аксаковъ. Онъ говоритъ о могуществѣ древней Россіи, основанномъ на „вѣрѣ" и „смиреніи", и о томъ, что Петръ стремился къ могуществу „земному",—точно въ самомъ дѣлѣ русскіе были какими-то новозавѣтными израильтянами или московское царство было царство небесное. Искренность Аксакова стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія; у другого эти простодушныя слова показались бы несноснымъ фарисействомъ... Русь была благочестива, спора нѣтъ; но какъ благочестіе ея имѣло свои, и немалые, недостатки, такъ и могущество ея было очень условное: Петръ во-время укрѣпилъ ея матеріальныя силы, потому что иначе ей грозила серьезная опасность отъ ея европейскаго сосѣдства. Ошибочно также и то, что Россія до Петра заимствовала у Европы „все хорошее": напротивъ, хорошее приходило въ очень небольшомъ количествѣ и очень поздно. Такъ довольно поздно принято огнестрѣльное оружіе; только черезъ сто лѣтъ послѣ изобрѣтенія Гуттенберга начали у насъ печатать книги, и т. д. Идя тѣмъ же шагомъ, старая Русь въ сто лѣтъ едва ли бы успѣла сдѣлать то, что сдѣлано было въ одно царствованіе Петра, и эта медленность, при быстромъ развитіи самой Европы, не могла не представлять большой опасности...

Болѣе умѣренные изъ славянофиловъ смотрѣли мягче на реформу, и хотя не одобряли насильственнаго нарушенія обычаевъ, перемѣны столицы и т. д., но были довольны тѣмъ политическимъ могуществомъ, которое основано было Петромъ Великимъ. Самъ К. Аксаковъ съ удовольствіемъ указываетъ это внѣшнее могущество Россіи, которое считалъ наградой за ея смиреніе. Славянофилы считали это могущество даже необходимымъ для того, чтобы Россія, одна изъ славянскихъ племенъ создавшая сильное государство, могла спасти славянское начало. Противники славянофильства были не только убѣждены въ необходимости реформы, но полагали, что истинная русская народность и есть та самая, которая приняла въ себя реформу.

Прошло еще немного времени съ тѣхъ поръ, какъ велись споры о петербургскомъ періодѣ, и въ постановкѣ вопроса, если не ошибаемся, произошла значительная перемѣна, и не въ пользу славянофильской точки зрѣнія. Теперь уже мало такихъ безусловныхъ защитниковъ реформы, какіе были въ сороковыхъ годахъ; но съ другой стороны едва ли кто рѣшится также безусловно

осуждать реформу, какъ осуждалъ Аксаковъ. Двѣ крайности сводятъ свои счеты, и главное, что служило къ ихъ взаимному ограниченію и извѣстному примиренію, было ближайшее изученіе эпохи. Исторія нашего XVIII-го столѣтія сдѣлала большой сравнительно успѣхъ съ того времени, когда писалъ Аксаковъ, и, къ удивленію, даже историки, склонные къ славянофильству или совсѣмъ славянофилы (назовемъ г. Бартенева и др.), начинаютъ находить во многихъ дѣятеляхъ XVIII-го вѣка столько русскихъ добродѣтелей, что онѣ уже не вязались съ прежней характеристикой „петербургскаго періода". Чѣмъ больше наши историки знакомятся съ событіями временъ Петра и съ самой его личностью, тѣмъ больше открываютъ въ самомъ Петрѣ чисто русскую, высоко-талантливую, свободную и часто необузданную натуру съ ея достоинствами и недостатками. Между прочимъ, начинаютъ видѣть, что Петръ вовсе не былъ и такимъ врагомъ русскихъ обычаевъ, и, напротивъ, самъ нерѣдко обнаруживалъ любовь къ нимъ [1]). Стали измѣняться и понятія о цѣломъ XVIII в. Симпатіи XVI-го и XVII-го вѣка, которыя такъ сильны у Аксакова и славянофиловъ вообще, повидимому, начинаютъ совсѣмъ выдыхаться, и писатели новѣйшаго славянофильскаго оттѣнка какъ будто начинаютъ искать „добраго стараго времени" ближе, въ XVIII-мъ вѣкѣ, въ „кроткомъ" царствованіи Елисаветы, въ „мудромъ" и „славномъ" правленіи Екатерины. Словомъ, ближайшее изученіе исторіи, принявъ и переработавъ нѣкоторыя возраженія славянофильства противъ прежнихъ мнѣній, отвергаетъ, однако, самую теорію, и приводитъ къ новому взгляду, который едва ли не остается ближе къ прежнимъ взглядамъ—не славянофиловъ, а ихъ противниковъ.

Въ послѣдней цитатѣ Аксакова мы видѣли, какъ онъ понималъ возникновеніе и смыслъ самого славянофильства. Это было возрожденіе истинныхъ русскихъ началъ, исправленіе измѣны, совершонной при Петрѣ, начало новаго господства „внутренней правды". Это возрожденіе Аксаковъ представляетъ исходящимъ отъ той же Москвы, которая въ лучшую эпоху была государственнымъ и нравственнымъ центромъ Россіи.

Это объясненіе источника и начала самого славянофильства было мнѣніемъ всѣхъ послѣдователей школы, точно также, какъ предоставленіе рѣшающей роли — Москвѣ. Славянофилы давно

---

[1]) См., например, Записки Неплюева.

старались присвоить своему направленію московское происхожденіе. Имъ давно также отвѣчали, что это невѣрно, потому что въ той же Москвѣ, рядомъ съ славянофильствомъ, развивалось и противоположное направленіе, что Москвѣ наравнѣ съ Петербургомъ принадлежали лучшіе представители школы, ставившей совершенно иначе вопросъ русскаго просвѣщенія.

Это пристрастіе къ Москвѣ было понятно. Если въ старыя времена Москва была палладіумомъ истинныхъ русскихъ началъ, теоретически слѣдовало, что и теперь изъ нея должно исходить ихъ возрожденіе. Съ любовью къ Москвѣ связывается вражда къ Петербургу. Ненавистный Петербургъ есть городъ нѣмецкій, оторванный отъ настоящей Россіи и чужой для нея; это—плодъ и сѣдалище измѣны.

Но этотъ спеціально московскій патріотизмъ выдаетъ слабую сторону славянофильства. Едва ли можно сомнѣваться, что славянофильство есть нѣчто въ родѣ московскаго партикуляризма, который оно хотѣло распространить на общія основы русской жизни. Большинство славянофиловъ прежней эпохи были москвичи, обжившіеся въ Москвѣ и оберегавшіе ея достоинство отъ притязаній новой столицы. Москва дѣйствительно во многомъ не похожа на Петербургъ; тамъ цѣлы были пенаты старой русской жизни, которые продолжали привлекать народное благочестіе; жизнь и нравы были болѣе свободны, или распущенно-лѣнивы, чѣмъ въ административномъ и слишкомъ военномъ Петербургѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ первопрестольная столица во многихъ отношеніяхъ стала городомъ провинціальнымъ, и этого не могли вынести московскіе патріоты. Съ ихъ отвлеченною склонностью къ старинѣ, которой Москва оставалась во многомъ представительницей, соединилось ревнивое желаніе поддержать достоинство Москвы, которой пришлось „главой склониться“ передъ новой столицей. Оставалось отвергать всячески Петербургъ.

Не трудно видѣть, однако, что притязанія московскаго партикуляризма не имѣютъ достаточнаго основанія. Самъ Аксаковъ, вздумавши дѣлить исторію Россіи по столицамъ, нашелъ, что въ теченіе этой исторіи Россія имѣла не меньше *четырехъ* столицъ (хотя послѣднюю онъ и считалъ измѣнническою и незаконной). И эти столицы дѣйствительно имѣли свое значеніе: каждое перемѣщеніе столицы означало, что происходило извѣстное передвиженіе національнаго центра тяжести или политическаго интереса. Но странно, что Аксаковъ, объясняя, почему столица перешла изъ Кіева на сѣверъ (во Владиміръ), а потомъ болѣе на западъ (въ Москву), не могъ объяснить, почему она подвину-

лась еще на сѣверо-западъ, въ Петербургъ,—между тѣмъ какъ и для этого послѣдняго были свои причины. Правда, по природнымъ условіямъ мѣстность была неудачная,—климатъ Петербурга тяжелый и вредный; столица была поставлена на краю страны—но для новаго государства нужно было имѣть столицу ближе къ западу, для государственной защиты и цѣлей образованія; нужна была и близость къ морю для развитія несуществовавшей прежде морской силы. Эти ближайшія основанія въ свое время имѣли достаточную убѣдительность. Но перенесеніе столицы имѣло и болѣе глубокій національный смыслъ. Говорятъ, что Петръ долженъ былъ оставить Москву, которая олицетворяла собой старыя исключительныя преданія, и основать другую столицу, гдѣ бы его не останавливали воспоминанія московскаго царства. И дѣйствительно, времена этого царства проходили и для національной жизни наступалъ новый періодъ. Какъ въ прежнее время кіевскій, владимірскій и московскій періоды представляли особый оттѣнокъ жизни и, напримѣръ, въ московское время самая національность русская имѣла уже иной характеръ, чѣмъ въ кіевское и владимірское, такъ и въ „петербургскій періодъ" національное цѣлое измѣнилось. Новое громадное развитіе государства вводило новыя стихіи, начинался процессъ новой государственной и народной ассимиляціи, и въ результатѣ образовался новый національный типъ, которому странно было и невозможно навязывать исключительно московскій чеканъ. Въ петербургскій періодъ государство пріобрѣло южный край нынѣшней Россіи, юго-западныя и сѣверо-западныя русско-польскія провинціи, остзейскій край, Польшу и т. д. Въ составъ націи вступали элементы, присутствіе которыхъ не могло на немъ не отразиться; почти всѣ изъ этихъ новыхъ элементовъ естественнѣе примыкали къ Петербургу, чѣмъ примыкали бы къ Москвѣ съ прежнимъ ея исключительнымъ характеромъ: типъ собственно великорусскій, какъ типъ все-таки мѣстный, въ новомъ періодѣ переставалъ быть исключительной основой государства, и Петербургъ представлялъ собою сліяніе частныхъ народностей въ болѣе широкое національное, общерусское цѣлое.

Понятно, что исторія „петербургскаго періода", принесшая указанную перемѣну въ національномъ бытіи, не была только личнымъ дѣломъ Петра и слѣдствіемъ его произвола. Геніальная личность можетъ многое, но не все. Обвиненія Аксакова противъ Петра и „петербургскаго періода" доходятъ до ребяческаго упорства и нежеланія видѣть факты. Если Аксаковъ и другіе славянофилы съ нѣкоторою гордостью называли свое направленіе

московскимъ, то гордость ихъ была заблужденіемъ, потому что эта характеристика означала бы только односторонность школы. Чтобы быть истинно народнымъ и русскимъ, направленію не нужно было быть непремѣнно и исключительно московскимъ; напротивъ, въ истинно народномъ направленіи московскій элементъ могъ и долженъ былъ войти только какъ одна изъ его составныхъ частей: это былъ старый *мѣстный* элементъ, историческая роль котораго была уже исполнена, и въ новой исторіи русской національности онъ могъ занять только относительное мѣсто [1]).

Въ томъ литературномъ періодѣ еще не успѣли высказаться послѣдствія этой московской односторонности. Но въ новѣйшее время, когда представилось больше случаевъ примѣненія теоріи къ дѣйствительной жизни, односторонность не замедлила обнаружиться: таково было недружелюбное отношеніе „московскаго" направленія къ украинофильству, т.-е. движенію, имѣвшему такой же народный смыслъ, только не московскій (между тѣмъ прежде оно относилось къ нему благодушнѣе). Печальнымъ образомъ славянофильству пришлось говорить въ одинъ голосъ съ „Моск. Вѣдомостями". А что такое были „Моск. Вѣдомости" это извѣстно [2])... Произошли недоразумѣнія и въ отношеніяхъ къ славянству: оказалось, что послѣднее понимало свои связи съ русскимъ народомъ не совсѣмъ такъ, какъ хотѣли бы московскіе славянофилы; оно вовсе не думало, что его, славянская, народность можетъ спастись только обращаясь въ московскую народность... Оказались недоразумѣнія и въ толкованіи внутреннихъ вопросовъ. Древне-московская окраска славянофильскихъ мнѣній, самыхъ народо-любивыхъ и свободо-любивыхъ, дѣлала то, что этимъ мнѣніямъ все-таки нельзя было сочувствовать вполнѣ: въ нихъ оставались черты, не только ослаблявшія ихъ дѣйствіе, но и вредившія самой ихъ сущности...

[1]) Аксаковъ утверждаетъ, что въ новѣйшемъ (которое онъ считаетъ славянофильскимъ) возрожденіи русской мысли *вся* дѣятельность идетъ въ Москвѣ и изъ Москвы. Напротивъ, съ XVIII-го вѣка и до сей минуты лучшіе дѣятели русской мысли являлись положительно изъ всѣхъ концовъ Россіи, а многіе изъ нихъ не имѣли никогда ни малѣйшаго отношенія собственно къ Москвѣ: Ломоносовъ, Державинъ, Крыловъ, Кольцовъ, Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ гораздо больше связаны съ Петербургомъ, и т. д.

[2]) Это отмѣчали мы въ началѣ 1870-хъ годовъ и то же повторилось въ половинѣ 80-хъ.

Какая же была программа, по которой славянофилы располагали примѣнять свои начала?

До сихъ поръ мы имѣли дѣло почти только съ теоретическими положеніями. Славянофильство, разсматривая современное состояніе просвѣщенія и изучая русскую древность, приходило къ убѣжденію о противоположности или чрезвычайномъ различіи началъ быта и просвѣщенія на Востокѣ и на Западѣ, и о необходимости для Россіи возвратиться къ истиннымъ началамъ ея древняго просвѣщенія. Этотъ теоретическій и историческій выводъ былъ существеннымъ результатомъ славянофильской дѣятельности въ описываемомъ періодѣ. Затѣмъ славянофилы не успѣли или не могли развить подробностей своего взгляда въ практическихъ примѣненіяхъ. Такимъ образомъ болѣе ясная программа ихъ мнѣній опредѣляется только впослѣдствіи, и мы приведемъ лишь нѣсколько примѣровъ ихъ общественно-практическихъ мнѣній.

Какъ скоро рѣшена была необходимость возвращенія къ старымъ русскимъ началамъ, являлся вопросъ: какимъ образомъ можетъ быть совершено это возвращеніе? Славянофилы отвѣчали на этотъ вопросъ болѣе или менѣе сходно, хотя неопредѣленно. Кирѣевскій чувствовалъ трудность вопроса, и не одинъ разъ къ нему возвращался. Въ своей статьѣ 1845 года онъ разбираетъ два существовавшія мнѣнія о томъ, какъ можетъ быть доставлена зрѣлость и значительность нашей литературѣ, или вообще нашей образованности. Одни думали, говоритъ онъ, что „полнѣйшее усвоеніе иноземной образованности можетъ со временемъ пересоздать всего русскаго человѣка, какъ оно пересоздало нѣкоторыхъ пишущихъ и не-пишущихъ литераторовъ (?)“, что „развитіе нѣкоторыхъ основныхъ началъ должно измѣнить нашъ коренной образъ мыслей, переиначить наши нравы, наши обычаи, наши убѣжденія, *изгладить нашу особенность* (?) и такимъ образомъ сдѣлать насъ европейски-просвѣщенными“. Предполагается, что таково было мнѣніе западной партіи. „Стоитъ ли опровергать такое мнѣніе?“ спрашиваетъ Кирѣевскій, и возражаетъ, что особенность умственной жизни народа уничтожить невозможно, какъ невозможно и замѣнить литературными понятіями коренныя убѣжденія народа,—или, еслибъ это было возможно, это означало бы уничтоженіе самаго народа. Притомъ, „мысль, вмѣсто началъ нашей образованности ввести у насъ начала образованности европейской, уже и потому уничтожаетъ сама себя, что въ конечномъ развитіи просвѣщенія европейскаго *нѣтъ начала господствующаго*. Одно противорѣчитъ другому, взаимно уничто-

жаясь“. Если есть въ западной образованности нѣсколько живыхъ истинъ, то эти истины не европейскія, потому что онѣ противорѣчатъ всѣмъ результатамъ европейской образованности,—это сохранившіеся остатки христіанскихъ истинъ, и потому принадлежатъ болѣе *намъ*, чѣмъ Западу, потому что мы приняли христіанство въ его *чистѣйшемъ видѣ*. Поклонники Запада, можетъ быть, и не подозрѣваютъ этихъ нашихъ началъ, смѣшивая въ нашемъ просвѣщеніи существенное съ случайнымъ, собственное съ искаженіями чужихъ вліяній: татарскихъ, польскихъ, нѣмецкихъ и проч. Наконецъ, европейскія начала, привитыя къ нашей жизни, способны произвести на этой чуждой имъ почвѣ только жалкую каррикатуру просвѣщенія: это было бы послѣднее дѣло. Кирѣевскій указываетъ затѣмъ другое мнѣніе, противоположное безотчетному поклоненію передъ Западомъ и столь же одностороннее, хотя гораздо меньше распространенное: оно состоитъ въ безотчетномъ поклоненіи прошедшимъ формамъ нашей старины, и въ той мысли, что европейское просвѣщеніе когда-нибудь изгладится изъ нашей памяти развитіемъ нашей особенной образованности. Это послѣднее мнѣніе Кирѣевскій находитъ болѣе логическимъ потому, что оно основывается на уваженіи къ нашей старинной образованности, на сознаніи ея противорѣчія съ западнымъ просвѣщеніемъ и несостоятельности этого послѣдняго. Тѣмъ не менѣе Кирѣевскій не соглашается и съ этимъ вторымъ мнѣніемъ; потому, говоритъ онъ, что прошедшія формы нашей образованности были все-таки частныя, преходящія формы, а слѣдовательно больше невозвратимы; далѣе потому, что мы уже не можемъ забыть разъ пріобрѣтенной западной образованности, и еслибъ забыли, то когда-нибудь должны были бы возвратиться къ ней еще разъ, и наконецъ потому, что это мнѣніе „отрѣзываетъ насъ отъ всякаго участія въ общемъ дѣлѣ умственнаго бытія человѣка“, такъ какъ западная образованность все-таки наслѣдовала всѣ плоды прежней умственной жизни человѣчества. Собственный взглядъ Кирѣевскаго заключается въ томъ, что мы, не отвергая результатовъ западнаго просвѣщенія, должны *подчинять* его истинному началу нашей жизни. Онъ объясняетъ это такъ: „Если европейское просвѣщеніе въ самомъ дѣлѣ ложное, если дѣйствительно противорѣчитъ началу истинной образованности, то начало это, какъ истинное, должно не оставлять этого противорѣчія въ умѣ человѣка, а напротивъ, принять его въ себя, оцѣнить, поставить въ свои границы, и подчинивъ такимъ образомъ собственному превосходству, сообщить ему свой истинный смыслъ. Предполагаемая ложность этого просвѣщенія нисколько

не противорѣчитъ возможности его подчиненія истинѣ". Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Одинъ изъ самыхъ прямыхъ путей къ уничтоженію вреда отъ образованности иноземной, противорѣчащей духу просвѣщенія христіанскаго, былъ бы, конечно, тотъ, чтобы *развитіемъ законовъ самобытнаго мышленія подчинить* весь смыслъ западной образованности господству православно-христіанскаго убѣжденія" [1]).

Такъ характеризуетъ Кирѣевскій положеніе вопроса въ нашей литературѣ. Насколько вѣрно опредѣлялъ онъ существующія мнѣнія? Первое очевидно должно представлять (мнимый) взглядъ тогдашнихъ „западниковъ", второе—мнѣніе „Маяка". Это послѣднее онъ находитъ „болѣе логическимъ"—потому что Кирѣевскаго соединяло съ „Маякомъ" общее уваженіе къ старинѣ и убѣжденіе въ ложности западнаго просвѣщенія. Но надо припомнить себѣ мнѣнія этого полудикаго журнала,—который въ своемъ „логическомъ" уваженіи къ старинѣ дошелъ до того, что буквально пропагандировалъ вѣру въ вѣдьмъ и домовыхъ, — чтобы подивиться, какъ могъ Кирѣевскій говорить о немъ серьезно. Мнѣнія „западниковъ" переданы не совсѣмъ вѣрно, — потому что едвали кто-нибудь изъ нихъ говорилъ, будто „развитіе нѣкоторыхъ основныхъ началъ" должно изгладить нашу особенность". Не можемъ припомнить, чтобы кто-нибудь высказывалъ столь рѣшительную мысль,—хотя, конечно, многіе говорили, что образованіе должно измѣнить многое въ нашихъ понятіяхъ, въ нашихъ нравахъ и обычаяхъ,—именно то, что исходитъ изъ недостатка образованія, въ родѣ, напр., господствующаго донынѣ множества суевѣрій, не индифферентныхъ, но часто положительно вредныхъ, грубыхъ обычаевъ, и т. п., существующихъ даже въ тѣхъ классахъ, которые по матеріальному положенію могли бы имѣть средства къ образованію и смягченію нравовъ. Если западники говорили о пріобрѣтеніи идей и стремленій „общечеловѣческихъ", то, конечно, никто изъ нихъ не думалъ, что это должно „изгладить нашу особенность". Славянофилы вообще нерѣдко преувеличивали мнѣнія своихъ противниковъ, къ выгодамъ своей полемики, которая потомъ и гордилась опроверженіемъ заблужденій, — въ которыхъ обличаемые противники иногда вовсе не были виноваты.

Понятно, что мнѣніе Кирѣевскаго о русской литературѣ было невысокое. „Произведенія нашей словесности, — говоритъ онъ,—какъ отраженія европейскихъ, не могутъ имѣть интереса

[1]) Сочин. Кирѣевскаго, т. II, стр. 35—39, 331.

для другихъ народовъ, кромѣ интереса статистическаго, какъ показанія мѣры нашихъ ученическихъ успѣховъ въ изученіи ихъ образцовъ. Для насъ самихъ они любопытны какъ дополненіе, какъ объясненіе, какъ усвоеніе чужихъ явленій; но и для насъ самихъ, при всеобщемъ распространеніи знанія иностранныхъ языковъ, наши подражанія остаются всегда нѣсколько ниже и слабѣе своихъ подлинниковъ". Наши подражательныя упражненія почти даже вредны,—потому что, оставаясь безплодны для просвѣщенія общечеловѣческаго, „отдѣляютъ насъ отъ внутренняго источника отечественнаго просвѣщенія". Онъ дѣлаетъ впрочемъ исключеніе—для сильныхъ талантовъ: „Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Гоголь, хотя бы слѣдовали чужому вліянію, хотя бы пролагали свой особенный путь, всегда будутъ дѣйствовать сильно, могуществомъ своего личнаго дарованія, независимо отъ избраннаго ими направленія" [1]).

Невысокое мнѣніе о русской литературѣ было справедливо вообще, потому что она была дѣйствительно бѣдна. Таково было давно и мнѣніе противной стороны (Бѣлинскаго „Литературныя мечтанія", 1834), но послѣдняя отдавала себѣ болѣе вѣрный отчетъ о причинахъ бѣдности литературы, какъ и о томъ, что въ ней было своего и замѣчательнаго. Дѣйствительно, русская литература, въ наибольшей долѣ, состояла изъ ученическихъ упражненій, но нѣсколько поколѣній ученичества были для нея необходимой школой, чтобы ознакомиться, хотя въ общихъ чертахъ, съ содержаніемъ далеко опередившихъ ее европейскихъ литературъ. Необходимость школы не подлежитъ сомнѣнію. Вопросъ въ томъ, насколько эта школа была успѣшна, оставалась ли литература на одномъ мѣстѣ или все-таки двигалась впередъ? Безпристрастная критика показываетъ, что движеніе было, что въ данныхъ условіяхъ оно было правильное и здоровое, какъ и свидѣтельствовалъ результатъ,—въ концѣ движенія явились писатели какъ Пушкинъ и особенно Гоголь. Въ періодъ самаго сильнаго подражанія, въ чужихъ формахъ, сказывалось однако и чисто-русское содержаніе, и въ немъ все больше созрѣвала національная, самостоятельная мысль; — присутствія ея славянофилы не замѣчали, потому что допускали національность только въ своемъ исключительномъ толкованіи. Кантемиръ, Ломоносовъ, Державинъ, фонъ-Визинъ, Озеровъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Кольцовъ, Гоголь въ этомъ рядѣ писателей только упрямое пристрастіе не захочетъ видѣть постепеннаго развитія обществен-

[1]) Стр. 33.

ныхъ понятій и національнаго сознанія. Наконецъ, передъ Гоголемъ преклонились и сами славянофилы.

Итакъ, Кирѣевскій полагалъ, что для возвращенія и водворенія истинной образованности мы должны *подчинить* европейское просвѣщеніе древнимъ началамъ нашей жизни, истинному греко-славянскому духу. Его мысль раздѣляли и другіе послѣдователи школы.

Въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1847 года Константинъ Аксаковъ помѣстилъ (подъ псевдонимомъ „Имрекъ“) нѣсколько критическихъ статей, предметомъ которыхъ послужили разныя произведенія „петербургской“ литературы.

Приступая къ разбору повѣсти кн. Одоевскаго „Сиротинка“, Аксаковъ замѣчаетъ: „Всегда съ невольнымъ горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ снисходительно заговоритъ о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненной великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ предъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимися. Писатель не трудится надъ тѣмъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стòитъ только снизойти написать о немъ. Противно видѣть, когда онъ, для вѣрнѣйшаго изображенія, прибѣгаетъ къ народному будто бы оттѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха черезъ переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая подделка, особенно когда пишутъ для народа, оскорбительна. Въ такомъ родѣ и повѣсть кн. Одоевскаго“... [1]). Эта повѣсть, описывающая, какъ сирота Настя, взятая барыней изъ деревни и получившая образованіе въ столичномъ „пріютѣ“, возвращается въ деревню и распространяетъ въ ней цивилизацію,—дѣйствительно въ такомъ родѣ, и Аксаковъ вѣрно выставляетъ всю фальшивость того отношенія къ народу, которое обнаруживаетъ здѣсь кн. Одоевскій. Конецъ, какъ и начало разбора, опять приходитъ къ славянофильской темѣ: „Сколько людей, именно въ наше время, именно въ нашей землѣ, такихъ, которые оторвались отъ народа, отъ естественной тяжести союза съ нимъ, умѣряющей и утверждающей шаги человѣка, дающей ему дѣйствительность, и пошли

[1]) „Моск. Сборн.“. Крит., стр. 1.

летать и носиться, полные гордости и снисхожденія, — такихъ людей, которые, будучи одѣты въ европейское платье и заглянувъ въ европейскія книги, выучившись болтать на чужомъ языкѣ и приходить, какъ слѣдуетъ, въ заемный восторгъ отъ итальянской оперы, подходятъ съ указкою къ бѣдному необразованному народу и хотятъ чертить путь его народной и внутренней и внѣшней жизни. Хотя бы они поглотили въ самомъ дѣлѣ всю европейскую мудрость, но если они оторваны отъ народа и хотятъ оставаться въ этой оторванности, въ этомъ попугайномъ развитіи, если они свысока смотрятъ на него, — они ничтожны".

По поводу поэмы г. Майкова „Двѣ судьбы", Аксаковъ такъ объясняетъ страшную апатію, господствующую въ образованномъ русскомъ обществѣ, и на которую жалуется герой поэмы. „Что въ нашемъ поколѣніи есть апатія — это правда; но понятна тому причина. Такою апатіею и бѣдностію, такимъ жалкимъ эгоизмомъ — съ одной стороны животнымъ и безчувственнымъ, съ другой — идеальнымъ, сухимъ, иногда даже довольнымъ красивою своею позою, иногда, у болѣе живыхъ людей, возмущаемымъ чрезъ сомнѣніе, вопросъ, желаніе чего-то лучшаго, — этою апатіею и эгоизмомъ казнятся люди русскіе за презрѣніе къ народной жизни, за оторванность отъ русской земли, за аристократическую гордость просвѣщенія, за исключительность присвоеннаго права называть себя настоящимъ и отодвигать въ прошедшее всю остальную Русь. Спѣсивое невѣжество противополагаютъ они всей древней, всей остальной, и прежней, и нынѣшней Руси, — гордость учениковъ, ставящихъ себя, въ свою очередь, въ учители. Мы похожи на растенія, обнажившія отъ почвы свои корни: мы сохнемъ и вянемъ. Но насъ спасаетъ глубокая сущность русскаго народа, — тотъ виноватъ самъ, кто не обратился къ ней"... [1]).

[1]) Тамъ же, стр. 40—41. Эти взгляды Аксакова повторяетъ Костомаровъ (въ брошюрѣ объ Аксаковѣ, стр. 4—6), объясняя, что реформа, собственно говоря, произвела у насъ двѣ народности: одна была старая, другая новая — „народность Евгенія Онѣгина", оторванная отъ народа съ своимъ легкимъ, пустымъ и безплоднымъ образованіемъ. „Извѣстно, до чего доживается наконецъ Евгеній Онѣгинъ, — говоритъ Костомаровъ. Убійственная тоска, доходящая почти до сумасшествія, снѣдаетъ его; еще юный, здоровый, полный силъ, неудовлетворенной жажды дѣятельности, безъ сознанія путей, куда бы можно обратить эту дѣятельность, Онѣгинъ завидуетъ тульскому засѣдателю, страдающему параличемъ. Почти до такого же состоянія дошла и русская мысль (?), и съ нею русская наука. И хотѣла-было она обратиться къ покинутой, отвергнутой, презрѣнной старой народности, когда западные учители позволили ей уважать то, что сдѣлалось достояніемъ черни; да не давалась ей эта народность, какъ отвергнутая Татьяна Онѣгину, когда, презрѣвши деревенскую дѣвушку, онъ началъ на нее глядѣть иными глазами, коль скоро другіе стали уважать въ ней знатную барыню".

Положеніе нашей образованности, вообще довольно печальное по его внѣшнимъ условіямъ, было бы дѣйствительно еще печальнѣе, еслибы оно было таково, какъ описываетъ К. Аксаковъ, т.-е. еслибы къ его внѣшнимъ тягостямъ присоединился еще тяжкій грѣхъ такого полнаго забвенія о народѣ и непониманія его. Къ счастію, это было не совсѣмъ такъ, и обвиненіе, бросаемое славянофилами, справедливое относительно однѣхъ сторонъ этой образованности, глубоко несправедливо относительно другихъ. Жизнь и литература со временъ Петра представляли въ „образованномъ“ обществѣ нѣсколько различныхъ теченій,—смѣшивать которыя было бы противно элементарнымъ требованіямъ исторической справедливости. Были дѣйствительно и есть до сихъ поръ люди, къ которымъ приложимы обвиненія Аксакова, люди, оторвавшіеся отъ народа, относившіеся къ нему съ пренебреженіемъ, люди, нахватавшіе вершковъ познаній и внѣшняго лоска европейской моды, и нравственно ничтожные. Это было въ особенности--почти исключительно—богатое барство, избалованное, лѣнивое, испорченное, чуждое и народу, и общественному интересу. Но и въ средѣ этого барства были люди, которымъ, вѣроятно, и славянофильская нетерпимость не откажетъ въ заслугахъ національному нравственному интересу,—люди, задававшіе себѣ вопросы о томъ просвѣщеніи, благодаря которому только и могла возникнуть самая мысль объ обращеніи къ народу и благодаря которому явились первыя средства историческаго изученія (назовемъ хоть Шувалова, Бецкаго, Румянцова и т. д.). Мы упоминали выше, что въ настоящее время историки, съ славянофильскимъ оттѣнкомъ, начинаютъ все больше отыскивать въ XVIII-мъ столѣтіи „русскихъ людей“, именно въ той средѣ „петербургскаго періода“, которую поголовно осуждалъ Аксаковъ. Дѣйствительно, отрываясь отъ народа своимъ образованіемъ, бытомъ и нравами, люди этой среды умѣли однако понимать другіе національные интересы, напр., интересы политики и просвѣщенія, и имъ, между прочимъ, принадлежитъ своя заслуга въ дѣлѣ внѣшняго усиленія государства и введенія науки. И если въ этой, самой отдаленной отъ народа, избалованной и эгоистической средѣ „петербургскаго періода“ была возможность подобныхъ явленій, то надобно думать, что вина оторванности отъ народа лежала не въ однихъ условіяхъ образованности, а въ обстоятельствахъ иного рода, и болѣе сложныхъ... Но внѣ этого испорченнаго слоя, между людьми, практически связанными съ народомъ и въ литературѣ, странно не видѣть той связи съ народомъ, которую такъ рѣшительно отвергаютъ славянофилы. Въ среднемъ образованномъ

классѣ и даже въ высшемъ старые нравы были гораздо сильнѣе, чѣмъ думалъ Аксаковъ; мы убѣждаемся въ этомъ постоянно, перечитывая записки людей XVIII-го вѣка; эти нравы были сильны даже въ началѣ нынѣшняго столѣтія... Не видѣть связи съ народомъ въ литературѣ также было бы совершенно ошибочно: неужели былъ чуждъ интересамъ народа Ломоносовъ, Новиковъ, Радищевъ въ XVIII-мъ столѣтіи? Писатели, еще съ этого вѣка начавшіе говорить о свободѣ и облегченіи для народа, умѣвшіе говорить народнымъ языкомъ; люди нашего столѣтія,—положимъ, мечтатели, но стремившіеся къ тому же освобожденію,—только съ крайней несправедливостью могутъ быть названы чуждыми народу и отнесенными въ категорію „народности Евгенія Онѣгина". Должно замѣтить притомъ, что Онѣгинъ, котораго такъ часто принимаютъ за типъ своего поколѣнія, на дѣлѣ вовсе не есть полный характеръ въ этомъ смыслѣ; если современники высказывали такое мнѣніе объ Онѣгинѣ, то они дополняли въ своемъ воображеніи черты, недосказанныя писателемъ, объясняя разочарованіе и всеобщее сомнѣніе Онѣгина тѣмъ подавленнымъ состояніемъ общества, которое живо чувствовалось лучшими людьми. Вообще Онѣгина понимали серьезнѣе и глубже, чѣмъ сколько слѣдовало изъ его изображенія у Пушкина [1]). Если рядомъ съ Онѣгинымъ поставить Чацкаго, то это одно объяснитъ, что содержаніе разочарованности было въ обществѣ гораздо серьезнѣе, чѣмъ сколько успѣлъ выразить Пушкинъ въ своемъ героѣ. Взятый какъ онъ есть, Онѣгинъ въ самомъ дѣлѣ даетъ невысокое понятіе о представляемомъ имъ поколѣніи, и если онъ совершенно вѣренъ, какъ частный типъ, то не все поколѣніе было таково: обратившись къ двадцатымъ годамъ, о которыхъ здѣсь должна идти рѣчь, мы найдемъ цѣлый кругъ людей, которыхъ несправедливо обвинить въ мелкомъ балованномъ разочарованіи и которыхъ, напротивъ, отличалъ искренній, благородный, хотя и мечтательный энтузіазмъ. Что же было въ основѣ этого энтузіазма, какъ не чувство народнаго блага и освобожденія?

Правда, въ сравненіи съ массой общества этотъ кругъ былъ не великъ; но это вовсе не причина забывать его въ исторіи общества, потому что онъ оставилъ за собой нравственное вліяніе. Къ сожалѣнію, и до сихъ поръ, говоря о лучшихъ стремленіяхъ общества, мы должны понимать кругъ людей, все еще весьма не обширный: самая масса не страдала ни онѣгинскимъ, ни какимъ другимъ разочарованіемъ.

---

[1]) Извѣстны продолжительныя хлопоты нашей эстетической критики съ объясненіемъ этого „типа".

Истинная причина разочарованія, — въ которомъ Аксаковъ видѣлъ казнь за оторванность отъ народа, — состояла вовсе не въ оторванности, а въ томъ, что для лучшихъ людей, горячо желавшихъ служить общественному благу, въ данныхъ условіяхъ не представлялось никакой возможности осуществить своего желанія. Это желаніе внушалось естественнымъ патріотическимъ чувствомъ, подъ вліяніемъ идей, развитыхъ европейскимъ образованіемъ, и причина разочарованія лежала именно въ сознаніи, что достиженіе цѣли невозможно, и отсюда слѣдовалъ разрывъ не съ народомъ, а съ существующими формами общественнаго быта и выросшими изъ нихъ нравами, съ бюрократическимъ и другимъ гнетомъ, которые не давали никакого исхода этимъ зарождавшимся стремленіямъ. Такъ (если ограничиться однимъ, довольно простымъ и яснымъ примѣромъ), давнишней цѣлью, къ которой стремилась мыслящая часть общества, было освобожденіе крестьянъ. Самая идея, истекавшая изъ желанія народнаго блага и чувства человѣческаго достоинства, развивалась, безъ сомнѣнія, подъ сильнымъ вліяніемъ освободительной философіи прошлаго столѣтія; эта идея не свидѣтельствовала о нравственной оторванности отъ народа, но въ концѣ концовъ легко могла привести къ разочарованію и апатіи, потому что до самаго нашего времени служеніе этой идеѣ было невозможно. И гдѣ же были препятствія къ этому? Конечно, въ учрежденіяхъ и созданныхъ ими нравахъ: съ ними и разрываетъ та часть общественнаго мнѣнія, которая представляла прогрессивное развитіе.

Приведенный примѣръ есть только одинъ частный случай изъ цѣлаго ряда подобныхъ противорѣчій. Это столкновеніе понятій, принесенныхъ тѣмъ развитіемъ нашей образованности, съ данными формами жизни, и составляло причину разлада, наполнявшаго существованіе Онѣгиныхъ (въ указанномъ выше смыслѣ), Чацкихъ, „лишнихъ людей“ и т. д. Въ этомъ смыслѣ разочарованіе было бы возможно для самого славянофила, если бы онъ сильнѣе почувствовалъ невозможность открытой дѣятельности въ смыслѣ своихъ идей...

Упомянутые люди не задавались и не утѣшались мистическими теоріями о народѣ и, чувствуя, что ихъ собственныя идеи были дѣломъ образованности, думали, что какъ для высшихъ, такъ и для низшихъ классовъ есть одинаковые общіе интересы — извѣстное общественное освобожденіе и образованіе. Не принимая на себя рѣшать судьбы человѣчества „русскими началами“, они думали, что образованіе, состоящее въ усвоеніи научныхъ результатовъ, не только не можетъ стоять въ противорѣчіи съ

народной сущностью, но что оно даже необходимо для того, чтобы эта сущность могла должнымъ образомъ опредѣлиться.

Самому критику „Московскаго Сборника“ случилось встрѣтить и признать явленіе, которое очень не подходило подъ его теорію. Въ обличеніяхъ петербургской литературы, Аксаковъ язвительно нападалъ на Тургенева за его первыя стихотворныя пьесы и ставилъ его въ рядъ „пошлыхъ“ (буквально) „петербургскихъ литераторовъ“. Но въ то самое время, когда Аксаковъ печаталъ свои приговоры, явился „Хорь и Калинычъ“, первый изъ „Разсказовъ Охотника“. Аксаковъ замѣтилъ „превосходный“ разсказъ и оговорилъ его въ особомъ примѣчаніи: „Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила!.. онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и присмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ“, и пр. [1]). Спрашивается, какъ могло совершиться подобное превращеніе, откуда могло явиться это сочувствіе къ народу у „петербургскаго литератора“, совсѣмъ отпѣтаго? Первыя пьесы Тургенева могли быть плохи, но, сколько извѣстно, въ промежутокъ между ними и „Записками Охотника“ съ авторомъ не произошло никакого превращенія,—онъ оставался и тогда, и послѣ, человѣкомъ того же круга, того же направленія, по мнѣнію Аксакова, совершенно пустого, оторваннаго отъ народа: какимъ же образомъ именно въ средѣ этого оторваннаго направленія могло явиться произведеніе, приведшее въ такой восторгъ славянофильскаго критика? Понятно, что одно „прикосновеніе къ народу“ не могло дать таланта (оно никакъ не дало его многимъ, и въ томъ числѣ славянофильскимъ, писателямъ и поэтамъ, хватавшимся за народъ): человѣкъ пустой или съ превратными идеями, обращаясь къ народу, конечно, и здѣсь обнаружилъ бы свою пустоту—какъ славянофильскій критикъ показывалъ это на авторѣ „Сиротинки“. Остается думать, что Аксаковъ чего-то не усмотрѣлъ въ осуждаемомъ имъ направленіи, что за отдѣльными недостатками его писателей не видѣлъ его настоящихъ понятій. Критику трудно было сознаться, что возможность уразумѣнія и вѣрнаго изображенія народной жизни существуетъ и внѣ славянофильской школы, въ томъ самомъ направленіи, которое казалось ему безнадежно ложнымъ, вреднымъ, отступническимъ...

[1]) „Моск. Сборникъ“, 1847. Крит., стр. 38—39.

Литературныя мнѣнія Хомякова въ сущности сходны съ тѣмъ, что мы видимъ у Кирѣевскаго и Аксакова; онъ настаиваетъ на тѣхъ же темахъ, это — ложность господствующихъ литературно-общественныхъ взглядовъ, безсиліе нашего просвѣщенія, оторваннаго отъ народа, необходимость народной точки зрѣнія. Было бы слишкомъ длинно собирать въ одно цѣлое эти мнѣнія, разбросанныя въ различныхъ статьяхъ Хомякова, печатанныхъ въ „Москвитянинѣ", „Московскихъ Сборникахъ", потомъ въ „Бесѣдѣ" и др. Хомяковъ [1]) постоянно возвращается къ одной темѣ, съ новыми подробностями, съ различныхъ сторонъ; избѣгая положительнаго, догматическаго изложенія (кромѣ его теологическихъ статей), касается всевозможныхъ частностей, бросаетъ мысли, задаетъ вопросы и т. д. Мнѣнія Хомякова были въ особенности парадоксальны, и иногда онъ ставилъ въ затрудненіе самую школу,— какъ напр., въ своихъ возраженіяхъ на мнѣнія Кирѣевскаго о древней Руси.

Хомяковъ вообще обвиняетъ нашу образованность въ недостаткѣ національнаго сознанія, безъ котораго она и не имѣетъ силы. Западная образованность, перешедши къ намъ, отторгалась отъ жизни, которая ее произвела, и съ другой стороны не имѣла корней у насъ. „Въ такомъ-то видѣ представлялось до сихъ поръ у насъ просвѣщеніе и общество, принявшее его въ себя; оба носили на себѣ какой-то характеръ колоніальный, характеръ безжизненнаго сиротства, въ которомъ всѣ лучшія требованія души невольно уступаютъ мѣсто эгоистическому самодовольству и эгоистической разсчетливости". Наше отношеніе къ Европѣ есть робкое поклоненіе; мы „добродушно признаемъ просвѣщеніемъ всякое явленіе западнаго міра, всякую новую систему и оттѣнокъ системы, всякій плодъ досуга нѣмецкихъ философовъ и французскихъ портныхъ" (!), не осмѣливаемся даже робко спросить у Запада: все ли то правда, что̀ онъ говоритъ, и все ли прекрасно, что̀ онъ дѣлаетъ? Мнѣніе иностранцевъ о Россіи опре-

[1]) Одинъ современникъ, давно знавшій Хомякова, отдавая должную похвалу его благородному и кроткому характеру, замѣчаетъ: „Хомяковъ былъ неумолимый (вѣроятно, неутомимый) спорщикъ, какихъ трудно найти. Не было предмета, о чемъ бы не вступалъ онъ въ словопреніе и, при необыкновенной памяти, будучи чрезвычайно начитанъ, всегда имѣлъ верхъ во всякомъ спорѣ (авторъ разсказываетъ о временахъ турецкой войны, 1828 г., когда Хомяковъ служилъ въ военной службѣ, гусаромъ, и когда они встрѣчались въ обществѣ военныхъ). Такъ велико было его искусство въ діалектикѣ, что одинъ и тотъ же предметъ могъ онъ защищать съ двухъ противуположныхъ сторонъ, и бѣлое дѣлалось у него чернымъ, а черное бѣлымъ"... (Знакомство съ русскими поэтами. Кіевъ, 1871, стр. 15).

дѣляется именно собственнымъ нашимъ преклоненіемъ передъ нами: „Наша сила внушаетъ зависть; собственное признаніе въ нашемъ духовномъ и умственномъ безсиліи лишаетъ насъ уваженія,—вотъ причина всѣхъ отзывовъ Запада о насъ".

Эти и подобныя разсужденія славянофиловъ вообще сильно преувеличены. Они могутъ быть вѣрны развѣ только относительно упомянутой части высшаго барства, которая, получая французское воспитаніе и пользуясь большими готовыми доходами, дѣйствительно отрывалась отъ народа и поклонялась французскимъ портнымъ. Но противъ этихъ людей напрасно было тратить аргументы. Въ остальной части общества поклоненіе Западу едва ли имѣло такіе размѣры, тѣмъ болѣе, что громадное большинство издавна и до сихъ поръ состояло изъ людей, „нѣсколько беззаботныхъ на счетъ литературы". Но что въ людяхъ, болѣе заботившихся о литературѣ, западная образованность, научная и практическая, поселяла къ себѣ уваженіе, это было вполнѣ понятно, и смотрѣть на нее свысока едва ли прилично было бы людямъ, или народу, которые еще не успѣли сколько-нибудь съ нею сравняться. Для иностранцевъ „собственное признаніе" наше было бы, пожалуй, не нужно: и безъ него можно было судить о нашихъ духовныхъ и умственныхъ силахъ. Причина отзывовъ Запада о насъ заключалась, конечно, въ томъ, что онъ (въ одну эпоху) опасался нашей силы, его тѣснившей, и въ то же время видѣлъ у насъ только ограниченную степень образованія; но было еще обстоятельство, не внушавшее къ намъ уваженія: Западъ видѣлъ въ насъ также общество, мало развитое въ гражданскомъ отношеніи... Что касается „колоніальнаго" характера нашей образованности, то вся исторія человѣческой цивилизаціи указываетъ рядъ заимствованій одними народами у другихъ, а съ другой стороны общія основы науки вовсе не принадлежатъ какому-нибудь одному народу въ частности.

Славянофиламъ казалось, что стоитъ нашему обществу, „пишущимъ и не-пишущимъ литераторамъ", принять излагаемыя ими народныя начала, и все будетъ пріобрѣтено, и самостоятельная мысль, и роль въ человѣчествѣ, и уваженіе иностранцевъ, и т. д. Скоро сказка сказывается, но умственная самостоятельность достигается не такъ легко: чтобы стать независимо отъ западной цивилизаціи и выше ея, чтобы „подчинить западное просвѣщеніе нашимъ началамъ",—какъ требовалъ Кирѣевскій,—нужно сначала пріобрѣсти необходимую силу, воспринять и переработать содержаніе западнаго просвѣщенія, придать ему собственные вклады. Почеркомъ пера нельзя раздѣлаться съ многовѣковымъ разви-

тіемъ, никакой, самый благородный патріотическій энтузіазмъ не замѣнитъ умственной работы; легко сказать — „подчинить" западное просвѣщеніе, — но если оно не захочетъ подчиниться? Сила чувства заставляла славянофиловъ думать, что это возможно, что они сами въ силахъ совершить эту задачу, — но на дѣлѣ этого не оказалось...

Хомяковъ, вѣроятно, наиболѣе самонадѣянный изъ славянофильскихъ писателей, думалъ, что уже настоящее время (сороковые года) должно бы быть временемъ нашей самобытности. Онъ даже указываетъ задачи науки, которыя мы могли бы рѣшить лучше другихъ народовъ, — напримѣръ, въ исторіи. Историкъ всегда зависитъ отъ самой жизни народа, которому принадлежитъ; оттого въ понятіяхъ національнаго историка является необходимая односторонность, какъ слѣдствіе особеннаго склада національныхъ воззрѣній. Сдѣланное однимъ народомъ дополняется и улучшается другимъ, и мы въ особенности могли и должны были пополнить труды нашихъ европейскихъ братьевъ: „намъ возможнѣе даже, чѣмъ западнымъ писателямъ (по крайней мѣрѣ, по части историческихъ наукъ), обобщеніе вопросовъ, выводы изъ частныхъ изслѣдованій и живое пониманіе минувшихъ событій". По мы, по умственной лѣни и непониманію нашей собственной національной высоты, до сихъ поръ еще не уразумѣли этой своей задачи. И Хомяковъ приводитъ образчики вопросовъ и ихъ рѣшенія, которое могло бы быть нами сдѣлано. „Я не скажу, разрѣшили ли мы, но подняли ли хоть одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которыми полна судьба человѣчества? Догадались ли мы, что до сихъ поръ исторія не представляетъ ничего кромѣ хаоса происшествій, связанныхъ кое-какъ на живую нитку непонятною случайностью? Поняли ли мы, или хоть намекнули, что такое народъ — единственный и постоянный дѣйствователь исторіи... Самыя важныя явленія въ жизни человѣчества и великихъ народовъ, управлявшихъ его судьбами, остались незамѣченными. *Такъ*, напр., критика историческая не замѣтила, что при переходѣ просвѣщенія съ Востока на Западъ, не все было чистымъ барышомъ, и что, несмотря на великія усовершенствованія въ художествѣ, въ наукѣ и въ народномъ бытѣ — многое утратилось, или обмелѣло въ мысляхъ и познаніяхъ человѣческихъ, особенно при переходѣ изъ Эллады въ Римъ и отъ Рима къ романизированнымъ племенамъ Запада. Такъ, не обратили еще вниманія на разноначальность просвѣщенія въ древней Элладѣ... Такъ, раздѣленіе имперіи на двѣ половины, уже появляющееся въ Дуумвиратѣ (мнимомъ тріумвиратѣ) послѣ перваго кесаря, потомъ яснѣе выразившееся послѣ Діоклетьяна и при преемникахъ Константина и оставившее

неизгладимыя черты въ духовной исторіи человѣчества отдѣленіемъ Востока отъ Запада, является постоянно дѣломъ грубой случайности, между тѣмъ, какъ, очевидно, оно происходило отъ древнихъ началъ (отъ разницы между просвѣщеніемъ эллинскимъ и римскимъ) и было неизбѣжнымъ и великимъ ихъ послѣдствіемъ"... и проч. [1]). Вотъ цѣлый рядъ задачъ, будто бы не тронутыхъ западной наукой и на которыя мы должны были отвѣчать. Но требовательный судья западной науки ошибался относительно ея положенія. Въ отвѣтъ Хомякову уже было указано, что мнимыя задачи, нетронутыя западной наукой, составляютъ въ ней вещь очень извѣстную, другія—давно стали общимъ мѣстомъ, напримѣръ, что понятіе о народѣ, какъ живомъ лицѣ, представляющемъ въ своей жизни развитіе какого-нибудь нравственнаго и умственнаго начала, повторялось безпрестанно со временъ Гегеля; что съ тѣхъ поръ, какъ стали изучать греческихъ классиковъ, всѣмъ извѣстно, что греки въ наукѣ и поэзіи были выше римлянъ, что Гомеръ выше Виргилія и т. п., а то, что латинскіе классики выше средневѣковыхъ писателей, было извѣстно даже въ средніе вѣка; что раздѣленіе римской имперіи на восточную и западную давно объяснялось различіемъ греческой и римской цивилизаціи, и т. д. [2]).

Въ другой статьѣ, Хомяковъ высказываетъ увѣренность во всемірномъ призваніи русской земли, но замѣчаетъ, что вопросъ —какъ она можетъ исполнять это призваніе и какіе органы можетъ найти для этого теперь въ частной дѣятельности—что этотъ вопросъ порождаетъ невольное и справедливое сомнѣніе. Сомнѣніе возбуждалось положеніемъ русскаго общества, слишкомъ забывшаго свою національную сущность и потому не могущаго дѣйствовать въ истинно-народномъ духѣ. „Только тотъ можетъ выразить для другихъ свои начала духовныя,—говоритъ Хомяковъ, —кто ихъ уразумѣлъ для самого себя; только стройный и цѣльный организмъ духовный можетъ передать крѣпость и стройность другимъ организмамъ, разслабленнымъ и разъединеннымъ. Мысль и жизнь народная можетъ быть выражена и проявлена только тѣми, кто вполнѣ живетъ и мыслитъ этою мыслію и жизнію. Таковы ли мы съ нашимъ просвѣщеніемъ?" И Хомяковъ объясняетъ необходимость согласія двухъ силъ, составляющихъ правильное и разумное движеніе общества: силы жизни, принадлежащей всему составу общества и его прошедшему, и разумной

---

[1]) Сочин. Хомякова, I, стр. 38—39.
[2]) „Современникъ", 1856, № 6, крит., стр. 6—7.

силы личностей, которая не может ничего создать сама, но постоянно присуща общему развитію и не дает ему впадать въ мертвую односторонность. Обѣ силы необходимы; но вторая должна быть связана съ первой живою и любящею вѣрою. Иначе—слѣдуютъ разрывъ и борьба.

Это—связь историческаго преданія, бытового обычая, и разумной свободы личности. Хомяковъ находилъ ихъ правильное согласіе въ древнѣйшей Руси; свобода личности не была стѣснена и связывалась съ силой жизни; стихія народная не враждовала съ общечеловѣческой (кіевскія и новгородскія связи съ Западомъ, заимствованіе поэзіи, искусствъ и т. п.). Иное положеніе вещей начинается позднѣе; кажется, съ Флорентинскаго собора возникаютъ подозрительность и вражда къ западной мысли. „Борьба 1612 года была не только борьбою государственною и политическою, но и борьбою духовною. Европеизмъ съ его зломъ и добромъ, съ его соблазнами и истиною, являлся въ Россію въ образѣ польской партіи. Салтыковы и ихъ товарищи были представителями западной мысли. Правда, въ нравственномъ отношеніи они не заслуживали уваженія: *иначе и быть не могло*. Нравственно-низкія души легче другихъ отрываются отъ святыни народной жизни“... Но ихъ направленіе было не совсѣмъ неправо: это было „требованіе мысли, возстающей противъ стѣснительнаго деспотизма обычаевъ и стихій мѣстныхъ“. Представителемъ этого требованія явился потомъ Петръ. Его направленіе „не было совершенно неправо“ [1]), но оно сдѣлалось неправымъ въ своемъ торжествѣ. „Нечего говорить, что всѣ Котошихины, Хворостинины и Салтыковы (то-есть нравственно-низкія души) бросились съ жадностью по слѣдамъ Петра, рады-радехоньки тому, что освободились отъ тяжелыхъ требованій и нравственныхъ законовъ духа народнаго, что они могли, такъ-сказать, расплясаться въ русскій постъ: та доля правды, которая заключалась въ торжествующемъ протестѣ Петра, увлекла многихъ и *лучшихъ*; окончательно же соблазнъ житейскій увлекъ всѣхъ“. Такъ произошелъ разрывъ, о которомъ сказано выше.

Отношеніе воспитаннаго Петромъ общества къ народу Хомяковъ изображаетъ чертами не менѣе рѣзкими, чѣмъ Аксаковъ. „Отрицаніе *всего* русскаго, отъ названій до обычаевъ, отъ мелочныхъ подробностей одежды до существенныхъ основъ жизни —доходило (въ новѣйшемъ періодѣ нашей исторіи) до крайнихъ предѣловъ возможности. Въ немъ проявлялась какая-то страсть,

[1]) По К. Аксакову, оно было совершенно неправо, оно было „измѣной“.

какая-то комическая восторженность, обличающая въ одно время величайшую умственную скудость и совершеннѣйшее самодовольствіе. Конечно, эти крайности, повидимому, принадлежатъ болѣе первому періоду нашей европеизаціи, чѣмъ послѣднему; но послѣдній, при бóльшемъ безстрастіи, заключаетъ въ себѣ бóльшее презрѣніе и полнѣйшее отрицаніе *всего* народнаго“ [1]). Это обнаруживается именно въ отверженіи обычая. Значеніе обычая не довольно оцѣнено. „Обычай есть законъ; но онъ отличается отъ закона тѣмъ, что законъ является чѣмъ-то внѣшнимъ, случайно примѣшивающимся къ жизни, а обычай является силою внутреннею, проникающею во всю жизнь народа, въ совѣсть и мысль всѣхъ его членовъ“, и т. д. [2]). Петръ убивалъ обычаи, а мы отвергаемъ и не понимаемъ ихъ.

Такимъ образомъ, „сила жизни“ (или сила преданія, обычая) и „разумная сила личности“ составляютъ историческое движеніе; достоинство этого движенія опредѣляется отношеніемъ этихъ силъ. Самъ Хомяковъ, при всей наклонности къ преданію, находитъ требованіе личности не совсѣмъ неправымъ, объясняя, что это было требованіе разумной мысли, стѣсненной деспотизмомъ обычая и мѣстныхъ стихій. Рядомъ съ этимъ онъ готовъ съ обвиненіемъ, что всего скорѣе отрываются отъ преданія „нравственно-низкія души“, а вслѣдъ затѣмъ оказывается, что при Петрѣ „доля правды“ увлекала и „лучшихъ“ людей. Это опять—безконечный споръ о реформѣ.

Но гдѣ же мѣрка отношеній преданія и разума, чѣмъ опредѣляется „доля правды“ и какимъ образомъ нашъ разрывъ преданія и разумной мысли совершился вслѣдствіе „историческихъ случайностей“? Никакой случайности не было въ фактѣ реформы, который составляетъ главнѣйшее основаніе этого разрыва. Реформа, безъ сомнѣнія, имѣла свои преувеличенія и непривлекательныя крайности, но „доля правды“, въ ней заключавшаяся, была очень значительна: только это и дало успѣхъ дѣлу. К. Аксаковъ прямо понималъ реформу какъ переворотъ, какъ революцію, и этотъ характеръ явленія казался Аксакову его осужденіемъ, какъ и Хомякову; но хотя переворотъ, революція и бываютъ бурнымъ нарушеніемъ спокойнаго хода жизни, они никакъ не могутъ оттого считаться случайностью и произволомъ лица (какъ Петръ) или общества. Въ теченіи развитія, переворотъ имѣетъ также свое мѣсто, но только какъ крайній порывъ,

[1]) Сочин., I, стр. 152—156.
[2]) Тамъ же, стр. 164.

вынуждаемый противоположной крайностью предшествующаго застоя. Какъ насильственный переворотъ, реформа не обошлась безъ крайностей, но для правильнаго историческаго пониманія явленія надо предположить, что основаніе ихъ было въ свойствахъ быта временъ московскихъ, какъ дѣйствительно и было. На эту тему уже давно представляемо было немало объясненій. Въ свое время, и сами славянофилы соглашались [1]), что въ обвиненіяхъ противъ реформы многое относилось собственно не къ ней, а къ ея дальнѣйшимъ послѣдствіямъ,—послѣдствія часто были плохи: движеніе, данное Петромъ, замедлилось; дѣятельность преемниковъ была ограниченна, посредственна, и въ этомъ замедленіи и ограниченности не сказывалась ли именно реакція старой умственной лѣни и московскаго застоя?

Особеннымъ, нагляднымъ признакомъ внутренняго разрыва въ русской жизни Хомяковъ считаетъ упадокъ обычая и приводитъ въ образецъ Англію, общественная жизнь которой такъ сильна, благодаря этой вѣрности силѣ обычая, „внутренняго закона". Хомяковъ съ прискорбіемъ говоритъ объ „убитыхъ" обычаяхъ,—какъ-будто въ самомъ дѣлѣ Петровская реформа была одно безсмысленное истребленіе старыхъ обычаевъ. Обычаи по неизбѣжному закону падали и смѣнялись другими въ теченіе всей исторіи: обычаи язычества смѣнялись обычаями полу-языческими, двоевѣрными, наконецъ, болѣе христіанскими; обычаи патріархальной непосредственности смѣнялись обычаями болѣе сложнаго позднѣйшаго быта; обычаи древнѣйшей Руси смѣнились обычаями московскими, и исторія записала насильственное водвореніе этихъ послѣднихъ въ другихъ краяхъ Руси, такъ что еще можно было бы спросить: когда народный обычай потерялъ больше—во времена ли московской централизаціи, или во времена Петра? Обычаи бываютъ разнаго смысла и важности,—обычай самоуправленія важнѣе какого нибудь мелкаго бытового обычая,—и эпоха московская едва ли не больше истребила обычаевъ старой народной самобытности и свободы, чѣмъ эпоха Петра. Сравненіе съ Англіей едва ли справедливо: Англія сильна была именно тѣмъ, что вмѣстѣ со многими странными бытовыми обычаями сберегла обычаи политической свободы, которые и послужили для нея гарантіей противъ деспотизма власти; у насъ обычаи подобнаго рода исчезли еще до Петра. Противнаго славянофилы еще не доказали [2]). Въ

1) Статья М... З... К..., въ „Москвитянинѣ".

2) Ссылки Хомякова на Англію въ наше время все больше теряютъ убѣдительности, потому что и здѣсь сила времени все больше и больше стѣсняетъ область

нашей старинѣ Петръ уже нашелъ готовой ту силу центральной власти, которая дала ему возможность исполнять свои планы...

Съ сороковыхъ годовъ начиналось у насъ болѣе внимательное изученіе народности и старины. Это изученіе, развивавшееся естественно и постоянно пріобрѣтавшее все больше научной правильности, могло служить пріятнымъ признакомъ сознательнаго интереса къ народу. Но Хомякову и это не нравится. „Правда,— говоритъ онъ,—съ нѣкотораго времени многіе стали хлопотать о томъ, чтобы собрать и обнародовать обычаи народные. Такія собранія представятъ для временъ грядущихъ любопытное *печатное кладбище убитыхъ обычаевъ*. Очевидно (?), это ученая прихоть, нисколько не свидѣтельствующая объ уваженіи. Конечно, неуваженіе можетъ оправдываться совершеннымъ невѣдѣніемъ; но, съ другой стороны, совершенное невѣдѣніе не могло бы существовать безъ совершеннаго неуваженія“... [1]). Съ славянофильской точки зрѣнія желалось непосредственное возстановленіе обычая: Хомяковъ самъ такъ и дѣлалъ; онъ хотѣлъ тотчасъ слиться съ народомъ—соблюденіемъ обычая: онъ, говорятъ, строго соблюдалъ посты, надѣвалъ кафтанъ и т. п. Не трудно видѣть, что эти средства мало помогали дѣлу...

Въ славянофильской критикѣ современнаго характера нашей образованности, у Хомякова, какъ у другихъ, оставалось неясно одно существенное обстоятельство. Это—ихъ отношеніе къ оффиціальной народности. Они были недовольны современной образованностью, разрывомъ съ народными началами; но чего собственно хотѣли сами? Чѣмъ думали исправить непонравившееся имъ отношеніе общества къ народу? Въ чемъ видѣли практическую помѣху своимъ желаніямъ? Нѣтъ сомнѣнія, что ихъ мнѣній нельзя смѣшивать съ казеннымъ, такъ сказать, патріотизмомъ извѣстнаго разряда писателей и съ оффиціальной народностью, но трудно сказать также, къ какимъ именно сторонамъ тогдашней жизни относилось ихъ недовольство, черезъ кого должны были дѣйствовать впредь внушаемыя ими начала. Среди своего недовольства они были въ извѣстнаго рода союзѣ съ писателями „Москвитянина“ и въ борьбѣ съ противниками, представлявшими либеральное направленіе, насколько оно было тогда возможно. Ихъ указанія на свою программу оставались слишкомъ неопредѣленны. Въ самыхъ основаніяхъ ихъ теоріи было неисполнимое требованіе—отказаться, въ одно прекрасное утро, отъ „разсудочной“

стараго обычая. Такъ, напр., начинають падать исключительные права Оксфорда и Кембриджа, которыми Хомяковъ такъ восхищается.

[1]) Стр. 166.

образованности и подчинить ее извѣстному догматическому условію. Въ общественномъ вопросѣ было поставлено ими столь же мудреное требованіе—повидимому, нужно было, чтобы общество (или государство?), измѣнившее землѣ, также внезапно возвратилось къ древнимъ началамъ и основало свое устройство на одной „любви". Когда это начало „любви", какъ основы государства, было проповѣдуемо славянофилами, Хомяковъ, кажется, серьезно огорчился, что противники не оказали должнаго вниманія этой идеѣ [1]) и нашли въ ней нѣчто, такъ-сказать, пастушеское и наивно-мечтательное. Но нельзя было сказать иного о политической теоріи „любви", „свободы въ единствѣ" и „единства въ свободѣ". Еслибы даже таковъ былъ въ самомъ дѣлѣ принципъ древней русской жизни, то онъ уже давно уступилъ свое мѣсто другимъ, менѣе нѣжнымъ политическимъ принципамъ, въ настоящее время едва ли можетъ возвратиться и справедливо можетъ быть отнесенъ въ область пасторальной поэзіи. Замѣтимъ, что славянофилы старательно отдѣляли свой принципъ любви отъ того движенія, которое начинало появляться въ нашемъ обществѣ, какъ интересъ къ народному быту и ясная (хотя высказываемая только отдаленными намеками) мысль о необходимости освобожденія крестьянъ. Этотъ интересъ, очень замѣтный въ противномъ имъ лагерѣ, они считали только модой (какъ изученіе народнаго быта—ученой прихотью), потому что подозрѣвали въ немъ иностранное происхожденіе, слѣдствіе вліянія западной образованности. Это дѣйствительно не была идиллическая любовь или мистическое чувство, а начинавшееся реальное пониманіе общественной справедливости и необходимости государственной...

Къ кому же относилось это требованіе любви? Повидимому, главнымъ образомъ къ обществу, къ образованнымъ классамъ. Но что же могло бы сдѣлать общество? Заявить свою любовь къ народу такъ, какъ это дѣлалъ Хомяковъ, въ своей „наружности" и „домашнихъ отношеніяхъ"? Противники не сочли этого серьезнымъ,—и это раздражало Хомякова до неблаговидной брани, (стр. 173); но къ сожалѣнію нельзя и теперь не видѣть, что сохраненіе обрядности и маскарадное переодѣванье нѣсколькихъ лицъ въ русское платье было бы очень жалкимъ оружіемъ въ пользу народа [2]),—это и хотѣли сказать тѣ „печатныя нападе-

[1]) Стр. 159 и слѣд.

[2]) Не всѣ и славянофилы могли, напр., переодѣться; это было возможно для людей независимыхъ; но если бы человѣкъ, находящійся на службѣ, явился въ рус-

нія“ (на мурмолку и кафтанъ), на которыя негодовалъ Хомяковъ.

Противники славянофиловъ, не раздѣляя ихъ философско-религіозныхъ воззрѣній, столь же мало раздѣляли ихъ общественныя понятія. Интересъ къ народу былъ у тѣхъ и другихъ, но онъ былъ различенъ по своему характеру. Вмѣсто чувства здѣсь преобладала „разсудочная мысль“, и эта мысль довольно скоро пришла къ тому выводу, что для удовлетворенія этому интересу должно не отказываться отъ образованности, а расширять ее, не налагать на себя аскетическаго самоотрицанія, а бороться съ тѣми практически дѣйствовавшими условіями, которыя дѣлаютъ состояніе народа приниженнымъ и самый народъ безсильнымъ. Не обольщаясь надеждами на мистическое возрожденіе государства въ смыслѣ древнихъ началъ, они видѣли, что въ государствѣ немыслима пастораль и что лучшее будущее возможно только съ измѣненіемъ извѣстныхъ нравовъ и учрежденій, словомъ, съ политическимъ развитіемъ самого общества. Такъ, одной изъ ближайшихъ цѣлей было для нихъ освобожденіе крестьянъ, какъ первый шагъ общественной самостоятельности. Только при извѣстныхъ учрежденіяхъ, общественныхъ правахъ (пожалуй, „гарантіяхъ“), возможно то возвышеніе народа, котораго славянофилы хотѣли достигать проповѣдью чувства. Еслибы когда-нибудь достигнута была цѣль славянофильства, государство въ древне-русскихъ формахъ,—противники славянофильства находили въ этомъ очень мало привлекательную перспективу, потому что древне-русскій порядокъ вещей именно былъ, по ихъ мнѣнію, тѣмъ основаніемъ, изъ котораго произошло безправіе и безсиліе общества и народа; дурныя и слабыя стороны настоящаго были, по ихъ мнѣнію, именно результатомъ древне-русскаго порядка, продолжающаго донынѣ свое вліяніе... Самый этотъ порядокъ былъ, по ихъ мнѣнію, скорѣе спеціально-московскій, гдѣ русская стихія была, во-первыхъ, представлена неполно, а во-вторыхъ, къ ней примѣшаны были элементы татарскіе и византійскіе... Затѣмъ, для нихъ представлялъ уже мало интереса вопросъ о томъ, что̀ перешло бы отъ народа въ общество въ то время, когда народъ будетъ свободенъ и въ состояніи заявить свои стремленія. Это былъ гадательный вопросъ будущаго.

Легко было сказать Хомякову: „всемірное развитіе исторіи, осудивъ неполныя и одностороннія начала, которыми она управ-

скомъ платьѣ въ какую-нибудь канцелярію или въ полкъ и т. п., его, конечно, просто исключили бы изъ службы, и т. п.

лялась до сихъ поръ, *требуетъ* отъ нашей Святой Руси, чтобы она выразила тѣ болѣе полныя и всестороннія начала, изъ которыхъ она выросла и на которыя она опирается“ (стр. 169)—но какая выходила въ этихъ словахъ печальная иронія!

Историческую оцѣнку славянофильства сороковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годовъ трудно отдѣлять отъ его послѣдующей дѣятельности; первый періодъ его исторіи, нами разсматриваемый, имѣетъ характеръ приготовительнаго разъясненія общихъ началъ, которыя потомъ стали примѣняться ближе къ практической дѣйствительности.

Въ общемъ смыслѣ славянофильство перваго періода имѣло свою большую историческую заслугу въ развитіи русскаго общества. Родившись подъ несомнѣнными вліяніями романтическихъ стремленій, оно сохранило въ сущности до конца этотъ романтическій, идеальный, мало приложимый къ жизни характеръ; но оно съ такимъ упорствомъ настаивало на своемъ идеалѣ, такъ искренно въ него вѣрило и горячо его защищало, что успѣло дать ему силу въ литературѣ и мнѣніяхъ общества. Этимъ идеаломъ былъ народъ, и здѣсь была сила этой школы. Не совсѣмъ вѣрно, но очень сильно она затрогивала чувствительную струну времени. Славянофильское пониманіе народа было преувеличенное, но въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ оно было заслугой: въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ было тогда довольно смѣлымъ дѣломъ указывать въ народѣ единственный критеріумъ государственной и общественной жизни; придавать ему такое значеніе, о которомъ не помышляла оффиціальная народность; возвышать и превозносить этотъ „черный“ народъ тогда, когда надъ нимъ еще тяготѣло осужденіе государственнаго закона, пренебреженіе барства, чиновничества и почти всего, что стояло надъ низшими классами, когда считалось, что онъ годится только служить рабочей силой и толпой для парадныхъ празднествъ оффиціальной жизни. Славянофилы указывали обществу его оторванность отъ народа, ничтожество его въ этомъ раздѣленіи отъ истиннаго корня національной жизни, на необходимость союза, который одинъ дастъ обществу нравственную силу и дастъ его образованію дѣйствительную плодотворность. Славянофилы указывали исторической наукѣ мало тронутую ею задачу—раскрыть внутреннія основы народнаго характера, которыя однѣ могутъ пролить свѣтъ на историческую судьбу народа и государства.

Эти идеальныя стороны славянофильскаго ученія составляютъ

лучшую и достойную уваженія его заслугу. Его положительныя истолкованія народности часто были ошибочны, самое теологическое основаніе системы поставлено крайне исключительно, историческія объясненія преувеличены или невѣрны, но за всѣмъ тѣмъ осталось сильное нравственное впечатлѣніе.

Заслуга не была поэтому такъ универсальна, какъ утверждаютъ ихъ послѣдователи. Интересъ къ народности—въ различныхъ отношеніяхъ — не былъ исключительной принадлежностью ихъ школы и издавна развился въ литературѣ. Славянофилы съ своей стороны усилили его своимъ восторженнымъ чувствомъ, сдѣлали довольно много частныхъ разъясненій,—но вовсе не были такими преобразователями общественной мысли, какъ имъ самимъ казалось и какъ утверждаютъ ихъ ученики.

Въ исторической и этнографической наукѣ народный интересъ того времени былъ тѣсно связанъ съ предыдущими изученіями и составлялъ ихъ естественное развитіе и продолженіе. Славянофилы работали здѣсь на ряду съ другими, и именно съ писателями враждебной имъ школы. Въ историческомъ изученіи они имѣли ту заслугу, что умѣрили исключительность историковъ государственности и немало способствовали объясненію народной стороны историческихъ событій. Но цѣлая историческая теорія ихъ не была принята ни наукой, ни мнѣніями общества. Въ изученіи народнаго быта, старины, народной поэзіи они также сдѣлали многое въ изученіи матеріала и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вопросовъ, но задумавъ примѣнять къ этнографическимъ фактамъ свои идеалистическія истолкованія, они впадали въ ошибки, исправлять которыя приходилось ихъ противникамъ, кого они осуждали за подчиненіе „нѣмецкой наукѣ“.

Въ литературѣ художественной, движеніе въ смыслѣ народности совершалось опять независимо отъ славянофильства и еще до его возникновенія. Это движеніе уже далеко уходило отъ романтизма и, напротивъ, отличалось несомнѣннымъ стремленіемъ къ реальному изображенію дѣйствительности и тѣмъ пріобрѣло, наконецъ, яркій общественный смыслъ. Таковы были произведенія Гоголя. „Ревизоръ“, „Повѣсти“, „Мертвыя Души“ не имѣли въ себѣ тѣни славянофильской тенденціи, и напротивъ, когда Гоголь впослѣдствіи сблизился съ представителями школы и, кажется, съ ея идеями, онъ отрекся отъ своихъ прежнихъ сочиненій. Выше было указано, какъ Тургеневъ, писатель вовсе не славянофильской школы, привелъ въ восторгъ К. Аксакова, который только-что успѣлъ произнести надъ нимъ уничтожающій приговоръ. Славянофильскія тенденціи, напротивъ, до сихъ поръ

не произвели ни одного писателя, который бы получилъ вліятельное значеніе въ литературѣ, далъ ей новое направленіе и т. п. [1]).

Общественныя понятія славянофиловъ, въ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, высказывались почти только общими заявленіями о ложности нашего образованія и необходимости связи съ народомъ. Въ личной жизни они старались объ этой связи, раздѣляли народное благочестіе и входили въ его интересы (споры Хомякова съ раскольниками, благочестіе Ивана Кирѣевскаго), уважали обычаи (Хомяковъ, К. Аксаковъ и др. надѣвали народный костюмъ), были горячими поклонниками Москвы (предполагая, что въ ней заключенъ палладіумъ прошедшаго и будущаго Россіи), относились съ величайшимъ уваженіемъ къ произведеніямъ народной мысли и поэзіи (труды и странствованія Петра Кирѣевскаго для собиранія пѣсенъ); они были противниками крѣпостного права, съ тѣхъ поръ еще были приверженцами сельской общины, и т. д. Славянофильское ученіе имѣло, безъ сомнѣнія, высокую нравственную цѣну относительно массы общества, какъ стараніе пробудить въ немъ какое-нибудь нравственное сознаніе; имѣло цѣну и для литературы и той части общества, гдѣ шло уже извѣстное броженіе понятій, какъ требованіе большаго вниманія къ народному быту, большаго уваженія къ понятіямъ и желаніямъ народа,—на который дѣйствительно всего чаще смотрѣли съ извѣстной долей самодовольнаго снисхожденія; но дальше и не простиралось здѣсь вліяніе славянофильства. Оно вѣрно указывало на отчужденіе общества отъ народа, но невѣрно объясняло его причины и средства достигнуть сближенія. Наше просвѣщеніе грѣшило не тѣмъ, что ложны были его принципы, а тѣмъ, что оно было слишкомъ ограниченно и по распространенію въ обществѣ, и по объему содержанія,—и эта ограниченность дѣйствія была вовсе не виной самаго просвѣщенія или общества; виноваты были внѣшнія стѣсненія: отсутствіе школъ, удаленіе изъ нихъ народа (особенно крѣпостного крестьянства), чрезмѣрная и подозрительная опека. Самобытности просвѣщенія надо было достигать не отверженіемъ этой скудной образованности, а сколько можно большимъ распространеніемъ ея въ массѣ; „западнаго“ было въ этомъ обществѣ тако мало, что смѣшно было приписывать ему столь гибельное

[1]) Славянофилы придавали великое значеніе произведеніямъ С. Т. Аксакова—въ особенности, кромѣ ихъ дѣйствительныхъ художественныхъ достоинствъ, вслѣдствіе ихъ благодушнаго отношенія къ старому патріархальному быту. Они, конечно, замѣчательно талантливы,—но, посвященныя воспоминаніямъ, имѣютъ свое спеціальное значеніе. Они и остались одинокимъ явленіемъ.

вліяніе; причина отчужденія отъ народа лежала не въ просвѣщеніи, а въ бѣдственномъ состояніи народа, подавленнаго крѣпостнымъ правомъ, и въ политическомъ безсиліи самого общества. По всѣмъ этимъ предметамъ, славянофилы распространили немало превратныхъ понятій, и впослѣдствіи ихъ ученія бывали на-руку разнаго рода дешевымъ народолюбцамъ, которымъ удобно было прикрывать собственное ничтожество мнимо-народнымъ либерализмомъ. Заблужденіе славянофиловъ обнаруживалось тѣмъ историческимъ фактомъ, что первое нѣсколько серьезное вліяніе образованія въ нашемъ обществѣ именно создавало глубокія сочувствія въ народу, или инстинктивныя или вполнѣ сознательныя, — въ томъ самомъ обществѣ, которое славянофилы считали окончательно погибшимъ подъ игомъ „Запада",—и эти сочувствія высказались въ томъ литературномъ лагерѣ, въ которомъ славянофилы съ своей точки зрѣнія видѣли главнѣйшихъ враговъ „народнаго начала".

Таково было ихъ положеніе въ литературѣ и общественности. Они сдѣлали много своимъ возбуждающимъ энтузіазмомъ, но вмѣстѣ и не мало запутывали общественныя понятія, чему впрочемъ помогали иногда невольныя неясности ихъ ученія.

Намъ остается упомянуть еще одно обстоятельство. До сихъ поръ мы упоминали о той общественной дѣятельности и мнѣніяхъ славянофиловъ, которыя были извѣстны литературнымъ образомъ. Но они имѣли также практическую дѣятельность, между прочимъ на службѣ. Самаринъ работалъ въ Остзейскомъ краѣ—въ томъ духѣ, который можно узнать теперь изъ „Окраинъ Россіи",—потомъ въ Кіевѣ, при Бибиковѣ, гдѣ его занимало введеніе инвентарныхъ правилъ. Иванъ Аксаковъ, состоя въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, работалъ по дѣламъ раскола—въ томъ духѣ, который можно узнать теперь изъ напечатаннаго отрывка его обширной записки о сектѣ странниковъ. Они показали въ этой дѣятельности столько серьезнаго убѣжденія и такія просвѣщенныя воззрѣнія, что имъ сочувствовали бы и люди, не раздѣлявшіе ихъ образа мыслей.

Но *эти* воззрѣнія были внушены имъ ихъ новымъ образованіемъ, а не тѣми древне-русскими началами, на которыхъ они хотѣли утверждать свой образъ мыслей. Съ другой стороны, они заблуждались, полагая, что ихъ „русскія" мнѣнія могутъ быть приняты въ той сферѣ, къ которой они обращались.

Хомяковъ желалъ пропагандировать православіе въ западной Европѣ; Самаринъ въ изданіи его богословскихъ сочиненій приводитъ благопріятные отзывы иностранной печати о брошюрахъ

Хомякова. Переписка съ Пальмеромъ осталась выраженіемъ этой пропаганды... Не вдаваясь въ разсужденіе о томъ, насколько мыслима была эта пропаганда и планы соединенія англиканства съ нашей церковью, мы удовольствуемся также цитатой изъ иностранной печати,—которая выяснитъ мнѣніе англичанъ о предметѣ [1]). Подобныхъ цитатъ можно было бы собрать не мало. Самъ Пальмеръ ушелъ, кажется, въ католицизмъ.

К. Аксаковъ считалъ равно необходимыми и соединимыми и господствующій порядокъ, и полную свободу печати.

Позднѣе описываемаго времени число приверженцевъ славянофильства (съ нѣкоторыми варіаціями) увеличилось. Тогда какъ прежде славянофилы могли имѣть только отдѣльные и случайные „сборники“, потомъ существовало нѣсколько изданій, съ болѣе или менѣе явнымъ славянофильскимъ характеромъ [2]). Отчасти, это размноженіе славянофильства происходило оттого, что вообще облегчилось положеніе литературы и увеличилась, съ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, литературная публика; но отчасти и независимо отъ этого размножились приверженцы ученія. Но это едва ли было успѣхомъ школы. Новый періодъ ея мало подвинулъ доказательство основныхъ положеній; зато слабыя стороны ученія обнаружились ярче, чѣмъ когда-нибудь. Къ славянофильству примкнули новыя школы, которыя также заговорили о „народныхъ началахъ“, „почвѣ“ и т. п., и не имѣя ни таланта, ни горячаго убѣжденія первыхъ начинателей ученія, распространяли только фразы на тему народности и болѣе или менѣе явный обскурантизмъ. Славянофильская публика стала увеличиваться рядами той публики, патріотизмъ которой въ прежнее время называли квасным, которая, не вдаваясь въ особыя размышленія, довольствовалась хвастливыми фразами о народности, грозилась Европѣ, приходила въ восторгъ отъ посѣщенія братьевъ-славянъ, собиралась дѣлить будущее съ друзьями-американцами, поставляла „обрусителей“ и т. д. Съ другой стороны, по нѣкоторымъ предметамъ, славянофилы не разъ говорили въ одинъ тонъ съ „Московскими Вѣдомостями“... Въ этихъ неблагополучныхъ союзахъ виноваты были тѣ самонадѣянныя односторонности славянофильства, которыя къ сожалѣнію принадлежали къ самой сущности школы.

---

[1]) „Daily-News“, 17-го сент. 1866 г.

[2]) Кромѣ чисто-славянофильской „Русской Бесѣды“ и „Дня“ и его преемниковъ до „Руси“, здѣсь надо назвать „Время“, потомъ „Эпоху“, далѣе „Зарю“, „Бесѣду“, въ нѣкоторые періоды „Голосъ“ и др.

VIII.

ГОГОЛЬ.

Славянофилы имѣли свою противоположность въ другомъ направленіи, которое они называли „западнымъ“,—терминъ не совсѣмъ точный даже въ ихъ смыслѣ, потому что первыя теоретическія возбужденія и „западнаго“ направленія, и самого славянофильства, заключались, въ большой степени, въ той же западной нѣмецкой философіи; кромѣ того, „западное“ направленіе воспитывалось тѣмъ же изученіемъ самой русской жизни,—только съ другихъ сторонъ; наконецъ, могущественную опору „западному“ направленію далъ, между прочимъ, писатель, не заключавшій въ своихъ понятіяхъ ничего „западно“-тенденціознаго и одинаково цѣнимый славянофилами,— именно Гоголь.

Существенное значеніе этого направленія заключалось въ томъ, что оно было главнымъ русломъ тѣхъ идей, въ развитіи которыхъ состояло прогрессивное движеніе общества; оно было тѣмъ направленіемъ, которому принадлежали самыя дѣйствительныя пріобрѣтенія русской общественной мысли, за которымъ было будущее. Оно стремилось внести новыя общественныя понятія; противъ него была вся рутина старыхъ традицій, вполнѣ господствовавшихъ въ обществѣ. Въ этомъ заключались его тогдашнія отношенія. Оно дѣйствовало, не смотря на всѣ окружавшія его препятствія, и отсюда потомъ получило свой смыслъ и свои первые аргументы то движеніе, которое обнаружилось въ нашей жизни въ первый періодъ реформъ.

Два основные элемента давали силу этому направленію въ литературѣ: съ одной стороны это была дѣятельность Гоголя, съ другой того круга, главнымъ лицомъ котораго можно назвать Бѣлинскаго. Ихъ дѣйствіе сливалось въ одинъ результатъ, въ одно

сильное нравственное вліяніе, глубокій слѣдъ котораго замѣтенъ до настоящей минуты. Можно безъ преувеличенія сказать, что со времени Гоголя и тогдашней критики наша литература впервые получаетъ значеніе настоящей общественной силы, становится дѣйствительной литературой, заслуживающей этого имени, высказывающей настоящія жизненныя требованія. Это уже не одинъ эстетическій дилеттантизмъ, служеніе „прекрасному“, отвлеченное правоученіе, чѣмъ она была до тѣхъ поръ (за немногими исключеніями); она — сколько было возможно по ея внѣшнимъ условіямъ—затронула настоящіе вопросы жизни, высказала давно зрѣвшія мысли лучшей части общества, накопившуюся скорбь о недостаткахъ жизни и стремленіе къ лучшему порядку вещей, къ болѣе высокой степени гражданскаго и человѣческаго развитія. Это былъ запросъ на преобразованіе...

Два упомянутые элемента дѣйствовали здѣсь наиболѣе сильнымъ образомъ, — такъ что въ нихъ по преимуществу сосредоточивается тотъ моментъ нашего литературнаго развитія. Гоголь — дѣйствовалъ силой своего поэтическаго творчества; кругъ Бѣлинскаго — литературной критикой и другими научными разъясненіями исторіи и общественной жизни. Къ Гоголю примыкаютъ, за исключеніемъ особо стоящаго Лермонтова, всѣ лучшіе писатели того времени; главнѣйшія стороны литературы, намъ современной, отъ него ведутъ свое начало. Съ критики Бѣлинскаго начинается современная публицистическая литература.

Опредѣленіе литературнаго значенія Гоголя возбуждало интересъ нашей критики съ самаго начала сороковыхъ годовъ. Критика уже тогда вѣрно указала многое въ свойствѣ его таланта, въ значеніи его произведеній для русскаго общества: въ смыслѣ художественной оцѣнки все существенное сказано было еще при первомъ появленіи „Мертвыхъ душъ“ [1]), — но опредѣленіе его истиннаго „направленія“ вызвало оживленные, даже ожесточенные споры послѣ появленія печально знаменитыхъ „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“, когда самъ Гоголь отвергъ тѣ толкованія, какія давались его произведеніямъ самыми горячими его приверженцами, и отвергъ самыя произведенія свои — кромѣ „Переписки“, — какъ ошибочныя, вредныя, грѣховныя.

Къ этой книгѣ естественно приводится вопросъ о „направленіи“ Гоголя.

[1]) Не только въ статьяхъ Бѣлинскаго, но, напр., также въ статьяхъ К. Аксакова, Плетнева и т. д.

Читателю знакома безъ сомнѣнія исторія „Выбранныхъ Мѣстъ", странное впечатлѣніе, произведенное этой книгой, споры и обличенія, вызванные ею противъ Гоголя со стороны его почитателей, которымъ пришлось защищать великія произведенія отъ самого автора. Вопросъ о личномъ развитіи Гоголя, затронутый по этому поводу, еще не можетъ считаться вполнѣ рѣшеннымъ; но все больше выясняются черты этой исторіи вслѣдствіе постоянно возрастающаго въ послѣднее время новаго біографическаго и критическаго матеріала.

При жизни Гоголя, его направленіе, прежде почти безспорно опредѣляемое его извѣстными произведеніями, стало предметомъ споровъ съ появленіемъ „Переписки"; рѣшеніе вопроса было невозможно при жизни писателя, которому еще предстояла дѣятельность (быть могло, съ успѣхомъ въ новомъ направленіи),—примиреніе двухъ сторонъ было немыслимо. Но дѣятельность кончилась и стала дѣломъ исторіи. Первый, довольно богатый матеріалъ для исторіи личнаго развитія Гоголя, доставила извѣстная біографія его, написанная г. Кулишомъ [1]), и также сдѣланное имъ изданіе сочиненій Гоголя, гдѣ, въ двухъ послѣднихъ томахъ, помѣщено обширное собраніе его писемъ. Но біографія и самая переписка были далеко не полны: біографія многое умалчивала, отчасти по вынужденной скромности [2]); въ переписку не вошли многія характеристическія письма, напечатанныя впослѣдствіи.

Изданія г. Кулиша дали новый поводъ и матеріалъ къ изслѣдованіямъ и воспоминаніямъ о Гоголѣ; многія стороны въ характерѣ и дѣятельности Гоголя стали опредѣляться яснѣе. Впослѣдствіи собралось вообще много мелкаго, но довольно важнаго матеріала,—въ новыхъ письмахъ Гоголя, въ перепискѣ его друзей,—который раскрываетъ подробности его личныхъ отношеній и его взглядовъ [3]).

---

[1]) Второе, распространенное изданіе ея, подъ именемъ „Записокъ о жизни Гоголя". Спб. 1856—1857, 2 тома.

[2]) Авторъ умалчиваетъ многія имена и обстоятельства; онъ не могъ (или уже слишкомъ опасался) называть ближайшихъ друзей Гоголя, даже назвать Мицкевича (скрытаго подъ буквой М***) и его поэмы „Панъ Тадеушъ" (скрытой подъ буквами П*** Т***), которыми разъ поинтересовался Гоголь!

[3]) Указываемъ матеріалъ, который мы, между прочимъ, имѣли въ виду въ настоящемъ случаѣ.

Во-первыхъ, новыя, прежде ненапечатанныя сочиненія и письма Гоголя.

— Послѣдніе годы Гоголя. По поводу „Новыхъ отрывковъ и варіантовъ ко II-му тому М. Д.", В. П. Чижова. „Вѣстникъ Европы", 1872, іюль, 432 стр., съ извлеченіемъ письма Бѣлинскаго къ Гоголю.

— Неизданныя мѣста изъ „Переписки съ друзьями". Р. Архивъ, 1866, стр.

При первомъ появленіи „Переписки“, книга Гоголя принята была за сознательное отреченіе отъ прежняго направленія, за поворотъ въ другую сторону. Самъ Гоголь положительно объ этомъ говорилъ; онъ находилъ вредными свои старыя сочиненія,

1730—174, и затѣмъ въ Полномъ Собраніи соч. Гоголя, 1867 (2-е изд. наслѣдниковъ), т. III, и въ 10-мъ изданіи, М. 1889, т. IV.

— Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ, по рукописи, найденной въ Римѣ. Р. Архивъ 1865, 2 изд., стр. 1281—94.

— О комедіи Гоголя: „Владиміръ 3-й степени“, г. Родиславскаго. „Бесѣды въ Общ. любителей россійской словесности“. М. 1871, стр. 138—141.

— Письма Гоголя къ Жуковскому, съ 1831 года. Р. Архивъ, 1871, стр. 929, 946, 950—954, 957, 0932, 0933.

— Письма къ И. И. Дмитріеву, 1832. Тамъ же, 1866, стр. 1726—1730.

— Письмо къ М. П. Погодину, 1833. Тамъ же, 1872, стр. 2369—72 (годъ ошибочно поставленъ 1831); — то же, что въ изд. Кулиша, V, 174, но съ дополненіемъ цензурныхъ пропусковъ.

— Письмо къ кн. Вяземскому отъ 28 февр. 1847 (а не 1846, какъ напечатано). Тамъ же, 1872, стр. 1328—32. Другое письмо (по поводу статьи кн. Вяземскаго о Гоголѣ),—тамъ же, 1866, стр. 1077—41. Третье, изъ Рима, кажется, до 1842. Тамъ же, 1865, стр. 1295—98.

— Письма къ кн. В. Ѳ. Одоевскому, 1838—42 г. Тамъ же, 1864, 2-е изданіе, стр. 1030—32 (между прочимъ о цензурѣ „Мертвыхъ Душъ“).

— Письма къ П. А Плетневу о московской цензурѣ „Мертвыхъ Душъ“, 1842. Тамъ же, 1866, стр. 766—70. См. также у Кулиша, V, 457.

— Два письма къ Малиновскому, около 1847. Тамъ же, 1865, стр. 1278—82.

— Замѣтка въ альбомъ г-жи Чертковой. Р. Старина, 1870, II, стр. 528—529.

— Записка къ С. Т. Аксакову, около 1839. Тамъ же, 1871, IV, 681.

— Письмо къ актеру Сосницкому, о „Ревизорѣ“, 1846. Тамъ же, 1872, VI, стр. 441—444.

Во-вторыхъ, критическія изслѣдованія, воспоминанія о Гоголѣ и упоминаніе о немъ въ перепискѣ разныхъ лицъ.

— Воспоминанія о Гоголѣ (Римъ), лѣтомъ 1841 года. П. Анненкова. Б. для Чт. 1857, № 2 и 11; повторено въ его „Воспоминаніяхъ и критич. очеркахъ“, т. I.

— Критическая статья по поводу „Сочиненій и Писемъ“ Гоголя, изданныхъ Кулишомъ, „Современникъ“, 1857, № 8.

— Воспоминанія Л. Арнольди. „Русск. Вѣстникъ“, 1862, № 1, стр. 54—95.

— Воспоминанія о Гоголѣ, г. Грота. Р. Архивъ, 1864, стр. 1065—68.

— Воспоминанія Погодина (о римской жизни Гоголя). Тамъ же, 1865, стр. 1270—78.

— Воспоминанія Соллогуба. Тамъ же, 1865, стр. 1208—214 (упоминается Гоголь), и въ отдѣльномъ изданіи Воспоминаній, Спб. 1887.

— Воспоминанія о Гоголѣ, Н. В. Берга. Р. Старина, 1872, V, стр. 118—128.

— Первое знакомство Гоголя съ М. С. Щепкинымъ. Тамъ же, 1872, V, стр. 282—283.

— Воспоминанія г-жи Смирновой о Жуковскомъ. Р. Архивъ, 1871, стр. 1874, 1883.

— Оффиціальное дѣло министерства народнаго просвѣщенія 1845 г., о назначеніи Гоголю денежнаго пособія, въ „Сѣверной Почтѣ“, 1865, № 277.

— Письма Жуковскаго къ г-жѣ Смирновой о дѣлахъ Гоголя. Р. Архивъ, 1871, стр. 1858, 1860.

отвергалъ тотъ смыслъ, который придали имъ его почитатели; собственные друзья его, одобрявшіе „Переписку", считали ее „переломомъ" и притомъ такимъ, который былъ необходимъ и вполнѣ основателенъ. Устанавливалось вообще мнѣніе, что Гоголь, дѣйствовавшій прежде въ одномъ направленіи,—общественно-кри-

— Письма Плетнева къ Жуковскому, о дѣлахъ Гоголя, о литературѣ. Тамъ же, 1870, стр. 1273, 1277—80, 1293, 1305—1306. Между прочимъ чрезвычайно замѣчательныя извѣстія о цензурѣ сочиненій Жуковскаго въ 1850 г., стр. 1322—1330.

— Письмо Плетнева къ кн. Вяземскому, 1847, о новой приготовляемой книгѣ Гоголя. Тамъ же 1866, стр. 1069. (Это-не „Объясненіе на Литургію", какъ предположено въ „Архивѣ", а „Авторская исповѣдь". Ср. въ изд. Кулиша VI, 405, то самое письмо Гоголя, о которомъ упоминаетъ Плетневъ. Въ письмѣ къ Шевыреву, у Кулиша VI, 411, Гоголь также говоритъ, что эта книга будетъ—„чистосердечное изъясненіе моего авторскаго дѣла").

— Письмо Жуковскаго къ кн. Вяземскому, по поводу статьи послѣдняго: „Языковъ, Гоголь", въ „Спб. Вѣд." 1847, №№ 90—91. Тамъ же, 1866, стр. 1074.

— Письмо Булгарина къ Хавскому, по поводу смерти Гоголя. Р. Старина, 1872, V, стр. 481—482.

— W. A. Joukoffsky, von Carl v. Seidlitz, Mitau, 1870, стр. 183—190, 198—199, 202 и въ русскомъ изданіи. Спб. 1883.

Послѣдніе годы опять особенно богаты изученіями Гоголя, которыя доставляютъ иногда драгоцѣнный матеріалъ для будущихъ комментаторовъ и біографовъ. За множествомъ этихъ данныхъ укажемъ главнѣйшее. Таковы нѣкоторые новые тексты (сообщенные г. Тихонравовымъ и г-жей Некрасовой, въ „Р. Старинѣ"), воспоминанія г-жи Смирновой (въ „Nouvelle Revue"); свѣдѣнія и объясненія о домашнихъ отношеніяхъ Гоголя и о его матери, г-жъ Бѣлозерской и Черницкой, и пр. Укажемъ въ особенности труды г. Шенрока, предпринявшаго новое собираніе матеріаловъ для біографіи Гоголя: „Указатель къ письмамъ Гоголя, заключающій въ себѣ объясненіе инициціаловъ и другихъ сокращеній въ изданіи Кулиша". М. 1886, 2-е изд. 1888, дѣйствительно необходимый при чтеніи писемъ Гоголя, въ изданіи Кулиша пересыпанныхъ глухими, и притомъ произвольно взятыми, заглавными буквами вмѣсто именъ, а также цензурными умолчаніями:—„Ученическіе годы Гоголя. Біографическія замѣтки". М. 1887;—„А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь", въ Р. Старинѣ, 1888, и др.

Величайшую важность для изученія Гоголя будетъ имѣть новѣйшее изданіе его сочиненій, приготовляемое подъ редакціей г. Тихонравова (донынѣ вышло три тома): это — первое критическое изданіе Гоголя съ текстомъ, провѣреннымъ по рукописямъ и сличеннымъ съ первыми изданіями, съ подробными историко-библіографическими комментаріями о каждомъ произведеніи, наконецъ, съ новыми, не бывшими въ печати сочиненіями и отрывками изъ рукописей Гоголя. Раньше, въ 1886, г. Тихонравовъ сдѣлалъ юбилейное изданіе „Ревизора", съ подробнымъ изслѣдованіемъ объ исторіи этой пьесы.

Кромѣ того, см. біографію Гоголя въ „Русской Библіотекѣ" (томъ, посвященный Избраннымъ сочиненіямъ Гоголя). Спб. 18..

— Дѣтство и юность Гоголя, Ал. Кояловича, въ „Московскомъ Сборникѣ" Шарапова. М. 1887, стр. 202—270.

— Критическіе этюды, В. Буренина. Спб. 1888.

— Появленіе въ печати сочиненій Гоголя. Въ „Изслѣдованіяхъ и статьяхъ по русской литературѣ и просвѣщенію", г. Сухомлинова. Т. II. Спб. 1889, стр. 301—342.

тическомъ, которое ознаменовано „Ревизоромъ“ и „Мертвыми Душами“,—потомъ измѣнилъ этому направленію, бросился въ аскетизмъ и поклоненіе господствующимъ порядкамъ и былъ окончательно потерянъ для искусства. На него обратились суровые осужденія и укоры.

Но одобренія и осужденія современниковъ не давали *историческаго* объясненія. Надо было понять внутренній процессъ, произведшій столь сильную перемѣну, открыть побужденія, дѣйствовавшія въ человѣкѣ, проникнуть въ истинный характеръ его убѣжденій и его цѣлей. Одинъ изъ лучшихъ нашихъ критиковъ, разбирая матеріалы, изданные г. Кулишомъ, старался именно опредѣлить, могутъ ли падать на Гоголя эти осужденія и каковъ былъ дѣйствительно его нравственный характеръ и его убѣжденія. Не скрывая отъ себя извѣстныхъ сторонъ этого характера, не возбуждающихъ сочувствія, авторъ объясняетъ ихъ источникъ и ихъ предѣлы, но отвергаетъ много другихъ обвиненій, которыя могли быть подняты противъ Гоголя только потому, что до изданія его переписки не была достаточно извѣстна его внутренняя исторія. Въ заключеніе, критикъ приходилъ къ выводу, что у Гоголя, въ послѣднемъ періодѣ его жизни, собственно говоря, не было никакой „измѣны убѣжденіямъ“, что исторія его мнѣній была цѣльная исторія, однородная съ начала до конца, что если въ разные періоды его жизни сильнѣе выступали у него тѣ или другія качества его ума и таланта, то сущность его убѣжденій всегда была одна и та же. „Если вы,— говоритъ авторъ,— преодолѣвъ скуку, наводимую однообразіемъ этихъ писемъ (писемъ второго періода жизни Гоголя), всмотритесь въ нихъ ближе и точнѣе, сравните ихъ съ письмами прежнихъ годовъ, вы увидите, что во второмъ періодѣ сохранилось, кромѣ молодой веселости, все то, что было въ письмахъ перваго періода, и наоборотъ, въ письмахъ перваго періода вы найдете уже тѣ черты, которыя, повидимому, должны были бы принадлежать второму періоду“. Подробное сличеніе писемъ конца двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ письмами сороковыхъ годовъ показывало, что основныя мысли и представленія Гоголя въ тѣ и другіе годы были чрезвычайно сходны, что въ первомъ періодѣ были уже основанія его позднѣйшихъ мнѣній.

Напримѣръ, удивлялись въ „Перепискѣ“ странной просьбѣ автора къ читателямъ—присылать ему всякія извѣстія о русской жизни и нравахъ и даже всякія чисто личныя свѣдѣнія; но Гоголь еще въ 1829 г. дѣлалъ своей матери подобныя порученія относительно малороссійскаго быта, требуя отъ нея даже такихъ

мелочныхъ свѣдѣній, которыя можно бы предположить ему извѣстными. Теперь онъ только расширилъ область своихъ запросовъ, въ той мѣрѣ, какъ считалъ болѣе широкими и свои планы.

„Переписка“ исполнена увѣреніями, что человѣку нужно только укрѣпиться въ вѣрѣ, и тогда онъ будетъ легко переносить самыя тяжелыя испытанія. Оказывается, что то же самое онъ говоритъ еще въ 1825 году (16-ти лѣтъ) по поводу смерти своего отца: „не безпокойтесь, дражайшая маменька! я сей ударъ перенесъ съ твердостью истиннаго христіанина“, и проч. Въ такомъ же родѣ говоритъ онъ въ другомъ письмѣ къ матери о подобномъ горѣ, постигшемъ одного изъ ближайшихъ его друзей.

Гоголя винили въ лицемѣріи, когда онъ въ „Перепискѣ“ въ каждомъ случаѣ своей жизни видѣлъ непосредственную волю самого Провидѣнія; но есть письма отъ 1829 года, которыя своимъ тономъ относительно этого предмета ничѣмъ не уступаютъ „Перепискѣ“. Такъ, однажды онъ дѣлаетъ своей матери признаніе объ одномъ таинственномъ событіи своей жизни,—какой-то безумной и безнадежной любви,—и говоритъ: „Съ ужасомъ осмотрѣлся и разглядѣлъ я свое ужасное состояніе. Все совершенно въ мірѣ было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны... Я увидѣлъ, что мнѣ нужно бѣжать отъ самого себя... Въ умиленіи, я призналъ невидимую Десницу, пекущуюся о мнѣ, и благословилъ *такъ давно назначаемый* путь мнѣ“...

Его обвиняли въ безмѣрномъ ханжествѣ, когда онъ принимался въ „Перепискѣ“ поучать своихъ знакомыхъ и читателей, рекомендовалъ имъ изучать его книгу и т. п. Но то же было и раньше. Въ началѣ сороковыхъ годовъ онъ уже рекомендуетъ своимъ роднымъ чтеніе его собственныхъ писемъ и даетъ имъ уроки благочестія. Разъ онъ перешелъ въ этомъ всякую мѣру, такъ что мать и сестры глубоко были огорчены его нетерпимымъ, требовательнымъ, суровымъ тономъ; изъ ихъ отвѣта Гоголь долженъ былъ увидѣть, что мѣра перейдена, и тогда въ немъ опять сказывается самое теплое чувство и покорность, совершенно искренния, какъ прежде онъ искренно поучалъ ихъ, ратуя за ихъ душевное спасеніе. Что во всей этой проповѣди, которою наполнена „Переписка“, не было притворства, это ясно изъ цѣлаго ихъ характера; проповѣдь перемѣшана съ мыслями и чувствами, очевидно задушевными; и потомъ,—послѣ очень многихъ и не легкихъ испытаній его гордости и личнаго достоинства, испытаній, навлеченныхъ „Перепиской“, и потомъ онъ нисколько не измѣняетъ своего тона съ друзьями. Его конецъ довелъ до печальной очевидности, какъ глубоко укоренилось въ немъ его настроеніе.

Однимъ словомъ, сличая то, какъ высказывался Гоголь объ этихъ и другихъ коренныхъ предметахъ его убѣжденія, въ различные періоды своей жизни, въ самой ранней молодости и въ послѣдніе годы, сличая это, авторъ упомянутой статьи находитъ, что въ убѣжденіи Гоголя постоянно господствовало одно воззрѣніе, что оно приняло крайнее развитіе въ послѣдніе годы, дошло до фанатизма, но въ сущности не измѣнялось.

Это заключеніе кажется намъ вѣрнымъ: личность Гоголя является цѣльной, развитіе послѣдовательнымъ, для объясненій котораго незачѣмъ предполагать ни „измѣны", ни „перелома",— потому что направленіе его послѣднихъ годовъ имѣло основаніе въ его давнишнихъ понятіяхъ, кромѣ которыхъ онъ никогда и не имѣлъ другихъ [1]). Страшное противорѣчіе съ самимъ собой, мучившее его въ послѣдніе годы, крылось въ немъ съ самаго начала. Это противорѣчіе, которое называли борьбой художническаго начала съ аскетизмомъ, было еще въ большей степени борьбой его врожденнаго высокаго побужденія служить обществу, съ тѣми ошибочными теоретическими представленіями объ обществѣ, съ которыми онъ сжился. Въ личной судьбѣ Гоголя отразилась борьба двухъ различныхъ сторонъ общественнаго развитія; какъ великій талантъ, онъ принадлежалъ его прогрессивной сторонѣ, тогда какъ его теоретическія понятія не шли дальше обиходнаго консерватизма,—и здѣсь главный источникъ внутренняго разлада, котораго онъ не выдержалъ. Личная исторія Гоголя, какъ писателя, является характеристическимъ фактомъ въ исторіи самаго общества.

Нѣтъ надобности много говорить о томъ, какой великій смыслъ имѣли произведенія Гоголя. Это былъ талантъ, равныхъ которому не много можно найти въ нашей литературѣ; люди Пушкинскаго кружка сами въ то время находили, что „Мертвыя Души—безъ сомнѣнія, *лучшее изъ всего*, что только есть въ нашей литературѣ" [2]). Для нашей литературы Гоголь открывалъ новую область идей, полагалъ основаніе ея дальнѣйшаго развитія, впервые сообщалъ ей глубокій общественный смыслъ. Эта сатира съ такой яркостью воспроизводила обыденную жизнь общества, что изображеніе производило сильное впечатлѣніе: общество не могло не видѣть вѣрности зеркала, и невольно оглядывалось на себя. Какія

---

[1]) Мы сдѣлали бы оговорку только о личномъ характерѣ Гоголя, въ которомъ было гораздо меньше наивной искренности и больше разсчитаннаго лукавства, чѣмъ предполагалъ авторъ статьи. Фактическія указанія объ этомъ читатель найдетъ въ воспоминаніяхъ Анненкова.

[2]) Слова Плетнева въ письмѣ къ Жуковскому, 1842.

бы ни были собственныя идеи писателя о содержаніи его произведеній, онѣ стали великою силой: изображеніе, созданное могущественнымъ талантомъ, заставляло задумываться; изъ-за ряда смѣшныхъ сценъ и характеровъ бросалась въ глаза нравственная нищета этой жизни, отъ которой не на чемъ было отдохнуть. Съ произведеніями Гоголя совершался актъ сознанія, одинъ изъ самыхъ важныхъ, какіе были въ новѣйшей исторіи нашего общества.

Въ общемъ ходѣ развитія, дѣятельность Гоголя несомнѣнно составляетъ послѣдовательную ступень: она окончательно закрываетъ періодъ искусственнаго романтизма и начинаетъ новый періодъ строго-реальнаго изображенія жизни; но мы напрасно стали бы искать непосредственной связи Гоголевской сатиры съ предыдущей литературой. Внѣшнимъ образомъ Гоголь тѣсно связанъ съ Пушкинскимъ кружкомъ; онъ считаетъ Пушкина своимъ учителемъ; его друзья—люди Пушкинскаго круга; среди нихъ онъ проводитъ свою жизнь; они считаютъ его своимъ,— но тѣмъ не менѣе, его дѣло выходитъ изъ ихъ умственнаго и общественнаго горизонта; поэтому самъ Гоголь, привыкшій смотрѣть ихъ глазами, и могъ не уразумѣть вполнѣ того значенія, какое имѣли его произведенія для общественнаго развитія. Въ теоретическихъ понятіяхъ Гоголь отчасти сохранялъ простыя патріархальныя традиціи, отчасти заимствовалъ взгляды круга, къ которому примкнулъ, но въ своемъ творчествѣ онъ уже былъ человѣкомъ новаго историческаго слоя. Его друзья на первыхъ порахъ поняли высокій поэтическій талантъ Гоголя и его художественную силу, но не поняли общественнаго значенія его произведеній и потомъ отступились отъ нихъ, когда сдѣлалось ясно ихъ дѣйствіе на общество. Самъ Гоголь также отступился отъ своихъ произведеній, потому что это дѣйствіе ихъ превышало уровень теоретическихъ понятій, вынесенныхъ имъ изъ его школы и изъ его отношеній.

Воспитаніе Гоголя шло сначала въ малороссійской патріархальной семьѣ, гдѣ онъ имѣлъ возможность близко приглядѣться къ старосвѣтскому быту украинскаго дворянства, къ нравамъ, преданіямъ и обычаямъ народа, которые потомъ дали ему богатый матеріалъ для его малорусскихъ разсказовъ. Ученье въ Нѣжинскомъ лицеѣ, откуда на вакаціи и праздники онъ ѣздилъ домой, продолжило этотъ первый періодъ его воспитанія; малорусскіе поэтическіе интересы поддерживались по прежнему, между прочимъ, театромъ, который Гоголь съ товарищами устроилъ въ

лицеѣ и гдѣ, въ числѣ другихъ пьесъ, давались малорусскія комедіи его отца: Гоголь-отецъ составлялъ ихъ для сцены, устроенной въ Кибинцахъ, имѣніе извѣстнаго Трощинскаго, который жилъ тогда здѣсь на покоѣ. Ученье въ лицеѣ, по словамъ Гоголя и по признанію самихъ его наставниковъ, дало ему немного; его свѣдѣнія были необширныя, и главное изъ нихъ онъ, вѣроятно, пріобрѣлъ собственнымъ чтеніемъ. Его знанія были случайны и отрывочны; понятно, что у двадцати-лѣтняго юноши подобнаго воспитанія легко могло не составиться опредѣленнаго образа мыслей, но и въ дальнѣйшемъ образованіи и обстановкѣ не было задатковъ для этого, а между тѣмъ почти тотчасъ по выходѣ изъ школы онъ уже вступаетъ на литературное поприще. Его мнѣнія о коренныхъ вопросахъ нравственности и общественной жизни оставались и теперь тѣ же патріархально-простодушныя мнѣнія. Въ немъ созрѣвалъ могущественный талантъ,—его чувство и наблюдательность глубоко проникали въ жизненныя явленія,—но его мысль не останавливалась на причинахъ этихъ явленій. Онъ рано былъ исполненъ великодушнаго и благороднаго стремленія къ человѣческому благу, сочувствія къ человѣческому страданію; онъ находилъ для ихъ выраженія возвышенный поэтическій языкъ, глубокій юморъ и потрясающія картины, но эти стремленія оставались на степени чувства, художественнаго проницанія, идеальной отвлеченности, въ томъ смыслѣ, что при всей ихъ силѣ Гоголь не переводилъ ихъ въ практическую мысль улучшенія общественнаго. Подобной мысли у него не было: для устраненія человѣческихъ бѣдствій, по его мнѣнію, нужно было только, чтобы люди избавились отъ пороковъ и стали добродѣтельны,—этимъ бы все исправилось. Въ первое время у него, безъ сомнѣнія, не было другой мысли объ этихъ предметахъ, а когда стали указывать ему иную точку зрѣнія, онъ уже не могъ стать на нее и въ послѣднее время...

Еще въ лицеѣ Гоголь высказывалъ свое горячее желаніе быть полезнымъ обществу; онъ чувствовалъ въ себѣ какія-то необыкновенныя силы и ожидалъ, что сдѣлаетъ что-то особенное и выходящее изъ ряда; онъ былъ исполненъ высокими, но неясными стремленіями,—но, какъ онъ говорилъ потомъ не одинъ разъ, онъ вовсе не думалъ быть писателемъ, и полагалъ, что всего лучше и всего полезнѣе употребить свои силы на службѣ—той главнѣйшей, чуть не единственной дорогѣ, которую могъ тогда выбрать человѣкъ его положенія [1]). По окончаніи курса онъ рѣ-

[1]) См. Записки о жизни Гоголя. I, стр. 25, 36, 75, 129.

шилъ отправиться для этого въ Петербургъ. Здѣсь онъ дѣйствительно поступилъ на службу, но уже скоро увидѣлъ, что это занятіе не доставляетъ ему того удовлетворенія, какого онъ ждалъ. Въ немъ скоро сказался писатель. Литературныя предпріятія его начались довольно естественно въ романтическомъ тонѣ („Италія", „Ганцъ Кюхельгартенъ", 1829), въ которомъ онъ прямо слѣдовалъ господствовавшей тогда школѣ. Гоголь скрывалъ свое имя подъ псевдонимомъ, считая свои первыя произведенія пробнымъ опытомъ. Когда вышедшая книжка встрѣтила неблагосклонный пріемъ, Гоголь самъ увидѣлъ неудачу, собралъ свое изданіе и сжегъ его; книжка сдѣлалась чрезвычайной рѣдкостью и самые близкіе друзья его не знали потомъ ничего объ этомъ первомъ его произведеніи. Слѣдовало потомъ еще нѣсколько небольшихъ пьесъ, и наконецъ новая попытка была уже настоящимъ успѣхомъ. Это были „Вечера въ хуторѣ близъ Диканьки" (1831), обезпечившіе Гоголю мѣсто въ литературѣ и начавшіе его славу. Гоголю было тогда двадцать два года.

Въ періодѣ этихъ первыхъ опытовъ (1829 — 1831) Гоголь успѣлъ познакомиться съ П. А. Плетневымъ, который между прочимъ присовѣтовалъ ему извѣстный псевдонимъ Рудаго-Панька, поставленный на „Вечерахъ". Съ 1831 года мы видимъ уже Гоголя окончательно связаннымъ съ кругомъ писателей, средоточіемъ котораго былъ Пушкинъ. Черезъ Плетнева, или прямо, Гоголь познакомился съ Жуковскимъ, затѣмъ съ Пушкинымъ; далѣе, мы видимъ въ числѣ его друзей съ этого времени кн. Вяземскаго, гр. М. Ю. Віельгорскаго, г-жу А. О. Смирнову и ея брата Россети, и др. Почти въ то же время начинаются его другія близкія связи въ Москвѣ съ Погодинымъ и Шевыревымъ, съ М. А. Максимовичемъ, съ которымъ одно время его тѣсно соединяла общая любовь къ малороссійской старинѣ и народной поэзіи. Послѣдній литературный кругъ, съ которымъ онъ нѣсколько позднѣе сталъ въ дружескія отношенія, былъ кругъ славянофильскій—поэтъ Языковъ и семейство Аксаковыхъ. Но главнѣйшія связи, дѣйствовавшія на развитіе литературныхъ идей Гоголя, находились въ кружкѣ Жуковскаго, Плетнева, кн. Вяземскаго и др. Онъ вступилъ сюда юношей, съ любовью принятъ былъ въ этотъ кругъ и остался въ немъ навсегда. Для исторіи внутренняго развитія Гоголя этотъ кругъ имѣлъ большое значеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, всматриваясь въ образъ мыслей Гоголя, нельзя не увидѣть, что всѣ его коренныя представленія о жизни и литературѣ были именно представленія этого послѣ-Пушкинскаго круга; что, выдѣляясь отъ него оригинальностью таланта,

Гоголь ничѣмъ не разнился съ нимъ въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ объ искусствѣ, о религіи, авторитетѣ, обществѣ, народѣ. Гоголь вступилъ въ этотъ кругъ младшимъ членомъ. Когда онъ едва оставилъ школу, люди, составлявшіе этотъ кругъ, были уже признанными главами литературы; это были люди зрѣлаго развитія, опредѣленныхъ понятій, болѣе обширнаго (если не болѣе глубокаго) образованія, болѣе или менѣе значительнаго положенія въ обществѣ. Они стали для Гоголя высшей школой, довершившей его образованіе.

Выше мы старались опредѣлить общій характеръ литературы тридцатыхъ годовъ, и то положеніе, которое приняли въ ней ея корифеи—Жуковскій и Пушкинъ. Этимъ опредѣляется тотъ порядокъ идей, какой могъ быть здѣсь усвоенъ Гоголемъ; нѣсколько подробностей могутъ ближе объяснить вліяніе этого круга на внутреннюю исторію Гоголя.

„...Гоголь сдѣлался литераторомъ,—говоритъ авторъ упомянутой выше статьи,—и случайность, которая до сихъ поръ называется необыкновенно счастливой и благотворной для развитія творческихъ силъ Гоголя, ввела его въ кружокъ, состоявшій изъ избраннѣйшихъ писателей тогдашняго Петербурга. Первымъ былъ въ этомъ кружкѣ человѣкъ съ талантомъ дѣйствительно великимъ, съ умомъ дѣйствительно очень быстрымъ, съ характеромъ дѣйствительно очень благороднымъ въ частной жизни. Пушкинъ ободрялъ молодого писателя и внушалъ ему, какимъ путемъ надобно идти къ поэтической славѣ. Но каковъ могъ быть характеръ этихъ внушеній? Извѣстенъ образъ мыслей, вполнѣ развившійся въ Пушкинѣ, когда прежніе его руководители смѣнились новыми друзьями и прежняя непріятная обстановка замѣнилась благосклонностью со стороны людей, третировавшихъ Пушкина нѣкогда какъ дерзкаго мальчишку. До конца жизни Пушкинъ оставался благороднымъ человѣкомъ въ частной жизни; человѣкомъ современныхъ (т.-е., тогда) убѣжденій онъ никогда не былъ; прежде, подъ вліяніями, о которыхъ вспоминаетъ въ „Аріонѣ“,—казался, а теперь даже и не казался. Онъ могъ говорить объ искусствѣ съ художественной стороны, ссылаясь на глубокомысленнаго Катенина; могъ прочитать молодому Гоголю прекрасное стихотвореніе „Поэтъ и Чернь“ съ знаменитыми стихами:

„Не для житейскаго волненья.
„Не для корысти, не для битвъ, и т. д.

могъ сказать Гоголю, что Полевой—пустой и вздорный крикунъ; могъ похвалить непритворную веселость „Вечеровъ на хуторѣ“.

Все это, пожалуй, и хорошо, но всего этого мало, а по правдѣ говоря, не все это и хорошо...

„Если мы предположимъ, что въ общество, занятое исключительно разсужденіями объ артистическихъ красотахъ, вошелъ человѣкъ молодой, до того времени не имѣвшій случая составить себѣ твердый и систематическій образъ мыслей, человѣкъ, не получившій хорошаго образованія, должны ли мы будемъ удивляться, когда онъ не пріобрѣтаетъ здравыхъ понятій о метафизическихъ вопросахъ и не будетъ приготовленъ къ выбору между различными взглядами на государственныя дѣла?

„Привычки, утвердившіяся въ обществѣ, имѣютъ чрезвычайную силу надъ дѣйствіями почти каждаго изъ насъ. У насъ еще очень сильно то мелкое честолюбіе, которое мѣшаетъ человѣку находить удовольствіе въ средѣ людей менѣе высокаго ранга, какъ скоро открывается ему доступъ въ кружокъ, принадлежащій къ болѣе высокому классу общества. Гоголь былъ похожъ почти на каждаго изъ насъ, когда пересталъ находить удовольствіе въ обществѣ своихъ прежнихъ молодыхъ друзей (земляковъ и товарищей по лицею), вошедши въ кружокъ Пушкина. Пушкинъ и его друзья съ такимъ добродушіемъ заботились о Гоголѣ, что онъ былъ бы человѣкомъ неблагодарнымъ, еслибы не привязался къ нимъ какъ къ людямъ. „Но можно имѣть расположеніе къ людямъ и не поддаваться ихъ образу мыслей“. Конечно, но только тогда, когда я самъ уже имѣю твердыя и приведенныя въ систему убѣжденія; иначе откуда же я возьму основаніе отвергать мысли, которыя внушаются мнѣ цѣлымъ обществомъ людей, пользующихся высокимъ уваженіемъ въ цѣлой публикѣ, людей, изъ которыхъ каждый образованнѣе меня? Очень натурально, что если я, человѣкъ мало образованный, нахожу этихъ людей честными и благородными, то мало-по-малу привыкну я и убѣжденія ихъ считать благородными и справедливыми“.

Таковы дѣйствительно были отношенія Гоголя къ этому кругу, гдѣ онъ вскорѣ сталъ своимъ. Изданные въ послѣдніе годы историческіе матеріалы сообщаютъ, между прочимъ подробности, которыхъ мы напрасно искали бы въ ихъ тогдашнихъ печатныхъ произведеніяхъ, и эти новыя свѣдѣнія подтверждаютъ взглядъ, выраженный въ приведенной цитатѣ.

Кругъ Пушкина и его друзей держался въ литературѣ тридцатыхъ годовъ особнякомъ и мало сближался съ другими литературными кругами. Главнѣйшіе его представители, Жуковскій и Пушкинъ, пользовались всѣмъ авторитетомъ своей славы, который и служилъ знаменемъ для ихъ второстепенныхъ и третье-

степенныхъ сподвижниковъ. Со второй половины двадцатыхъ годовъ этотъ кругъ сплотился въ прочно-связанное, почти замкнутое общество со своимъ эстетическимъ и общественнымъ кодексомъ.

Въ этомъ кругѣ уцѣлѣвшіе остатки „Арзамаса“ соединялись съ болѣе молодыми представителями романтизма. Изъ Арзамаса перешелъ сюда взглядъ на литературу какъ на отвлеченное художество, взглядъ, приводившій, въ концѣ концовъ, къ полному удаленію литературы отъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Пушкинъ при всемъ глубокомъ желаніи быть „полезнымъ народу“, недаромъ заявлялъ пренебреженіе къ „черни“, т.-е. къ обществу, которое вздумало бы ждать отъ поэзіи участія къ своимъ интересамъ и заботамъ, и высокомѣрно выдѣлялъ привилегію поэта быть рожденнымъ для вдохновенія и сладкихъ звуковъ, безучастныхъ къ „житейскому волненью“.

Съ понятіемъ о поэзіи, удаляющейся отъ „черни“, соединялся тѣсно-консервативный взглядъ въ предметахъ общественныхъ. Устраняясь отъ дѣйствительности, эта литература, особливо у послѣдователей, переставала и понимать ее. Взглядъ кружка развивалъ преданія „Арзамаса“; легкій оттѣнокъ либерализма, сохранявшійся въ виду Шишковскаго старовѣрства и партіи классиковъ, теперь почти исчезъ; по предметамъ общественнымъ мнѣнія кружка состояли въ преклоненіи предъ господствовавшимъ положеніемъ вещей. Жуковскій держался издавна этой точки зрѣнія; у Пушкина съ половины двадцатыхъ годовъ остатки прежняго свободомыслія едва сохраняются, и случалось, что оффиціальная народность находила въ немъ своего пѣвца. Пушкинскій кружокъ поклонялся имени Карамзина, и въ этомъ поклоненіи политическія идеи историка государства россійскаго были однимъ изъ главнѣйшихъ основаній: кружокъ увлекался славою Россіи, вѣрилъ въ ея величіе, не имѣлъ никакихъ сомнѣній относительно настоящаго, а различные недостатки, которыхъ нельзя было не видѣть, приписывалъ только недостатку въ людяхъ добродѣтели, неисполненію законовъ.

Въ литературѣ тридцатыхъ годовъ, кружокъ Пушкина занималъ господствующее положеніе. Послѣднимъ вмѣшательствомъ его въ литературное движеніе того времени была вражда этого круга къ литературной аферѣ, которую вели тогда Гречъ съ Булгаринымъ и Сенковскій. Въ этихъ полемическихъ отношеніяхъ пушкинскій кружокъ высказывалъ очень недвусмысленно свое презрѣніе къ этому униженію литературы; — къ сожалѣнію, у друзей Пушкина не достало характера или умѣнья поддержать

болѣе дѣйствительнымъ образомъ достоинство литературы. Они жаловались, бранили Сенковскаго, но были противъ него безсильны... Къ концу тридцатыхъ годовъ положеніе кружка стало измѣняться; еще при жизни Пушкина начался поворотъ, показывавшій, что его школа перестаетъ удовлетворять нароставшимъ потребностямъ общества. Кружокъ Пушкина (вообще говоря, потому что были исключенія) не понималъ уже новаго движенія, возникавшаго на его глазахъ. Такъ, онъ не любилъ Полевого, не съумѣвши отличить въ его дѣятельности—правда, нѣсколько поспѣшной и шумливой—того, что было въ ней серьезнаго. Живая часть публики поняла, однако, рьянаго журналиста, и „Телеграфъ" имѣлъ вліяніе. Съ другой стороны, нѣмецкая философія, которая казалась Пушкину подозрительной, начала оказывать свое дѣйствіе; съ первымъ изученіемъ этой философіи, въ литературѣ стали все больше укрѣпляться воззрѣнія, основанія которыхъ были во всякомъ случаѣ шире, чѣмъ основанія пушкинской школы. Нѣкоторыя рѣзкости и неряшества, которыя случались у писателей новаго московскаго кружка, напр., у Надеждина, возстановляли противъ нихъ друзей Пушкина, а серьезная сторона новыхъ мнѣній отъ нихъ ускользала. Предубѣжденіе распространилось и на людей, которые продолжали потомъ движеніе, начатое Надеждинымъ,—такъ оно распространилось на Бѣлинскаго и его друзей. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше увеличивалось взаимное непониманіе. Кругъ Пушкина, послѣ его смерти, сталъ все больше терять свое дѣятельное значеніе, все больше уединялся; за непониманіемъ новыхъ направленій явилось раздраженіе, вражда; наконецъ—въ нѣсколькихъ случаяхъ—настоящій обскурантизмъ...

„Время тогда (около 1837 года) было очень уже смирное",—разсказываетъ Тургеневъ въ воспоминаніяхъ своихъ объ одномъ изъ достойнѣйшихъ членовъ пушкинскаго кружка, Плетневѣ. „Правительственная сфера, особенно въ Петербургѣ, захватывала и покоряла подъ себя все". Это были „тѣ времена, которыя покойный Аполлонъ Григорьевъ прозвалъ допотопными. Общество еще помнило удары, обрушившіеся на самыхъ видныхъ его представителей лѣтъ двѣнадцать передъ тѣмъ; и изо всего того, что проснулось въ немъ впослѣдствіи, особенно послѣ 1855 года, ничего даже не шевелилось, а только бродило—глубоко, но смутно—въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы въ смыслѣ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болѣе важными проявленіями ихъ, не было, какъ не было прессы (политической печати), какъ не было гласности, какъ не было личной свободы, а была сло-

весность, и были такихъ словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали".

Кружокъ Пушкина, по своему настроенію, мало чувствовалъ это положеніе вещей. Въ немъ были прекрасные лично люди; иное они понимали въ этомъ положеніи, но ихъ отношеніе къ дѣйствительности было вообще слишкомъ связанное и пассивное. Слова Тургенева о Плетневѣ раскрываютъ цѣлую сторону самаго кружка. „Для критики, въ воспитательномъ, въ отрицательномъ значеніи слова, ему не доставало энергіи, огня, настойчивости, прямо говоря — *мужества*. Онъ не былъ рожденъ бойцомъ"... Пыль и дымъ битвы, говоритъ Тургеневъ, для его натуры были столь же непріятны, какъ и опасность, которой онъ могъ въ ней подвергнуться; но настолько же удаляли его отъ этой битвы и внѣшнія обстоятельства, его положеніе въ обществѣ, связи съ дворомъ. „Оживленное созерцаніе, участіе искреннее, незыблемая твердость дружескихъ чувствъ и радостное поклоненіе поэтическому — вотъ весь Плетневъ".

Эти черты мы найдемъ болѣе или менѣе и у другихъ членовъ кружка. Но по взглядамъ литературнымъ и общественнымъ, они все больше удалялись отъ того пониманія жизни, для котораго требовалось „мужество"; ихъ литературное содержаніе ограничивалось отвлеченными и безразличными вещами, — поклоненіе „поэтическому" становилось только изящнымъ развлеченіемъ. Этотъ кругъ могъ поддерживать только литературу, отвѣчающую ихъ идеально-романтическому настроенію и ихъ общественному положенію. Она могла витать въ возвышенныхъ областяхъ, но должна была чуждаться прозы жизни, стать вдали отъ общественнаго шума и борьбы. Можно себѣ представить, что такое условіе дѣлало поприще этой литературы одностороннимъ и не очень широкимъ... Это и оказалось впослѣдствіи, въ сороковыхъ годахъ и въ концѣ разсматриваемаго періода.

Въ такого рода обстановку попалъ Гоголь при своемъ вступленіи на литературное поприще. Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ приняли теплое участіе въ молодомъ человѣкѣ, первыя произведенія котораго поражали такой свѣжей оригинальностью. Ихъ художественное чувство оцѣнило своеобразный талантъ, и Гоголь уже вскорѣ дѣлается очень близкимъ къ ихъ кругу. Они заботятся о его матеріальныхъ дѣлахъ, доставляютъ ему мѣста и протекціи, поощряютъ литературные труды. Извѣстно, съ какимъ горячимъ чувствомъ Гоголь говорилъ всегда о Пушкинѣ, котораго считалъ своимъ учителемъ и отъ котораго, вѣроятно, многому учился въ самомъ дѣлѣ. Пушкинскія преданія были для него

святы. Недаромъ случилось, что Пушкинъ далъ Гоголю самые сюжеты „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“; какъ говорятъ, онъ разсказалъ Гоголю случай, бывшій въ городѣ Устюжнѣ, новгородской губерніи, гдѣ какой-то проѣзжій господинъ выдалъ себя за чиновника министерства и обобралъ городскихъ жителей. Самого Пушкина принялъ за тайнаго ревизора нижегородскій губернаторъ, когда Пушкинъ проѣзжалъ черезъ Нижній въ Оренбургъ для собиранія свѣдѣній о пугачевскомъ бунтѣ: нижегородскій губернаторъ даже предупреждалъ объ этомъ въ Оренбургъ В. А. Перовскаго, который былъ пріятелемъ Пушкина и самъ ему объ этомъ разсказывалъ. На этихъ данныхъ и былъ задуманъ „Ревизоръ“, котораго Пушкинъ называлъ себя крестнымъ отцомъ. Въ „Авторской Исповѣди“ Гоголь разсказываетъ, что Пушкинъ передалъ ему сюжетъ „Мертвыхъ Душъ“, сюжетъ, котораго, по его словамъ, Пушкинъ не отдалъ бы никому другому, кромѣ его. Въ письмахъ Гоголя остались выраженія самаго глубокаго уваженія къ Пушкину [1].

Извѣстны слова Пушкина о Гоголѣ, что никто не умѣетъ лучше его подмѣтить всю пошлость русскаго человѣка. Гоголь приводитъ его слова: „какъ съ этой способностью (у Гоголя) угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! Это просто грѣхъ!“ Убѣждая Гоголя сдѣлать это, Пушкинъ приводилъ примѣръ Сервантеса, который только съ „Донъ-Кихотомъ“ занялъ свое высокое мѣсто въ литературѣ... При всемъ томъ Пушкинъ едва ли предвидѣлъ то значеніе, которое Гоголю предстояло получить въ нашей литературѣ. Одинъ современникъ той эпохи (гр. Соллогубъ), замѣчаетъ, что, кромѣ способности подмѣчать пошлость, у Гоголя были еще другія гро-

[1] Напримѣръ, въ напечатанномъ недавно письмѣ Гоголя къ Жуковскому, изъ Рима въ апрѣлѣ 1839 г., онъ говоритъ: „...Я долженъ продолжать мною начатой большой трудъ, который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который обратился для меня съ этихъ поръ въ *священное завѣщаніе*“. Въ письмѣ къ Плетневу, въ мартѣ 1837 г., по полученіи извѣстія о смерти Пушкина, Гоголь говоритъ: „...Никакой вѣсти нельзя было получить хуже изъ Россіи. Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое — вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы“, и проч. Сочиненія и письма Гоголя, изд. Кулиша, V, стр. 286—287. См. также „Выбранныя Мѣста“ и „Авторскую Исповѣдь“, и Записки о жизни Гоголя, I. стр. 194 (мнѣніе друзей Гоголя объ его отношеніяхъ съ Пушкинымъ).

манныя достоинства, и что Пушкинъ никогда въ томъ вполнѣ не убѣдился и во всякомъ случаѣ не ожидалъ, чтобы имя Гоголя „стало подлѣ, если не выше его собственнаго имени"... Пушкинъ ожидалъ отъ произведеній Гоголя большихъ художественныхъ достоинствъ, большого успѣха въ публикѣ, но не могъ предвидѣть ихъ *общественнаго* вліянія,—какъ потомъ не хотѣли признать этого вліянія друзья Пушкина и самъ Гоголь.

Въ самомъ дѣлѣ, этого вліянія не предвидѣли ни Плетневъ, ни Жуковскій. Плетневъ ближе и проще зналъ русскую дѣйствительность, чѣмъ Жуковскій; человѣкъ большого практическаго опыта и здраваго смысла, онъ еще могъ предполагать подобное вліяніе Гоголя, даже находить его законнымъ,—хотя только до извѣстныхъ предѣловъ. Что касается Жуковскаго, то ему менѣе, чѣмъ кому-нибудь изъ этого круга, понятна была возможность русской сатиры не въ видѣ отвлеченнаго нравоученія, а въ видѣ проявленія настоящей независимости общественной мысли.

Личныя связи Гоголя съ Жуковскимъ также были очень тѣсны. Жуковскій располагалъ къ себѣ другими сторонами характера. При всѣхъ односторонностяхъ своего поэтическаго мистицизма, Жуковскій отличался благородной, мягкой человѣчностью, готовой на практическую помощь даже въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, — на что не хватало храбрости ни у кого больше изъ людей той среды [1]). Гоголь былъ привязанъ къ нему тѣмъ больше, что былъ обязанъ ему въ устройствѣ многихъ своихъ практическихъ дѣлъ. Еще въ письмахъ 1831 года между ними видна самая дружеская короткость; впослѣдствіи она еще увеличилась, особенно во время жизни Гоголя за границей, гдѣ онъ часто пріѣзжалъ къ Жуковскому и гдѣ послѣдній во время болѣзни Гоголя носился съ нимъ какъ съ капризнымъ ребенкомъ [2])... Къ

[1]) Вотъ два замѣчанія, любопытнымъ образомъ стоящія рядомъ въ воспоминаніяхъ г-жи Смирновой: „Лунная ночь, съ ея таинственностью и чарами, приводила Жуковскаго въ восторгъ. Отношенія его къ старымъ товарищамъ, къ друзьямъ молодости никогда не измѣнялись. Не разъ онъ подвергался неудовольствію государя за свою непоколебимую вѣрность нѣкоторымъ изъ нихъ" (т.-е. къ нѣкоторымъ изъ декабристовъ).

[2]) Въ образчикъ ихъ отношеній можно привести, напр., слѣдующій отрывокъ изъ письма Гоголя къ Жуковскому въ іюнѣ 1836 г., по отъѣздѣ перваго за границу: „Разлуки между нами быть не можетъ и не должно быть, и гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ уголкѣ не трудился, я всегда буду возлѣ васъ. Каждую субботу я буду въ вашемъ кабинетѣ, вмѣстѣ со всѣми близкими вамъ. Вѣчно вы будете представляться мнѣ слушающимъ меня читающаго. Какое участіе, какое заботливо-родственное участіе видѣлъ я въ глазахъ вашихъ. Низкимъ и пошлымъ почиталъ я выраженіе благодарности моей къ вамъ. Нѣтъ, я не былъ проникнутъ бла-

послѣднимъ десятилѣтіямъ своей жизни, именно въ пору отношеній съ Гоголемъ, Жуковскій, нѣкогда романтическій идеалистъ съ отвлеченной религіей, больше и больше переходилъ въ православнаго мистика, и когда въ Гоголѣ стала развиваться его тревожная и мнительная религіозность, общество Жуковскаго могло только поддержать ее и усилить. Въ понятіяхъ о жизни Жуковскій до конца остается идеалистомъ, и легко повѣрить разсказамъ о немъ г-жи Смирновой: „Такой натурѣ (добродушной и довѣрчивой) пришлось провести сколько лѣтъ въ корридорахъ Зимняго дворца! Но онъ былъ чистъ и свѣтелъ душею и въ этой атмосферѣ“... „Онъ какъ-то зналъ, что есть зло en gros, но не видалъ его en détail, когда и случалось ему столкнуться съ чѣмъ-нибудь дурнымъ“... Въ вопросѣ русской дѣйствительности, изображеніе которой Гоголь поставилъ своей задачей, Жуковскій былъ бы плохой совѣтникъ; скорѣе, онъ могъ только поддержать въ Гоголѣ его мистическое апостольство, къ которому впослѣдствіи онъ воображалъ себя призваннымъ.

Были наконецъ въ этомъ кругѣ и люди другого характера, нѣкогда остроумцы и esprits forts, но теперь и остроуміе, и бывшее свободомысліе выдыхались и замѣнялись житейскимъ благоразуміемъ и успокоеніемъ на лаврахъ. Въ своемъ кружкѣ подобные люди еще ходили со своей старой репутаціей; внѣ кружка они переставали быть литературной силой.

Въ тридцатыхъ, а особливо въ сороковыхъ годахъ, большинство этихъ друзей и покровителей Гоголя были люди довольно высоко поставленные, вполнѣ или отчасти придворные... Литературные интересы принимали въ этихъ условіяхъ совсѣмъ особый характеръ: онъ сообщился вскорѣ и Гоголю. Кружокъ все больше и больше удалялся отъ главнаго теченія литературы. При Пушкинѣ, — это начиналось враждой къ Полевому, къ Надеждину; въ сороковыхъ годахъ это кончилось враждой къ Бѣлинскому и всѣмъ писателямъ его направленія [1]). Единственныя оставшіеся симпатіи были къ „Москвитянину“, который пріятенъ былъ своимъ благонравіемъ, своей вѣрностью Карамзину и во-

годарностью; клянусь, это что-то выше, что-то больше ея; я не знаю, какъ назвать это чувство, но катящіяся въ эту минуту слезы, но взволнованное до глубины сердце говорятъ, что оно одно изъ тѣхъ чувствъ, которыя рѣдко достаются въ удѣлъ жителю земли“. Мы не будемъ разбирать, былъ ли Гоголь *вполнѣ* искрененъ въ этихъ заявленіяхъ своей преданности; оставляемъ вообще въ сторонѣ опредѣленіе его личнаго характера,—оно мало измѣнило бы выводы о теоретическихъ мнѣніяхъ, какимъ Гоголь научился въ томъ кругѣ.

[1]) Самъ Пушкинъ, какъ выше было замѣчено, былъ заинтересованъ Бѣлинскимъ, но скрывалъ это отъ своихъ друзей.

обще старымъ преданіямъ; остальная литература мало интересовала кружокъ или возбуждала въ немъ крайнюю антипатію. О ней даже мало говорится въ перепискѣ кружка; но рѣдкія упоминанія показываютъ, что чувства къ ней были одинаковы у различныхъ его членовъ. Вотъ отрывокъ изъ письма 1845 г. къ Жуковскому, отъ одного изъ его друзей: „Маленькое число тѣхъ людей, съ которыми я бывалъ у васъ, теперь странно разрознилось. Нѣтъ общей любви, общаго интереса и общей цѣли. Однихъ охолодило чувство *глубокаго презрѣнія къ господствующимъ идеямъ* въ кругахъ литературныхъ. Другіе, недостойно увлекшись соблазномъ корысти, невольно отталкиваютъ отъ себя каждое несовременное.[1]) сердце. Третьи, какъ златые тельцы, стоятъ на своемъ подножіи — боги для упавшихъ передъ ними, болваны для неязычниковъ. Нѣтъ Моисея и нѣтъ религіи. Я увѣренъ, что и Вяземскій испытываетъ ощущенія, отъ которыхъ я часто задыхаюсь" и проч. Въ письмѣ не говорится ближе, о чемъ именно идетъ рѣчь, но несомнѣнно, что „господствующія идеи" относились именно къ идеямъ Бѣлинскаго и его круга. Эти враждебныя отношенія и высказались въ 1847, при появленіи „Переписки съ друзьями".

Нѣсколько позднѣе, въ мартѣ 1850 года, Плетневъ писалъ къ Жуковскому „...Норовъ (товарищъ министра народнаго просвѣщенія, Абрамъ Сергѣевичъ) затѣваетъ по *моей* мысли образовать журналъ для противодѣйствія *конвульсивно-скаредной* литературѣ нашей. Что вы объ этомъ думаете? Въ распоряженіи министерства не только всѣхъ университетовъ профессора и всѣ академики, но и сильные денежные способы. Итакъ, мнѣ кажется, этою арміею навѣрно побѣдить можно нестройную толпу наѣздниковъ, которые безъ предводителя (?) и поддерживаются однимъ развратнымъ невѣжествомъ провинціаловъ. Очень желаю знать, какъ вы объ этомъ судите"..

Повидимому, нѣчто было уже начато для осуществленія этой мысли. Норовъ устроилъ у себя ученые рауты, на которыхъ собирались профессора и академики, но предпріятіе тѣмъ не менѣе не исполнилось. Самъ Плетневъ долженъ былъ, кажется, уже скоро разочароваться въ своихъ надеждахъ. (Припомнимъ, что „конвульсивно-скаредная" литература тогда едва существовала; это было время усиленной цензуры, подъ руководствомъ Мусина-Пушкина, негласнаго комитета и т. д.). Случилось, что въ это самое время Жуковскій прислалъ Плетневу рядъ своихъ статей

[1]) Иронически.

для отдачи въ цензуру и напечатанія. Это были именно статьи по религіозно-нравственнымъ и общественнымъ предметамъ, писанныя Жуковскимъ въ послѣдніе годы жизни—гдѣ онъ объяснялъ свои „основныя начала въ политикѣ и въ философіи и нравственности“, а именно—„христіанство и самодержавіе, христіанство и православіе“. Можно себѣ представить, что могъ написать вѣрующій, строго-консервативный, преданный Жуковскій о предметахъ этого рода [1]). Статьи привели Плетнева въ восторгъ. Но на дѣлѣ оказалось (письмо Плетнева отъ мая 1850), что тотъ же Норовъ, на котораго Плетневъ возлагалъ свои надежды, не пропустилъ статьи Жуковскаго, особенно Плетнева восхитившей; что духовная цензура не пропустила статей Жуковскаго, которыя имѣли отношеніе къ религіи. До такого опыта должны были дойти люди, собиравшіеся спасать литературу... Опытъ былъ слишкомъ поздній, да и напрасный.

Когда въ дѣятельности Пушкина настала пора чисто художественнаго творчества, интересъ общественный сталъ для него довольно безразличенъ; это обстоятельство, которое ставили въ связь съ его новыми отношеніями въ высшихъ сферахъ, начало охлаждать прежнее горячее сочувствіе къ нему въ той части публики, которая искала въ литературѣ нравственно-общественнаго смысла. Послѣ Пушкина, его кружокъ еще менѣе заботился объ этихъ сочувствіяхъ, считая, что литература въ ихъ смыслѣ, чисто поэтическая, совершенно консервативная, и есть настоящая литература, что другой не должно быть, или она будетъ извращеніемъ ея здравыхъ началъ. Такимъ образомъ, теорія чистаго искусства сходилась съ практическимъ отвращеніемъ кружка къ критикѣ дѣйствительности, а съ другой стороны это нерасположеніе къ критикѣ становилось необходимостью для членовъ кружка по ихъ связямъ въ высшемъ кругу, при дворѣ. Въ тѣ времена и вообще критика дѣйствительности была возможна только въ самомъ ограниченномъ размѣрѣ и была еще мало распространена; а въ этомъ кругу независимый взглядъ на общественную дѣйствительность просто былъ вещью немыслимой. Что внѣшнее положеніе кружка вліяло извѣстнымъ образомъ на его литературныя мнѣнія,—этого не могла не замѣтить новая школа; и справедливо не могла этому сочувствовать, потому что здѣсь начиналась неискренность, подведеніе требованій литературы, такъ высоко оцѣняемыхъ самимъ кружкомъ, подъ личные посторонніе разсчеты, внутренняя ложь. Это былъ весьма существенный пунктъ,

[1]) Эти статьи вошли теперь въ послѣднее изданіе сочиненій Жуковскаго.

гдѣ двѣ литературныя школы или направленія впослѣдствіи окончательно перестали понимать другъ друга.

Гоголю пришлось испытать на себѣ удобства и неудобства этихъ отношеній. Его матеріальныя обстоятельства почти всегда были не блестящи; онъ вѣчно нуждался въ деньгахъ; когда онѣ бывали, онъ самъ распоряжался ими не совсѣмъ благоразумно; въ позднѣйшіе годы онъ нерѣдко обращалъ ихъ на филантропію. Друзья указали ему одинъ путь для поправленія своихъ дѣлъ,— путь, къ которому онъ потомъ много разъ обращался. Вновь изданные матеріалы прибавляютъ нѣсколько свѣдѣній къ фактамъ, извѣстнымъ изъ біографіи. Напримѣръ:

Въ іюнѣ 1836, уже въ первую поѣздку за границу, Гоголь пишетъ изъ Гамбурга къ Жуковскому: „Не знаю, какъ благодарить васъ за хлопоты ваши доставить мнѣ отъ императрицы на дорогу. Если это сопряжено съ неудобствами, или сколько нибудь неприлично, то не старайтесь объ этомъ“, и проч. Онъ надѣется обойтись собственными средствами.

Въ октябрѣ 1837, онъ пишетъ къ Жуковскому изъ Рима: „Я получилъ данное мнѣ великодушнымъ нашимъ государемъ вспоможеніе. Благодарность сильна въ груди моей“, и проч.

Въ апрѣлѣ 1839, въ письмѣ къ Жуковскому изъ Рима, онъ описываетъ свое безденежье и продолжаетъ: „Я думалъ, думалъ и ничего не могъ придумать лучше, какъ прибѣгнуть къ государю. Онъ милостивъ; мнѣ памятно до гроба то вниманіе, которое онъ оказалъ къ моему Ревизору. Я написалъ письмо, которое прилагаю“ и проч. Онъ *совѣтуетъ* предложить на высочайшее прочтеніе „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ и „Тараса Бульбу“, какъ такія произведенія, которыя могутъ дать о немъ „правильное понятіе“,—именно произведенія, какъ видимъ, удаленныя отъ всякаго непріятнаго столкновенія съ дѣйствительностью...

Въ 1842, по выходѣ „Мертвыхъ Душъ“, онъ ожидаетъ опять „милости“ [1]). Далѣе, Жуковскій въ январѣ 1845 пишетъ къ г-жѣ Смирновой: „Вамъ бы надобно о немъ (о Гоголѣ) позаботиться у царя и царицы... Онъ въ безпрестанной зависимости отъ завтрашняго дня. Подумайте объ этомъ; вы лучше другихъ можете *характеризовать Гоголя съ его настоящей лучшей сто-*

[1]) Въ письмѣ къ Плетневу: „Я къ вамъ съ корыстолюбивой просьбой.. Узнайте, что дѣлаютъ экземпляры „Мертвыхъ Душъ“, назначенные мною къ представленію... Въ древнія времена, когда былъ въ Петербургѣ Жуковскій, мнѣ *обыкновенно* что-нибудь слѣдовало. Это мнѣ теперь очень, очень было бы нужно“, и проч. Изд. Кулиша, V, стр. 499. Записки, I, стр. 322.

роны. По его *комическимъ твореніямъ* могутъ въ немъ видѣть *совсѣмъ не то*, что̀ онъ есть. У насъ смѣхъ принимаютъ за грѣхъ, слѣдовательно всякій насмѣшникъ долженъ быть великій грѣшникъ".

Въ апрѣлѣ того же года, Жуковскій пишетъ г-жѣ Смирновой о скорѣйшей высылкѣ назначенныхъ Гоголю денегъ. Ему было назначено на три года отъ Государя по 1,000 рублей, и отъ Наслѣдника по тысячѣ франковъ [1]).

И такъ далѣе.

Гоголю потомъ ставили въ упрекъ это исканіе милостей, выпрашиванье денегъ, которое получало особенно странный видъ, когда появилась въ свѣтъ „Переписка" — проповѣдь мистическаго аскетизма, общественнаго застоя и приниженія. Странное совпаденіе фактовъ заставляло недоумѣвать и сомнѣваться о личномъ характерѣ Гоголя, о полномъ безкорыстіи его дѣйствій. Но теперь можно видѣть, что дѣло было здѣсь не столько въ личномъ характерѣ, сколько въ цѣломъ взглядѣ на вещи, который былъ имъ усвоенъ. Правда, въ характерѣ Гоголя нельзя не видѣть какой-то искательности, особеннаго желанія имѣть друзей въ аристократическомъ кругѣ; эта искательность довольно обыкновенное дѣло, но въ писателѣ такой силы можно бы желать больше независимости. Правда также, что, желая выпросить денегъ, Гоголь могъ бы не употреблять такихъ средствъ, какъ рекомендація тѣхъ, а не другихъ своихъ произведеній, для достиженія того, а не другого впечатлѣнія. Но вообще, если онъ искалъ средствъ на упомянутой дорогѣ, это не было *такое* попрошайничество, какъ о томъ думали, онъ просто слѣдовалъ понятіямъ кружка̀, въ которомъ жилъ и который са̀мъ тому помогалъ. Литература въ глазахъ кружка, а затѣмъ въ глазахъ Гоголя не имѣла значенія такой независимой идеальной общественной силы, какое приписывалось ей новыми литературными поколѣніями; литература, какъ поэзія („поэзія есть добродѣтель", по словамъ Жуковскаго) и поученіе, служа народному просвѣщенію, служила прямо цѣлямъ государства,—такъ что занятіе литературой было со стороны писателя такая же „служба", какъ всякая другая. Такъ думалъ еще Карамзинъ. Начавши заниматься исторіей государства россійскаго, онъ желалъ быть именно „исторіографомъ",

[1]) См. къ этому оффиціальную переписку, напечатанную въ „Сѣв. Почтѣ", 1865 г. Послѣ выхода „Выбранныхъ Мѣстъ", Гоголь напротивъ пишетъ Плетневу: „...Ни отъ кого не бери подарковъ и постарайся отъ этого вывернуться",—но совѣтуетъ „смѣло брать", если предложатъ деньги на вспомоществованіе тѣмъ, кого Гоголь встрѣтитъ идущихъ на поклоненіе св. мѣстамъ. Изд. Кулиша, IV, 272; Записки, II, 69.

получалъ за то жалованье (правда, скромное), чины и кресты, и приступая къ печати, непремѣнно хотѣлъ, чтобы книга издана была на казенный счетъ... Въ кружкѣ Пушкина было очень принято патріархальное представленіе, что литературная дѣятельность, даже не исторіографія, можетъ и должна быть поощряема подобнымъ образомъ, и что если поощреніе замедлилось, его можно было искать и выпрашивать. Карамзинъ по крайней мѣрѣ писалъ книгу, первую въ своемъ родѣ, дѣйствительно съ точки зрѣнія государственной, оффиціальной. Теперь стали думать, что юмористическіе разсказы, комедіи—также „служба" и, слѣдовательно, также могутъ требовать оффиціальнаго вознагражденія [1]). Вниманіе, оказанное высшими сферами „Ревизору" въ то время, какъ въ чиновничьей публикѣ раздавались вопли противъ него, — утверждало Гоголя въ этомъ мнѣніи. Впослѣдствіи, сильное впечатлѣніе, имъ произведенное, начинающаяся слава, удостовѣряли Гоголя, что дѣло его крупное дѣло, и онъ окончательно увѣрился, что призванъ обличать пороки и злоупотребленія именно въ видахъ правительства и для государственной пользы.

Въ этихъ и подобныхъ понятіяхъ Гоголь несомнѣнно многое заимствовалъ прямо отъ своихъ друзей; другихъ понятій онъ тогда ни отъ кого не слыхалъ. Онъ принялъ понятія кружка и считалъ свои произведенія вполнѣ подходящими подъ ихъ теорію: друзья его, хотя замѣчали высокія достоинства его произведеній, также не предвидѣли въ нихъ ничего такого, что вносило бы въ литературу какой-нибудь совсѣмъ новый, неизвѣстный имъ элементъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по первымъ произведеніямъ Гоголя можно было не предвидѣть этого. „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки" (1831—1832) была живая, веселая книга, съ богатымъ юморомъ, изображавшая малорусскій бытъ. Въ общественномъ смыслѣ это была вещь безразличная, не поднимавшая никакого вопроса,

[1]) Вотъ собственныя слова Гоголя въ „Авторской Исповѣди": ему надо было объяснить себѣ цѣль своего труда („Мертвыхъ Душъ"), чтобы онъ самъ возгорѣлся къ нему любовью, — „словомъ, чтобы почувствовалъ и убѣдился самъ авторъ, что творя творенье свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что исполняя его, онъ *служитъ въ то же самое время* такъ же *государству* своему, *какъ бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ*. Мысль о службѣ у меня никогда не пропадала... Какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу *сослужить также службу государственную*, я бросилъ все... чтобы обсудить... какъ произвести такимъ образомъ свое твореніе, чтобы доказать, что я былъ также гражданинъ земли своей и хотѣлъ служить ей". Изданіе Кулиша, III, стр. 502—503.

хотя, собственно говоря, и въ ней было уже новое, именно любящее отношеніе къ своему малорусскому народу, безъ всякаго искусственнаго романтизма. „Вечера“ были параллельны тому литературному движенію, которое въ эти годы стало обращаться къ изученію народной жизни, — обращаться не всегда вѣрно, но уже не свысока, не съ сознаніемъ превосходства, а съ теплымъ сочувствіемъ. Гоголь около этого времени именно увлекался малороссійской стариной и народной поэзіей, дѣля это увлеченіе съ Максимовичемъ, и безъ сомнѣнія не мало содѣйствовалъ народно-этнографическому изученію возбужденіемъ сочувствія и любопытства къ живому народному быту. *Этотъ* интересъ Гоголя едва ли былъ совершенно раздѣляемъ его петербургскими друзьями.

Въ „Арабескахъ“ (1835) юморъ Гоголя коснулся новыхъ сторонъ жизни, и уже въ полную силу его глубокаго таланта. Здѣсь явились „Записки Сумасшедшаго“. Въ слѣдующемъ году появился „Ревизоръ“ въ печати и на сценѣ. Гоголь достигалъ вершинъ своего творчества, и вліяніе, предстоявшее ему въ литературѣ, уже начало обозначаться. Гоголь становился для новыхъ литературныхъ поколѣній представителемъ иного, болѣе глубокаго значенія литературы.

Но такъ ли думали о немъ его друзья, и самъ Гоголь предполагалъ ли эту, болѣе широкую цѣль и смыслъ своихъ произведеній? Друзья его думали не такъ. Высоко цѣня Гоголя, они не видѣли въ его трудахъ той особенной значительности, которая обнаружилась вскорѣ могущественнымъ вліяніемъ его въ литературѣ. „Ревизоръ“ былъ для нихъ прекрасная комедія, отличная картина русскихъ нравовъ, одушевленная желаніемъ указать пороки и злоупотребленія; но для нихъ, и для самого Гоголя осталось мало понятно общественное значеніе его произведеній. Дѣло въ томъ, что дѣйствительный смыслъ этихъ произведеній, вытекавшій изъ ихъ поэтической правды, шелъ гораздо дальше того, что̀ Гоголь и его друзья предполагали по своему литературному и общественному образу мыслей. Этотъ образъ мыслей былъ чисто и совершенно консервативный, дѣйствіе сатиры Гоголя было далеко не консервативное; и въ этомъ-то Гоголь и его друзья не отдавали себѣ яснаго отчета [1].

---

[1]) Этотъ общественный смыслъ и для его другихъ почитателей раскрылся не вдругъ. Бѣлинскій, съ перваго раза высоко поставившій Гоголя, въ первыхъ его произведеніяхъ восхищается только чисто-художественными, отвлеченными достоинствами. Тургеневъ, который еще помнилъ появленіе „Ревизора“, замѣчаетъ, что ему, какъ вѣроятно, вообще его сверстникамъ, въ то время еще не было понятно все значеніе геніальной комедіи. Это и естественно; потому что значеніе ея опре-

„Нѣтъ, кажется, сомнѣнія—говоритъ авторъ цитированной выше статьи,—что до того времени, когда начало въ Гоголѣ развиваться такъ-называемое аскетическое направленіе, онъ не имѣлъ случая пріобрѣсти ни твердыхъ убѣжденій, ни опредѣленнаго образа мыслей. Онъ былъ похожъ на большинство полуобразованныхъ людей, встрѣчаемыхъ нами въ обществѣ. Объ отдѣльныхъ случаяхъ, о фактахъ, попадающихся имъ на глаза, судятъ они такъ, какъ велитъ имъ инстинктъ ихъ натуры. Такъ и Гоголь, отъ природы имѣвшій расположеніе къ болѣе серьезному взгляду на факты, нежели другіе писатели тогдашняго времени, написалъ „Ревизора“, повинуясь единственно инстинктивному внушенію своей натуры: его поражало безобразіе фактовъ, и онъ выражалъ свое негодованіе противъ нихъ; о томъ, изъ какихъ источниковъ возникаютъ эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, въ которой встрѣчаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, онъ не размышлялъ много. Напримѣръ, конечно рѣдко случалось ему думать о томъ, есть ли какая-нибудь связь между взяточничествомъ и невѣжествомъ, есть ли какая-нибудь связь между невѣжествомъ и организаціей различныхъ гражданскихъ отношеній. Когда ему представлялся случай взяточничества, въ его умѣ возбуждалось только понятіе о взяточничествѣ, и больше ничего; ему не приходило въ голову понятіе безправности и т. п. Изображая своего городничаго, онъ, конечно, и не воображалъ думать о томъ, находятся ли въ какомъ-нибудь другомъ государствѣ чиновники, кругъ власти которыхъ соотвѣтствуетъ кругу власти городничаго и контроль надъ которыми состоитъ въ такихъ же формахъ, какъ контроль надъ городничимъ. Когда онъ писалъ заглавіе своей комедіи „Ревизоръ“, ему вѣрно и въ голову не приходило подумать о томъ, есть ли въ другихъ странахъ привычка посылать ревизоровъ; тѣмъ менѣе могъ онъ думать о томъ, изъ какихъ формъ вытекаетъ потребность посылать въ провинціи ревизоровъ. Мы смѣло предполагаемъ, что ни о чемъ подобномъ онъ и не думалъ, потому что ничего подобнаго не могъ онъ и слышать въ томъ обществѣ, которое такъ радушно и благородно пріютило его, а еще менѣе могъ слышать прежде, нежели познакомился съ Пушкинымъ. Теперь, напримѣръ, Щедринъ вовсе не такъ инстинктивно смот-

дѣлилось тѣмъ сильнымъ впечатлѣніемъ, которое она сдѣлала на общество, а впечатлѣніе опредѣлилось не вдругъ. Надобно замѣтить, однако, что при всемъ томъ Бѣлинскій, еще *при жизни Пушкина*, видѣлъ въ Гоголѣ новый начинающійся періодъ русской литературы.

ритъ на взяточничество... онъ очень хорошо понимаетъ, откуда возникаетъ взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено... Гоголь видитъ только частный фактъ, справедливо негодуетъ на него, и тѣмъ кончается дѣло. Связь этого отдѣльнаго факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращаетъ на себя его вниманія".

Эта связь ускользала отъ Гоголя и его друзей, или они сами иной разъ не хотѣли ея видѣть; но ее старалось отыскать и отыскивало новое литературное направленіе, и въ этомъ заключается существенная разница ихъ положеній. Новое направленіе (въ кругу Бѣлинскаго и его друзей) вообще получило въ своемъ развитіи болѣе серьезную закваску; не довольствуясь фактомъ, оно искало его причины и вскорѣ нашло ее въ соображеніяхъ, которыхъ никогда не дѣлала пушкинская школа (или дѣлала слишкомъ поверхностно), направлявшая Гоголя; не довольствуясь негодованіемъ на отдѣльный фактъ, новое направленіе негодовало на его причины и искало средствъ устранить ихъ,—отсюда возникалъ образъ мыслей, совершенно опредѣленный, относившійся недовѣрчиво къ настоящему, горячо стремившійся къ лучшимъ формамъ общественной жизни. Этотъ образъ мыслей былъ очень далекъ отъ мнѣній Гоголя. Тѣмъ не менѣе, Гоголь сталъ великой опорой этого образа мыслей и новаго направленія. Онъ дѣйствовалъ какъ художникъ, какъ поэтъ; его теоретическія мнѣнія могли быть неудовлетворительны, но ихъ не было видно въ его произведеніяхъ,—онъ говорилъ картинами нравовъ, а эти картины раскрывали фальшивыя и вредныя стороны нашего быта съ такою силой, что для новаго направленія эти произведенія, столь привлекательныя со стороны художественной, были въ высшей степени сочувственны по содержанію: онѣ исполняли половину его задачи, какъ наглядное изображеніе, которое давало уже матеріалъ для размышленія тому, кто захотѣлъ бы о томъ подумать. Гоголь не выводилъ изъ своихъ трудовъ тѣхъ заключеній, какія изъ нихъ слѣдовали и какія были выводимы новымъ направленіемъ; онъ не могъ вывести этихъ заключеній или, по своимъ теоретическимъ понятіямъ, вывелъ бы ошибочно (какъ случилось впослѣдствіи): въ этомъ и сказывалась разница двухъ поколѣній, пушкинскаго, въ которомъ онъ воспитался, и поколѣнія сороковыхъ годовъ. Это были двѣ ступени общественнаго сознанія: Гоголь только воспринималъ и указывалъ извѣстныя мрачныя стороны жизни; новое направленіе отыскивало ихъ происхожденіе и думало о средствахъ ихъ удаленія [1]).

[1]) Та же неясность и нерѣшительность обнаруживались въ литературныхъ мнѣніяхъ Гоголя. Онъ дѣлилъ съ пушкинской школой понятія объ искусствѣ (съ

Такъ это было въ первое время дѣятельности Гоголя; и до конца ея онъ не пріобрѣлъ другой точки зрѣнія. Съ болѣе зрѣлыми годами у Гоголя является потребность выяснить себѣ начала той дѣятельности, которая до тѣхъ поръ шла у него только въ силу инстинктивной потребности его поэтической природы; къ этому опредѣленію вызывалъ его успѣхъ его произведеній, ихъ несомнѣнное и для него не вполнѣ понятное дѣйствіе на общество. Но привычки мысли были сдѣланы. Притомъ, отправившись вскорѣ за границу, откуда онъ продолжалъ связи только съ людьми своего первоначальнаго круга, онъ оставался внѣ движенія, возроставшаго въ литературѣ, и внѣ непосредственнаго вліянія жизни—такъ что его теоретическія разсужденія остались совершенно на прежней почвѣ. Изъ нихъ потомъ и стали развиваться, безъ всякихъ другихъ внушеній, странныя мнѣнія, какими Гоголь отличался впослѣдствіи. Если онъ сталъ понимать свое отношеніе къ обществу нѣсколько высокомѣрно, какъ отношеніе учителя нравственности, христіанскаго моралиста, то это представленіе мы встрѣтимъ у него еще въ пору „Ревизора“, слѣдовательно въ самую свѣжую пору его дѣятельности, и основныя идеи „Переписки“ были готовы уже теперь, а въ этой книгѣ получили только окончательную отдѣлку, свою самую рѣзкую форму. Отъ своей основной точки зрѣнія Гоголь шелъ довольно естественно и послѣдовательно. Если онъ призванъ исправлять людскіе пороки, если онъ проповѣдникъ нравственности, то ему нужно прежде всего подумать о самомъ себѣ, нужно, чтобы было твердо его собственное убѣжденіе; чтобы осуждать чужіе недостатки и пороки, надо осудить и свои собственные. Путь къ такъ называемому аскетизму и ко всѣмъ странностямъ „Выбранныхъ Мѣстъ“ былъ готовъ.

которымъ потомъ онъ впалъ въ свои печальныя заблужденія), дѣлилъ тогда ея литературныя отношенія, имѣлъ однихъ союзниковъ и враговъ. Въ извѣстной статьѣ о „движеніи журнальной литературы“ въ пушкинскомъ „Современникѣ“ (1836) онъ ловко и умно разоблачалъ Сенковскаго; онъ не любилъ натянутаго романтизма Кукольника, презиралъ дѣятелей „Сѣверной Пчелы“, но этими отрицательными взглядами почти и кончалась его журнальная программа... Бѣлинскій высказалъ большое сочувствіе этой статьѣ, но тогда же замѣтилъ неполноту ея взглядовъ. См. Соч., т. II, стр. 269 и слѣд. См. мнѣнія Гоголя о Кукольникѣ—изд. Кулиша, V, 152, 173, 323, еще съ 1832 года; о Сенковскомъ и „Библіотекѣ для Чтенія“, въ 1834—Кулиша, V, стр. 194—195, 225; о Гречѣ и Булгаринѣ, съ 1833 года.—Кулиша, V, стр. 172, 323, 324.

Въ этомъ не трудно убѣдиться, внимательнѣе всмотрѣвшись въ развитіе понятій Гоголя.

Онъ уже издавна высказывалъ, что чувствуетъ въ себѣ какую-то великую силу, какой не дано другимъ; ожидалъ, что сдѣлаетъ что-то высокое и особенное: это было инстинктивное сознаніе таланта [1]). Но первыя ожиданія были еще неясны, и сначала онъ думалъ удовлетворить своимъ побужденіямъ службой. Только послѣ первыхъ литературныхъ опытовъ для него стало ясно, что его призваніе—литература. И здѣсь онъ думалъ сперва, что можетъ быть ученымъ, педагогомъ, историкомъ, этнографомъ. Опыты въ этомъ направленіи показали въ немъ довольно плохого ученаго, но обнаруживали несомнѣнныя достоинства художественныя. Наконецъ, поэтическій элементъ его природы взялъ окончательно верхъ надъ всѣми другими интересами, какіе онъ себѣ пріискивалъ. Это произошло уже довольно поздно: Гоголь былъ тогда уже авторомъ „Ревизора".

Этотъ извѣстный фактъ чрезвычайно любопытенъ тѣмъ, что показываетъ, какъ много въ поэтической дѣятельности Гоголя было именно инстинктивнаго и безсознательнаго. Его умъ и фантазія были готовы къ творчеству, но онъ еще не зналъ, куда направить ихъ. Онъ бросается на исторію, и съ своими ничтожными средствами, едва прочитавъ нѣсколько переводныхъ учебниковъ, уже составляетъ широкіе планы историческаго труда; едва ознакомившись съ источниками малороссійской исторіи, начинаетъ писать исторію Малороссіи, и бросаетъ, потому что пока онъ писалъ начало, планъ выросъ еще шире. Въ его историческихъ статьяхъ нѣтъ настоящихъ историческихъ знаній, но набросаны смѣлыя рельефныя картины; въ исторіи его занимало созданіе живыхъ образовъ.

Любопытно въ этомъ отношеніи письмо его къ Погодину (въ то время онъ съ нимъ много переписывался объ исторіи), отъ 20 февраля 1833 года [2]). Тутъ цѣлый рядъ плановъ. Онъ задумы-

[1]) Въ „Авторской Исповѣди" онъ самъ говоритъ: „...Въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ ту пору, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писательствѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя *мнѣ всегда казалось*, что я сдѣлаюсь *человѣкомъ извѣстнымъ*, что меня ожидаетъ *просторный кругъ дѣйствій*, и что я *сдѣлаю* даже что-то *для общаго добра*" (изд. Кулиша, III, 499).

Эти слова совершенно справедливы; доказательствомъ могутъ служить его самыя раннія письма, съ пребыванія въ лицеѣ и въ самую первую пору его литературной дѣятельности.

[2]) У Кулиша, V, стр. 174—176, оно поставлено подъ 1823-й г. и напечатано не вполнѣ; болѣе полный текстъ въ Р. Архивѣ, 1872.

валъ издать какую-то книгу, въ родѣ географическаго сборника для юношескаго чтенія, но дѣло не пошло: „...я не знаю, отчего на меня нашла тоска... Корректурный листокъ выпалъ изъ рукъ моихъ, и я остановилъ печатаніе“. Тоска нашла, конечно, потому, между прочимъ, что Гоголь взялся за дѣло, ему чужое и постороннее.

Послѣ педагогіи, онъ жалуется на исторію [1]). „Какъ то не такъ теперь работается!.. Едва начинаю, что-нибудь совершу изъ исторіи, уже вижу собственные недостатки. То жалѣю, что не взялъ шире, *огромнѣе* объему, то *вдругъ* зиждется *совершенно новая* система и рушитъ старую. Напрасно я увѣряю себя, что это только начало, эскизъ, что оно не несетъ пятна мнѣ... Чортъ побери пока трудъ мой, набросанный на бумагѣ. До другого *спокойнѣйшаго* времени!“

Этого времени онъ не дождался, исторія осталась втунѣ, потому что онъ нашелъ наконецъ свое настоящее дѣло. Письмо продолжаетъ такъ: „*Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду современной славы.* Изъ глубины души такъ и рвется наружу. Но я до сихъ поръ не написалъ ровно ничего. *Я не писалъ тебѣ: я помышлялъ на комедію*“.

Такъ, наконецъ, Гоголь доходитъ до того, что̀ именно и составляло главный коренной предметъ его безсознательныхъ исканій. Онъ еще и теперь не чувствуетъ, что „комедія“ именно и мѣшала ему при занятіяхъ педагогіей, заставляла вываливаться изъ рукъ корректурный листокъ географіи, заставляла посылать „къ чорту“ исторію, которою онъ такъ, повидимому, дорожилъ, наводила на него тоску, отбивала отъ работы.

О комедіи онъ разсказываетъ слѣдующее. „Она, когда я былъ въ Москвѣ, въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда (въ Петербургъ), *не выходили изъ головы моей*, но до сихъ поръ я ничего не написалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой, толстой тетради: „Владиміръ 3-й степени“, и *сколько злости, смѣха и соли!*“

Очевидно, здѣсь были всѣ помышленія писателя. Эта комедія никогда не была кончена Гоголемъ [2]), но въ высшей степени любопытно видѣть въ этихъ подробностяхъ ту внутреннюю работу, которая происходила въ Гоголѣ. „Владиміръ 3-й степени“ былъ предшественникомъ „Ревизора“. Гоголь, едва проживши въ Петербургѣ три-четыре года, уже покидаетъ свою прежнюю

[1]) Гоголь вообще думалъ, что его занятія *однородны* съ занятіями Погодина! См. напр. письмо 1833 г., у Кулиша, V, стр. 166.

[2]) О ней—въ „Бесѣдахъ моск. Общества росс. словесности“, вып. 3, 1871.

поэтическую область, и выбравъ новый кругъ наблюденій, съ удивительною мѣткостью попадаетъ на тѣ предметы, которые были наиболѣе характеристической чертой времени. Комедія должна была вращаться на нравахъ бюрократіи, и „сколько злости, смѣха и соли“ уже предвидѣлъ писатель въ ихъ изображеніи. Въ самомъ дѣлѣ, бюрократія едва-ли когда доходила у насъ до такого могущества и виртуозности, какъ именно въ тѣ времена... Но Гоголь предвидѣлъ трудности своего плана:

„Но вдругъ остановился,—продолжаетъ онъ,—увидѣвши, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играна: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неконченное произведеніе? *Мнѣ больше ничего не остается*, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ бы даже квартальный не могъ обидѣться. Но что комедія безъ правды и злости! Итакъ, за комедію не могу приняться. Примусь за исторію—передо мною движется сцена, шумитъ аплодисментъ, рожи изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и—исторія къ чорту! И вотъ почему я сижу при *тѣни мыслей*“.

Затѣмъ онъ опять заводитъ съ Погодинымъ рѣчь о Беттигерѣ: „Беттигера... прочелъ въ переводѣ. Имѣется ли у него и новая исторія, или только одна древняя?.. Не будетъ ли еще чего-нибудь у васъ историческаго, переведеннаго университетскими?..“

Написанъ былъ и явился на сценѣ „Ревизоръ“. Извѣстно, какихъ тревогъ стоила Гоголю эта пьеса. Въ „Разъѣздѣ“ онъ мастерскими сценами изобразилъ, почти исключительно невѣжественныя, мнѣнія и впечатлѣнія публики, и наконецъ свои высокія понятія объ искусствѣ. Враждебные крики, встрѣтившіе комедію въ публикѣ, глубоко огорчали его. Въ его письмахъ за то время находимъ выраженія глубокаго огорченія.

„Мочи нѣтъ,—пишетъ онъ въ апрѣлѣ 1836 къ Щепкину. Дѣлайте съ нею (комедіей) что хотите, но я не стану хлопотать о ней. Мнѣ она сама надоѣла такъ же, какъ хлопоты о ней. Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ говорить такъ о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу... Еслибы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о

запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины—и противъ тебя возстаетъ, и не одинъ, а цѣлыя сословія"...

„Ѣду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники,—пишетъ онъ къ Погодину въ маѣ 1836 г.—Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ, долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ-то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невѣрномъ видѣ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ"...

Гоголь какъ будто самъ умаляетъ значеніе своей комедіи,—представляетъ какъ „частное", какъ „случай" то, въ чемъ именно и заключался широкій, типическій смыслъ комедіи, что произвело ея большое и шумное дѣйствіе. Онъ какъ будто хочетъ оправдать свою смѣлость, извинить сатиру; мы увидимъ, что онъ дѣйствительно, по своему понятію объ общественныхъ предметахъ, и не предполагалъ за своей комедіей того обширнаго значенія, какое она пріобрѣтала на самомъ дѣлѣ по своему вліянію на лучшую часть общественнаго мнѣнія.

Но рядомъ съ этимъ онъ чувствуетъ, что въ пріемѣ „Ревизора" выражается характеръ массы общества, степень ея умственнаго развитія, что эта степень очень низменная и жалкая. Его мысли надо было сдѣлать еще одинъ шагъ, и онъ самъ увидѣлъ бы, что „Ревизоръ" получилъ такой пріемъ именно потому, что выведено не „частное" и не „случай", а типическое явленіе, указать которое значило указать жалкое состояніе нашей общественности и нашихъ внутреннихъ порядковъ.

Въ другомъ письмѣ отъ мая 1836 г. онъ пишетъ: „Грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупѣйшее мнѣніе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя [1]) дѣйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водитъ за носъ; грустно, когда видишь, *въ какомъ еще жалкомъ состояніи* находится у насъ *писатель*. Всѣ противъ него... И кто же говоритъ? Это говорятъ—опытные люди, которые должны бы имѣть насколько-нибудь ума, чтобы понять дѣло въ настоя-

[1]) Авторъ разумѣлъ, вѣроятно, нападенія „Сѣверной Пчелы".

щемъ видѣ,—люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ русскій свѣтъ, называетъ образованными. Выведены на сцену плуты, и всѣ въ ожесточеніи... Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, *признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, разлитого на наши классы*. Столица щекотливо оскорбляется тѣмъ, что выведены нравы шести чиновниковъ провинціальныхъ; что же бы сказала столица, еслибы выведены были хотя слегка ея собственные нравы... какъ тогда заговорятъ мои соотечественники!"

Въ концѣ письма уже обозначается тема, на которую теперь направлялись мучительныя мысли Гоголя. „Еду разгулять свою тоску,—говоритъ онъ,—глубоко *обдумать свои обязанности авторскія*, свои будущія творенія, и возвращусь... вѣрно освѣженный и обновленный. *Все*, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно для меня. Всѣ *оскорбленія*, всѣ *непріятности* посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе, и нынѣ я *чувствую*, что *неземная* воля направляетъ путь мой. Онъ вѣрно необходимъ для меня" [1]).

Эти слова были написаны ровно за десять лѣтъ до изданія „Выбранныхъ Мѣстъ", написаны Гоголемъ, только-что издавшимъ „Ревизора" и еще не написавшимъ „Мертвыхъ Душъ". Одного этого письма было бы достаточно, чтобы показать, что въ Гоголѣ вовсе не совершалось такого особеннаго „перелома", какой находили въ „Выбранныхъ Мѣстахъ" и вооружившіеся противъ него прежніе почитатели, и его собственные піэтистическіе и консервативные друзья. Въ приведенныхъ словахъ были уже всѣ задатки его дальнѣйшихъ мнѣній: человѣкъ, упорно занятый своими идеями, онъ развивалъ ихъ съ страстнымъ увлеченіемъ, и всѣ послѣдующія крайности становятся понятны. Въ періодъ времени отъ „Ревизора" до „Мертвыхъ Душъ" въ его мнѣнія не вошло никакихъ совсѣмъ новыхъ элементовъ, которые могли бы измѣнить и направить иначе его взгляды въ теоретическихъ вопросахъ: онъ остается съ прежними общественными понятіями, которыя такъ мало съ самаго начала соотвѣтствовали широкому объему его сатиры,—но эти понятія были таковы, что еслибы онѣ были высказаны Гоголемъ въ литературѣ, какъ высказывались имъ въ письмахъ къ друзьямъ, онѣ безъ сомнѣнія произвели бы то же самое впечатлѣніе и въ 1842 г., какое произвели въ 1847 году. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ дѣйствіе было

[1]) Изд. Кулиша, V, стр. 254—255, 269 и слѣд. Подробная исторія созданія „Ревизора" изложена въ изданіи г. Тихонравова.

сильнѣе потому, что фактъ былъ слишкомъ неожиданный, заявленія сдѣланы были въ слишкомъ рѣзкой формѣ, съ слишкомъ большою нетерпимостью, и шли отъ писателя, къ которому по его созданіямъ давно привыкли относиться совершенно иначе, предполагать у него иное міровоззрѣніе.

Выѣхавши за границу, Гоголь въ письмѣ къ Жуковскому отъ іюня 1836, изъ Гамбурга, говоритъ о своей внутренней жизни въ слѣдующихъ выраженіяхъ, въ которыхъ уже нельзя не замѣтить, съ одной стороны, явнаго мистическаго элемента, съ другой—высокаго понятія о самомъ себѣ и своихъ произведеніяхъ, —понятія, очень близкаго къ позднѣйшему, непріятному и иногда, должно сказать, довольно нелѣпому высокомѣрію.

„Мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, не замѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я *что-то* сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. *Львиную силу* чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть строго и справедливо, что̀ такое все написанное мною до сихъ поръ? Мнѣ кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которую (которые) бьютъ по рукамъ. Изрѣдка, можетъ быть, выберется страница, за которую похвалитъ развѣ только учитель, провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ“.

Небрежное отношеніе къ прежнимъ трудамъ тѣмъ болѣе возвышаетъ труды предстоящіе. Онъ положительно считаетъ себя особымъ, избраннымъ человѣкомъ. „О, какой непостижимо изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны были для меня всѣ непріятности и огорченія... Никакое развлеченіе, никакая страсть не въ состояніи были на минуту овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности. Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно *послано свыше*, тѣмъ же великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на *воспитаніе мое*. Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни“...

Итакъ, если былъ какой-нибудь „переломъ“ въ дѣятельности Гоголя, онъ совершился, по его собственнымъ словамъ, въ эпоху „Ревизора“. Онъ произошелъ вслѣдствіе непріятностей и огорченій

по поводу „Ревизора", и „великой эпохой" было именно то, что Гоголь нашелъ необходимымъ думать о своихъ „авторскихъ обязанностяхъ". Онъ въ первый разъ почувствовалъ необходимость опредѣлить свой образъ мыслей и свое отношеніе къ обществу. Дальше увидимъ, какъ онъ опредѣлилъ ихъ.

Съ отъѣзда за границу Гоголь занятъ исключительно „Мертвыми Душами". Въ его перепискѣ есть нѣсколько упоминаній объ этомъ трудѣ, о которомъ Гоголь постоянно говоритъ, какъ о высшей задачѣ своей жизни. Въ письмѣ Жуковскому изъ Парижа, въ ноябрѣ 1836, онъ говоритъ: „Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ! Это будетъ первая моя порядочная вещь,— вещь, которая вынесетъ мое имя". Далѣе, онъ намекаетъ на какой-то новый планъ, который остается очень неясенъ: „...Еще новый Левіаѳанъ затѣвается. Священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, какъ подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него... божественныя вкушу минуты... но... теперь я погруженъ весь въ Мертвыя Души". Въ томъ же письмѣ онъ опять говоритъ объ ожидаемой враждѣ соотечественниковъ: „Огромно, велико мое твореніе, и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ; но чтожъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. Терпѣніе! *Кто-то Незримый пишетъ передо мною* могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни"... [1]).

[1]) Вотъ еще нѣсколько примѣровъ того, въ какомъ тонѣ Гоголь говорилъ о „Мертвыхъ Душахъ" въ письмахъ къ друзьямъ.

1841, мартъ: онъ сравниваетъ себя съ глиняной вазой — „конечно эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится, но въ этой вазѣ теперь заключено *сокровище*".

Тогда же, на простой вопросъ, не можетъ ли онъ прислать статьи для журнала, онъ говоритъ: „Нѣтъ, клянусь, грѣхъ, тяжкій грѣхъ отвлекать меня! Только одному невѣрующему словамъ моимъ и недоступному мыслямъ высокимъ (!) позволительно это сдѣлать. Трудъ мой великъ, мой *подвигъ* спасителенъ. Я умеръ теперь для всего мелочнаго; и для *презрѣннаго* ли (!) журнальнаго пошлаго занятія ежедневнымъ врагомъ я долженъ совершать *непрощаемыя преступленія*", т.-е. отвлекаться отъ работы надъ „Мертвыми Душами". Вслѣдъ затѣмъ онъ, однако, замѣчаетъ: „но статья будетъ готова и недѣли черезъ три выслана". Затѣмъ опять: „обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезнымъ ему со стороны журнала, но что онъ, если у него бьется русское чувство любви къ отечеству (!), онъ долженъ требовать, чтобъ я не давалъ ему ничего".

1842, мартъ, о своемъ трудѣ: „Онъ важенъ и великъ, и вы не судите о немъ

Очевидно, что Гоголь уже съ этого времени (1836) стоялъ на мистической точкѣ зрѣнія, которую потомъ его собственные друзья называли спасительнымъ, нужнымъ „переломомъ“. Отъ мысли, что кто-то Незримый пишетъ передъ нимъ могущественнымъ жезломъ, не трудно перейти къ „душевному дѣлу“, которое онъ связывалъ потомъ съ своими произведеніями, и ко всѣмъ странностямъ его позднѣйшаго образа мыслей. Словомъ, сущность его мистическихъ теорій принадлежитъ не времени около появленія „Переписки“, а еще времени „Ревизора“.

Такимъ образомъ, во внутреннемъ развитіи Гоголя не произошло ничего новаго, а мнимая перемѣна, которую увидѣли въ немъ по „Выбраннымъ Мѣстамъ“, состояла только въ различныхъ ступеняхъ одного и того же образа мыслей. До этой книги Гоголь никогда не высказывалъ своихъ теоретическихъ мнѣній, и объ нихъ не знали; теперь онъ ихъ высказалъ рѣзко, угловато, въ минуту особенной экзальтаціи, и книга показалась настоящей измѣной Гоголя его прежнимъ (предполагаемымъ) убѣжденіямъ... Болѣзнь, безъ сомнѣнія, играла роль въ его экзальтаціи; она усилила его религіозность до фанатизма и галлюцинацій, дала его мнѣніямъ піэтистическую окраску; но сущность взгляда на общественные предметы и собственную дѣятельность всегда была одна и та же. Въ постепенномъ развитіи его мнѣній можно отличить три періода. Въ началѣ это была чисто поэтическая дѣятельность, слѣдовавшая безсознательно побужденіямъ таланта, и рядомъ съ тѣмъ усвоеніе общественныхъ взглядовъ отъ его друзей Пушкинскаго круга. Этотъ періодъ кончается „Ревизоромъ“. Успѣхъ „Ревизора“ и первое столкновеніе съ „невѣжественнымъ“ обществомъ произвели на него сильное впечатлѣніе; онъ сталъ думать о своихъ „авторскихъ обязанностяхъ“ и при большомъ всегдашнемъ самомнѣніи и всегдашней религіозности понялъ свою дѣятельность какъ исполненіе *свыше* данной задачи. Онъ считаетъ себя учителемъ и пророкомъ, авторскій трудъ свой—священнымъ, великимъ трудомъ; въ немъ уже развивается мистическій піэтизмъ, но чисто поэтическія внушенія еще сопротивляются резонерству, и онъ издаетъ первый томъ „Мертвыхъ Душъ“. Этимъ заканчивается второй періодъ. Только зоркій глазъ Бѣлинскаго увидѣлъ въ „лирическихъ мѣстахъ“ поэмы признаки неблагопріятные. Успѣхъ „Мертвыхъ Душъ“ окончательно утвердилъ Гоголя въ тѣхъ мнѣ-

но той части, которая готовится теперь предстать на свѣтъ (если только будетъ конецъ ея *непостижимому* странствію). Это больше ничего, какъ только *крыльцо* къ тому *дворцу*, который во мнѣ строится“. Изд. Кулиша, V, стр. 437, 438, 495.

ніяхъ о своей роли, какія возымѣлъ онъ уже давно. Свою авторскую работу онъ считалъ теперь настоящей „службой", а себя—такъ сказать, государственнымъ моралистомъ: *второй* томъ „Мертвыхъ Душъ" долженъ былъ представить какія-то откровенія личной и государственной нравственности. Между тѣмъ, отчасти неувѣренный въ своемъ знаніи русскаго общества, немного забытаго въ „прекрасномъ далекѣ", отчасти „подталкиваемый друзьями" (не терпѣвшими новой литературы), Гоголь издалъ „Выбранныя мѣста", гдѣ высказалъ свою общественную философію съ высокомѣріемъ и нетерпимостью фанатика и избалованнаго человѣка, со всѣми крайностями своей мистической религіи и узкаго, довольно нескладнаго консерватизма. Ошибку свою онъ оскорѣ понялъ, но исправить ее былъ уже не въ состояніи; резонерство уже подавляло поэзію, и второй томъ „Мертвыхъ Душъ" остался нерѣшеннымъ вопросомъ...

Таковы были общія черты исторіи Гоголя; обратимся къ подробностямъ.

Отправившись разгулять тоску, опечаливаясь враждой и невѣжествомъ соотечественниковъ, обдумывая свои авторскія обязанности, работая надъ новымъ произведеніемъ, Гоголь, повидимому, никогда не подумалъ о томъ, откуда идетъ это невѣжество и какъ слѣдуетъ къ нему относиться. Невѣжество было несомнѣнно, и конечно прискорбно; но можно было видѣть, что оно началось не со вчерашняго дня и что вѣроятно есть сильныя причины, которыя его поддерживали. Гоголь скорбѣлъ, что соотечественники не понимали обличенія общественныхъ недостатковъ; но не видѣлъ, что общество, возстававшее противъ него, было въ концѣ испорчено, и что причина порчи заключается не въ однихъ недостаткахъ частныхъ лицъ, но въ самыхъ условіяхъ ихъ гражданскаго быта. Гоголь не видѣлъ, что онъ могъ бы не огорчаться враждой *этого* общества, что ее могло перевѣсить горячее сочувствіе другой части общества, для которой его сатира являлась началомъ нравственнаго освобожденія и для которой одной, собственно говоря, сатира его имѣла свое поэтическое и воспитывающее значеніе. Къ сожалѣнію, Гоголь и впослѣдствіи не видѣлъ, что въ обществѣ уже началось раздвоеніе, что возникали новыя понятія объ общественныхъ порядкахъ,—и сталъ даже нападать на своихъ почитателей... Его собственныя представленія объ общественныхъ порядкахъ были очень тѣсныя и одностороннія; онъ изображалъ явленія, не понимая ихъ причинъ, и теперь, когда онъ сталъ обдуманно выбирать свой путь для дѣйствія на общество, выбралъ путь странный и невозможный. Не задавая

вопроса объ общихъ основаніяхъ жизни,—даже находя ихъ настоящимъ совершенствомъ,—Гоголь предполагалъ, что все дѣло только въ объясненіи людямъ истинной нравственности. Онъ хотѣлъ своими произведеніями достичь именно этой цѣли, побудить каждаго къ личному исправленію, и ему казалось, что тогда все будетъ сдѣлано, и все будетъ хорошо: исправится нравственность, и чиновники не будутъ брать взятокъ, судьи станутъ справедливо судить, помѣщики благодѣтельствовать крестьянъ и т. д. Ему не приходила мысль, что отъ взятокъ и произвола чиновниковъ можно избавиться только измѣненіемъ самой администраціи и предоставленіемъ обществу какой-нибудь самостоятельности; что справедливаго суда можно было достигнуть только введеніемъ хорошихъ судебныхъ учрежденій, что для устройства крестьянъ надо было прежде освободить ихъ отъ помѣщиковъ и т. д. Иначе, проповѣдь нравственности уподоблялась бы проповѣди извѣстнаго повара коту-васькѣ и, по всей вѣроятности, столько же была бы успѣшна. Въ перепискѣ Гоголя нѣтъ слѣда, чтобы его мысль когда-нибудь принимала такое направленіе.

Къ счастію, въ эти годы (1836—42) поэтическая сила Гоголя была еще такъ велика, что ее не могло останавливать и совращать съ пути начинавшееся мистическое резонерство; фантазія еще сохранила свою независимость, и подъ его перомъ создавались картины русской жизни, изумительныя по своему поэтическому значенію и по своей *вѣрности*.

Въ 1842 вышли „Мертвыя Души". Извѣстно, съ какимъ восторженнымъ сочувствіемъ книга была встрѣчена въ литературѣ. Гоголю надо было не понимать тогдашняго положенія литературы, чтобы много заботиться о нападеніяхъ, которыя шли отъ Полевого, Сенковскаго, „Сѣверной Пчелы". Тѣ партіи, между которыми уже начало тогда дѣлиться господство въ литературѣ, приняли книгу Гоголя съ одинаковымъ сочувствіемъ и восхищеніемъ. Три разные лагеря считали Гоголя своимъ, и его успѣхъ—успѣхомъ своего круга или своихъ мнѣній. Во-первыхъ, его друзья, знавшіе подноготную его личной жизни и его труда: Плетневъ, Жуковскій, кн. Вяземскій и проч. Плетневъ помѣстилъ въ своемъ „Современникѣ" статью [1]), которая была одной изъ лучшихъ статей, явившихся тогда въ защиту и объясненіе „Мертвыхъ Душъ". Начинавшійся славянофильскій кружокъ принялъ

[1]) Онъ скрылъ свое имя подъ буквами С. Ш. и подписью „Житомиръ"; онъ хотѣлъ этимъ устранить отъ статьи нерасположеніе къ нему его литературныхъ противниковъ.

Гоголя съ тѣмъ же чувствомъ: семья и кружокъ Аксаковыхъ восхищались Гоголемъ; „Москвитянинъ" помѣстилъ хвалебную (хотя нелѣпую) статью Шевырева; Константинъ Аксаковъ издалъ особой брошюрой настоящій панегирикъ, гдѣ сравнивалъ Гоголя съ Гомеромъ,—и почему-то непринятый Погодинымъ въ „Москвитянинъ". Наконецъ, для Бѣлинскаго и его круга „Мертвыя Души" были многознаменательнымъ явленіемъ, утверждавшимъ въ литературѣ новую эпоху.

Изъ этого всеобщаго сочувствія Гоголь, повидимому, извлекъ очень немного для своихъ теоретическихъ мнѣній; напротивъ, онъ, кажется, еще сильнѣе двинулся на ту дорогу, которая грозила самою серьезною опасностью его поэтической дѣятельности. Онъ начинаетъ усиленно доспрашиваться у своихъ друзей и знакомыхъ искренняго мнѣнія объ его книгѣ, доискивается въ особенности осужденій, предполагая найти въ нихъ самую настоящую правду, всего больше интересуется ими и въ печати. Напротивъ, онъ, повидимому, очень мало замѣтилъ то, что̀ было сказано его защитниками и поклонниками новаго литературнаго направленія. Можно думать даже, что въ немъ было уже сильно предубѣжденіе противъ направленія Бѣлинскаго, господствовавшее между его друзьями Пушкинскаго круга. Изъ его писемъ не видно, чтобы взглядъ Бѣлинскаго былъ имъ оцѣненъ...

Въ отзывахъ Бѣлинскаго, кромѣ всего ихъ тона, одна подробность не сходилась между прочимъ съ отзывами другихъ панегиристовъ и защитниковъ Гоголя. Бѣлинскій обратилъ вниманіе на извѣстныя „лирическія мѣста" и высказывался противъ нихъ: онъ угадывалъ, что есть въ нихъ что-то ложное, и дѣйствительно „лирическія мѣста" были отголоскомъ тѣхъ мнѣній Гоголя, которыя онъ собралъ потомъ въ цѣлую систему въ „Перепискѣ".

Съ появленіемъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ" Гоголь начинаетъ заботиться о продолженіи труда. Въ „Авторской Исповѣди" и въ нѣсколькихъ письмахъ о „Мертвыхъ Душахъ" (въ „Выбранныхъ Мѣстахъ"), Гоголь самъ собираетъ и разсказываетъ всѣ тѣ недоумѣнія, которыя имъ овладѣвали, тѣ мысли, къ которымъ онъ приходилъ. Вмѣсто того, чтобы слѣдовать только непосредственнымъ внушеніямъ своего таланта, онъ всю заботу полагаетъ теперь на то, чтобы *теоретически* опредѣлить своему труду планъ, дать ему цѣль, разсчитать его дѣйствіе. Эти опредѣленія стоили ему величайшихъ усилій, и понятно, что поэтическая свобода исчезла, и что въ его трудѣ неизбѣжно должны были отозваться эти внѣшнія соображенія, посторонніе разсчеты. Гоголь намѣревался явиться передъ публикой не такъ, какъ

прежде—независимымъ поэтомъ, но выйти въ роли мыслителя, наставника. Понятно, что для *этой* роли онъ не могъ найти *права* въ своей поэзіи, что его теорію должно было судить по ея доказательствамъ, по ея критикѣ... Что же привело Гоголя къ его теоретическимъ вопросамъ?

Причины этой тревожной заботливости надо искать въ различныхъ обстоятельствахъ. Прежде всего, въ религіозныхъ сомнѣніяхъ. Религіозность Гоголя теперь все усиливалась, и онъ сталъ бояться соблазна въ тѣхъ урокахъ, которые думалъ давать людямъ въ своихъ произведеніяхъ. Съ другой стороны, онъ, кажется, просто отвыкалъ отъ русской жизни. Въ 1836 году, проживши нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ, Гоголь замѣчаетъ, что провинція „уже слабо рисуется въ его памяти". Повидимому, теперь и многое другое стало рисоваться слабѣе, и Гоголь, живя за границей, ради своего нездоровья, и вообразивъ, что можетъ писать о Россіи только въ Римѣ, старается, съ наивною серьезностью, подкрѣпить свои воспоминанія о русской жизни тѣми свѣдѣніями, какихъ сталъ просить теперь у своихъ пріятелей. Наконецъ,—и это одно изъ самыхъ сильныхъ побужденій, какія являлись въ то время у Гоголя,—онъ сталъ думать, что его „Мертвыя Души" должны стать для русскаго общества своего рода кодексомъ личной и гражданской нравственности. Въ успѣхѣ „Мертвыхъ Душъ" Гоголь увидѣлъ указаніе, что всякое слово, сказанное имъ, будетъ убѣдительно, и что теперь именно пришло ему время явиться въ роли учителя и „пророка". Онъ думалъ, что теперь именно онъ можетъ исполнить свою „службу" какъ нѣчто въ родѣ государственнаго моралиста. Такому моралисту, конечно, неприлично заниматься однимъ глумленіемъ; консервативные друзья внушали, что его смѣхъ можетъ быть вреденъ, что русская жизнь представляетъ и свои свѣтлыя, высокія стороны, и Гоголь рѣшилъ (немного заднимъ числомъ), что первый томъ его занятъ смѣшными и мрачными сторонами русской жизни, а второй представитъ ея высокія и идеальныя стороны.

Между тѣмъ мистицизмъ развивался все больше, не встрѣчая никакой сдержки со стороны его друзей; онъ уже съ 1842 года и раньше принимаетъ тонъ наставника и „руководителя душъ". По мѣрѣ того, какъ усиливался піэтизмъ, тонъ его становится повелительнѣе и высокомѣрнѣе. „Мертвыя Души" шли туго; въ 1845 онъ сжегъ второй томъ, вѣроятно, не сумѣвши соединить въ немъ поэзіи и государственной морали. Между тѣмъ, ему, кажется, хотѣлось скорѣе дать обществу свои уроки, испробовать на немъ свою силу,—и съ другой стороны вызвать книгой отзывы

самого общества, которые онъ считалъ нужными для своей работы. Въ 1846 году онъ рѣшился издать „Переписку“. Въ немъ окончательно созрѣло убѣжденіе, что его „дѣло—душа и прочное дѣло жизни“, что онъ „рожденъ вовсе не за тѣмъ, чтобы произвесть эпоху въ области литературной“. Намѣреваясь дать своимъ читателямъ „прощальную повѣсть“, онъ утверждалъ, что „долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу: строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространяется какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ *поученье* людямъ“.

„Выбранныя Мѣста изъ Переписки съ друзьями“—такая необычайная книга, что все еще любопытно изслѣдовать, какъ могъ дойти до изданія ея писатель, стоявшій во главѣ нашей литературы. Этотъ писатель въ одно прекрасное утро явился передъ публикой съ отреченіемъ отъ своихъ прежнихъ произведеній, съ осужденіемъ тѣхъ, кто ими увлекался, съ высокомѣрною, надутою проповѣдью, наполненною темнымъ мистицизмомъ, при которомъ онъ не считалъ неприличнымъ и нѣсколько выраженій, порядочно площадныхъ. Гоголь издалъ книгу, убѣдившись,— какъ онъ говоритъ, — что его письма приносили людямъ гораздо больше пользы, чѣмъ его сочиненія.

„Переписка“ Гоголя есть не только любопытный фактъ его личной исторіи, но и фактъ въ исторіи нашей общественной мысли. Въ личности Гоголя столкнулись двѣ стороны этой мысли: творческій инстинктъ велъ его по той дорогѣ, гдѣ были истинные задатки общественнаго самосознанія и лучшіе интересы нашей образованности; но по своимъ понятіямъ, полученнымъ въ средѣ его друзей, онъ всего меньше сочувствовалъ этимъ интересамъ, былъ, какъ эти друзья, консерваторомъ самаго незамысловатаго рода и поклонникомъ оффиціальной народности. По свойствамъ образованія, Гоголь не могъ выбиться изъ ходячихъ понятій и кончилъ тѣмъ, что возсталъ противъ того, что было истинно великимъ дѣломъ его жизни. Мы указывали выше, какъ „Ревизоръ“, „Мертвыя Души“ были привѣтствованы и усвоены тремя различными кружками литературы; за „Переписку“ стоялъ только одинъ изъ нихъ, кружокъ его собственныхъ друзей, бывшій кружокъ Пушкина: для нихъ книга была „совершеніе ожидаемаго событія“ и они нисколько не отвергали ея сущности.

Дѣйствительно, книга не была только личнымъ дѣломъ Гоголя и не лежала только на его исключительной отвѣтственности: она косвенно выражала мнѣніе цѣлаго класса людей, можно сказать,

цѣлой партіи. Гоголь особенно любилъ входить въ отношенія съ людьми аристократическаго круга, оказывать, по выраженію Павлова, „особенное радушіе и самую человѣколюбивую склонность къ такъ-называемымъ свѣтскимъ людямъ“ [1]), и должно къ сожалѣнію сказать, что своей книгой онъ давалъ поводъ указывать, кромѣ страннаго піэтизма, и на слишкомъ одностороннее направленіе его сочувствій въ предметахъ общественныхъ.

Большая часть писемъ, заключающихся въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“, писалась къ этимъ свѣтскимъ людямъ, мужчинамъ и дамамъ; письма писались въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и, по мнѣнію Гоголя, приносили пользу, и притомъ гораздо больше, чѣмъ приносили его сочиненія. Очевидно, письма не встрѣчали возраженій,—едва ли бы Гоголь сталъ печатать вещи, подвергнутыя спору и опровергаемыя; что возраженій не было, объ этомъ можно судить и по тому рѣшительному, проповѣдническому тону, который наконецъ выработалъ себѣ авторъ. Когда Гоголь требовалъ свои письма у корреспондентовъ для помѣщенія ихъ въ эту коллекцію, никто не дѣлалъ никакихъ замѣчаній по этому поводу, напр., о какомъ-нибудь несогласіи съ авторомъ, неудобствѣ его совѣтовъ, рѣзкости тона и т. п. Когда Гоголь, составивши сборникъ, высылалъ его для печатанія въ Петербургъ, его тамошніе друзья, первые ознакомившіеся съ характеромъ книги, не думали остановить Гоголя отъ поступка, во всякомъ случаѣ слишкомъ поспѣшнаго, отъ публикаціи, ошибки которой онъ самъ вскорѣ ясно увидѣлъ... Гоголь даже прямо упоминалъ потомъ о „подталкиваньяхъ“ его друзей. Они безпрекословно отпечатали рукопись Гоголя, находили книгу въ порядкѣ вещей, полезной и даже необходимой...

Изданіе держалось въ большомъ секретѣ, но слухи о новой книгѣ Гоголя быстро распространились; даже московскіе друзья Гоголя испугались ихъ [2]). Появленіе ея произвело не только въ

---

[1]) Н. Ф. Павловъ находилъ эту склонность „знаменательной“, положившею отличительную печать на всю книгу Гоголя. „Можетъ быть, повѣсть ваша (т.-е. прощальная повѣсть)—говоритъ онъ въ письмѣ къ Гоголю -- займется однимъ ихъ спасеніемъ. И это понятно, и это извинительно: они кружатся среди міра, въ вихрѣ соблазновъ и прельщеній... чье сердце не воскорбитъ о жертвахъ суеты? Кому не захочется избавить ихъ отъ этой напасти? Кто, истративъ на нихъ всѣ драгоцѣнности своей любящей души, не позабудетъ другихъ, *не свѣтскихъ* существъ, и не станетъ отзываться объ нихъ съ такимъ пренебреженіемъ, какимъ наполнены всѣ ваши письма?“

[2]) С. Т. Аксаковъ говоритъ: „Въ концѣ 1846 года... дошли до меня слухи, что въ Петербургѣ печатается „Переписка съ Друзьями“; мнѣ даже сообщили по нѣскольку строкъ изъ разныхъ ея мѣстъ. Я *пришелъ въ ужасъ* и немедленно напи-

кружкѣ Бѣлинскаго, но и въ кружкѣ Аксаковыхъ чувство негодованія и печали о погибающемъ талантѣ. Явились статья Бѣлинскаго въ „Современникѣ", письмо его къ Гоголю, статьи Н. Ф. Павлова, и пр.

Какъ приняли книгу Гоголя ближайшіе его друзья? Повидимому, Жуковскій только былъ въ ней чѣмъ-то невполнѣ доволенъ,—конечно частностями. Плетневъ, въ маѣ 1847, когда уже многое было высказано въ печати по поводу „Переписки", пишетъ къ Жуковскому: „Въ книгѣ Гоголя я не нахожу такихъ ошибокъ, какія вамъ представляются. Она только *оригинальна* какъ самъ Гоголь и *все*, имъ издаваемое. Наша публика, конечно, не привыкла къ такимъ явленіямъ и потому приведена въ *недоумѣніе* [1]). Но *благо*, ею произведенное, не двусмысленно. Я знаю многихъ, которые *восхищены* этою новостью". Плетневъ находитъ только недостатки въ языкѣ: „Не думаю, чтобы когда-нибудь дошелъ онъ до той исправности въ выраженіяхъ, которая отличаетъ школу Карамзина отъ новѣйшихъ русскихъ писателей"...

Итакъ, книга была хоть куда. Жуковскій, хотя и находилъ въ ней нѣкоторые недостатки, былъ въ полномъ удовольствіи отъ статьи кн. Вяземскаго, написанной въ защиту Гоголя. „Статью твою о Гоголевой книгѣ,—пишетъ Жуковскій къ кн. Вяземскому въ іюлѣ 1847,—я читалъ съ необыкновеннымъ удовольствіемъ. Многое даже меня глубоко тронуло... Мастерски написанная статья. Вотъ истинная критика".

Статья кн. Вяземскаго [2]) изображала книгу Гоголя именно какъ переломъ въ его дѣятельности, и притомъ нужный переломъ. Эта статья является именно какъ мнѣніе ближайшихъ друзей Гоголя, какъ объясненіе ихъ общаго взгляда на его литературную дѣятельность, и потому любопытно прослѣдить ея главнѣйшія положенія.

„*Она была нужна*,—говоритъ критикъ словами самого Гоголя. Это лучшая похвала книгѣ. Такъ нуженъ былъ *переломъ*. Переломъ этотъ тѣмъ полезнѣе, что противодѣйствіе истекло изъ той же силы, которая *невольно*, но не менѣе того, всеувлекательнымъ

салъ къ Гоголю большое письмо, въ которомъ просилъ его отложить выходъ книги хоть на нѣсколько времени". Зап. о жизни Гоголя, II, стр. 95.

[1]) Плетневъ ошибался; недоумѣнія о *содержаніи* книги не было у людей, имѣвшихъ опредѣленный взглядъ на вещи; у Бѣлинскаго, у Павлова, даже у Аксаковыхъ, недоумѣніе было развѣ только о томъ, *какъ* человѣкъ могъ дойти до подобнаго содержанія.

[2]) „Языковъ. Гоголь", въ „Спб. Вѣдомостяхъ", 1847, № 90—91, 24 и 25 апрѣля. Полное собр. сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, Спб. 1879, т. II, стр. 304—334.

стремленіемъ, дала *пагубное* направленіе". Авторъ винитъ въ этомъ и самого Гоголя, а главное — его почитателей, на которыхъ и обрушиваетъ все негодованіе. На Гоголѣ, по его мнѣнію, лежала обязанность открыто и торжественно разорвать „съ частью своего прошедшаго"—или съ тѣмъ, что ему придали его поклонники и подражатели. Самъ по себѣ, Гоголь великое дарованіе, онъ занимаетъ свѣтлое и высокое мѣсто въ литературѣ, но—„какъ родоначальникъ *школы*, во что хотѣли возвести его, онъ былъ не только не у мѣста, но даже *вреденъ*". Самъ по себѣ, его голосъ имѣлъ полезное значеніе, но поклонники его все испортили. Гоголь рано или поздно долженъ былъ „опомниться", и на его крутой поворотъ, который теперь столькихъ людей удивилъ и „сбилъ съ толку", всего больше подѣйствовали его *бывшие приверженцы*. Отъ своихъ хулителей, людей безвкусныхъ, Гоголь не могъ научиться ничему; онъ оставилъ безъ вниманія брань, но чрезмѣрныя и ложныя похвалы не могли не навесть унынія на него. „Въ нѣкоторыхъ журналахъ имя Гоголя сдѣлалось альфою и омегою всякаго литературнаго разсужденія. Въ духовной нищетѣ своей многіе непризванные писатели кормились этимъ именемъ, какъ единымъ насущнымъ хлѣбомъ своимъ". Гоголю должны были опротивѣть его творенія. Въ похвалахъ и идолопоклонствѣ, которыхъ онъ былъ предметомъ, были вещи, которыя должны были неминуемо „растревожить и напугать его здравый умъ и добросовѣстность". „Его хотѣли поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то *черное* литературное знамя (?!). Такимъ образомъ съ больныхъ головъ на здоровую складывали всѣ несообразности, всѣ нелѣпости, провозглашаемыя нѣкоторыми журналами. На его душу и отвѣтственность обращали всѣ грѣхи, коими ознаменовались послѣдніе годы нашего литературнаго паденія. Какъ тутъ было не одуматься, не оглядѣться? Какъ писателю *честному* не осыпать головы своей пепломъ и не отказаться съ досадою отъ торжества, устроеннаго непризванными и непризнанными [1]) руками? Всѣ эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за нимъ съ своими хвалебными восклицаніями и праздничными факелами, именно и озарили въ глазахъ его опасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ благородною рѣшимостью и откровенностью онъ тутъ же *круто своротилъ* съ торжественнаго пути своего и спиною обратился къ своимъ поклонникамъ. Теперь, оторопѣвъ, они не знаютъ за что и приняться.

[1]) Непризванными и непризнанными—кѣмъ?

Конечно, положеніе ихъ непріятно и забавно. Но что же дѣлать? Сами накликали и накричали они бѣду на себя".

Факты изложены здѣсь не совсѣмъ точно. Литературное направленіе, съ котораго „своротилъ" Гоголь, вовсе не было въ такомъ отчаянномъ положеніи. У людей этого направленія не было никакихъ колебаній; они высказались о книгѣ Гоголя очень скоро и самымъ категорическимъ образомъ, потому что смыслъ и теоретическія нити книги были для нихъ ясны: статья Бѣлинскаго о „Выбранныхъ Мѣстахъ" появилась въ первой послѣдовавшей книгѣ его журнала; затѣмъ письма Павлова въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". Обѣ эти вещи были таковы, что скорѣе заставили оторопѣть самого автора „Выбранныхъ Мѣстъ"...

Далѣе, кн. Вяземскій не удивляется, что „Гоголь попалъ въ руки литературнымъ шарлатанамъ", но удивляется, какъ даже „умные и добросовѣстные" судьи сбились съ пути благоразумія въ оцѣнкѣ трудовъ Гоголя. Это — славянофилы. Авторъ не понимаетъ, какъ могли увлекаться Гоголемъ люди, которые отказываются отъ чужеземнаго вліянія и хотятъ, чтобы мы, напротивъ, шли своимъ путемъ, росли въ своихъ началахъ,—потому что картины *своего* у Гоголя мрачны и грустны. Самъ авторъ статьи дѣлаетъ слѣдующее любопытное и справедливое признаніе: „Онъ преслѣдуетъ, онъ за живое задираетъ *не однѣ* наружныя и привившыя болячки: нѣтъ, онъ *проникаетъ въ глубь*, онъ выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находитъ ни одного здороваго мѣста. Жестокій врачъ, онъ растравливаетъ раны, но не придаетъ больному ни бодрости, ни упованія. Нѣтъ, онъ приводитъ къ безнадежной скорби, къ страшному сознанію" [1]). Авторъ не видѣлъ только, что здѣсь-то и было могущественное вліяніе Гоголя,—оно могло причинить скорбь, но вмѣстѣ и возбуждало къ исканію иного, лучшаго порядка идей и вещей.

Авторъ признаетъ, что такой взглядъ, какъ личный и отдѣльный взглядъ, можетъ имѣть нѣкоторую вѣрность, хотя условную и одностороннюю, но сдѣлать изъ него цѣлое воззрѣніе, основаніе цѣлаго направленія—значитъ придти къ хаосу противорѣчій и ложныхъ выводовъ.

Этотъ хаосъ, по его мнѣнію, и разрѣшается книгой Гоголя.

Впрочемъ, авторъ находитъ, что были нѣкоторые недостатки

---

[1]) Авторъ не принялъ въ соображеніе, что для славянофиловъ изображеніе отрицательной стороны русской жизни было также аргументомъ въ защиту ихъ мнѣній: у нихъ не было никакого пристрастія къ *той* Россіи, которую изображалъ Гоголь. Кромѣ того, они не были нечувствительны къ художественной правдивости и силѣ произведеній Гоголя.

въ книгѣ Гоголя. „Переломъ былъ нуженъ, но, можетъ быть, не такой внезапный и крутой“, собственно по неразвитости публики и критиковъ. „Самая истина, если хочетъ доходить до насъ, должна подчинять себя нѣкоторымъ условіямъ, соразмѣрять дѣйствіе свое съ ограниченностью нашей воспріимчивости, щадить наше упрямство, наши слабости и дурныя привычки“. По мнѣнію автора, многихъ разсердило также то, что книга была для нихъ совершенно неожиданна. „Уже за нѣсколько лѣтъ предъ симъ началось въ Гоголѣ *духовное преображеніе.* Объ этомъ знали только нѣкоторые *пріятели, повѣренные его сердечныхъ исповѣдей.* Для нихъ появленіе книги Гоголя—совершеніе ожиданнаго событія“. Книга застала публику и критику врасплохъ. „Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странныя требованія. Казалось ей, будто она и мы всѣ имѣемъ крѣпостное право надъ нимъ, какъ будто онъ приписанъ къ такому-то участку земли, съ которой онъ не воленъ былъ сойти. На эту книгу смотрѣли какъ на возмущеніе, на изъявленіе предательства и неблагодарности“... Авторъ „Выбранныхъ Мѣстъ“ изливаетъ свои сокровеннѣйшія тайны и страданія, а его самопроизвольно судятъ, разбираютъ, такъ ли онъ плачетъ, не противорѣчитъ ли онъ себѣ, „какъ будто скорбь можетъ всегда разсчитывать слова свои“. Кн. Вяземскій, впрочемъ, не хочетъ и говорить о тѣхъ критикахъ, „о которыхъ говорить нечего“, а обращается къ тѣмъ судьямъ, на мнѣніе которыхъ должно обратить вниманіе. И изъ нихъ многіе погрѣшили недостаткомъ справедливости: „Гоголь только тѣмъ предъ вами и виноватъ, что вы не такъ мыслите, какъ онъ. Мы чувствуемъ и толкуемъ о независимости, о свободѣ понятій, а въ насъ нѣтъ даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный нашъ единомышленникъ... мы готовы закидать его каменьями“. (Авторъ забылъ, что недостатокъ терпимости показанъ былъ прежде всего самимъ Гоголемъ, потому что „Переписка“ далеко не отличалась „терпимостью“, а, напротивъ, крайней заносчивостью, которая могла впередъ оправдывать его критиковъ).

Авторъ соглашается, однако, самъ, что ошибки были, что переломъ былъ слишкомъ „крутъ“, что, напр., „завѣщаніе“ было не совсѣмъ умѣстно, что практическія мнѣнія Гоголя не совсѣмъ основательны... „Практическій человѣкъ (въ Гоголѣ) отсталъ. Взглядъ его не всегда свѣтелъ и вѣренъ. Когда дѣло идетъ о житейскомъ, онъ не всегда прямо глядитъ ему въ лицо, а съ угла умозрительной точки, какъ, напримѣръ, въ письмахъ: *Русскій помѣщикъ*, *Сельскій судъ и расправа*, а частью и въ дру-

гихъ письмахъ. Не все то сбыточно, чтб желательно. Недостаточно написать прекрасныя идилліи и мечтательные проекты о неразрывномъ мирѣ, чтобы возвратить золотой вѣкъ на землѣ". Авторъ считаетъ и мнѣнія Гоголя объ Одиссеѣ „благонамѣреннымъ мечтаніемъ".

Вообще, однако, авторъ статьи находитъ, что если и есть недостатки въ книгѣ Гоголя, они искупаются ея общимъ достоинствомъ; это „не что иное какъ *соринки*, которыя легко смести однимъ движеніемъ пера. Но цѣлое есть чистая, свѣтлая храмина". Авторъ сравниваетъ ее съ извѣстной книгой Сильвіо Пеллико объ обязанностяхъ человѣка, и духовное состояніе Гоголя таково, что человѣку, не исключительно преданному суетнымъ потребностямъ, нельзя не позавидовать этому состоянію. Но на вопросъ, надо ли желать, чтобы Гоголь совсѣмъ оставилъ прежнюю дорогу, шелъ далѣе исключительно по своей новой дорогѣ, авторъ отвѣчаетъ: „Скажу, не запинаясь: нѣтъ! Я увѣренъ, что между прежнимъ Гоголемъ и нынѣшнимъ можетъ послѣдовать и послѣдуетъ прекрасная сдѣлка, полезная мировая. Онъ умѣрилъ и умирилъ въ себѣ человѣка: теперь пусть умѣритъ и умиритъ въ себѣ автора. Пускай передастъ онъ намъ все нажитое имъ въ эти послѣдніе годы въ сочиненіяхъ... чуждыхъ этой исключительности, этого ожесточенія, съ которыми онъ донынѣ преслѣдовалъ пороки и смѣшныя слабости людей, не оставляя нигдѣ добраго слова на миръ, нигдѣ не видя ничего отраднаго и ободрительнаго. Гоголь во многихъ мѣстахъ книги своей кается въ *безполезности* всего написаннаго имъ: это невѣрно. Написанное имъ не *безполезно*, а напротивъ, принесло свою пользу, но оно частью *вредно*, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Онъ первый, особенно „Мертвыми Душами", далъ осѣдлость у насъ литературѣ укорительной, желчной... Всѣ за нимъ, набавляя надъ подлинникомъ, бросились унижать, безобразить человѣка и общество, злословить ихъ, доносить на нихъ"...

Итакъ, авторъ статьи совершенно подтверждалъ и одобрялъ отреченіе Гоголя отъ прежнихъ произведеній, и солидарность Гоголя съ друзьями была заявлена несомнѣнно [1])... Не знаемъ, пріятно ли было петербургскимъ друзьямъ Гоголя увидѣть, что защиту „Переписки" одно время взяла на себя „Сѣверная Пчела": она также хвалила книгу и радовалась, что самъ Гоголь подтверждалъ теперь ея давнишнее мнѣніе о ничтожествѣ „Мертвыхъ

[1]) Новѣйшее подтвержденіе того же см. въ „Р. Арх.", 1866, стр. 1081—82.

Душъ“ и „Ревизора“... [1]). Но кн. Вяземскій ошибался въ надеждахъ на полезный исходъ „перелома“. На новой дорогѣ талантъ очевидно оставлялъ Гоголя, и Гоголь еще не совсѣмъ покинулъ старую, истинную дорогу своего таланта; мы увидимъ дальше, что онъ еще не покончилъ съ „пагубнымъ“ направленіемъ и имѣлъ случай убѣждаться въ ошибочности мнѣній „Переписки“.

Книга, такимъ образомъ, для обѣихъ сторонъ дѣлалась полемъ битвы, гдѣ два направленія встрѣтились съ открытой враждой. Прежде чѣмъ слѣдить далѣе за этимъ столкновеніемъ, возвратимся къ самой книгѣ,—именно къ тѣмъ письмамъ, которыя не вошли въ первоначальное изданіе по цензурнымъ причинамъ и были напечатаны только долго спустя. Они тѣмъ любопытнѣе, что ближе раскрываютъ именно общественные взгляды Гоголя. Ко времени изданія „Выбранныхъ Мѣстъ“, они, въ сущности не измѣнившись, стали значительно рѣзче и опредѣленнѣе, и Гоголь, прежде никогда о нихъ не считавшій нужнымъ говорить, теперь возвращается къ нимъ нѣсколько разъ и въ выраженіяхъ, не оставляющихъ никакого сомнѣнія.

Въ письмѣ о лиризмѣ нашихъ поэтовъ Гоголь словами Пушкина объясняетъ свои политическія понятія. „Какъ вообще Пушкинъ былъ уменъ во всемъ, что̀ ни говорилъ въ послѣднее время своей жизни“,—замѣчаетъ Гоголь и приводитъ слова его, опредѣляющія значеніе полномощнаго монарха. „Зачѣмъ нужно,—говорилъ онъ,—чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самаго закона? Затѣмъ, что законъ — дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жестокое и не братское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона не далеко уйдешь (?); нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго монарха—автоматъ: *много, много,* если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что̀ такое Соединенные Штаты? *Мертвечина.* Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и *выѣденнаго яйца* не стоитъ“, и т. д. Нельзя не видѣть, что политическое устройство Россіи опредѣляется здѣсь слишкомъ произвольно, и сравненіе съ Соединенными Штатами, употребленное какъ доказательство, болѣе чѣмъ неудачно. Гоголь принялъ изреченіе Пушкина буквально и не прибавилъ къ нему никакого своего аргумента. Они оба за-

[1]) „Сѣверная Пчела“ и Сенковскій терпѣть не могли этихъ произведеній Гоголя.

шли, кажется, дальше, чѣмъ сами высшія сферы того времени, потому что, какъ говорятъ, эти послѣднія хорошо видѣли разницу положенія и отдавали больше справедливости Соединеннымъ Штатамъ. Понятно, что при этомъ Гоголь былъ ревностнымъ почитателемъ status quo во всѣхъ подробностяхъ его теоріи (нѣкоторые практическіе недостатки онъ видѣлъ и объяснялъ по своему), и полагалъ даже, что Европа придетъ къ намъ учиться. Въ статьѣ „Страхи и ужасы Россіи", писанной къ какой-то графинѣ, Гоголь утверждаетъ: „Въ то время, когда на однихъ концахъ Россіи еще доплясываютъ польку и доигрываютъ преферансъ, уже незримо (!) образовываются на разныхъ поприщахъ истинные мудрецы жизненнаго дѣла. Еще пройдетъ десятокъ лѣтъ, и вы увидите, что Европа пріѣдетъ къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости (!), которой не продаютъ больше на европейскихъ рынкахъ"... [1]). Въ письмѣ къ гр. А. П. Толстому (1845), Гоголь такъ разсуждаетъ о тѣхъ недостаткахъ, которые онъ видѣлъ все-таки въ нашей администраціи. Это разсужденіе до крайности простодушно. „Мы съ вами еще не такъ давно разсуждали о *всѣхъ должностяхъ*, какія *ни есть* въ нашемъ государствѣ. Разсматривая каждую въ ея законныхъ предѣлахъ, мы находили, что онѣ именно то, что имъ слѣдуетъ быть, *всѣ до единой* какъ бы свыше созданы для насъ (!), съ тѣмъ, чтобы отвѣчать на *всѣ* потребности нашего государственнаго быта, а всѣ сдѣлались не тѣмъ отъ *того*, что *всякъ*, какъ бы наперерывъ, старался или разрушать предѣлы своей должности, или даже вовсе выступить изъ ея предѣловъ. Всякій, *даже честный и умный человѣкъ* (!) старался хотя на одинъ вершокъ быть полномочнѣй и выше своего мѣста, полагая, что онъ этимъ-то именно облагородитъ и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всѣхъ чиновниковъ отъ верху до низу, но *секретарей* позабыли, а они-то именно больше всѣхъ стремятся выступить изъ предѣловъ своей должности. Гдѣ секретарь заведенъ только въ качествѣ писца, тамъ онъ хочетъ сыграть роль посредника между начальникомъ и подчиненнымъ. Гдѣ же онъ поставленъ дѣйствительно какъ нужный посредникъ между начальникомъ и подчиненнымъ, тамъ онъ начинаетъ важничать" и пр. Въ этомъ Гоголь видитъ всю бѣду, совпадая съ мнѣніемъ одного своего героя, что секретари ненадежный народъ.

Съ такимъ запасомъ общественной философіи вышелъ Гоголь

---

[1]) Ср. также, по поводу этихъ мнѣній Гоголя, письмо его къ Жуковскому, отъ апрѣля 1839.

изъ своихъ размышленій, бесѣдъ съ друзьями, переписки съ корреспондентами, и съ этимъ запасомъ онъ считалъ возможнымъ явиться передъ обществомъ въ роли строгаго учителя. Не будемъ перечислять другихъ образчиковъ ея, разсѣянныхъ въ „Перепискѣ", этихъ странныхъ наставленій копить деньги и дѣлить ихъ на кучки, говорить мужику: „неумытое рыло", и т. д. Все это друзья благословляли его печатать; все это они считали „нужнымъ" и „полезнымъ переломомъ", хотя „нѣсколько крутымъ"!

У Гоголя нѣтъ признака мысли о тѣхъ общественныхъ вопросахъ, которые уже довольно ясно представлялись образованнымъ людямъ того времени и на которые обратила вниманіе даже строго консервативная высшая сфера. Гоголь настаиваетъ только на авторитетѣ, а всѣ недостатки, какіе видѣлъ въ теченіи дѣлъ, сваливаетъ на исполнителей, хотя бы даже это были „честные и умные люди". У него нѣтъ мысли о необходимости улучшенія самыхъ учрежденій, объ измѣненіи въ отношеніяхъ сословій, о воспитаніи въ обществѣ большей моральной и гражданской самодѣятельности. То, чѣмъ исполнены были умы и сердца лучшихъ людей времени, что впослѣдствіи стало основаніемъ общественнаго преобразованія, это было ему совершенно чуждо,—онъ ничего не читалъ и не слышалъ объ этомъ: взамѣнъ того, онъ проповѣдуетъ старую, безжизненную мораль, созданную печальными временами и ничтожествомъ общественной жизни. Самъ кн. Вяземскій не могъ одобрить его крѣпостническо-идеальныхъ разсужденій о „русскомъ помѣщикѣ" и проч... Гоголь не чувствуетъ, какъ странно читать у него же слѣдующія строки о томъ, почему Пушкинъ при жизни не высказывалъ своихъ политическихъ привязанностей. „Никому не говорилъ онъ при жизни о чувствахъ, его наполнявшихъ, и поступалъ умно. Послѣ того, какъ вслѣдствіе всякаго рода холодныхъ газетныхъ возгласовъ, писанныхъ слогомъ помадныхъ объявленій, и всякихъ сердитыхъ, непріятно-запальчивыхъ выходокъ, производимыхъ всякими квасными и неквасными патріотами, перестали вѣрить у насъ на Руси искренности всѣхъ печатныхъ изліяній,—Пушкину было опасно выходить. Его бы какъ разъ назвали подкупнымъ, или чего ищущимъ человѣкомъ"... Откуда же могло взяться такое состояніе цѣлаго общества?

Вскорѣ послѣ выхода „Выбранныхъ Мѣстъ" явилась въ „Современникѣ" (№ 2, 1847) статья Бѣлинскаго, первый энергическій протестъ противъ идей, заявленныхъ Гоголемъ, противъ отреченія его отъ прежнихъ произведеній, противъ подобнаго

употребленія своего авторитета [1]). Личныя отношенія Бѣлинскаго и Гоголя не были близки, но они знали другъ друга. Гоголь прежде обращался къ нему раза два въ нужныхъ случаяхъ [2]), зналъ, *какъ* относится къ нему Бѣлинскій и *почему* онъ такъ къ нему относится. Статья Бѣлинскаго не могла поэтому не представлять для него особеннаго интереса. И сколько можно судить по его характеру, она, вѣроятно, произвела на него сильное впечатлѣніе,—онъ не проговаривается о ней никому изъ своихъ обыкновенныхъ корреспондентовъ и друзей, отъ которыхъ прежде держалъ въ секретѣ самыя сношенія свои съ Бѣлинскимъ. Статья Бѣлинскаго повела за собой извѣстную переписку между ними. Гоголь написалъ первое письмо, и, еще не имѣя отвѣта Бѣлинскаго, писалъ къ князю Вяземскому любопытное письмо (отъ іюня 1847 г.), по поводу статьи послѣдняго въ „Спб. Вѣдомостяхъ". Въ этомъ письмѣ мы встрѣтимъ черты, едва ли не внушенныя чтеніемъ статьи Бѣлинскаго; это—мысль о необходимости разъяснить для общества „государственные" предметы, т.-е. внутренніе общественные вопросы; кромѣ того—нѣсколько неожиданное *заступничество* Гоголя въ пользу его новыхъ враговъ въ литературѣ.

„Ваша статья... о Языковѣ и обо мнѣ,—пишетъ онъ,—кромѣ всѣхъ тѣхъ достоинствъ и свойствъ, которыя принадлежатъ особенности собственно вашего ума, меня очень тронула тѣмъ чувствомъ соучастія, которое принадлежитъ только одной нѣжной и любящей душѣ. Одно только меня остановило: мнѣ кажется, что выразились вы *нѣсколько сурово* о нѣкоторыхъ моихъ нападателяхъ, *особенно о тѣхъ*, которые прежде меня выхваляли. Мнѣ кажется, *вообще*, мы судимъ ихъ слишкомъ неумолимо. *Богъ знаетъ, можетъ быть*, въ существѣ многіе изъ нихъ добрые люди и влекутся *даже* нѣкоторымъ, *хотя отдаленнымъ*, желаніемъ добра: но кого не увлекаетъ самолюбіе, нѣкоторый успѣхъ" и пр.

Намъ кажется, что въ этихъ словахъ уже отражалось тайное сознаніе Гоголя, что „нападатели" во многомъ были правы; но онъ боится заявить это сознаніе и передъ самимъ собой, и передъ своимъ корреспондентомъ (который, вѣроятно, былъ въ числѣ людей, не знавшихъ о секретныхъ свиданіяхъ), и обставляетъ предположеніями и оговорками.

Гоголь говоритъ дальше, что, быть можетъ, ихъ самихъ обвинятъ въ гордости, когда они „жестоко оттолкнули" хулителей,

[1]) Сочин. Бѣлинскаго, т. XI, стр. 80—108.
[2]) См. воспоминанія Анненкова; „Жизнь и переписка Бѣлинскаго"...

когда, быть можетъ, имъ нуженъ былъ „совѣтъ“ (онъ думалъ, что нуженъ былъ ихъ „совѣтъ“, напр., Бѣлинскому!), что онъ самъ не рѣшается говорить сурово, такъ какъ видитъ, что „положенье всѣхъ въ нынѣшнее время страшно трудно и, къ кому ни приглядишься ближе, всякъ порождаетъ къ себѣ состраданье“. Имъ овладѣваетъ „жалость“ къ людямъ страдающимъ или заблуждающимся и отъ недостатка *любви* „всѣ статьи *наши* [1]) не вносятъ надлежащаго примиренія“.

Эти послѣднія слова могли быть искренни и если даже, не высказывая настоящей своей мысли, Гоголь хотѣлъ только косвенно навести своего корреспондента на что-то такое, чего ему хотѣлось, во всякомъ случаѣ очевидно, что у Гоголя являлись новыя мысли, вовсе не въ духѣ „перелома“; какъ будто онъ втайнѣ сознавалъ справедливость возраженій, и въ немъ являлась потребность „примиренія“. Но онъ еще не оцѣнилъ всей трудности примиренія, не видѣлъ, какъ далеко лежали корни раздора, съ чьей стороны должны быть сдѣланы уступки, на чьей сторонѣ была бо́льшая общественная неправда. Передъ нимъ начинаетъ мелькать слабый проблескъ дѣйствительныхъ общественныхъ вопросовъ, но это все еще только догадка, спутанная давними привычными понятіями.

„...Мнѣ кажется,—пишетъ онъ далѣе,—что теперь, въ нынѣшнее время, болѣе нужны не статьи *нападательныя* [2]) или защитительныя, которыя невольнымъ образомъ обратятся на чью-нибудь личность и выставятъ на сцену насъ самихъ, сколько статьи *уяснительныя* многихъ важныхъ вопросовъ, относящихся къ тѣмъ вѣчнымъ истинамъ, которыя, хотя покуда еще и не раздаются въ обществѣ, но къ которымъ поворотъ, однако же, неминуемо долженствуетъ наступить. Я разумѣю здѣсь собственно тѣ истины, о которыхъ могутъ сказать только *люди государственные*. Если о нихъ не раздадутся теперь здравыя опредѣленія, годныя укрѣпить хотя нѣкоторыхъ, или дать имъ знать, по крайней мѣрѣ приблизительно, чего держаться, то ихъ пойдутъ скоро коверкать вовсе не-государственные люди и могутъ сбить всѣхъ (?) съ толку. Вы видите, что нѣкоторое поползновеніе къ тому же обнаруживается. Даже и я, человѣкъ вовсе не государственный, заговорилъ о томъ. Итакъ, есть какое-то повѣтріе, которому всѣ подвергаются равномѣрно. Тѣмъ болѣе теперь нуженъ голосъ

[1]) Вѣроятно, Гоголь не хотѣлъ сказать прямо: „ваши“, т.-е. статьи „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

[2]) Какова была статья „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“; но Гоголь опять забылъ, что „Выбранныя Мѣста“ были сами очень нападательныя.

мастеровъ того ремесла, въ которое впутываются люди посторонніе".

Словомъ, Гоголь начиналъ видѣть, что въ обществѣ возникаетъ интересъ къ тѣмъ предметамъ, которые онъ называетъ „государственными", т.-е. интересъ къ общественнымъ дѣламъ, но онъ все-таки думаетъ, что человѣку не-государственному непозволительно говорить объ этихъ предметахъ; онъ для нихъ человѣкъ „посторонній"... Гоголь полагалъ, что здѣсь нуженъ голосъ „мастеровъ государственнаго ремесла", и ждалъ такихъ разъясненій отъ кн. Вяземскаго, котораго считалъ имѣющимъ все, что̀ для этого нужно...

Между тѣмъ, онъ ожидалъ отъ него своей рукописи „Выбранныхъ Мѣстъ" съ его замѣчаніями [1]), „потому что, съ моей стороны, все-таки нужно что-нибудь сказать, хотя, разумѣется, поприличнѣй и въ такой мѣрѣ, въ какой позволительно сказать *не-государственному* человѣку. Нужно, чтобы мы все-таки (?) питали любовь къ своей государственности, а не летали мысленно по всѣмъ землямъ, говоря о Россіи; чтобъ чувствовали, по крайней мѣрѣ, что строенье новаго исходитъ изъ духа самой земли, изъ находящихся среди насъ матеріаловъ". Эта послѣдняя мысль, какъ будто отзывающаяся мнѣніями славянофильскихъ друзей Гоголя, брошена, однако, какъ-то случайно и недоконченно.

Не будемъ излагать переписку Гоголя съ Бѣлинскимъ и упомянемъ только объ общемъ тонѣ ея [2]). Переписку началъ Гоголь, по прочтеніи статьи Бѣлинскаго въ „Современникѣ"; Бѣлинскій, находившійся тогда за границей, отвѣчалъ (15-го іюля 1847 г.) длиннымъ письмомъ, гдѣ высказалъ все, накипѣвшее у него на душѣ и чего не могъ онъ сказать въ печатной статьѣ. Переписка закончилась новымъ письмомъ Гоголя.

Въ первомъ письмѣ Гоголь выражаетъ свое прискорбіе по

[1]) Гоголь былъ недоволенъ тѣмъ, что цензура много исключила изъ „Выбранныхъ Мѣстъ", и поручалъ своимъ друзьямъ приготовить новое изданіе, уже вполнѣ. Онъ желалъ этого, полагая, что многія нападенія происходили оттого, что книга явилась не въ полномъ составѣ; что „по клочку, обгрызенному цензурой, о ней нельзя судить". Онъ въ особенности просилъ кн. Вяземскаго пересмотрѣть книгу, исключить изъ нея то, что̀ было въ ней рѣзкаго и проповѣдническаго, вообще сгладить, смягчить и дополнить, какъ только онъ найдетъ нужнымъ. „Не будемъ считаться мыслями,— говоритъ онъ при этомъ,—онѣ не наши и не принадлежатъ намъ: онѣ посылаются Богомъ" и проч. См. письмо отъ 28-го февраля 1847 г. Въ письмѣ отъ іюня 1847 г. онъ проситъ о присылкѣ просмотрѣнной рукописи, которую теперь хотѣлъ еще дополнить самъ по „государственнымъ" предметамъ.

[2]) Жизнь и переписка Бѣлинскаго, т. II, гдѣ почти вполнѣ приведено письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

поводу статьи Бѣлинскаго,—не потому, что ему прискорбно было униженіе его, а потому, что въ ней слышится голосъ разсерженнаго человѣка. Онъ не понимаетъ, за что вдругъ всѣ разсердились на него—восточные, западные, нейтральные. „Это правда,—говоритъ Гоголь,—я имѣлъ въ виду *небольшой щелчокъ* каждому изъ нихъ, считая это *нужнымъ*, испытавши надобность его на собственной кожѣ (всѣмъ намъ нужно побольше смиренія)", но онъ никакъ не думалъ, чтобы *щелчокъ* вышелъ такъ грубъ, неловокъ и оскорбителенъ. Затѣмъ онъ объясняетъ, что не легко судить книгу, гдѣ замѣшалась собственная душевная исторія человѣка; укоряетъ Бѣлинскаго за „оплошные выводы"; оправдывается отъ обвиненія въ пристрастіи и своекорыстіи, и наконецъ снова выражаетъ прискорбіе, что противъ него питаетъ озлобленіе человѣкъ, котораго онъ все-таки считалъ за добраго человѣка.

Отвѣтъ Бѣлинскаго болѣе или менѣе извѣстенъ. Это, безъ сомнѣнія, самое характеристическое изъ всего, что̀ написано Бѣлинскимъ, и самый рѣзкій протестъ изъ всѣхъ, какіе вызвала книга Гоголя. Онъ яркими красками изображаетъ Гоголю смыслъ его книги въ тогдашнемъ положеніи русскаго общества—объясняетъ ему, почему онъ имѣлъ такое великое значеніе для этого общества и такихъ страстныхъ поклонниковъ: въ немъ видѣли одного изъ великихъ вождей страны на пути сознанія, развитія, прогресса. „Теперь же,—говоритъ Бѣлинскій,—я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ, ни о тѣхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленіи ея всѣ враги ваши, и не-литературные—Чичиковы, Ноздревы, Городничіе... и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извѣстны". Онъ успокоиваетъ Гоголя, что „щелчки" неспособны были бы возбудить въ немъ это негодованіе, хотя и „щелчки" своимъ же почитателямъ и друзьямъ за ихъ привязанность—дѣло не совсѣмъ христіанское и смиренное. Онъ объясняетъ Гоголю, что главный источникъ негодованія противъ „Переписки" и ея автора—само содержаніе книги: въ то время, какъ лучшіе люди общества начинаютъ сознавать недостатки и несправедливости существующихъ порядковъ, когда они всѣми силами души стремятся къ улучшенію общественныхъ отношеній, къ уничтоженію крѣпостного права, тѣлесныхъ наказаній и пр. и пр.,—въ это время великій писатель—„является съ книгою, въ которой во имя Христа и церкви учитъ варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ болѣе денегъ, учитъ ихъ ругать побольше... И это не должно было привести меня въ негодованіе?.. Да еслибы вы обнаружили по-

кушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти позорныя строки"... Бѣлинскій объясняетъ, какъ опасно довольствоваться наблюденіями надъ русской жизнью изъ „прекраснаго далека", изъ котораго можно видѣть предметы какими угодно. Въ концѣ письма онъ еще разъ объясняетъ Гоголю, что споръ между ними вовсе не личный споръ оскорбляемыхъ самолюбій. „Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, но о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ; тутъ дѣло идетъ о истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи. И вотъ, мое послѣднее заключительное слово: если вы имѣли несчастіе съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вамъ должно съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней вашей книги и тяжкій грѣхъ ея изданія въ свѣтъ искупить новыми твореніями, которыя бы напомнили ваши прежнія" [1]).

Отвѣтъ Гоголя на это письмо свидѣтельствуетъ о сильномъ душевномъ упадкѣ. „Я не могъ отвѣчать на ваше письмо, говоритъ онъ. Душа моя изнемогла, все во мнѣ потрясено; могу сказать, что не осталось чувствительныхъ струнъ, которымъ не было бы нанесено пораженіе, еще прежде, нежели я получилъ ваше письмо. Письмо ваше я прочелъ почти безчувственно, но, тѣмъ не менѣе, былъ не въ силахъ отвѣчать на него. Да и что мнѣ отвѣчать? Богъ вѣсть, можетъ быть, въ вашихъ словахъ есть часть правды"... Онъ высказываетъ свои недоумѣнія: онъ получилъ уже около пятидесяти писемъ о своей книгѣ, и нѣтъ двухъ человѣкъ, мнѣнія которыхъ были бы согласны, а между тѣмъ на всякой сторонѣ есть люди благородные и умные. Онъ убѣждается только, что не знаетъ Россіи, что многое въ ней измѣнилось и что ему нельзя издать двухъ строкъ о Россіи „до тѣхъ поръ, покуда, пріѣхавши въ Россію, не увижу многаго собственными глазами и не пощупаю собственными руками". Онъ не уступаетъ, однако, всей правды своему противнику, думаетъ, что и онъ можетъ быть о многомъ въ заблужденіи, и пр.

Кромѣ приведеннаго письма, которое было получено Бѣлинскимъ, былъ еще другой отвѣтъ Гоголя, гораздо болѣе обширный, но, кажется, оставшійся непосланнымъ. Въ бумагахъ Гоголя нашлось послѣ его смерти письмо, изорванное въ мелкіе клочки, изъ которыхъ многіе были потеряны, такъ что біографъ и издатель Гоголя, Кулишъ, только съ трудомъ могъ составить изъ

[1]) Бѣлинскій двумя словами упомянулъ въ своемъ письмѣ и о защитѣ „Выбранныхъ Мѣстъ" въ „Спб. Вѣдомостяхъ". Къ автору этой защиты онъ уже издавна не былъ расположенъ. Соч. Бѣл., т. II, стр. 272 (статья о „Современникѣ", 1836 г.).

нихъ отрывочное изложеніе [1]). Это и есть отвѣтъ Бѣлинскому, гдѣ Гоголь старался по всѣмъ пунктамъ опровергнуть обвиненіе и оправдать свою книгу и свой образъ мыслей, и гдѣ относится къ Бѣлинскому гораздо суровѣе и рѣзче, нежели въ посланномъ письмѣ.

До сихъ поръ остается неизвѣстно, который изъ двухъ отвѣтовъ написанъ раньше: писалъ ли Гоголь свой длинный отвѣтъ тогда, когда успѣлъ оправиться отъ первыхъ тяжелыхъ впечатлѣній, произведенныхъ письмомъ Бѣлинскаго, и уже тогда собралъ всѣ свои аргументы, чтобы отвергнуть обвиненія, слишкомъ его затронувшія; или же, какъ думаютъ другіе, онъ началъ-было длиннымъ обличеніемъ Бѣлинскаго, но не въ силахъ былъ довести его до конца, бросилъ его, и въ сознаніи своей безпомощности послалъ ту короткую записку, о которой мы сейчасъ говорили. Но такъ или иначе, въ своемъ длинномъ отвѣтѣ Гоголь говоритъ другимъ тономъ и самъ выступаетъ обвинителемъ противной стороны. Отвѣчая Бѣлинскому, Гоголь долженъ былъ въ первый и чуть ли не единственный разъ говорить о томъ рядѣ вопросовъ, которые занимали тогда людей другихъ мнѣній и которые были ему выставлены Бѣлинскимъ. Поэтому, отвѣтъ Гоголя сталъ изложеніемъ его понятій о русской общественной жизни и ея тогдашнихъ требованіяхъ.

Гоголь старается быть доказательнымъ, дѣлаетъ иногда возраженія, отчасти справедливыя; но въ цѣломъ аргументація его далеко не убѣдительна и, несмотря на рѣзкія фразы, которыя онъ еще употребляетъ, диктаторскій тонъ „Переписки“ очевидно подорванъ.

„Съ чего начать мой отвѣтъ на ваше письмо, если не съ вашихъ же словъ: „опомнитесь, вы стоите на краю бездны!“ Какъ далеко вы сбились съ прямого пути! въ какомъ вывороченномъ видѣ стали передъ вами вещи! въ какомъ грубомъ, невѣжественномъ смыслѣ приняли вы мою книгу!“ и пр.,—такъ начинаетъ Гоголь свое обличеніе. Бѣлинскій справедливо могъ бы

[1]) Это письмо напечатано г. Кулишомъ въ „Запискахъ о жизни Гоголя“, II, 108—213, и въ „Сочин. и Письмахъ Гоголя“, т. VI, стр. 370—387. Но г. Кулишъ ошибается, повидимому, полагая, что именно объ этихъ „оправдательныхъ статьяхъ“ идетъ рѣчь въ письмѣ Гоголя отъ 10 іюня 1847 г. къ Плетневу. Письмо Бѣлинскаго, сколько мы знаемъ, помѣчено 15-го іюля 1847 г.; стало-быть, объ „оправдательныхъ статьяхъ“ не могло еще идти рѣчи. Въ письмѣ къ Плетневу подразумѣвается, вѣроятно, „Авторская Исповѣдь“, потому что въ ней именно Гоголь хотѣлъ изложить „повѣсть своего писательства“. А „Оправдательныя статьи“ вовсе не заключаютъ этой повѣсти, и все содержаніе ихъ—отвѣты и возраженія на письмо Бѣлинскаго.

отвѣтить, что самая книга не допускала иныхъ толкованій. Гоголь сожалѣетъ потомъ, что Бѣлинскій вдался въ „этотъ омутъ политической жизни", оставивъ свое прекрасное дѣло—„показывать читателямъ красоты въ твореньяхъ нашихъ писателей, возвышать ихъ душу до пониманія всего прекраснаго... и такимъ образомъ невидимо дѣйствовать на ихъ души". Самъ Гоголь до того удалился отъ интересовъ общественной жизни, что дѣятельность Бѣлинскаго кажется ему политическимъ омутомъ! Онъ не думаетъ о томъ, что творенья писателей получаютъ свой интересъ только въ связи съ жизнью и съ этимъ „омутомъ"; забываетъ, что его собственныя произведенія имѣли великій смыслъ именно тѣмъ, что рисовали эту дѣйствительную, неподкрашенную жизнь, и повторяетъ эстетическую теорію своихъ друзей, которые говорили, что поэзія—„даръ неба", не имѣющая отношенія къ земнымъ предметамъ и къ пошлой дѣйствительности. „Дорога эта (показываніе красотъ) привела бы васъ къ примиренію съ жизнью, дорога эта заставила бы васъ благословлять все въ природѣ". Но Гоголь самъ испыталъ, что поэзія не есть одно эпикурейское наслажденіе, что въ ней можетъ высказываться самая тяжелая скорбь и личная, и общественная...

Онъ отвѣчаетъ потомъ на слова Бѣлинскаго о томъ, что нашему обществу нужна цивилизація. „Вы говорите, что спасеніе Россіи въ европейской цивилизаціи; но какое это безпредѣльное и безграничное слово! Хоть бы вы опредѣлили, что̀ такое нужно разумѣть подъ именемъ европейской цивилизаціи! Тутъ и фаланстьеры (?), и красные, и всякіе (?), и всѣ другъ друга готовы съѣсть, и всѣ носятъ такія разрушающія, такія уничтожающія начала, что трепещетъ въ Европѣ всякая мыслящая голова и спрашиваетъ невольно: гдѣ наша цивилизація? Пустой призракъ явился въ видѣ этой цивилизаціи"... На это можно было бы развѣ только подивиться, что Гоголь, проживши такъ долго въ Европѣ, ухитрился не увидѣть европейской цивилизаціи, и дожидался, „хоть бы ему опредѣлили ее". Ясно, что о „фаланстьерахъ", „красныхъ" и „всякихъ" онъ имѣлъ очень смутныя представленія, и что вообще объ европейской жизни доходили до него только темные слухи...

Гоголь справедливо возражалъ на рѣзкое черезъ мѣру заключеніе Бѣлинскаго о степени религіозности русскаго народа. Справедливо могъ онъ заявлять объ отсутствіи постороннихъ видовъ при изданіи книги, объ одномъ желаніи опредѣлить свои собственные взгляды и узнать характеръ русскаго общества, хотя соглашается, что книга „была издана въ торопливой поспѣш-

ности“, что онъ „попалъ въ излишества“. Но странно читать его упреки Бѣлинскому, что тотъ „получилъ легкое журнальное образованіе“, что „не кончилъ даже университетскаго курса“, потому что собственное образованіе Гоголя было еще легче; или упреки, что нельзя судить о русскомъ народѣ тому, кто „прожилъ вѣкъ въ Петербургѣ“, какъ будто судить о немъ слѣдовало тому, кто прожилъ вѣкъ въ Римѣ. На слова Бѣлинскаго о необходимости уничтоженія крѣпостного права, Гоголь говоритъ, будто мнѣнія Бѣлинскаго о помѣщикѣ отзываются временами Фонвизина: „съ тѣхъ поръ много, много измѣнилось въ Россіи, и теперь показалось многое другое“. Очевидно, этотъ вопросъ не существовалъ для Гоголя.

„Многіе,—продолжаетъ онъ,—видя, что *общество* идетъ дурной дорогой, что порядокъ дѣлъ безпрестанно запутывается, думаютъ, что преобразованіями и реформами, обращеніемъ на такой и на другой ладъ можно поправить міръ... Мечты!“ Общество, продолжаетъ Гоголь, слагается изъ единицъ; пусть каждая единица исполняетъ свой долгъ, пусть вспомнитъ человѣкъ о своемъ *небесномъ гражданствѣ*, и покуда каждый не будетъ сколько-нибудь жить жизнью небеснаго гражданства, до тѣхъ поръ не исправится и земское гражданство. Если мы всѣ будемъ исполнять свои обязанности, все пойдетъ хорошо: „владѣльцы разъѣдутся по помѣстьямъ; чиновники увидятъ, что не нужно жить богато (!), перестанутъ брать взятки; а честолюбецъ, увидя, что важныя мѣста не награждаютъ ни деньгами, ни богатымъ жалованьемъ...“ (въ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ словъ), вѣроятно, сдѣлается образцомъ добродѣтели... Очевидно, между прочимъ, что, по мнѣнію Гоголя, одно предположеніе, что „владѣльцы разъѣдутся по помѣстьямъ“, совершенно разрѣшаетъ крестьянскій вопросъ.

Въ письмѣ, какъ мы сказали, видно раздраженіе и желаніе обвинить самого Бѣлинскаго въ нелѣпыхъ мнѣніяхъ и въ несправедливости. Но если, по собственнымъ словамъ Гоголя, онъ самъ „нападалъ и нападаетъ“ на свою книгу,—странно было удивляться, что на нее напалъ Бѣлинскій. Партизаны Гоголя и въ то время (какъ, напр., авторъ статьи „Спб. Вѣдомостей“), и впослѣдствіи винили его противниковъ за нетерпимость, за грубое обращеніе съ тѣмъ, что было, хотя и не вполнѣ правымъ, то искреннимъ и глубокимъ убѣжденіемъ Гоголя, стоившимъ ему сильныхъ душевныхъ страданій. На всѣ эти обвиненія можно привести слова, сказанныя по другому поводу однимъ изъ друзей Бѣлинскаго. „Безпощадная потребность разбудить человѣка является

только тогда, когда онъ облекаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякій диссонансъ раздираетъ сердце и не даетъ покоя" [1]). Таково именно было отношеніе Бѣлинскаго къ Гоголю въ этомъ случаѣ. Защитники Гоголя забывали о характерѣ самой книги, вызывавшей нападенія. Высокомѣрный тонъ придавалъ невыносимо рѣзкое удареніе мнѣніямъ Гоголя; надо было принимать это за самодовольство цѣлой системы, что̀ именно и вызывало суровый отпоръ. Не надо далѣе забывать, что Гоголь во всеуслышаніе и съ тѣмъ же высокомѣріемъ проповѣдывалъ и такія вещи, противъ которыхъ было немыслимо спорить въ литературѣ. Наконецъ, эти проповѣди исходили отъ писателя, сильно возбудившаго общественную мысль своими прежними произведеніями и употреблявшаго при этомъ тотъ авторитетъ, какой доставили ему эти произведенія, имъ, однако, теперь отвергаемыя и осуждаемыя.

Изъ всего содержанія мнѣній Гоголя, высказанныхъ имъ и въ книгѣ, и въ частной перепискѣ, очевидно, что это были мнѣнія, отличавшія систему оффиціальной народности. Соединеніе такихъ мнѣній въ одномъ лицѣ съ высокимъ поэтическимъ талантомъ, создавшимъ нѣкогда „Мертвыя Души“ и „Ревизора“, производило и этотъ разрывъ Гоголя съ его школой и почитателями, и мучительную нравственную борьбу, совершавшуюся въ самомъ Гоголѣ. Чѣмъ же кончилась эта борьба?

Относительно принциповъ этотъ споръ давно рѣшился. Не далѣе какъ черезъ два-три года по смерти Гоголя для общества наступилъ новый періодъ, когда несостоятельность системы, которую онъ защищалъ съ такимъ увлеченіемъ, бросалась въ глаза. Но въ ту пору личная борьба Гоголя осталась неконченной, неразрѣшенной.

Гоголь до конца остался въ противорѣчіи между своими теоретическими понятіями и внушеніями его поэтической природы. Всѣ послѣдніе годы жизни онъ работалъ надъ вторымъ томомъ „Мертвыхъ Душъ“, но не удовлетворялся и истреблялъ написанное. Изданные потомъ отрывки сохранились только случайнымъ образомъ. Передъ смертью онъ совершилъ еще одно сожженіе— послѣдній актъ его борьбы. Есть, однако, возможность угадывать, въ какомъ направленіи шли его мысли.

[1]) Эти слова сказаны Герценомъ по поводу мистицизма И. В. Кирѣевскаго: первый говоритъ, что у него не доставало духу спорить противъ этого мистицизма, и затѣмъ дѣлаетъ приведенное замѣчаніе.

Во время изданія „Переписки“ у его почитателей возникло опасеніе, почти увѣренность, что талантъ Гоголя погибъ невозвратно. Не только почитатели его въ смыслѣ Бѣлинскаго, но и кружокъ Аксаковыхъ [1]) испугались за Гоголя. Эти сомнѣнія дошли до Гоголя, и въ его письмахъ 1847 года нѣсколько разъ повторяются увѣренія, что онъ не измѣнялъ своему прежнему направленію (онъ уже начиналъ понимать дѣйствительную странность своей книги и возможность опасеній). Въ январѣ 1847 г. онъ говоритъ С. Т. Аксакову, который былъ въ числѣ людей, очень смущенныхъ появленіемъ „Переписки“, и не скрывалъ этого отъ Гоголя: „Въ письмѣ вашемъ замѣтно большое безпокойство обо мнѣ... Вновь повторяю вамъ еще разъ, что вы въ заблужденіи, подозрѣвая во мнѣ какое-то новое направленіе. Отъ ранней юности у меня была *одна дорога*, по которой иду. Я былъ только скрытенъ, потому что былъ неглупъ,—вотъ и все“. Какъ бы онъ ни объяснялъ теперь эту *одну* дорогу, это уже не было похоже на категорическое отреченіе отъ прежнихъ трудовъ въ „Перепискѣ“. Относительно книги Гоголь уже сознается въ излишней поспѣшности, но ссылается также на „неблагоразумныя *подталкиванья* со стороны друзей“—что, вѣроятно, было справедливо.

Въ письмѣ къ Шевыреву, въ мартѣ 1847, онъ, между прочимъ, увѣряетъ: „Покуда не заговоритъ общество о тѣхъ предметахъ, о которыхъ говорится въ моей книгѣ, мнѣ физически невозможно двинуть свою работу“. Такъ онъ объясняетъ книгу теперь, и въ это время ему, вѣроятно, въ самомъ дѣлѣ хотѣлось узнать состояніе общества, въ которое прежде онъ мало вникалъ и которое, во время жизни за границей, еще больше для него затемнялось. Гоголь не зналъ, что общество, т.-е. литература, уже высказывались объ этихъ предметахъ, сколько могли, и онъ могъ бы понять высказанное, еслибы поискалъ. Въ это же время пишетъ онъ другому корреспонденту: „...Такъ какъ вы питаете искренно доброе участіе ко мнѣ и къ сочиненіямъ моимъ, то считаю долгомъ извѣстить васъ, что я отнюдь *не перемѣнялъ направленія* моего. Трудъ у меня все одинъ и тотъ же, все тѣ же „Мертвыя Души“, и одна изъ причинъ появленія нынѣшней моей книги была—*возбудить* ею тѣ *разговоры и толки* въ обществѣ, вслѣдствіе которыхъ непремѣнно должны были высказаться многія, мнѣ незнакомыя, стороны современнаго русскаго человѣка“... Это—тѣ же слова, какъ въ предыдущемъ письмѣ.

[1]) Изд. Кулиша, VI, 420 и др.

Гоголь, очевидно, придумываетъ post facto оправданіе, забывая, что въ книгѣ онъ не вызывалъ толки и разговоры, а напротивъ, диктаторски рѣшалъ и проповѣдовалъ, наконецъ, что книга составилась изъ писемъ за нѣсколько лѣтъ, не предназначавшихся прежде для печати. Онъ косвенно сознавался, что слишкомъ поспѣшно произносилъ свои приговоры о „незнакомыхъ сторонахъ русскаго человѣка“.

Въ апрѣлѣ 1847 онъ пишетъ опять къ Шевыреву: „Слово о моемъ отреченіи отъ искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта *нелѣпая мысль* объ отреченіи моемъ отъ своего таланта и отъ искусства [1]), тогда какъ изъ моей же книги можно бы, кажется, увидѣть было... какія страданія я долженъ былъ выносить изъ любви къ искусству“... Онъ говоритъ, что сталъ только „строже“ къ своему искусству. Слово было слишкомъ неопредѣленно, и если „строгость“ была причиной осужденія прежнихъ произведеній, то она именно и должна была поселить „нелѣпую мысль“; но дальнѣйшія, уже не преднамѣренныя слова письма опять напоминаютъ прежняго Гоголя. Объясняя, какъ выше, необходимость изданія своей книги, чтобы заставить русское общество высказаться, онъ говоритъ: „Одно средство—выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всѣхъ. Повѣрь, что русскаго человѣка, покуда не разсердишь, не заставишь говорить. Онъ все будетъ лежать на боку и требовать, чтобы авторъ попотчивалъ его чѣмъ-нибудь *примиряющимъ съ жизнью* (какъ говорится). Бездѣлица! какъ будто можно *выдумать* это примиряющее съ жизнью. Повѣрь, что какое ни выпусти художественное произведеніе, оно не возымѣетъ теперь вліянія, если нѣтъ въ немъ именно тѣхъ вопросовъ, около которыхъ ворочается нынѣшнее общество“... Это было совершенно справедливо.

Въ это же время Гоголь пишетъ къ Щепкину съ обыкновенными настойчивыми заботами о томъ, чтобы „Ревизоръ“ исполнялся какъ можно лучше, пишетъ подробныя наставленія и пр. [2]).

Нѣсколько позднѣе, въ августѣ 1847, Гоголь пишетъ опять о своемъ направленіи къ С. Т. Аксакову, съ которымъ уже не могъ говорить, какъ съ другими, съ точки зрѣнія „Переписки“. „Да,—говоритъ онъ,—книга моя нанесла мнѣ пораженіе, но на это была воля Божія... Я получилъ много писемъ очень значительныхъ, гораздо значительнѣе всѣхъ печатныхъ критикъ. Не-

[1]) Гоголь, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не сознавалъ того, что, однако, было слишкомъ ясно сказано въ „Перепискѣ“.

[2]) Изд. Кулиша, VI, стр. 324, 325, 353, 362, 375.

смотря на все различіе взглядовъ, въ каждомъ изъ нихъ, также какъ и въ вашемъ, есть своя справедливая сторона... Къ чему вы также повторяете *нелѣпости*, которыя вывели изъ моей книги *недальнозоркіе*, что я отказываюсь въ ней отъ званія писателя, перемѣняю призваніе свое, направленіе и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ходъ моего образованія внутренняго... Опрометчивая, а по вашему, *несчастная*, книга вышла въ свѣтъ. Она меня покрыла позоромъ, по словамъ вашимъ. Она мнѣ точно позоръ, но благодарю Бога за этотъ позоръ": онъ не увидѣлъ бы безъ нея ни своего самоослѣпленія, ни объяснилось бы многое, что ему нужно было знать для „Мертвыхъ Душъ"...

Перечитывая все это, нельзя не видѣть, что послѣдствія „Переписки" были неожиданны и тяжелы для Гоголя. Эта книга была для него пробнымъ камнемъ, и то, что пришлось ему услышать по ея поводу, произвело въ немъ сильное нравственное потрясеніе. Онъ продолжаетъ свою религіозную заботливость о „душевномъ дѣлѣ", но въ его мысляхъ произошло несомнѣнно большое смятеніе. Съ первыхъ голосовъ, услышанныхъ по поводу книги, онъ понялъ, что надѣлано много ошибокъ, что его высокомѣрный тонъ не оправдывается ничѣмъ и становится просто неприличенъ и страненъ. Онъ съ первыхъ словъ отказывается отъ этого высокомѣрія, даже въ выраженіяхъ, черезъ мѣру унизительныхъ, но старается спасти главныя идеи и оправдать внутреннія побужденія. Самое рѣзкое изъ этихъ оправданій то, которое предназначалось быть отвѣтомъ Бѣлинскому: очень вѣроятно, что письмо Бѣлинскаго подѣйствовало на него всего сильнѣе. Особенно тяжелы были ему опасенія, что онъ потерянъ для искусства; онъ нѣсколько разъ принимается увѣрять близкихъ, что это несправедливо. Эти увѣренія могли быть двусмысленны, когда онъ обращался къ Шевыреву и другимъ подобнымъ друзьямъ, восхищавшимся „Перепиской"; но когда онъ увѣрялъ въ этомъ С. Т. Аксакова, очевидно, онъ могъ говорить о своей вѣрности именно тому направленію, которое Аксаковъ одобрялъ. Съ первыхъ отзывовъ онъ понялъ, что общественный вопросъ рѣшается не такъ легко, какъ ему казалось, и онъ уже находитъ нужнымъ, чтобы „мастера ремесла" объясняли публикѣ „государственные" вопросы. Но эти письма 1847 года обнаруживаютъ большую нетвердость представленій Гоголя о предметахъ общественныхъ и „государственныхъ". Онъ столько услышалъ вещей, ему незнакомыхъ, что не могъ овладѣть ими, и колеблется между разными настроеніями: то ему кажется, что онъ хотѣлъ

и долженъ былъ внести „примиреніе"; то онъ самъ видитъ, что „примиряющаго" не выдумаешь, когда его нѣтъ въ жизни; то онъ обрушивается на своихъ обвинителей, то жалуется на подталкиванья друзей; то коритъ самого себя и защищается только тѣмъ (слишкомъ сильнымъ, но, въ сущности, неубѣдительнымъ) аргументомъ, что „всѣ люди могутъ ошибаться"; то, наконецъ, падаетъ духомъ и въ безвыходномъ состояніи своей мысли пишетъ только: „душа моя изнемогла; все во мнѣ потрясено!"

Гоголь былъ дѣйствительно въ безпомощномъ состояніи. Въ немъ боролись два теченія самой жизни, два общественныя направленія: одному онъ принадлежалъ всѣми побужденіями своего таланта; къ другому влекли его теоретическія понятія, какимъ онъ научился издавна, которыя усиливалъ его возраставшій мистицизмъ. Онъ самъ безъ сомнѣнія былъ серьезнѣе всѣхъ своихъ друзей пушкинскаго круга, и какъ бы ни мало возбуждали сочувствія тѣ мысли, къ какимъ онъ приходилъ въ это время, онъ выдерживалъ изъ-за нихъ тяжелую внутреннюю борьбу. Никому изъ его друзей не приходилось переживать страшныхъ недоумѣній, какія заставляли его истреблять свой многолѣтній трудъ; не разумѣя истинныхъ основъ его таланта, они только „подталкивали" его въ томъ направленіи, въ которомъ онъ пришелъ къ своей по-истинѣ „несчастной" книгѣ.

„Переписка" наглядно разъясняетъ ту странную область, въ которой блуждали мысли Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его жизни. Трудно опредѣлять годами, когда въ немъ является та или другая мысль. Собственно говоря, его послѣднее направленіе весьма естественно вытекало изъ его прежняго содержанія, и зерно странныхъ заблужденій лежало въ его давнишнихъ понятіяхъ: ошибка была въ томъ, что онъ не переработалъ ихъ тѣми средствами, которыя были для него возможны—болѣе серьезнымъ образованіемъ и болѣе близкимъ изученіемъ развивавшихся нравственныхъ потребностей общества. Увлеченный успѣхомъ, избалованный и приводимый въ заблужденіе друзьями, онъ вообразилъ, что можетъ легко рѣшать вопросы, которые однако ему не были по силамъ, и бросается въ дешевый дидактизмъ; друзья— „подталкивали".

Въ сороковыхъ годахъ въ немъ все больше развивается мистицизмъ. Это была старая черта его мыслей и характера, и мы видѣли, что она довольно ясно высказывается еще въ письмахъ 1836 года. *До изданія* перваго тома „Мертвыхъ Душъ" мистицизмъ уже развился въ Гоголѣ самымъ очевиднымъ образомъ. Онъ видитъ въ своей личной судьбѣ непосредственную волю и

вмѣшательство Провидѣнія; вслѣдствіе того, приписываетъ себѣ сверхъестественныя силы; вслѣдствіе того видитъ въ своемъ трудѣ настоящее откровеніе [1]). Мистицизмъ не былъ, такимъ образомъ, причиной перемѣны Гоголемъ своего направленія, какъ иногда думали; мистицизмъ дѣйствовалъ на общественныя мнѣнія Гоголя

[1]) Вотъ нѣсколько образчиковъ этого мистицизма и мнѣній Гоголя о продолженіи „Мертвыхъ Душъ“, до изданія перваго тома и послѣ.

1840, декабрь, въ письмѣ С. Т. Аксакову: „Много *чуднаго* совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни... Дальнѣйшее продолженіе (М. Душъ) выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣе, и теперь я вижу, что, можетъ быть, со временемъ выйдетъ *кое-что колоссальное*“ (Кул., V, 426).

1841, мартъ, къ нему же: „Да, другъ мой, я глубоко счастливъ. Несмотря на мое болѣзненное состояніе... я слышу и знаю дивныя минуты. Созданіе *чудное* творится и совершается въ душѣ моей... Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка; никогда *не выдумать ему такого сюжета* (!)“, и пр. (Кул., V, 436).

1841, августъ, къ А. С. Данилевскому: „... О, вѣрь словамъ моимъ! *Властью высшею* облечено отнынѣ мое слово. *Все* можетъ разочаровать, обмануть, измѣнить тебѣ, но не измѣнитъ мое слово“ (Кул., V, 447).

1842, февраль, Н. М. Языкову: „...Чувствую съ каждымъ днемъ и часомъ, что нѣтъ выше удѣла на свѣтѣ, какъ званіе монаха... Здоровье мое сдѣлалось значительно хуже“ (Кул., V, 459).

1842, апрѣль, къ Н. Д. Бѣлозерскому: „...Я теперь больше гожусь для монастыря, чѣмъ для жизни свѣтской“ (Кул., V, 468).

1843, ноябрь, въ письмѣ къ Языкову, уже полное господство мистицизма. Гоголь даетъ ему наставленіе о молитвѣ, которой подчиняется все поэтическое творчество. Это цѣлый длинный трактатъ: „...Вотъ какія произойдутъ чудеса. Въ первый день еще ни ядра мысли нѣтъ въ головѣ твоей (!!); ты просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день ты будешь говорить не просто: „Дай произвести мнѣ“, но уже: „Дай произвести мнѣ въ такомъ-то духѣ“. Потомъ, на четвертый или пятый: „съ такою-то силой“. Потомъ окажутся въ душѣ вопросы: какое впечатлѣніе могутъ произвести задумываемыя творенія и къ чему могутъ послужить? И за вопросами въ ту же минуту (!) послѣдуютъ отвѣты, которые будутъ *прямо отъ Бога* (!)“, и проч. (Кул., VI, 82).

1844, февраль, къ Шевыреву, о мистическомъ искусствѣ „уходить въ себя“,— которому Гоголь уже научился (Кул., VI, 44), и т. д.

1844, декабрь, къ г-жѣ Смирновой, о своихъ прежнихъ сочиненіяхъ: „они всѣ написаны давно, во времена глупой молодости“ и пр. (Кул., VI, 147; Записки о жизни Гоголя, II, 43).

1845, іюль, къ ней же: „Я не люблю моихъ сочиненій, доселѣ бывшихъ и напечатанныхъ, особенно Мертв. Душъ... Вовсе не губернія и не нѣсколько уродливыхъ помѣщиковъ, и не то, что имъ приписываютъ есть предметъ М. Душъ. Это покамѣстъ еще *тайна*, которая должна была вдругъ, къ *изумленію всѣхъ*, раскрыться въ послѣдующихъ томахъ“ и пр. (Кул., VI, 204).

1846, май, къ Языкову, по поводу нѣмецкаго перевода Мертв. Душъ: „Дай только Богъ силы отработать и выпустить второй томъ. Узнаютъ они (нѣмцы) тогда, что у насъ есть много того, о чемъ они никогда не догадывались и чего мы сами не хотимъ знать“ (Кул., VI, 249).

только косвеннымъ, второстепеннымъ образомъ. Онъ сообщилъ Гоголю то высокомѣрое представленіе о себѣ, какъ избранномъ орудіи Провидѣнія, — которое придало его мнѣніямъ такую вопіющую рѣзкость и нетерпимость; кромѣ того, ставя на первомъ планѣ „небесное гражданство“, мистицизмъ дѣлалъ Гоголя еще менѣе понятливымъ къ настоящему, земному гражданству, и слѣдовательно тѣмъ болѣе воспріимчивымъ къ консервативнымъ толкованіямъ.

Рядомъ съ мистицизмомъ, но независимо отъ него является у Гоголя другой рядъ мыслей, который главнымъ образомъ и привелъ странныя мнѣнія, принятыя за переломъ, за перемѣну направленія. Увлеченный успѣхомъ „Мертвыхъ Душъ“, Гоголь сталъ думать, что ему необходимо выяснить свои нравственныя и общественныя основанія. Онъ увидѣлъ себя во главѣ литературы: за исключеніемъ немногихъ старыхъ враговъ, литературныя партіи соединялись въ общемъ удивленіи предъ его произведеніями и онъ сталъ думать, что ему слѣдуетъ достойнымъ образомъ поддержать это положеніе; „Мертвыя Души“ стали представляться ему въ перспективѣ, какъ цѣлый кодексъ морали, который онъ дастъ отъ себя обществу въ поученіе и руководство. Въ началѣ, это могло быть и, вѣроятно, было совершенно наивное и добросовѣстное желаніе, — въ которомъ Гоголь забылъ только одно: необходимость свободы для его таланта, невозможность для него никакихъ постороннихъ вмѣшательствъ, соображеній и стѣсненій. Мистическое настроеніе укрѣпило его въ убѣжденіи, что онъ — призванный учитель общества; и постороннія соображенія — узкая дидактическая цѣль, поставленная имъ для своего труда — извратили все его дѣло. Вмѣсто чисто-поэтическаго труда, у него началась работа теоретическая, ему чуждая и непосильная. Эта работа направилась на двоякаго рода предметы: на общія разсужденія о человѣческой природѣ, и на особенныя свойства и потребности русскаго общества.

Его моральный кодексъ долженъ былъ обнять всѣ стороны русскаго человѣка, и хорошія и дурныя (пріятели уже замѣчали ему, что онъ слишкомъ много говорилъ о послѣднихъ); Гоголь рѣшилъ, что ему нужно опредѣлить высокое и низкое въ нашей природѣ, наши недостатки и достоинства, а чтобы опредѣлить природу русскаго человѣка, слѣдуетъ узнать природу и душу человѣка вообще.

„Съ этихъ поръ, — говоритъ онъ, — человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ моихъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе

на узнанье тѣхъ *вѣчныхъ законовъ*, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. *Все* (?), гдѣ только выражалось познанье людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ немъ ключъ къ душѣ человѣка... *Повѣркой разума* повѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясной вѣрой и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно", и пр. [1]). Мы скажемъ дальше, насколько удовлетворительна могла быть „повѣрка разума"; довольно замѣтить теперь, что путемъ этихъ общихъ разсужденій Гоголь съ другой стороны подходилъ къ тому же мистицизму.

Второй предметъ, занявшій Гоголя, было собственно русское общество, его особенности, его настоящее и его потребности. Отношеніе Гоголя къ этому вопросу усложнялось различными обстоятельствами. Прежде мы упоминали, что Гоголь искони, съ семьи и лицея, воспитался въ патріархальномъ консерватизмѣ, который потомъ еще усилился авторитетомъ его друзей въ пушкинскомъ кружкѣ: его общественная философія составилась уже въ эту пору. Его произведенія были по своей сущности если не прямымъ протестомъ противъ господствовавшей рутины понятій, то сильнымъ возбужденіемъ общественной мысли противъ этой рутины; но этого не сознавали ясно ни Гоголь, ни сами его друзья. Только послѣ они увидѣли, что дѣйствіе произведеній Гоголя на публику оказывалось не совсѣмъ то, какого они ожидали; оно переходило мѣрку, которая имѣлась у нихъ для „изящной словесности". Самъ Гоголь по всей вѣроятности долженъ былъ чувствовать извѣстное внутреннее удовлетвореніе отъ обширнаго вліянія своихъ произведеній (выше упомянуто объ его секретныхъ свиданіяхъ съ Бѣлинскимъ), но едва ли могъ относиться искренно къ своимъ почитателямъ изъ новой литературной школы, и потомъ больше и больше долженъ былъ вторить своимъ ближайшимъ друзьямъ. Для этихъ друзей имя Бѣлинскаго было цѣлью самой искренней и самой полной ненависти; они должны были внушать свои взгляды и Гоголю и возстановлять его противъ его почитателей новаго направленія. Гоголю указывали, что его сочиненіямъ дается превратный смыслъ, что эти сочиненія, къ сожалѣнію, слишкомъ останавливаются на темныхъ, отрицательныхъ сторо-

[1]) Изд. Кулиша, III, 505 („Авторская Исповѣдь"). Записки о жизни Гоголя, II, 168, принимаютъ эту „повѣрку разума" буквально...

нахъ русскаго общества, и онъ еще разъ убѣждался, что ему не должно ограничиваться темными сторонами, а слѣдуетъ также изобразить лучшія свойства и достоинства русскаго человѣка...

Наконецъ, присоединяются щекотливыя отношенія къ властямъ. Выше упомянуто, какъ онъ съ самаго начала связалъ тѣсныя отношенія съ людьми извѣстнаго круга и полу-оффиціальнаго значенія; какъ онъ, ради своей литературной „службы", считалъ себя въ правѣ на прямыя пособія со стороны властей и черезъ друзей своихъ добивался этихъ пособій довольно настойчиво. Теперь понятіе о литературной „службѣ" развилось вполнѣ. Онъ „почувствовалъ, что на поприщѣ писателя можетъ также сослужить службу государственную"; обдумывая свое сочиненіе, полагалъ, что оно „можетъ дѣйствительно принести пользу", и чѣмъ дальше, тѣмъ больше убѣждался, что ему „*не случайно* слѣдуетъ взять характеры, какіе попадутся", но должно выставить, кромѣ низкихъ, и высшія свойства русской природы. „Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ начали говорить, что я смѣюсь не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ самымъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всѣмъ человѣкомъ, но и надъ мѣстомъ, надъ самою должностію, которую онъ занимаетъ (*чего никогда я даже не имѣлъ и въ мысляхъ*), я увидалъ, что *нужно съ смѣхомъ быть очень осторожнымъ*", и пр. [1]). Въ самомъ дѣлѣ, литературный чиновникъ, литературное „значительное лицо", какимъ Гоголю должно было считать себя съ этой точки зрѣнія, не могло уже предаваться смѣху, которому бы вторила легкомысленная толпа, не знающая высшихъ соображеній: Гоголь думалъ размѣрять и раздавать, по заслугамъ, свой смѣхъ и свои одобренія, какъ наказаніе и награду—съ точки зрѣнія государственной пользы. Это было, конечно, заблужденіе, но оно было еще тѣмъ прискорбнѣе, что Гоголь, безъ сомнѣнія, руководился при этомъ и своими личными отношеніями къ властямъ. Онъ не былъ въ этихъ отношеніяхъ наивенъ [2]), и мы видѣли выше, какъ въ одной просьбѣ о деньгахъ онъ рекомендуетъ указать начальству именно *тѣ*, а не *другія* изъ своихъ сочиненій, слѣдовательно, очень соображалъ, что *другія* могутъ начальству не совсѣмъ понравиться. Заявляя свои *права* на пособія и милости, онъ понималъ, что на него за то ложатся извѣстныя *обязанности*, что онъ долженъ отплатить именно начальству за эти милости. И онъ принялся

[1]) „Авторская Исповѣдь", Кул. т. III, 503—504.

[2]) Напомнимъ опять характеристику, сдѣланную Анненковымъ.

отплачивать [1]): отсюда—осторожное обращеніе со смѣхомъ, отсюда—изображеніе высшихъ свойствъ русской природы въ тѣхъ идеально-добродѣтельныхъ образцовыхъ лицахъ, которыми онъ сталъ населять продолженіе „Мертвыхъ Душъ", —словомъ, именно то выдумываніе „примиряющихъ съ жизнью вещей", которое онъ самъ осуждалъ въ одномъ изъ приведенныхъ выше писемъ.

Въ такихъ направленіяхъ шли мысли Гоголя въ его послѣднемъ періодѣ. Этотъ періодъ начался гораздо раньше изданія перваго тома „Мертвыхъ Душъ", но на первомъ томѣ еще не успѣло отразиться вліяніе этихъ мыслей, онѣ еще не успѣли до такой степени овладѣть имъ, и присутствіе этихъ мыслей можно замѣтить развѣ только въ такъ-называемыхъ „лирическихъ мѣстахъ". На второмъ томѣ ихъ вліяніе было очевидно...

Почитатели Гоголя не даромъ опасались гибели таланта: дѣйствительно, работа Гоголя спутывалась придуманными цѣлями, и тамъ, гдѣ выступала его тенденція, поэзія удалялась...

Художественный писатель можетъ, конечно, сообщать своей работѣ сознательную тенденцію, но при этомъ необходимо, чтобы тенденція была искреннимъ убѣжденіемъ, чтобы она была вѣрна лучшимъ интересамъ жизни и чтобы сила мысли и знанія не уступала силѣ таланта. Въ какомъ положеніи былъ Гоголь въ этомъ случаѣ; чѣмъ оправдывалась его тенденція; какія средства имѣлъ онъ, чтобы вѣрно понять положеніе общества и лучшіе интересы его, которымъ должно служить искусство?

Мы замѣтили, что теоретическая работа, имъ предпринятая, была ему непосильна. Въ самомъ дѣлѣ, предположивъ, что онъ не вмѣшивалъ сюда никакого грубаго матеріальнаго разсчета, онъ былъ очень мало, даже вовсе не приготовленъ къ правиль-

[1]) Въ 1842, онъ пишетъ кн. Дондукову-Корсакову, что „ни въ какомъ случаѣ не позволилъ бы себѣ написать ничего противнаго правительству, уже и такъ меня глубоко облагодѣтельствовавшему".

Въ 1845, въ письмѣ къ гр. Уварову, онъ выражаетъ сожалѣніе, что хотя въ основаніи его труда легла добрая мысль, но она выражена не зрѣло и *не такъ, какъ бы слѣдовало*: „не даромъ большинство приписываетъ ему скорѣе *дурной* смыслъ, чѣмъ хорошій"; онъ соболѣзнуетъ, что „въ неоплатномъ долгу"—у правительства; надѣется на будущій трудъ, предметъ котораго „не чуждъ былъ и вашихъ собственныхъ (гр. Уварова) помышленій", утѣшается мыслью, что со временемъ, когда трудъ будетъ конченъ, власть скажетъ о немъ: „этотъ человѣкъ умѣлъ быть благодарнымъ и зналъ, чѣмъ высказать мнѣ свою признательность".

Въ 1846, въ письмѣ къ г-жѣ Смирновой объясняетъ, почему не представлялся государю, который былъ тогда въ Римѣ: „Государь долженъ увидѣть меня тогда, когда я на своемъ скромномъ поприщѣ сослужу ему такую службу, какую совершаютъ другіе на государственныхъ поприщахъ" (Кул., V, 461; VI, 173, 233).

ному рѣшенію вопросовъ, въ зависимость отъ которыхъ онъ самъ поставилъ теперь свою работу. Онъ корилъ Бѣлинскаго недостаточностью образованія, но его собственное было еще недостаточнѣе. „Я началъ поздно свое воспитаніе,—говоритъ самъ Гоголь,—въ такіе годы, когда другой человѣкъ уже думаетъ, что онъ воспитанъ", и дѣйствительно, у него было запасено слишкомъ немного матеріала для правильныхъ сужденій объ общественной жизни, которую онъ хотѣлъ разъяснить соотечественникамъ: „силъ много, но умѣнья править этими силами мало" [1]). Въ „Авторской Исповѣди" онъ говоритъ: „...Надобно сказать, что я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученьи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всѣ свои занятія" [2]). И справедливость этого признанія вполнѣ подтверждается указаніями его біографіи и сочиненій. Правда, онъ говоритъ (и его біографъ довѣрчиво повторяетъ его слова), что онъ изучалъ книги законодателей и душевѣдцевъ, но чтеніе подобныхъ книгъ безъ научной подготовки можетъ или остаться безплоднымъ или вести къ заблужденіямъ, а существованіе подготовки болѣе чѣмъ сомнительно. Въ сочиненіяхъ Гоголя не замѣтно результатовъ этого чтенія, и философія ограничилась самымъ обыкновеннымъ піэтистическимъ консерватизмомъ, въ родѣ философіи Шевырева... Долгая жизнь въ Европѣ, повидимому, нисколько не познакомила его съ дѣйствительнымъ состояніемъ европейской образованности [3]), и, напр., пониманіе итальянской жизни, въ которой ему нравилась живописная сторона неподвижнаго быта, можетъ служить образчикомъ его взглядовъ тамъ, гдѣ онъ еще пріобрѣлъ какое-нибудь знакомство съ жизнью. Другія страны были ему знакомы не болѣе, чѣмъ обыкновенному туристу; онъ по слухамъ, отъ своихъ же пріятелей, имѣлъ нѣкоторыя представленія о томъ, что тамъ творится, и эти представленія были крайне неясны; къ Германіи онъ питалъ чуть не ненависть [4]), но онъ и не зналъ ея. Языками онъ владѣлъ и, вѣроятно, пользовался мало; по-нѣмецки едва ли могъ читать. Европейская литература, вѣроятно, также мало ему была любо-

[1]) Въ письмѣ 1847, изд. Кул., VI, 392, 393.

[2]) Изд. Кулиша, III, 505. Ср. письмо къ Шевыреву, 1844, тамъ же, VI, 121, и Записки о жизни Гоголя, I, 23—24.

[3]) Ср. воспоминанія Анненкова, Арнольди и др.

[4]) См., напр., его отзывы еще въ болѣе свѣтлую пору, 1839—40 г., у Кул., V, 374, 408, и отъ 1844 г., VI, 136.

пытна и извѣстна, какъ европейская жизнь; въ рѣдкихъ случаяхъ, гдѣ онъ упоминаетъ о ней, видны только произвольныя обычныя фразы, не совсѣмъ правильно приложенныя [1]). Наконецъ, люди, расположенные судить о Гоголѣ благопріятно, утверждаютъ, что онъ, имѣя „претензію знать все лучше другихъ", собственно говоря, имѣлъ очень неясныя представленія о самой русской жизни. „Онъ не зналъ нашего гражданскаго устройства, нашего судопроизводства, нашихъ чиновническихъ отношеній, даже нашего купеческаго быта"; „онъ не обращалъ вниманія на внѣшнее устройство Россіи, на всѣ малыя пружины, которыми двигается машина"; „Гоголь не желалъ научиться чему-нибудь отъ другихъ и не любилъ никакихъ противорѣчій—такъ поступалъ онъ въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло касалось важныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ въ наукѣ, въ искусствѣ, или даже какомъ-нибудь новомъ изобрѣтеніи ума человѣческаго", и проч. [2]). По словамъ того же автора, Гоголь въ этихъ предметахъ былъ чистый самоучка, и какъ обыкновенно бываетъ, самоучка, не знавшій дѣла какъ слѣдуетъ, но самолюбивый и упрямый: онъ или отыскивалъ вещи, давно извѣстныя, или впадалъ въ фантазіи и грубыя ошибки. Такъ, не говоря о множествѣ странныхъ притязаній и практическихъ совѣтовъ, какими преисполнена „Переписка", онъ даже въ сужденіяхъ о предметахъ литературныхъ терялъ всякую почву. Довольно было бы указать въ „Выбранныхъ Мѣстахъ" пророчества объ „Одиссеѣ", которой онъ предвѣщалъ роль какого-то откровенія не только для общества, но даже для „народа" (!): такъ спутывались у него самыя простыя понятія о литературѣ, если не было здѣсь слишкомъ грубой лести Жуковскому. Такъ онъ рѣшаетъ споры между европеистами и славянофилами, предпочитая тѣмъ и другимъ Шевырева, и, пожалуй, Вигеля [3]); такъ, онъ находитъ, что у насъ совершенно возможна полная свобода мысли [4]), и т. д.

Всѣ эти и подобные недостатки въ теоретическомъ образованіи могли не вредить и не вредили Гоголю, пока онъ слѣдовалъ непосредственнымъ влеченіямъ своего таланта, но когда онъ

---

[1]) Напр., когда онъ говоритъ въ „Перепискѣ", будто къ такимъ писателямъ, какъ Гёте, Шиллеръ, Бомарше, Лессингъ, „даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипѣло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ (?), занимавшихся вопросами политическими", и проч. Кул., III, 381. Кромѣ Гёте, у остальныхъ было какъ разъ наоборотъ.

[2]) Воспоминанія Л. Арнольди, стр. 69—71.

[3]) См. „Выбранныя Мѣста", и также изд. Кулиша, VI, 267, 408—409.

[4]) Въ письмѣ къ Языкову. Кул., VI, 449.

поставилъ на первомъ планѣ именно свои теоретическія разсужденія, паденіе было неминуемо. Онъ самъ, напротивъ, думалъ, что великое созданіе еще впереди и что оно изумитъ всѣхъ своими неожиданными красотами и открытіями. Онъ такъ былъ убѣжденъ въ этомъ, что поторопился издать „Выбранныя Мѣста" именно какъ образчикъ тѣхъ откровеній, которыя предстояли читателю во второмъ томѣ. Самый фактъ изданія „Выбранныхъ Мѣстъ" съ этими ожиданіями достаточно показываетъ, какъ мало зналъ Гоголь состояніе русскаго общества. Никто изъ его друзей не подумалъ, въ теченіе долгой переписки до этого, сдѣлать Гоголю никакого указанія; даже Аксаковы поддались впечатлѣнію отъ его мистически-диктаторскихъ писемъ.

Пріемъ „Переписки" въ литературѣ сильно озадачилъ и поразилъ Гоголя. Тутъ только сталъ онъ подозрѣвать громадность ошибки, но передѣлывать себя было уже трудно...

Повидимому, онъ убѣдился теперь, что изъ „прекраснаго далека" не совсѣмъ удобно изучать общество и надѣлять его своими поученіями; съ возвращенія изъ Іерусалима, онъ уже не покидалъ Россіи и ревностно работалъ надъ „Мертвыми Душами". Исторія ихъ до сихъ поръ не вполнѣ выяснена. Извѣстные теперь тексты представляютъ предварительную, еще не законченную работу, притомъ со многими пропусками противъ того, что онъ читалъ своимъ друзьямъ около 1849 года. Друзья, слышавшіе тогда его чтеніе [1]), были отъ него въ восторгѣ, который, конечно, еще мало ручается за дѣйствительное достоинство произведенія Гоголя; эти друзья,—за исключеніемъ Аксаковыхъ,—восторгались и „Перепиской". Но если мы не знаемъ послѣдняго текста второго тома, то мы имѣемъ предварительные тексты, которые даютъ возможность судить объ общемъ характерѣ работы Гоголя.

Второй томъ „Мертвыхъ Душъ" представляетъ именно отраженіе тѣхъ мыслей, какія занимали Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его жизни. Въ немъ остался слѣдъ обѣихъ сторонъ его внутренней жизни,—и свободные порывы таланта, и вялыя попытки провести придуманное поученіе. Разсказъ явно ведется съ цѣлью убѣдить читателя въ той морали, которую излагала „Переписка". Главная тема—„прочное дѣло жизни". Надо бросить всякія теоріи, особенно вольнодумныя; пусть всякій довольствуется своимъ положеніемъ, исполняетъ свои обязанности,—тогда достигнется частное и общее благосостояніе. Не нужно слишкомъ за-

[1]) Они названы въ Зап. о жизни Гоголя, II, стр. 226—230, 249.

ботиться о школѣ, она мало помогаетъ, даже сбиваетъ съ толку: человѣкъ, учившійся „на мѣдные гроши", но составившій себѣ большое состояніе своего рода кулачествомъ, добываніемъ денегъ даже изъ всякой дряни,—кажется Гоголю однимъ изъ достойнѣйшихъ типовъ русскаго общества. Не нужно никакихъ преобразованій—все и безъ того хорошо; надо только, чтобы исполнялись законы, чтобы каждый жилъ по-христіански, избѣгалъ губительной роскоши и т. п. Въ числѣ новыхъ лицъ, выведенныхъ во второмъ томѣ, являются, и должны были занять большую роль, между прочимъ, такія лица, которыя должны были представлять „лучшія свойства русскаго человѣка", служить идеалами. Это—добродѣтельный откупщикъ и милліонеръ Муразовъ, добродѣтельный генералъ-губернаторъ, трудолюбивый Костанжогло. Муразовъ—милліонеръ и вмѣстѣ христіанскій подвижникъ, добродѣтельно добывшій милліоны на откупахъ; генералъ-губернаторъ, говорящій своимъ подчиненнымъ буквально такія нравственно-мистическія и длинныя рѣчи, какими преисполнена „Переписка"; „дивное созданіе Улинька"; съ другой стороны, наказаніе порока, въ лицѣ Чичикова, козни чиновниковъ, обращеніе „вѣрующаго" кутилы на подвигъ добра, съ помощью благодѣтельнаго откупщика,—все это такія безжизненныя, натянутыя фигуры, все это такъ фальшиво, что бросается въ глаза явное и прискорбное паденіе великаго дарованія, загнаннаго на несвойственную ему дорогу,—точно, вмѣсто Гоголя, читаешь „нравственно-сатирическій романъ" тридцатыхъ годовъ...

Въ отдѣльныхъ мѣстахъ, гдѣ Гоголь оставался самимъ собой, у него и здѣсь являются черты, достойныя прежняго времени; но въ цѣломъ, второй томъ „Мертвыхъ Душъ" представлялъ что-то тяжелое, натянутое, фальшивое и скучное. И это была „тайна", съ которой онъ носился передъ своими друзьями, „чудное созданіе", „нѣчто колоссальное", „сокровище", которымъ онъ надѣялся поразить русское общество и сослужить государственную службу! Это былъ „переломъ", отъ котораго пришли въ восторгъ его петербургскіе друзья, обрадовавшись, что Гоголь, наконецъ, торжественно „отрекался" отъ своихъ почитателей [1]).

Работа надъ вторымъ томомъ шла въ то же время, какъ готовилась „Переписка"—совершенно та же тенденція, много сходства даже въ отдѣльныхъ выраженіяхъ; это — тенденція, ко-

---

[1]) Ср. въ „Запискахъ о жизни Гоголя" I, 337, гдѣ исторія мнѣній Гоголя объясняется какъ „ясновидѣніе земной жизни" и „тоска по иной лучшей жизни"...

торую сталъ вырабатывать себѣ Гоголь въ „прекрасномъ далекѣ“ [1]).

Вторая редакція составлялась, повидимому, довольно долго, и позднѣе „Переписки“. Нѣкоторыя подробности, здѣсь прибавленныя, могутъ принадлежать тому времени, когда Гоголь велъ переписку съ Бѣлинскимъ. Одинъ критикъ замѣчалъ, что, передѣлывая одно мѣсто въ первой главѣ 2-го тома, Гоголь очевидно имѣлъ въ виду Бѣлинскаго [2]). Именно, въ описаніи сосѣдей Тентетникова, ему надоѣдавшихъ, вмѣсто „брандера-полковника, мастера и охотника на разговоры обо всемъ“, во второй редакціи является „рѣзкаго направленія недоучившійся студентъ, набравшійся мудрости изъ современныхъ брошюръ и газетъ“, съ „европейски открытымъ обращеніемъ“, и затѣмъ, „начитавшійся всякихъ брошюръ, недокончившій учебнаго курса эстетикъ“ упоминается въ числѣ членовъ противузаконнаго общества,—какъ будто намекающаго на общество Петрашевскаго. Можно было бы еще прибавить, что подобными чертами Гоголь хотѣлъ уколоть Бѣлинскаго, когда писалъ свой длинный обличительный отвѣтъ ему, оставшійся непосланнымъ [3]).

Кажется, полный „переломъ“. Но петербургскіе пріятели Гоголя очень ошиблись, предполагая, что Гоголь можетъ сдѣлать въ этомъ направленіи что-нибудь достойное прежней славы его таланта. Фальшивая тенденція, подложенная въ эту работу, давала только слабые результаты. Но, повидимому, пріятели ошиблись и въ прочности „перелома“. Правда, Гоголь, вѣроятно, до послѣдняго времени сохранилъ вражду къ новому образу мыслей [4]), но онъ начиналъ сознавать и свои ошибки. Друзья продолжали передъ нимъ преклоняться [5]) и только помогали его самолюбію; но при всемъ упрямствѣ въ своихъ фантастическихъ идеяхъ, онъ уступалъ времени, и тонъ его писемъ значительно измѣняется.

---

[1]) Идеалъ Костанжогло былъ издавна въ мысляхъ Гоголя; пусть сравнитъ читатель разсужденія Гоголя (во 2-мъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“) о помѣщичьемъ хозяйствѣ, напр., съ его разсужденіями въ письмѣ къ его пріятелю А. С. Данилевскому, въ августѣ 1841 г. (Кул., V, 446—447. Это точно отрывокъ изъ 2-го тома).

[2]) Г. Чижовъ, въ „Вѣстникѣ Европы“, 1872, іюль, стр. 432—439.

[3]) Ср. „нынѣшнія легкія брошюрки, написанныя Богъ вѣсть кѣмъ“ (?), или „современныя брошюры, писанныя разгоряченнымъ умомъ, совращающимъ съ прямого взгляда“, и т. п. Кулиша. VI, 384, 386. По всей вѣроятности, Гоголь имѣлъ весьма неясное представленіе о томъ, что могли говорить эти „брошюры“.

[4]) См., напр., письмо къ Жуковскому отъ конца 1849 г., въ изд. Кулиша, VI, 497.

[5]) Объ ихъ странныхъ отношеніяхъ къ Гоголю см. воспоминанія Н. Берга.

Его ближайшіе друзья, Шевыревъ, А. О. Смирнова и другіе, восхищались вторымъ томомъ, и это, конечно, еще мало ручалось за его достоинства. Но Гоголь читалъ второй томъ и Аксаковымъ, которые вовсе не были поклонниками „Переписки". Когда Гоголь сталъ въ первый разъ читать у нихъ „Мертвыя Души", С. Т. Аксаковъ пришелъ въ невольное смущеніе, опасаясь увидѣть паденіе таланта Гоголя; Гоголь смѣшался, понявши его мысль; но чтеніе 1-й главы второго тома привело Аксаковыхъ въ полный восторгъ. Когда С. Т. Аксаковъ, по просьбѣ Гоголя, сообщилъ ему нѣсколько замѣчаній о прочитанномъ, Гоголь очевидно былъ ими обрадованъ: „Вы замѣтили мнѣ,—говорилъ онъ,—именно то, что я самъ замѣчалъ, но не былъ увѣренъ въ справедливости моихъ замѣчаній. Теперь же я въ нихъ не сомнѣваюсь, потому что то же замѣтилъ другой человѣкъ, *пристрастный* ко мнѣ". Пристрастіе состояло въ томъ, что Аксаковъ-отецъ считалъ „Переписку" позорной книгой, и сказалъ объ этомъ Гоголю.

Черезъ нѣсколько времени Гоголь прочелъ у Аксаковыхъ ту же главу во второй разъ: „мы были поражены удивленіемъ,— передаетъ С. Т. Аксаковъ,—глава показалась намъ еще лучше и *какъ будто написана вновь*". До лѣта 1850 г. Гоголь прочелъ имъ четыре главы.

Повидимому, талантъ еще не покидалъ Гоголя и служилъ ему, когда онъ давалъ ему просторъ. Онъ пробивался во второмъ томѣ при всей нескладности его тенденціи. Даже въ самую темную пору „Переписки" талантъ—какъ будто противъ его собственной воли—указывалъ Гоголю истинныя свойства русской дѣйствительности, и у него вырывались признанія, очень мало похожія на весь тонъ его мыслей, и хотя, замѣтивъ ихъ, онъ спѣшитъ прибавить къ нимъ піэтистическій комментарій, онъ не можетъ скрыть ихъ грустной правды. „Вотъ уже почти полтораста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ (говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ „Переписки"), какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станціею, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный

смотритель, съ черствымъ отвѣтомъ: „Нѣтъ лошадей!“ Отчего это? Кто виноватъ?“ [1]). Но Гоголь не въ состояніи объяснить себѣ этого явленія, не подозрѣваетъ, что виноваты въ немъ условія нашей жизни, стѣсненіе образованія, отсутствіе общественности, словомъ, тѣ самыя вещи, которыя онъ самъ тутъ же возводитъ въ апотеозу... И во второмъ томѣ также тенденціозныя сплетенія не разъ прерываются совсѣмъ инымъ тономъ, иными мыслями и картинами. Такъ, Гоголь заставляетъ своего генералъ-губернатора говорить чиновникамъ назидательно-піэтистическую рѣчь, совершенно невозможную; но картина русскаго управленія въ этой рѣчи поражаетъ своей правдой и можетъ напомнить настоящаго Гоголя [2])...

„Переломъ“, отъ котораго друзья Гоголя ожидали новой, высшей его дѣятельности, не удавался; но талантъ Гоголя былъ дѣйствительно надломленъ — и его физическимъ истощеніемъ, а еще болѣе той ложью понятій, которую въ теченіе столькихъ лѣтъ Гоголь въ себѣ воспитывалъ, а друзья усердно поддерживали. Мудрено предположить, чтобы Гоголь въ состояніи былъ вынести происходившую въ немъ борьбу и снова дѣйствовать въ литературѣ съ прежнею силою; напротивъ, и сожженіе второго тома передъ смертью было, вѣроятно, результатомъ этого мучительнаго сознанія, послѣднимъ порывомъ его прежняго свободнаго поэтическаго чувства.

Печальная литературная судьба Гоголя показала, какъ сильно измѣнилось состояніе литературы. Прошло только пятнадцать лѣтъ со смерти Пушкина; въ началѣ этого періода Гоголь, подъ чисто художественными возбужденіями Пушкина, создавалъ свои величайшія произведенія, основавшія новый періодъ русской литературы; въ концѣ, когда Гоголь захотѣлъ построить систему изъ идей оффиціальной народности, подложенныхъ мистицизмомъ и поддержанныхъ консервативными друзьями бывшаго пушкинскаго круга, и дѣйствовать въ ихъ смыслѣ на новое общество, его пред-

[1]) Выбран. Мѣста, въ изд. Кулиша, III, стр. 402. То же впечатлѣніе онъ повторяетъ въ „Авторской Исповѣди“. Говоря о своемъ желаніи изучить Россію, онъ замѣчаетъ: „Провинціи наши... меня изумили... Тамъ даже имя Россія не раздается на устахъ... Словомъ, во все пребыванье мое въ Россіи, Россія у меня въ головѣ разсѣевалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цѣлое; духъ мой упадалъ, и самое желанье знать ее ослабѣвало“. Тамъ же, III, стр. 514. Бѣлинскій замѣтилъ эти противорѣчія съ остальнымъ содержаніемъ „Переписки“, въ своей статьѣ по поводу этой книги.

[2]) Въ „Р. Старинѣ“, 1872, напечатанъ былъ третій варіантъ 2-й части (три первыя главы), но потомъ явилось заявленіе, что это поддѣлка. Ср. „Вѣстн. Евр.“, 1873, августъ и сентябрь.

пріятіе рушилось самымъ прискорбнымъ образомъ. Гоголь остался великимъ именемъ въ литературѣ—по тѣмъ произведеніямъ, которыя создавалъ свободной силой своего таланта, подъ живыми, хотя и не вполнѣ сознаваемыми, вліяніями дѣйствительности; но исторія литературы считаетъ паденіемъ тотъ періодъ, когда, отказавшись отъ прежней дѣятельности, онъ сталъ проповѣдывать общественную философію, отжившую свое время еще въ тридцатыхъ годахъ.

IX.

БѢЛИНСКІЙ.

Съ тридцатыхъ годовъ начинаетъ развиваться направленіе, достигшее своей зрѣлости въ сороковыхъ годахъ и всего чаще соединяемое съ именемъ Бѣлинскаго. Славянофилы въ свое время называли его „западнымъ", теперь чаще называютъ его направленіемъ „сороковыхъ годовъ". Имя Бѣлинскаго можетъ справедливо оставаться за этимъ направленіемъ, не потому, чтобы онъ былъ руководящимъ его представителемъ (въ этомъ же смыслѣ дѣйствовали тогда и другіе писатели, достаточно отъ него независимые и, можетъ быть, больше его талантливые), но Бѣлинскій былъ одинъ изъ самыхъ пламенныхъ приверженцевъ новыхъ идей и, безъ сомнѣнія, самый дѣятельный распространитель и защитникъ ихъ въ литературѣ. Онъ очень рѣдко, только въ немногихъ исключительныхъ случаяхъ ставилъ свое имя подъ своими статьями, но это имя было извѣстно всѣмъ, и послѣдователямъ, и врагамъ его: на немъ въ особенности сосредоточивались горячее сочувствіе новыхъ поколѣній, самая ожесточенная ненависть старыхъ литературныхъ партій и вражда новой школы, враждебной „западному" взгляду.

Направленіе Бѣлинскаго, или точнѣе, той цѣлой литературной школы, которой онъ принадлежалъ, какъ мы уже замѣчали прежде, составляетъ главное русло нашего литературнаго и общественнаго развитія въ сороковыхъ годахъ. Въ этомъ направленіи въ особенности собрались результаты предыдущаго развитія и изъ него вышла затѣмъ слѣдующая ступень нашей общественности. По направленію Бѣлинскаго и другихъ писателей той школы можно всего больше судить о характерѣ и объемѣ тогдашней русской общественной образованности; это было ея лучшее

выраженіе, лучшая сила. Историческая жизненность этого направленія опредѣляется тѣмъ, что оно было ближайшимъ антецедентомъ прогрессивныхъ стремленій третьей четверти столѣтія. Съ тѣхъ поръ существенно измѣнилось отношеніе литературы къ обществу, литература перестала быть какой-то случайной принадлежностью, внѣшнимъ украшеніемъ общественной жизни,— напротивъ, тѣсно примкнула къ ней; различныя школы, расходясь въ самыхъ коренныхъ своихъ мнѣніяхъ, не спорятъ о томъ, что дѣйствительность, жизнь, общество должны быть единственнымъ содержаніемъ литературы, и объясненіе ихъ—существенной ея задачей; литературныя партіи съ тѣхъ поръ стали партіями общественнаго характера... Это явленіе произведено было многими различными обстоятельствами, но дѣятельность Бѣлинскаго въ особенности содѣйствовала тому, что литература усвоила этотъ реальный общественный характеръ, который, конечно, и останется за ней.

Не предпринимая здѣсь полной оцѣнки дѣятельности Бѣлинскаго и цѣлаго его направленія, мы постараемся указать общія черты положенія этого направленія въ тогдашней литературѣ и разъяснить главныя условія, при которыхъ только можетъ быть достигнута справедливая оцѣнка литературныхъ и общественныхъ мнѣній и стремленій Бѣлинскаго [1]).

Въ новѣйшее время Бѣлинскій и его направленіе вызывали самыя разнообразныя сужденія. Въ первые годы послѣ его смерти имя его долго не произносилось въ литературѣ: смерть его совпала съ началомъ усиленно строгаго надзора за литературой, надзора, который, вѣроятно, прекратилъ бы дѣятельность Бѣлинскаго, еслибъ она не была прекращена смертью; имя его стало тогда опальнымъ, и на нѣсколько лѣтъ оно не было вспоминаемо ни друзьями, ни врагами. Впервые послѣ того оно было названо въ 1856 году, и когда люди новаго поколѣнія, наслѣдовавшаго стремленія Бѣлинскаго, и его друзья съ глубокимъ сочувствіемъ собирали воспоминанія объ энергическомъ дѣятелѣ, въ другихъ литературныхъ лагеряхъ заговорила и старая вражда. Какъ критикъ, онъ слишкомъ высоко цѣнилъ достоинство литературы и безпощадно преслѣдовалъ въ ней всякіе застарѣлые пред-

[1]) Біографіи Бѣлинскаго посвящена моя книга: „Жизнь и переписка Бѣлинскаго". Спб. 1876, 2 тома. Тамъ читатель найдетъ и указанія литературы о Бѣлинскомъ. Изъ болѣе позднихъ сочиненій укажемъ Анненкова, „Замѣчательное десятилѣтіе", въ „Воспоминаніяхъ и критич. очеркахъ". Спб. 1881, т. III, стр. 1—224.

разсудки, мѣшавшіе ея развитію, всякую фальшивую тенденцію и притязательную бездарность, и потому враговъ у него было много. Такъ, противъ него были крайне ожесточены всѣ люди, остававшіеся отъ старыхъ литературныхъ школъ, начиная съ шишковской и карамзинской, бывшіе романтики, писатели, принадлежавшіе нѣкогда къ пушкинскому кругу и, къ удивленію, въ особенности ненавидѣвшіе Бѣлинскаго, несмотря на все его поклоненіе Пушкину; наконецъ, писатели „Маяка" и тѣ литературные подонки, которые нѣкогда имѣли своего рода силу въ лицѣ Греча и Булгарина. Также были ожесточены противъ Бѣлинскаго писатели стараго „Москвитянина", тенденція котораго, представляемая Погодинымъ и Шевыревымъ, въ свое время не мало потерпѣла отъ Бѣлинскаго. Наконецъ, особый лагерь, враждебный Бѣлинскому, представляли славянофилы — враги, которыхъ, впрочемъ, самъ Бѣлинскій выдѣлялъ изъ ряда другихъ противниковъ, какъ людей крѣпкаго и опредѣленнаго убѣжденія.

Бѣлинскій умеръ рано; его противники продолжали дѣйствовать въ литературѣ и сохранили все озлобленіе, которое нѣкогда питали противъ него. Категорія чистыхъ обскурантовъ, представители которой (въ видоизмѣнившейся съ тѣхъ поръ формѣ) есть до сихъ поръ, когда случалось, говорила о Бѣлинскомъ съ прежнимъ раздраженіемъ. Славянофилы почти не удостоивали его упоминанія и опроверженій, направивъ полемику на новыхъ противниковъ; только изрѣдка имя его называлось или подразумѣвалось въ числѣ „отступниковъ" [1]). Погодинъ еще долго спустя корилъ Бѣлинскаго легкомысліемъ, „атеизмомъ", „соціализмомъ" (въ которомъ Бѣлинскій вовсе не былъ, на дѣлѣ, виноватъ) и другими предосудительными мнѣніями. Понятно, что старыя школы, давно потерявшія всякую нравственную связь съ новымъ движеніемъ, не могли и послѣ признать историческаго значенія Бѣлинскаго, и въ ихъ сужденіяхъ видны прежнія досады. Но вражда переходила и къ новымъ школамъ, напримѣръ, къ той школѣ, выродившейся изъ славянофильства, выраженіемъ которой служили журналы „Время", „Эпоха", „Заря", „Гражданинъ". Еще недавно были здѣсь высказаны обличенія „атеизма" и другихъ неблаговидныхъ свойствъ направленія Бѣлинскаго.

Съ другой стороны, произошло извѣстное превращеніе съ нѣкоторыми изъ людей, принадлежавшихъ по своему развитію прогрессивной школѣ сороковыхъ годовъ и даже связанныхъ нѣкогда съ кругомъ Бѣлинскаго. Забывъ свое прошедшее и обра-

---

[1]) „День".

тившись въ ревностныхъ консерваторовъ, они естественно спутали свои отношенія къ прежней литературѣ, и когда новое движеніе заявляло свое тѣсное историческое единство съ Бѣлинскимъ и съ Гоголевскимъ періодомъ, они утверждали, что этого единства нѣтъ, что Бѣлинскій не думалъ и не призналъ бы того, что̀ видятъ въ немъ или выводятъ изъ него теперь; или же указывали въ самой дѣятельности Бѣлинскаго заблужденія, происходившія отъ его крайнихъ увлеченій, и слѣдовательно, вредъ; или, просто избѣгали опредѣлять ближе свое отношеніе къ Бѣлинскому, опасаясь непріятныхъ для себя сближеній.

Дѣятельность этихъ и подобныхъ людей, нѣкогда близкихъ Бѣлинскому и обратившихся къ нашему времени въ умѣренныхъ и неумѣренныхъ консерваторовъ и въ явныхъ обскурантовъ, наводила многихъ на мысль, что эти люди и должны въ самомъ дѣлѣ представлять собой тенденціи „сороковыхъ годовъ“, ихъ настоящій объемъ и характеръ; являлись невыгодныя заключенія о цѣломъ литературномъ періодѣ, въ которомъ начинали видѣть своего рода романтизмъ, исполненный превратными идеальными мечтами, но не выдерживавшій перваго прикосновенія къ настоящей жизни. Нынѣшніе, обратившіеся въ консерватизмъ, писатели „сороковыхъ годовъ“ иногда высказывали какъ будто свою солидарность съ Бѣлинскимъ, и потому упомянутое мнѣніе о „сороковыхъ годахъ“ отражалось и на сужденіяхъ о Бѣлинскомъ: писатели новыхъ поколѣній въ самомъ Бѣлинскомъ начинали открывать вещи, ихъ не удовлетворявшія, въ другихъ писателяхъ того времени—еще больше и историческій выводъ становился довольно неблагопріятнымъ.

Очевидно, что значенія Бѣлинскаго и теперь, какъ прежде, не могутъ признать литературныя партіи, въ самомъ основаніи враждебныя его воззрѣніямъ, не могутъ признать безъ ущерба собственнаго; но время дѣлаетъ свое, и безпристрастный наблюдатель не можетъ не видѣть въ литературѣ слѣдовъ глубокаго вліянія, оказаннаго Бѣлинскимъ и его друзьями: отъ нихъ по преимуществу идетъ начало того критическаго направленія, которое составляетъ лучшую сторону современной литературы. Внимательное изученіе новѣйшей литературы покажетъ, что если старыя школы теперь окончательно потеряли кредитъ, если стали невозможны романтизмъ, чистое славянофильство сороковыхъ годовъ, если литература находитъ свою главную силу въ изученіи и неподкрашенномъ изображеніи дѣйствительности, то въ этомъ всего сильнѣе дѣйствовали (въ области критики) стремленія Бѣлинскаго и его круга. Изученіе фактовъ устраняетъ и тѣ недоразумѣнія, какія есть еще относи-

тельно характера и дѣятельности самого Бѣлинскаго; оно покажетъ, каковъ былъ собственно этотъ характеръ, что въ его дѣятельности было только слѣдствіемъ условій времени и обстоятельствъ, что нужно было ему преодолѣвать, съ какими понятіями общественными имѣть дѣло; покажетъ также, могъ ли бы онъ быть солидаренъ съ людьми, которые нѣкогда принадлежали одному дѣлу съ нимъ, а потомъ, ставши защитниками обскурантизма, позволяли злоупотреблять его именемъ.

Исторія молодого кружка, въ которомъ развивался Бѣлинскій и много другихъ товарищей его дѣятельности, чрезвычайно любопытна, какъ нѣчто единственное и небывалое въ исторіи нашей образованности. Этотъ кружокъ, — составившійся, впрочемъ, не вдругъ и имѣвшій различныя комбинаціи,—состоялъ изъ молодыхъ людей, большей частью очень даровитыхъ; съ первыхъ шаговъ въ литературѣ, онъ обнаружилъ оригинальную и горячую дѣятельность и уже вскорѣ пріобрѣлъ господствующее положеніе. Въ средѣ кружка совершался цѣлый актъ литературнаго развитія, высоко интересный по обстоятельствамъ времени и внутреннему смыслу. Обстоятельства были очень неблагопріятныя, но пробудившаяся потребность общественной мысли вызывала работу умственныхъ силъ, которая совершалась несмотря на всѣ трудныя условія и приходила къ своей цѣли, къ сознанію общественнаго положенія и къ освободительнымъ идеямъ. Это соединеніе цѣлаго ряда замѣчательныхъ дарованій,—раздѣлившихся потомъ на школы, „западную“ и славянофильскую,—какъ будто вознаграждало потерю силъ, понесенную обществомъ въ двадцатыхъ годахъ, и процессъ развитія, тогда прерванный, возобновился съ новой энергіей. Дѣятельность новаго поколѣнія почти не имѣла никакой прямой связи съ этимъ прежнимъ движеніемъ, въ первое время была поглощена чисто отвлеченными предметами, была совершенно чужда всякихъ политическихъ интересовъ, но въ концѣ приходила къ тому же общественному вопросу, который ставила съ другой точки зрѣнія и подъ другими побужденіями эпоха двадцатыхъ годовъ. Сороковые года, когда новыя направленія опредѣлились, отличаются, и въ „западной“, и въ славянофильской школѣ, стремленіемъ къ критическому изученію русской жизни и заявленіемъ новыхъ умственныхъ и общественныхъ потребностей,—хотя понятыхъ обѣими сторонами весьма различно.

Исторія кружка, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій и къ которому примкнуло всего больше тогдашнихъ молодыхъ силъ,

какъ будто представляетъ въ сокращеніи цѣлый фазисъ развитія, пройденный новымъ поколѣніемъ, и высшій пунктъ, достигнутый тогда русской образованностью. Это направленіе въ большинствѣ своихъ дѣятелей начало съ самаго спокойнаго консерватизма, съ полнаго признанія существовавшихъ формъ жизни, но затѣмъ быстро проходило различныя ступени критической мысли, и окончило отрицаніемъ этихъ формъ, иногда весьма рѣшительнымъ, и стремленіемъ къ иному идеалу общественности. Что здѣсь выражалась исторически созрѣвшая мысль и дѣйствительная потребность развитія, доказывалось тѣмъ, что въ то же время и въ другихъ областяхъ литературы, вполнѣ независимо отъ вліянія идей, развившихся въ кругѣ Бѣлинскаго и его друзей, совершались явленія, которыя содѣйствовали его стремленіямъ и въ томъ же смыслѣ вліяли на общество. Такова была дѣятельность Гоголя, Лермонтова, Кольцова, явленія совсѣмъ иной области, но совершенно параллельныя направленію Бѣлинскаго и его друзей; критика Бѣлинскаго разъяснила ихъ и съ своей стороны усилила ихъ литературное значеніе.

Кружокъ составился первоначально изъ молодежи московскаго университета, въ началѣ тридцатыхъ годовъ; это была пора особеннаго оживленія, какія возвращаются отъ времени до времени въ нашихъ университетахъ. Блестящій періодъ московскаго университета былъ еще впереди, но и тогда преподаваніе двухъ-трехъ профессоровъ, въ особенности М. Г. Павлова и Надеждина, открыло для ихъ слушателей новый міръ, полный интереса. Это была нѣмецкая философія школы Шеллинга и Окена. Это было первое умственное возбужденіе и оно нашло самую благопріятную почву. Молодой кружокъ представлялъ рѣдкое и счастливое соединеніе ума и дарованій и уже вскорѣ связанъ былъ одними идеальными стремленіями: это была любовь къ наукѣ, увлеченіе поэзіей, потребность нравственно-идеальнаго совершенствованія, желаніе служить нѣкогда въ рядахъ общества дѣлу истины и нравственнаго достоинства. Въ первомъ броженіи трудно было отличить тѣ направленія, которыя потомъ должны были раздѣлить кружокъ на два различные и, наконецъ, рѣзко враждебные лагеря. Дѣйствительно, въ началѣ мы находимъ здѣсь рядомъ Бѣлинскаго и К. Аксакова: оба были восторженные романтическіе идеалисты, не подозрѣвавшіе тогда, какъ далеко разойдутся они впослѣдствіи. Различіе мнѣній возникало изъ однихъ первоначальныхъ основаній, подъ различными вліяніями дальнѣйшихъ размышленій, характеровъ и впечатлѣній жизни.

Бѣлинскій одно время стоялъ почти на настоящей славянофильской точкѣ зрѣнія...

Понятія кружка, изъ которыхъ выросли потомъ воззрѣнія Бѣлинскаго, имѣли свое послѣдовательное и логически законное развитіе. Это должно замѣтить въ виду того мнѣнія, которое хочетъ представить взгляды Бѣлинскаго какъ случайное заимствованіе, какъ личный произволъ или какъ теорію, не имѣвшую никакой связи съ жизнью. Кружокъ тридцатыхъ годовъ началъ дѣйствительно съ чистой теоріи, не имѣвшей связи съ нашей жизнью и заимствованной изъ чужого источника. Но, во-первыхъ, научная, и въ особенности чисто отвлеченная теорія есть общее достояніе, которымъ можетъ пользоваться всякая образованность; во-вторыхъ, усвоеніе ея направлено было на изученіе и совершенствованіе нашей внутренней жизни, и гдѣ начиналось ея вліяніе на понятія о дѣйствительности, гдѣ оказывалось ея прикладное значеніе, эта чужая теорія была понята у насъ и переработана независимо. Это заимствованіе изъ чужого источника было однимъ изъ тѣхъ безчисленныхъ и неизбѣжныхъ заимствованій, на которыя, вѣроятно, еще долго будетъ обречена наша отстающая образованность. Домашняя наука не представляла ничего равнаго научному богатству какой-нибудь изъ главныхъ европейскихъ націй и состояла большею частью изъ старыхъ клочковъ той же западной науки, приложенныхъ къ требованіямъ нашей патріархальности. Защитники русской „самобытности", попрекавшіе Бѣлинскаго и его друзей ихъ „западными" теоріями, забывали историческія преданія нашей образованности. Западная наука была единственнымъ источникомъ, откуда наука могла вообще быть воспринята; заимствованіе было освящено даже авторитетомъ, стоявшимъ во главѣ народа: само славянофильство признавало, что намъ не должно отказываться отъ пріобрѣтеннаго и когда разъ необходимость „западной" науки была допущена, когда мы постоянно пользовались ея практическими примѣненіями, то поздно было спрашивать отчета въ тѣхъ теоретическихъ понятіяхъ, какія она создавала и вводила въ обращеніе: кто былъ недоволенъ результатами ея вліянія, тотъ долженъ былъ бы опровергать ихъ на той же почвѣ. Если научно-теоретическіе результаты не подходили подъ требованія традиціонной системы, это еще не могло говорить противъ ихъ разумности; впослѣдствіи традиціонная система даже внѣшнимъ образомъ начала подавлять эти результаты, но для людей размышляющихъ было ясно, что этотъ способъ дѣйствій мало убѣдителенъ...

Но главное было въ томъ, что заимствованная теорія не осталась у нашихъ прозелитовъ неизмѣнной и неподвижной: напротивъ, они усвоивали ее какъ живое убѣжденіе, провѣряли ее собственной мыслью, приложеніями къ жизни, отбрасывали выводы, которые казались невѣрными, и извлекали новые,—теорія была самостоятельно переработана, и послѣднія воззрѣнія ихъ далеко не были похожи на начало. Понятно, что при сходствѣ общихъ понятій у различныхъ членовъ круга составились разнообразные оттѣнки мнѣній, въ которыхъ отражалось различіе характеровъ, склада ума и жизненнаго опыта. Однимъ словомъ, занятая теорія нисколько не сдѣлалась условной доктриной, а напротивъ, вошла какъ отвлеченное основаніе, какъ методъ, приложеніе и развитіе котораго были уже дѣломъ самостоятельнаго труда.

Теорія, послужившая исходнымъ пунктомъ въ образованіи мнѣній у людей „сороковыхъ годовъ", была, какъ извѣстно, Гегелевская философія. Университетъ, гдѣ представителями философіи были Павловъ и Надеждинъ, сообщилъ своимъ питомцамъ вкусъ къ этимъ изученіямъ и предварительную школу. Ученики Павлова и Надеждина сумѣли воспользоваться школой и, покинувъ Шеллинга и Окена, которымъ слѣдовали и дальше которыхъ не шли ихъ руководители, самостоятельно взялись за изученіе Гегеля. Это была новѣйшая, послѣдняя ступень нѣмецкаго мышленія, и знакомство съ ней произвело въ нашихъ адептахъ то же сильное, увлекающее впечатлѣніе, какое эта философія оказывала тогда на своей родинѣ. Мы приводимъ, въ примѣчаніи, разсказъ Гервинуса о томъ всеобъемлющемъ господствѣ, какимъ пользовалась Гегелева философія въ Германіи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; изъ этого разсказа понятно будетъ и ея дѣйствіе у насъ [1].

---

[1]) Упомянувъ о томъ, какъ нѣмецкая философія возстала противъ богословскихъ теорій Шлейермахера, Гервинусъ продолжаетъ:

„Это возстаніе противъ Шлейермахера было совершенно понятно... Философія должна была отомстить теологіи за 2000-лѣтнее угнетеніе; она чувствовала теперь свою силу, и въ этомъ сознаніи ей хотѣлось подчинить своему свѣтскому законодательству религію и ея науку: относительно этой науки философія думала, что владѣетъ всѣмъ ея содержаніемъ, но хотѣла возвысить его изъ низшихъ формъ чувства и представленія (на которыхъ утверждалъ теологію Шлейермахеръ) къ высшей формѣ яснаго понятія. Со времени реформаторской дѣятельности Канта, философія утвердила свое главное пребываніе въ Германіи, и съ того времени здѣсь прежде всего поступали въ горнило всѣ великія задачи науки, и, обработанныя здѣсь, отправлялись отсюда на философскіе рынки всей Европы. Со времени диктатуры Гегеля, которая была теперь (около 1830-го года) во всей силѣ, это господство нѣмецкой философіи

Довольно вспомнить безусловное господство Гегелевой философіи въ Германіи, гдѣ былъ тогда главный источникъ нашихъ научныхъ заимствованій, чтобы видѣть, какъ естественно было увлеченіе нѣмецкой философіей въ молодомъ поколѣніи тридцатыхъ годовъ. Это было высшее умственное явленіе, какое могла представить тогдашняя Европа; никакая иная система стараго и новаго времени не могла идти въ сравненіе съ этой универсальной философіей, которую, казалось, нужно было только понять и изучить, чтобы достигнуть вершины человѣческаго мышленія... Конечно, въ тогдашнихъ мнѣніяхъ учениковъ Гегеля объ его си-

въ особенности казалось неодолимымъ, прочно утвержденнымъ первенствомъ. Въ 1818 Гегель былъ приглашенъ въ Берлинъ, въ это средоточіе научной жизни, гдѣ теологія и философія, правовѣдѣніе и языкознаніе соперничали въ неистощимыхъ усиліяхъ труда. Строгая серьезность этого человѣка, исполненнаго вѣры въ самого себя, преданнаго своей задачѣ какъ священному дѣлу, и неприступная послѣдовательность и правильность его ученія собрали здѣсь вокругъ него всю ревностную молодежь, которой въ безурядицѣ романтическихъ увлеченій требовалась цѣлительная дисциплина ума, или требовалось философское освященіе ея спеціальной науки, или спасительное убѣжище изъ безотрадной общественной жизни. Защита и благоволеніе властей къ учителю и ученикамъ еще больше увеличивали вліяніе ученія: оно сдѣлалось модой для дилеттантовъ, обязанностью для вступавшихъ на службу, необходимостью для искавшаго занятій. Около того времени, когда возникли Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (1872), передовая школа, подъ начальствомъ нѣсколькихъ старшихъ подмастерьевъ, расположилась около предводителя, какъ завоевательное войско, и, часто не ушедши дальше формулъ тарабарскаго техническаго языка, проповѣдывала міру, что эта философія можетъ дать все: искусство и науку, истинную церковь и истинное государство. Въ чрезвычайно обширномъ кругу любознательныхъ ученыхъ, серьезныхъ чиновниковъ, даже образованныхъ дѣловыхъ бюргеровъ въ Германіи эта школа распространила чувство обязанности, необходимости поладить съ этой новой вѣрой; школа старалась разъяснить смыслъ ученія даже нѣкоторымъ французамъ, которые увидѣли въ Гегелѣ—Спинозу, помноженнаго на Аристотеля, и видѣли его на вершинѣ пирамиды, которую складывала вся наука въ послѣднія три столѣтія. За учителемъ была признана слава, что онъ въ своей системѣ какъ бы силелъ въ искусную ткань всѣ нити современнаго образованія, что онъ украсилъ ее всѣми драгоцѣнностями и достоинствами науки того поколѣнія, что онъ подчинилъ своей системѣ умственную работу классическаго періода нѣмецкой литературы, что онъ собралъ въ ней просвѣтленное чувство, живое наблюденіе, смѣлое мышленіе, просвѣщеніе и всемірную образованность, всѣ плоды этого богатаго времени, что онъ, казалось, далъ нѣмецкой умственной жизни мѣсто отдыха, откуда она увидѣла твердую цѣль, а по мнѣнію самой школы—прочное завершеніе дѣла. Потому что это ученіе имѣло, кажется, притязаніе—положить все будущее въ оковы своей системы; оно говорило, что міровой духъ достигъ своей цѣли: оно утверждало, что оно завершило борьбу конечнаго сознанія съ абсолютнымъ, борьбу, наполняющую всю исторію философіи,—что оно соединило въ себѣ результаты всѣхъ прежнихъ системъ, которыя были простыми ступенями единой истины,—что оно примирило всѣ мнѣнія, принципы и противорѣчія,—что послѣ стольнихъ испробованныхъ формъ нашло послѣднюю, абсолютную форму, въ которой (послѣ того какъ Шеллингъ указалъ абсолютное

стемѣ было большое заблужденіе; но тѣмъ не менѣе система имѣла законныя права на свою славу, и въ своемъ смыслѣ была дѣйствительно завершающимъ явленіемъ въ тогдашней наукѣ...

Введеніе Гегелевой философіи было дѣломъ Станкевича, извѣстнаго даровитаго юноши, которому вообще принадлежало большое умственное и нравственное вліяніе въ молодомъ кружкѣ. Его имя въ особенности связано съ развитіемъ Бѣлинскаго и потомъ Грановскаго. Гегелева философія стала всепоглощающимъ интересомъ. Друзья Станкевича, посвященные имъ въ философію Гегеля, увлеклись ею какъ откровеніемъ науки. Она была постояннымъ предметомъ ихъ бесѣдъ и горячихъ споровъ. По разсказамъ современника, — „нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ Логики, въ двухъ Эстетики, Энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности“ и о ся *по-себѣ бытіи*. Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ

содержаніе философіи) метода становится тождественна съ содержаніемъ, любовь къ знанію становится дѣйствительнымъ знаніемъ, любовь къ мудрости дѣлается мудростью. Въ то время не стали бы слушать человѣка, который бы сталъ напоминать школѣ собственныя слова учителя, который самъ признавался, что какая бы то ни было философія никогда не можетъ выдти изъ своего настоящаго міра. Тогда не стали бы слушать человѣка, который бы предостерегалъ отъ исключительнаго признанія какой-нибудь одной системы, съ той точки зрѣнія, что разнообразіе формъ и смѣна представленій въ этомъ мірѣ есть условіе его существованія, и что притязаніе найти середину этихъ противоположностей, спокойствіе этихъ колебаній, чтобы дать одному опредѣленному представленію абсолютное, а не относительное достоинство, — есть заблужденіе, исполненіе котораго означало бы ступень къ смерти въ вещахъ и пораженіе всѣхъ духовныхъ силъ. Тогда не стали бы слушать человѣка, который выразилъ бы сомнѣніе въ томъ, удобно ли предпринять такое всеобъемлющее метафизическое зданіе именно въ то время, когда при совершенно новомъ раздѣленіи труда и болѣе глубокомъ вниманіи во всѣхъ отрасляхъ умственной дѣятельности совершался всеобщій переворотъ, который не благопріятствовалъ какому-нибудь завершенію знанія, потому что онъ скорѣе былъ началомъ совершенно новаго рода научнаго изслѣдованія. Этого нимба непогрѣшимости не могло разсѣять то обстоятельство, что это, забывшее о времени, философское рыцарство во многихъ изъ своихъ смѣлыхъ предположеній, — какъ, напр., въ догадкахъ Гегеля о разстояніи планетъ, или въ его доказательствѣ старости міра,—потерпѣло донъ-кихотскія пораженія, или что спеціалисты находили въ частныхъ развитіяхъ системы источники и результаты поставленными навыворотъ. Тогда стали бы смѣяться надъ человѣкомъ, который усумнился бы, не раздѣлитъ ли и эта философія недолговѣчную судьбу всѣхъ явившихся въ послѣднее время системъ, и это умственное господство, установленное въ пору удаленія отъ безотрадной современной исторіи, не распадется ли въ ту минуту, когда болѣе знаменательный часъ ударитъ на великихъ часахъ времени?“ Gervinus, Gesch. des neunz. Jahrh. VIII, стр. 24—27.

губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней"... Русскіе гегеліанцы устроили себѣ особенный языкъ: „они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей"... Понятно, что на первыхъ же порахъ стали сказываться и невыгодныя стороны ухищренной философской отвлеченности. „Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не одни фразы, но и пониманье: отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все *въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту" или къ „трагическому въ сердцѣ"... То же въ искусствѣ. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея) было столько же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, о Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, за то производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена... Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое".

Это крайне идеалистическое настроеніе не могло удержаться надолго въ людяхъ съ такимъ живымъ талантомъ и дѣятельной мыслью, какъ были люди этого кружка, и въ особенности Бѣлинскій. Впослѣдствіи, они освободились отъ этого настроенія. Но и на этой степени идеализмъ молодыхъ гегеліанцевъ, въ его болѣе серьезныхъ примѣненіяхъ, былъ новостью и успѣхомъ въ

литературныхъ понятіяхъ. Новыя философскія изученія устраняли съ перваго раза ту произвольную неопредѣленность, почти безсодержательность романтическихъ теорій, которая господствовала въ поэзіи и критикѣ предыдущаго поколѣнія, и въ первый разъ дали возможность опредѣленной и раціональной критики. Подъ внушеніемъ идей этого перваго періода Бѣлинскій написалъ знаменитыя „Литературныя Мечтанія“ (1834), въ которыхъ, съ этой новой точки зрѣнія, онъ отрицалъ у насъ существованіе настоящей литературы и опредѣлилъ, чѣмъ должна быть литература, заслуживающая этого имени. Эта обширная статья, написанная съ большимъ одушевленіемъ, была достойнымъ началомъ его критическаго поприща [1]).

Не будемъ пересказывать подробностей того, какъ постепенно складывались мнѣнія Бѣлинскаго [2]). На пути своего развитія онъ проходилъ нѣсколько различныхъ ступеней. Его противники, и въ сороковыхъ годахъ, и въ семидесятыхъ, много разъ принимались обвинять Бѣлинскаго въ отсутствіи прочныхъ убѣжденій, въ легкомысленной и быстрой перемѣнѣ взглядовъ: говорили, будто бы онъ „внезапно“ измѣнялъ свои мнѣнія о „самыхъ высокихъ предметахъ человѣческаго вѣдѣнія“, изъ одной крайности впадалъ въ другую, дѣлаясь, напримѣръ, изъ „пламеннаго христіанина—отчаяннымъ (?) безбожникомъ и пропагандистомъ“. [3]).

[1]) *У насъ нѣтъ литературы*,—говоритъ онъ въ концѣ статьи,—*я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ*, ибо въ сей истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ“. Въ этихъ словахъ сказана основная мысль статьи, и Бѣлинскій былъ конечно правъ, видя въ ясномъ сознаніи бѣдности литературы залогъ ея будущаго успѣха. „Присмотритесь хорошенько къ ходу нашего общества,—продолжаетъ онъ—и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Вѣкъ *ребячества* проходитъ видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе. Но еще болѣе, дай Богъ, чтобы поскорѣе всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время—просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье!“... Сочин. Бѣлинскаго, т. I, стр. 180—181.

[2]) Объ этомъ см. вообще „Очерки Гоголевскаго періода“, „Современникъ“ 1855—1856; Анненкова, „Замѣчательное десятилѣтіе“ (1838—1848), и біографію Станкевича въ „Воспом. и критическихъ очеркахъ“, т. III, Спб. 1881, и въ моей книгѣ: „Жизнь и переписка Бѣлинскаго“, Спб. 1876.

[3]) Такія слова находятся въ позднѣйшихъ обвиненіяхъ Погодина, который, по собственнымъ словамъ его, „заднимъ числомъ“ принялся обличать Бѣлинскаго: въ прежнее время можно было рисковать очень суровымъ отпоромъ со стороны обличаемаго.

Въ разныхъ видахъ, эта тема много разъ повторялась въ литературѣ. Но насколько правды въ этихъ обвиненіяхъ? Бѣлинскій, дѣйствительно, въ разное время имѣлъ весьма несходныя мнѣнія о „самыхъ важныхъ“ предметахъ человѣческаго вѣдѣнія; иногда могло казаться, что перемѣна мнѣній совершалась довольно скоро (увидимъ, дальше, почему это могло казаться),—но только по неразумѣнію, пристрастію, или злому намѣренію можно говорить о „неосновательной“ измѣнчивости его мнѣній. Самъ Бѣлинскій совершенно вѣрно указалъ причину измѣнчивости своихъ мнѣній, когда на подобныя обвиненія славянофильскаго писателя (М... З... К...) отвѣчалъ, что вопросъ о томъ, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, „давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ“... Бѣлинскому дѣйствительно приходилось жертвовать и самолюбіемъ, и тяжело выносить воспоминаніе о прежнемъ заблужденіи. Такъ было, напримѣръ, съ извѣстной статьей о „Бородинской годовщинѣ“ [1]). Когда говорятъ теперь объ измѣнчивости мнѣній Бѣлинскаго, то берутъ обыкновенно его мнѣнія тридцатыхъ годовъ и ставятъ рядомъ мнѣнія конца сороковыхъ;—но въ томъ и дѣло, что между этими крайними пунктами прошелъ цѣлый періодъ развитія, смѣна нѣсколькихъ послѣдовательныхъ ступеней, которыя совершенно объясняютъ окончательный результатъ. Нѣсколько внимательное наблюденіе этого періода могло бы показать, что смѣна совершалась нисколько не произвольно, и напротивъ очень естественно и съ такою постепенностью, что, читая статьи одну за другой, въ хронологическомъ порядкѣ, трудно замѣтить перерывъ,—какъ это было уже давно указано однимъ изъ критиковъ Бѣлинскаго. Самый замѣтный перерывъ въ понятіяхъ Бѣлинскаго произошелъ послѣ упомянутой статьи о „Бородинской годовщинѣ“,—но и это объясняется обстоятельствами дѣла. Бѣлинскій былъ не измѣнчивъ, а напротивъ крайне упоренъ въ тѣхъ мнѣніяхъ, которыя казались ему правильными; но, съ другой стороны, если ему доказывали или онъ самъ убѣждался, что его взглядъ былъ ошибоченъ, онъ не лицемѣрилъ, не прибѣгалъ къ столь обыкновеннымъ уловкамъ сохранить хоть наружную правоту, и открыто сознавался въ заблужденіи. Статья о „Бородинской годовщинѣ“, какъ разсказываютъ современники, была написана именно въ пору крайняго увлеченія, когда онъ, раздраженный рѣзкимъ противорѣчіемъ другихъ, еще сильнѣе, въ

---

[1]) 1839 г.

послѣднее опроверженіе противниковъ и въ досадѣ на нихъ, высказалъ свои понятія: но противорѣчія, имъ слышанныя, запали въ его мысль, онъ обдумалъ ихъ, и мнѣнія противника, наконецъ, побѣдили его упорство. Потомъ онъ самъ искалъ случая, чтобы сознаться въ томъ передъ самимъ противникомъ.

Бѣлинскій былъ журналистъ; по природѣ, это былъ человѣкъ, глубоко дорожившій правдой и потому стремившійся высказываться, убѣждать, дѣйствовать на другихъ; въ теченіе своего поприща онъ высказывался постоянно, такъ что въ его сочиненіяхъ отразился и сохранился весь процессъ его внутренняго развитія, всѣ его ступени,— отдѣльно каждая очень не похожія одна на другую. Но только люди, не испытавшіе на себѣ этого процесса, не имѣющіе понятія о борьбѣ съ сомнѣніемъ, могутъ видѣть въ этомъ отсутствіе серьезности. Подобныя обвиненія особенно безсмысленны со стороны людей, для которыхъ убѣжденіе не существуетъ или бываетъ дѣломъ практическаго разсчета. „Средній человѣкъ“, который сегодня—благонамѣреннѣйшій консерваторъ, завтра—застольный либералъ, послѣ завтра—обскурантъ, вообще не понимаетъ, какъ можетъ другой человѣкъ измѣнять свои мнѣнія не по тонкимъ соображеніямъ обстоятельствъ, а только по внушенію собственной мысли и чувства, какъ для него бываетъ дѣломъ *совѣсти*—отказаться отъ прежняго мнѣнія, когда ошибочность его будетъ доказана. Для людей, не безпокоющихъ себя особыми заботами объ истинѣ, непонятно, что сомнѣніе можетъ простираться на самые важные предметы человѣческаго вѣдѣнія и что только имъ достигается сознаніе: благочестиво осуждая сомнѣвающихся, они забывали, что сомнѣніе — вовсе не выгодное занятіе, потому что легко могло даже навлекать большія практическія неудобства... Исторія мнѣній Бѣлинскаго именно любопытна какъ исторія развитія понятій, въ тогдашнихъ условіяхъ нашей образованности, у человѣка даровитаго, проникнутаго горячимъ желаніемъ истины и общественнаго блага, и который, начавши признаніемъ даннаго порядка вещей, мало-помалу путемъ размышленія и жизненнаго опыта приходилъ къ его отрицанію и стремился къ инымъ идеаламъ. Чего стоило Бѣлинскому это развитіе, объ этомъ онъ намекаетъ самъ, отвѣчая славянофильскому критику М... З... К... на обвиненія въ легкой перемѣнчивости его мнѣній. Мы указывали сейчасъ эти слова; прибавимъ теперь заключеніе: „Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей

своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобъ вѣрно судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ, или это *всегда* бывало для него *болѣзненнымъ процессомъ*, стоило ему *горькихъ разочарованій*, *тяжелыхъ сомнѣній*, *мучительной тоски*, для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности"... [1]).

Должно замѣтить, что это постепенное видоизмѣненіе и окончательное образованіе взглядовъ Бѣлинскаго не было только его личной исключительной исторіей, но принадлежало, въ большей или меньшей степени, всему кругу, съ которымъ онъ дѣлилъ свое развитіе. Всѣ люди этого круга (за исключеніемъ двухъ-трехъ, имѣвшихъ свой особый путь развитія) начинали отвлеченной философіей, полнымъ консерватизмомъ или безучастіемъ въ общественныхъ вопросахъ, и всѣ пришли потомъ къ тому же критическому пониманію тогдашней общественности. Бѣлинскаго отличала только энергія, которую онъ вносилъ въ дѣло своихъ убѣжденій, страстное увлеченіе тѣмъ, что казалось ему истиной, неспособность останавливаться на полдорогѣ между двумя разными точками зрѣнія, — какъ это бываетъ у большинства. Наконецъ, у Бѣлинскаго вся эта исторія была на виду; по самому характеру его дѣятельности она высказалась съ первой исходной точки до послѣдняго результата, — когда у другихъ она проходила незамѣтно.

Путь развитія былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и очень естественный. Бѣлинскій и его друзья не могли остановиться на ихъ первой философско-идеалистической точкѣ зрѣнія. „Исключительно умозрительное направленіе, — справедливо замѣчаетъ свидѣтель той эпохи,—совершенно противоположно русскому характеру:... *русскій духъ* переработалъ Гегелево ученіе, и наша живая натура, несмотря на всѣ постриженія въ философскіе монахи, беретъ свое". Различныя обстоятельства содѣйствовали тому, что отвлеченная мысль стала сближаться съ дѣйствительностью и принимать иное направленіе.

Изъ своей философской школы Бѣлинскій вынесъ хорошую логическую дисциплину, опредѣленныя и широкія воззрѣнія на литературу; собственный критическій тактъ, замѣчательнымъ достоинствамъ котораго отдавали и теперь отдаютъ справедливость

[1]) Сочиненія, XI, стр. 257—258.

сами его противники, уже рано доставлялъ ему вѣрную точку зрѣнія на произведенія литературы. По этимъ теоретическимъ пріемамъ, онъ стоялъ уже гораздо выше старыхъ романтиковъ; и его понятія общественныя оставались строго консервативными, въ силу извѣстныхъ толкованій Гегелевой философіи, изъ которыхъ выводилось оправданіе существующаго. Съ этими взглядами Бѣлинскій явился еще и въ первыхъ статьяхъ „Отечественныхъ Записокъ", гдѣ эта точка зрѣнія была доведена до послѣдняго предѣла, за которымъ послѣдовалъ упомянутый выше поворотъ.

Бѣлинскій не могъ долго оставаться при этихъ мнѣніяхъ. Прежде всего, собственное размышленіе не дало Бѣлинскому остановиться на „примиреніи", которому онъ могъ еще предаваться въ пору юношескаго оптимизма и подъ вліяніемъ мягкой, идеалистической по преимуществу природы Станкевича. Та „дѣйствительность", которую теперь они толковали теоретически, должна была выясняться при каждой встрѣчѣ съ практическою жизнью, и Бѣлинскому должны были бросаться въ глаза неодолимыя препятствія къ примиренію этой дѣйствительности съ разумностью. Бѣлинскій, усвоивши себѣ положенія Гегелевой философіи (хотя, не зная по-нѣмецки, узнавалъ ее изъ вторыхъ рукъ), былъ въ особенности чутокъ къ слабымъ сторонамъ этой философіи. Современникъ разсказываетъ такой примѣръ: „Однажды, проспоривши цѣлые часы противъ боязливаго пантеизма берлинцевъ, Бѣлинскій всталъ и сказалъ своимъ дрожащимъ и прерывающимся голосомъ: „Вы хотите увѣрить меня, что цѣль человѣка—привести абсолютный духъ къ сознанію самого себя, и вы довольствуетесь этою ролью; что касается до меня, я не такъ глупъ, чтобы служить покорнымъ оружіемъ кому то бы то ни было. Если я думаю, страдаю, я думаю и страдаю для себя. Вашъ абсолютный духъ, если онъ существуетъ, мнѣ чуждъ. Мнѣ нѣтъ до него дѣла, потому что у меня нѣтъ съ нимъ ничего общаго"... Съ тѣхъ поръ,—прибавляетъ тотъ же современникъ,—какъ начали проповѣдывать нелѣпость дуализма, первый даровитый человѣкъ, занявшійся у насъ нѣмецкой философіей, замѣтилъ, что она—реалистическая только на словахъ, что въ сущности она оставалась... логическимъ монастыремъ, куда люди бѣжали отъ міра, чтобы погрузиться въ отвлеченности".

Жизненный опытъ рано сталъ указывать Бѣлинскому ту тяжелую сторону дѣйствительности, которая не легко поддается теоретическимъ примиреніямъ. Еще мальчикомъ онъ узналъ на себѣ тягость семейнаго деспотизма, въ провинціальномъ захо-

лустьѣ видѣлъ немало темныхъ сторонъ русской жизни, видѣлъ ту настоящую дѣйствительность, правдивое изображеніе которой въ литературѣ онъ встрѣтилъ потомъ какъ первый залогъ зрѣлости литературы. По разсказамъ извѣстно, что еще будучи студентомъ, онъ написалъ драму, въ которой выведены были сцены крѣпостного права и гдѣ между прочимъ слуга убиваетъ своего господина: какъ говорятъ, эта драма, представленная Бѣлинскимъ въ университетскій совѣтъ, послужила поводомъ къ различнымъ притѣсненіямъ и, наконецъ, къ исключенію Бѣлинскаго изъ университета.

Съ переѣздомъ въ Петербургъ, мнѣнія Бѣлинскаго объ общественныхъ предметахъ стали въ особенности измѣняться въ томъ смыслѣ, какой они окончательно приняли въ послѣдніе годы. Петербургъ имѣлъ на него отрезвляющее дѣйствіе отъ самообольщенія теоретическими построеніями: впечатлѣнія „дѣйствительности“ были здѣсь особенно близки, и надо было быть особенно расположену обманывать себя, чтобы не принять этихъ впечатлѣній и остаться на прежней идеалистической точкѣ зрѣнія. Журнальная дѣятельность указала ему и оборотную сторону оффиціальнаго просвѣщенія, на которое онъ нѣкогда возлагалъ свои надежды...

Въ реалистическихъ взглядахъ утверждало его и наблюденіе литературы. Въ одной изъ самыхъ первыхъ своихъ статей (о русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя) Бѣлинскій высоко поставилъ Гоголя, какъ писателя, начинающаго новый періодъ литературы. Появленіе „Мертвыхъ Душъ“ завершило кругъ произведеній Гоголя, съ которыми дѣйствительно вошелъ въ литературу новый элементъ: имъ, безъ сомнѣнія, принадлежало большое вліяніе и въ образованіи тѣхъ общественныхъ взглядовъ, которые въ послѣдніе годы одушевляли критику Бѣлинскаго. Замѣчено было, что параллельно съ тѣмъ, какъ развивалась дѣятельность Гоголя, происходило измѣненіе въ отзывахъ Бѣлинскаго о состояніи нашей литературы: онъ больше и больше покидаетъ отрицаніе нашей литературы, наслѣдованное отъ Надеждина, и переходитъ къ убѣжденію, что у насъ есть или начинается дѣйствительная литература, у которой есть свое развитіе и исторія: онъ находитъ въ литературѣ серьезный общественный смыслъ, и рядомъ съ этимъ покидаетъ теорію чистаго искусства. Содержаніе сочиненій Гоголя было таково, что иллюзіи относительно „дѣйствительности“ были невозможны, и Бѣлинскій въ своей критикѣ приходилъ къ такъ-называемому отрицательному общественному направленію

совершенно параллельно съ тѣмъ, что дѣлалось тогда въ самой поэтической литературѣ.

Но были и болѣе прямыя вліянія, дѣйствовавшія на образъ мыслей Бѣлинскаго: они выходили изъ среды самого кружка, въ его послѣднемъ составѣ.

Въ то первое время, когда собирались вокругъ Станкевича молодые любители философіи, въ другомъ кружкѣ ихъ сверстниковъ зарождалось другое направленіе, также теоретическое и идеальное, но съ перваго раза обратившееся къ вопросамъ иного характера. Это направленіе, представителями котораго были Герценъ и Огаревъ, и особенно первый, было, какъ и направленіе Станкевича, результатомъ и домашнихъ условій, и вліяній европейской литературы; и неясные въ началѣ, инстинктивно-понятые отголоски движенія двадцатыхъ годовъ, и поэзія Шиллера, и новѣйшая политическая и соціальная литература (но не германская философія) положили основаніе образу мыслей, несходному съ интересами кружка́ Станкевича и направленному всего болѣе на предметы политическіе. Но когда люди обоихъ этихъ направленій встрѣтились (нѣсколько позднѣе, около 1840 года) и, начавши спорами, успѣли отчасти объяснить себя другъ другу, то оказалось, что въ ихъ стремленіяхъ было много родственнаго, что̀ вскорѣ и сблизило ихъ до дружескихъ отношеній и наконецъ до полнаго согласія общихъ взглядовъ. Одни поступились философскимъ идеализмомъ, другіе принялись съ своей стороны за Гегеля и научились философскому методу, и для обоихъ обозначилась одна общая цѣль—ввести въ литературу и въ умы общества тѣ идеи, къ которымъ они приходили изученіемъ европейской образованности.

Развитіе Герцена было самобытно и исключительно, какъ была самобытна его высоко-даровитая природа. Не повторяя извѣстныхъ фактовъ его біографіи и его собственныхъ разъясненій, довольно замѣтить, что сильный умъ, блестящій талантъ писателя и рѣдкое остроуміе соединялись въ немъ съ обширнымъ образованіемъ,—качества, которыя потомъ нашли успѣхъ и признаніе въ европейской литературѣ [1]). Съ самаго начала его сознательной жизни, мысли его получили политическое направленіе въ смыслѣ самаго рѣшительнаго либерализма: онъ изъ дома вынесъ вражду къ крѣпостному праву, а затѣмъ и отрицаніе цѣлой общественности того времени. Конечно, онъ могъ только отчасти высказывать въ литературѣ свой взглядъ на вещи, но въ его произ-

[1]) Ср. его біографію, написанную Альтгаузомъ, въ Unsere Zeit, 1872.

веденіяхъ всегда слышалась свѣжая освободительная струя, возбужденіе къ критикѣ, вражда къ застою, обскурантизму и общественной несправедливости. Его остроумная, живописная, тонкая манера съ перваго раза дала большую популярность выбранному имъ псевдониму. Его энциклопедическая образованность дѣлала его сочиненія прекраснымъ воспитательнымъ средствомъ для умовъ, въ которыхъ была потребность живого знанія. На Бѣлинскаго онъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе, противодѣйствуя крайностямъ его идеализма: статья о „Бородинской годовщинѣ" поссорила ихъ, но вскорѣ, когда самъ Бѣлинскій увидѣлъ свою ошибку и свое странное положеніе, они тѣмъ больше сблизились. Ихъ соединялъ одинаковый энтузіазмъ; но Герценъ далеко превосходилъ его своимъ многостороннимъ образованіемъ, знакомствомъ съ новѣйшей исторіей и новѣйшей литературой, и въ этомъ отношеніи, кажется, не мало помогалъ Бѣлинскому. Если не ошибаемся, онъ между прочимъ указалъ Бѣлинскому значеніе произведеній Жоржа-Занда, къ которымъ тотъ прежде относился съ большимъ предубѣжденіемъ и враждой. Во внутреннихъ вопросахъ, между ними, кажется, уже скоро не было никакихъ споровъ...

Къ концу тридцатыхъ годовъ, въ московскомъ университетѣ наступаетъ новая оживленная пора, вслѣдствіе пріѣзда молодыхъ профессоровъ, окончившихъ за границей свои приготовленія къ каѳедрѣ: съ ними вошелъ въ нашу умственную жизнь новый запасъ европейскаго научнаго знанія и глубокаго интереса къ успѣхамъ русскаго просвѣщенія. Станкевичъ, проводившій послѣдніе годы жизни за границей, умеръ въ 1841 году. Въ Москвѣ образовался новый кружокъ, болѣе зрѣлаго характера, въ которомъ собрались также прежніе друзья Станкевича. Чтобы характеризовать его, довольно назвать имя Грановскаго, который тѣсно сдружился со Станкевичемъ за границей и, по собственнымъ словамъ, много занялъ отъ него въ своемъ развитіи и напоминалъ его своею мягкою, идеальною человѣчностью. „Въ числѣ друзей Грановскаго,—говоритъ его біографъ,—вскорѣ явился человѣкъ, сдѣлавшійся для него дорогимъ на всю его жизнь. Въ 1842 году переселился въ Москву изъ Новгорода А. И. Герценъ. Живой, умный, разнообразно образованный, полный интересовъ научныхъ и общественныхъ, даровитый и остроумный, онъ соединялъ въ себѣ все, что̀ дѣлало его бесѣду и сообщество привлекательнымъ и живительнымъ для Грановскаго и друзей его. Тѣсный кружокъ друзей собирался часто вмѣстѣ. Каждый изъ нихъ много читалъ. Всякое значительное явленіе, къ какой бы области знанія, искусства, литературы ни принадлежало оно, было извѣстно одному

изъ нихъ. Прочтенное и узнанное въ спорахъ и бесѣдахъ дѣлалось общимъ достояніемъ друзей. Рядомъ съ веселой бесѣдой, шутками и остротами, друзья обмѣнивались мнѣніями, мыслями, новостями. Въ частыхъ бесѣдахъ обобщались ихъ понятія и мнѣнія. Въ этомъ кружкѣ образованныхъ и одушевленныхъ живыми интересами людей нерѣдко появлялись замѣчательнѣйшіе и даровитѣйшіе изъ нашихъ литераторовъ и артистовъ... Друзья не довольствовались наслажденіемъ мыслью и знаніемъ. Они были дѣятельны въ той мѣрѣ, въ какой современныя условія допускали научную и литературную дѣятельность. Иной изъ нихъ издавалъ газету, другой переводы, третій писалъ статьи для журнала"...

Грановскаго зналъ Бѣлинскій еще раньше, въ Москвѣ, до отъѣзда перваго за границу. Теперешній московскій кружокъ остался въ дружескихъ связяхъ съ Бѣлинскимъ и послѣ переѣзда его въ Петербургъ: Московскій кружокъ (Герценъ, Грановскій, Кудрявцевъ, писавшій подъ псевдонимомъ Нестроева, В. Боткинъ и др.) постоянно участвовали въ журналѣ, гдѣ работалъ Бѣлинскій,—сначала въ „Отечественныхъ Запискахъ", потомъ въ „Современникѣ". Эти силы дѣйствовали въ одномъ общемъ направленіи: всѣ, болѣе или менѣе воспитавшіеся въ идеальныхъ стремленіяхъ, проникнуты были желаніемъ работать для просвѣщенія и гуманности: всѣ одинаково понимали недостатки русскаго общества въ этомъ отношеніи и находили единственное средство для лучшаго будущаго въ широкомъ распространеніи образованія, и, въ дальнѣйшей перспективѣ,—убѣждены были въ необходимости развить въ обществѣ понятіе о необходимости болѣе совершенныхъ формъ общественнаго устройства. Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, многое заимствовалъ отъ умственной и нравственной связи съ этими друзьями московскаго круга, хотя оставался своеобразенъ и независимъ. Такъ отъ вліянія Герцена въ значительной степени произошелъ его поворотъ съ консервативно-идеалистической точки зрѣнія и болѣе строгій и внимательный взглядъ на свойства нашей общественности. Отсюда шелъ новый взглядъ его на французскую литературу, противъ которой онъ былъ предубѣжденъ въ прежнее время по пристрастію къ мнѣніямъ нѣмецкой философіи: такъ, онъ сталъ восторженнымъ поклонникомъ художественнаго таланта и общественной тенденціи Ж. Занда. Интересъ къ современной исторіи, къ политическимъ и соціальнымъ движеніямъ европейскаго общества съ новой стороны дополнилъ и исправилъ прежнія мнѣнія Бѣлинскаго и окончательно утвердилъ его понятія о томъ, что нужно для успѣховъ русской обще-

ственности и образованія... Впослѣдствіи люди, относившіеся къ нему недружелюбно по старой памяти (какъ Погодинъ), называли его, съ цѣлью лишняго осужденія, соціалистомъ. Собственно говоря, не было бы большой бѣды, еслибы это обозначеніе было вѣрно,—потому что весь тогдашній „соціализмъ", какой и былъ, былъ не больше какъ однимъ изъ тѣхъ идеальныхъ увлеченій, которыя въ особенности развиваются въ извѣстные періоды, какъ необходимая потребность наполнить пустоту и бѣдность общественной жизни, и въ этомъ смыслѣ совершенно законны; нашъ такъ называемый „соціализмъ" того времени, будучи невиненъ какъ чисто идеалистическая вещь, былъ столько же невиненъ и въ практически-гражданскомъ отношеніи, потому что онъ никогда не выходилъ изъ области теоретическихъ мечтаній. Что касается до Бѣлинскаго, то ему соціализмъ былъ извѣстенъ только съ этой точки зрѣнія. Въ вопросахъ внутренней жизни русскаго общества, которые все больше начинали его занимать въ послѣдніе годы, онъ довольно ясно видѣлъ положеніе вещей; его такъ называемое отрицаніе обращалось противъ самыхъ дѣйствительныхъ золъ нашего общественнаго и народнаго быта, противъ крѣпостного права, бюрократическаго произвола, обскурантизма и т. д., и эти, слишкомъ осязательныя и слишкомъ часто напоминавшія о себѣ явленія вполнѣ поглощали его общественный интересъ.

Въ сороковыхъ годахъ кружокъ друзей, которые лѣтъ десять передъ тѣмъ съ юношескимъ энтузіазмомъ увлекались нѣмецкой философіей и были мало замѣтны въ литературѣ, еще полной романтическими преданіями,—этотъ кружокъ съ своими новыми развѣтвленіями, хотя все еще немногочисленный, занималъ въ литературѣ господствующее положеніе. Разнообразная дѣятельность Герцена, университетское преподаваніе и историческія сочиненія Грановскаго, труды по русской исторіи Соловьева, Кавелина, Павлова, Калачова, изученіе европейской новѣйшей исторіи, политико-экономическіе интересы, изученіе новой европейской литературы—въ работахъ Боткина, Кудрявцева, Влад. Милютина, Анненкова, Фролова и т. д.,—все это вносило въ литературу содержаніе, полное глубокаго значенія. Эта дѣятельность, проникнутая однимъ общимъ характеромъ,—стремленіемъ къ просвѣщенію, къ объясненію русской жизни, къ нравственному освобожденію,—съ перваго раза, какъ она могла установиться нѣсколько правильно, привлекла къ себѣ ту часть общества, въ которой были лучшіе задатки и въ которой подобныя стремленія еще оставались неяснымъ инстинктомъ. Бѣлинскому въ этой

дѣятельности принадлежала важная роль: онъ не былъ въ этомъ цѣломъ кругу господствующею личностью,—которой и вовсе не было; многимъ онъ даже обязанъ былъ другимъ,—но это былъ человѣкъ страстнаго убѣжденія, неутомимой дѣятельности, и онъ безъ сомнѣнія сдѣлалъ больше всѣхъ другихъ въ распространеніи тѣхъ понятій, которыя составляли содержаніе и особенность такъ-называемаго „западнаго" направленія.

Главная сила таланта Бѣлинскаго состояла въ живомъ пониманіи искусства, въ тонкомъ эстетическомъ чувствѣ; проницательность его критики много разъ замѣчательнымъ образомъ оправдывалась. Главная заслуга Бѣлинскаго—созданіе русской критики, и вмѣстѣ—эстетической исторіи литературы. Съ первой статьи, которою онъ началъ свое критическое поприще, онъ установляетъ теоретическія понятія о литературѣ, изъ которыхъ, путемъ последовательнаго развитія, образовались его позднѣйшіе взгляды. Въ своихъ эстетическихъ представленіяхъ онъ началъ съ теоріи безсознательнаго творчества, но по мѣрѣ того, какъ спадалъ философскій туманъ и разъяснилось для него жизненное назначеніе искусства, Бѣлинскій отклоняется отъ первоначальной точки зрѣнія и даетъ все больше мѣста теоріи сознательнаго творчества, требованіямъ жизни и общества. Онъ понимаетъ теперь искусство уже не какъ безсознательное и эгоистическое витаніе художника, въ его исключительной сферѣ, но какъ одно изъ выраженій жизни, разумѣніе которой и служеніе ей обязательны для художника, какъ для всякаго мыслящаго человѣка. Цѣня въ литературѣ одно изъ главнѣйшихъ средствъ общественнаго развитія, особенно въ тѣ времена, когда только въ литературѣ общественная мысль могла сколько-нибудь высказываться, — критика переходила на публицистическую почву, или, точнѣе говоря, впервые поставила дѣствительную задачу, предстоящую литературѣ, — которая до того времени довольствовалась у насъ ролью или отвлеченной, или элементарно-дидактической, или дилеттантской. Какъ бы дальше ни совершалось движеніе, что̀ бы ни проповѣдывала литература, но съ тѣхъ поръ она уже стояла на почвѣ дѣйствительныхъ интересовъ жизни, выражала существующія въ ней направленія, а не служила только одному развлеченію. Въ этомъ измѣненіи значенія литературы въ обществѣ,—большая доля заслуги принадлежала именно Бѣлинскому.

Дѣятельность Бѣлинскаго въ этомъ отношеніи, и вообще дѣятельность этого круга находила опору въ естественномъ возра-

станіи самой литературы. Въ сороковыхъ годахъ литература представляла любопытное зрѣлище новой возникавшей жизни. Тотъ протестъ противъ застоя и стѣсненія образованности и общественной жизни,—къ которому приходилъ кругъ Бѣлинскаго,—выражался въ то же время въ литературѣ поэтической. Когда выработывалось теоретически понятіе о необходимости реальнаго содержанія, о необходимости изученія самой жизни, объ изгнаніи романтической фантастики,—въ нашей поэзіи являются таланты первостепенной силы, идущіе въ этомъ самомъ направленіи: Гоголь, Кольцовъ, Лермонтовъ. Всѣ они являются совершенно независимо одинъ отъ другого, изъ различныхъ круговъ общества, изъ различныхъ слоевъ образованія и, наконецъ, независимо отъ критической школы круга Бѣлинскаго [1]). Гоголь и Кольцовъ явились внѣ всякаго вліянія европейской литературы, даже съ самымъ ограниченнымъ образованіемъ, — но это не помѣшало ни тому, ни другому изображать народную жизнь съ такой поэзіей и нравы общества съ такою правдой, какихъ еще не видѣла наша литература. Здѣсь являлась, наконецъ, та чистая дѣйствительность, которой доискивалась философская теорія. Съ Гоголемъ литература окончательно становилась на ту дорогу, которой такъ долго искала ощупью, и совершенно свободная отъ чужихъ вліяній, пріобрѣтала чисто русское содержаніе. Развитіе Лермонтова шло инымъ путемъ, съ одной стороны подъ сильнымъ вліяніемъ Байрона, съ другой—въ общественномъ кругу, очень далекомъ отъ народной жизни, но несмотря на то и Лермонтовъ замѣчательно угадывалъ народно-поэтическіе мотивы (въ „Пѣснѣ о Калашниковѣ“), какъ тогда это удавалось одному Кольцову и какъ удавалось только очень немногимъ впослѣдствіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, во многихъ стихотвореніяхъ и въ „Героѣ нашего времени“ онъ затрогивалъ самыя глубокія помышленія лучшихъ умовъ своего времени.

Это совпаденіе теоретическаго развитія понятій съ фактами поэтической литературы указывало, что въ этихъ явленіяхъ была глубокая историческая послѣдовательность. Въ самомъ дѣлѣ, среди полнаго торжества понятій оффиціальной народности, подлѣ той литературы,—„писанной слогомъ помадныхъ объявленій“, по выраженію Гоголя,—которая доказывала, что мы живемъ въ лучшемъ изъ міровъ, являлась другая литература, которая, повиди-

[1]) Только Кольцовъ былъ дружески связанъ съ кружкомъ Станкевича и отчасти развился подъ его вліяніемъ,—но сущность его поэзіи образовалась раньше и самостоятельно.

мому ничѣмъ не нарушая господствующаго тона, мало замѣтно для большинства, вносила совершенно новыя начала. Гоголь, слѣдуя въ своихъ общественныхъ взглядахъ преданіямъ пушкинскаго круга, не помышляя ни о какомъ изслѣдованіи существующихъ формъ, даже заискивая передъ властями, издаетъ глубокую сатиру, гдѣ дѣйствительно сквозь смѣхъ слышались слезы: противъ воли автора въ его изображеніяхъ говорило отрицаніе описываемой имъ жизни, такъ что самъ Гоголь не могъ впослѣдствіи вынести этого значенія своихъ произведеній и отрекся отъ нихъ... Поэзія Лермонтова, исполненная глубокаго и сильнаго чувства, въ своемъ соприкосновеніи съ жизнью общества была только поэзія скорби, безнадежности и озлобленія. Въ его произведеніяхъ встрѣчали выраженіе своего чувства тѣ „лишніе" люди, которые съ своими порывами къ общественной дѣятельности, съ своими идеалами и стремленіями, даже съ своимъ образованіемъ, находили себя совершенно чужими въ господствующихъ нравахъ. Въ поэзіи Кольцова, народная „муза" опять не имѣла никакихъ пѣсенъ для народности оффиціальной...

Общественная важность элементовъ, внесенныхъ въ литературу этими писателями, очевидная уже изъ ихъ параллельнаго и независимаго другъ отъ друга развитія, и изъ содержанія самыхъ произведеній, обнаруживалась далѣе и тѣмъ, что эти элементы послужили основаніемъ дальнѣйшаго литературнаго развитія. Къ Гоголю особенно примыкаетъ такъ-называемая „натуральная школа", которая послѣдовала его указаніямъ и стала рисовать русскую дѣйствительность, не подкрашивая ее фальшивыми красками. Лермонтовскіе мотивы въ большой степени вошли въ изображеніе типовъ новаго образованнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ. Кольцовъ навсегда устранилъ прежнія книжныя поддѣлки народно-поэтическаго склада и указалъ, чѣмъ можетъ быть поэзія въ настоящемъ народномъ стилѣ.

„Натуральная школа" (не забудемъ, что ея послѣднимъ завершеніемъ былъ тогда Тургеневъ, съ „Записками Охотника") шла по дорогѣ, указанной Гоголемъ, уже сознательно. Естественно, что она вызвала противъ себя вражду всѣхъ старыхъ партій, между прочимъ и прежней пушкинской школы; къ ней недружелюбно относились и славянофилы. Однимъ непріятно было видѣть въ ней несомнѣнное развитіе гоголевской сатиры, за которой, напримѣръ, ближайшіе друзья Гоголя, по всему складу своихъ понятій, не хотѣли признать ея отрицательнаго значенія, или по крайней мѣрѣ одобрить его: другимъ непріятно было замѣтить очевидную связь „натуральной школы" съ образомъ мыс-

лей, отличавшимъ „западное“ направленіе: въ ней, не безъ основанія, чуяли вліяніе Бѣлинскаго. Въ самомъ дѣлѣ, одной изъ главныхъ заслугъ его критики было то, что она съ перваго взгляда угадала и разъяснила все высокое значеніе Гоголя, и тѣмъ безъ сомнѣнія въ большой степени увеличила его вліяніе. Для писателей „натуральной школы“ непосредственное впечатлѣніе произведеній Гоголя усиливалось всѣмъ вліяніемъ Бѣлинскаго.

Такимъ образомъ, литература и критика дѣйствовали взаимно одна на другую, и литературные вопросы совершенно измѣнили свой характеръ. Романтическіе стилисты должны были сойти со сцены; явилось требованіе общественнаго содержанія въ литературныхъ произведеніяхъ, и Бѣлинскому почти исключительно принадлежитъ установленіе новыхъ литературныхъ идей. Задача писателя—не только художественная, но и общественная; онъ обязанъ служить лучшимъ интересамъ человѣческой мысли, нравственнаго и гражданскаго достоинства въ своемъ обществѣ, потому что и содержаніе искусства тождественно съ этими интересами. Бѣлинскій, хотя крайне стѣсненный въ своей литературной дѣятельности внѣшними препятствіями, успѣлъ выразить и утвердить новый складъ не только литературныхъ, но и общественныхъ понятій; для новыхъ поколѣній онъ сталъ нравственно-воспитательной силой.

Изучая мнѣнія Бѣлинскаго, нужно имѣть въ виду, что эти мнѣнія въ то время не могли быть изложены съ достаточной полнотой [1]); поэтому, для полнаго пониманія ихъ надо предпринять „чтеніе между строками“ и дополнять критическія его мнѣнія тѣми мыслями, которыя были имъ высказаны безъ внѣшнихъ стѣсненій.

Взятая въ цѣломъ, система мнѣній Бѣлинскаго и всего круга, которому онъ принадлежалъ, была продолжающимся развитіемъ идей, появившихся въ русскомъ образованномъ обществѣ въ двадцатыхъ годахъ: это была новая ступень того же критическаго обращенія къ вопросамъ нашей внутренней жизни и того же стремленія къ формамъ общественности, болѣе совершеннымъ въ гражданскомъ смыслѣ. Посредствующимъ звеномъ между стремленіями двухъ поколѣній было „Письмо“ Чаадаева; его скептицизмъ и европейскія симпатіи были тѣмъ содержаніемъ, которое нужно было переработать, чтобы идти дальше. Новое направ-

[1]) Образчикомъ того, съ какимъ жаромъ могъ бы онъ говорить о предметахъ литературы и общественной жизни, служитъ его переписка и въ особенности замѣчательное письмо къ Гоголю.

леніе, пройдя свою предварительную школу въ идеализмѣ Гегелевой философіи, вскорѣ заявило свои общественные взгляды: достигнувъ своей зрѣлости, оно рѣшительно покинуло дорогу оффиціальной народности, не удовлетворяясь ея результатомъ — существовавшимъ характеромъ умственной и общественной жизни. Но дѣятельность для людей этого направленія была тогда возможна исключительно въ области предметовъ и интересовъ литературныхъ; поэтому, Бѣлинскому оставалось бороться противъ старыхъ литературныхъ партій, олицетворявшихъ въ себѣ консервативную рутину. Господствующая система понятій оффиціальной народности не могла подлежать критикѣ; въ этомъ отношеніи новое направленіе было совершенно связано; въ спорахъ съ старыми литературными партіями оно по необходимости должно было умалчивать объ этой сторонѣ ихъ мнѣній, выражая только свое несочувствіе къ „квасному и кулачному патріотизму"; чисто литературная часть дѣятельности старыхъ партій была подорвана уже вскорѣ новымъ направленіемъ. Главнымъ противникомъ, съ которымъ предстояло бороться, оставались славянофилы [1]). Кружокъ, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, боролся съ ними въ особенности потому, что видѣлъ въ славянофильствѣ силу, равную себѣ по умственному оружію и общимъ философскимъ основаніямъ (другіе равны не были), но въ его мнѣніяхъ видѣлъ тѣ же начала оффиціальной народности, только въ формѣ, облеченной въ философскія доказательства, ухищренной и доктринерской.

[1]) По поводу славянофильства Погодинъ выставлялъ противъ меня въ „Гражданинѣ" (1873) цѣлый рядъ обвиненій, между прочимъ въ томъ, что я то включаю въ славянофильство его, Погодина, и „Москвитянинъ", то выдѣляю ихъ,—и что я не узналъ литературы предмета. Но самъ обвинитель, конечно, запамятовалъ эту литературу, потому что выдѣленіе „Москвитянина" изъ славянофильства сдѣлано вовсе не мною въ первый разъ, а гораздо ранѣе,—сначала, отчасти самими настоящими славянофилами, а потомъ, между прочимъ, нѣкоторыми критиками, *совершенно благопріятными* славянофильству.

Въ *сороковыхъ* годахъ, напротивъ, часто смѣшивали „Москвитянинъ" Погодина и Шевырева и славянофиловъ въ одну партію, но той простой причинѣ, что въ то время отчасти не вполнѣ еще опредѣлилась ихъ разница, отчасти потому, что славянофилы, не имѣя собственнаго изданія, прибѣгали къ „Москвитянину". Впослѣдствіи, чтобы высказываться безъ чужихъ дополненій, славянофилы начали издавать свои „Сборники".

А существенная разница между ними, говоря вкратцѣ, была та, что въ понятіяхъ „Москвитянина" было гораздо больше лести оффиціальной народности (или казенной, какъ разъяснилъ Погодинъ,—все равно), чѣмъ славянофилы считали приличнымъ, и что въ „Москвитянинѣ" былъ еще особый, такъ сказать, юродивый элементъ (опроверженіе системы Коперника и т. п.), котораго славянофилы также удалялись.

Выше мы имѣли случай упоминать, какъ легко было въ сороковыхъ годахъ смѣшивать славянофильство съ мнѣніями Погодина и Шевырева; иногда славянофилы вступали въ „Москвитянинъ", не отказываясь отъ солидарности съ его другими мнѣніями. Понятно, что большинство читателей въ то время совершенно ихъ смѣшивало, и критика не могла не трактовать ихъ вмѣстѣ. Но положеніе круга Бѣлинскаго въ этомъ спорѣ было далеко не благопріятное: ихъ противники являлись въ слишкомъ тѣсномъ союзѣ съ понятіями, до которыхъ нельзя было касаться.

Споръ, происходившій между двумя сторонами, представлялъ собой, въ сущности, давнее историческое столкновеніе двухъ началъ, которыя можно опредѣлить какъ консервативное преданіе и потребность прогресса, какъ національную исключительность и стремленіе къ усвоенію европейской образованности. Теперь этотъ споръ велся въ области теоретическихъ понятій, до которыхъ достигъ небольшой слой наиболѣе образованныхъ людей. Обѣ стороны исходили изъ однихъ первоначальныхъ философскихъ изученій. Философія Гегеля была такъ абстрактна, что изъ нея, въ практическомъ примѣненіи, можно было извлекать самые несходные выводы. Славянофилы выводили изъ нея свое ученіе въ духѣ правой стороны Гегелевой школы; ихъ противники, отчасти наскучивъ философской казуистикой, отчасти подъ вліяніемъ другого порядка идей, вынесеннаго изъ общественно-политическихъ изученій,—отвергли ея консервативные выводы и развивали ея основанія дальше въ томъ духѣ, въ какомъ стали излагать это ученіе въ самой Германіи наиболѣе смѣлые послѣдователи школы. (Образчикомъ остаются, напр., извѣстныя герценовскія „Письма объ изученіи природы",—въ которыхъ многія страницы написаны какъ будто теперь какимъ-нибудь изъ писателей, основывающихъ философію на началахъ естествознанія). Разница въ пріемахъ философскаго разсужденія, естественно, сопровождалась разницей, даже противоположностью въ выводахъ—во всей системѣ мнѣній. Славянофилы и кругъ друзей Бѣлинскаго разошлись и въ теологіи, и въ исторіи, и въ понятіяхъ общественныхъ.

Мы видѣли, въ какомъ духѣ славянофилы развивали свою теологическую систему. Для ихъ противниковъ эта аргументація не была убѣдительна ни въ теоретической, ни въ исторической части [1]). Относительно первой противники славянофильства стояли

---

[1]) Понятно, что здѣсь рѣчь идетъ не объ однихъ печатныхъ разсужденіяхъ сторонъ. Въ печати прямая постановка этихъ вопросовъ была тогда немыслима. Но по временамъ противники встрѣчались, и печатную полемику замѣняли устныя бесѣды и препирательства,—изъ которыхъ кое-что проскользало и въ литературу.

на совершенно иной точкѣ зрѣнія: чистому супранатурализму славянофиловъ они противопоставили бы право свободнаго изслѣдованія; теологической теоріи, которой принудительность возмущала въ нихъ самые глубокіе инстинкты ума и чувства, они противопоставили бы „молодыхъ гегеліанцевъ", раціоналистовъ, тюбингенскую школу. Даже для тѣхъ членовъ круга, которые сами отличались религіознымъ идеализмомъ, какъ Грановскій, не имѣла ничего сочувственнаго догматика славянофиловъ, на которой они утверждали самыя важныя положенія объ исторіи и цивилизаціи запада и востока, и которая въ девятнадцатомъ столѣтіи хотѣла сохранить значеніе, принадлежавшее ей въ десятомъ вѣкѣ. Дѣленіе человѣческой цивилизаціи на два развитія, по раздвоенію догматики, было невообразимо для противниковъ славянофильства, по всѣмъ ихъ историческимъ понятіямъ. Въ мірѣ византійскомъ, поставленномъ такъ высоко славянофилами, они видѣли только застой и упадокъ. Если русскому народу не приходились духъ и формы Запада,—спрашивали они,—то что же общаго имѣлъ русскій народъ съ жизнью византійской? Гдѣ была органическая связь между славянами, варварами отъ молодости, и греками, варварами отъ дряхлости? И что такое Византія, какъ не тотъ же Римъ, но Римъ временъ упадка, безъ славныхъ воспоминаній, безъ раскаянія? Въ теологическомъ устройствѣ Византіи они видѣли тотъ же существенный характеръ, какъ въ западномъ мірѣ, только болѣе вялый и апатическій; въ ея устройствѣ гражданскомъ—только неограниченный деспотизмъ и страдательное повиновеніе, поглощеніе личности государствомъ, государства императоромъ. Южные славяне были въ продолжительныхъ и тѣсныхъ связяхъ съ этой Византіей: что̀ же они изъ этого вынесли? Гдѣ цивилизующая сила византійскаго принципа, у самихъ грековъ, и у всѣхъ тѣхъ народовъ, которые принимали этотъ принципъ?

Такимъ образомъ, несогласіе мнѣній распространялось и на историческую часть вопроса. Какъ славянофилы восхваляли древнюю Русь, такъ ихъ противники считали русскую старину, періодъ господства византійскихъ заимствованій,—временемъ патріархальнаго деспотизма и невѣжества, для заключенія котораго необходима была реформа. Бѣлинскій и его друзья не убѣждались контрастомъ греко-славянской и западной цивилизаціи, который выставляло славянофильство: съ одной стороны, они искали и не находили тѣхъ великихъ истинъ, которыя предполагались въ древнерусской цивилизаціи, и находили только развитіе внѣшней силы въ Московскомъ царствѣ, византійско-восточнаго склада, и нравы, описанные Котошихинымъ; съ другой, удивлялись, какъ славяно-

фильство могло такъ легко и странно относиться къ тому, что выработано умственной и политической исторіей Европы... Наконецъ, они только смѣялись надъ тѣмъ, какъ близкій по духу славянофиламъ „Москвитянинъ“, особенно устами Шевырева, обличалъ „развратъ мышленія“ и безстыдство знанія“, овладѣвшіе Европой...

Противъ писателей „западнаго“ направленія, и противъ Бѣлинскаго особенно, не разъ впослѣдствіи выставляемы были обвиненія въ этомъ пренебреженіи къ древней Руси и непониманіи ея, въ такомъ же непониманіи и несправедливомъ отношеніи къ народной поэзіи, къ возникавшей малорусской литературѣ, наконецъ, къ цѣлому славянскому міру; рядомъ съ этимъ винили ихъ въ крайнемъ поклоненіи Петру Великому, реформѣ, государственному началу (даже въ „централизаціи“!), за которымъ они признавали право, какъ за силой, и т. п. Винили даже въ несочувствіи вообще къ народному. Устраняя это послѣднее обвиненіе, какъ основанное, относительно круга Бѣлинскаго, на явномъ недоразумѣніи, о другихъ обвиненіяхъ надо замѣтить слѣдующее. Во-первыхъ, обвинители отчасти приводятъ мнѣнія Бѣлинскаго безъ должнаго разбора, смѣшивая въ одно его первыя сочиненія и послѣднія, тогда какъ первыя были только началомъ, приготовленіемъ, которое послѣ было имъ покинуто. Во-вторыхъ, мнѣнія Бѣлинскаго объ этихъ предметахъ всего чаще высказывались въ полемикѣ, слѣдовательно, въ болѣе обыкновеннаго рѣзкой формѣ, и, разсчитанныя на опроверженіе противнаго мнѣнія, по необходимости выставляли больше одну спорную часть предмета. Въ-третьихъ, недостатки Бѣлинскаго были недостатками времени: въ то время не было ни тѣхъ научныхъ изслѣдованій, которыя теперь расширили наши историческія представленія, ни тѣхъ явленій литературныхъ, которыя такимъ же образомъ измѣняли прежніе взгляды,—каково, напр., послѣдующее развитіе этнографическихъ изученій и т. п. Въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго бывали дѣйствительныя ошибки и крайности; но зато кому мы больше всего обязаны тѣмъ, что остановлены были другія крайности, гораздо болѣе вредныя?

Вникнувъ въ понятія Бѣлинскаго, мы увидимъ, что въ свое время, сказанное имъ имѣло свои основанія, могло или должно было быть сказано; увидимъ, что были въ его мнѣніяхъ и ошибки, но увидимъ также ихъ причину, и потому умѣримъ и обвиненія, или совершенно ихъ отвергнемъ. Славянофилы и ихъ друзья въ „Москвитянинѣ“ пустили въ ходъ мысль о „гніеніи Запада“: отчасти, эта мысль была и полемическимъ ударомъ „западному“

направленію. Люди этого направленія находили проповѣдь о гніеніи Запада просто безсмысленной, когда она шла, напр., отъ Шевырева, и вмѣстѣ вредной, потому что она самымъ грубымъ образомъ вторила обскурантизму, котораго у насъ всегда бывало вдоволь. Серьезнѣе относились они къ этому обвиненію, когда оно шло отъ настоящихъ славянофиловъ, какъ Хомяковъ, Кирѣевскій. На положеніе о гніеніи Запада они отвѣчали различными объясненіями. Прежде всего, они находили, что мысль не нова и даже принадлежитъ не намъ, а нѣкоторымъ писателямъ самой Европы. „Европа, — говорили они,—не дожидалась ни поэзіи Хомякова, ни прозы редакторовъ „Москвитянина", чтобы понять, что она теперь наканунѣ переворота, возрожденія или полнаго разложенія. Сознаніе упадка нынѣшняго общества, это—соціализмъ, и конечно, его писатели заимствовали свой приговоръ противъ современной Европы не изъ сочиненій Шафарика, Коллара или Мицкевича. Соціализмъ былъ извѣстенъ въ Россіи лѣтъ десять раньше того, чѣмъ стали говорить о славянофилахъ"... Но если указанный источникъ могъ существовать для Хомякова или Кирѣевскаго, то для другихъ проповѣдниковъ гніенія Запада послужили другіе источники, также западные, только имѣвшіе гораздо менѣе смысла или вовсе его неимѣвшіе, напр., писанія всякихъ ретроградныхъ партій, феодаловъ и клерикаловъ, которымъ современная Европа казалась близкой къ гибели по крайнему развитію либерализма: это совершенно сходилось съ тѣмъ, что подобныя ретроградныя партіи думали о Европѣ и у насъ.

Но откуда бы ни взялась, эта мысль была крайней нелѣпостью, какъ аргументъ противъ нашего заимствованія западной образованности. Если даже вѣрить западнымъ пессимистамъ, то гибель грозила въ Европѣ только извѣстнымъ общественнымъ формамъ, но вовсе не самой цивилизаціи, не собраннымъ ею богатствамъ науки и искусства. Западный пессимизмъ у людей консервативныхъ или ретроградныхъ партій былъ ясенъ, и мы уже повторяли его во времена Магницкаго; у соціалистовъ онъ исходилъ изъ чувства общественной справедливости, которое было плодомъ той же цивилизаціи, и имѣлъ опредѣленную задачу—распространеніе выгодъ цивилизаціи на массы. У насъ проповѣдники гніенія Запада даже не поняли или не захотѣли понять настоящаго значенія этихъ западныхъ отрицаній современной европейской жизни и напрасно ссылались на западныхъ отрицателей (какъ послѣ стали ссылаться на Гартмана), потому что западные отрицатели, конечно, не удовлетворились бы *тѣми* разрѣшеніями этого вопроса, какое предлагали наши философы. За-

падное недовольство европейской жизнью было недовольство взрослаго человѣка, результатомъ, который былъ бы еще очень и очень хорошъ для мальчика или юноши, и наша проповѣдь европейскаго гніенія производила тѣмъ болѣе тяжелое впечатлѣніе, что наша собственная образованность была слишкомъ скудная.

Бѣлинскій, между прочимъ, остановился на этомъ предметѣ по поводу „Русскихъ Ночей“ кн. Одоевскаго, гдѣ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, Фаустъ, излагаетъ это гніеніе Запада. Бѣлинскій указываетъ сходство его мнѣній съ славянофильскими, признаетъ, что есть очень много вѣрнаго въ его изображеніяхъ общественныхъ бѣдствій европейской жизни, напр., пролетаріата и т. п., но приводитъ цѣлый рядъ возраженій на общую мысль, и въ заключеніе такъ характеризуетъ сомнѣнія этого Фауста, то-есть и кн. Одоевскаго. „Да, ужасно въ нравственномъ отношеніи состояніе современной Европы, — говоритъ Бѣлинскій. Скажемъ болѣе: оно уже никому не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомъ и говорятъ, и пишутъ еще съ гораздо бо́льшимъ знаніемъ дѣла и бо́льшимъ убѣжденіемъ, нежели въ состояніи дѣлать это кто-либо у насъ. Но какое же заключеніе должно сдѣлать изъ этого взгляда на состояніе Европы? Неужели согласиться съ Фаустомъ, что Европа, того и гляди, прикажетъ долго жить, а мы, славяне, напечемъ блиновъ на весь міръ, да и давай поминки творить по покойницѣ?.. Подобная мысль, еслибъ о ея существованіи узнала Европа, никого не ужаснула бы тамъ... Нельзя такъ легко дѣлать заключенія о такихъ тяжелыхъ вещахъ, какова смерть—не только народа (морить народовъ намъ ужъ нипочемъ), но цѣлой, и притомъ лучшей, образованнѣйшей части свѣта. Европа больна, — это правда, но не бойтесь, чтобы она умерла; ея болѣзнь отъ избытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силъ; это болѣзнь временная, это кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ: это—усиліе отрѣшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ вѣковъ и замѣнить ихъ основаніями, на разумѣ и натурѣ человѣка основанными. Европѣ не въ первый разъ быть больною: она была больна во время крестовыхъ походовъ и ждала тогда конца міра; она была больна передъ реформаціею и во время реформаціи,—а вѣдь не умерла же, къ удовольствію господъ душеприказчиковъ ея! Идя своею дорогою развитія, мы, русскіе, имѣемъ слабость всѣ явленія западной исторіи *мѣрить на свой собственный аршинъ*: мудрено ли послѣ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умалишенныхъ, то безнадежною больною? Мы кричимъ: „Западъ! Востокъ! Тевтонское племя! Славянское племя!“ и забываемъ,

что подъ этими словами должно разумѣть *человѣчество*... Мы предвидимъ наше великое будущее, но хотимъ непремѣнно имѣть его на счетъ смерти Европы: какой по-истинѣ *братскій* взглядъ на вещи! Не лучше ли, не человѣчнѣе ли, не гуманнѣе ли разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развитіе, великіе успѣхи въ будущемъ, но и развитіе Европы и ея успѣхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастія одного брата непремѣнно нужна гибель другого? Какая не философская, не цивилизованная и не христіанская мысль!"... [1]).

Бѣлинскій опровергаетъ затѣмъ и другія мнѣнія Фауста, приводившія его къ сомнѣніямъ о судьбѣ Европы, и его замѣчанія достаточно разъясняютъ дѣло. Надо замѣтить, что у славянофиловъ и въ „Москвитянинѣ" гибель Европы утверждалась еще гораздо болѣе категорически (хотя, быть можетъ, съ меньшими доказательствами), чѣмъ у кн. Одоевскаго, и нужно представить себѣ условія тогдашней литературы, чтобы судить о впечатлѣніи, какое должны были производить эти обвиненія западной образованности, и безъ того заподозрѣнной у насъ, какъ источника всякой порчи. Безъ этого нападенія на западную Европу были совершенно безвредны и, дѣйствительно, служили поводомъ къ самому веселому остроумію Герцена.

Мы видѣли прежде, какимъ образомъ споръ о родовомъ и общинномъ бытѣ выросталъ въ спорѣ партій до спора о самомъ принципѣ цивилизаціи. Писатели „западнаго" направленія могли быть неправы въ исторической части предмета, видя родовой бытъ тамъ, гдѣ были другія бытовыя формы, — но вопросъ этимъ не исчерпывался. Говоря о поглощеніи личности родовымъ бытомъ, „западное" направленіе разумѣло то поглощеніе личности бытовыми формами (какія именно онѣ были, въ *этомъ* смыслѣ было почти безразлично), которое кончалось политическимъ безправіемъ и рабствомъ. Общинный бытъ, защищаемый славянофилами, не предотвратилъ также этого рабства. Славянофилы отвергали европейское понятіе о личности, смѣшивая его съ узкимъ эгоизмомъ и не желая видѣть его другого значенія, которое представлялось цѣлымъ рядомъ историческихъ осободительныхъ идей, достигнутыхъ развитіемъ личности на Западѣ. Но сами славянофилы не разрѣшали вопроса объ отношеніи личности и государства или разрѣшали его очень странно. Настаивая на общинѣ, они не объясняли, какимъ образомъ она могла имѣть цивилизующее вліяніе и почему внутренній общественно-политическій резуль-

[1]) Сочин. Бѣлинскаго, IX, стр. 56 и слѣд.

тать ея былъ такъ ограниченъ. Общинный бытъ не помѣшалъ образоваться чисто-деспотическому характеру московскаго царства, не помѣшалъ потомъ подавленію зачатковъ свободной общественности, которые были въ древнихъ учрежденіяхъ... „Западное“ направленіе думало, что община сдѣлала мало, что, не спасши древней свободы, и потомъ не спасла крестьянина отъ крѣпостного права, и что ея дальнѣйшее существованіе (которое, безъ сомнѣнія, было бы желательно) едва ли можетъ быть прочно безъ свободы личности. Оно думало при этомъ, что самый нашъ интересъ къ общинѣ начался только тогда, когда западный соціализмъ, забывши старую европейскую общину, вновь теоретически построилъ ее,—тогда только и мы вспомнили о своей старой, еще уцѣлѣвшей общинѣ.

На указанія о поглощеніи личности бытовыми формами (тѣми или другими) въ древней Руси славянофилы отвѣчали, въ упомянутой прежде статьѣ М... З... К..., своеобразной теоріей, по которой, напротивъ, личность въ древне-русской жизни была развита, но съ тѣмъ вмѣстѣ столь проникнута христіанскимъ смиреніемъ и интересомъ общины, что отрицала самоё себя и передавала все свое содержаніе одному верховному главѣ цѣлой земской общины... „Москвитянинъ,—говоритъ (намекая на эту статью М... З... К...) одинъ современникъ, — заимствовалъ свои аргументы изъ старыхъ русскихъ лѣтописей, изъ греческаго катехизиса и гегелевскаго формализма. Славянофильскій авторъ полагаетъ, что начало личности было развито въ древней Россіи, но что личность, просвѣщенная греческою церковью, обладала высокимъ даромъ самопожертвованія и добровольно переносила свою свободу на личность государя... Онъ выражаетъ собой сострадаціе, благоволеніе и свободную индивидуальность. Каждый отказывался отъ личной самостоятельности и вмѣстѣ съ тѣмъ спасалъ ее въ представителѣ личнаго начала, государѣ“. Упомянутый современникъ самымъ рѣшительнымъ образомъ возстаетъ противъ этой „испорченной діалектики“, противъ этого „безнравственнаго злоупотребленія словъ“, безнравственнаго потому, что оно дѣлается сознательно. „Что значатъ эти метафорическія рѣшенія, которыя представляютъ только самый вопросъ навыворотъ? Къ чему эти образы, эти символы, вмѣсто самыхъ вещей? Развѣ, славянофилы изучали лѣтописи Византіи затѣмъ, чтобы привить себѣ эту византійскую язву? Мы не греки временъ Палеологовъ, чтобы спорить объ opus operans и opus operatum въ то время, когда къ намъ въ дверь стучится великое и неизвѣстное будущее“... „Философская метода славянофиловъ не нова; въ трид-

цатыхъ годахъ такимъ же образомъ говорила правая сторона гегеліанцевъ; нѣтъ такой нелѣпости, которой нельзя было бы ввести въ формы пустой діалектики, давая ей видъ глубокой метафизики... Славянофильскій авторъ, говоря о верховномъ представительствѣ личности, только парафразировалъ очень извѣстное опредѣленіе рабства, которое даетъ Гегель въ своей Феноменологіи (Herr und Knecht). Но онъ преднамѣренно забылъ, какъ Гегель выходитъ изъ этой низшей ступени человѣческаго сознанія... Надобно замѣтить, что этотъ философскій жаргонъ, по формѣ принадлежащій наукѣ, а по содержанію — схоластикѣ, встрѣчается также у іезуитовъ. Монталамберъ, отвѣчая на запросъ о жестокостяхъ, совершонныхъ папскимъ правительствомъ въ римскихъ тюрьмахъ, говорилъ: Вы говорите о жестокостяхъ папы, но онъ не можетъ быть жестокъ, ему запрещаетъ это его положеніе; онъ, намѣстникъ Іисуса Христа, можетъ только прощать, быть милосердымъ, и дѣйствительно папы всегда прощаютъ... Насмѣшка, которая заставляетъ презирать человѣческое слово", и проч.

Таковы были мнѣнія людей „западнаго" направленія о славянофильской теоріи, выраженной въ статьѣ М... З... К... [1]). Мнѣнія Бѣлинскаго были совершенно съ этимъ солидарны, и его собственныя опроверженія славянофильства были писаны съ той же общей точки зрѣнія. Съ теоріей М... З... К..., въ которой теологическій принципъ древней Руси также занималъ важное мѣсто, соединялось извѣстное ученіе о „приниженіи личности" и о „смиреніи", будто бы составлявшемъ главнѣйшую черту въ національномъ характерѣ древней Руси, ея высокое достоинство, причину величественнаго развитія ея исторіи и ея превосходство надъ западнымъ міромъ. Эту теорію въ то время въ особенности проповѣдывалъ Шевыревъ, а впослѣдствіи К. Аксаковъ. Бѣлинскій довольно ѣдко отвѣчалъ однажды на теорію смиренія обзоромъ главнѣйшихъ фактовъ нашей исторіи, изъ котораго оказывалось, что едва-ли смиреніе и „любовь" помогли образованію русскаго государства, и что они вообще далеко не составляли отличительнаго качества руководящихъ лицъ русской исторіи и никакъ не могутъ считаться особеннымъ свойствомъ или даже исключительнымъ содержаніемъ русской народности [2]).

---

[1]) Ср. статью Кавелина: „О юридическомъ бытѣ древней Россіи", по поводу которой славянофильскій критикъ выставлялъ эту теорію, и отвѣтъ Кавелина на его возраженія.

[2]) Соч., т. XI, стр. 30 и слѣд.

Разногласіе въ философскихъ понятіяхъ, въ мнѣніяхъ о теологическомъ принципѣ и западной цивилизаціи приводило къ разногласію объ отношеніяхъ русскаго народа къ Западу и о русскомъ національномъ развитіи. Когда славянофилы противополагали Россію Западу, „западная“ школа ставила ихъ въ ту тѣсную связь, гдѣ нравственнымъ соединеніемъ служили общечеловѣческіе принципы и идеалы. Для Бѣлинскаго и его друзей не были ни убѣдительны, ни привлекательны толки о предназначеніи русской цивилизаціи, долженствующей будто бы преодолѣть и замѣнить европейскую. Эти толки казались имъ мистической фантазіей. Въ общемъ счетѣ Бѣлинскій признавалъ извѣстную пользу славянофильскаго движенія, хотя только условную и относительную, тамъ, гдѣ оно указывало недостатки русскаго европеизма; но затѣмъ идеалы славянофиловъ, обращенные назадъ, считалъ только вреднымъ романтизмомъ, удаляющимъ отъ здраваго пониманія современныхъ потребностей нашего образованія.

Въ новѣйшее время Бѣлинскаго, какъ и другихъ людей того направленія, какъ Грановскій, Герценъ и т. п., нерѣдко упрекали въ космополитизмѣ, въ чемъ-то такомъ, что какъ будто дѣлало ихъ людьми чуждыми русской жизни, мало ее понимавшими, искавшими для нея чужихъ идеаловъ, и т. п. Нѣтъ ничего страннѣе этого обвиненія. Эти обвиненія принадлежатъ въ особенности тѣмъ ультра-національнымъ мыслителямъ, высшая философія которыхъ заключается въ извѣстномъ мнѣніи, что мы всѣхъ можемъ закидать шапками. Къ сожалѣнію, должно сказать, что первые поводы къ этимъ обвиненіямъ даны были отчасти самими славянофилами, а также ихъ союзниками въ „Москвитянинѣ“. Друзья Бѣлинскаго съ негодованіемъ говорили о наклонности, дѣйствительно иногда являвшейся у ихъ противниковъ—прямо или косвенно винить „западное“ направленіе, вмѣстѣ съ любовью къ Европѣ, въ недостаткѣ любви къ отечеству,—и напротивъ, приписывать самимъ себѣ привилегію патріотизма. Славянофилы и ихъ союзники въ „Москвитянинѣ“ вообще терпѣть не могли такъ называемой ими „петербургской“ литературы, желчно отзывались о натуральной школѣ, Тургеневѣ, кн. Одоевскомъ, и т. д. Было очень возможно, что въ начинавшейся послѣ Гоголя школѣ, которая обратилась къ изображенію народной и общественной дѣйствительности, были ошибки, неточности, невыдержанность; но невозможно было отвергать ни у этихъ писателей, ни у Бѣлинскаго, Грановскаго, Герцена, и пр. полной искренности и самаго одушевленнаго патріотизма. Ихъ враги въ „московской“ литературѣ не постояли, однако, за такими обвиненіями, и кругъ Бѣлин-

скаго справедливо могъ извлекать отсюда недовѣріе къ цѣлой школѣ.

„Положеніе натуральной школы,—говоритъ Бѣлинскій по этому поводу,—между двумя непріязненными ей партіями (партіей старыхъ противниковъ Гоголя и его школы и партіей славянофильской) по истинѣ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ обѣихъ—самоё себя; одна нападаетъ на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаетъ на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... [1]). Оставимъ въ сторонѣ разглагольствованія критика „Москвитянина“ о народѣ, а сами замѣтимъ только, что враги натуральной школы отличаются, между прочимъ, удивительною скромностью въ отношеніи къ самимъ себѣ и удивительною готовностью отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, г. Хомяковъ, съ *рѣдкою* въ нашъ хитрый и осторожный вѣкъ *наивностью,* объявилъ печатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству „невольное и прирожденное“, а у его противниковъ—„пріобрѣтенное волею и разсудкомъ, такъ сказать, наживное“ (Моск. Сборникъ, 1847, стр. 356). А вотъ теперь г. М... З... К... объявляетъ, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, монополію на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всѣми этими добродѣтелями? Гдѣ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями, доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, чтò дѣлалось литераторами для споспѣшествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дѣлалось не ими. Укажемъ на „Сельское Чтеніе“, издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ... Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе почему-то не очень ласково и не высоко цѣнятъ его; но не будемъ здѣсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дѣло въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютъ, сдѣлала чтò могла для народа и тѣмъ показала свое желаніе быть ему полезною, а они, славянофилы, ничего не сдѣлали для него“. Бѣлинскій ссылается потомъ на Даля, который принадлежалъ тогда къ „петербургской“ литературѣ и котораго мудрено было обвинить, что онъ не знаетъ и не любитъ русскаго народа, и т. д. [2]). Когда прошла пора „натуральной школы“, то сама критика, продолжавшая дѣло Бѣлинскаго, указала слабыя стороны этой

[1]) Славянофилы говорили о ней, что „она не обнаружила никакого сочувствія къ народу и такъ же легкомысленно клевещетъ на него, какъ и на общество“, и т. п.

[2]) Сочин., т. XI, стр. 252 и слѣд.

школы, но за ней нельзя и теперь отвергнуть большой литературной заслуги: критика Бѣлинскаго и солидарная съ ней школа повѣствователей окончательно утвердили и развили въ литературѣ начала, внесенныя Гоголемъ, и дали имъ сознательное значеніе. Для *того* времени, когда дѣятельность самихъ славянофиловъ, дѣйствительно, еще немного заявила себя внѣ полемики, слова Бѣлинскаго могли быть очень справедливы.

Другой писатель „западнаго" направленія (Герценъ), полемизируя съ „Москвитяниномъ", подъ псевдонимомъ Ярополка Водянскаго (въ статьѣ „Москвитянинъ и вселенная"), намекаетъ на одинъ фактъ отношеній славянофильства къ его противникамъ, по поводу стихотворенія Языкова „Сержантъ Сурминъ". „Кажется,—говоритъ Ярополкъ Водянскій,—успокоившаяся отъ суетъ муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубённое перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль искусства; пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати; это—громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указуетъ негодующимъ перстомъ *лица*—при полномъ изданіи можно приложить адресы!.. Исправлять нравы! что можетъ быть выше этой цѣли? развѣ не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ „Выжигиныхъ" и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?" Здѣсь идетъ рѣчь о томъ стихотвореніи Языкова, о которомъ разсказывается въ біографіи Чаадаева и Грановскаго; въ послѣдней упомянуты и другіе факты, въ которыхъ обнаруживались подобныя отношенія славянофиловъ и ихъ союзниковъ къ „западному" направленію [1]).

Но мнимый крайній европеизмъ Бѣлинскаго, въ сущности, вовсе не былъ такой крайній, какъ объ этомъ говорили и еще говорятъ. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно познакомиться ближе съ его понятіями, и не останавливаясь исключительно на нѣкоторыхъ особенно рѣзкихъ (или могущихъ казаться рѣзкими) выраженіяхъ, какія случаются у Бѣлинскаго, обратить вниманіе на спокойное изложеніе его понятій, какъ они сложились въ концѣ его дѣятельности [2])... По поводу славянофильскихъ заботъ о національности Бѣлинскій думаетъ, что эти заботы вовсе не

---

[1]) Погодинъ въ указанной выше статьѣ упоминаетъ объ этихъ отношеніяхъ темной фразой: „Бывали случаи и періоды *охлажденія между ними*, вслѣдствіе недоразумѣній или крайностей, которыя *другимъ казались опасными* и даже *вредными для дѣла* (?), въ данныхъ обстоятельствахъ". „Гражданинъ" 1873, № 11.

[2]) Таковы, напр., его обозрѣнія литературы за 1846 и 1847 годъ. Сочин., т. XI.

нужны, что гдѣ народъ имѣетъ дѣйствительныя внутреннія силы, ему нечего хлопотать о своей національности: она, какъ природа, будетъ проявляться сама собой. По мнѣнію его, славянофильскія мечтанія о древней Руси—чисто маниловская фантазія, что изъ нашей жизни невозможно вычеркнуть періодъ Петра Великаго,—потому что самый этотъ періодъ есть уже исторія, которая вошла въ нашъ національный характеръ. „Не объ измѣненіи того, что̀ совершилось безъ нашего вѣдома и что̀ смѣется надъ нашею волею, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшею насъ волею. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать *казаться* и начать *быть*, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшность принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно *человѣческое*, и на этомъ основаніи, все европейское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго, отвергать съ такой же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе нравы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европѣ, чтобъ сознавать наши потребности: и на основаніи того, что̀ уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что̀ намъ нужно" (XI, 23). Мнимая борьба человѣческаго съ національнымъ есть, въ сущности, только борьба новаго съ старымъ, современнаго съ отживающимъ. „Собственно говоря, борьба человѣческаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура, но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается чрезъ заимствованіе у другого, онъ тѣмъ не менѣе совершается національно. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имѣя въ себѣ силы перерабатывать ихъ самодѣятельностью собственной національности въ собственную же сущность,—тогда онъ гибнетъ политически" (XI, 39). Итакъ, хлопотать намѣренно о народности, наперекоръ европейскому, безполезно и ни къ чему не ведетъ; но эти толки имѣютъ свое основаніе,—именно въ пробудившемся желаніи изучить свою собственную дѣйствительность...

Причина фальшивыхъ понятій славянофильства о нашемъ настоящемъ лежала, по мнѣнію Бѣлинскаго, между прочимъ въ неправильной оцѣнкѣ Петра. Къ объясненію реформы онъ возвращался нѣсколько разъ и постоянно въ томъ смыслѣ, что Петръ не только не былъ враждебенъ національности, но есть

именно ея лучшій представитель. Таково было еще мнѣніе Чаадаева; теперь оно развивалось новыми соображеніями и у Бѣлинскаго, и у другихъ писателей „западнаго“ направленія. Одинъ изъ нихъ высказывалъ впослѣдствіи эту мысль въ такой рѣшительной формѣ: „Петровскій періодъ сразу сталъ *народнѣе* періода царей московскихъ. Онъ глубоко взошелъ въ нашу исторію, въ наши нравы, въ нашу плоть и кровь; въ немъ есть что-то необычайно родное намъ, юное; отвратительная примѣсь казарменной дерзости и австрійскаго канцелярства не составляетъ его главной характеристики. Съ этимъ періодомъ связаны дорогія намъ воспоминанія нашего могучаго роста, нашей славы и нашихъ бѣдствій; онъ сдержалъ слово и создалъ сильное государство. Народъ любитъ успѣхъ и силу“.

Въ спорахъ объ этомъ предметѣ славянофилы выиграли развѣ одно—они побудили смотрѣть строже на способы исполненія реформы; но сущность мнѣній Бѣлинскаго и его друзей останется гораздо вѣрнѣе исторіи, чѣмъ мнѣнія славянофильства. Что касается обвиненій въ пристрастіи къ реформѣ, какія продолжаются и до сихъ поръ, то очень часто Бѣлинскій оказывается виноватъ только въ томъ, что не былъ знакомъ съ тѣми документами и изслѣдованіями, какіе изданы были послѣ его смерти.

Не вполнѣ правы и тѣ обвиненія, которыя поднимаемы были противъ мнѣній Бѣлинскаго о народной поэзіи. Бѣлинскій, дѣйствительно, думалъ о ней далеко не такъ, какъ думаютъ теперь; онъ не восторгался ею безусловно, находилъ въ ней много грубаго и неизящнаго. Но обвиненія поднимаются вообще съ *позднѣйшей* точки зрѣнія на предметъ, тогда у насъ неизвѣстной. Существенной причиной новаго взгляда на народную поэзію было введеніе новыхъ пріемовъ изученія, которыхъ въ то время еще не было и которые притомъ не нами были и выдуманы. Бѣлинскій начинаетъ говорить о народной поэзіи съ тридцатыхъ годовъ; единственная большая статья его объ этомъ предметѣ написана въ 1841-мъ году. Главными авторитетами въ дѣлѣ русской народной поэзіи были тогда Сахаровъ, Снегиревъ, Макаровъ и т. п. Сахаровъ, имѣвшій самыя странныя понятія о предметѣ, самоучка, который не останавливался присочинять къ народной поэзіи собственные добавленія и орнаменты; Снегиревъ, некритичность котораго довольно извѣстна; Макаровъ, котораго теперь странно даже называть въ числѣ изслѣдователей и котораго, однако, и позднѣе 1841 года пускали даже въ серьезныя ученыя изданія (напр., въ „Чтенія“ московскаго общества). Даже Надеждинъ, человѣкъ обширной учености и съ несомнѣнными заслугами въ

русской археологіи и этнографіи, до послѣдняго времени былъ очень далекъ отъ тѣхъ понятій о русской народно-поэтической старинѣ, какія считаются правильными въ наше время. Бѣлинскій не занимался стариной, но зналъ то, что сдѣлано было тогдашними спеціалистами этого дѣла. Онъ не могъ видѣть въ различныхъ ея подробностяхъ того археологически-бытового значенія, какой открыли въ нихъ позднѣйшія изслѣдованія съ помощью сравнительнаго языкознанія, миѳологіи и археологіи, и судилъ о произведеніяхъ народной поэзіи по общимъ историческимъ даннымъ и по ихъ непосредственному смыслу и эстетическому впечатлѣнію въ данную минуту,—точка зрѣнія не полная, хотя эта послѣдняя сторона ея, въ свою очередь, напрасно совсѣмъ забывается современными изслѣдователями. Съ другой стороны, Бѣлинскій въ своихъ разсужденіяхъ объ этомъ предметѣ имѣлъ въ виду то, какъ отражались толки о народности на самой литературѣ. Онъ еще съ тридцатыхъ годовъ началъ высказываться противъ фальшивой и поверхностной погони за „народностью", справедливо обличалъ внѣшнія поддѣлки подъ народность, считая ихъ новаго рода романтической мишурой, а въ то время было очень много произведеній такого рода, гдѣ народность состояла въ подборѣ различныхъ народныхъ поговорокъ и прибаутокъ, въ трактирныхъ сценахъ, въ „маленько-мужицкомъ языкѣ", какъ выражался тогда „Маякъ", и пр., и гдѣ этой мнимо-народной внѣшностью одѣвалось самое немудреное, а нерѣдко вовсе пошлое мнимо народное содержаніе [1]). Въ томъ же смыслѣ Бѣлинскій не имѣлъ сочувствія къ тогдашней малороссійской литературѣ, которую также считалъ дѣломъ народно-романтической прихоти и моды. Въ самомъ дѣлѣ, по тогдашнимъ началамъ трудно было ожидать, чтобы малороссійская литература могла быть или стать достояніемъ и потребностью народа, средствомъ его образованія; а малорусской литературы въ болѣе широкомъ

[1]) Его взглядъ на литературную народность выраженъ еще въ статьѣ о повѣстяхъ Гоголя („Телескопъ", 1835; Сочин. I, 226). „Повѣсти г. Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться о ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно-художественнаго произведенія, если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно... Право, пора бы намъ перестать хлопотать о народности (въ 1835!), такъ же какъ пора бы перестать писать, не имѣя таланта, ибо эта народность похожа на „Тѣнь" въ баснѣ Крылова; г. Гоголь о ней нимало не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за нею, и ловятъ одну тривіальность".

объемѣ онъ не считалъ возможной, какъ не считаютъ ея возможной славянофилы и даже умѣренные украинофилы. По мнѣнію Бѣлинскаго, когда высшіе классы малорусскаго народа, лучшіе его таланты, какъ Гоголь, присоединялись къ русскому обществу и образованію, было бы напрасной тратой силъ стремиться къ основанію особой малорусской литературы: Гоголь не усумнился писать по-русски и прекрасно сдѣлалъ, потому что на малорусскомъ языкѣ не были бы возможны даже такія малорусскія повѣсти, какъ „Тарасъ Бульба", о другихъ нечего и говорить.

Словомъ, „народность" въ глазахъ Бѣлинскаго была высокимъ достоинствомъ, необходимымъ признакомъ истинно-художественаго произведенія, когда писатель дѣйствительно схватывалъ черты народнаго характера и языка; но всякая поддѣлка, подражавшая народности съ одной внѣшней стороны, оскорбляла въ немъ чувство художественности, какъ грубое малеванье, особенно когда съ этимъ внѣшнимъ подражаніемъ народности связывалась грубая поддѣлка подъ народный складъ мысли: такъ-называемий „квасной и кулачный" патріотизмъ, который выдавали и выдаютъ еще за самый народный, былъ ему въ высшей степени противенъ.

Ему не нравились и болѣе изысканныя поддѣлки подъ народный характеръ и народныя воззрѣнія, когда, напр., славянофильскіе поэты излагали въ стихотворной формѣ свои тенденціи. Такъ Бѣлинскій судилъ о стихотвореніяхъ Хомякова, въ которыхъ особенно много этой изысканной притязательности. Рядомъ съ Хомяковымъ, онъ очень вѣрно характеризовалъ и произведенія другого славянофильскаго поэта Языкова [1]).

Но, несмотря на то, что Бѣлинскій былъ однимъ изъ самыхъ крайнихъ представителей „западнаго" направленія, онъ относился къ славянофильству съ безпристрастіемъ, какого не оказывали ему противники его изъ этой школы. Онъ оспаривалъ ихъ мнѣнія о русской исторіи, цивилизаціи, національности, но, отдавая справедливость ихъ искреннему и самостоятельному убѣжденію, признавалъ, хотя относительную, но значительную пользу ихъ дѣятельности. Начало славянофильства Бѣлинскій видитъ въ мнѣніяхъ Карамзина. Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи новой. Вотъ источникъ такъ-называемаго славянофильства, которое мы, впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, въ свою

[1]) См. обозрѣніе русской литературы за 1844 г.; Сочин., т. IX.

очередь, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дѣтства литературы всѣхъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себѣ, то не имѣющіе никакого дѣльнаго примѣненія къ жизни. Такъ-называемое славянофильство, безъ всякаго сомнѣнія, касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится — это другое дѣло. Но прежде всего, славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны". Значеніе славянофильства Бѣлинскій считаетъ чисто-отрицательнымъ. „Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности, всѣми вмѣстѣ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія не въ томъ, что̀ они говорятъ противъ гніющаго будто бы Запада (Запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ), но въ томъ, что̀ они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ напр., что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно, отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски, и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени..." [1]). Бѣлинскій дѣлаетъ дальше весьма справедливыя замѣчанія о положительныхъ мнѣніяхъ славянофильства и вобще, въ обстоятельствахъ тогдашней литературы, очень вѣрно опредѣлялъ его значеніе. Также вѣрно онъ объяснялъ и мнимый крайній европеизмъ своего собственнаго направленія, тѣ „западные очки", которыми обыкновенно попрекали это направленіе.

„Важность теоретическихъ вопросовъ,—говоритъ онъ въ той же статьѣ,—зависитъ отъ ихъ отношеній къ дѣйствительности. То, что̀ для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ тамъ простыя истины

[1]) Сочиненія, XI, 20 и слѣд.

жизни, въ которыхъ никто не сомнѣвается, о которыхъ никто не споритъ и въ которыхъ всѣ согласны. И что всего лучше—эти вопросы рѣшены тамъ самою жизнію, или, если теорія и имѣла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дѣйствительности. Но это нисколько не должно отнимать у насъ смѣлости и охоты заниматься рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, потому что пока не рѣшимъ мы ихъ сами собою и для самихъ себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что они рѣшены въ Европѣ. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требуютъ другого рѣшенія. Теперь (1847) Европу занимаютъ новые великіе вопросы. Интересоваться ими, слѣдить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы, какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль донъ-Кихотовъ, горячась изъ-за него. Этимъ мы заслужили бы скорѣе насмѣшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, въ себѣ, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ — близость ея зрѣлости"...

Близкую зрѣлость литературы Бѣлинскій вообще видѣлъ въ обращеніи ея къ изученію русской дѣйствительности, и особенно явленій общественныхъ. Въ этомъ смыслѣ онъ усердно защищалъ отъ всякихъ нападеній „натуральную школу", которая въ первый разъ съ интересомъ и съ любовью стала изучать и изображать низшіе общественные классы. Это не нравилось въ особенности старымъ литературнымъ школамъ и извѣстному обширному слою общества, который, издавна, по прямымъ и косвеннымъ вліяніямъ крѣпостничества и чиновничества, привыкъ презирать „необразованнаго" мужика. „Что за охота наводнять литературу мужиками?" повторяетъ Бѣлинскій вопросъ людей этого рода и старается объяснить нравственное значеніе, религіозный долгъ и общественную необходимость участія и интереса къ низшимъ классамъ, „отъ которыхъ мы отворачиваемся, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ" [1]). „Посмотрите,—продолжаетъ онъ далѣе,—какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участью низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность

[1]) Сочин. IX, 340 и слѣд.

всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатыя вѣрными средствами общества, для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбѣжнаго слѣдствія—безнравственности и разврата... Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности... Но это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности? Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него". Въ другомъ мѣстѣ, Бѣлинскій защищаетъ это направленіе отъ другого упрека—въ утилитарности, и объясняетъ, что *общественная полезность* нисколько не мѣшаетъ *эстетическому достоинству* произведеній, что искусство въ этомъ отношеніи можетъ идти совершенно рядомъ съ наукой. „Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, *доказываетъ*, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, *показываетъ* въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба *убѣждаютъ*, только одинъ логическими доводами, другой — картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого—всѣ. *Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества* есть его собственное *благосостояніе*, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію — *сознаніе*, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука, и искусство равно необходимы"...

Такимъ образомъ выяснялась совершенно положительная цѣль литературы и истинный смыслъ, какой она должна имѣть въ жизни общества. Относительно современной ему литературы Бѣлинскій не былъ въ заблужденіи; онъ видѣлъ, что въ этомъ самомъ существенномъ отношеніи наша литература еще только

приближается къ своей зрѣлости, но что ея дальнѣйшее развитіе намѣчено, и успѣхъ развитія будетъ зависѣть уже только отъ внѣшнихъ условій, въ которыя она будетъ поставлена, отъ того, получитъ ли она необходимый просторъ. „Литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, *доступныхъ ея завѣдыванію*, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, тѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже *нашла*, нащупала, такъ сказать, *прямую дорогу* къ ней—а это великій успѣхъ съ ея стороны" (XI, 43).

Таковы были мнѣнія Бѣлинскаго, насколько они были тогда высказаны имъ *въ печати*. Основнымъ его желаніемъ, съ самаго начала и до конца, было — просвѣщеніе, въ европейскомъ или, точнѣе, общечеловѣческомъ смыслѣ. Его тяжело поражало невѣжество и забитость массъ, свѣтское невѣжество высшихъ классовъ, обскурантизмъ, возведенный въ систему, ничтожество общественной жизни. Въ одномъ просвѣщеніи онъ видѣлъ надежду на лучшее будущее. Съ теченіемъ его дѣятельности его мнѣнія все больше выяснялись; изученіе дѣйствительности, котораго онъ требовалъ отъ литературы, опредѣлялось все болѣе точно, какъ изученіе общественныхъ отношеній и стремленіе къ равному для всѣхъ благосостоянію. Отвлеченные идеалы стараго времени, идеалы истины, добра и красоты развились въ положительныя стремленія... Условія тогдашней литературы не давали Бѣлинскому возможности изложить сколько-нибудь полно свои понятія, —онъ излагалъ ихъ въ тѣхъ тѣсныхъ предѣлахъ, какіе доставляла литературная критика, единственная возможная форма тогдашней публицистики; но его понимали и въ этихъ предѣлахъ, и онъ имѣлъ чрезвычайно обширное нравственное вліяніе и въ литературѣ, и въ умахъ новыхъ поколѣній. Что было за этими предѣлами, т.-е., въ чемъ именно состояли общественныя мнѣнія Бѣлинскаго, объ этомъ въ свое время читатели догадывались; намъ это извѣстно теперь по разсказамъ современниковъ, близко его знавшихъ, и по тому немногому, что извѣстно изъ вещей, писанныхъ Бѣлинскимъ не для печати. Таково въ особенности письмо его къ Гоголю, по поводу „Переписки съ друзьями", почти единственный документъ этого рода. Это письмо—представляющее въ нашей литературѣ рѣдкій примѣръ открытой свободной рѣчи—замѣчательно въ высокой степени по энергіи чувства, какимъ оно проникнуто, и благородному отрицанію общественной

несправедливости. Это письмо должно быть въ памяти у всякаго, кто сталъ бы опредѣлять воззрѣнія Бѣлинскаго...

Въ томъ развитіи нашей литературы, наполняющемъ тридцатые и сороковые года, когда она не столько служила отголоскомъ массы общества, сколько упреждала его (по справедливому замѣчанію Бѣлинскаго), сколько дѣйствовала силами небольшого круга своихъ лучшихъ дѣятелей,—Бѣлинскому принадлежала своя обширная доля. Это не былъ человѣкъ ученый, и ему иногда не доставало свѣдѣній [1]), но, несмотря на то, онъ могъ занимать одно изъ господствующихъ мѣстъ въ литературѣ его направленія, въ которой, между прочимъ, дѣйствовали тогда нѣсколько людей съ замѣчательнымъ талантомъ и обширнымъ образованіемъ. Бѣлинскаго равняла съ ними и иногда ставила выше ихъ сила убѣжденія и увлекающее дѣйствіе на другихъ. Его большая заслуга состояла въ томъ, что его усиленныя и твердыя стремленія много содѣйствовали литературной дѣятельности этого круга сложиться въ опредѣленное направленіе. Въ частности, его заслуга была въ томъ, что онъ началъ настоящую критику въ русской литературѣ, распространилъ здравыя теоретическія понятія объ искусствѣ и много способствовалъ развитію той литературной школы, которая образовалась подъ вліяніемъ Гоголя и утверждалась на здравомъ изученіи дѣйствительной жизни.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Бѣлинскій былъ настоящимъ основателемъ исторіи русской литературы съ XVIII-го вѣка. Онъ положилъ конецъ тому безсистемному взгляду, при которомъ исторія литературы была только реестромъ произведеній и послужнымъ спискомъ писателей съ голословными одобреніями или порицаніями, и первый далъ исторіи литературы дѣйствительно историческій характеръ послѣдовательнаго развитія. Его эстетическія оцѣнки старыхъ и новыхъ писателей сохранютъ свою цѣну до сихъ поръ и не могутъ быть обойдены новой критикой. Позднѣе противъ Бѣлинскаго и въ этомъ отношеніи были подняты обвиненія, утверждавшія, что онъ дѣлалъ много ошибокъ, особенно вслѣдствіе того, что мало занимался чисто фактической стороной предмета и пренебрегалъ „преданіями", которыя именно помогли бы ему вѣрнѣе понять литературныя отношенія прежняго времени [2]). Подобныя

[1]) Въ этомъ онъ, конечно, уступалъ многимъ и изъ своихъ друзей, и изъ противниковъ,—послѣдніе не одинъ разъ этимъ его упрекали; должно сказать, однако, что, уступая противникамъ въ учености, онъ былъ гораздо болѣе *образованный* человѣкъ, чѣмъ, напр., писатели „Москвитянина". Притомъ, онъ и не брался за предметы чистой учености.

[2]) См., напр., „Р. Вѣстникъ", 1861, № 6. Но приведенные образчики ошибокъ Бѣлинскаго, напр., о Станкевичѣ, не принадлежатъ къ особенно важнымъ.

обвиненія повторились не разъ, и въ нихъ еще слышится отголосокъ другихъ обвиненій, которыя поднимали противъ Бѣлинскаго его враги изъ старыхъ литературныхъ партій,—что онъ не знаетъ „преданій“, а вмѣстѣ не уважаетъ и старыхъ писателей...

На эти обвиненія довольно сказать нѣсколько словъ. Дѣйствительно, внѣшняя фактическая сторона литературной исторіи у Бѣлинскаго разработана мало, даже совсѣмъ не затронута, но, во-первыхъ, не ее онъ имѣлъ въ виду, она была дѣломъ второй важности, когда нужно было прежде установить самую сущность историческаго вопроса, къ которой могла бы потомъ примкнуть фактическая разработка. Послѣдняя дѣйствительно и началась уже только послѣ того, какъ была выяснена сущность историческаго развитія. Правда, мало-по-малу эта разработка раскрыла много новыхъ подробностей, напр., именно указала много незамѣченныхъ прежде нитей, связывавшихъ литературу съ жизнью, и точнѣе выяснила постепенность развитія литературныхъ элементовъ, какъ напр., и тѣсную связь литературы пореформенной съ XVII вѣкомъ; но это была уже совсѣмъ иная сторона задачи. Бѣлинскій писалъ исторію *художественной литературы*, его точка зрѣнія была эстетическая, и здѣсь новая разработка прибавила очень немного, а въ тѣхъ изслѣдованіяхъ, на которыя направились теперь историки, литература принималась уже въ самомъ обширномъ смыслѣ, не только художественная, но и всякая, и новая исторія становилась исторіей уже не столько литературы собственно, сколько исторіей образованія, общественной жизни и нравовъ,—главный интересъ ея былъ культурный, а не художественный. Во-вторыхъ, пользоваться „преданіями“ было и не такъ удобно. Преданія, о которыхъ идетъ рѣчь, бываютъ, обыкновенно, въ буквальномъ смыслѣ преданія, изустные разсказы людей, близкихъ къ тѣмъ или другимъ лицамъ и фактамъ прошлой литературы. Пользоваться этими преданіями можно было бы только двумя путями: или, если бы сами обладатели преданій собрали и изложили ихъ, или же надо было добывать отъ нихъ эти преданія личными разспросами. Первое было бы самое естественное; но слишкомъ извѣстно, что наши владѣльцы преданій (въ тѣ времена) именно ничего не дѣлали въ этомъ отношеніи: въ началѣ это еще могло быть неудобно по близости времени, но они не сдѣлали этого и послѣ. Для примѣра довольно сказать, что обладатели преданій не дали біографіи ни Пушкина, отъ котораго сами получили большую долю своего заимствованнаго свѣта, ни Жуковскаго, который впослѣдствіи нашелъ біографа въ своемъ *нѣмецкомъ*, а не рус-

скомъ другѣ, ни Гоголя, біографія котораго составлена не близкимъ къ нему лицомъ. Только въ послѣдніе годы „преданія“ начинаютъ показываться, вызываемыя всего больше новыми изслѣдованіями,—но и то большей частью въ видѣ совершенно сырого матеріала, переписки и т. п. Личныя сношенія съ обладателями преданій не всегда удобны, а иногда совершенно невозможны. Извѣстно, напримѣръ, какъ относились къ Бѣлинскому друзья Пушкина, отъ которыхъ онъ будто бы „могъ“ получить свѣдѣнія о Пушкинѣ; думаемъ, напротивъ, что при той злобѣ, какую владѣльцы преданій питали къ Бѣлинскому, самая ихъ бесѣда была бы невозможна... Нельзя забыть и того, что, наконецъ, *ошибки*, въ которыхъ упрекаетъ Бѣлинскаго авторъ упомянутой статьи, вовсе не такъ крупны, чтобы заслонять достоинство его труда. Историческія и эстетическія положенія Бѣлинскаго, которыя въ свое время старымъ партіямъ показались настоящимъ святотатствомъ („Карамзинъ тобой ужаленъ, Ломоносовъ — не поэтъ“ и т. п.), уже вскорѣ стали господствующими понятіями, и чтобы должнымъ образомъ оцѣнить этотъ фактъ, надобно еще припомнить, что̀ представляла наша критика и исторія литературы *до* Бѣлинскаго.

Только черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Бѣлинскаго явилась первая возможность говорить о немъ въ литературѣ, назвать его имя... Первыя воспоминанія о Бѣлинскомъ и очеркъ дѣятельности „критика Гоголевскаго періода“ сдѣланы были уже новымъ литературнымъ поколѣніемъ. Эта оцѣнка, очень высоко ставившая Бѣлинскаго, внушена была сознаніемъ его непосредственнаго вліянія на развитіе новыхъ силъ, готовившихся дѣйствовать въ литературѣ, и эта оцѣнка была, безъ сомнѣнія, справедлива. Въ лучшей части образованнаго общества и литературы остается до сихъ поръ это отношеніе къ Бѣлинскому, какъ писателю, для котораго его дѣятельность была дѣломъ жизни, страстнаго убѣжденія и глубокаго патріотизма. Позднѣйшее поколѣніе начинаетъ требовательнѣе относиться къ Бѣлинскому—съ различныхъ точекъ зрѣнія,—указывало нѣкоторыя односторонности и крайности его мнѣній, но большей частью эти недостатки находятъ свое объясненіе и оправданіе въ условіяхъ времени, въ которое пришлась дѣятельность Бѣлинскаго, и въ свойствѣ тѣхъ насущныхъ вопросовъ, которые предстояло тогда разъяснять литературѣ. Между прочимъ, на Бѣлинскомъ отражались новѣйшіе толки о „людяхъ сороковыхъ годовъ“, и та недовѣрчивость, которая возникла отно-

сительно ихъ по сохранившимся образчикамъ того времени; видя, какъ очень многіе изъ этихъ послѣднихъ могиканъ „сороковыхъ годовъ“ не только не сохранили прежнихъ идеально-благородныхъ взглядовъ и стремленій, но возымѣли стремленія прямо противоположныя, теперь стали думать, что идеи сороковыхъ годовъ вообще были шатки и непрочны, если оканчивались подобнымъ результатомъ. Спрашивали, чѣмъ былъ бы самъ Бѣлинскій въ наше время, и предполагали, что, вѣроятно, и онъ не остался бы тѣмъ, чѣмъ былъ. Такіе вопросы вообще безполезны, но такъ какъ въ ихъ условной постановкѣ ищутъ нагляднаго объясненія дѣла, вводя въ нашу жизнь людей изъ „царства мертвыхъ“, то въ отвѣтъ на такой вопросъ мы привели бы слова одного современника той эпохи, человѣка, стоявшаго и тогда, и послѣ *въ другомъ лагерѣ*, чѣмъ Бѣлинскій, именно въ лагерѣ близкомъ къ славянофильству. Вотъ слова этого современника:

„Горячаго сочувствія стоилъ при жизни и стоитъ по смерти тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать всему благородному, прекрасному и великому. Безстрашный боецъ за правду, Бѣлинскій не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненіе взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется, онъ даже созданъ былъ такъ, что *натура его не могла устоять противъ правды*, какъ бы правда ни противорѣчила его прежнему взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала... Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ и, благодаря своему критическиму чутью, ошибался рѣдко. Также смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ утвердившимся мнѣніямъ, все, что казалось ему ложнымъ и напыщеннымъ, заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ не ошибался никогда... Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. Вполнѣ сынъ своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его... Если бы Бѣлинскій прожилъ до нашего времени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснѣть въ теоріи противъ правды искусства и жизни“ [1]).

---

[1]) Сочиненія Аполлона Григорьева, т. I, Спб., 1876, стр. 579.

X.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ предыдущемъ изложеніи далеко не исчерпана исторія литературныхъ мнѣній выбраннаго періода, обозначены только главнѣйшія черты этой исторіи, нѣкоторыя стороны едва затронуты; но существенный смыслъ литературнаго движенія уже сказывается и въ тѣхъ фактахъ, какіе были здѣсь приведены, если обратить вниманіе на связь явленій, на отношеніе литературы къ массѣ общества и на отношеніе литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ къ послѣдующему періоду.

Несомнѣнно, во-первыхъ, что ходъ литературы былъ послѣдовательный и прогрессивный, въ томъ смыслѣ, что чужія формы и навѣянные мотивы все больше устраняются, что литература все тѣснѣе примыкаетъ къ жизни, и содержаніе ея съ каждой новой ступенью становится глубже и серьезнѣе.

Въ двадцатыхъ годахъ еще сохраняются остатки старинной псевдо-классической школы, но господствуетъ романтизмъ, съ чужой формой и съ большимъ количествомъ чужого содержанія. Какъ литературная форма, нашъ романтизмъ былъ шагомъ впередъ противъ старой школы, но по понятіямъ общественнымъ онъ былъ въ сущности консервативенъ. Правда, пушкинская школа въ первое время была нѣсколько склонна къ политическому либерализму, отчасти подъ байроновскими впечатлѣніями, отчасти подъ вліяніемъ того круга, съ которымъ Пушкинъ въ молодости былъ дружески связанъ; но вскорѣ она покинула свои первыя увлеченія и мирилась съ данными формами жизни. За Пушкинымъ остается великая заслуга, что съ него начинается первая возможность истиннаго сближенія поэтической литературы съ жизнью, что въ немъ впервые масса общества находила дѣйствительнаго

поэта, который затронулъ долго глохнувшіе въ ней и не развивавшіеся поэтическіе интересы, что въ его поэзіи впервые явились вѣрныя черты народнаго быта, преданій и исторіи: въ художественномъ развитіи литературы, дѣятельность Пушкина стала эпохой. Но со стороны общественнаго содержанія пушкинская школа еще мало отдѣлилась отъ прежняго преданія и отличалась отъ него только тѣмъ, что, переживши свой періодъ увлеченій, познакомившись отчасти съ возможностью иныхъ взглядовъ, она хотѣла теперь являться сознательно-консервативной, хотѣла поддерживать свою точку зрѣнія какъ обдуманную, снабженную аргументами теорію, а въ понятіяхъ художественныхъ имѣла гораздо болѣе высокое, хотя еще очень отвлеченное, представленіе о нравственномъ достоинствѣ искусства.

Это былъ исходный пунктъ. Въ литературѣ уже скоро обнаруживается движеніе болѣе критическаго и прогрессивнаго характера, различными нитями связанное съ политическимъ либерализмомъ двадцатыхъ годовъ, или, точнѣе, съ тѣмъ общимъ настроеніемъ, изъ котораго этотъ либерализмъ произошелъ. Для политическихъ интересовъ въ разсматриваемомъ періодѣ, и особенно въ его началѣ, не было никакого мѣста; но въ образованнѣйшемъ литературномъ кругу укрѣплялось возникшее раньше стремленіе выяснить общественные принципы, усвоить обществу понятія европейской образованности и т. д. Продолженіемъ и отголоскомъ либерализма двадцатыхъ годовъ была, во-первыхъ, журнальная дѣятельность Полевого, которая въ свое время оставалась освѣжающимъ элементомъ въ наступившемъ глухомъ періодѣ общественности. Такимъ отголоскомъ былъ, во-вторыхъ, скептицизмъ Чаадаева. Наконецъ, болѣе отдаленнымъ, но очень живымъ отраженіемъ были упомянутыя нами прежде мнѣнія одного изъ московскихъ кружковъ въ тридцатыхъ годахъ (ранняго кружка Герцена), уже тогда принявшаго политическое направленіе. Но, независимо отъ этихъ болѣе или менѣе замѣтныхъ связей разсматриваемаго періода съ предыдущимъ, во всемъ составѣ литературы развивалась очевидная наклонность къ изученію общественныхъ отношеній, въ весьма различныхъ и, повидимому, не имѣвшихъ между собой никакой связи отношеніяхъ.

Новыя литературныя школы, образовавшіяся въ московскихъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, въ началѣ далекія отъ всякаго общественно-политическаго интереса и даже совершенно безучастныя къ нему, мало-по-малу къ нему приходили: очевидно было, что сознательная мысль общества, работа которой выразилась въ этихъ школахъ, съ какихъ бы отвлеченностей она

ни начинала, въ концѣ концовъ приходила сама собой къ тому, что̀ такъ или иначе становилось очереднымъ моментомъ развитія. Критика Бѣлинскаго, сначала теоретически и отвлеченно, потомъ въ самомъ реальномъ смыслѣ настаивала на необходимости изучать жизнь и дѣйствительность, и только въ ней находила истинное и глубокое содержаніе литературы. Съ „западнымъ“ направленіемъ согласны были въ этомъ и славянофилы. Обѣ школы различно оцѣнивали непосредственную дѣйствительность, но одинаково считали ея изученіе истиннымъ содержаніемъ литературы и одинаково видѣли свою цѣль въ развитіи общественнаго самосознанія; въ ихъ общественныхъ взглядахъ было сходно понятіе о неправильности многихъ существующихъ отношеній, напр., крѣпостного состоянія, о необходимости поднять народную массу нравственно и матеріально, о необходимости бо̀льшей свободы для науки и печатнаго слова и т. д.

Въ литературѣ ученой развиваются съ особенной силой интересы, которыхъ она до тѣхъ поръ почти не знала. Исторія, археологія и этнографія больше и больше обращались къ изученію народныхъ элементовъ. Любознательность археологическая и этнографическая мало-по-малу освѣщалась принципомъ болѣе широкимъ, чѣмъ прежде, переходила въ увлеченіе, въ пристрастіе ко всему народному; довольно поверхностное сначала, несвободное отъ странныхъ преувеличеній, это пристрастіе переходило въ сочувствіе къ народу въ общественномъ смыслѣ, въ такое же убѣжденіе о ненормальности его гражданскаго положенія и необходимости измѣнить это положеніе въ смыслѣ болѣе благопріятномъ для нравственнаго достоинства того „народа“, который былъ теперь упомянутъ даже въ оффиціальной программѣ русской жизни, и для развитія національнаго содержанія.

Наконецъ, параллельное явленіе того же рода происходило въ литературѣ поэтической, въ беллетристикѣ. Великое историческое значеніе Гоголя состояло въ томъ, что въ его произведеніяхъ впервые являлась картина живой непосредственной дѣйствительности, изображенная съ такою правдой и такъ ярко, какъ этого еще не бывало въ русской литературѣ. Какъ мы видѣли, по теоретическимъ понятіямъ, даннымъ его образованіемъ, Гоголь былъ вполнѣ человѣкомъ пушкинской школы, часто консервативныхъ мнѣній; но по геніальной отгадкѣ, данной его талантомъ, его картина, вѣрно схватившая пошлыя стороны жизни, ея бѣдность и вмѣстѣ испорченность, пріобрѣтала смыслъ, далеко превышавшій его собственныя теоретическія соображенія. Онъ самъ предчувствовалъ этотъ обширный смыслъ своего дѣла (это выска-

зывается въ извѣстныхъ „лирическихъ мѣстахъ" Мертвыхъ Душъ и во множествѣ его заявленій въ письмахъ къ близкимъ о своемъ высокомъ предназначеніи), но по своей точкѣ зрѣнія не могъ опредѣлить его правильно. Отсюда вышелъ извѣстный разладъ, отрицаніе Гоголемъ своихъ собственныхъ произведеній,—фактъ, печальный въ его личной исторіи, но характеризующій положеніе вещей. Критика и наиболѣе серьезные или впечатлительные люди общества извлекли изъ его произведеній тотъ выводъ, который не былъ ясенъ самому автору: къ этому выводу приводили серьёзныя наблюденія надъ жизнью, въ немъ соглашались понятія мыслящихъ людей. Этотъ выводъ былъ—ненормальное, подавленное состояніе русской жизни, бѣдность общественныхъ интересовъ, недостатокъ образованности, необходимость преобразованій, которыя подняли бы нравственный и умственный уровень, устранили бы общественную несправедливость, тяготѣвшую надъ громадною частью націи.

Литература съ различныхъ сторонъ приходила къ мысли о народѣ; она проникалась любопытствомъ и сочувствіемъ къ его исторіи, къ его настоящему; хотѣла сблизиться съ нимъ, и на первое время старалась ознакомиться съ нимъ по крайней мѣрѣ тѣми средствами, какія были для нея возможны... Это было возвращеніе тѣхъ же идей, какія одушевляли лучшихъ людей прежняго времени,—но идей, очищенныхъ и развитыхъ новыми изученіями: онѣ были теперь болѣе или совершенно независимы отъ вліяній европейскаго либерализма, были болѣе свободны отъ платонической романтики, направлялись на дѣйствительные вопросы народнаго блага, пріобрѣтали настоящій общественный смыслъ.

Такимъ образомъ, ходъ того направленія литературы, за которымъ мы въ особенности слѣдили въ настоящихъ очеркахъ, былъ весьма послѣдовательнымъ развитіемъ одной основной идеи— постепенно выроставшаго общественнаго сознанія, критики существующаго порядка вещей, интереса къ народной массѣ, какъ основанію національнаго цѣлаго. Все, что стояло внѣ этого направленія, не имѣло иного значенія, кромѣ значенія старой рутины, привычнаго продолженія отживавшихъ преданій; новыя стремленія представляли собой результатъ развитія, естественный и логически законный въ общественномъ отношеніи, и имъ принадлежало будущее. Здѣсь была *правда*, требованіямъ которой должно было быть дано удовлетвореніе, для того, чтобы просто возможно было дальнѣйшее развитіе, и общественное, и національное.

Къ сожалѣнію, необходимость удовлетворить новымъ потребностямъ общества была понята только тогда, когда на это указало и объ этомъ напомнило внѣшнее потрясеніе, толчокъ, данный Крымскою войною... Трудно сказать, сколько бы длилось прежнее положеніе вещей безъ этого внѣшняго толчка, — такъ какъ сознательное стремленіе къ преобразованію быта принадлежало передъ тѣмъ лишь незначительному меньшинству, не имѣвшему вліянія практическаго.

Въ самомъ дѣлѣ, внѣшнее положеніе новыхъ просвѣтительныхъ и преобразовательныхъ стремленій было въ томъ періодѣ очень незавидно. Литература, ихъ выражавшая, встрѣчала пониманіе и сочувствіе только въ незначительномъ *меньшинствѣ* общества; въ остальной его части видѣла она или невниманіе, или положительную вражду и преслѣдованіе.

Это обстоятельство имѣетъ весьма существенную важность для правильной оцѣнки тогдашняго состоянія общественной мысли и вообще образованности. Противъ этого меньшинства было то большинство, понятія котораго выражались системой оффиціальной народности. Мы видѣли выше общія черты этой системы и указывали отчасти, какимъ образомъ она относилась къ новому порядку идей. По своимъ основаніямъ система оффиціальной народности была не случайною принадлежностью одного извѣстнаго времени или частнымъ взглядомъ отдѣльныхъ лицъ, но именно была давно слагавшимся взглядомъ и выраженіемъ мнѣній огромнаго большинства общества: въ этомъ періодѣ они получили только извѣстную законченность, сведены были въ одно цѣлое. Это были понятія патріархальнаго общества, мало затронутыя реформой. Наслѣдіе еще до-петровской старины, онѣ идутъ черезъ все восьмнадцатое столѣтіе, до новаго времени, мало измѣняясь при новыхъ формахъ государственнаго управленія, при новыхъ обычаяхъ и нравахъ. Реформа Петра Великаго, которой принадлежитъ та заслуга, что въ ней были первые ростки дальнѣйшихъ умственныхъ успѣховъ, почти нисколько не измѣнила понятій объ отношеніяхъ общественныхъ. Петръ могъ ставить интересъ государства, силу закона выше собственнаго интереса и собственной силы, но общество привыкло къ личному господству и къ личному произволу власти. Петръ нашелъ государство деспотическимъ и такимъ же оставилъ его. Понятія общества остались неизмѣнны, хотя бы можно было ждать, что заявленная Петромъ мысль о преимуществѣ государственнаго интереса надъ личнымъ авторитетомъ получитъ свое значеніе, что заявленная имъ необходимость науки будетъ признана и наука будетъ оказывать свое

дѣйствіе на умы... Результатъ этого рода явился только довольно поздно.

Въ то время, о которомъ мы говоримъ, стали думать, однако, что петровская реформа уже совершила свой циклъ, что она исчерпана, что для русской жизни наступаетъ періодъ самобытности. Это была та новая мысль, которая проводилась въ системѣ оффиціальной народности и отличала послѣднюю отъ правительственныхъ взглядовъ прежняго времени. Мысль о томъ, что реформа завершалась, была, впрочемъ, распространена и внѣ этого. Такъ думали и люди, слѣдовавшіе системѣ оффиціальной народности, и люди новаго, критическаго направленія; только тѣ и другіе понимали это каждый по-своему. Первымъ казалось, что намъ нечему учиться у Европы собственно потому, что она преисполнена заблужденій и порчи умственной, нравственной и политической, и что начала нашей жизни, благочестивыя и патріархальныя, несравненно лучше и выше. Вторые думали, что намъ нельзя оставаться подражателями Европы потому, что и самимъ пора работать надъ началами ея цивилизаціи, примѣнить которыя къ нашей жизни можемъ только мы сами; что, усвоивая европейскую образованность, — высшую, какой только достигло человѣчество,—пора внести въ ея запасы и собственный нашъ вкладъ; по мнѣнію нѣкоторыхъ, этотъ вкладъ былъ уже и готовъ... Первые высказывали точку зрѣнія большинства и принадлежащаго ему уровня образованности: въ ихъ мнѣніяхъ отражалось то иногда грубое, иногда наивное высокомѣріе, съ какимъ тогда очень часто смотрѣли у насъ на западную Европу,— на основаніи того военнаго преобладанія, которое дѣйствительно тогда было и шаткости котораго еще не предвидѣли. Вторые выражали взглядъ меньшинства: онъ могъ быть относительно вѣренъ для тѣхъ немногихъ образованнѣйшихъ людей, которые стояли на уровнѣ европейской науки и могли относиться къ ней съ извѣстною самостоятельностью,—но онъ былъ до крайности ошибоченъ и неприложимъ къ массѣ общества...

На дѣлѣ, положеніе образованности было далеко не таково. Заимствованіе европейской образованности, которое подразумѣвали, говоря о реформѣ Петра, далеко не могло считаться дѣломъ завершоннымъ во второй четверти прошлаго столѣтія.

Въ теченіе XVIII-го столѣтія, какъ мы замѣтили, характеръ общественныхъ понятій почти нисколько не измѣнился. Измѣнились только внѣшнія формы. Прежде чѣмъ образованіе могло распространиться настолько, чтобы водворить иныя общественныя понятія, реформа, введенная принудительными средствами, только

укрѣпляла старыя формы власти и полную подчиненность общества; прежде, чѣмъ послѣднее могло уразумѣть образовательный смыслъ реформы (а по своимъ старымъ понятіямъ, оно не могло уразумѣть его скоро), оно было уже вынуждено къ принятію нововведеній; новыя административныя учрежденія развили, на мѣсто прежняго патріархальнаго подчиненія, казарменную и канцелярскую дисциплину; бюрократическое управленіе стало усиливаться все больше и захватило, наконецъ, всѣ отправленія общественной жизни и уничтожило послѣдніе остатки старыхъ порядковъ, гдѣ еще были нѣкоторые слѣды патріархальной свободы—хотя, напримѣръ, обязательная служба дворянства была единственнымъ вынужденіемъ къ нѣкоторому школьному ученію. Канцеляріи и въ своемъ подлинникѣ, которому у насъ подражали, не были учрежденіемъ благопріятнымъ для духа общественности; у насъ онѣ привели окончательное порабощеніе общества. Наука развивалась очень медленно; введенная какъ дѣло государственной надобности, она долго оставалась какъ будто только наружной приставкой къ русской жизни, въ видѣ „де-сіансъ“ академіи, члены которой также выписывались изъ-за границы, какъ выписывались разные другіе мастера, художники и ремесленники: выписанные академики естественно чувствовали себя чужими этому обществу, держались особымъ кружкомъ, и ихъ наука, собственно говоря, оставалась чужда русской жизни или пускала въ ней только рѣдкіе ростки. Мало-по-малу запасы образованія увеличивались; съ теченіемъ времени оно приносило свои ближайшіе плоды, когда еще въ первой половинѣ XVIII-го вѣка въ средѣ русскихъ людей стала прививаться научная любознательность и пытливость (Татищевъ, Ломоносовъ), но положеніе науки вовсе не было обезпечено, за ней не было признано самостоятельнаго права и необходимой для нея свободы: понятно, что въ области гуманистическихъ наукъ у насъ до самаго поздняго времени не было ни одного русскаго ученаго, который бы занялъ высокое положеніе въ наукѣ обще-европейской. При этомъ недостаткѣ собственной научной силы, наша наука все-таки должна была еще выдерживать отголоски европейскихъ реакцій, подвергаться преслѣдованіямъ, которыя были печальной ироніей, потому что преслѣдованіе падало на младенца, едва выходившаго изъ колыбели: таково было, напримѣръ, обскурантное преслѣдованіе университетовъ при Александрѣ I-мъ и проч. Главнымъ умственнымъ вліяніемъ оставалась европейская литература...

Словомъ, если принципъ науки и былъ допущенъ въ русскую жизнь реформой, то наука еще не заняла въ ней подобающаго

мѣста, ея осязательное вліяніе оказывалось только въ незначительномъ меньшинствѣ и не успѣло много измѣнить стараго характера общественныхъ понятій, господствовавшихъ въ массѣ.

Въ теченіе всего XVIII-го и нынѣшняго столѣтія исторія нашей образованности и съ нею литературы представляетъ картину крайней шаткости, неопредѣленности, боязливости и неполноты.

Государство развивалось почти исключительно; внѣшнія силы и объемъ его выростали съ каждымъ царствованіемъ; авторитетъ власти, наслѣдованный отъ полу-восточнаго московскаго царства, все усиливался. Отъ Европы государство прежде и охотнѣе всего приняло военное устройство и пріемы канцелярской администраціи; съ ихъ помощью оно стягивало національныя силы, которыя и пошли на внѣшнее укрѣпленіе государства, на завоевательныя войны. Прежде всего, и надолго усвоена чисто практическая сторона европейской образованности, которая нужна была для необходимой, конечно, цѣли—утвержденія государства,—а затѣмъ и цѣнилась почти исключительно только съ этой стороны. Общество играло роль чисто служебную, безъ всякихъ учрежденій, которыя давали бы ему какую-нибудь долю самодѣятельности. Государство поглощало въ себѣ всѣ національныя силы, матеріальныя и нравственныя...

На исключительное служеніе государству направилась и дѣятельность начинавшейся литературы. На первое время это было вполнѣ естественно и необходимо: литература, какъ выраженіе возникавшей общественной мысли, не могла не стать, совершенно искренно, на сторонѣ того авторитета, который выступилъ на борьбу съ невѣжествомъ,—могла, пожалуй, и не видѣть непригодности нѣкоторыхъ средствъ, какія были употреблены въ этой борьбѣ. За немногими исключеніями самостоятельной мысли, литература оставалась въ чисто служебномъ положеніи, въ соотвѣтствіи съ служебнымъ положеніемъ самой массы общества. Это послѣднее въ большинствѣ владѣло еще столь ограниченнымъ образованіемъ, жило въ столь патріархальныхъ нравахъ, что его не тревожили никакіе запросы—ни умственные, ни общественные. Долгое время литературѣ приходилось исполнять относительно этой массы только обязанности элементарнаго обученія; въ болѣе образованномъ меньшинствѣ умственные запросы также не были еще довольно сильны, и литература вращалась въ томъ же кругѣ идей: поэзія была торжественной одой и восхваленіемъ настоящаго; сатира, въ большой мѣрѣ только по чужимъ образцамъ, вооружалась противъ недостатковъ жизни, насколько это позволя-

лось, и молчала о всемъ томъ, что столько же или гораздо болѣе заслуживало бы сатиры, но о чемъ не смѣла и помыслить литература, какъ и самое общество.

Такъ продолжалось въ теченіе всего XVIII-го вѣка. Литература панегириковъ была безконечна: торжественная ода надолго установила тонъ, въ которомъ литература относилась къ общественнымъ событіямъ; литература привыкла говорить только по торжественнымъ случаямъ, восхвалять героическія добродѣтели и подвиги. Позднѣе сатира пробовала касаться болѣе серьёзныхъ предметовъ, но ей не было мѣста въ тогдашнихъ нравахъ; иногда ее останавливала сама власть, находившая неприличнымъ и дерзкимъ вмѣшательство литературы въ то, что считалось исключительно дѣломъ правительства; но иногда останавливало и само общество, нападавшее на „Ябеду", на „Ревизора" и т. д.

Къ сожалѣнію реформа Петра осталась въ сущности единственнымъ фактомъ, гдѣ авторитетъ съ энергіей дѣйствовалъ въ пользу образованія. Реформа внушала уваженіе позднѣйшимъ правителямъ, которые не могли не чувствовать, что на ней утверждалось новое возрастаніе Россіи, и не могли не преклониться передъ ея величіемъ; но сами они не были способны продолжать ее достойнымъ образомъ. Русская жизнь въ XVIII-мъ вѣкѣ уже не находила такого могущественнаго руководителя, какимъ былъ Петръ; въ правительственныхъ сферахъ движеніе продолжалось какъ будто только силой инерціи. То, что дѣлалось для образованія въ XVIII-мъ вѣкѣ, едва ли не былъ тотъ минимумъ, безъ котораго уже нельзя было обойтись...

Разъ возбужденная, русская образованность была почти предоставлена самой себѣ, но лучшія силы общества, хотя въ очень тѣсномъ кругу, съумѣли поддержать ее и дать ей серьезное развитіе: въ умахъ общества, какъ и въ литературѣ возникаетъ потребность критики и самостоятельной дѣятельности. Таково въ особенности литературное и общественное возбужденіе временъ Екатерины, отъ котораго идутъ уже осязательныя нити развитія до новѣйшаго времени. Но это критическое направленіе, повторяемъ, было дѣломъ меньшинства, исключеніемъ; а правиломъ было упомянутое отношеніе литературы къ общественному вопросу—служебное, панегирическое, консервативное, основанное на тѣхъ данныхъ, которыя вообще произвели систему оффиціальной народности. Эти данныя были—и авторитетъ власти, и преобладаніе внѣшней государственной дѣятельности, ослѣплявшей умы блескомъ и завоеваніями, и слабое развитіе умственныхъ интересовъ въ массѣ общества.

Итакъ, легко видѣть, что система оффиціальной народности—какъ мы находимъ ее во второй четверти нынѣшняго столѣтія—выростала естественно изъ долговременныхъ представленій самого авторитета и изъ долговременныхъ привычныхъ мыслей у большинства. Всѣ подробности системы легко развивались изъ общаго, господствовавшаго понятія о положеніи Россіи относительно Европы и изъ тѣхъ частныхъ обстоятельствъ, какія представлялись у насъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Характеристической чертой системы и вмѣстѣ большинства (въ противоположность направленію критическому) стало самомнѣніе, которому и не мудрено было придти къ мысли, что Петровскій періодъ нашего развитія, періодъ усвоенія европейскаго образованія кончился, что мы не только можемъ обойтись безъ Европы, но даже выше ея и по здравымъ началамъ нашего быта (патріархальный миръ и благочестіе съ одной стороны; революція и безбожіе съ другой), и даже по матеріальному благосостоянію (мы „кормили Европу" нашимъ хлѣбомъ и держали въ страхѣ нашей военной силой). При полномъ убѣжденіи въ вѣрности этого взгляда,—а оно развивалось легко, когда не допускалась критика,—очевидно, что другой взглядъ, который бы являлся съ какими-нибудь сомнѣніями относительно этихъ предметовъ, долженъ былъ встрѣчаться или пренебреженіемъ, какъ легкомысліе, или враждой и гоненіемъ, какъ злонамѣренность. Такъ въ самомъ дѣлѣ и относились люди господствующаго образа мыслей къ новымъ литературнымъ школамъ.

При такомъ отношеніи огромнаго большинства къ меньшинству, господствующаго образа мыслей ко взглядамъ, едва пролагавшимъ себѣ путь въ литературѣ, дѣйствительности къ теоретическому идеалу, не трудно видѣть, въ какомъ прискорбномъ заблужденіи находились обѣ теоріи новыхъ литературныхъ школъ, и славянофильской, и даже западной, когда онѣ съ своей стороны (каждая по-своему) также думали видѣть въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ завершеніе Петровскаго періода, находить въ настоящемъ готовую, въ принципѣ, самобытность русской цивилизаціи, уже достаточно воспринявшей начала европейскаго образованія, или даже открывать, какъ славянофилы, въ нашемъ настоящемъ бытѣ идею, далеко превосходящую то, что могла представить цивилизація Европы. Славянофилы, собственно говоря, еще могли спокойнѣе смотрѣть на окружающую дѣйствительность, которая въ сущности во многомъ была вѣрна семнадцатому вѣку; ея грубыя стороны они могли перетолковывать

благопріятнымъ образомъ и подкрашивать картину. Но для другой школы и это было невозможно.

Это заблужденіе литературныхъ школъ имѣло разныя причины. Во-первыхъ, критическая мысль, которая руководила ими—сколько волею, а болѣе того неволею—слишкомъ ограничивалась чисто теоретическими вопросами, и отъ нея ускользало реальное положеніе вещей. Гоголевскій періодъ показался западной школѣ, не безъ основанія, вступленіемъ литературы на прямую дорогу единства и согласія съ жизнью; но она преувеличила его значеніе и сочла его за весь искомый результатъ литературнаго развитія. Съ другой стороны, гдѣ для писателей этой школы становилась ясной общая бѣдность литературы, ограниченность ея дѣйствія на массу общества, гдѣ для нея самой были чувствительны внѣшнія препятствія, мѣшавшія ея успѣхамъ,—люди этого направленія какъ будто хотѣли уйти отъ тяжелаго сознанія, успокоиться отъ него на высотѣ своихъ теоретическихъ надеждъ и идеаловъ, хотѣли впередъ видѣть въ нихъ истинную русскую мысль, и, убѣжденные въ вѣрности добытыхъ теоретическихъ результатовъ, думали, что этими результатами уже теперь долженъ быть обозначенъ новый періодъ въ развитіи цѣлаго общества. Какъ будто они хотѣли обмануть себя „насъ возвышающимъ обманомъ" или, сознавая противорѣчіе, думали силой своего убѣжденія и вѣры объяснить и внушить другимъ свои стремленія. Они были правы, когда—относительно своего тѣснаго круга, собравшаго въ себѣ лучшіе умы и таланты тогдашняго общества,—считали пройденными извѣстныя ступени историческаго европейскаго развитія; но не были правы, когда не приняли въ разсчетъ, сколько времени еще потребуется для того, чтобы въ массѣ общества привились и распространились тѣ понятія, которыя отличали ихъ самихъ,—привились настолько, чтобы можно было признать за ними сколько-нибудь дѣйствительную силу. Бѣлинскій не видѣлъ того открытаго заявленія господствующихъ идей, которое выразилось рядомъ репрессивныхъ мѣръ съ 1848 г.; но другіе писатели этого круга должны были горько сознаться въ ошибкахъ своего прежняго довѣрчиваго идеализма.

Общественно-критическое направленіе двухъ передовыхъ школъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ было на дѣлѣ одиноко и безсильно противъ окружавшихъ его препятствій. Пересмотрѣвъ нѣсколько примѣровъ того, какъ относились къ литературѣ и новымъ стремленіямъ образованности завѣдывавшія ею власти, мы вмѣстѣ увидимъ и отношеніе большинства къ этой литературѣ, потому что упомянутыя власти выражали господствующія поня-

тія большинства, именно понятія системы оффиціальной народности.

Тѣ годы представляютъ множество столкновеній этого рода, которыя наглядно указываютъ, какъ въ самыхъ разнообразныхъ предметахъ критическое направленіе или просто малѣйшіе признаки самостоятельнаго вкуса и противорѣчія принятому взгляду встрѣчались съ недовѣріемъ, запрещеніемъ и преслѣдованіемъ.

Въ 1833 сдѣлался министромъ просвѣщенія Уваровъ, нѣкогда „арзамасецъ“. Въ апрѣлѣ 1834 подвергается запрещенію „Московскій Телеграфъ“, Полевого [1]), замѣчательнѣйшій журналъ своего времени, за *литературно-критическую* статью объ извѣстной пьесѣ Кукольника: „Рука Всевышняго отечество спасла“, статью, которая „дала поводъ нѣкоторымъ давнимъ врагамъ этого журнала прямо указать на него, какъ на органъ вредный и вольнодумный“. Журналъ былъ запрещенъ, и самъ Полевой съ жандармомъ привезенъ въ Петербургъ къ отвѣту.

Фактъ кажется прискорбнымъ, но мы упоминали выше, что кружокъ стараго „Арзамаса“ и друзья Пушкина были довольны. Жуковскій, съ сомнительной игрой словъ, былъ радъ, что Телеграфъ „запрещенъ“, хотя жалѣлъ, что его „запретили“. Правда, что статья о пьесѣ Кукольника была только поводомъ или последней каплей, переполнившей чашу, но чрезвычайно странно читать [2]) процессъ запрещенія въ совѣщаніи Уварова съ Бенкендорфомъ.

Въ издаваемомъ теперь дневникѣ А. В. Никитенка, въ параллель къ этому, записаны слова Уварова о томъ же предметѣ, въ высшей степени характеристичныя.

Въ 1834, подъ 5 апрѣля, Никитенко пишетъ:

„Московскій Телеграфъ“ запрещенъ по приказанію Уварова.

„Вездѣ сильные толки о „Телеграфѣ“. Одни горько сѣтуютъ, „что единственный хорошій журналъ у насъ уже не существуетъ“.

— По дѣломъ ему,—говорятъ другіе:—онъ осмѣливается бранить Карамзина. Онъ даже не пощадилъ моего романа. Онъ либералъ, якобинецъ—извѣстное дѣло и т. д., и т. д.“

---

[1]) Еще ранѣе были случаи запрещенія (въ 1830 г.) „Литературной Газеты“, столь извѣстнаго въ свое время изданія барона Дельвига, за напечатаніе *переводнаго четверостишія* въ память іюльскихъ дней во Франціи, и запрещеніе „Европейца“, журнала Ив. Кирѣевскаго. По словамъ г. Бартенева, Дельвигъ „погибъ“ за эти четыре стиха объ іюльской революціи (Дельвигъ умеръ въ томъ же 1830 году). „Р. Арх.“ 1872, стр. 2025. Подробности этого обстоятельства еще не были, кажется, разсказаны въ литературѣ.

[2]) Приведенный у Сухомлинова, „Изслѣдованія и статьи“, т. II.

Подъ 9 апрѣля Никитенко продолжаетъ: „Былъ сегодня у министра... Министръ долго говорилъ о Полевомъ, доказывая необходимость запрещенія его журнала.

— Это *проводникъ революціи*,—говорилъ Уваровъ,—онъ уже нѣсколько лѣтъ систематически распространяетъ разрушительныя правила. Онъ не любитъ Россіи. Я давно уже наблюдаю за нимъ; но мнѣ не хотѣлось вдругъ принять рѣшительныхъ мѣръ. Я лично совѣтовалъ ему въ Москвѣ укротиться и доказывалъ ему, что наши аристократы не такъ глупы, какъ онъ думаетъ. Послѣ былъ сдѣланъ ему оффиціальный выговоръ: это не помогло. Я сначала думалъ предать его *суду*: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить съ публикою—это правительство всегда властно сдѣлать и притомъ на основаніяхъ вполнѣ юридическихъ, ибо въ правахъ русскаго гражданина *нѣтъ права обращаться письменно къ публикѣ*. Это привилегія, которую правительство можетъ дать и отнять, когда хочетъ.

— Впрочемъ,—продолжалъ онъ,—извѣстно, что у насъ есть партія, жаждущая революціи. Декабристы не истреблены; Полевой хотѣлъ быть органомъ ихъ. Но да знаютъ они, что найдутъ всегда противъ себя твердыя мѣры въ кабинетѣ государя и его министровъ. Съ Гречемъ и Сенковскимъ я поступилъ бы иначе: они трусы, имъ стоитъ пригрозить гауптвахтой, и они смирятся. Но Полевой, я знаю его: это фанатикъ. Онъ готовъ претерпѣть все за идею. Для него нужны рѣшительныя мѣры. Московская цензура была непростительно слаба“ [1]).

Эти слова чрезвычайно ярко характеризуютъ все положеніе литературы. Можно представить себѣ ту „революцію“, которую готовилъ Полевой въ Москвѣ въ 1830 годахъ и противъ которой понадобились такія экстренныя мѣры; можно представить также, каковъ могъ быть въ тѣ времена „судъ“ надъ журналомъ. Литература оказывается вообще не естественнымъ выраженіемъ умственныхъ и поэтическихъ стремленій общества и народа, а привилегіей, даваемой изъ снисхожденія и которая всегда можетъ быть отнята, потому что въ „правахъ“ русскаго гражданина нѣтъ права „обращаться письменно къ публикѣ“.

Въ 1836 произошло извѣстное запрещеніе „Телескопа“, Надеждина, за напечатаніе „Философическаго письма“ Чаадаева. Извѣстно, и самъ Чаадаевъ признавалъ, что мѣра, принятая противъ него, была почти мягкой въ сравненіи съ тѣмъ ожесточеніемъ, съ какимъ приняла статью въ первую минуту московская

---

[1]) „Русская Старина“, 1889, августъ, стр. 281—282.

публика. Послѣдняя шла въ своей нетерпимости дальше, чѣмъ самыя власти.

Въ 1842 году самъ Кукольникъ, столь высоко цѣнимый, подвергся строгому выговору за повѣсть изъ Петровскихъ временъ „Сержантъ Ивановъ, или всѣ за одно", гдѣ отыскано было „желаніе выказать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую—его двороваго человѣка"; самое сочиненіе названо въ выговорѣ „ничтожнымъ". Повидимому, только усердныя извиненія Кукольника сняли съ него немилость начальства [1]).

Множество случаевъ подобнаго рода, крупныхъ и мелкихъ, происходило раньше и позже. Укажемъ нѣсколько примѣровъ—съ людьми, которыхъ благонамѣренность не могла бы подлежать сомнѣнію. Въ 1832 году вышли „Русскія сказки" извѣстнаго Даля. Книжка была захвачена, и авторъ арестованъ, потому что въ одной сказкѣ открыли какіе-то намеки, которыхъ, вѣроятно, вовсе не было. Впослѣдствіи изданіе его „Пословицъ", уже въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, встрѣтило сначала большія цензурныя затрудненія; цензурныя опасенія относительно ихъ ощутилъ даже одинъ изъ членовъ русскаго отдѣленія академіи наукъ. „Пословицы" Даля изданы были уже въ позднѣйшее время, безъ всякой опасности для народной нравственности.

Мы упоминали прежде, какъ тѣ же условія тяжело подѣйствовали на дѣятельность И. В. Кирѣевскаго, журналъ котораго „Европеецъ" (1832) прервался на второй книжкѣ, по подозрѣніямъ въ крайнемъ либерализмѣ; какъ въ сороковыхъ годахъ Кирѣевскій затруднялся простымъ изданіемъ своего сборника пѣсенъ, невинность которыхъ надо было доказывать. Извѣстны болѣе или менѣе различные случаи подобнаго рода, происходившіе съ другими славянофильскими писателями, Хомяковымъ, И. С. Аксаковымъ и пр.

Гоголь также не избѣгъ неудобствъ цензурныхъ. „Мертвыя Души", проходя черезъ цензуру, потеряли небольшой кусокъ, который только впослѣдствіи былъ присоединенъ къ собранію его сочиненій. „Переписка" потеряла цѣлый рядъ писемъ, напечатанныхъ уже только въ 1867 г.

Когда-нибудь вѣроятно собраны будутъ подробности о томъ, какъ дѣйствовали тѣ же условія на такъ-называемую художественную литературу, на „свободное творчество", на „искусство для искусства". Но извѣстно вообще, что „свобода творчества", о которой такъ много заботилась наша художественная критика,

---

[1]) „Р. Старина" 1871, III, 793—794.

была, къ сожалѣнію, нерѣдко слишкомъ фиктивной, какъ это показываютъ довольно и нѣкоторые изъ приведенныхъ сейчасъ примѣровъ [1]). Этого обстоятельства до сихъ поръ не оцѣнила достаточно ни исторія нашей литературы, ни художественная критика, такъ горячо защищающая свободное искусство.

Дѣятельность того литературнаго круга, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, была въ особенности подвергнута недовѣрчивому надзору. Въ примѣръ укажемъ нѣсколько случаевъ, извѣстныхъ относительно Грановскаго и дающихъ понятіе о положеніи вещей. Грановскій, изъ всѣхъ писателей того круга, въ особенности отличался тою ровною мягкостью и тактомъ, которые могли бы внушить довѣріе къ его профессорской и литературной дѣятельности; но и эти свойства не спасали его отъ подозрѣній и стѣсненій,—и главное, эти подозрѣнія шли не отъ однихъ только руководящихъ властей: многое, стѣснявшее дѣятельность Грановскаго, исходило даже отъ людей той самой университетской среды, которой онъ принадлежалъ, отъ людей общества, большинству котораго не были ни понятны, ни сочувственны его стремленія.

Уже вскорѣ послѣ того, какъ Грановскій основался въ Москвѣ, онъ сталъ пріобрѣтать ту извѣстность и популярность, которыми онъ пользовался потомъ въ кругу слушателей и образованнаго общества. Въ 1843 году онъ читалъ публичный курсъ, сопровождавшійся небывалымъ успѣхомъ. Но „профессорскому поприщу Грановскаго среди успѣховъ уже грозила опасность (въ 1843 году),—замѣчаетъ его біографъ. Оно было до того непрочно, что онъ уже вынужденъ былъ помышлять о перемѣнѣ службы". Въ письмѣ къ одному изъ друзей онъ сообщаетъ, что отъ него требовали апологій и оправданій въ видѣ лекцій: „реформація и революція должны быть излагаемы съ *католической* (!) точки зрѣнія и какъ шаги назадъ. Я предложилъ не читать вовсе о революціи. Реформаціи уступить я не могъ. Что же бы это была за исторія?.."

Въ эту пору оживленной дѣятельности, Грановскаго сильно занимала мысль издавать съ своими друзьями журналъ. Онъ подалъ (въ іюнѣ 1844) просьбу о разрѣшеніи ему издавать жур-

[1]) Въ пятидесятыхъ годахъ, въ числѣ появившейся тогда рукописной литературы, была небольшая, довольно остроумно написанная статья, которая ходила съ именемъ Погодина, и гдѣ было собрано много любопытныхъ примѣровъ цензурной практики сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ. См. еще „Очерки изъ исторія цензуры", г. Скабичевскаго, въ „Отеч. Запискахъ" за ихъ послѣдніе годы.

налъ „Ежемѣсячное Обозрѣніе“. Отвѣтъ послѣдовалъ только въ 1845 году; онъ былъ краток и ясенъ: „не нужно“.

Въ кругу „интеллигенціи“ Грановскій и его друзья встрѣчали не одно противорѣчіе мнѣній, но настоящую вражду, которая могла вліять и на ихъ общественное положеніе. Въ мартѣ 1845 Грановскій пишетъ къ одному изъ друзей, „обо мнѣ кричатъ, что я интриганъ и тайный виновникъ всѣхъ оскорбленій, какія наносятся славянству“ (рѣчь идетъ вѣроятно о разныхъ университетскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ), что эти обвиненія распространяются и на его друзей, что, напримѣръ, Бѣлинскаго обвиняютъ въ томъ, что онъ своими статьями подрываетъ народность (?), семейную нравственность и православіе. Въ письмѣ къ Кирѣевскому, сохранившемся въ бумагахъ Грановскаго, онъ съ „необычайнымъ раздраженіемъ“, по словамъ біографа, говоритъ объ отношеніяхъ къ нему его учено-литературныхъ противниковъ, именно „большей части сотрудниковъ Москвитянина“,—по милости которыхъ отчасти онъ „ославленъ врагомъ церкви и Россіи“... [1]).

Подобныя столкновенія приходилось испытывать также Бѣлинскому и другимъ писателямъ этого круга. И опять должно сказать, что не только руководящія власти высказывали подозрительность къ нему, или принимали репрессивныя мѣры противъ лицъ этого круга, но въ самомъ обществѣ, въ другихъ литературныхъ партіяхъ, не только партіяхъ, ничтожныхъ по своему умственному и нравственному характеру, но и въ настоящей „интеллигенціи“, эти писатели встрѣчали вражду чисто обскурантнаго свойства. Одна независимость мысли, одно нѣсколько послѣдовательное проведеніе критическаго взгляда на жизнь были достаточны для того, чтобы этимъ писателямъ была придана репутація, въ нашихъ условіяхъ самая неблагополучная. Иногда почти трудно сказать, кто шелъ впереди въ этихъ инкриминаціяхъ литературы, недовѣрчивыя ли власти, или неразумная публика. Въ 1848-мъ году, когда умеръ Бѣлинскій, друзья его находили, что онъ умеръ во-время.

Такъ поставлена была литература художественная, историческая и критическая. Практическіе общественные вопросы почти не находили мѣста въ литературѣ иначе—какъ въ видѣ повторенія оффиціальныхъ свѣдѣній, или въ видѣ безусловнаго панегирика; допускались только предметы, которые самимъ властямъ казались индифферентными. Нѣсколько примѣровъ покажутъ, до

[1]) Біографія Грановскаго, стр. 142, 143, 148 и проч.

какихъ размѣровъ доходило обязательное молчаніе литературы объ этихъ предметахъ.

Въ 1829-мъ одинъ изъ петербургскихъ цензоровъ былъ выдержанъ 8 дней на гауптвахтѣ за пропущеніе статьи объ упадкѣ питейныхъ сборовъ въ Курской губерніи.

Въ 1841-мъ извѣстный академикъ Кеппенъ напечаталъ статейку подъ названіемъ „Почтовыя сообщенія“, которая возбудила негодованіе управлявшаго почтовымъ вѣдомствомъ князя Голицына (извѣстнаго министра народнаго просвѣщенія при Александрѣ I). Онъ жаловался Уварову на дерзость Кеппена—входить въ разборъ „коренныхъ почтовыхъ законовъ“ и осуждать дѣйствія почтоваго управленія. „Это—попытка того либеральнаго духа западной Европы (!), который стремится подвергать дѣйствія правительства контролю свободнаго книгопечатанія... Кеппенъ и теперь уже возглашаетъ въ той же статьѣ: наступаетъ и для насъ время развитія силъ народныхъ!...“

Въ 1845-мъ явилась статейка о строившейся тогда московской желѣзной дорогѣ. Управляющій путей сообщенія, „нисколько не порицая ея содержанія, вполнѣ благонамѣреннаго, испросилъ однакожъ высочайшее повелѣніе, чтобъ впредь ничего не печаталось объ этомъ предметѣ безъ его предварительнаго одобренія“.

Въ 1828-мъ дана была льгота литературѣ: разрѣшено было печатать разборы театральныхъ пьесъ, что прежде совершенно не допускалось, такъ какъ актеры считались людьми, состоявшими на службѣ, и сужденіе объ ихъ достоинствахъ или недостаткахъ принадлежало только ихъ начальству. Печатаніе этихъ разборовъ должно было, впрочемъ, происходить съ разрѣшенія начальника III-го отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи.

Сужденія о „политическихъ видахъ“ правительства съ 1826 г. были строжайше запрещены всѣмъ изданіямъ, кромѣ тѣхъ сужденій, которыя заимствуются изъ оффиціальныхъ изданій, академической газеты и „Journal de St-Pétersbourg“, издаваемаго при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ; потомъ къ этимъ газетамъ присоединена была „Сѣверная Пчела“, куда политическій отдѣлъ доставляемъ былъ изъ одного оффиціальнаго вѣдомства.

Въ началѣ описываемаго періода изданъ былъ, въ 1826 году, уставъ, изготовленный адмираломъ Шишковымъ; въ 1828 этотъ уставъ былъ замѣненъ другимъ, нѣсколько болѣе снисходительнымъ. Но и послѣдній, какъ мы видѣли, былъ достаточно стѣснителенъ и сохранилъ, кромѣ главной, нѣсколько спеціальныхъ цензуръ; именно: духовную цензуру—для книгъ духовнаго содержанія; цензуру медицинскаго вѣдомства—для лечебниковъ;

цензуру III-го отдѣленія—для театральныхъ пьесъ, и наконецъ цензуру особаго спеціальнаго комитета—для разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ.

Вскорѣ къ этимъ различнымъ цензурамъ присоединились новыя спеціальныя цензуры — министерства финансовъ, военнаго, двора—по тѣмъ предметамъ, которые касались этихъ вѣдомствъ. Впослѣдствіи такое же отдѣльное право предварительнаго цензурнаго просмотра книгъ и статей дано было управленію военно-учебныхъ заведеній, кавказскому комитету, II-му отдѣленію собственной канцеляріи, археографической коммиссіи (!), главному попечительству дѣтскихъ пріютовъ, петербургскому оберъ-полиціймейстеру, управленію государственнаго коннозаводства и президенту академіи наукъ. Наконецъ, то же право предоставлено было еще и другимъ вѣдомствамъ.

Въ министерство Уварова установились и другія стѣсненія литературы. Разрѣшеніе новыхъ журналовъ было до чрезвычайности затруднено; у ученыхъ обществъ отнято было издавна присвоенное имъ право—самимъ цензировать свои изданія, и проч.

Общій результатъ всѣхъ этихъ мѣръ не могъ быть благопріятенъ для литературы. Это рѣзко выразилось даже чисто внѣшнимъ образомъ. Число книгъ уменьшилось: оно чрезвычайно упало по отдѣламъ философіи и естествознанія и возвысилось только по предметамъ чисто практическаго свойства—по сельскому хозяйству и юридическимъ наукамъ; по отдѣлу періодическихъ изданій размножились только изданія хозяйственно-промышленныя, медицинскія и модныя, и уменьшилось число изданій учено-литературныхъ. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ, за 1833—1847 годы, средняя годовая цифра выходившихъ книгъ, разсчитанныхъ по пятилѣтіямъ, понизилась съ 10,365, въ началѣ этого періода, до 9,158 въ концѣ его.

Этотъ результатъ самъ по себѣ довольно удивителенъ, потому что надо же предполагать, что съ теченіемъ времени все-таки возростала любовь къ чтенію, увеличивалось число образованныхъ и читающихъ людей; можно бы было предполагать, что по крайней мѣрѣ не упадетъ общая численность выходящихъ книгъ, каковы бы ни были ихъ содержаніе и внутренняя цѣнность. Но если одинъ подобный результатъ показывалъ, какъ трудны были внѣшнія условія литературы до 1848 года, то условія эти стали еще труднѣе въ послѣдующіе годы. Новыя стѣснительныя мѣры приведены были европейскими событіями 1848—49-хъ годовъ. Къ удивленію, у насъ нашли возможнымъ распространять на русское общество тѣ опасенія, какія пробудило революціонное

движеніе въ западной Европѣ, и даже сочли нужными немедленныя и рѣшительныя мѣропріятія для противодѣйствія предполагаемымъ вреднымъ идеямъ. Цензура, и прежде достаточно строгая, дошла до послѣдняго предѣла суровости въ дѣйствіяхъ такъ-называемаго комитета 2-го апрѣля 1848, который явился высшимъ контролемъ надъ дѣйствіями цензуръ обыкновенныхъ. Литература была обезличена, лишена содержанія — насколько возможно. Къ прежнимъ ограниченіямъ, исключавшимъ изъ ея области разнообразные общественные вопросы, присоединились новыя запрещенія. Нечего говорить о томъ, что невозможны были ни малѣйшія упоминанія о европейскихъ событіяхъ, кромѣ тѣхъ, какія являлись въ оффиціальныхъ изданіяхъ и „Сѣверной Пчелѣ", что современная исторія была вообще закрыта отъ литературы,— запрещенія распространились и на такіе предметы, гдѣ они были совершенно неожиданны и гдѣ на первый взглядъ трудно объяснить себѣ ихъ мотивъ. Такъ, напримѣръ, являлись запрещенія писать о древнихъ правахъ и обычаяхъ русскаго народа,—вслѣдствіе чего долженъ былъ прекратиться „Этнографическій Сборникъ", важное изданіе, тогда начатое Географическимъ Обществомъ; запрещено было касаться смутныхъ эпохъ древней русской исторіи, какъ, напр., періодъ междуцарствія, эпохи народныхъ волненій и т. д. Выраженіе даже чисто литературныхъ мнѣній бывало не безопасно, какъ случилось, напр., съ Тургеневымъ въ 1852, вслѣдствіе написанной имъ газетной статьи о Гоголѣ.

Параллельно съ этимъ, столько же мѣръ предосторожности найдено было нужнымъ принять противъ учебныхъ заведеній. „Въ 1849-мъ году возникли слухи о предстоящемъ закрытіи университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Дворянскій институтъ въ Москвѣ былъ дѣйствительно закрытъ. Число студентовъ и вольныхъ слушателей въ каждомъ университетѣ должно было ограничиться тремя стами. Плата за слушаніе лекцій была возвышена. Издавались строгія инструкціи для способа преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ и надзора за нимъ. Профессора университетовъ должны были представлять подробныя программы своихъ лекцій для предварительнаго просмотра со стороны начальства"... „Московскій университетъ обращалъ на себя подозрительное вниманіе. Собирались свѣдѣнія о его преподавателяхъ, объ ихъ образѣ мыслей, ихъ лекціяхъ, о настроеніи и духѣ университетскаго юношества... ходили уже слухи о предстоящемъ закрытіи университета" [1]). Даже Уваровъ, управленіе

[1]) Біогр. Гран., стр. 238—239, 242—243, и друг. Ср. напечатанные въ послѣднее время нѣкоторые документы изъ того времени, каковы, напримѣръ, распоряже-

котораго, какъ мы видѣли, нельзя было обвинить въ недостаточности надзора за литературой и настроеніемъ умовъ, счелъ нужнымъ удалиться изъ министерства.

Въ современной литературѣ, существовавшей въ такихъ условіяхъ, мы, понятно, не найдемъ никакого отголоска на это положеніе вещей. Тяжелое время отзывалось для внимательнаго наблюдателя въ крайней безсодержательности литературы, а съ другой стороны въ мрачныхъ поэтическихъ мотивахъ, въ рядѣ типовъ, какъ „Гамлеты щигровскаго уѣзда", „лишніе люди" и т. п., въ отдаленныхъ намекахъ, понятныхъ только посвященнымъ. Только впослѣдствіи, съ новаго царствованія, стала высказываться вся тягость пережитого общественнаго положенія. Мы упоминали, что около половины пятидесятыхъ годовъ, еще въ концѣ царствованія импер. Николая, стала распространяться рукописная литература, составившая первое зерно развившейся потомъ публицистики и гдѣ, между прочимъ, бывали замѣчательныя характеристики тогдашняго порядка вещей [1]). Другіе отголоски и картины времени остались въ мемуарахъ и дневникахъ той эпохи, выходящихъ теперь изъ-подъ спуда. Въ высокой степени любопытны въ этомъ отношеніи многіе эпизоды въ издаваемомъ нынѣ дневникѣ А. В. Никитенка. Извѣстенъ характеръ этого писателя: ни въ дѣятельности, ни въ сочиненіяхъ его не было тѣни какого-нибудь особаго либерализма; это былъ человѣкъ умѣреннаго образа мыслей, но понимавшій неотложную необходимость просвѣщенія; въ то время, когда писалъ онъ приводимыя ниже строки, онъ самъ былъ цензоромъ. Онъ говоритъ о тридцатыхъ годахъ, когда съ особеннымъ удареніемъ были высказываемы взгляды въ духѣ оффиціальной народности, и поражается тѣмъ внутреннимъ противорѣчіемъ, какое было въ понятіяхъ этой системы о просвѣщеніи. „На что заводить университеты?"—спрашивалъ Никитенко. Въ то время посылалось двадцать молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ—„а что они будутъ дѣлать тутъ, возвратясь со своими познаніями, съ благороднымъ стремленіемъ озарить свое поколѣніе свѣтомъ истины?" Онъ вспоминаетъ времена Магницкаго и Рунича, но и взгляды 1830-хъ годовъ мало чѣмъ отъ нихъ отличаются [2]).

ніе Бутурлина (предсѣдательствовавшаго въ комитетѣ 2 апрѣля) отъ 5 мая 1848 въ „Русской Старинѣ", 1872, V, стр. 784; инструкція ректорамъ и деканамъ факультетовъ, 24 октября 1849,—тамъ же VI. 448, и проч.

[1]) Мы назвали выше одну подобную записку, посвященную тогдашней цензурѣ и ходившую по рукамъ съ именемъ самого Погодина.

[2]) „Апрѣля 4. Третьяго дня я читалъ попечителю мою вступительную лекцію:

Въ этихъ замѣткахъ, писанныхъ въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ, въ высокой степени любопытны, наконецъ, указанія на нравственное состояніе общества, приводимое тогдашней системой; эти указанія подтвердились всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ нашей общественности подъ вліяніемъ режима оффиціальной народности. Никитенко уже въ то время отмѣчаетъ нравственный упадокъ: отсутствіе всякаго дѣйствительнаго общественнаго мнѣнія, выражавшееся полнымъ недопущеніемъ какой-либо гласности, и слѣдовательно полное владычество канцелярскаго произвола подъ покровомъ тайны, при крайнемъ распространеніи лихоимства. Строгая охрана крѣпостного права, продажный судъ и т. д., должны были оказывать свое дѣйствіе развитіемъ эгоистическихъ интересовъ: Никитенко прямо говоритъ объ исчезновеніи обществолюбія и человѣколюбія. Онъ объясняетъ безвыходное положеніе людей, проникнутыхъ стремленіемъ къ самопознанію,—и указываетъ, въ чемъ заключалось дѣйствительное „отторженіе отъ почвы", о ко-

„О происхожденіи и духѣ литературы", которую отдаю въ печать. Онъ совѣтовалъ мнѣ вычеркнуть нѣсколько мѣстъ, которыя, по собственному его сознанію, исполнены и нравственной, и политической благонамѣренности.

— Для чего же? — спросилъ я.

— Для того, — отвѣчалъ онъ, — что ихъ могутъ худо перетолковать — и бѣда цензору и вамъ...

„Неужели, въ самомъ дѣлѣ, все честное и просвѣщенное такъ мало уживается съ общественнымъ порядкомъ! Хорошъ же послѣдній! На что же заводить университеты? Непостижимое дѣло! Опять велѣно отправить за границу для усовершенствованія въ наукахъ двадцать избранныхъ молодыхъ людей, а что они будутъ дѣлать тутъ, возвратясь со своими познаніями, съ благороднымъ стремленіемъ озарить свое поколѣніе свѣтомъ истины...

„...Было время, что нельзя было говорить объ удобреніи земли, не сославшись на тексты изъ Свящ. писанія. Тогда Магницкіе и Руничи требовали, чтобы философія преподавалась по программѣ сочиненной въ министерствѣ народнаго просвѣщенія; чтобы, преподавая логику, старались бы въ то же время увѣрить слушателей, что законы разума не существуютъ, а, преподавая исторію, говорили бы, что Римъ и Греція вовсе не были республиками, а такъ чѣмъ-то похожимъ на государства съ неограниченною властью, въ родѣ турецкой или монгольской. Могла ли наука принести какой-нибудь плодъ, будучи такъ извращаема? А теперь? О, теперь совсѣмъ другое дѣло. Теперь требуютъ, чтобы литература процвѣтала, но никто бы ничего не писалъ ни въ прозѣ, ни въ стихахъ; требуютъ, чтобы учили какъ можно лучше, но чтобы учащіеся не размышляли, потому что учащіе—что такое? Офицеры, которые (сурово) управляются съ истиной и заставляютъ ее вертѣться во всѣ стороны передъ своими слушателями. Теперь (1833 г.) требуютъ отъ юношества, чтобы оно училось много и притомъ не механически, но чтобы оно не читало книгъ и никакъ не смѣло думать, что для государства полезнѣе, если его граждане будутъ имѣть свѣтлую голову, вмѣсто свѣтлыхъ пуговицъ на мундирѣ" („Р. Старина", 1889, авг., стр. 270—271),

торомъ десятки лѣтъ спустя стала говорись, такъ неразумно, одна литературная партія [1]).

---

[1]) „Въ странномъ положеніи находимся мы. Среди людей, которые имѣютъ претензію дѣйствовать на духъ общественный, нѣтъ никакой нравственности. Всякое довѣріе къ высшему порядку вещей, къ высшимъ началамъ дѣятельности исчезло. Нѣтъ ни обществолюбія, ни человѣколюбія, мелочной отвратительный эгоизмъ проповѣдуется тѣми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образованіе или двигать пружинами общественнаго порядка.

„Можетъ быть, и всегда такъ было, но отъ иныхъ причинъ. Причина нынѣшняго нравственнаго паденія у насъ, по моему наблюденію, въ политическомъ ходѣ вещей. Настоящее поколѣніе людей мыслящихъ не было таково, когда, исполненное свѣжей юношеской силы, оно впервые вступало на поприще умственной дѣятельности. Оно не было проникнуто такимъ глубокимъ безвѣріемъ, не относилось такъ цинично ко всему благому и прекрасному. Но (прежнее) объявило себя врагомъ всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дѣятельности духа. Не уничтожая ни наукъ, ни ученой администраціи, оно однако до того затруднило насъ цензурою, частыми преслѣдованіями и общимъ направленіемъ къ жизни, чуждой всякаго нравственнаго самопознанія, что мы вдругъ увидѣли себя въ глубинѣ души какъ бы запертыми со всѣхъ сторонъ, *отторженными отъ той почвы*, гдѣ духовныя силы развиваются и совершенствуются.

„Сначала мы судорожно рвались на свѣтъ. Но, когда увидѣли, что съ нами не шутятъ, что отъ насъ требуютъ безмолвія и бездѣйствія, что талантъ и умъ осуждены въ насъ цѣпенѣть и гноиться на днѣ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму; что всякая свѣтлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществѣ паріями; что оно пріемлетъ въ свои нѣдра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ, на основаніи котораго позволено дѣйствовать—тогда все юное поколѣніе вдругъ нравственно оскудѣло. Всѣ его высокія чувства, всѣ идеи, согрѣвавшія его сердце, воодушевлявшія его къ добру, къ истинѣ, сдѣлались мечтами безъ всякаго практическаго значенія—а мечтать людямъ умнымъ смѣшно. Все было приготовлено, настроено и устроено къ нравственному преуспѣянію—и вдругъ этотъ складъ жизни и дѣятельности оказался несвоевременнымъ, негоднымъ; его пришлось ломать и на развалинахъ строить канцелярскія камеры и солдатскія будки.

„Но скажутъ, въ это время открывали новые университеты, увеличили штаты учителямъ и профессорамъ, посылали молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ.

„Это значило еще увеличивать массу несчастныхъ, которые не знали куда дѣться со своимъ развитымъ умомъ, со своими требованіями на высшую умственную жизнь.

„Вотъ картина нашего положенія: оно незавидно...

„Конечно, и у насъ есть люди, нынѣ дѣйствующіе въ другомъ духѣ, но ихъ очень мало и они слишкомъ безсильны, слишкомъ робки, слишкомъ недовѣрчивы къ собственнымъ чистымъ побужденіямъ, чтобы могли перетянуть вѣсы на сторону добра; есть затворники, постники, которые рѣшились пребыть до конца вѣрными своимъ идеямъ и лучше задохнуться, чѣмъ измѣнить имъ. Но эти люди—исключеніе, и они несчастнѣе первыхъ, ибо не вкушаютъ сладости даже минутнаго забвенія. Ничего удивительнаго, если иные изъ молодыхъ людей доходятъ до самоубійства" („Р. Старина", тамъ же, стр. 283—285).

Мы не будемъ сообщать другихъ подробностей объ этомъ тягостномъ и печальномъ періодѣ русской литературы и образованности, еще для многихъ памятномъ по личному опыту, и упомянемъ только объ одномъ обстоятельствѣ, которое находится въ связи съ административными мѣрами того времени относительно преподаванія и литературы. Это—такъ-называемое дѣло объ обществѣ Петрашевскаго. Начатое въ 1848-мъ и конченное въ 1849-мъ году, оно послужило особеннымъ поводомъ къ репрессивнымъ мѣрамъ, такъ какъ полагали, что имъ несомнѣнно доказывается превратное направленіе умовъ, заимствованное изъ революціонныхъ европейскихъ ученій и стремившееся къ ниспроверженію существующаго порядка.

Теперь, когда это время отдалено отъ насъ длиннымъ рядомъ лѣтъ и многими общественными опытами, окажется, можно говорить о немъ спокойно и составить о немъ правильное историческое понятіе. Для безпристрастныхъ людей,—какихъ бы то ни было мнѣній,—теперь, вѣроятно, ясно, что броженіе, происходившее въ упомянутомъ обществѣ, на дѣлѣ не представляло такой опасности, какъ это предполагается или даже считается несомнѣннымъ въ современномъ „Мнѣніи“ Липранди, имѣвшемъ, по его собственнымъ словамъ, вліяніе и на самый исходъ дѣла [1]). Теперь ясно, что общество,—настолько не тайное, что въ него попадалъ всякій, кто хотѣлъ, между прочимъ, легко проникли и агенты самого Липранди, — вовсе не было опаснымъ заговоромъ, который бы могъ угрожать существовавшему порядку ниспроверженіемъ и вообще имѣлъ какую-нибудь возможность практическаго дѣйствія въ соціалистическомъ направленіи, отличавшемъ это общество. Въ упомянутомъ „Мнѣніи“ кружокъ Петрашевскаго изображается именно какъ обширный заговоръ, но изображеніе это утверждается съ одной стороны на такихъ мелочныхъ фактахъ, а съ другой на такихъ далекихъ аналогіяхъ и сравненіяхъ, несостоятельность которыхъ бросается въ глаза [2]). Существенное обвиненіе, основанное на дѣйствительныхъ фактахъ, заключается въ двухъ главныхъ пунктахъ: во-первыхъ, въ усвоеніи и распространеніи соціалистическихъ идей, въ чтеніи и рукописномъ переводѣ соціалистическихъ книгъ, а во-вторыхъ, въ недовольствѣ

---

[1]) Это „Мнѣніе“ напечатано въ „Русской Старинѣ“ 1872, т. VI.

[2]) Такъ, авторъ „Мнѣнія“ ставитъ взгляды общества въ связь съ различными безпорядками, напримѣръ, случаями неповиновенія крестьянъ помѣщикамъ (?) и т. п., фактами, очевидно, не имѣющими никакого отношенія къ кружку людей,—большей частію ничѣмъ не вліятельной молодежи,—занимавшихся книжными соціальными теоріями.

(выражавшемся изустно и въ частной перепискѣ) многими тогдашними учрежденіями и въ разговорахъ о необходимости преобразованій, какова, напримѣръ, отмѣна крѣпостного права [1]).

По господствовавшимъ понятіямъ времени, эти обвиненія стали столь серьезными, что получили для обвиняемыхъ самый печальный исходъ. На дѣлѣ, весь соціализмъ названнаго общества заключался въ чисто теоретическомъ увлеченіи Фурье, Сенъ-Симономъ, Кабе и другими соціалистами этого рода, которое высказывалось чтеніемъ книгъ и разговорами, было совершенно безвредно въ практическомъ смыслѣ (такъ какъ ничего не могло бы, да и не пыталось, дѣлать) и тѣмъ болѣе безобидно, что большинство „общества" состояло изъ людей самой первой молодости, у которыхъ все это увлеченіе только и могло быть дѣломъ платоническаго идеализма. Правда, глава общества не былъ юношей и отличался большой рѣшительностью мнѣній, но и его планы были настолько далеки отъ всякой возможности практическаго примѣненія, что могли не возбуждать опасеній.

Но, разсматривая это броженіе умовъ съ точки зрѣнія общественной исторіи, нельзя не допустить, что оно въ большой степени было такимъ преувеличеніемъ, которое вытекло изъ крайности стѣсненій, тяготѣвшихъ въ теченіе предыдущихъ десятилѣтій надъ образованіемъ и литературой. Какъ скоро въ общество проникли извѣстные элементы умственной жизни, общественнаго интереса, они должны были развиваться: они развивались бы болѣе правильно, еслибъ имъ данъ былъ какой-нибудь просторъ; они переходятъ въ крайность, въ рѣзкое противорѣчіе съ окружающимъ, когда обставлены препятствіями, когда ихъ хотятъ задержать и заглушить. Это такая же необходимость въ органическомъ ростѣ общества, какъ и въ развятіи физическаго организма. Молодыя поколѣнія всегда и вездѣ наиболѣе чутки къ созрѣвающимъ потребностямъ общества; имъ уже видны недостатки старины, съ которой они еще не успѣли связаться долгой привычкой; предъ ними впереди жизнь, для которой они стремятся завоевать лучшіе принципы и порядки; вмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ меньше, или вовсе нѣтъ опыта, который бы помогъ имъ оцѣнить условія и обстоятельства, разсчитывать возможности и шансы, и больше молодого энтузіазма, который не останавливается предъ затрудненіями и рискомъ; оттого, молодыя поколѣнія,—въ такихъ періодахъ, когда общество только-что устанавливаетъ свое полити-

[1]) Между прочимъ, однимъ изъ особо важныхъ обвиненій было чтеніе и сообщеніе другимъ письма Бѣлинскаго къ Гоголю.

ческое существованіе,—всего чаще попадают въ коллизію между старымъ и новымъ порядкомъ вещей и дѣлаются жертвами этого столкновенія. Какъ ни случайны и, повидимому, произвольны бываютъ формы подобныхъ движеній, тѣмъ не менѣе не трудно видѣть, что въ этихъ фактахъ совершается не случайное явленіе, а историческій процессъ. Соціализмъ молодого поколѣнія сороковыхъ годовъ былъ такимъ, слишкомъ юношескимъ, порывомъ къ общественному самосознанію, стремленіемъ выяснить себѣ и усвоить интересы общества и работать для нихъ: за невозможностью спокойнаго и открытаго развитія, эта потребность удовлетворяема была чистой теоріей, даже въ тѣхъ фантастическихъ формахъ, какими отличался тогдашній соціализмъ. Рядомъ съ этимъ, однако, „соціализмъ“ имѣлъ свою сильную сторону въ критикѣ существующихъ общественныхъ отношеній, и подъ этими вліяніями также возникали въ умахъ болѣе или менѣе ясныя представленія о непосредственной русской дѣйствительности, и вопросъ о необходимыхъ для русской жизни практическихъ преобразованіяхъ понятъ былъ такъ, какъ онъ еще раньше ставился прежнимъ поколѣніемъ, и какъ потомъ онъ былъ поставленъ въ наше время (реформы крѣпостная, судебная и проч.).

Приводимъ въ спискѣ замѣчанія одного изъ ближайшихъ свидѣтелей и участниковъ этого броженія: здѣсь вѣрно указано психологическое развитіе этихъ увлеченій въ молодомъ поколѣніи сороковыхъ годовъ, и историческая связь этого броженія со всѣмъ теченіемъ тогдашней общественности и состоянія умовъ [1]).

---

[1]) Изображая характеръ одного изъ полу-дѣйствительныхъ героевъ своего разсказа, человѣка тогдашняго молодого поколѣнія, характеръ, удивлявшій людей житейскаго благоразумія своими странностями, удаленіемъ отъ общества, скептическимъ раздраженіемъ и проч., авторъ говоритъ:

„Никому не приходило въ голову поискать причинъ въ атмосферѣ не только того исключительнаго круга, въ которомъ онъ вращался, но вообще всей русской жизни того времени, неотразимыхъ причинъ тому, что каждая энергическая, дѣятельная личность бросалась во всѣ нелегкія—отъ мрачнаго мистицизма до полудикаго бреттёрства, отъ чаадаевскаго отрицанія всей нашей исторической жизни до бѣгства къ отцамъ іезуитамъ, отъ помѣщичьихъ жестокостей до безпросыпнаго пьянства...

„Не крупные факты, не радикальные катаклизмы въ общественной или личной нашей жизни ужасны,—напротивъ, въ нихъ есть всегда нѣчто освѣжающее, какъ въ разразившейся грозѣ,—ужасны ежедневныя, будничныя пошлости и подлости, опутывающія цѣпкою сѣтью всѣ общественныя отношенія, пріобрѣтающія силу авторитета, заслоняющія собою благородные человѣческіе идеалы“...

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же авторъ касается историческихъ обстоятельствъ, въ которыхъ составлялось настроеніе молодого поколѣнія сороковыхъ годовъ:

„Дѣятельная работа общественнаго сознанія, начавшаяся гораздо раньше, вслѣдствіе историческихъ условій, не могла развиваться свободно и правильно, а потому

Атмосфера, конечно, была ненормальна, и отсюда выходили тѣ заблужденія, о которыхъ говоритъ цитируемый авторъ, и тѣ одностороннія увлеченія и крайности, въ которыя впадали люди съ тѣми или другими стремленіями къ идеалу, къ осмысленному принципу. Историческое и моральное оправданіе или объясненіе этихъ увлеченій и заключается въ особенныхъ условіяхъ времени,

---

пріобрѣла неестественную напряженность, ушла въ меньшинство и вмѣстѣ съ нимъ погибла (движеніе двадцатыхъ годовъ). Преемственность развитія была нарушена, образовался перерывъ, въ темнотѣ котораго люди бродили ощупью, стараясь опознаться, гдѣ они, въ какихъ мѣстахъ и что такое они сами... Начались робкія, неумѣлыя попытки опредѣлить свое *я*, поставленное на метафизическіе подмостки мудреной нѣмецкой работы... Всѣ схватились за Гегеля и комментировали его по своему. Это направленіе привело насъ къ замѣчательнымъ тонкостямъ психологическаго анализа и къ разъѣдающей рефлексіи, парализовавшей каждый смѣлый шагъ въ сторону отъ торной дороги.

„Среди повсюдной тишины едва слышались воркованія бездѣльнаго эпикуреизма и одинокія, подавленныя жалобы личныхъ страданій...

„Въ этой ночи народилось и выросло поколѣніе людей, на долю которыхъ выпало много тяжелыхъ дней и горькихъ упрековъ. Они еще дѣтьми зорко присматривались къ торжествовавшей кругомъ ихъ безсознательности и, ставъ юношами, увидѣли, что на родной почвѣ имъ дѣлать нечего. Отсюда начинается блѣдный, худосочный типъ „лишнихъ людей" въ одну сторону, и тоже ненормальныхъ проповѣдниковъ далекаго идеала въ другую... Разумѣется, всѣ они прошли искусъ идеалистической философіи,—и въ ту минуту, когда съ Гегелемъ въ рукахъ добивались отвѣтовъ на „проклятые вопросы",—до ихъ слуха долетали другія рѣчи. Въ нихъ не было холода абстрактныхъ умозрѣній, а кипѣла ключомъ живая человѣческая кровь и рѣшался тяжелый вопросъ труженика: „на сколько же обокралъ меня лавочникъ одинъ разъ при разсчетѣ за мою работу, и въ другой, когда я на этотъ заработанный грошъ купилъ у него фунтъ хлѣба по установленной таксѣ?"

„Этого было довольно.

„Вся сила молодыхъ умовъ ушла туда, на усвоеніе этого вновь открывшагося передъ ними міра,—міра насущныхъ вопросовъ, энергическихъ протестовъ, растравленныхъ ранъ настоящаго горя и обольстительныхъ построеній всеобщаго будущаго счастія человѣчества... Загорѣлась страстная отвага мысли... А газеты изъ Парижа, начиная съ 24-го февраля, приносили какое-то нервическое раздраженіе... Онѣ читались нарасхватъ во всѣхъ петербургскихъ кофейныхъ; доходило часто до того, что кто-нибудь одинъ овладѣвалъ листкомъ, становился на столъ, окруженный толпою, и во всеуслышаніе читалъ декреты временного правительства и рѣчи Луи Блана въ Люксембургскомъ дворцѣ... Домашніе газетчики тоже, кажется, дали слово поддерживать недоразумѣніе: вмѣсто простой передачи фактовъ, они—думая, что такъ и надобно дѣйствовать,—издѣвались и глумились не только надъ событіями, но даже надъ именами, называя, напримѣръ, Барбеса—Балбесомъ...

„Теперь, оглядываясь на это далекое прошлое, позволительно спросить,—нормальна ли была тогдашняя атмосфера, нормально ли было состояніе молодыхъ головъ и могло ли быть нормально сужденіе объ ихъ заблужденіяхъ?"

(„Алексѣй Слободинъ. Семейная исторія", П. Альминскаго. Спб. 1873, стр. 304, 358—359. Авторъ—Пальмъ, недавно умершій. нѣкогда одинъ изъ „петрашевцевъ", хотя не очень стойкихъ).

стѣснявшихъ или отнимавшихъ правильное удовлетвореніе нравственно-общественныхъ потребностей. Восходя далѣе конца сороковыхъ годовъ, мы найдемъ то же явленіе и раньше. Люди, умомъ или талантомъ стоявшіе выше толпы, жившіе идеалами, не находили себѣ мѣста въ обычныхъ нравахъ, не могли свободно дышать въ спертомъ воздухѣ бѣдной общественной жизни и удержаться въ области своего призванія, которая въ сущности еще не была признаваема обществомъ. Пушкинъ не хотѣлъ въ своемъ обществѣ быть только писателемъ; въ душѣ онъ гордился и наслаждался своей поэтической славой, былъ самимъ собой въ ближайшемъ кругѣ сочувствующихъ друзей, но среди „общества" хотѣлъ быть свѣтскимъ человѣкомъ, потомкомъ древняго рода, но не писателемъ. Гоголь надолго бѣжалъ изъ русской жизни, въ лучшую пору своего творчества, по какому-то странному инстинкту; не смогъ помирить геніальнаго таланта съ господствующимъ характеромъ общества и кончилъ аскетизмомъ и мистикой. Лермонтовъ велъ въ своемъ обществѣ жизнь чисто внѣшнюю, лучшіе свои помыслы скрывалъ про себя и относился къ обществу съ презрѣніемъ, иногда циническимъ. Не будемъ приводить другихъ примѣровъ, въ которыхъ нѣтъ, къ сожалѣнію, недостатка въ прошедшемъ нашей литературы. Самый „соціализмъ" не теперь только впервые появился въ ряду умственныхъ интересовъ нашего общества. Молодыя поколѣнія тридцатыхъ годовъ уже увлекались соціалистическими теоріями; не говоря о Герценѣ и его кружкѣ въ московскомъ университетѣ, даже В. П. Боткинъ говорилъ о себѣ [1]), что въ тридцатыхъ годахъ онъ былъ „соціалистомъ": это была форма умственной потребности, особый видъ идеализма, восполнявшаго, въ данныхъ условіяхъ общественности, отсутствіе всякаго живого движенія... Молодое поколѣніе конца сороковыхъ годовъ, мечтавшее, что нашло—хотя въ далекомъ будущемъ—положительный идеалъ, ради его забыло объ окружающемъ и стало жертвою своего увлеченія. Мы видѣли отчасти, какъ это положеніе вещей дѣйствовало на людей двухъ передовыхъ литературныхъ школъ того времени, людей серьезныхъ настолько, чтобы не увлекаться фантастическими идеалами; трудность положенія подавляла ихъ сознаніемъ безпомощности, въ данную минуту, того дѣла, которому посвящены были всѣ ихъ силы.

Такимъ образомъ, это броженіе умовъ, которое при всей ограниченности его размѣровъ и при всей юношеской его наив-

[1]) „Жизнь и переписка Бѣлинскаго".

ности не замедлили въ то время поставить въ прямую связь съ тогдашней европейской революціей и изображать столь же опаснымъ, и которое стало поводомъ къ новымъ репрессивнымъ мѣрамъ,—само было слѣдствіемъ прежнихъ мѣръ этого рода, которыя не давали никакого правильнаго исхода возроставшимъ потребностямъ и интересамъ.

Особливо прискорбная сторона этого положенія вещей состояла въ томъ, что какъ по старой скудости просвѣщенія, такъ и вслѣдствіе тогдашнихъ мѣропріятій, умственные интересы заглушались и стояли очень низко въ огромномъ большинствѣ общества: непониманіе или крайне узкое, внѣшнее пониманіе науки, недовѣріе ко всякой новой мысли, выходящей изъ принятой рутины. не только недостатокъ сочувствія, но положительная вражда къ новымъ стремленіямъ литературы, были принадлежностью цѣлой обширной массы. Тѣ же взгляды высказывались въ той части самой литературы, которая вполнѣ—и намѣренно, и безнамѣренно—слѣдовала за оффиціальной народностью и вообще можетъ служить характернымъ образчикомъ тогдашняго большинства. Разные слои этой литературы, начиная „Москвитяниномъ" или романтизмомъ Кукольника, кончая „Маякомъ" или „Сѣверной Пчелой", представляли разныя степени этого большинства, отъ нѣкоторой образованности, съ извѣстнымъ пониманіемъ пригодности науки, до низшихъ ступеней образованія, граничившихъ съ невѣжествомъ, и до тѣхъ ступеней общественной нравственности, какія представляла „Сѣверная Пчела". И если руководящія вѣдомства были недовѣрчивы къ новымъ литературнымъ школамъ, находили ихъ вредными, гнали ихъ, а большинство было къ этому равнодушно или тому сочувствовало, то интересы просвѣщенія сталкивались здѣсь не съ случайнымъ произволомъ, а съ цѣлымъ взглядомъ на вещи, съ цѣлымъ умственнымъ уровнемъ огромнаго большинства такъ-называемаго образованнаго общества. Исполнители не только дѣлали то, что̀ отъ нихъ требовалось, но сами были убѣждены въ справедливости требованій, и взгляды Бутурлина, Ширинскаго-Шихматова, Мусина-Пушкина и пр. принадлежали имъ не только какъ администраторамъ, но и какъ людямъ извѣстнаго общественнаго круга и образованія. Мы указывали, что критическая школа казалась „скаредной", приписываемое ей знамя казалось „чернымъ", ея дѣятельность казалась зловредною и такимъ людямъ, отъ которыхъ можно было бы ожидать болѣе просвѣщеннаго взгляда, людямъ, которые нѣкогда сами стояли въ первыхъ рядахъ литературы, были друзьями и литературными наперсниками Пушкина...

Словомъ, критическое направленіе было мало вразумительно и чуждо большинству, которое чувствовало себя въ лучшемъ изъ міровъ и потому считало критику дѣломъ не только ненужнымъ и пустымъ, но злонамѣреннымъ, не понимало въ ней внутренняго побужденія искать истины, а находило только недоброжелательную хулу на вещи, заслуживающія одного удивленія, непозволительное своеволіе и вольнодумство. Самъ Гоголь, который въ своихъ теоретическихъ заблужденіяхъ съ начала и до конца былъ близокъ къ подобной точкѣ зрѣнія, чувствовалъ, однако, силой своего таланта, это положеніе вещей, и не разъ съ глубокимъ чувствомъ жаловался на тяжелое положеніе писателя, который хочетъ изображать жизнь такою, какова она есть, и не хочетъ только льстить обществу [1]).

[1]) Мы приводили уже нѣкоторыя цитаты этого рода. Напомнимъ еще одно мѣсто, въ концѣ перваго тома „Мертвыхъ Душъ", мѣсто, въ которомъ онъ сдѣлалъ печальную, но слишкомъ справедливую характеристику огромной части тогдашняго (а также, кажется, и теперешняго) русскаго общества:

„Но не то тяжело—говоритъ онъ, разсуждая о героѣ своей поэмы,—что будутъ недовольны героемъ; тяжело то, что живетъ въ душѣ *неотразимая увѣренность*, что тѣмъ же самымъ героемъ, тѣмъ же самымъ Чичиковымъ, были бы довольны читатели. Не загляни авторъ поглубже ему въ душу... а покажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу, Манилову и другимъ людямъ,—и всѣ были бы радешеньки, и приняли бы его за интереснаго человѣка. Нѣтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался бы какъ живой передъ глазами: за то, по окончаніи чтенія, душа не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, *тѣшащему всю Россію*. Да, мои добрые читатели, вамъ бы не хотѣлось видѣть обнаруженную человѣческую бѣдность. *Зачѣмъ*, говорите вы, къ *чему это?* Развѣ мы не знаемъ сами, что есть много презрѣннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается намъ часто видѣть то, что вовсе не утѣшительно. Лучше же представляйте намъ прекрасное, увлекательное; пусть лучше позабудемся мы. „Зачѣмъ, ты, братъ, говоришь мнѣ, что дѣла въ хозяйствѣ идутъ скверно?"—говоритъ помѣщикъ прикащику: „Я, братъ, это знаю безъ тебя; да у тебя рѣчей развѣ нѣтъ другихъ, что ли? Ты дай мнѣ позабыть это, не знать этого—я тогда счастливъ". И вотъ, тѣ деньги, которыя бы поправили сколько-нибудь дѣло, идутъ на разныя средства для приведенія себя въ забвеніе. Спитъ умъ, можетъ быть, обрѣтшій бы внезапный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имѣніе бухъ съ аукціона,—и пошелъ помѣщикъ забываться по міру"...

Очевидно, что эта тема могла быть развита еще дальше, въ гораздо болѣе широкихъ примѣрахъ и примѣненіяхъ.

„Еще падетъ обвиненіе на автора,—продолжаетъ Гоголь,—со стороны такъ называемыхъ *патріотовъ*, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капитальцы, устраивая судьбу свою на-счетъ другихъ; но какъ только случится что-нибудь, *по мнѣнію ихъ, оскорбительное* для отечества, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда *горькая правда*, они выбѣгутъ со всѣхъ угловъ какъ пауки, увидѣвшіе, что запуталась въ паутину муха, и подымутъ вдругъ крики: „Да хорошо ли выводить это на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, это все наше,

Гоголь былъ правъ въ этихъ жалобахъ и справедливо могъ сказать русскому обществу, не только по поводу своего героя, который вызвалъ въ немъ эти печальныя размышленія:—„Вы боитесь глубоко устремленнаго взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокій взоръ, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами“... Въ самомъ дѣлѣ, сколько разъ въ то время, и послѣ, до настоящей минуты, происходилъ въ этомъ обществѣ переполохъ, пауки выбѣгали изъ угловъ, и раздавались крики объ оскорбленномъ патріотизмѣ по поводу книги, статьи, говорившихъ о нашей исторіи, нашей общественной жизни и т. д. не въ томъ тонѣ, къ которому привыкли описываемые Гоголемъ патріоты. Въ тѣ годы эта патріотическая чувствительность была развита еще сильнѣе, во всѣхъ кругахъ общества, низшихъ и высшихъ, и можно себѣ представить положеніе той литературы, которая пыталась говорить правду, хотѣла указывать обществу идеалы болѣе высокаго достоинства.

Общій характеръ быта, среди котораго надо было дѣйствовать новымъ стремленіямъ литературы, безъ сомнѣнія, не могъ самъ по себѣ не стѣснять и ея собственное развитіе, и ея вліяніе. По необходимости, она ограничивалась только тѣми предметами, какіе оставались доступны; по необходимости, мысли ея не были досказаны, а такъ какъ это бывало постоянно, то, быть можетъ, оттого онѣ и не были до конца додуманы; лишенныя правильныхъ возраженій другой стороны, ограниченныя своими, такъ сказать, алгебраическими формулами, не находя себѣ опоры въ жизненномъ опытѣ, эти мысли не могли развиться до своего естественнаго результата. Цензурная опека ограничивала даже чисто научныя стороны литературы, до полной невозможности серьезнаго изслѣдованія. Нѣсколько фактовъ могутъ достаточно показать, какъ съ разныхъ сторонъ и до какой прискорбной степени ограничивалось и то *содержаніе* литературы, какое было.

Мы видѣли, къ какимъ результатамъ приводила цензурная практика за пятнадцать лѣтъ, 1833—1847. Число книгъ разительно уменьшилось по научнымъ отдѣламъ, уменьшилось даже по отечественной исторіи, теоріи словесности, и проч., и увеличилось только по предметамъ чисто практической полезности.

—хорошо ли это? А что скажутъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?“ На такія мудрыя замѣчанія, особенно на счетъ мнѣнія иностранцевъ, признаюсь, ничего нельзя прибрать въ отвѣтъ“...

Авторъ прибралъ, впрочемъ, одинъ отвѣтъ—извѣстную исторію о двухъ обитателяхъ, Кифѣ Мокіевичѣ и его дѣтищѣ.

Правда, вкусъ къ отвлеченной философіи въ это время упадалъ въ самой литературѣ, но тѣмъ не менѣе философскія изученія, въ которыхъ теперь больше начинала привлекать ихъ реальная сторона, были все-таки невозможны, какъ только сближались съ какими-нибудь вопросами дѣйствительности и какъ-нибудь задѣвали принятыя мнѣнія. Вопросъ религіозной философіи былъ совершенно внѣ области разсужденій, онъ являлся въ литературѣ только въ формѣ догматическихъ сочиненій, писанныхъ спеціалистами. Подъ конецъ, философія вообще признана была за науку опасную, и послѣ 1849 года была исключена изъ университетскаго преподаванія (вмѣсто нея введено преподаваніе логики и психологіи, поручаемое, кажется, вездѣ, преподавателямъ богословія). Репутацію опасныхъ издавна имѣли и науки естественныя, о которыхъ думали, что онѣ имѣютъ спеціальную способность приводить къ матеріализму. Геологіи ставилось въ особую обязанность не противорѣчить традиціонному понятію о происхожденіи и возрастѣ земли. Впослѣдствіи, въ новое царствованіе, нужна была нѣкоторая смѣлость со стороны цензурнаго вѣдомства, чтобы снять запрещеніе, лежавшее на цѣломъ рядѣ, между прочимъ, весьма знаменитыхъ, европейскихъ книгъ по естествознанію, а также по исторіи, которыя до тѣхъ поръ не имѣли никакого доступа въ нашу литературу. Ту же судьбу дѣлила политическая экономія, которой приписывали способность вести къ вольнодумству, такъ какъ она вмѣшивалась въ дѣло государственнаго хозяйства съ непрошенными разсужденіями, и къ соціализму [1]).

Далѣе, опасна казалась и классическая древность, которую теперь такъ восхваляютъ защитники классицизма, какъ путь къ благонамѣренности. Въ министерство кн. Ширинскаго-Шихматова, Уваровская система смѣнилась другою: обученіе греческому языку въ гимназіяхъ было прекращено; исторія классическаго міра считалась вовсе не такъ важной и полезной, какъ полагали прежде, и нѣкоторые педагоги были того мнѣнія, что греческую и римскую исторію до Августа было бы полезно почти исключить совсѣмъ изъ курса исторіи, такъ какъ исторія, писанная язычниками и республиканцами, каковы были Геродотъ и Ѳукидидъ, Титъ Ливій и Тацитъ, должна была оказывать вредное вліяніе на юные умы. Очень близкій съ этимъ взглядъ выражала, напр., программа, составленная въ 1848—1849 году для военно-учеб-

[1]) Эти неблагопріятныя понятія о политической экономіи были тогда довольно распространены и очень сходны съ тѣми, которыя въ двадцатыхъ годахъ повели къ гоненію противъ профессоровъ петербургскаго университета, Германа и Арсеньева, преподававшихъ политическую экономію и статистику.

ныхъ заведеній генералъ-майоромъ Ростовцевымъ, который возставалъ противъ „безотчетнаго, можно сказать, поклоненія событіямъ исторіи грековъ и римлянъ, которое такъ долго, *и такъ несправедливо*, господствовало и въ книгахъ, и въ школахъ": онъ хотѣлъ отдавать справедливость тому, что было замѣчательнаго въ древнихъ классическихъ государствахъ, но предостерегалъ отъ „ложнаго блеска", имъ придаваемаго, и говорилъ, что, „не теряя уваженія къ обоимъ народамъ, достигшимъ высокой степени образованія (то-есть, къ грекамъ и римлянамъ), мы, теперь, не плѣняемся уже безотчетно республиканскими, нерѣдко, такъ сказать, *мишурными*, театральными добродѣтелями многихъ героевъ Греціи и Рима", и т. п. [1]). Такъ какъ, по вышеуказаннымъ основаніямъ, изученіе древнихъ греческихъ писателей, языческихъ и республиканскихъ, представлялось и для университетовъ не полезнымъ въ нравственномъ смыслѣ, или ненужнымъ, то, по указанію начальства, вмѣсто чтенія классиковъ вводимо было чтеніе греческихъ писателей византійскаго періода, какъ важныхъ для насъ по своему нравственному и религіозному содержанію [2])...

Въ преподаваніи исторіи всеобщей уже раньше появились особыя требованія, смыслъ которыхъ состоялъ въ томъ, что преподаваніе должно было противодѣйствовать либеральнымъ взглядамъ европейскихъ историковъ. Такъ, отъ Грановскаго еще въ 1843—44 году требовали, чтобы онъ излагалъ реформацію и революцію съ католической (!) точки зрѣнія. Нѣсколько лѣтъ спустя, новый министръ народнаго просвѣщенія указывалъ необходимость „хорошаго руководства къ изученію всеобщей исторіи, написаннаго въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія" [3]): эта русская точка зрѣнія была та же самая, что католическая въ предыдущемъ примѣрѣ. Взгляды, составлявшіе эту такъ-называемую русскую точку зрѣнія, были дѣйствительно таковы, какъ намекалъ на это Грановскій въ своей запискѣ о новой программѣ преподаванія всеобщей исторіи. Взгляды, примѣняемые къ преподаванію, дѣйствовали и въ цензурѣ. Тѣ историческіе предметы, для которыхъ требовалась католическая точка зрѣнія, наконецъ, просто отсутствовали въ литературѣ. Это были цѣлые періоды исторіи, цѣлыя явленія историческаго развитія. Новѣйшая исторія была окончательно невозможна въ русской книгѣ. Книги евро-

---

[1]) Вѣстн. Евр. 1866, III, Педаг. Хрон. стр. 14. Біогр. Грановскаго, 244, и слѣд. „Наставленіе для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній", Спб. 1849, стр. 103—108.

[2]) Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ петербургскомъ университетѣ.

[3]) Біогр. Грановскаго, стр. 245 и слѣд.

пейской знаменитости, какъ сочиненія Шлоссера, Гервинуса и т. п., были запрещены даже въ подлинникѣ. Впослѣдствіи, съ нѣкоторымъ трудомъ были допущены первыя извлеченія изъ Маколея, и т. д.

Это повторилось въ самой русской исторіи. Тѣ взгляды, какихъ давно уже держались тогдашніе консерваторы, или люди, выражавшіе мнѣніе большинства,—эти взгляды вполнѣ высказались въ репрессивныхъ цензурныхъ мѣрахъ, принятыхъ послѣ 1849 года. Русская исторія должна была изображать и доказывать извѣстныя начала, которыя давались готовыми; въ историческихъ сочиненіяхъ должны были устраняться черты и эпохи, въ которыхъ можно было видѣть что-либо неблагопріятное этимъ началамъ. Извѣстна печальная исторія по поводу перевода книги Флетчера о Россіи *XVI-го вѣка*,—исторія, результатомъ которой было прекращеніе на много лѣтъ изданія „Чтеній московскаго общества исторіи и древностей“ подъ ихъ тогдашней редакціей и удаленіе Бодянскаго изъ московскаго университета. Къ числу неблагопріятныхъ подробностей, устранявшихся изъ литературы, отнесены были всѣ періоды народныхъ волненій, исторія переворотовъ XVIII-го столѣтія; даже древній бытъ, миѳологія, этнографическое изученіе народныхъ обычаевъ возбуждали недовѣріе, и печатаніе изслѣдованій затруднялось и останавливалось [1]). Новѣйшая исторія была невозможна, за исключеніемъ чисто оффиціальной. Исторія церкви—также. Расколъ былъ раздѣленъ между двумя спеціальными вѣдомствами: министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, свѣдѣнія котораго, и даже печатныя изданія, были обык-

[1]) Въ запискахъ извѣстнаго археолога Сахарова („Р. Арх.“, 1873, стр. 930) находимъ извѣстіе, что даже Сахаровъ встрѣчалъ неблагопріятныя препятствія при изданіи своихъ книгъ. По поводу своего изданія: „Сказанія русскаго народа о семейной жизни своихъ предковъ“ (описаніе народныхъ обычаевъ), выходившаго еще въ 1836 году, Сахаровъ замѣчаетъ: „Бѣдная книга! Сколько она прошла мытарствъ, судовъ, пересудовъ, толковъ!“ А г. Саввантовъ, одинъ изъ друзей Сахарова, сообщившій его записки въ „Русскій Архивъ“, прибавляетъ: „Дѣйствительно, дѣло доходило до того, что Сахарову *угрожали уже Соловками*, и бѣда уже висѣла надъ его головою; но участіе, принятое въ немъ кн. А. Н. Голицынымъ, избавило нашего археолога отъ душеспасительнаго пребыванія въ отдаленной обители“... По ходатайству кн. Голицына, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ врачомъ въ почтовомъ вѣдомствѣ, Сахаровъ потомъ получилъ даже высочайшую награду.

Такъ смотрѣли низшія вѣдомства на этнографическіе труды, очевидно, подъ вліяніемъ ходячихъ понятій. Всего удивительнѣе то, что образъ мыслей Сахарова былъ въ высшей степени патріотическій, и именно въ тогдашнемъ духѣ. Онъ былъ преданнѣйшій поклонникъ тогдашней системы (см. любопытныя подробности его мнѣній тамъ же, въ „Р. Архивѣ“, стр. 903 и слѣд., особенно 915 и др.).

новенно „совершенно секретны", и другимъ вѣдомствомъ, которое являлось только съ богословско-полемическими обличеніями.

Наконецъ, вопросы общественные, наблюденіе современныхъ явленій, ихъ историческое объясненіе были совершенно закрыты отъ литературы; многочисленныя спеціальныя цензуры (до 17-ти), подъ строгимъ надзоромъ комитета 2-го апрѣля, исключали всякую возможность касаться множества предметовъ общественной и государственной жизни или прилагать къ нимъ какую-нибудь критику.

Такими трудностями обставлена была дѣятельность литературы, и всего больше были эти трудности въ сороковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годахъ, когда замѣченный успѣхъ новыхъ направленій вызвалъ еще болѣе суровыя мѣры. Огромное большинство общества не было на сторонѣ этихъ новыхъ направленій; оно или мало интересовалось ими, или относилось къ нимъ недружелюбно, потому что предпочитало не тревожить своего сонпаго спокойствія никакими размышленіями. Но эти трудности не остановили развитія новой литературы, и ея внутренняя сила ни въ чемъ не обнаруживается такъ наглядно и ясно, какъ именно въ томъ, что она не только удержалась при этихъ условіяхъ, но успѣла, наконецъ, оказать вліяніе на умы. Стѣсненная въ самомъ содержаніи изслѣдованій, она выработала довольно опредѣленныя представленія объ историческомъ ходѣ и современномъ состояніи русской жизни, о томъ, что нужно для ея здраваго развитія, и уже вскорѣ привлекла къ себѣ горячее сочувствіе людей, въ которыхъ были возбуждены болѣе глубокіе интересы. Въ литературѣ новыхъ школъ господствовали по преимуществу общіе историческіе, литературно-художественные вопросы, но они ставились въ такомъ широкомъ смыслѣ, что заключали въ себѣ цѣлое нравственное и общественное міровоззрѣніе, и литература пріобрѣтала широкое воспитательное значеніе. Внѣшнія стѣсненія не остановили, по крайней мѣрѣ, въ извѣстномъ тѣсномъ кругѣ людей, развитія ихъ мыслей. То, чего нельзя было говорить въ печати прямо, говорилось косвенно, намеками. Одинъ историкъ нашей цензуры дѣлалъ по этому поводу такое замѣчаніе: „Невозможно исчислить случаевъ удержанія или смягченія цензурою всѣхъ горькихъ сатирическихъ выходокъ въ сороковыхъ и даже тридцатыхъ годахъ; но нерѣдко ей это не удавалось; случалось, что подъ вымышленными именами... сатира обманывала бдительность цензуры, и уже публика разгадывала ея истинное значеніе". Одна оффиціальная записка, поданная въ 1848 году, указывала, что въ этой литературѣ „каждое слово есть обинякъ", что „литера-

тура наша, и особенно нѣкоторые изъ петербургскихъ журналовъ, исполнены этихъ обиняковъ и намековъ, прозрачныхъ для смышленыхъ читателей". То, что не могло быть досказано въ книгѣ и намеками, досказывалось въ разговорахъ. Чтеніе иностранной литературы, которая, въ самыя строгія цензурныя времена, проникала контрабандой, довершало распространеніе понятій, на которыя литература только указывала, и давало этимъ понятіямъ ясность и опредѣленность. Правда, книги были рѣже, чѣмъ впослѣдствіи, обращеніе ихъ было труднѣе; но самое преслѣдованіе, которому онѣ подвергались, придавало имъ тѣмъ больше значенія, онѣ читались усерднѣе и пріобрѣтали ревностныхъ послѣдователей ученіямъ, которыя при другомъ положеніи вещей, вѣроятно, не нашли бы такого обширнаго успѣха.

Въ такомъ отношеніи стояли другъ къ другу два направленія понятій—старое и новое, строго консервативное и прогрессивное, узко-національное и національное въ гораздо болѣе широкомъ смыслѣ, одно, принадлежавшее огромному большинству, другое — незначительному меньшинству. Въ понятіяхъ большинства и органовъ, выражавшихъ его мысли, литературныхъ и нелитературныхъ, господствовавшій порядокъ вещей былъ наилучшій, какой только можетъ существовать: предполагалось, что мы — народъ избранный, который не нуждается въ Европѣ и превосходство котораго она, если иногда и не признаетъ, то только по безсильной зависти, что вслѣдствіе того новое направленіе умовъ, проявлявшееся въ обществѣ и наклонное къ сомнѣнію и отрицанію, есть просто злонамѣренное покушеніе внести раздоръ въ это мирное благоденствіе. Люди консервативныхъ мнѣній могли совершенно искренно не понимать этого направленія, его побужденій и желаній, и приходили къ выводу, что единственный источникъ его—самоволіе мысли, которое и нужно было поэтому обуздать и смирить. Когда новое направленіе, естественнымъ ходомъ образованности, начинало ближе присматриваться къ явленіямъ нашей общественности,—другое направленіе оставалось еще въ той степени умственнаго развитія, когда критика вовсе не составляетъ потребности. Какъ ни мало выражалось въ литературѣ содержаніе новаго направленія, но люди консервативныхъ мнѣній угадывали, что сущность его въ этомъ пунктѣ была прямо противоположна ихъ понятіямъ, и потому относились къ нему съ враждой и съ суровымъ противодѣйствіемъ. По всему складу ихъ понятій, по всей давнишней практикѣ этого рода нельзя было, конечно, и ждать, чтобы они предоставили противной сторонѣ свободу высказываться.

Отношенія были натянутыя, и новое направленіе было слишкомъ слабо внѣшнимъ образомъ, вліяніемъ въ обществѣ, чтобы можно было предвидѣть ихъ измѣненіе безъ вмѣшательства какихъ-нибудь особыхъ обстоятельствъ. Тягостное положеніе литературы могло продолжаться безъ конца: одна сторона не могла бы слишкомъ скоро придти къ иному взгляду на вещи, другая не имѣла средствъ измѣнить свое внѣшнее положеніе. Новымъ обстоятельствомъ, которое произвело довольно сильный, временной поворотъ общества, была—Крымская война.

Извѣстно, какимъ высокомѣріемъ исполнено было русское общество въ началѣ этой борьбы, съ какой самоувѣренностью разсчитывало на непобѣдимость своихъ силъ и на посрамленіе врага. Это было вполнѣ согласно съ тѣмъ, что̀ думало это общество въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, въ чемъ его убѣждали и воспитывали: могла ли быть страшна Европа, къ которой привыкли относиться съ такимъ чувствомъ своего превосходства? Другая, меньшая часть общества, именно люди новаго направленія, смотрѣли на вещи гораздо болѣе трезво, далеко не самонадѣянно и, какъ показали послѣдствія, очень вѣрно. Они думали, что Европа, съ которой приходилось бороться, если не превосходила насъ энергіей національнаго чувства, военнаго мужества, то, въ счетѣ силъ, имѣла надъ нами несомнѣнное преимущество болѣе высокой цивилизаціи, болѣе высокаго гражданскаго развитія, что въ предстоявшей борьбѣ должна была соперничать не только сила оружія, но и сила образованности. Меньшинство съ опасеніями ожидало событій, которыя должны были рѣшить не одинъ политическій международный вопросъ, но вызвать и рѣшеніе нашего внутренняго вопроса о судьбѣ русской образованности и направленіи общественнаго развитія.

Какъ дѣйствовали событія на людей этого меньшинства, можно видѣть (чтобы привести фактическое указаніе), напримѣръ, изъ того, какое впечатлѣніе производили они на Грановскаго. Мы особенно охотно обращаемся къ этому примѣру, потому что Грановскій (какъ ни смотрѣли на него въ свое время крайніе консерваторы), человѣкъ отъ природы мягкій, примиряющій, всего меньше могъ быть обвиненъ въ рѣзкости мнѣній. Съ людьми болѣе крайнихъ взглядовъ Грановскій доходилъ даже до настоящаго разрыва, защищая свои идеалистическія теоріи; онъ далеко не былъ неумѣреннымъ и въ своихъ мнѣніяхъ о предметахъ общественныхъ.

Грановскій, какъ всѣ люди новыхъ литературныхъ школъ, былъ крайне удрученъ мѣрами, какія принимались съ 1848 года

противъ литературы, просвѣщенія, университетовъ. Сколько могъ, онъ старался защищать ихъ дѣло, когда представлялся къ тому какой-нибудь случай. Иногда, онъ съ горечью высказывалъ друзьямъ безотрадное чувство, которое имъ овладѣвало [1]). Ему совершенно ясно было значеніе тѣхъ явленій, которыя онъ видѣлъ кругомъ, ясно было и значеніе того столкновенія, которое привело къ восточной войнѣ... „На западѣ скоплялась гроза и надвигалась на Россію,—разсказываетъ біографъ Грановскаго. Русское общество исполнилось тревожныхъ и неясныхъ ожиданій. Началось передвиженіе войскъ нашихъ, начались уже столкновенія съ турецкими войсками. Торжество русскаго флота при Синопѣ (18-го ноября 1853 г.) возбудило радость въ русскомъ обществѣ, но порождало вмѣстѣ и преувеличенныя, легкомысленныя надежды. Въ кругахъ московскаго общества Грановскій встрѣчалъ людей, говорившихъ о врагахъ, выступавшихъ противъ Россіи: мы ихъ шапками забросаемъ. Когда союзный флотъ французскій и англійскій уже готовился войти въ Черное море, въ Москвѣ не только многія изъ дамъ, но и изъ воиновъ, доживавшихъ въ ней свой вѣкъ, толковали, что враги недоумѣваютъ, что имъ дѣлать, и хлопочутъ только о томъ, какъ выпросить себѣ пощады и мира у Россіи... Грановскій, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдившій за ходомъ готовившихся и грозно развивавшихся событій, за общественнымъ мнѣніемъ Европы, за планами и переговорами европейскихъ правительствъ, за приготовленіями къ войнѣ, раздражался и оскорблялся невѣжественными или легкомысленными толками и мнѣніями, раздававшимися вокругъ него. Опасность, грозившая Россіи, была для него ясна. „Чѣмъ приготовились мы для борьбы съ *цивилизаціей*, высылающей противъ насъ свои силы?“ задавалъ онъ горькій вопросъ людямъ, легко вѣровавшимъ въ счастливый для Россіи исходъ возникшей борьбы...

[1]) Въ 1850 г. онъ писалъ къ одному изъ своихъ друзей: „Положеніе наше становится нестерпимѣе день ото дня. Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ два раза собирали справки. Но что значитъ личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ“. Онъ упоминаетъ о мѣрахъ, которыя приняты были относительно университетовъ; замѣчаетъ, что господствовавшая тогда система „громко говорила, что она не можетъ ужиться съ просвѣщеніемъ“; упоминаетъ о программѣ новаго преподаванія для кадетскихъ корпусовъ. „Іезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось преимущественно въ покорности властямъ. Онъ выставляется образцомъ подчиненія и дисциплины. Учитель исторіи долженъ разоблачать мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ и показать величіе непонятой историками римской имперіи, которой недоставало только одного—наслѣдственности!..“

„Съ этого времени онъ находился въ особенно возбужденномъ состоянiи. Грозныя событiя, переживаемыя тогда Россiею, начали вызывать въ лучшихъ умахъ русскаго общества сознанiе положенiя и недостатковъ общественнаго устройства Россiи. Для Грановскаго такое сознанiе становилось мучительнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Въ то тяжкое время мысль его обращается чаще всего къ великому преобразователю Россiи, къ *Петру*... Онъ горячо любилъ русскихъ и Россiю, онъ зналъ и высоко цѣнилъ многiя стороны русскаго характера, но понималъ и всѣ ихъ недостатки. Съ горечью замѣтилъ онъ, что русскiй народъ умѣетъ славно умирать за отечество, но жить для него не умѣетъ. Россiи нужны *преобразованiя*, ей нуженъ преобразователь — вотъ что̀ глубоко сознавалъ и глубоко чувствовалъ онъ въ послѣднее время своей жизни“ [1]).

Это послѣднее время вообще наводило его на самыя мрачныя мысли. Оно отнимало всѣ надежды на дѣятельность, которыя онъ питалъ съ давняго времени. „Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во̀-время“ — говорилъ онъ въ 1850 году. „Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде и чѣмъ стали теперь“—писалъ онъ къ одному другу въ 1853 г., указывая на то, какъ тогдашнiя условiя русской жизни не давали мѣста ни малѣйшему проявленiю тѣхъ научныхъ, общественно-воспитательныхъ стремленiй, которыя въ особенности у Грановскаго отличались кроткимъ идеализмомъ.

Настроенiе Грановскаго было общее настроенiе всего круга людей того же образа мыслей. Оно видоизмѣнялось по разницамъ личнаго характера, ясности и силы убѣжденiй; но для всѣхъ это были годы тяжелаго испытанiя, опасенiй за судьбу русскаго развитiя, горькаго чувства подавленныхъ надеждъ,—и результатомъ всего было глубокое убѣжденiе въ необходимости иного порядка дѣлъ, необходимости широкихъ и энергическихъ преобразованiй, которыя одни могли вывести Россiю изъ ея фальшиваго и опаснаго положенiя и обезпечить лучшее будущее.

Прошло два-три года, и съ окончанiемъ войны въ русскомъ обществѣ произошла метаморфоза — наступили знаменитые годы нашего „прогресса“. Общiй тонъ мнѣнiй чрезвычайно измѣнился: во-первыхъ, невозможно было не признать превосходства той „цивилизацiи“, о которой говорилъ Грановскiй; во-вторыхъ, новый правительственный перiодъ давалъ возможность ожидать смягченiя опеки, и это оказало влiянiе не только на людей, которые

[1]) Т. Н. Грановскiй, бiогр. очеркъ, А. Станкевича. М. 1869, 270—275.

прежде боялись высказывать свои мысли, но и на людей, которые привыкли совсѣмъ „не смѣть свое сужденіе имѣть". Въ первое время новаго царствованія еще продолжалась та же цензурная практика, но пріемы ея стали сами собою смягчаться, литературѣ давалось все болѣе простора, и она тотчасъ воспользовалась новыми благопріятными условіями.

Если обратимъ вниманіе на то, *что* говорилось въ обществѣ со второй половины 1850-хъ годовъ, что стало высказываться въ литературѣ и встрѣчать всего больше одобренія въ самой публикѣ, встрепенувшейся къ „прогрессу", — мы увидимъ, что въ сущности это были именно тѣ взгляды, которые господствовали въ литературныхъ школахъ сороковыхъ годовъ. Когда начались эти разнообразныя заботы о русскомъ прогрессѣ, въ сущности это было то же самое, что говорили нѣкогда Бѣлинскій, Грановскій и ихъ друзья. Мнѣнія этой школы, которыя незадолго передъ тѣмъ считались у большинства дерзкимъ вольнодумствомъ, умничаньемъ кабинетныхъ людей, стали теперь какъ будто вновь открытой истиной и вскорѣ потомъ общимъ мѣстомъ, которымъ смѣло пользовался каждый, кому, искренно или неискренно, хотѣлось не отстать отъ вѣка. Наша общественная дѣйствительность стала теперь представляться вовсе не въ томъ блистательномъ видѣ, какою считали ее прежде: сколько прежде большинство находило ее благополучной, столько теперь стали отыскивать въ ней недостатковъ; самообличеніе полилось потоками. Извѣстно, какъ это движеніе въ либеральную сторону захватывало даже людей, вовсе не склонныхъ къ какому-нибудь либерализму и которые, нѣсколько лѣтъ спустя, поторопились вернуться къ прежнему, находя, что это и проще и можетъ быть, при снова измѣнившихся обстоятельствахъ [1]), гораздо выгоднѣе... Но если, мимо этихъ каррикатурныхъ сторонъ того времени, въ которыхъ уже тогда люди болѣе проницательные угадывали ту же безхарактерную податливость мало развитого большинства, если обратить вниманіе на то, что занимало людей, болѣе серьезно и горячо принимавшихъ общественный интересъ, и что становилось предметомъ правительственныхъ начинаній, то параллель съ идеями „сороковыхъ годовъ" становится несомнѣнна. Въ этомъ и заключается ихъ историческій смыслъ. Въ нихъ было именно стремленіе къ тому преобразованію, которое совершалось теперь въ различныхъ областяхъ общественной и государственной жизни. Освобожденіе крестьянъ; уничтоженіе взяточничества—не моральными

---

[1]) Реакція съ 1861—62 года.

проповѣдями, а здравыми учрежденіями и контролемъ общественнаго мнѣнія; преобразованіе судовъ; извѣстный просторъ для общественной самодѣятельности; введеніе гласности какъ для дѣятельности административной и судебной, такъ и для другихъ предметовъ общественнаго значенія, и рядомъ съ тѣмъ большая свобода для печати; наконецъ, сколько возможно болѣе широкое образованіе для всѣхъ классовъ общества—все это было ясно сознаннымъ убѣжденіемъ сороковыхъ годовъ. Правда, писатели того времени не могли развить всего этого прямо, не сказали этого въ положительной формѣ, но имъ помѣшала въ этомъ только внѣшняя невозможность, тѣ цензурныя препятствія, которыя вообще не дали имъ высказать вполнѣ своего образа мыслей. Для читателей серьезныхъ былъ и тогда, въ общихъ чертахъ, ясенъ тотъ характеръ общественной и государственной жизни, какого они должны были желать по ихъ взгляду на вещи. Многіе изъ тѣхъ писателей продолжали дѣйствовать и послѣ, и когда въ пятидесятыхъ годахъ они говорили объ общественныхъ преобразованіяхъ, они высказывали не вновь придуманныя, а давнишнія свои мысли. До какой рѣзкой ясности доходили понятія этого круга въ сороковыхъ годахъ, можетъ служить примѣромъ не разъ нами указанное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

Итакъ, если въ сороковыхъ годахъ эти люди были гонимы, если имъ ставили въ укоръ, что они будто по недоброжелательству не хотятъ признавать порядка вещей, составляющаго общее благополучіе, на дѣлѣ они только лучше другихъ понимали истинный интересъ народа и государства: они не хотѣли повторять льстивой лжи о всеобщемъ благополучіи и видѣли тѣ слабыя стороны общества и государства, которыя нуждались въ перемѣнѣ и по требованію разумной справедливости, и по требованію національнаго самосохраненія. Первое испытаніе, которое встрѣтилось потомъ націи, подтвердило ихъ предвидѣнія и повело общество на путь преобразованія, какого они давно желали.

Такова нравственно-общественная заслуга писателей сороковыхъ годовъ и ихъ историческое значеніе. Не будемъ говорить о томъ, какой урокъ слѣдуетъ изъ ихъ исторіи: историческіе уроки сами собой ясны тѣмъ, кто умѣетъ понимать общественныя явленія и относится къ нимъ съ честнымъ желаніемъ истины, и безполезно указывать ихъ тѣмъ, кто смотритъ на міръ „ковыряя пальцемъ въ носу", какъ выражается великій реалистъ Гоголь, или кому нѣтъ дѣла до истины и до интересовъ общества.

Намъ остается упомянуть тѣ, не вполнѣ благопріятныя заключенія о литературной эпохѣ сороковыхъ годовъ, какія вызы-

вала позднѣйшая дѣятельность нѣкоторыхъ писателей, принадлежавшихъ той эпохѣ по началу своего поприща; мы уже касались отчасти этого предмета, и ограничимся немногими замѣчаніями. „Московскія Вѣдомости“ и „Русскій Вѣстникъ“ (съ шестидесятыхъ годовъ) издавались людьми сороковыхъ годовъ, и это заставляло нѣкоторыхъ думать, что въ идеяхъ сороковыхъ годовъ была извѣстная неустойчивость, неясность, неполнота, которыя и сдѣлали возможнымъ превращеніе ихъ прежняго либерализма въ нѣчто не только консервативное, но даже просто обскурантное. Можно было бы прибавить другіе примѣры подобныхъ превращеній. Но слѣдуетъ отличать идеи и лица. Первыя мы имѣемъ передъ собой въ тѣхъ подлинныхъ заявленіяхъ, какія находимъ въ литературѣ 40-хъ годовъ, въ біографіяхъ и мемуарахъ лучшихъ представителей того времени. Отношенія разныхъ лицъ къ этимъ идеямъ были, какъ понятно, различны: въ пору самыхъ 40-хъ годовъ бывали различны оттѣнки мнѣній Бѣлинскаго или Герцена съ одной стороны и Грановскаго, Соловьева, Кавелина съ другой; взгляды тѣхъ, кто особенно увлекался соціальными отношеніями настоящей минуты, получали иной тонъ, чѣмъ у тѣхъ, кто останавливался на изученіяхъ историческихъ. Тѣмъ не менѣе во взглядахъ этихъ лицъ было общее, что давало имъ солидарность работы и вліянія. Если впослѣдствіи иные люди 40-хъ годовъ являются въ роли, не отвѣчающей этому преданію, это имѣетъ свои историческія объясненія. Издатели „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“ (въ томъ видѣ, какой получили эти изданія съ 60-хъ годовъ) въ первое время своей новой роли ссылались даже на свою традицію 40-хъ годовъ: для первыхъ годовъ „Р. Вѣстника“ это и было справедливо (хотя въ литературѣ 40-хъ годовъ они не занимали важной роли), но не было справедливо для послѣдующихъ, и любопытно, что, напр., относительно Каткова Бѣлинскій уже замѣчалъ неясности характера [1]). Достоевскій въ 40-хъ годахъ пріобрѣлъ („Бѣдными Людьми“) свою славу какъ писатель извѣстнаго гражданско-филантропическаго характера, навѣяннаго Гоголемъ (и французскимъ соціальнымъ романомъ), но о другихъ его произведеніяхъ Бѣлинскій еще тогда отзывался какъ о „нервической чепухѣ“, которая и впослѣдствіи заняла много мѣста въ его произведеніяхъ, особливо публицистическихъ. Эти и подобные примѣры, гдѣ превращеніе слишкомъ опредѣлялось личными

[1]) „Жизнь и переписка Бѣлинскаго“; „Катковъ и его время“, С. Невѣдѣнскаго. Спб. 1888.

свойствами, еще не говорятъ противъ силы, искренности и исторической важности идей сороковыхъ годовъ, какъ онѣ понимались лучшими людьми того времени. Съ другой стороны можно было бы привести многочисленные примѣры, гдѣ превращенія не послѣдовало и гдѣ, напротивъ, сущность взглядовъ не только сохранялась, но и развивалась далѣе.

Но, дѣйствительно, есть пункты различія, гдѣ люди „сороковыхъ годовъ" уже не сходились съ новыми поколѣніями, гдѣ взгляды первыхъ могли не удовлетворять вторыхъ даже въ томъ случаѣ, еслибы не отступали, повидимому, отъ своего первоначальнаго типа. Первые были больше идеалисты и, по необходимости, отвлеченные либералы, когда вторые больше чувствовали реальныя стороны жизни, науки и искусства. Эта разница понятна. Первые начинали то дѣло, которое продолжали вторые, и продолженіе естественно встрѣчало новыя стороны предмета, ближе опредѣляло прежнія, отъ вещей общихъ приходило къ частностямъ, отъ отвлеченныхъ—къ практическимъ. Съ другой стороны измѣнилось направленіе европейской мысли, которая продолжала оказывать сильное вліяніе на содержаніе нашей образованности. Первые больше были подъ вліяніемъ отвлеченно-философскихъ, общеисторическихъ изученій, или встрѣчались съ ученіями соціальными въ ихъ самой крайней идеалистической формѣ у французскихъ соціалистовъ, которые могли дать только самыя общія черты своего отдаленнаго идеала. Вторые уже не видѣли безусловнаго господства отвлеченной философіи, и больше знакомы были или съ ея послѣдними развитіями у лѣвой стороны гегеліанства, или съ новыми изслѣдованіями въ области естественной философіи и соціологіи; изученія историческія приняли болѣе широкій и положительный характеръ, который представляла теперь сама европейская литература, и который обнаруживался также и въ нашихъ собственныхъ изученіяхъ своего прошедшаго; политико-экономическія ученія новѣйшаго времени оставили почву отвлеченнаго соціализма, и говорили о достиженіи лучшаго устройства экономическихъ отношеній уже не фантастическими, но въ дѣйствительности возможными средствами, напр., извѣстными учрежденіями, развитіемъ коопераціи внѣ государственной иниціативы или подъ ея прямымъ вѣдѣніемъ, и т. д. Новое положеніе печати, во всякомъ случаѣ болѣе благопріятное, чѣмъ прежде, произвело также разницу условій, вліяніе которой отражается и на сужденіяхъ о литературѣ сороковыхъ годовъ. Наконецъ, самыя событія, преобразованія, совершавшіяся въ новый правительственный періодъ, могли производить, и производили на тѣхъ и дру-

гихъ различное впечатлѣніе. Первые мечтали нѣкогда о лучшихъ временахъ, о бо́льшей свободѣ для общества, литературы и науки, но такъ мало видѣли кругомъ себя условій для этого, такъ мало надѣялись въ свое время на исполненіе своихъ мечтаній, и съ другой стороны вынесли изъ-за нихъ такъ много мелкихъ и крупныхъ испытаній, что этихъ людей, очевидно, должна была удовлетворять гораздо меньшая доля исполненія ихъ желаній, чѣмъ тѣхъ, для кого общественный опытъ почти начинался прямо съ этого новаго порядка вещей. Для первыхъ было важно одно то, что признанъ былъ тотъ или другой общій принципъ: по тому, что они видѣли въ прежней русской общественности, и это казалось уже, и дѣйствительно было, важнымъ пріобрѣтеніемъ, и утомившаяся энергія не увлекалась новыми исканіями. Для вторыхъ, новыя начала, вводимыя въ жизнь, казались уже дѣломъ необходимости, условіемъ національнаго существованія, которому безъ этого грозила, по ихъ мнѣнію, серьезная опасность ослабленія и упадка, въ виду европейскаго сосѣдства и враждебнаго соперничества. Съ этой точки зрѣнія, справедливость которой едва ли подлежитъ сомнѣнію, не довольно было одного неяснаго, обоюднаго заявленія новыхъ началъ, но было необходимо энергическое ихъ выполненіе, потому что только это послѣднее могло быть сколько-нибудь дѣйствительнымъ средствомъ противъ многоразличныхъ золъ, продолжающихъ искажать и обезсиливать внутреннюю русскую жизнь. Чѣмъ больше вторые имѣли случаевъ убѣждаться въ слабости реформы, тѣмъ больше ихъ взгляды дѣлались исключительными и тѣмъ меньше становилось возможно соглашеніе съ идеалистическимъ оптимизмомъ.

Таково отношеніе двухъ періодовъ прогрессивнаго направленія нашей литературы или, пожалуй, двухъ литературныхъ и общественныхъ поколѣній. Если притомъ многіе изъ людей если не вполнѣ принадлежавшихъ, то все-таки прикосновенныхъ къ школѣ сороковыхъ годовъ впослѣдствіи не выдержали своего прогрессивнаго направленія и, напр., изъ англоманско-либеральнаго „Русскаго Вѣстника" пятидесятыхъ годовъ могли произойти позднѣйшіе „Русскій Вѣстникъ" и „Московскія Вѣдомости", и послѣднія могли пріобрѣтать не менѣе пламенныхъ поклонниковъ, чѣмъ имѣли въ пору своего либерализма, то очевидно, что отступленіе бывшихъ либераловъ на попятный дворъ можетъ разсматриваться не только какъ ихъ личное дѣло, но и какъ явленіе общественнаго свойства. Если въ отступленіи и былъ разсчетъ на личный интересъ, то возможность популярности, пріобрѣтаемой на новомъ полѣ, показывала, что въ самомъ обще-

ствѣ взяли верхъ иные инстинкты, и писатели, послѣдовавшіе за ними, возвращались въ ту же толпу, изъ которой выдѣлились нѣкогда, какъ руководители ея къ лучшимъ цѣлямъ. Въ этой массѣ снова заговорили ея давнишнія свойства, та умственная лѣнь, ненависть къ тому, что не льститъ ея грубому самодовольству, тѣ инстинкты застоя, которые нѣсколько десятилѣтій тому назадъ обошлись обществу такъ дорого.

Насъ отдѣляетъ отъ литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ цѣлый періодъ новаго развитія, въ которомъ совершилось много важныхъ событій, общественныхъ и литературныхъ; теперь привыкли считать описываемое нами время давнимъ прошлымъ, которое мы далеко опередили, но, какъ ни важны многія изъ совершившихся перемѣнъ, въ сущности наше время, по своему содержанію, еще не такъ далеко ушло отъ этого давняго прошедшаго и не исполнило тѣхъ задачъ, которыя это прошедшее ставило нашему общественному развитію и литературѣ. Не будемъ говорить о тѣхъ понятіяхъ гражданской жизни, которыя были уже прочно усвоены лучшими людьми той эпохи и которыя до сихъ поръ еще не были признаны нашимъ временемъ и не получили мѣста въ учрежденіяхъ. Вопросъ образованія, хотя самимъ обществомъ было положено не мало прекрасныхъ намѣреній и дѣйствительнаго труда для его разъясненія,—все еще находится въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Въ умахъ и нравахъ общества, и въ самыхъ учрежденіяхъ, не существуетъ то понятіе, безъ котораго немыслимы серьезные успѣхи въ образованіи,—понятіе о свободѣ научнаго изслѣдованія. Положеніе науки, правда, съ тѣхъ поръ нѣсколько улучшилось, но сущность его осталась та же. Какъ тогда, наука все еще находится подъ недовѣрчивымъ надзоромъ; ея отрасли все еще дѣлятся на полезныя и вредныя, желательныя и нежелательныя; нѣкоторыя все еще не имѣютъ мѣста въ русской литературѣ и на русскомъ языкѣ. Такимъ образомъ, существованіе нашей науки до сихъ поръ случайно и непрочно, и она продолжаетъ оставаться въ вассальномъ отношеніи къ европейской образованности, которое оставляетъ за нами репутацію умственнаго несовершеннолѣтія и, къ сожалѣнію, не безъ основанія: отсутствіе возможности свободнаго изслѣдованія поневолѣ дѣлаетъ бѣдной нашу научную литературу и, ставя цѣлую нашу образованность въ подчиненіе европейской, отражается ущербомъ для самаго національнаго достоинства.

Подобныя неутѣшительныя явленія представляетъ нравственное состояніе общества. Можетъ казаться нерѣдко, что трудъ, положенный въ сороковыхъ годахъ на его нравственное возрож-

деніе и продолженный въ послѣдующія десятилѣтія лучшими силами литературы, не принесъ своихъ плодовъ — даже въ средѣ наиболѣе образованнаго класса, изъ котораго выходитъ теперь столько поборниковъ застоя и обскурантизма, и который, однако, стоитъ во главѣ народа. Въ послѣдніе десятки лѣтъ мы много разъ могли видѣть, что преданія сороковыхъ годовъ теряли свое вліяніе, что преобразованія прошлаго царствованія, которыя при всей ихъ неполнотѣ были проблескомъ общественнаго совершенствованія, подвергались отрицанію и даже осмѣянію, и въ параллель къ этому въ литературѣ совершались явленія, свидѣтельствовавшія о несомнѣнномъ рецидивѣ застоя: въ господствующей массѣ общества нѣтъ тѣни идеальныхъ увлеченій, какія составляютъ залогъ развитія, и взамѣнъ распространяется безсодержательное, эгоистическое одичаніе... Отрадный противовѣсъ этому находимъ въ лучшей сторонѣ литературы, гдѣ еще до нашего времени дѣйствовали младшіе представители сороковыхъ годовъ—Ив. Аксаковъ изъ одного лагеря, Салтыковъ изъ другого; находимъ въ горячемъ стремленіи молодыхъ поколѣній къ образованію, въ порывахъ принести свои силы на служеніе народу: здѣсь идетъ живая струя идеализма, составляющая новѣйшее преемство движенія сороковыхъ годовъ. Мы хотѣли бы настоящимъ трудомъ напомнить объ источникахъ этого современнаго идеализма: изученіе преданій нашего собственнаго дѣла подкрѣпляетъ его сознаніемъ нравственной солидарности и исторической прочности.

Въ нашей литературѣ, къ сожалѣнію, и донынѣ слишкомъ часто чувствуется этотъ недостатокъ свободнаго движенія, который связывалъ мысль и стѣснялъ работу лучшихъ писателей, въ наукѣ и поэзіи, въ изученіи прошедшаго и въ изображеніяхъ настоящаго. Излагая нѣкоторые основные факты изъ исторіи нашего общественнаго самосознанія за вторую четверть вѣка, мы не могли не встрѣчаться съ прискорбными явленіями подобнаго рода. Скучно припоминать, что это навлекало настоящимъ очеркамъ нелѣпыя обвиненія — въ неуваженіи къ нашей литературѣ, въ желаніи бросать тѣнь на ея славныя имена, въ непризнаніи того, что̀ есть въ ней высокаго и замѣчательнаго и т. д., обычный пріемъ невѣжества, которому трудно отвѣчать вразумительнымъ для него образомъ. Эти очерки — не исторія художественной литературы; ихъ цѣлью было указать общественную сторону нашего литературнаго развитія, которое съ этой точки зрѣнія не было достаточно разъяснено. Мы старались прослѣдить трудную борьбу общественнаго сознанія среди крайне неблаго-

пріятныхъ условій, которыя извращали иногда и самое направленіе искусства. Указанные факты оставляютъ иногда, или даже часто, неблагопріятное впечатлѣніе, но неужели надо было скрывать или подкрашивать ихъ? И неужели это послѣднее было бы уваженіемъ къ литературѣ — и къ исторіи?

Литература считается отраженіемъ общества и, дѣйствительно, взятая въ цѣломъ, она отражаетъ и состояніе умовъ неподвижнаго, живущаго обычаемъ большинства, и положеніе той части общества, которое, покидая старое, ищетъ путей дальнѣйшаго развитія. Процессъ развитія, разъ возникшій, такъ настоятеленъ, что совершается даже наперекоръ всей силѣ еще господствующей старины. Въ своемъ изслѣдованіи мы хотѣли показать, по какимъ мотивамъ, въ какой мѣрѣ и цѣною какихъ усилій литература даннаго періода могла служить образованію общественныхъ понятій въ новомъ направленіи и создать то *движеніе*, къ которому восходятъ лучшія общественныя стремленія нашего времени.

То, чего мы глубоко желали бы для нашей литературы, — будетъ понятно читателю, у котораго есть интересъ къ ея широкому и свободному развитію и процвѣтанію.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Значеніе Гоголя въ созданіи современнаго международнаго положенія русской литературы.

Историческія поминки о дѣятеляхъ литературы и искусства, какъ настоящія поминки о Гоголѣ, нерѣдко имѣютъ двойственный характеръ—и отраднаго воспоминанія о великомъ дѣлѣ, какое было совершено мыслителемъ или художникомъ, и рядомъ, а это нерѣдко, скорбнаго воспоминанія о той тяжелой внутренней и внѣшней борьбѣ, какую приходилось выносить не только мыслителю и дѣятелю общественному, но и дѣятелю поэзіи, борьбѣ, гдѣ онъ, въ концѣ поприща, въ послѣдніе дни жизни, самъ не имѣлъ отрады достигнутаго успѣха, или наконецъ впадалъ въ страшное сомнѣніе: былъ ли правиленъ тотъ путь, какимъ была создана его слава, и не была ли эта слава грѣхомъ и преступленіемъ, когда на дѣлѣ эта слава была именно добрая и правильная. Оба эти впечатлѣнія проходятъ и въ воспоминаніяхъ о Гоголѣ: мы уже видимъ теперь весь объемъ благотворнаго дѣла, исполненнаго имъ для отечественной литературы, и все еще рѣшаемъ трудный психологическій вопросъ о томъ мучительномъ душевномъ разладѣ, какой тяготѣлъ надъ нимъ въ послѣдніе годы его жизни и подъ гнетомъ котораго онъ кончилъ эту жизнь.

Біографія его извѣстна; довольно сказать о главныхъ сторонахъ его внутренней жизни и творчества, которыя были основными чертами его біографіи и его великаго историческаго значенія.

Гоголь былъ однимъ изъ первостепенныхъ дѣятелей на всемъ пространствѣ русской литературы. Вспоминая его историческую роль, прежде всего приходитъ на мысль сравнить положеніе цѣлой литературы въ ту минуту, когда закончилась его дѣятельность, и теперь, въ его посмертный юбилей. Въ цѣломъ, поло-

женіе и роль русской литературы за этотъ историческій періодъ чрезвычайно измѣнились. Полъ-вѣка тому назадъ русская литература была почти неизвѣстна въ Европѣ; объ ней доходили на западъ только смутные слухи, повторялись, по словамъ самихъ русскихъ, немногія имена, но въ ней не находили никакого особеннаго интереса, — между прочимъ и справедливо, потому что приходилось бы встрѣчать немало прямыхъ отголосковъ того же европейскаго движенія. Въ настоящую минуту передъ нами нѣчто совершенно иное и раньше небывалое: русская литература въ глазахъ европейскихъ читателей и критики заняла свое независимое, своеобразное положеніе; русскіе новѣйшіе писатели являются во множествѣ переводовъ, производятъ сильное впечатлѣніе, имена ихъ становятся общеизвѣстными; смыслъ русской литературы становится понятенъ или по крайней мѣрѣ его усиливаются понять; одно знаменитое имя русской литературы пріобрѣло извѣстность буквально всемірную, и въ русской книгѣ какъ будто хотятъ искать вѣщаго слова.

Извѣстны эти имена, получившія за послѣдніе десятки лѣтъ великую популярность въ европейской литературѣ: прежде всего, кажется, сталъ широко извѣстенъ Тургеневъ, затѣмъ Достоевскій, частью Гончаровъ, всего болѣе гр. Л. Н. Толстой, наконецъ писатели молодого поколѣнія, изъ нихъ особливо Максимъ Горькій... Если мы станемъ исторически доискиваться, откуда развивается тотъ внутренній смыслъ, который является привлекающей силой русской литературы въ настоящее время, несомнѣнно однимъ изъ источниковъ этого глубокаго внутренняго значенія должно признать именно Гоголя.

Могутъ сказать, что Гоголь не имѣлъ и не имѣетъ однако ни большой извѣстности въ европейской литературѣ, ни большого вліянія. Дѣйствительно, Гоголь не только мало извѣстенъ, но былъ повидимому и мало понятенъ европейскому читателю: въ немъ слишкомъ много спеціально, технически, русскаго, чуждаго европейскому пониманію — нерѣдко прямо какъ иная ступень культуры. Подобнымъ образомъ европейскому читателю почти недоступенъ Салтыковъ, еще одинъ изъ великихъ писателей русской литературы; вѣроятно часто не совсѣмъ доступенъ и Л. Н. Толстой въ своихъ разсказахъ и драмахъ изъ народной жизни. Но относительно Гоголя мы имѣемъ въ виду собственный процессъ развитія самой русской литературы (онъ еще мало извѣстенъ западной критикѣ): Гоголь могущественно участвовалъ въ созданіи того нравственнаго настроенія, которое наряду съ геніальнымъ художественнымъ творчествомъ дало ему первенствую-

щую роль въ русской литературѣ; это настроеніе и сообщило дальнѣйшему развитію литературы тотъ же высокій тонъ общественнаго интереса и нравственнаго чувства и отсюда въ значительной мѣрѣ шло то нравственное и поэтическое обаяніе, какое на нашихъ глазахъ русская литература производитъ въ европейскомъ обществѣ.

Какимъ же образомъ западная критика объясняетъ тѣхъ русскихъ писателей, которые находятъ въ Европѣ столько поклонниковъ? Говоримъ о критикѣ потому, что она, очевидно, старается привести къ сознанію непосредственныя впечатлѣнія массы. Прежде всего поражало конечно обиліе и оригинальность русскаго художественнаго творчества: дѣйствительно, писатели, которыхъ мы назвали, представляютъ собою высокую и рѣдкую степень художественнаго дарованія,—оно само по себѣ могло быть залогомъ успѣха,—но затѣмъ, чему служило это художественное творчество, какія идеи и настроенія чувства оно воплощало?

Изъ многочисленныхъ отзывовъ европейской критики, которые здѣсь не время перебирать, возьмемъ отзывы одного писателя, вѣроятно наиболѣе извѣстнаго изъ европейскихъ критиковъ русской литературы и, быть можетъ, одного изъ самыхъ свѣдущихъ. Мы разумѣемъ виконта Мельхіора де-Вогюэ. Господствующимъ представленіемъ его относительно русскихъ писателей является то, что они (какъ сказалъ бы вѣроятно и Тэнъ) прежде всего отражаютъ въ себѣ свою *расу*. Вогюэ нѣсколько разъ повторяетъ эту мысль: этой расѣ онъ приписываетъ основы той оригинальности, которая очевидно въ его глазахъ не находитъ себѣ ничего подобнаго въ его соотечественникахъ, писателяхъ французскихъ. У Тургенева онъ находитъ „une âme slave“, славянскую душу; въ Достоевскомъ видитъ „un vrai scythe“, истаго скиѳа, и т. п. Конечно, критику было бы не легко объяснить съ точностью свойства именно „славянской“ души и въ концѣ концовъ проще было бы говорить о душѣ русской, о русскомъ національномъ характерѣ; и еще труднѣе было бы объяснить съ нѣкоторымъ вѣроподобіемъ „скиѳскую“ душу Достоевскаго, такъ какъ о скиѳахъ не только виконтъ де-Вогюэ, но и мы сами имѣемъ пока довольно смутное понятіе,—но очевидно во всякомъ случаѣ, что этими далекими эпитетами французскій критикъ хотѣлъ указать то исконное, первобытное, глубокое и оригинальное въ русской народности, въ русскомъ племени, что нашло свое выраженіе въ нашихъ великихъ писателяхъ.

Намъ самимъ подобныя опредѣленія кажутся слишкомъ мало говорящими вслѣдствіе самой ихъ обширности. Правда, съ ши-

рокой, именно междуплеменной, точки зрѣнія, опредѣленіе литературы очевидно должно начаться указаніемъ особенностей расы, — но не съ одной только этнографической стороны. Раса не есть нѣчто данное и неподвижное; это—явленіе историческое. Какія были исконныя свойства славянской расы, мы въ сущности не знаемъ; изъ этихъ предполагаемыхъ свойствъ развилось, напримѣръ, великое разнообразіе современныхъ славянскихъ народовъ; на первобытную основу пали цѣлыя тысячелѣтія исторіи и отъискивать именно „скиѳа" въ Достоевскомъ столь рискованно, что даже какъ будто смѣшно. Это, конечно, реторическая фигура, но цѣль ея сдѣлать особое удареніе на стихійной оригинальности русской литературы сравнительно съ европейскими.

И эта оригинальность не подлежитъ сомнѣнію. При всемъ громадномъ вліяніи европейскаго литературнаго движенія, вооруженнаго великими силами геніальнаго творчества въ наукѣ и поэзіи, русская литература, какъ только прошла свои учебные годы въ восемнадцатомъ вѣкѣ и началѣ девятнадцатаго, обнаружила тѣ особенности, какія сообщали ей весь народный характеръ и складъ русской жизни. Когда эти особенности высказались въ цѣломъ рядѣ писателей, даровитыхъ иногда до истинной геніальности, не мудрено, что европейскому литературному міру бросились въ глаза эти особенности, у нихъ дома или совсѣмъ невѣдомыя, или очень давно пережитыя, забытыя и потому опять новыя. Русскій писатель, нерѣдко очень просвѣщенный и знакомый съ литературнымъ движеніемъ европейскимъ, работалъ однако въ своей средѣ и для своей среды; изъ нея онъ волею или даже неволею заимствовалъ особую складку ума, впитывалъ лучшія чувства, и условія жизни просвѣщеннаго человѣка въ патріархальной средѣ создавали то особенное настроеніе, которое не однажды было предметомъ удивленія, а затѣмъ теплаго сочувствія у читателя европейскаго. Въ глазахъ послѣдняго, отличія „расы" были налицо. На самомъ дѣлѣ, по общимъ свойствамъ, наша раса была и есть такая же европейская; между міромъ европейскимъ и русскимъ вовсе нѣтъ той преграды, которая раздѣляетъ издавна и понынѣ племена арійскія и неарійскія. Но была громадная разница историческихъ условій. Исторія уже съ давнихъ вѣковъ развела русскій народъ отъ народовъ западной Европы множествомъ культурныхъ отличій, которыя стали наконецъ казаться принадлежащими самой расѣ. Прежде всего исторія поставила народы на разныхъ концахъ европейскаго материка. На западѣ въ тѣсномъ сравнительно пространствѣ размѣстилось нѣсколько народовъ на старыхъ развалинахъ

Рима въ оживленномъ развитіи международныхъ и внутреннихъ политическихъ отношеній, въ сильномъ соревнованіи умственномъ, изъ котораго выросла еще отъ среднихъ вѣковъ и Возрожденія богатая литература и наука. Русская жизнь ничего этого не знала. Когда Европа вступала на блистательный путь научныхъ открытій, когда она создавала Шекспира, изящную литературу и свободную мысль XVII и XVIII вѣка, въ русскомъ народѣ и даже высшемъ его классѣ сполна господствовали средніе вѣка. И здѣсь, съ давнихъ вѣковъ, складывалась своеобразная жизнь. Русскому народу пришлось вынести и наконецъ одолѣть азіатское иго. Политическое объединеніе русскаго народа въ государство, въ трудныхъ историческихъ условіяхъ XV вѣка, при скудости средствъ, безъ всякой чужой помощи, было уже великимъ національнымъ подвигомъ не только политическимъ, но и нравственнымъ, притомъ подвигомъ, совершеннымъ въ европейскомъ духѣ,—потому что не только взялъ верхъ европейскій политическій смыслъ надъ азіатскимъ стаднымъ инстинктомъ, но и европейское національное чувство, воспитанное христіанствомъ. Съ самаго начала, въ страшныхъ бѣдствіяхъ татарскаго ига русскій народъ никогда нравственно не подчинялся и считалъ себя всегда нравственно выше своихъ завоевателей. Въ русскомъ народномъ сознаніи Русь была „святая"; азіятскій иновѣрный востокъ былъ „поганый". Это сопоставленіе длилось цѣлые вѣка, и въ русскомъ народѣ среди всѣхъ испытаній жило сознаніе своего національнаго превосходства и съ тѣмъ вмѣстѣ нравственно-религіознаго долга. Новое основавшееся государство бывало очень несовершенно, бытовыя формы и нравы бывали первобытны; съ каждымъ вѣкомъ увеличивалось разстояніе, дѣлившее насъ отъ культуры европейской; въ Европѣ насъ считали варварами, да и теперь легко усматриваютъ между нами скиѳовъ;—но если недоставало культуры, въ русской народной массѣ складывались другія черты, имѣвшія свою нравственную цѣну. Единственная, широко распространенная литература до-Петровскихъ временъ было душеспасительное чтеніе, были церковныя книги, приноровлявшіяся наконецъ къ народному пониманію, легенда, иногда болѣе или менѣе суевѣрная, но становившаяся общимъ убѣжденіемъ и правиломъ жизни. Господствующимъ мѣриломъ душевнаго спасенія, т.-е. нравственности, было церковное благочестіе,—по недостатку знаній становившееся иногда слишкомъ внѣшнимъ и въ семнадцатомъ вѣкѣ создавшее неодолимый для государства сепаратизмъ раскола; а съ другой стороны эта народная масса, предоставленная самой себѣ, создавала богатую народную поэзію,

которая въ наши дни доставила въ высокой степени цѣнный матеріалъ для науки и стала цѣлымъ откровеніемъ народности для идеалистовъ-патріотовъ... Когда новѣйшее общество стало отдавать себѣ отчетъ въ этомъ состояніи народнаго быта, возникло, какъ извѣстно, цѣлое направленіе, увидѣвшее единственную возможность нравственнаго спасенія испорченнаго общества въ „единеніи“ съ народомъ, наконецъ единеніи абсолютномъ, въ „хожденіи въ народъ“, въ „опрощеніи“ и т. д.

Мы не думаемъ сказать, чтобы здѣсь была открыта абсолютная истина; но указываемъ на это явленіе,—въ западной Европѣ невѣдомое и небывалое,—какъ на свидѣтельство того, что самимъ русскимъ обществомъ было почувствовано что-то великое, освѣжающее, наводящее на глубокіе запросы въ томъ нравственномъ содержаніи, какое создавалось вѣковымъ инстинктомъ и чувствомъ громадной народной массы. Соціологовъ привлекала сельская община, въ которой видѣлась панацея для разрѣшенія земельнаго вопроса, привлекала артель, готовая форма рабочаго союза. Неотъемлемой чертой патріархальной древности являлась народная пѣсня. Нигдѣ въ Европѣ не сберерглось такого громаднаго обилія народной пѣсни, которое у насъ до сихъ поръ не исчерпано усердными этнографами, и эта поэзія исполнена величайшаго интереса. Въ живыхъ текстахъ уцѣлѣли остатки настроенія и обычая отдаленнѣйшихъ эпохъ; въ народной лирикѣ передаются въ поэтическихъ образахъ отраженія глубокаго человѣчнаго чувства, которыя производятъ тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, когда мы отдаемъ себѣ отчетъ въ условіяхъ, среди которыхъ совершалось это наивное, но задушевное и нерѣдко потрясающее творчество. Европейскіе ученые, которымъ, изрѣдка, случалось знакомиться съ подлинными памятниками этой поэзіи, изумлялись передъ великимъ богатствомъ и поэтическимъ достоинствомъ этого патріархальнаго творчества, которое на западѣ Европы давно уже изсякло и забылось...

Такова была „раса“ и среда.

Западная критика не ошиблась, когда въ великихъ новѣйшихъ писателяхъ русской литературы видѣла отголоски этой „расы“, только, быть можетъ, не вполнѣ сознавала пути ея дѣйствія... Въ самомъ дѣлѣ, когда являлся въ нашей литературѣ писатель геніальной силы, какъ Пушкинъ, Гоголь, Толстой или писатели великаго дарованія, какъ Тургеневъ, Достоевскій и проч., они не могли оставаться чужды той средѣ, которая ихъ окружала; сознательно и безсознательно они воспринимали ея впечатлѣнія и (что бы ни говорили такъ называемые чистые эстетики)

истинно-великія дарованія всегда извлекаютъ изъ жизни ея лучшіе и возвышенные нравственные элементы. Въ русской литературѣ являлось при этомъ еще особенное условіе. Образованные люди новѣйшихъ временъ не были конечно людьми патріархальныхъ временъ, какъ ихъ предки—бояре и дворяне XVI и XVII вѣка: успѣхи европейскаго гуманнаго образованія, и здравый личный инстинктъ внушали имъ новое отношеніе къ народной массѣ: громадное большинство этой массы были крѣпостные и еще со второй половины XVIII вѣка въ кругу образованныхъ людей слышатся убѣдительные призывы къ освобожденію. При тогдашнемъ положеніи вещей высказать эту мысль объ освобожденіи бывало не вполнѣ безопасно, иногда невозможно, и если тѣмъ не менѣе эта мысль высказывалась, это было очевидно знаменательнымъ выраженіемъ нравственнаго достоинства литературы, и если этимъ настроеніемъ диктовалось само художественное творчество, какъ въ нѣкоторыхъ пьесахъ Пушкина, въ „Запискахъ охотника“ Тургенева, въ „Антонѣ Горемыкѣ“ Григоровича, литература выступала здѣсь на самое высокое изъ ея дѣлъ—на защиту человѣческаго достоинства въ безправномъ, униженномъ и оскорбленномъ.

Союзъ литературы съ народною средою былъ ясенъ.

Этотъ союзъ обнаруживался и въ содержаніи и въ формѣ. Относительно содержанія, это единеніе ничѣмъ не могло быть доказано такъ сильно, какъ упомянутой настойчивой мыслью объ освобожденіи крестьянъ, мыслью, которая одинаково одушевляла людей двухъ главныхъ литературныхъ направленій до самаго акта освобожденія. Рядомъ съ этимъ шло усиленное стремленіе къ изученію народной жизни, создавшее съ одной стороны многочисленные опыты художественнаго изображенія народнаго быта,—составившіе потомъ цѣлую яркую полосу нашей литературы,—съ другой массу научныхъ изслѣдованій о русской старинѣ и народности. Въ этихъ опытахъ художественнаго воспроизведенія, начиная еще въ восемнадцатомъ вѣкѣ съ Новикова и Радищева и продолжая потомъ Жуковскимъ, Пушкинымъ, Гоголемъ и наконецъ ихъ школой, сказалась уже та особенная черта русской литературы, которая почти неизвѣстна и даже мало понятна въ литературѣ западно-европейской—чрезвычайно непосредственная, ясная, нерѣдко задушевная близость русскаго писателя къ народу и его жизни... Вслѣдствіе того, что наша художественная литература была еще слишкомъ молода, она еще не успѣла утратить пониманія патріархальныхъ настроеній народа, что̀ для литературы европейской становилось почти невозможно. Послѣдняя уже въ теченіе многихъ вѣковъ развивала и наконецъ выработала лите-

ратурное художество, исполненное искуственной манерности и условнаго языка, когда вмѣстѣ съ тѣмъ и народная масса, въ значительной мѣрѣ культурная или полу-культурная, потеряла патріархальную поэзію, которая могла бы быть привлекательна для образованнаго общества. Тургеневъ разсказывалъ, что извѣстный Мериме, знакомый съ нашей литературой, изумлялся въ произведеніяхъ Пушкина библейской простотѣ его языка (въ „Пирѣ Петра Великаго"), которая для европейскаго писателя была бы немыслима. По своей новости и по малому сравнительно распространенію въ обществѣ наша литература не выработала и донынѣ той условной и часто изысканной рѣчи, какая свойственна литературамъ Запада, но сохранила близость съ богатымъ источникомъ живой народной рѣчи. Мы были свидѣтелями того, что величайшій русскій писатель настоящаго времени рѣшался даже совсѣмъ отвергнуть свой прежній художественный трудъ, разсчитанный на болѣе высокій уровень читателей, чтобы впредь посвящать его всей массѣ читателя народнаго: цѣлый рядъ его произведеній изъ народной жизни и легенды былъ написанъ внѣ обычныхъ условностей формы и языка, чтобы быть доступнымъ каждому только грамотному читателю; при этомъ писатель не остановился даже передъ угловатыми и грубыми пріемами народной рѣчи.

Все это должно было казаться чрезвычайно оригинальнымъ, страннымъ, быть даже мало понятнымъ для читателя европейскаго, способнаго узнать русскую литературу. Поражали и содержаніе, и форма, и языкъ. И естественно, что европейскій критикъ, желавшій объяснить себѣ эти своеобразныя черты нашей литературы, приходилъ къ заключенію, какъ виконтъ де-Вогюэ, что источникъ этихъ особенностей есть „раса", что русскіе писатели обладаютъ „славянской душой" и т. д. Мы сказали выше, что дѣло не столько въ „расѣ", сколько въ исторической національности. Русская литература дѣйствительно есть созданіе русской національной жизни и, въ основныхъ памятникахъ, выраженіе ея лучшихъ нравственныхъ настроеній и стремленій.

Въ періодъ времени, почти совпадающій съ періодомъ посмертнаго юбилея Гоголя, дѣйствіе русской литературы вышло за предѣлы русской территоріи и русскаго языка... Если у насъ, въ нашемъ собственномъ кругу, еще не очень давно слышалось недовольство недостаточной самостоятельностью нашей литературы относительно вліяній европейскихъ, то современный успѣхъ ея въ Европѣ, съ упомянутыми славянскими и скиоскими эпитетами, указываетъ достаточно, что въ этомъ недовольствѣ былъ

извѣстный обманъ зрѣнія. Наша литература долго не знала критики международной, и понятно, что на свѣжій, притомъ чужой глазъ, можетъ открываться и то, что нами самими не замѣчается. Иностранная критика, болѣе или менѣе компетентная, видѣла иногда связь русскихъ литературныхъ явленій съ западными, и даже нѣкоторую зависимость, но вмѣстѣ съ тѣмъ находила въ нихъ необычайную и неизвѣстную въ Европѣ оригинальность и силу. Такъ рѣшался вопросъ о самостоятельныхъ элементахъ русской литературы.

Если мы спросимъ себя, гдѣ источникъ, первое начало этой самостоятельности, отвѣтъ представляется прежде всего недавнимъ историческимъ признаніемъ великой національной заслуги Пушкина. Онъ дѣйствительно привилъ нашей литературѣ самобытное художественное творчество, но онъ еще не исчерпалъ задачи; вторую долю ея исполнилъ Гоголь. Не разъ поднимался вопросъ о томъ, кто изъ двухъ великихъ писателей былъ ближайшимъ вдохновителемъ того движенія, какое совершалось во второй половинѣ столѣтія; кому принадлежало здѣсь основное вліяніе—Пушкину или Гоголю. Предпочесть рѣшительно того или другого было бы дѣломъ произвольнымъ и празднымъ. Литературныя явленія всегда бываютъ столь сложны, что чѣмъ болѣе мы находимъ дѣйствующихъ факторовъ, тѣмъ ближе бываемъ къ истинѣ. Тѣ, кто хотѣлъ сдѣлать Пушкина единственнымъ основателемъ новѣйшей русской литературы, между прочимъ приводили восторженныя слова самого Гоголя, который признавалъ Пушкина своимъ учителемъ; приводили слова Тургенева, который, въ другомъ поколѣніи, считалъ себя ученикомъ Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, Пушкинъ былъ могущественнымъ дѣятелемъ новой русской литературы; онъ завершилъ старый, подготовительный періодъ ея развитія и впервые открылъ путь ея самостоятельнаго, національнаго творчества. Но затѣмъ Гоголь въ свою очередь былъ не менѣе знаменательнымъ дѣятелемъ. Сколько бы самъ онъ ни считалъ Пушкина своимъ учителемъ, ученикъ и учитель были такъ различны, что поставить ихъ въ непосредственную преемственность нѣтъ возможности. Самъ Гоголь указывалъ, что сюжетъ „Мертвыхъ Душъ" былъ данъ ему Пушкинымъ, но тотъ же Гоголь разсказываетъ, что когда онъ прочелъ Пушкину первый очеркъ изъ этихъ „Мертвыхъ Душъ", Пушкинъ былъ пораженъ картиной, для него, очевидно, совершенно неожиданной. По собственнымъ словамъ Гоголя, при этомъ чтеніи „Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все су-

мрачнѣе и сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: Боже, какъ грустна наша Россія"... Въ этомъ впечатлѣніи сказалась вся разница двухъ писателей и разница ихъ литературнаго вліянія. Въ геніальномъ дарованіи Гоголя были черты, какихъ у Пушкина не было. Кромѣ необычайной наблюдательности, съ которой онъ умѣлъ схватывать и изображать характеры и которая сдѣлала его родоначальникомъ русскаго литературнаго реализма, его взглядъ на дѣйствительность отличался тѣмъ особеннымъ (по „расѣ"—малорусскимъ, по литературно-исторической манерѣ отчасти романтическимъ) юморомъ, который дѣлалъ его способнымъ „сквозь видимый міру смѣхъ" указать „незримыя, невѣдомыя ему слезы"; другими словами, подъ внѣшней формой шутливаго разсказа снять завѣсу съ тяжелой, мрачной картины дѣйствительной жизни и глубоко затронуть личное нравственное чувство и чувство общественное. Таковы были уже тѣ петербургскія повѣсти, которыя были одними изъ первыхъ произведеній Гоголя и побудили Бѣлинскаго тогда же признать въ немъ великаго русскаго писателя; таковъ былъ дальше „Ревизоръ" и, наконецъ, самое великое изъ его произведеній, „Мертвыя Души"... Впослѣдствіи Гоголь въ періодъ его мрачнаго настроенія (съ половины сороковыхъ годовъ) упорно отрицался отъ этой общественной стороны своихъ произведеній, будто бы вносившей въ высокое искусство легкомысліе насмѣшки и каррикатуры, но общество ни тогда, ни послѣ не убѣдилось его отрицаніями и донынѣ продолжаетъ считать именно эти его произведенія вѣнцомъ его творчества и однимъ изъ лучшихъ созданій всей русской литературы.... Чтобы отвергать эти творенія, Гоголю надо было отказываться отъ себя самого. Дѣйствительно, съ самыхъ юныхъ лѣтъ имъ владѣло очень туманное, но упорно въ немъ жившее сознаніе, что онъ призванъ и долженъ совершить нѣчто великое для своего отечества. Сознаніе не было ясно, но уже въ ту пору онъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ, съ пренебреженіемъ смотрѣлъ на тѣхъ товарищей, которые не тревожили себя никакими вопросами о жизни; онъ называлъ ихъ презрительнымъ именемъ „существователей", какъ потомъ съ пренебрежительной ироніей говорилъ о людяхъ общества, „нѣсколько беззаботныхъ насчетъ литературы", и т. п.

Въ первые годы своей петербургской и московской жизни, когда только-что написаны были „Вечера", Гоголь, въ сущности еще юноша, двадцати двухъ-трехъ лѣтъ, поражалъ своихъ знакомыхъ, опытныхъ литераторовъ старшаго поколѣнія, какъ Плет-

невъ и С. Т. Аксаковъ, своимъ глубокимъ взглядомъ на великое значеніе искусства; и что они понимали въ немъ необычайную творческую силу, объ этомъ свидѣтельствуютъ отзывы изъ того времени и Плетнева и Аксакова, и самое то обстоятельство, что онъ, только-что начинавшій писатель, былъ уже принятъ какъ равный въ кругу Пушкина и Жуковскаго. На что же направлена была эта творческая сила? Именно на то примѣненіе искусства, когда оно стремится, не довольствуясь спокойнымъ эпическимъ изображеніемъ жизни или же лирикой личнаго чувства, ставить нравственный вопросъ общественной жизни, проникнуть сквозь внѣшнюю оболочку общественныхъ нравовъ въ ихъ подлинную подкладку, указать нравственную извращенность и рядомъ съ ней причиняемое этимъ страданіе. Результатомъ было впечатлѣніе не только художественное, но и общественное. Впослѣдствіи, въ своемъ консервативномъ піэтизмѣ Гоголь укорялъ себя за слишкомъ большое обиліе въ его произведеніяхъ характеровъ пошлыхъ и отсутствіе лицъ идеальныхъ, возвышающихъ душу и примиряющихъ съ жизнью; утверждалъ, что его сатирическія изображенія были каррикатурами (хотя и позднѣе онъ сознавалъ, что примиренія не выдумаешь, если его нѣтъ въ дѣйствительности),— но эти позднѣйшія самообвиненія были совершенно несправедливы. Что его картины русской жизни не были ложны и не были каррикатурой, это очень хорошо видѣло само русское общество и во главѣ его императоръ Николай I, потребовавшій исполненія на сценѣ „Ревизора“; масса общества создала Гоголю литературный успѣхъ, съ которымъ могъ равняться только успѣхъ одного Пушкина. Литературная критика (за исключеніемъ тѣхъ немногихъ, которые изъ извѣстнаго рода услужливости старались умалить общественное значеніе писателя, или искренно не понимали реализма Гоголя по привычкѣ къ романтической напыщенности), литературная критика, въ лицѣ Бѣлинскаго, встрѣтила Гоголя съ настоящимъ энтузіазмомъ, восхищалась въ немъ не только удивительнымъ художественнымъ мастерствомъ, но высоко оцѣнила въ немъ это общественное значеніе въ которомъ видѣло залогъ общественнаго сознанія, никогда раньше не сказавшагося въ нашей литературѣ съ такою убѣждающею силою. Критика вовсе не думала упрекать Гоголя за недостатокъ „идеальныхъ лицъ“,—потому что возвышенный идеалъ нравственный и общественный самъ собою возникалъ передъ читателемъ, какъ требуемый инстинктомъ чувства въ противуположность картинамъ отрицательной дѣйствительности. И самъ писатель не однажды указывалъ читателю путь къ этому идеалу. Не разъ онъ преры-

валъ теченіе сатиры или изображенія гнетущихъ явленій жизни и, какъ бы самъ утомленный тяжелой картиной, оставляя роль повѣствователя, высказывалъ свое личное чувство въ лирическихъ отступленіяхъ или моральныхъ истолкованіяхъ. У писателя оказывался такой запасъ теплаго чувства, такая глубина человѣчности, что, повидимому, мелкая шуточная исторія переходила въ драму, или въ трогательное повѣствованіе, въ которомъ читатель не могъ оставаться равнодушнымъ... Въ первыхъ петербургскихъ повѣстяхъ мы находимъ уже яркія проявленія этой стороны его таланта.

Какой задушевностью проникнутъ разсказъ о тихомъ, незамѣтномъ, какъ будто ничтожномъ существованіи „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“; какое сильное впечатлѣніе производила исторія „Шинели“, отнятой грабителями у бѣднаго стараго чиновника. Напомнимъ эпизодъ: „Только если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мѣшая заниматься своимъ дѣломъ, онъ произносилъ: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосѣ, съ какимъ онѣ были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человѣкъ, недавно опредѣлившійся, который, по примѣру другихъ, позволилъ-было себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто пронзенный, и съ тѣхъ поръ какъ будто все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ свѣтскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкою на лбу, съ своими проникающими словами: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ И въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: „я братъ твой“. И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ“... Шутовская исторія ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ заканчивается печальной нотой, которой не ожидаетъ читатель и которая бросаетъ тѣнь на весь разсказъ. Въ удивительныхъ „Запискахъ Сумасшедшаго“, въ смѣшной и страшной картинѣ безумія опять проходитъ въ концѣ воспоминаніе несчастнаго безумца о матери —у нея одной онъ надѣется найти защиту. Финалъ „Записокъ“

есть цѣлая трагедія, одинъ изъ самыхъ поразительныхъ эпизодовъ всей русской литературы. Въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ въ послѣднихъ заключительныхъ словахъ автора Гоголь высказалъ свои собственныя думы о значеніи литературы. Авторъ говоритъ, что „не могла выносить равнодушно его душа, когда совершеннѣйшія творенія честились именами пустяковъ и побасенокъ“: „Ныла душа моя, когда я видѣлъ, какъ много тутъ же, среди самой жизни, безотвѣтныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижнымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вздрагивалъ даже ни призракъ выраженія отъ того, что̀ повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коснѣлъ языкъ ихъ произнести свое вѣчное слово „побасенки!“ Побасенки!.. А вонъ протекли вѣки, города и народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что̀ было, а побасенки живутъ и повторяются понынѣ и внемлютъ имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ и полный благороднаго стремленія юноша“... И въ концѣ защита его собственнаго дѣла.

Въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ Гоголь въ рядѣ тонко написанныхъ сценъ собралъ разнообразныя впечатлѣнія читателей и зрителей его пьесы и особенно остановился на тѣхъ обвиненіяхъ, какія посыпались на него со стороны приверженцевъ литературной рутины, а также и отъ представителей рутины чиновнической, привыкшей утверждать, что все обстоитъ благополучно, и привыкшей къ тому, чтобы всякое злоупотребленіе было шито и крыто. Пьеса, гдѣ въ первый разъ въ русской литературѣ сказана была объ этомъ жестокая правда, возбудила въ затронутомъ лагерѣ страшное негодованіе: писателя обвиняли въ опасномъ колебаніи авторитета власти; враждебные критики упрекали его въ грубой каррикатурѣ, въ пустомъ глумленіи и т. д.... Съ твердымъ сознаніемъ правоты своего дѣла онъ говорилъ: „Бодрѣй же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій... не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеньяхъ и въ святой любви къ человѣчеству! Міръ — какъ водоворотъ: движутся въ немъ вѣчно мнѣнья и толки; но все перемалываетъ время: какъ шелуха, слетаютъ ложныя, и, какъ твердыя зерна, остаются недвижныя истины... И почему знать, можетъ быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бѣдъ,—въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто ду-

шевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ"!..

Еще раньше, какъ мы упомянули, подъ впечатлѣніемъ первыхъ повѣстей Гоголя Бѣлинскій уже увидѣлъ въ немъ великаго писателя русской литературы (Гоголю было тогда около двадцати-пяти лѣтъ; критикъ былъ годомъ моложе); „Ревизоръ" и „Мертвыя Души" подтвердили его восторженное предсказаніе. Самъ Гоголь въ „Мертвыхъ Душахъ", въ извѣстныхъ лирическихъ мѣстахъ, говорилъ уже съ увѣренностью о томъ, чего ждетъ отъ него Россія, и передъ нимъ рисовалась картина будущаго предстоящаго величія русскаго народа... Въ ту минуту казались преувеличенной самонадѣянностью слова писателя о самомъ себѣ; но, когда писатель и его дѣло стали достояніемъ исторіи, эти, какъ будто фантастическія слова становятся драгоцѣннымъ свидѣтельствомъ беззавѣтной, самоотверженной преданности писателя своей высокой задачѣ, свидѣтельствомъ его пламенныхъ ожиданій величія русскаго народа и государства... Финалъ первой части „Мертвыхъ Душъ" есть извѣстная фантастическая картина Руси, которая несется впередъ какъ „бойкая, необгонимая тройка", „вся вдохновенная Богомъ". „Русь, куда жъ несешься ты? дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта... и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства".

Мы были свидѣтелями, что дѣйствительно другіе народы, „косясь", даютъ дорогу между прочихъ и русской литературѣ.

Таковъ былъ писатель. Великое значеніе Гоголя заключается въ томъ, что онъ впервые направилъ геніальное художественное творчество не на отвлеченныя темы искусства, не на одинъ спокойный, часто какъ бы безстрастный эпосъ, но именно на прямую, житейскую, обыденную дѣйствительность и вложилъ въ свой трудъ всю страсть исканія правды, любви къ простому человѣчеству, защиты его права и достоинства, обличенія всякаго нравственнаго зла, окружающаго нашу жизнь. Онъ сталъ поэтомъ дѣйствительности и его великій успѣхъ былъ уже не только однимъ дѣломъ эстетическаго вкуса, но и дѣломъ чрезвычайно сильнаго общественнаго впечатлѣнія... Если взглянуть на дальнѣйшій ходъ русской литературы, для насъ представляется несомнѣннымъ, что интересъ этой литературы къ изображенію внутреннихъ движеній личной жизни и къ изображенію явленій общественныхъ, осужденіе общественныхъ неправдъ и исканіе нравственнаго идеала, все это жизненное стремленіе общества—въ чисто художественной области всего больше восходитъ именно къ Гоголю. Такъ, очевидно, что первое произведеніе Достоевскаго: „Бѣдные люди"

было прямо варіантомъ „Шинели“ Гоголя; какъ его изображенія людей, потерявшихъ внутреннее равновѣсіе („Двойникъ“ и проч.), близки къ „Запискамъ Сумасшедшаго“; такъ-называемая „натуральная“ школа сороковыхъ годовъ уже въ то время приписывалась внушеніямъ Гоголя. Цѣлый тонъ послѣдующей литературы, направленной на изученіе общественныхъ явленій, свидѣтельствуетъ о нравственномъ вліяніи Гоголя...

Извѣстна тяжкая внутренняя борьба, какую переживалъ Гоголь въ свои послѣдніе годы въ поискахъ истиннаго смысла искусства. Онъ былъ не въ силахъ разрѣшить поставленной имъ себѣ задачи; неудовлетворенный тѣмъ, что̀ было имъ создано раньше, онъ приходилъ къ отрицанію своихъ прежнихъ великихъ произведеній, своего „смѣха“, которому онъ прежде давалъ такую краснорѣчивую защиту; онъ впадалъ въ роковое противорѣчіе съ самимъ собой, впадалъ въ явныя и печальныя заблужденія, которыя (по выходѣ въ свѣтъ „Выбранныхъ Мѣстъ“) вызвали страстное негодованіе восторженныхъ поклонниковъ его прежнихъ произведеній,—но и среди этихъ глубоко печальныхъ ошибокъ, получившихъ для него истинно трагическое значеніе, оставалась одна черта, которая обезоруживала и примиряла: это—возвеличеніе искусства, которое становилось для него дѣломъ прямо религіознаго служенія.

Въ тяжелыхъ внѣшнихъ условіяхъ, въ какія становилась русская литература въ силу своей исторической судьбы, она, въ высшихъ моментахъ ея развитія дѣйствительно совершала высокое нравственное служеніе. Въ періодъ, слѣдовавшій за Гоголемъ, русская литература представила рѣдкое богатство высокихъ талантовъ, которые явились какъ будто за тѣмъ, чтобы выполнить драгоцѣнные завѣты Пушкина и Гоголя; явились дѣятели, когда поставлена была ясная задача. Это были дарованія сильныя, оригинальныя; каждый писатель шелъ своимъ путемъ, внося свои особенныя художественныя свойства, но ихъ всѣхъ одушевляютъ тѣ же общія идеалистическія стремленія, которыя теперь внушаютъ удивленіе и симпатіи въ литературахъ западной Европы. Западнымъ критикамъ видится здѣсь „славянская душа“, мерещатся „скиѳы“: это, проще,—результатъ внутренней душевной работы лучшихъ силъ русскаго общества, нашедшей свое выраженіе въ литературѣ, гдѣ сошлись давнія исканія нравственнаго чувства и художественнаго творчества, общечеловѣческіе просвѣтительные идеалы, частію поддержанные ученіями той же Европы, но въ цѣломъ развитые собственной работой, и съ этимъ вмѣстѣ простая, человѣчная близость къ своему народу. Трудъ литера-

туры былъ тяжелъ; онъ требовалъ нерѣдко истиннаго самоотверженія, но въ концѣ концовъ отсюда и могли произойти тѣ возвышенныя созданія, проникнутыя теплымъ идеализмомъ, исканіемъ правды и поразительною простотою художественнаго творчества; одно достигалось давней нравственной работой общества, другое— давнимъ любящимъ отношеніемъ къ народу. Однимъ изъ великихъ внушителей этого знаменательнаго движенія былъ многострадальный Гоголь.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Къ стр. 22 и мн. др. Сочиненія Бѣлинскаго цитируются по изд. Солдатенкова, М., 1859—1861. Въ 1900 г. предпринято „Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“, въ 12-ти томахъ, подъ редакціей и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Вышло семь томовъ. Т. XII предположено посвятить литературѣ предмета и указателямъ.

Къ стр. 23, 24 и др. Вопросъ о „романтизмѣ“ Жуковскаго, какъ и о характерѣ того вліянія, какое Жуковскій оказалъ на русскую литературу, подвергся коренному пересмотру въ замѣчательной книгѣ акад. А. Н. Веселовскаго „В. А. Жуковскій. Поэзія чувства и сердечнаго воображенія“. Спб. 1904. Въ виду ея важности, въ смыслѣ необходимаго дополненія къ характеристикѣ, данной А. Н. Пыпинымъ, на ней слѣдуетъ остановиться подробнѣе, указавъ ея общій характеръ и опредѣленіе того направленія, къ которому, по мнѣнію новѣйшаго изслѣдованія, долженъ быть отнесенъ Жуковскій.

А. Н. Веселовскій не рѣшается назвать свой трудъ біографіей. Исчерпавъ всѣ до сихъ поръ извѣстные матеріалы и много документовъ, явившихся въ его извлеченіяхъ впервые, авторъ предполагаетъ возможность открытія новыхъ фактовъ. Предпочитая назвать свою работу „реальной характеристикой“, онъ говоритъ: „Будущій біографъ поэта будетъ, безъ сомнѣнія, богаче меня фактами, либо не открытыми доселѣ, либо недосмотрѣнными мною. Послѣдней возможности я не отрицаю; но для меня всего важнѣе вопросъ: угадалъ ли я общее настроеніе, отвѣтилъ ли требованіямъ объективности безпристрастнымъ выборомъ матеріала, предоставляющимъ читателю выводы и оцѣнку? Къ этой объективности я стремился, сознавая, что она всецѣло недостижима. Я старался направить анализъ не столько на личность, сколько на общественно-психологическій типъ, къ которому можно отнестись отвлеченнѣе, внѣ сочувствій или отверженій, которыя такъ легко заподозрить въ лицепріятіи“.

Авторъ предпочитаетъ представить читателю въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ подлинный фактъ, чѣмъ растворить его хотя бы въ искусной, но неизбѣжно расплывчатой авторской передачѣ. Это

несомнѣнно, даетъ особую выразительность и силу тѣмъ обобщеніямъ автора, которыя являются естественнымъ результатомъ значительнаго подбора фактовъ. Въ этомъ отношеніи книга г. Веселовскаго полна мѣткихъ и сильныхъ опредѣленій, глубокихъ по захвату содержанія и оригинальныхъ по формѣ. Прежде всего это можно сказать по поводу выясненія литературныхъ направленій, извѣстныхъ подъ названіями „сентиментальныхъ" и „романтическихъ", характеристика и разграниченіе которыхъ служили камнемъ преткновенія для цѣлаго ряда изслѣдователей литературы, видѣвшихъ настоятельную необходимость опредѣлиться въ этихъ понятіяхъ. Съ Жуковскимъ связывали обыкновенно представленіе, какъ о наиболѣе типичномъ выразителѣ чувствъ и идей, настраивавшихъ человѣка „страстно, дѣвственно и недѣятельно" и входившихъ прежде въ понятіе *романтизма*. Понятіе это было неопредѣленно, какъ для сверстниковъ Жуковскаго, такъ и для ближайшаго (да и позднѣйшаго) къ нему литературнаго поколѣнія; въ немъ, по выраженію автора, было болѣе инстинкта, чѣмъ сознанія.

Въ главѣ „Эпоха чувствительности" авторъ даетъ характеристику того „новаго стиля", который сталъ водворяться въ европейскихъ литературахъ съ первой трети восемнадцатаго вѣка. Его зарожденію предшествовало соотвѣтственное настроеніе общественной психики, какъ отраженіе совершившагося соціальнаго переворота. Новое настроеніе вызвало протестъ противъ разсудочной искусственной культуры, законы которой создавались въ въ чопорныхъ съ виду европейскихъ салонахъ, стѣсняя чувство требованіями обрядоваго приличія, фантазію—условными литературными формами. Требованія свободы личности проникли въ сознаніе и воплотились въ идеалъ человѣка—добраго по природѣ, неиспорченнаго цивилизаціей. Чувство ставится выше разсудка (Руссо, Стернъ). Создалось цѣлое ученіе о чувствѣ и сердцѣ, о природѣ и естественности, природѣ—наставницѣ добру, милосердію, нравственности, ученіе о свободѣ страстей и идеалѣ демократіи. Послѣдователи новаго ученія, въ жизни и литературѣ, распадались на двѣ группы: одна группа характеризуется лучше всего дѣятелями нѣмецкаго Sturm und Drang'a шестидесятыхъ—восьмидесятыхъ годовъ восемнадцатаго вѣка. Ихъ характернѣйшій признакъ — вдохновенный энтузіазмъ, направленный на дѣятельный подвигъ и борьбу. „Они сознаютъ себя свободными отъ всѣхъ разсудочныхъ суевѣрій, которыя до тѣхъ поръ считались нормой жизни; изъ мѣщански-растворенной условной культуры ихъ тянетъ къ природѣ, къ народу и его пѣснѣ, къ идеализованной народной старинѣ, въ просторъ всемірной поэзіи, къ обновленію литературныхъ формъ". Рядомъ съ ними стоятъ люди другого склада: если тѣхъ можно было назвать бурными энтузіастами чувства, этихъ лучше всего опредѣлить, какъ мирныхъ энтузіастовъ чувствительности, замкнутыхъ въ восторженномъ анализѣ своихъ ощущеній, баюкающихъ себя тихими мечтами и нѣжными звуками. „Они боготворятъ Клопштока, піэтисты и мистики, могутъ пристроиться ко всякой церковно-религіозной реакціи, ужиться и съ

политической, ибо отошли отъ общественности въ міръ своего пресвчнаго „я", въ абстракцію „человѣчности", внутренней „свободы", въ уединеніе, въ природу, вѣщающую о благости Творца".

Эта сфера чувствительности, приводящая къ соотвѣтственнымъ идеаламъ любви и дружбы (amitié amoureuse), къ меланхоліи задумчивости, къ неопредѣленности въ выборѣ цвѣтовъ и красокъ, съ предпочтеніемъ всего неяркаго, половинчатаго въ литературѣ, выработала свои сюжеты и свой поэтическій языкъ. Въ этихъ признакахъ видѣли романтизмъ, и на его счетъ относили ту систему представленій и образовъ, которая питала типичную для того времени балладу. Но это не романтизмъ съ его теоретической обоснованностью, а доромантизмъ (итальянцы называли его preromanticismo на почвѣ чувствительности).

„Такъ,—говоритъ авторъ,—создалось литературное теченіе, вызвавшее къ бытію груды череповъ и скелетовъ, сонмы призраковъ и мыслей на кладбищѣ, все это закутанное ночью или освѣщенное задумчивой луною. Къ могиламъ паломничали неудачно влюбленныя барышни, любили рисовать могильный холмъ, на которомъ выписывали свое имя. Слезы и мысли о смерти, безотчетное уныніе стали литературной манерой, въ меланхолію играли („врачныя удовольствія меланхолическаго сердца" Шатобріана); у чувствительниковъ явился новый этикетъ, наслажденіе своимъ сердцемъ нормировалось разсудкомъ, и новый флагъ нерѣдко прикрывалъ вожделѣнія старой, чувствительной эклоги. Настроеніе охватило не только молодое поколѣніе Франціи и Италіи, но и стариковъ: галантная Аркадія перестала ворковать и настроилась на слезы; такой эклектикъ, какъ Монти, пишетъ „Entusiasmo malinconico", Пиндемонте чувствителенъ въ своихъ „Poesie campestri"; одинъ итальянскій журналистъ изъ іезуитовъ водитъ насъ, въ сопутствіи Юнга, по Campo-Santo въ Бергамо; пьеса озаглавлена: „Красоты Кладбища" (Il bello sepolcrale).

„Въ той же послѣдовательности подражанія европейскимъ литературнымъ вліяніямъ явились и у насъ произведенія, проникнутыя новымъ настроеніемъ, обнаружившія, что и у насъ наступилъ свой періодъ сердца. Уже Державина коснулись Юнгъ и Оссіанъ. Карамзинъ, окруженный французскими и нѣмецкими сентименталистами, явился „организаторомъ" цѣлой школы нашего сентиментализма. „Самъ онъ шелъ по чужимъ слѣдамъ, но его школа всего лучше выдаетъ слабости ремесла". Князь Шаликовъ весьма показателенъ для этой школы, которая послужила переходомъ къ настоящему творцу новаго направленія. „Засентиментальничалъ,— такъ опредѣляетъ авторъ новыя литературныя явленія,—и Жуковскій, единственный настоящій поэтъ эпохи нашей чувствительности, единственный, испытавшій ея настроеніе не литературно только, но страдой жизни, въ ту пору, когда сердце требуетъ опеки любви, и позже, когда оно ищетъ взаимности. И этотъ опытъ оставилъ глубокіе слѣды на человѣкѣ, далъ особый поворотъ его чувству, навсегда связавъ его "воспоминаніями"; мотивы сентиментальной поэзіи поддерживали его настроеніе, но оно наложило на нихъ печать искренности, изящной задумчивости, которая пере-

бивает условность голосомъ сердца. Этотъ поэтическій cliché, отзвукъ испытаннаго и выстраданнаго, связалъ его: настали иныя времена, проглянуло и позднее счастье, а начальное cliché повторяется среди шалостей Арзамаса и новыхъ увлеченій, „Отчетовъ о лунѣ“ и эпитафіи „бѣлки“. Точно Leitmotiv, отъ котораго поэтъ не можетъ отвязаться“.

Послѣдующія главы разсказываютъ жизнь Жуковскаго въ связи съ тѣми внѣшними и внутренними условіями, среди которыхъ происходилъ ростъ личности и развитіе поэтическаго таланта. За періодомъ юныхъ лѣтъ, когда совершился первый опытъ сентиментальнаго увлеченія и сложился идеалъ дружбы „вѣрной и вѣчной“, послѣдовала пора самообразованія, въ которомъ общественные вопросы сознательно отодвигались на второй планъ, уступая мѣсто самоусовершенствованію и самоуглубленію въ сферѣ интересовъ личнаго счастья; въ идеалѣ будущаго видную роль занимаетъ счастье семьи, если она будетъ, и затѣмъ уже исполненіе общественныхъ условій. Важнымъ средствомъ къ исканію совершенства является дружба. „Черта интересная для психологіи поэта, у котораго такъ много было мечтательности и самонаблюденія, такъ много полетовъ къ небу—и любви къ педагогическимъ таблицамъ, къ кропотливымъ, порой призрачнымъ выкладкамъ, какъ обезпечить себя матеріально; такъ много порядка—фантазіи“. Внимательному и детальному анализу подвергаетъ г. Веселовскій эволюцію общественныхъ взглядовъ Жуковскаго. Это не былъ гражданскій пѣснопѣвецъ (выраженіе кн. Вяземскаго). По отзыву Ал. Тургенева, — „у него все *для души*: душа его въ талантѣ, и талантъ въ душѣ“. Ко второй половинѣ жизни воззрѣнія Жуковскаго отлились въ благодушную систему общественности, въ основѣ которой лежитъ теорія гуманистической личности, „души“, прогрессъ опредѣляется „временемъ“, „Промысломъ“, его желательный характеръ—„умѣренность“ („умѣренность, покорность“, „Пѣвецъ въ Кремлѣ“), сдерживающее начало — историческое преданіе. Время — единственный, „вѣрный, сильный, но медленный создатель лучшаго“, оно „послушно одному Богу“. Исторія „говоритъ властителямъ: будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ; идите съ нимъ вмѣстѣ: впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете, онъ васъ покинетъ, повлечете его быстро впередъ—ниспровергнете все и себя: осмѣлитесь преградить ему дорогу — онъ васъ раздавитъ“. Историческое преданіе, — въ міросозерцаніи Жуковскаго, — то-же, что воспоминаніе: одно хранитъ лучшіе опыты сердца, которыхъ не забыть, другое — вѣковые опыты народной жизни, ихъ же не прейдеши. Промыслъ и общественные перевороты, нарушающіе умѣренность прогресса, сопоставляются въ апологѣ, написанномъ Жуковскимъ для Н. Тургенева, пострадавшаго въ событіяхъ 14 декабря 1825 года: въ переворотахъ многіе гибнутъ, для лучшихъ они—испытаніе свыше; такъ сгораетъ въ горнѣ голикъ, „а золото горитъ и не ропщетъ на судьбу и вѣритъ тому, что безъ огня не быть ему чистымъ, и радуется пламени, которое возноситъ его достоинство“. Онъ хлопоталъ о Н. Тургеневѣ, принималъ участіе въ личной судьбѣ декабристовъ, но ихъ движеніе осуждалъ

Чрезвычайно характерно отношеніе Жуковскаго къ Пушкину. Извѣстна та взаимная сердечная близость, которая связывала обоихъ поэтовъ. Послѣ смерти Пушкина Жуковскому, вмѣстѣ съ Дуббельтомъ, былъ порученъ разборъ его писемъ и бумагъ. Къ протоколу Дуббельта Жуковскій написалъ объяснительную записку, въ которой, исходя изъ понятныхъ въ настоящее время соображеній, счелъ нужнымъ защитить покойнаго поэта отъ подозрѣній со стороны Бенкендорфа въ политической неблагонадежности. „Благоволили ли вы,—спрашиваетъ Жуковскій послѣдняго,— взять на себя трудъ когда-нибудь съ нимъ говорить о предметахъ политическихъ?“ Вы слышали о нихъ отъ другихъ, „вмѣсто оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда невѣрными и весьма часто испорченными, злонамѣренныхъ переводчиковъ“. И Жуковскій излагаетъ политическое credo Пушкина: *Первое*: Я уже не одинъ разъ слышалъ, что Пушкинъ въ государѣ любитъ одного (Николая) своего благотворителя, а не русскаго императора, и что ему для Россіи надобно было совсѣмъ иное. Увѣряю васъ, напротивъ, что Пушкинъ (здѣсь говорится о томъ, что онъ былъ въ послѣдніе годы) рѣшительно убѣжденъ въ необходимости для Россіи чистаго, неограниченнаго самодержавія, и это не по одной любви къ нынѣшнему Государю, а по своей внутренней вѣрѣ, основанной на фактахъ историческихъ (этому теперь есть и письменное свидѣтельство въ его собственноручномъ письмѣ къ Чаадаеву. „Хотя я лично сердечно привязанъ къ императору, но я далеко не всѣмъ восторгаюсь, что вижу вокругъ себя: какъ писатель—я раздраженъ, какъ человѣкъ съ предразсудками— я оскорбленъ. Но клянусь вамъ честью, что ни за что на свѣтѣ я не захотѣлъ бы перемѣнить отечества, ни имѣть другой исторіи, какъ исторію нашихъ предковъ, такую, какъ намъ Богъ послалъ“,—изъ письма къ Чаадаеву). *Второе*: Пушкинъ былъ рѣшительнымъ противникомъ свободы книгопечатанія, и въ этомъ онъ даже доходитъ до излишества, ибо полагалъ, что свобода книгопечатанія вредна и въ Англіи. Разумѣется, что онъ въ то же время утверждалъ, что цензура должна быть строга, но безпристрастна, и что она, служа защитою обществу отъ писателей, должна также и писателя защищать отъ всякаго произвола. *Третье*: Пушкинъ былъ врагъ іюльской революціи. По убѣжденію своему онъ былъ карлистъ; онъ признавалъ короля Филиппа необходимымъ для спокойствія Европы, но права его опровергалъ и незыблемость законнаго наслѣдія короны считалъ главнѣйшею опорою гражданскаго порядка. Наконецъ, *четвертое*: онъ былъ самый жаркій врагъ революціи польской и въ этомъ отношеніи, какъ русскій, былъ почти фанатикъ („былъ почти фанатическій врагъ польской революціи и ненавидѣлъ революцію французскую, чему доказательство нашелъ я еще недавно въ письмахъ его женѣ“).—Таковы были главныя политическія убѣжденія Пушкина, изъ коихъ всѣ другія выходили, какъ отрасли. *Они были извѣстны мнѣ и всѣмъ его ближнимъ изъ нашихъ частыхъ, непринужденныхъ разговоровъ... И они были таковы уже прежде 1830 года*“. Пушкинъ созрѣлъ, мужалъ умомъ, онъ только-что достигъ своего полнаго поэтиче-

скаго развитія (его литературные враги, а за ними публика, говорили, что онъ упалъ—и это въ то время, когда написаны его лучшія произведенія), и что бы онъ ни написалъ, еслибъ несчастныя обстоятельства всякаго рода не упали на него обваломъ, не раздавили его, „перваго поэта Россіи"!

Изслѣдователи Пушкина могли бы составить любопытный комментарій къ этой оцѣнкѣ взглядовъ поэта,—комментарій, который выяснилъ бы, какую роль играли въ ней интересы „души" сравнительно съ истиннымъ образомъ Пушкина.

„Цѣнность этого документа,—говоритъ г. Веселовскій,—опредѣляется его назначеніемъ: онъ писанъ для Бенкендорфа, въ оправданіе Пушкина, въ интересахъ его семьи, въ защиту всѣхъ, кто близко стоялъ къ нему. Въ этомъ смыслѣ характеристику легко заподозрить въ преднамѣренномъ шаржѣ, но не касаясь оцѣнки взглядовъ самого Пушкина, я допускаю и безсознательный, невольный шаржъ—идеализаціи, къ чему, какъ никто, былъ способенъ Жуковскій. Эта черта давно и хорошо извѣстна его пріятелямъ: все, что входило въ кругъ его симпатій, выростало или поэтизировалось въ его мѣрку. Жуковскій *зналъ* своего Пушкина, который, казалось, зрѣлъ въ его глазахъ къ тѣмъ цѣлямъ общественнаго служенія и возвышенной поэзіи, которыя онъ ему ставилъ. Эти цѣли выяснились для Жуковскаго изъ того ограниченнаго круга идей, въ которыхъ онъ выросъ и созрѣлъ и которыя начинаетъ приводить въ систему. Мы видѣли, какъ онъ упорядочилъ свои общественные взгляды,—ими онъ мѣритъ Пушкина; и въ области духовно-нравственныхъ вопросовъ, волновавшихъ его со времени его юношескаго дневника, онъ пытается разобраться, привести ихъ къ органической цѣльности. Они окончательно опредѣлятъ какъ его взглядъ на возвышенную поэзію-религію, такъ и его отрицательное отношеніе къ Онѣгинымъ, Печоринымъ и къ теченіямъ русской литературы, современной послѣдней порѣ его дѣятельности".

Послѣднія главы имѣютъ огромное значеніе для опредѣленія Жуковскаго въ исторіи русской литературы. Уже изъ вышеприведенныхъ соображеній автора можно заключить, что полное отнесеніе Жуковскаго къ теченію романтизма должно было значительно пострадать. Сводя итоги детальной разработки отношеній Жуковскаго къ тѣмъ направленіямъ западной литературы, которыя она отразила, авторъ приходитъ къ выводу, что въ послѣдующіе періоды жизни поэтъ не выходилъ изъ тѣхъ же теченій сентиментализма, въ которыя онъ вступилъ въ началѣ своей литературной дѣятельности. До конца онъ ніэтистъ съ идеаломъ schöne Seele, выспренней дружбы, поэзія для него религіозное откровеніе, являющее „святость жизни... во всей ея красѣ небесной"; слова поэта—дѣла поэта: до-Шиллеровское отожествленіе поэзіи и добродѣтели замѣняется требованіемъ, что поэтъ долженъ быть чистъ душой, тогда слово его будетъ благодатно. Изъ сферы сентиментализма перешло къ Жуковскому пристрастіе къ мечтательности, загробнымъ образамъ и таинственной лунѣ и то настроеніе меланхоліи, которое онъ тщился превратить въ понятіе—христіанской грусти.

Позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя на отрывкахъ замѣчательной по глубинѣ эрудиціи и блеску анализа характеристикѣ романтизма, сдѣланной акад. Веселовскимъ.

„Съ воззрѣніями романтической школы, пріемами, программой надо познакомиться ввиду того, что у насъ говорено было о „романтизмѣ“—о романтизмѣ Жуковскаго 20-хъ годовъ.

„Что такое поэзія, искусство? Жизнь, природа — отраженіе безконечнаго, но отраженіе неполное, призрачное; угадать полноту идеала въ оболочкѣ конечнаго можетъ лишь мистически-вдохновенное чувство поэта; Шеллингъ назоветъ его интеллектуальнымъ прозрѣніемъ; романтики припоминали выраженіе стараго мистика Бёме Der Blitz, молніеносное откровеніе. Оно-то и раскрываетъ смыслъ реальности, которая сама по себѣ мертва; „абсолютно-реальна—поэзія“, философія—ея теорія, „совершенная форма науки должна быть поэтической“; „настоящій поэтъ всезнающъ: онъ—свѣтъ въ маломъ видѣ“ (Новалисъ). Но это восторженное сознаніе чередуется съ другимъ, ироническимъ: сознаніемъ противорѣчій идеала и его земныхъ формъ. Такое воспріятіе дѣйствительности, полное контрастовъ и грустно-веселаго юмора, и есть прекрасное. оно даетъ цѣнность жизни, какъ символа невыразимаго, недоступнаго намъ, совершеннаго. Поэзія настраиваетъ насъ благоговѣйно, ведетъ къ религіи; „есть особый умственный, поэтическій органъ для познанія божественнаго, которое становится непосредственнымъ достояніемъ чувства, чаянія совѣсти“, говоритъ Новалисъ; „поэзія—продуктивная религія“. И, наоборотъ: религіозное настроеніе—„высшее и чистѣйшее художественное наслажденіе“ (Тикъ). Идеаломъ является проникновеніе поэзіи въ природу, въ практику личной и общественной жизни, развитой новыми спросами культуры. Періодъ „геніевъ“ поставилъ на очередь вопросъ о значеніи чувства, до тѣхъ поръ сжатаго, упорядоченнаго требованіями традиціонной нравственности въ вопросахъ любви и брака, и рѣшилъ ихъ въ смыслѣ широкой свободы: Якоби проповѣдывалъ „платоническую бигамію“, Гёте выступилъ съ своими Wahlverwandschaften; романтики переняли это рѣшеніе, воплотивъ его въ жизнь и поэзію (Люцинда Фр. Шлегеля), играя такими обновленными, сказочными, но рискованными темами, какъ любовь брата къ сестрѣ (романтики Шелли, Байронъ—и праисторическій мотивъ кровосмѣшенія).—Къ отождествленію: религія—поэзія (философія) пристали другія: когда сердце, отвлекаясь отъ всей дѣйствительности, становится самому себѣ идеальнымъ объектомъ, зарождается религія, говоритъ Новалисъ; всѣ частныя вожделѣнія сплываются въ одно, цѣлью котораго становится высшее существо, Богъ, и страхъ Божій объемлетъ всѣ чувствованія и стремленія. „Если такимъ объектомъ будетъ любимая женщина—это будетъ прикладная религія“. Игра синтеза продолжается: чувственное — матеріалъ, оно условіе искусства, поэзіи-религіи; отсюда: религія, какъ скрытая. невыяснившаяся чувственность.—Въ результатѣ получалось міросозерцаніе, напоминающее психическое настроеніе XII—XIII вѣковъ: чувственный мистицизмъ, въ которомъ элементъ плотскаго бывалъ теоретически заглушенъ—самообузданіемъ страсти, насла-

жденіемъ жертвы, и чувственность граничила со святостью (Вернеръ).

„Жизнь и поэзія—одно“ пѣлъ и Жуковскій; какъ и романтики, онъ пренебрегъ и позабылъ „низость настоящаго“, но для него жизнь наполнялась сентиментальной семьей, уютной меланхоліей. И для него поэзія — сестра религіи, но какъ ея призракъ и отраженіе, не какъ настроеніе, которое привело романтиковъ изъ безформенности поэтизма, Гетевскаго пантеизма, абстрактнаго религіознаго чувства (Шлегель), къ историческому и философскому обоснованію религіи, какъ необходимой формѣ сознанія, и художественному католицизму. Исканіе кончилось, жажда положительной вѣры нашла успокоеніе, при воздѣйствіи raisons poétiques, raisons de sentiment; первое заглавіе Шатобріановскаго Genie du Christianisme было: Красоты христіанской религіи. Шли отъ искусства къ религіи. Жуковскій въ ней выросъ лишь и старается проработаться отъ убѣжденія къ благодати непосредственной вѣры.

„Романтики—символисты (къ символизму спустился и реалистъ Гете—въ Пандорѣ; во второй части Фауста); символисты по призванію и теоріи. Конечное кругомъ насъ — лишь символъ безконечнаго; поэзія прозрѣваетъ соотвѣтствія неба и земли, духовнаго и вещественнаго, интеллекта и чувства, сознательнаго и безсознательнаго, чудеснаго и раціональнаго, жизни и смерти, Аполлона и Діониса. Во всемъ раскрывается единая органическая сущность міра, полярныя противорѣчія мирятся, потому что одна и та-же сила бьется въ человѣческомъ пульсѣ и управляетъ вращеніемъ свѣтилъ; классическій образъ „андрогина“ оживаетъ, съ таинственнымъ значеніемъ„ въ фантазіи романтиковъ.

Was in den Himmelskreisen sich bewegt,
Das muss auch bildlich auf der Erden walten,
Das wird auch in des Menschen Brust erregt,
Natur kann nichts in engen Grenzen halten,
Ein Blitz, der aufwärts aus dem Centro dringet,
Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten,
Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget
Gleichmässig fort und eins des andern Spiegel,
Der Ton durch alle Creaturen klinget.

(Tieck, Genoveva: Schlachtfeld).

„Какъ чаровница Винфреда въ Genoveva'ѣ, такъ и романтики чуютъ внутреннюю связь явленій, видимо раздѣленныхъ въ природѣ:

Wie Stern' im Abgrund die Metalle formen,
Wie Geister die Gewächse figurieren,
Wie sich Gedank' und Wille korporieren,
Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt,
Durch Einbildung Unmögliches gelingt,
Wie jeder Stein uns stumme Grüsse beut,
Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Къ стр. 22 и мн. др. Сочиненія Бѣлинскаго цитируются по изд. Солдатенкова. М., 1859—1861. Въ 1900 г. предпринято „Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“, въ 12-ти томахъ, подъ редакціей и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Вышло семь томовъ. Т. XII предположено посвятить литературѣ предмета и указателямъ.

Къ стр. 23, 24 и др. Вопросъ о „романтизмѣ“ Жуковскаго, какъ и о характерѣ того вліянія, какое Жуковскій оказалъ на русскую литературу, подвергся коренному пересмотру въ замѣчательной книгѣ акад. А. Н. Веселовскаго „В. А. Жуковскій. Поэзія чувства и сердечнаго воображенія“. Спб. 1904. Въ виду ея важности, въ смыслѣ необходимаго дополненія къ характеристикѣ, данной А. Н. Пыпинымъ, на ней слѣдуетъ остановиться подробнѣе, указавъ ея общій характеръ и опредѣленіе того направленія, къ которому, по мнѣнію новѣйшаго изслѣдованія, долженъ быть отнесенъ Жуковскій.

А. Н. Веселовскій не рѣшается назвать свой трудъ біографіей. Исчерпавъ всѣ до сихъ поръ извѣстные матеріалы и много документовъ, явившихся въ его извлеченіяхъ впервые, авторъ предполагаетъ возможность открытія новыхъ фактовъ. Предпочитая назвать свою работу „реальной характеристикой“, онъ говоритъ: „Будущій біографъ поэта будетъ, безъ сомнѣнія, богаче меня фактами, либо не открытыми доселѣ, либо недосмотрѣнными мною. Послѣдней возможности я не отрицаю; но для меня всего важнѣе вопросъ: угадалъ ли я общее настроеніе, отвѣтилъ ли требованіямъ объективности безпристрастнымъ выборомъ матеріала, предоставляющимъ читателю выводы и оцѣнку? Къ этой объективности я стремился, сознавая, что она всецѣло недостижима. Я старался направить анализъ не столько на личность, сколько на общественно-психологическій типъ, къ которому можно отнестись отвлеченнѣе, внѣ сочувствій или отверженій, которыя такъ легко заподозрить въ лицепріятіи“.

Авторъ предпочитаетъ представить читателю въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ подлинный фактъ, чѣмъ растворить его хотя бы въ искусной, но неизбѣжно расплывчатой авторской передачѣ. Это

несомнѣнно, даетъ особую выразительность и силу тѣмъ обобщеніямъ автора, которыя являются естественнымъ результатомъ значительнаго подбора фактовъ. Въ этомъ отношеніи книга г. Веселовскаго полна мѣткихъ и сильныхъ опредѣленій, глубокихъ по захвату содержанія и оригинальныхъ по формѣ. Прежде всего это можно сказать по поводу выясненія литературныхъ направленій, извѣстныхъ подъ названіями „сентиментальныхъ" и „романтическихъ", характеристика и разграниченіе которыхъ служили камнемъ преткновенія для цѣлаго ряда изслѣдователей литературы, видѣвшихъ настоятельную необходимость опредѣлиться въ этихъ понятіяхъ. Съ Жуковскимъ связывали обыкновенно представленіе, какъ о наиболѣе типичномъ выразителѣ чувствъ и идей, настраивавшихъ человѣка „страстно, дѣвственно и недѣятельно" и входившихъ прежде въ понятіе *романтизма*. Понятіе это было неопредѣленно, какъ для сверстниковъ Жуковскаго, такъ и для ближайшаго (да и позднѣйшаго) къ нему литературнаго поколѣнія; въ немъ, по выраженію автора, было болѣе инстинкта, чѣмъ сознанія.

Въ главѣ „Эпоха чувствительности" авторъ даетъ характеристику того „новаго стиля", который сталъ водворяться въ европейскихъ литературахъ съ первой трети восемнадцатаго вѣка. Его зарожденію предшествовало соотвѣтственное настроеніе общественной психики, какъ отраженіе совершившагося соціальнаго переворота. Новое настроеніе вызвало протестъ противъ разсудочной искусственной культуры, законы которой создавались въ въ чопорныхъ съ виду европейскихъ салонахъ, стѣсняя чувство требованіями обрядоваго приличія, фантазію—условными литературными формами. Требованія свободы личности проникли въ сознаніе и воплотились въ идеалъ человѣка—добраго по природѣ, неиспорченнаго цивилизаціей. Чувство ставится выше разсудка (Руссо, Стернъ). Создалось цѣлое ученіе о чувствѣ и сердцѣ, о природѣ и естественности, природѣ—наставницѣ добру, милосердію, нравственности, ученіе о свободѣ страстей и идеалѣ демократіи. Послѣдователи новаго ученія, въ жизни и литературѣ, распадались на двѣ группы: одна группа характеризуется лучше всего дѣятелями нѣмецкаго Sturm und Drang'a шестидесятыхъ—восьмидесятыхъ годовъ восемнадцатаго вѣка. Ихъ характернѣйшій признакъ — вдохновенный энтузіазмъ, направленный на дѣятельный подвигъ и борьбу. „Они сознаютъ себя свободными отъ всѣхъ разсудочныхъ суевѣрій, которыя до тѣхъ поръ считались нормой жизни; изъ мѣщански-растворенной условной культуры ихъ тянетъ къ природѣ, къ народу и его пѣснѣ, къ идеализованной народной старинѣ, въ просторъ всемірной поэзіи, къ обновленію литературныхъ формъ". Рядомъ съ ними стоятъ люди другого склада: если тѣхъ можно было назвать бурными энтузіастами чувства, этихъ лучше всего опредѣлить, какъ мирныхъ энтузіастовъ чувствительности, замкнутыхъ въ восторженномъ анализѣ своихъ ощущеній, баюкающихъ себя тихими мечтами и нѣжными звуками. „Они боготворятъ Клопштока, піэтисты и мистики, могутъ пристроиться ко всякой церковно-религіозной реакціи, ужиться и съ

политической, ибо отошли отъ общественности въ міръ своего крошечнаго „я“, въ абстракцію „человѣчности“, внутренней „свободы“, въ уединеніе, въ природу, вѣщающую о благости Творца“.

Эта сфера чувствительности, приводящая къ соотвѣтственнымъ идеаламъ любви и дружбы (amitié amoureuse), къ меланхоліи задумчивости, къ неопредѣленности въ выборѣ цвѣтовъ и красокъ, съ предпочтеніемъ всего неяркаго, половинчатаго въ литературѣ, выработала свои сюжеты и свой поэтическій языкъ. Въ этихъ признакахъ видѣли романтизмъ, и на его счетъ относили ту систему представленій и образовъ, которая питала типичную для того времени балладу. Но это не романтизмъ съ его теоретической обоснованностью, а доромантизмъ (итальянцы называли его preromanticismo на почвѣ чувствительности).

„Такъ,—говоритъ авторъ,—создалось литературное теченіе, вызвавшее къ бытію груды череповъ и скелетовъ, сонмы призраковъ и мыслей на кладбищѣ, все это закутанное ночью или освѣщенное задумчивой луною. Къ могиламъ наломничали неудачно влюбленныя барышни, любили рисовать могильный холмъ, на которомъ выписывали свое имя. Слезы и мысли о смерти, безотчетное уныніе стали литературной манерой, въ меланхолію играли („мрачныя удовольствія меланхолическаго сердца“ Шатобріана); у чувствительниковъ явился новый этикетъ, наслажденіе своимъ сердцемъ нормировалось разсудкомъ, и новый флагъ нерѣдко прикрывалъ вожделѣнія старой, чувствительной эклоги. Настроеніе охватило не только молодое поколѣніе Франціи и Италіи, но и стариковъ: галантная Аркадія перестала ворковать и настроилась на слезы; такой эклектикъ, какъ Монти, пишетъ „Entusiasmo malinconico“, Пиндемонте чувствителенъ въ своихъ „Poesie campestri“; одинъ итальянскій журналистъ изъ іезуитовъ водитъ насъ, въ сопутствіи Юнга, по Campo-Santo въ Бергамо; пьеса озаглавлена: „Красоты Кладбища“ (Il bello sepolcrale).

„Въ той же послѣдовательности подражанія европейскимъ литературнымъ вліяніямъ явились и у насъ произведенія, проникнутыя новымъ настроеніемъ, обнаружившія, что и у насъ наступилъ свой періодъ сердца. Уже Державина коснулись Юнгъ и Оссіанъ. Карамзинъ, окруженный французскими и нѣмецкими сентименталистами, явился „организаторомъ“ цѣлой школы нашего сентиментализма. „Самъ онъ шелъ по чужимъ слѣдамъ, но его школа всего лучше выдаетъ слабости ремесла“. Князь Шаликовъ весьма показателенъ для этой школы, которая послужила переходомъ къ настоящему творцу новаго направленія. „Засентиментальничалъ,—такъ опредѣляетъ авторъ новыя литературныя явленія,—и Жуковскій, единственный настоящій поэтъ эпохи нашей чувствительности, единственный, испытавшій ея настроеніе не литературно только, но страдой жизни, въ ту пору, когда сердце требуетъ опеки любви, и позже, когда оно ищетъ взаимности. И этотъ опытъ оставилъ глубокіе слѣды на человѣкѣ, далъ особый поворотъ его чувству, навсегда связавъ его "воспоминаніями"; мотивы сентиментальной поэзіи поддерживали его настроеніе, но оно наложило на нихъ печать искренности, изящной задумчивости, которая пере-

биваетъ условность голосомъ сердца. Этотъ поэтическій cliché, отзвукъ испытаннаго и выстраданнаго, связалъ его: настали иныя времена, проглянуло и позднее счастье, а начальное cliché повторяется среди шалостей Арзамаса и новыхъ увлеченій, „Отчетовъ о лунѣ“ и эпитафіи „бѣлки“. Точно Leitmotiv, отъ котораго поэтъ не можетъ отвязаться“.

Послѣдующія главы разсказываютъ жизнь Жуковскаго въ связи съ тѣми внѣшними и внутренними условіями, среди которыхъ происходилъ ростъ личности и развитіе поэтическаго таланта. За періодомъ юныхъ лѣтъ, когда совершился первый опытъ сентиментальнаго увлеченія и сложился идеалъ дружбы „вѣрной и вѣчной“, послѣдовала пора самообразованія, въ которомъ общественные вопросы сознательно отодвигались на второй планъ, уступая мѣсто самоусовершенствованію и самоуглубленію въ сферѣ интересовъ личнаго счастья; въ идеалѣ будущаго видную роль занимаетъ счастье семьи, если она будетъ, и затѣмъ уже исполненіе общественныхъ условій. Важнымъ средствомъ къ исканію совершенства является дружба. „Черта интересная для психологіи поэта, у котораго такъ много было мечтательности и самонаблюденія, такъ много полетовъ къ небу—и любви къ педагогическимъ таблицамъ, къ кропотливымъ, порой призрачнымъ выкладкамъ, какъ обезпечить себя матеріально; такъ много порядка—фантазіи“. Внимательному и детальному анализу подвергаетъ г. Веселовскій эволюцію общественныхъ взглядовъ Жуковскаго. Это не былъ гражданскій пѣснопѣвецъ (выраженіе кн. Вяземскаго). По отзыву Ал. Тургенева, — „у него все *для души*: душа его въ талантѣ, и талантъ въ душѣ“. Ко второй половинѣ жизни воззрѣнія Жуковскаго отлились въ благодушную систему общественности, въ основѣ которой лежитъ теорія гуманистической личности, „души“, прогрессъ опредѣляется „временемъ“, „Промысломъ“, его желательный характеръ—„умѣренность“ („умѣренность, покорность“, „Пѣвецъ въ Кремлѣ“), сдерживающее начало — историческое преданіе. Время — единственный, „вѣрный, сильный, но медленный создатель лучшаго“, оно „послушно одному Богу“. Исторія „говоритъ властителямъ: будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ; идите съ нимъ вмѣстѣ: впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете, онъ васъ покинетъ, повлечете его быстро впередъ—ниспровергнете все и себя: осмѣлитесь преградить ему дорогу — онъ васъ раздавитъ“. Историческое преданіе, — въ міросозерцаніи Жуковскаго, — то-же, что воспоминаніе: одно хранитъ лучшіе опыты сердца, которыхъ не забыть, другое — вѣковые опыты народной жизни, ихъ же не прейдеши. Промыслъ и общественные перевороты, нарушающіе умѣренность прогресса, сопоставляются въ апологѣ, написанномъ Жуковскимъ для Н. Тургенева, пострадавшаго въ событіяхъ 14 декабря 1825 года: въ переворотахъ многіе гибнутъ, для лучшихъ они—испытаніе свыше; такъ сгораетъ въ горнѣ голикъ, „а золото горитъ и не ропщетъ на судьбу и вѣритъ тому, что безъ огня не быть ему чистымъ, и радуется пламени, которое возноситъ его достоинство“. Онъ хлопоталъ о Н. Тургеневѣ, принималъ участіе въ личной судьбѣ декабристовъ, но ихъ движеніе осуждалъ

Чрезвычайно характерно отношеніе Жуковскаго къ Пушкину. Извѣстна та взаимная сердечная близость, которая связывала обоихъ поэтовъ. Послѣ смерти Пушкина Жуковскому, вмѣстѣ съ Дуббельтомъ, былъ порученъ разборъ его писемъ и бумагъ. Къ протоколу Дуббельта Жуковскій написалъ объяснительную записку, въ которой, исходя изъ понятныхъ въ настоящее время соображеній, счелъ нужнымъ защитить покойнаго поэта отъ подозрѣній со стороны Бенкендорфа въ политической неблагонадежности. „Благоволили ли вы,—спрашиваетъ Жуковскій послѣдняго,—взять на себя трудъ когда-нибудь съ нимъ говорить о предметахъ политическихъ?“ Вы слышали о нихъ отъ другихъ, „вмѣсто оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда невѣрными и весьма часто испорченными, злонамѣренныхъ переводчиковъ“. И Жуковскій излагаетъ политическое credo Пушкина: *Первое*: Я уже не одинъ разъ слышалъ, что Пушкинъ въ государѣ любитъ одного (Николая) своего благотворителя, а не русскаго императора, и что ему для Россіи надобно было совсѣмъ иное. Увѣряю васъ, напротивъ, что Пушкинъ (здѣсь говорится о томъ, что онъ былъ въ послѣдніе годы) рѣшительно убѣжденъ въ необходимости для Россіи чистаго, неограниченнаго самодержавія, и это не по одной любви къ нынѣшнему Государю, а по своей внутренней вѣрѣ, основанной на фактахъ историческихъ (этому теперь есть и письменное свидѣтельство въ его собственноручномъ письмѣ къ Чаадаеву. „Хотя я лично сердечно привязанъ къ императору, но я далеко не всѣмъ восторгаюсь, что вижу вокругъ себя; какъ писатель—я раздраженъ, какъ человѣкъ съ предразсудками—я оскорбленъ. Но клянусь вамъ честью, что ни за что на свѣтѣ я не захотѣлъ бы перемѣнить отечества, ни имѣть другой исторіи, какъ исторію нашихъ предковъ, такую, какъ намъ Богъ послалъ“,—изъ письма къ Чаадаеву). *Второе*: Пушкинъ былъ рѣшительнымъ противникомъ свободы книгопечатанія, и въ этомъ онъ даже доходилъ до излишества, ибо полагалъ, что свобода книгопечатанія вредна и въ Англіи. Разумѣется, что онъ въ то же время утверждалъ, что цензура должна быть строга, но безпристрастна, и что она, служа защитою обществу отъ писателей, должна также и писателя защищать отъ всякаго произвола. *Третье*: Пушкинъ былъ врагъ іюльской революціи. По убѣжденію своему онъ былъ карлистъ; онъ признавалъ короля Филиппа необходимымъ для спокойствія Европы, но права его опровергалъ и незыблемость законнаго наслѣдія короны считалъ главнѣйшею опорою гражданскаго порядка. Наконецъ, *четвертое*: онъ былъ самый жаркій врагъ революціи польской и въ этомъ отношеніи, какъ русскій, былъ почти фанатикъ („былъ почти фанатическій врагъ польской революціи и ненавидѣлъ революцію французскую, чему доказательство нашелъ я еще недавно въ письмахъ его женѣ“).—Таковы были главныя политическія убѣжденія Пушкина, изъ коихъ всѣ другія выходили, какъ отрасли. *Они были извѣстны мнѣ и всѣмъ его ближнимъ изъ нашихъ частыхъ, непринужденныхъ разговоровъ... И они были таковы уже прежде 1830 года*“. Пушкинъ созрѣлъ, мужалъ умомъ, онъ только-что достигъ своего полнаго поэтиче-

скаго развитія (его литературные враги, а за ними публика, говорили, что онъ упалъ—и это въ то время, когда написаны его лучшія произведенія), и что бы онъ ни написалъ, еслибъ несчастныя обстоятельства всякаго рода не упали на него обваломъ, не раздавили его, „перваго поэта Россіи"!

Изслѣдователи Пушкина могли бы составить любопытный комментарій къ этой оцѣнкѣ взглядовъ поэта,—комментарій, который выяснилъ бы, какую роль играли въ ней интересы „души" сравнительно съ истиннымъ образомъ Пушкина.

„Цѣнность этого документа,—говоритъ г. Веселовскій,—опредѣляется его назначеніемъ: онъ писанъ для Бенкендорфа, въ оправданіе Пушкина, въ интересахъ его семьи, въ защиту всѣхъ, кто близко стоялъ къ нему. Въ этомъ смыслѣ характеристику легко заподозрить въ преднамѣренномъ шаржѣ, но не касаясь оцѣнки взглядовъ самого Пушкина, я допускаю и безсознательный, невольный шаржъ—идеализаціи, къ чему, какъ никто, былъ способенъ Жуковскій. Эта черта давно и хорошо извѣстна его пріятелямъ: все, что входило въ кругъ его симпатій, выростало или поэтизировалось въ его мѣрку. Жуковскій *зналъ* своего Пушкина, который, казалось, зрѣлъ въ его глазахъ къ тѣмъ цѣлямъ общественнаго служенія и возвышенной поэзіи, которыя онъ ему ставилъ. Эти цѣли выяснились для Жуковскаго изъ того ограниченнаго круга идей, въ которыхъ онъ выросъ и созрѣлъ и которыя начинаетъ приводить въ систему. Мы видѣли, какъ онъ упорядочилъ свои общественные взгляды,—ими онъ мѣритъ Пушкина; и въ области духовно-нравственныхъ вопросовъ, волновавшихъ его со времени его юношескаго дневника, онъ пытается разобраться, привести ихъ къ органической цѣльности. Они окончательно опредѣлятъ какъ его взглядъ на возвышенную поэзію-религію, такъ и его отрицательное отношеніе къ Онѣгинымъ, Печоринымъ и къ теченіямъ русской литературы, современной послѣдней порѣ его дѣятельности".

Послѣднія главы имѣютъ огромное значеніе для опредѣленія Жуковскаго въ исторіи русской литературы. Уже изъ вышеприведенныхъ соображеній автора можно заключить, что полное отнесеніе Жуковскаго къ теченію романтизма должно было значительно пострадать. Сводя итоги детальной разработки отношеній Жуковскаго къ тѣмъ направленіямъ западной литературы, которыя она отразила, авторъ приходитъ къ выводу, что въ послѣдующіе періоды жизни поэтъ не выходилъ изъ тѣхъ же теченій сентиментализма, въ которыя онъ вступилъ въ началѣ своей литературной дѣятельности. До конца онъ піэтистъ съ идеаломъ schöne Seele, выспренней дружбы, поэзія для него религіозное откровеніе, являющее „святость жизни... во всей ея красѣ небесной"; слова поэта—дѣла поэта: до-Шиллеровское отожествленіе поэзіи и добродѣтели замѣняется требованіемъ, что поэтъ долженъ быть чистъ душой, тогда слово его будетъ благодатно. Изъ сферы сентиментализма перешло къ Жуковскому пристрастіе къ мечтательности, загробнымъ образамъ и таинственной лунѣ и то настроеніе меланхоліи, которое онъ тщился превратить въ понятіе—христіанской грусти.

Позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя на отрывкахъ замѣчательной по глубинѣ эрудиціи и блеску анализа характеристикѣ романтизма, сдѣланной акад. Веселовскимъ.

„Съ воззрѣніями романтической школы, пріемами, программой надо познакомиться ввиду того, что у насъ говорено было о „романтизмѣ“—о романтизмѣ Жуковскаго 20-хъ годовъ.

„Что такое поэзія, искусство? Жизнь, природа — отраженіе безконечнаго, но отраженіе неполное, призрачное; угадать полноту идеала въ оболочкѣ конечнаго можетъ лишь мистически-вдохновенное чувство поэта; Шеллингъ назоветъ его интеллектуальнымъ прозрѣніемъ; романтики припоминали выраженіе стараго мистика Бёме Der Blitz, молніеносное откровеніе. Оно-то и раскрываетъ смыслъ реальности, которая сама по себѣ мертва; „абсолютно-реальна—поэзія“, философія—ея теорія, „совершенная форма науки должна быть поэтической“; „настоящій поэтъ всезнающъ: онъ—свѣтъ въ маломъ видѣ“ (Новалисъ). Но это восторженное сознаніе чередуется съ другимъ, ироническимъ: сознаніемъ противорѣчій идеала и его земныхъ формъ. Такое воспріятіе дѣйствительности, полное контрастовъ и грустно-веселаго юмора, и есть прекрасное, оно даетъ цѣнность жизни, какъ символа невыразимаго, недоступнаго намъ, совершеннаго. Поэзія настраиваетъ насъ благоговѣйно, ведетъ къ религіи; „есть особый умственный, поэтическій органъ для познанія божественнаго, которое становится непосредственнымъ достояніемъ чувства, чаяніи совѣсти“, говоритъ Новалисъ; „поэзія—продуктивная религія“. И, наоборотъ: религіозное настроеніе—„высшее и чистѣйшее художественное наслажденіе“ (Тикъ). Идеаломъ является проникновеніе поэзіи въ природу, въ практику личной и общественной жизни, развитой новыми спросами культуры. Періодъ „геніевъ“ поставилъ на очередь вопросъ о значеніи чувства, до тѣхъ поръ сжатаго, упорядоченнаго требованіями традиціонной нравственности въ вопросахъ любви и брака, и рѣшилъ ихъ въ смыслѣ широкой свободы: Якоби проповѣдывалъ „платоническую бигамію“, Гёте выступилъ съ своими Wahlverwandschaften; романтики переняли это рѣшеніе, воплотивъ его въ жизнь и поэзію (Люцинда Фр. Шлегеля), играя такими обновленными, сказочными, но рискованными темами, какъ любовь брата къ сестрѣ (романтики Шелли, Байронъ—и праисторическій мотивъ кровосмѣшенія).—Къ отождествленію: религія—поэзія (философія) пристали другія: когда сердце, отвлекаясь отъ всей дѣйствительности, становится самому себѣ идеальнымъ объектомъ, зарождается религія, говоритъ Новалисъ; всѣ частныя вожделѣнія сплываются въ одно, цѣлью котораго становится высшее существо, Богъ, и страхъ Божій объемлетъ всѣ чувствованія и стремленія. „Если такимъ объектомъ будетъ любимая женщина—это будетъ прикладная религія“. Игра синтеза продолжается: чувственное — матеріалъ, оно условіе искусства, поэзіи-религіи; отсюда: религія, какъ скрытая, невыяснившаяся чувственность.—Въ результатѣ получалось міросозерцаніе, напоминающее психическое настроеніе XII—XIII вѣковъ: чувственный мистицизмъ, въ которомъ элементъ плотскаго бывалъ теоретически заглушенъ—самообузданіемъ страсти, насла-

жденіемъ жертвы, и чувственность граничила со святостью (Вернеръ).

„Жизнь и поэзія—одно“ пѣлъ и Жуковскій; какъ и романтики, онъ пренебрегъ и позабылъ „низость настоящаго“, но для него жизнь наполнялась сентиментальной семьей, уютной меланхоліей. И для него поэзія — сестра религіи, но какъ ея призракъ и отраженіе, не какъ настроеніе, которое привело романтиковъ изъ безформенности поэтизма, Гетевскаго пантеизма, абстрактнаго религіознаго чувства (Шлегель), къ историческому и философскому обоснованію религіи, какъ необходимой формѣ сознанія, и художественному католицизму. Исканіе кончилось, жажда положительной вѣры нашла успокоеніе, при воздѣйствіи raisons poétiques, raisons de sentiment; первое заглавіе Шатобріановскаго Genie du Christianisme было: Красоты христіанской религіи. Шли отъ искусства къ религіи. Жуковскій въ ней выросъ лишь и старается проработаться отъ убѣжденія къ благодати непосредственной вѣры.

„Романтики—символисты (къ символизму спустился и реалистъ Гете—въ Пандорѣ: во второй части Фауста); символисты по призванію и теоріи. Конечное кругомъ насъ — лишь символъ безконечнаго; поэзія прозрѣваетъ соотвѣтствія неба и земли, духовнаго и вещественнаго, интеллекта и чувства, сознательнаго и безсознательнаго, чудеснаго и раціональнаго, жизни и смерти, Аполлона и Діониса. Во всемъ раскрывается единая органическая сущность міра, полярныя противорѣчія мирятся, потому что одна и та-же сила бьется въ человѣческомъ пульсѣ и управляетъ вращеніемъ свѣтилъ; классическій образъ „андрогина“ оживаетъ, съ таинственнымъ значеніемъ, въ фантазіи романтиковъ.

Was in den Himmelskreisen sich bewegt,
Das muss auch bildlich auf der Erden walten,
Das wird auch in des Menschen Brust erregt,
Natur kann nichts in engen Grenzen halten,
Ein Blitz, der aufwärts aus dem Centro dringet,
Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten,
Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget
Gleichmässig fort und eins des andern Spiegel,
Der Ton durch alle Creaturen klinget.

(Tieck, Genoveva: Schlachtfeld).

„Какъ чаровница Винфреда въ Genoveva'ѣ, такъ и романтики чуютъ внутреннюю связь явленій, видимо раздѣленныхъ въ природѣ:

Wie Stern' im Abgrund die Metalle formen,
Wie Geister die Gewächse figurieren,
Wie sich Gedank' und Wille korporieren,
Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt,
Durch Einbildung Unmögliches gelingt,
Wie jeder Stein uns stumme Grüsse beut,
Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid.

„Единство міра не только въ органическомъ сосуществованіи настоящаго, но настоящаго и прошедшаго: новое можетъ быть только обновленіемъ, развитіемъ стараго, ибо общество, государство—живой, самъ себя обусловливающій организмъ; возвращеніе къ народной старинѣ и идеаламъ средневѣкового уклада было у романтиковъ не однимъ только поэтическимъ спросомъ, а исканіемъ органической связи съ прошлымъ, нарушенной посторонними вліяніями. Прошлое обязываетъ. Игра таинственныхъ созвучій и соотвѣтствій обнимаетъ всю исторію человѣчества: мы когда-то уже были, чьи-то двойники, идущіе на встрѣчу другимъ, Суаве у Новалиса та-же Матильда (Heinrich von Ofterdingen), Изида та-же Rosenblüthe (Die Lehrlinge von Sais).

Und was man glaubt es sei geschehn,
Kann man von weitem erst kommen sehn

(Heinrich v. Ofterdingen).

Старые мотивы метемпсихозы и двойничества являлись въ новомъ освѣщеніи, связывая личность идеей атавизма, прирожденности, унаслѣдованной доли. Романтическая драма рока не наслѣдіе классической, обновленной Шиллеромъ, а звено того мірового синтеза, который грезился романтикамъ, который питалъ ихъ Sehnsucht. Вакконродеръ и Брентано сравнивали себя съ инструментомъ, на струнахъ котораго играетъ судьба.

„Такое міросозерцаніе должно было создавать новое „чудесное", отмѣнившее старыя, неподвижныя рамки классическаго. Въ два послѣднихъ десятилѣтія XVIII вѣка протестъ противъ его разсудочной цивилизаціи выразился поднятіемъ интереса ко всему духовному, сверхъестественному: къ магіи и жизненному элексиру, къ вызыванію духовъ и всему демоническому, Фаустамъ и Мефистофелямъ. На первыхъ порахъ даже такія реальныя завоеванія науки, какъ открытіе кислорода (1774 г.) и гальванизма (1789 г.) послужили матеріаломъ для спиритуалистическихъ построеній. Животный и земной магнетизмъ представлялся той силой, которая связываетъ органическое и неорганическое, духовное и тѣлесное въ одно живое цѣлое. Отсюда увлеченіе астрологіей, она также раскрывала единство міра; „я совершенно увѣренъ, что наша судьба привязана къ небу и звѣздамъ", писалъ брату Вильгельмъ Гриммъ.

„Шиллеръ пишетъ своего Geisterseher, романы Шписа и С° спустили на площадь новомодную фантастику, тогда какъ народная фантастика сказокъ и преданій проходила въ поэзію съ Виландомъ и балладами Бюргера.

„Такъ собирались матеріалы для романтическаго чудеснаго и сложилась его теорія. Шлегель поставилъ требованія новой „мифологіи", которой христіанство и его легенды, Кальдеронъ и народныя сказки, и восточная фантазія отдадутъ свои мотивы. И сказка, легенда, забытое народное преданіе поднимаются въ цѣнѣ. „Невидимое дитя" Гофмана явится къ дѣтямъ бѣднаго дворянина Бракеля, которыхъ учитель Тинте душилъ чернильной мудростью

и будетъ играть съ ними, сказывать сказки, учить наслаждаться въ полѣ каждой былинкой, въ небѣ каждой звѣздой. Въ сущности все въ здѣшнемъ мірѣ иносказаніе, сказка, понять и изобразить которую можно только, какъ сказку, говоритъ Новалисъ. Для него она „канонъ поэзіи", она, „какъ сновидѣніе, безъ связи, смѣсь чудесныхъ фактовъ и созвучій, какъ музыкальная фантазія, гармоническіе отголоски эоловой арфы, какъ сама природа".

Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht.

(Tieck, Octavian, Prolog).

Соотвѣтствія безконечны, и фантазія работаетъ: у романтиковъ все wunderbar, wundervoll, wundersam, wunderlich, seltsam, все чудо, вызываетъ предчувствіе о чемъ-то неуловимомъ, настраиваетъ на идею безконечнаго. Но чудесное не въ одномъ таинственномъ, освѣщенномъ луною, и не въ загробныхъ образахъ; оно повсюду: у Гофмана оно дѣется среди бѣла дня, изъ каждаго повседневнаго, видимо филистерскаго акта выглядываетъ змѣйка-фея, точно поверхъ жизни невидимо идетъ какая-то другая, подсказывая и отрицая, вызывая поочередно приливы пантеистическихъ восторговъ и юмора. Чувствительный Стернъ былъ въ модѣ у сентименталистовъ, Стернъ-юмористъ нашелъ признаніе у романтиковъ.

„Когда за объективной видимостью таится другая, незримая, она не описательна, не вызываетъ непосредственно и на рефлексію; надо чтобы въ читателѣ явилось то особое расположеніе чувства, то настроеніе (Stimmung), которое сдѣлало бы его внутренне зрячимъ, способнымъ угадывать безконечное въ конечномъ, *невыразимое* въ призрачномъ. Поэты-описатели рисовали природу, сентименталисты размышляли надъ нею, у романтиковъ—символистовъ она не реальна: Новалисъ желалъ бы изобразить ее въ видѣ дріады или ореады; у Гофмана художникъ пишетъ съ натуры группу деревьевъ, а зрителю кажется, „что изъ-за густыхъ листьевъ выглядываютъ разнообразнѣйшія фигуры, то геніи, то странныя животныя, то цвѣты",—и художникъ поясняетъ, что именно этотъ способъ писать этюды и вноситъ въ пейзажъ поэтическій, фантастическій элементъ, элементъ неуловимыхъ ассоціацій, втягивающихъ человѣческую жизнь въ тѣсное единеніе съ окружающею ее живою и живущею реальностью. У Тика слагаются причудливые образы: изъ весеннихъ облаковъ киваютъ ручки, на каждомъ пальцѣ по розѣ („Frühling und Leben": Aus den Wolken winken Hände,—An jedem Finger rote Rose), смѣются алыя уста—смѣются розы; далѣе фантастическое перенесеніе: розы выростаютъ на стеблѣ, „поцѣлуями, поцѣлуями любви осыпанъ кустъ" (mit Küssen, mit Liebesküssen der Busch bestreut. „Frühlings-und Sommerluft"); золотыя полосы стелятъ по голубому небу, путь солнцу (Magelone), а восторгъ, въ который приводитъ лѣсное приволье,

выражается такъ, какъ, какъ будто самъ поэтъ былъ частью лѣса, обвѣяннаго вѣтромъ и птичьей пѣсней:

Mit Fingern, mit Zweigen, mit Aesten,
Durchrauscht vom spielenden Westen,
Durchsungen von Vögelein,
Freun wir uns frisch in die Wurzeln hinein.
(Wald, Garten und Berg).

„Начиная съ романтиковъ, которымъ вторилъ Гёте, наивный психологическій параллелизмъ народной пѣсни началъ раскрываться новому спросу: выразить невыразимое.

„Это требовало и новыхъ средствъ языка и стиха. Уже движеніе Sturm und Drang'a поставило задачей созданіе „геніальнаго“ стиля, сильнаго и вещественнаго, черпавшаго изъ Ганса Сакса и народной рѣчи, не боявшагося новообразованій и свободной конструкціи, элизій и инверсій. Таковъ стиль молодого Гёте. Романтики пошли далѣе. Дѣло не въ рисункѣ, а въ возбужденіи настроенія; здѣсь почииъ романтиковъ неистощимъ въ опытахъ. Новые эпитеты: обновляется потускнѣвшій у сентименталистовъ эпитетъ „золотой“; рядомъ съ нимъ „красный“ и „зеленый“: rotes Leben, rote Sehnsucht; grüne Flammen—весенняя листва (Тикъ). Синкретизмъ и символизмъ чувственныхъ ощущеній: звуки свѣтятся, птицы — оперенные звуки; синій цвѣтъ—цвѣтъ страданія ревности, красный — дѣятельности и любви; у Гофмана запах темно-красной гвоздики вызываетъ мечтательность, точно слышишь издалека набѣгающіе и отливающіе звуки англійскаго рожка (Kreissleriana, 5); А. В. Шлегель изобрѣлъ скалу соотвѣтствій между гласными и рядомъ вызываемыхъ ими ощущеній: а—красный цвѣтъ, юность, радость, блескъ, о—пурпуръ, благородство, великолѣпіе, солнце, i—небесно-голубой цвѣтъ, глубокая любовь и т. д. При этомъ игра въ архаизмы языка, не всегда удачные, но возбуждающіе представленіе чего-то не своего, далекаго, стариннаго, легендарнаго, туманнаго; любовь къ созвучіямъ, риѳмы ради созвучія и риѳмы; если-бы ихъ изобиліе и затемняло смыслъ, оно мелодически настраиваетъ. „Почему именно содержаніе должно быть—содержаніемъ поэтическаго произведенія?“ спрашивалъ Тикъ (Sternbalds Wanderungen). „Можно представить себѣ разсказы безъ связи, но въ ассоціаціи, какъ сновидѣнія; стихотворенія, полныя красивыхъ словъ, но безъ всякаго смысла и связи, развѣ та или другая строфа будутъ понятны; точно разнородные отрывки“ (Новалисъ).

„Романтики—музыкальные импрессіонисты; недаромъ ихъ герои, графы или бродяги, немыслимы безъ арфы или мандолины, будь они въ Италіи или въ Исландіи. „Языкъ точно отказался отъ своей тѣлесности и разрѣшился въ дуновеніе, выразился А. В. Шлегель о Тикѣ; слово будто не произносится и звучитъ нѣжнѣе пѣнія“,

.... dass alle Pulse zu Klängen werden,
Dass alle Gedanken in Tönen irren,
Gefühl und Wunsch und Wahnsinn durcheinander wirren
(Tieck, Genoveva).

„Звучныя слова неопредѣленнаго значенія производятъ то-же впечатлѣніе, что и музыка, говоритъ Новалисъ; въ жизни души опредѣленныя мысли и чувства—согласныя, неясныя чувствованія—гласные звуки. „Музыка потому выше другихъ искусствъ, что въ ней ничего не понять, что она, такъ сказать, ставитъ насъ въ непосредственныя отношенія къ міровой жизни (Universum); сущность новаго искусства можно бы такъ опредѣлить: оно стремится облагородить поэзію до высоты музыки" (Захарія Вернеръ въ письмѣ 1803 года). Для Гофмана музыка—самое романтическое изъ всѣхъ искусствъ; ея объектъ—безконечное, это праязыкъ природы, на которомъ одномъ можно уразумѣть пѣсню пѣсней деревьевъ и цвѣтовъ, животныхъ, камней и водъ. Какъ музыка—праязыкъ природы, такъ въ другомъ мѣстѣ образный языкъ поэзіи и религіи приравнивается къ языку первобытнаго человѣка, отвѣтившему дѣйствительности, утраченной нами съ переходомъ безсознательнаго въ область сознанія, но вѣчно истинной и еще живой, которую человѣку предстоитъ снова открыть.

„И еще одна старая тема обновилась въ сюжетности романтиковъ: миѳъ объ Аріонѣ и чудодѣйственной, зиждущей силѣ его пѣсни.

„Исканію настраивающей выразительности отвѣтило и разнообразіе лирическихъ формъ, введенныхъ въ оборотъ, романскихъ и восточныхъ и навѣянныхъ народной пѣсней; романтики мастера терцины и сонета. Преобладаніе импрессіонизма надъ рисункомъ сказалось въ свободномъ отношеніи Тика къ вопросамъ синтаксиса, у романтиковъ вообще такимъ-же отношеніемъ къ формамъ традиціонной поэтики, различавшей извѣстные роды, сценическіе пріемы; они, казалось, связывали своей излишней опредѣленностью, тѣлесностью: надо смѣшать ихъ, играть ими, тогда только они будутъ „подсказывать". Арабеска, эта наивно-музыкальная, въ самой себѣ вращающаяся линія, представлялась Фр. Шлегелю древнѣйшей формой человѣческой фантазіи.

„Отъ романтиковъ перейдемъ еще разъ къ Жуковскому. Онъ не символистъ ихъ стиля, въ сравненіи съ ними его можно бы назвать классикомъ; онъ простъ; его чудесное носитъ спеціальный характеръ Юнговыхъ Ночей и Оссіана: оно либо лунное, загробное, либо просто сказочно-страшное. И его притягиваетъ „невыразимое", „неизреченное"; оно и есть прекрасное: не даромъ онъ такъ часто возвращался къ толкованію афоризма Руссо: il n'y a de beau que ce qui n'est pas. Есть слова для „блестящей красоты" говоритъ онъ,

Но то, что слито съ сей блестящей красотою,
Сіе столь смутное, волнующее насъ,
Сей внемлемый одной душою
Обворажающаго гласъ,
Сіе къ далекому стремленье,
Сей миновавшаго привѣтъ
Какъ прилетѣвшее внезапно дуновенье
Отъ луга родины, гдѣ былъ когда-то цвѣтъ,

Святая молодость, гдѣ мило упованье\),
Сіе шепнувшее душѣ воспоминанье
О миломъ радостномъ и скорбномъ старины,
Сія сходящая святыня съ вышины,
Сіе присутствіе Создателя въ созданьи,—
Какой для нихъ языкъ?... Горѣ душа летитъ,
Все необъятное въ единый вздохъ тѣснится,
И лишь молчаніе понятно говоритъ.

(Невыразимое).

„Прелесть природы въ ея невыразимости", писалъ въ 1821 г. Жуковскій, но средства выраженія у него не тѣ, что у романтиковъ. Я сказалъ выше, что сентименталисты, по существу не зрячи (visuels), но къ сентименталисту Жуковскому мы поставили бы иныя требованія: онъ не только любитель и знатокъ живописи, но смолода и страстный рисовальщикъ. Для него, какъ поэта, это не безразлично.

„...Рисунки Жуковскаго, когда они не наброски, вычерчены обстоятельно и нѣсколько сухо; его привлекали виды Kleinleben и далекія перспективы; рѣже фигуры и лица; видно исканіе выразительности въ позѣ, исканіе правды; недостаетъ красокъ, освѣщенія. Здѣсь дополненіемъ служитъ текстъ дневниковъ; особенно дневникъ 1821 года представляетъ рядъ красочныхъ этюдовъ съ натуры, зачерченныхъ словомъ, нерѣдко до мелочей. Мы знаемъ, что многое изъ этихъ замѣтокъ нашло потомъ литературную обработку и попало въ печать, но въ дневникѣ впечатлѣнія наскоро, повторяясь, — свѣжѣе, сочнѣе, ярче; присутствуешь при моментѣ, когда видѣнное не только зарисовывается, но и вызываетъ цвѣтовые образы, сравненія и—размышленія, когда на смѣну художника является, съ его рефлексіей, нечальный сентименталистъ.

„Вечеръ на Lago Maggiore: *полумѣсяцъ* надъ холмомъ, *какъ колесница*. Востокъ и Западъ. Радужныя небеса... Звѣзды на горахъ. Вѣтеръ. Воды, измѣняющіяся вмѣстѣ съ небомъ. Тихія облака. Одно облако на небѣ. Цвѣтъ Альповъ и горъ отъ розоваго къ голубому" (1821 г. 16 августа). „Во весь день Mont-Blanc въ клубящихся облакахъ. Въ часъ заката облака вспыхнули и разошлись, и выступила *пламенная голова* великана. Теперь ночь, передовые головы черны, надъ ними рядъ черныхъ головъ и звѣздное небо; Арва шумитъ; прекрасная сельская картина; исчезаніе предметовъ" (21 августа). Образъ громадной головы не покидаетъ насъ и позже. Видъ изъ С. Ма тина: „необыкновенная яркость *полумѣсяца* (полумѣсяцъ пріятнѣе полной луны); *туманъ, какъ дымъ, и звѣзды, какъ искры отъ пожара*. Сходъ въ долину. *Кладбище. Одинъ крестъ. Маленькая церковь.* Нѣсколько домовъ. Дорожки. Мѣсяцъ. Летучая мышь. Пѣтухъ. Огромные Альпы. Востокъ чистъ и ясенъ; на немъ формы Альповъ. Всѣ прочія вершины только темныя, а Mont Blanc уже свѣтелъ. Отъ луны около вершины тѣнь, а на вершинѣ нѣтъ; развѣ снизу... Вершины озаряются, все неодинаковаго цвѣта съ прочимъ, розово-свѣтлыя, а другія голубовато-цвѣтныя. Роса пала, облака вились и перевивались

около вершинъ, съ однихъ дымомъ, а съ другихъ *хвостомъ шлема, покрываломъ, всклокоченною бородою*, часть точно *летающія головы опрокинутыхъ великановъ*, какъ гиганты, упавшіе навзничь съ прикованными къ грудямъ руками и ногами, остатки древняго боя гигантовъ". И далѣе то-же: облака, „какъ головы", „бороды по скаламъ; въ этотъ вечеръ точно собраніе *духовъ*"; „на Монбланѣ вихорь пламенныхъ тучъ. *Лица опрокинутыхъ великановъ впереди: поле сраженія*"; „вихорь облаковъ, словно *духи*. Нѣсколько темныхъ облаковъ у ступеней *прокрадываются*. Между тѣмъ кузнечики, свѣжій воздухъ, яркія звѣзды, посреди неба нѣсколько парящихъ летучихъ облаковъ, стукъ цѣповъ, шумъ воды, уединеніе, колоколъ. Все точно въ тонкомъ, свѣтломъ покровѣ" (22 августа); „надъ Тунскимъ озеромъ Оссіановская картина: точно группы туманныхъ воиновъ съ *дымящимися головами*" (9 сентября). Огромное дерево, какъ *призракъ съ раскинутыми руками*: „туманы въ разныхъ видахъ, словно *привидѣнія*... облако, *какъ привидѣніе къ каскаду, какъ двѣ руки*"; „выходъ луны изъ-за утесовъ, словно *голова* на „огромномъ туловищѣ" (10 и 11 сентября).—Описаніе водопадовъ—фотографическое: сколько струй, какія бьются, а не бросаются; надъ нами радуга-красавица (22 августа; сл. 10 и 16 сентября). „Удивительный вечеръ на берегу озера, *тронувшій душу до слезъ*: игра на водахъ, чудесное измѣненіе; неизъяснимость" (27 августа); „*грусть отъ прелести и одиночества*" (28 августа). Еще сравненія для облаковъ: „бѣлыя облака, какъ *вата* или *пухъ* на синихъ горахъ" (2 сентября), „какъ взбитая *пѣна* или вата", „какъ кудри". Вмѣсто образа—рефлексія: „рѣка, тихо сходящая по плотинѣ — *образъ мудраго правленія*; плотина, стоячая вода, прососы—*разрушеніе*" (6 сентября); „смотря на Аарскую долину, мысль о нынѣшнихъ правителяхъ: они стоятъ не за себя, а за министровъ". Удивительная магія разоблаченія горной вершины при восходѣ солнца, „точно какъ *посвященіе въ какое-нибудь таинство*; *богиня-природа*", „*вечеръ облачный едва-ли не прелестнѣе яснаго. Душа и несчастіе, душа и счастіе. Революція и порядокъ*. Вечеръ облачный и лунный" (9 сентября). *Затмѣніе горъ* вызываетъ *сравненіе съ смертью* (17 сентября), другое — *заходъ солнца*: „*Богъ покидаетъ на время видимое твореніе*"; „видя угасающую природу, приходишь въ мысль, что душа и жизнь есть что-то не принадлежащее тѣлу, а высшее; пока онѣ въ немъ, по тѣхъ поръ и красота; удалились — формы тѣ-же, но красоты уже нѣтъ; ничто такъ не говоритъ о смерти въ величественномъ смыслѣ, какъ угасающія горы" (21 и 22 сентября). „Красота не въ природѣ, а въ душѣ человѣка; свѣтъ и душа; революція и горы"; по этому поводу размышленіе о грекахъ, сражавшихся за освобожденіе" (23 сентября). — 24 сентября: „Плаванье въ дождь съ сильнымъ попутнымъ вѣтромъ. Шумъ дождя и отъ разрѣзыванія волнъ лодкою. Впереди волны надуваются, иногда рвы, изрѣдка пѣна; сзади какъ будто преслѣдуютъ, и большія струи пѣны. Сзади дождь, впереди пристань, сбоку небо! Колыханье. Въ сильный вѣтеръ и въ бурю весело и руль, но когда все напрасно, брось все: есть доска. Il y a du sublime à être debout sur une nacelle et s'avancer

au milieu des vagues". — Человѣческая жизнь показывается въ этихъ пэйзажахъ лишь урывками, не нарушая общаго впечатлѣнія мечтательнаго покоя и „одиночества", плодящаго „грусть". „Послѣ обѣда прелестная прогулка берегомъ Рейссы; крестъ, старикъ и лодка; на мосту несравненное захожденіе солнца; зеленая роща въ огнѣ... утки, рыбакъ, тростникъ" (20 сентября).

„Пройдетъ десять слишкомъ лѣтъ, и мы встрѣтимъ тѣ-же характерныя черты и пріемы въ дневникѣ и письмахъ 1832 и 1833-го годовъ. „Башни, какъ *привидѣнія*. Облака, пожираемыя горами" (29 августа 1832 г.); „*чувство великаго и прекраснаго оттого такъ мучительно, что желалъ бы съ нимъ слиться*: жажда при видѣ Рейна, стремленіе при видѣ Альповъ — музыка, поэзія" (5 сентября). „Прелестный вечеръ: янтарное западное небо. *Яркая звѣзда, какъ глазъ, наполненный слезою*"... (29 сентября/11 октября); „пѣсни — горніе крики" (20 ноября/2 декабря); „*сравненіе естественной и откровенной религіи съ утесомъ безъ дороги и съ дорогою*" (13 декабря); „нижніе пологіе *берега, какъ призраки. черное облако, какъ орелъ* посреди свѣта. Золотые края облаковъ надъ Юрою; *снѣжная тонкая бахрама на ближнихъ облакахъ, какъ складки занавѣса*" (12/24 марта 1833 г.); „небо и озеро слиты прозрачнымъ туманомъ, сквозь который *снѣжныя горы, какъ волшебный міръ*" (14/26 марта); „облако надъ Юрою *съ золотою гривою*" (16/28 марта).—„Горная философія" письма изъ Швейцаріи—образчикъ рефлексій, разбросанныхъ въ дневникѣ.

„Итальянскія впечатлѣнія Жуковскаго сдержаннѣе, Италія не претворила его, какъ Гёте и, хотя и въ другомъ направленіи, романтиковъ. Онъ не того въ ней и искалъ, хотя писалъ Козлову, что покидаетъ Италію, какъ любовникъ невѣсту, которую любитъ страстно. „Все это можетъ обдѣлаться въ стихи или хоть въ прозу, ибо, какъ говоритъ Гёте, Lied und Freude wird Gesang". Но итальянцы ему не понравились, они—„природные актеры. И что за языкъ! Одушевленная живость, но мало привлекательнаго для сердца, которое не можетъ быть притянуто безъ простоты и чистосердечія". Въ Венеціи его обуяли историческія воспоминанія, и башня въ лунную ночь показалась ему призракомъ.

„Передъ нами вся палитра Жуковскаго-художника; его „описанія" любили, и онъ грѣшилъ ихъ изобиліемъ. Пейзажъ набросанъ au trait, наложены краски; художникъ озабоченъ освѣщеніемъ, игрой цвѣта и тѣни, чутокъ къ переливамъ отъ „розоваго къ голубому", отъ „розово-свѣтлаго" къ „голубовато-цвѣтному". Это сторона *правды*, едва-ли впрочемъ такъ ярко отразившаяся „въ его живописныхъ описаніяхъ природы", какъ говорилъ Гоголь; самъ Гоголь, Марлинскій куда какъ цвѣтнѣе. Жуковскому удается кроткій лирическій пейзажъ съ „дышущимъ" озеромъ, по которому лодка оставляетъ серебряныя струи, либо съ тѣнью, идущею по слѣдамъ пѣшехода, или пейзажъ съ вѣчнымъ противорѣчіемъ, вносимымъ въ него человѣкомъ, какъ напр., изображеніе Бородинской ночи. Таковъ отвѣтъ Жуковскаго-поэта на требованіе sentiment, Gemüth, выраженія de l'âme humaine dans celle de la nature. При этомъ его фантастика старая, временъ Громо-

боя: по прежнему свѣтитъ луна или полумѣсяцъ, который еще пріятнѣе, а въ его свѣтѣ горы, облака, деревья обращаются въ гигантскія головы, пламенныя или дымящіяся, въ хвостатые шлемы, духи и привидѣнія съ простертыми руками. Нѣтъ богатства ассоціацій, пантеистически обнимающихъ весь міръ, вездѣ раскрывающихъ символы—подъ опасеніемъ заслонить живую природу дріадами и ореадами. Не въ нѣмецкихъ-ли романтиковъ мѣтитъ Жуковскій, когда въ дневникѣ 1839 г. (23 апрѣля/5 мая) ставитъ вопросъ: „отчего живописная поэзія въ особенности принадлежитъ Англіи, нѣсколько Швейцаріи, мало Италіи и Франціи, Германіи—болѣе *фантастическая? Искусство украшать природу особенно въ томъ, чтобы ее прятать*".—Размышленія по *поводу* (тихо сходящая рѣка—и мудрое правленіе, революція—и горы и т. д.), разсыпанныя въ дневникахъ, стоятъ какъ-бы на порогѣ того поэтическаго отождествленія, гдѣ чувственное и мысленное, природный и волевой акты сливаются — въ параллелизмахъ народной пѣсни и въ пантеистическихъ формулахъ романтиковъ. И Жуковскій чувствуетъ мучительное желаніе слиться съ прекраснымъ и великимъ въ природѣ, но останавливается передъ ней въ сентиментальной рефлексіи, въ грусти „отъ прелести и одиночества" и ставитъ вопросы о „душѣ и счастьѣ" и жизни, угасающей, какъ гаснутъ горы, когда „Богъ покидаетъ на время видимое твореніе".

„Слышится старая, грустно-баюкающая, младенчески-задушевная дума Жуковскаго. Она невольно просилась на музыку; не даромъ музыка была для него чѣмъ-то „божественнымъ", несущественнымъ, манящимъ на воспоминанія, открывшимъ тотъ „незнаемый край", откуда ему „свѣтится издали радостно, ярко звѣзда упованья".

Общій взглядъ А. Н. Веселовскаго сводится къ тому, что Жуковскій вышелъ изъ псевдо-классической школы, быстро уступившей вліянію сентиментальной. Послѣдняя офорнила его чувство, „но онъ хочетъ высказаться точнѣе въ своей неопредѣленности, разнообразнѣе въ своемъ однообразіи. Онъ ищетъ новыхъ способовъ выраженія"... Но по существу, по внутреннему содержанію (и, въ частности, по качеству „народности" своихъ произведеній), Жуковскій остался—„въ преддверіи романтизма".

Поэзія Sturm und Drang'a, бурныхъ стремленій и геніальничанья, съ ея энергическими заявленіями личности и протестомъ противъ всякихъ условностей, коснулась Жуковскаго не своей психологіей, а литературной стороной: интересомъ къ народной старинѣ (Бюргеръ), міровой литературѣ и поэтическому экзотизму (Гердеръ, Форсъ)....

Итакъ, Жуковскій остался въ „преддверіи романтизма". Онъ—не символистъ стиля романтиковъ, въ сравненіи съ которыми его скорѣе можно назвать классикомъ. Его чудесное не изъ области романтизма: оно либо лунное, загробное, либо просто сказочно-страшное; приходятъ на память Юнговы ночи и Оссіанъ. Изслѣдованіе народности въ произведеніяхъ Жуковскаго приводитъ автора къ выводу, что народность не лежала въ сферѣ его непосредственныхъ интересовъ. И она являлась для него лишь однимъ изъ

средствъ выразить свое личное настроеніе. Въ этомъ отношеніи Жуковскій всю жизнь оставался лирикомъ. Онъ явился у насъ первымъ поэтомъ непосредственнаго чувства. Осталась та *правда настроенія*, которая, по слову изслѣдователя, составляетъ завѣтъ Жуковскаго; — „это стало требованіемъ, и эта правда пройдетъ „вѣковъ таинственную даль".

— Въ качествѣ дополнительныхъ матеріаловъ слѣдуетъ отмѣтить „Уткинскій сборникъ". I. Письма В. А. Жуковскаго, М. А. Мойеръ и Е. А. Протасовой. Съ 4 портретами. Подъ редакціей А. Е. Грузинскаго. Изд. М. В. Беэръ. М., 1904.

— Новѣйшія (юбилейныя) изданія сочиненій Жуковскаго: подъ ред. А. Кирпичникова, М., 1902, А. Д. Алферова, М., 1902;—Архангельскаго, Спб., 1902.

— В. А. Жуковскій и его отношеніе къ декабристамъ, Рус. Ст., 1902.

Къ стр. 24.—Рус. Арх. 1870, стр. 1.237: „Неизданные стихи Жуковскаго (Смерть Іисуса)"—переводъ кантаты Рамлера „Der Tod Iesu" (Berlin, 1814).

Къ стр. 25 и д. — Исторіи романтизма на русской почвѣ посвящены работы: Н. И. Замотина — „Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX стол. въ русской литературѣ", Варшава, 1903,—и П. К. Козьмина „Очерки изъ исторіи русскаго романтизма", Спб., 1903. Первая изъ работъ изслѣдуетъ литературную почву „романтизма 20-хъ годовъ" въ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка и восходитъ къ литературной теоріи „романтизма 20-хъ годовъ" въ русской журнальной критикѣ; вторая представляетъ попытку изученія Н. А. Полевого, какъ выразителя литературныхъ направленій современной ему эпохи.

Къ стр. 31.—„Очерки русской литературы" Полевого были изданы въ 1839.— Сочиненія Жуковскаго, изд. VIII (подъ ред. П. А. Ефремова) М., 1885.

Къ стр. 32.—Письма Ив. Кирѣевскаго—Русск. Арх. 1870.

Къ стр. 38 и д.—„Статьи о Пушкинѣ по поводу изд. 1855 г. въ Современникѣ 1855" — [Н. Г. Чернышевскій] Критическія статьи (Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ, Островскій, Левъ Толстой, Щедринъ и др.). „Современникъ", 1854—1861 гг. Изданіе М. Н. Чернышевскаго., Спб., 1893.—Съ 1905 предпринято полное собраніе сочиненій Н. Г. Чернышевскаго.

— Литература о Пушкинѣ необыкновенно разрослась въ связи съ чествованіемъ столѣтняго юбилея со дня рожденія поэта. Наиболѣе полный библіографическій обзоръ ея см. у В. В. Сиповскаго, „Пушкинская юбилейная литература 1899 - 1900 гг. Критико-библіографическій обзоръ". Изд. Пушкинскаго Лицейскаго общества, Спб., 1902; см. также работы В. В. Каллаша. — Въ 1900 г. предпринято изданіе сочиненій Пушкина Академіей Наукъ: Т. I (два изданія — „Лирическія стихотворенія 1812 — 1817"); т. II, 1905 („Лирическія стихотворенія 1818 — 1820"). Также подъ ред. П. А. Ефремова, т. I—VIII, Спб., 1903—1905.

— „Пушкинъ" В. Стоюнина, Спб, 1899 (3-е изд.).

— Статья В. Якушкина „Радищевъ и Пушкинъ" вошла въ его книгу „О Пушкинѣ, статьи и замѣтки", М., 1899.

— Рѣчь А. Кирпичникова „Пушкинъ какъ европейскій поэтъ" вошла въ его книгу „Очерки по исторіи новой русской литературы", Спб., 1896; о Пушкинѣ вообще — см. 2-ое изд. въ 2-хъ т., т. 2-й, М., 1903.

— Статья В. Д. Спасовича „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго" вошла во второй томъ его „Сочиненій", въ 10 томахъ, Спб., 1889—1902.

См. также „Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ", т. I, Спб., 1899.

Къ стр. 47.—Къ вопросу о національномъ и народномъ значеніи Пушкинской поэзіи см. акад. А. Н. Веселовскаго „Пушкинъ — національный поэтъ"—Извѣстія отд. русск. языка и словесности Имп. Акад. Наукъ, 1899, кн. I.

Къ стр. 51.—Въ предыдущемъ изданіи „Характеристикъ" (1893) къ словамъ: „Въ этихъ осужденіяхъ есть тѣмъ болѣе грубая, что иногда, вѣроятно, сознаваемая ошибка"—сдѣлана ссылка на отзывы гг. Морозова и Трубачева. Изъ статей П. О. Морозова о Пушкинѣ: „Пушкинъ въ русской литературѣ", Дѣло, 1887, 1, 2;—„Пушкинъ въ русской критикѣ" (актовая рѣчь), Спб., 1887; г. С. Трубачевъ—составитель книги „Пушкинъ въ русской критикѣ 1820—1880 г.", Спб., 1889, (1-ое изд.).

Къ стр. 52.—„Современникъ 1855"—„Критическія статьи" Н. Г. Чернышевскаго, см. выше.

Къ стр. 56.—Въ предыдущемъ изданіи „Характеристикъ" (1893) къ словамъ: „Современные панегиристы, полагая, что Пушкинъ недостаточно оцѣненъ былъ критикой 40-хъ и 50-хъ гг. и пр., ссылаются даже на рѣчь Достоевскаго" сдѣлано подстрочное примѣчаніе: „такъ дѣлаетъ даже г. Кирпичниковъ; см. его рѣчь". Рѣчь, читанная Кирпичниковымъ 29 января 1887 г.—„Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ" помѣщена, какъ указано выше, въ его „Очеркахъ по исторіи новой русской литературы", Спб., 1896.

Къ стр. 62.—Книга Анненкова „Пушкинъ въ Александровскую эпоху".—Спб., 1874.

Къ стр. 66.—Рѣчь В. О. Ключевскаго—„Русская Мысль" 1880, кн. 6.

Къ стр. 70. — Пародія на стихотвореніе Пушкина „Чернь". Полное заглавіе и текстъ:

Трудолюбивый муравей.

(Историческо-политическо-литературная Газета, издаваемая въ городѣ NN Яковомъ Ротозѣевымъ и Ѳомою Низкопоклонинымъ).

Поэтъ.

(Посвящено Ѳ. Ѳ. Мотылькову).

Самовластительный губитель
Забавъ и доблестей своихъ,
То добрый геній, то мучитель,
Мертвецъ средь радостей земныхъ
И гость веселый на кладбищѣ,
Поэтъ! скажи мнѣ, гдѣ жилище,
Гдѣ домъ твой, дивный чародѣй?

Небрежной лирою своей
Ты насъ то мучишь, то терзаешь,
То радуешь, то веселишь;
Къ ногамъ порока упадаешь,
Добро презрѣніемъ даришь;
То надъ неопытною дѣвой,
Какъ старый грѣшникъ, шутишь ты...
Скажи, зачѣмъ твои волненья,
Твои безумныя сомнѣнья;
Зачѣмъ въ тебѣ порокъ и зло
Блестящимъ даромъ облекло
Судьбы счастливой заблужденье?
Зачѣмъ къ тебѣ, суетъ дитя,
Всползли, взгнѣздилися пороки?
Лжи, лести, низости, уроки
Ты проповѣдуешь шутя?
Съ твоимъ божественнымъ искусствомъ
Зачѣмъ, презрѣнной славы льстецъ,
Зачѣмъ предательскимъ ты чувствомъ
Мрачишь лавровый свой вѣнецъ?"
Такъ говорила чернь слѣпая,
Поэту дивному внимая;
Онъ горделиво посмотрѣлъ
На вопль и крики черни дикой,
Не дорожа ея уликой.
Какъ юный, дѣвственный орелъ;
Ударилъ въ струны золотыя,
Съ земли далеко улетѣлъ,
Въ передней у вельможи сѣлъ,
И пѣсни дивныя, живыя
Въ восторгѣ радости запѣлъ.

Безсмысловъ.

С.-Петербургъ, 1832.

„Здѣсь, ясно, дѣло идетъ о „Литературной Газетѣ", которую издавалъ Дельвигъ (его, очевидно, должно разумѣть подъ именемъ Якова Ротозѣева), литературный кліэнтъ Пушкина (котораго хочетъ пародія означить именемъ Ѳомы Низкопоклонина). Прозвища „Мотыльковъ" и „Безсмысловъ", очевидно, относитъ она также къ нему".

(Примѣчаніе Н. Г. Чернышевскаго. Статья о Пушкинѣ „Современ.", 1855; см. Полн. собр. соч.).

Къ стр. 71.—Статьи Анненкова — „Общественные идеалы Пушкина"—Вѣстн. Евр., 1880, кн. 6; „Литературные проекты Пушкина" — Вѣстн. Евр., 1881, кн. 7.

Къ стр. 75.—„Воспоминанія и критическіе очерки" (1849—1868) Анненкова, три тома, Спб., 1877—1880.

Къ стр. 76.—Сочиненія А. С. Пушкина, въ 7 т., изд. Литер. Фонда, Спб., 1887. — Полное собр. сочиненій кн. П. А. Вяземскаго въ 11 т., изд. гр. С. Д. Шереметева, Спб., 1878—86.

Къ стр. 91—92.—О Пушкинѣ и байронизмѣ въ русской литературѣ см. книгу Алексѣя Н. Веселовскаго: „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ"; 3-е переработанное изд., М., 1906. Ее же слѣдуетъ имѣть въ виду и при чтеніи дальнѣйшихъ главъ, особенно о Чаадаевѣ; много библіографическихъ указаній. См. также В. Д. Спасовича „Сочиненія" т. II, Спб., 1889 — статья „Байронизмъ у Пушкина", стр. 291—340.

Къ стр. 107.—О Магницкомъ существуетъ обширная литература (см. Иконниковъ, „Опытъ русской исторіографіи", Кіевъ, 1872, т. I, кн. 2); изъ позднѣйшей литературы: Сухомлиновъ, „Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію", т. I, Спб., 1889; Загоскинъ, Н. П. „Исторія Имп. Казанскаго Университета за первыя сто лѣтъ его существованія", въ 3 томахъ, Казань, 1902 — 1904, — въ т. 3-мъ—„эпоха попечительства Магницкаго".

Къ стр. 111.— Семевскій, В. И. „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX в.", Спб., 1888.

Къ стр. 117.—Книга маркиза Кюстина—„La Russie en 1839", Р., 1843.

Къ стр. 118.—Русск. Арх., 1868, стр. 989 — 991: „Воспоминанія о П. Я. Чаадаевѣ", Д. Свербеева.

Къ стр. 122.—Книга Н. И. Тургенева—„La Russie et les russes". 3 v., Р., 1847.

Къ стр. 128.—Письма и отрывки, выключенные Гоголемъ изъ „Выбранныхъ мѣстъ" см. въ собраніи сочиненій Гоголя подъ ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока, 10-е изд. Спб., 1896.

Къ стр. 130. — Русск. Арх., 1869, стр. 1557 — 58. — „Письмо Булгарина къ И. П. Липранди": „Н. И. Гречъ безъ малѣйшей деликатности распоряжается „Сѣверною Пчелою", какъ своею фамильною собственностью, поручаетъ хозяйственную часть кому угодно, принимаетъ сотрудниковъ, платитъ имъ — не говоря мнѣ ни слова! Даже заграницей завербовалъ онъ какого-то сорванца, который присылаетъ ему вырѣзки изъ газетъ и разныя писанныя сплетни, которыхъ я не вижу и не знаю! Прежде за это платило III отд. соб. Его Величества канцелярія, куда и поступаютъ эти заугольныя извѣстія, а теперь „Сѣверная Пчела" должна платить этому сорванцу 1.000 рублей серебромъ! Типографія „Сѣверной Пчелы" должна имѣть лучшихъ наборщиковъ въ городѣ, а между тѣмъ въ ней одни мальчики, ученики и одинъ только безтолковый чухонскій наборщикъ! Однакожъ листъ „Пчелы" обходится болѣе нежели въ 60 рублей серебромъ, хотя мнѣ типографія никогда не показала подробнаго отчета. Вычитается изъ дохода „Пчелы", въ массѣ, та сумма, которая нужна на содержаніе дома и проч., и проч., и проч. До сихъ поръ я все молчалъ, и деликатность мою Н. И. Гречъ принимаетъ за свое право распоряжаться въ „Пчелѣ", какъ хозяинъ, устраняя меня совершенно! По моему разсчету Н. И. Гречъ въ 30 лѣтъ перебралъ изъ дохода „Пчелы", болѣе моего, около 300.000 рублей ассигнаціями. Онъ меня трактуетъ, какъ сотрудника! Я докажу, что я не сотрудникъ, а такой же хозяинъ въ „Пчелѣ" какъ, и Гречъ!

„Н. И. Гречъ вовсе не цѣнитъ никакихъ заслугъ моихъ въ „Пчелѣ", но я имѣю доказательства, что публика цѣнитъ мои труды. Н. И. Гречъ надѣется на своихъ сильныхъ пріятелей, что затретъ

меня и уничтожить въ „Пчелѣ"; но я не боюсь этого, ибо правота, не взирая на всѣ интриги, дойдетъ до сердца Государя! Онъ меня лично знаетъ и зналъ еще по покойному К. К. Мердеру".

Къ стр. 130—131.—Имѣется въ виду драма Кукольника „Рука Всевышняго отечество спасла", Спб., 1834; за неодобрительный о ней отзывъ „Моск. Телеграфъ" Полевого былъ запрещенъ. Тогда же получила распространеніе эпиграмма:

„Рука Всевышняго три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ходъ дала
И Полевого задушила".

(Объ этомъ вообще см. „Изслѣд. и статьи" Сухомлинова, Спб., 1889 („Н. А. Полевой и его журналъ „Московскій Телеграфъ"), а также у В. Я. Богучарскаго—„Изъ прошлаго русскаго общества" Спб., 1904, стр. 306—317).

Къ стр. 132.—Русск. Стар., 1870, II, стр. 384: „Записки М. И. Глинки 1804—1854 (сообщ. Л. И. Шестаковой)". Точнѣе: „прикажетъ государь, завтра буду акушеромъ".

Къ стр. 140.—Къ сдѣланнымъ указаніямъ можно добавить:

— Шильдеръ, Н. „Императоръ Александръ I, его жизнь и царствованіе", 4 т. Спб., 1897—1898. 2-ое изд. Спб., 1902;—„Императоръ Николай I", Спб., 1903.

— Никитенко, А. В. „Моя повѣсть о самомъ себѣ". Записки и дневникъ (1804—1877), въ 2-хъ т., Спб., 1904 (изд. 2-ое).

— Записки Д. Н. Свербеева (1799—1826), въ 2-хъ т. М., 1899.

— Бурцевъ „За сто лѣтъ", Лонд., 1897.

— Богучарскій, В. „Изъ прошлаго русскаго общества", Спб., 1904.

— Бороздинъ, А. К. „Литературныя характеристики. Девятнадцатый вѣкъ", въ 3-хъ т., т. I, Спб., 1903.

— Общественныя движенія въ Россіи въ первую половину XIX в., т. I.—Статьи и матеріалы В. И. Семевскаго, В. Я. Богучарскаго, П. Е. Щеголева. Спб., 1905.

— „Изъ исторіи общественныхъ теченій въ Россіи". Статья М. В. Довнаръ-Запольскаго, Кіевъ, 1905.

Къ стр. 141.—Къ главѣ IV.—Въ послѣднее время появилось нѣсколько новыхъ работъ о Чаадаевѣ:

— Веселовскій, Алексѣй. „Этюды и характеристики" (статья „Гоголь и Чаадаевъ"). М., 1903.

— Гершензонъ, М. „Молодость П. Я. Чаадаева". Научное Слово, VI. 1905.

— Лемке, М. К. „Чаадаевъ и Надеждинъ". Міръ Божій, IX—XI. 1905.

— Гершензонъ, М. „Къ характеристикѣ П. Я. Чаадаева". Былое, IV. 1906.

— Гершензонъ. М. „Чаадаевъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ", Вѣстн. Евр., 1906, IV.

— „Философическія письма". Переводъ подъ ред. М. О. Гершензона, Вопросы философіи и психологіи, 1906.

— Пузановъ, П. Н. „П. Я. Чаадаевъ и его міросозерцаніе"— въ „Трудахъ Кіевской Дух. Академіи", 1906, №№ 5 и 6.

Къ стр. 142.—Русск. Арх., 1868.—„Кому и чему должно приписать возникновеніе у насъ этой исключительно-русской партіи? Я думаю, во-первыхъ, самому правительству; во-вторыхъ, духу времени, или, что одно и то же, обще-европейскому направленію, зародившемуся въ романтической Германіи. Правительство наше возбудило русскую партію своей программой, которою опредѣлило себя при самомъ началѣ прошедшее царствованіе, принявъ символъ: Православіе, Самодержавіе, Народность. Далѣе: не подражаніе, а какое-то напітіе отъ Запада, почти въ одно и то же время, увлекло и насъ историческими и филологическими изслѣдованіями, романтизмомъ, возстановленіемъ всѣхъ элементовъ народности, преувеличеннымъ сочувствіемъ къ низшему народному классу, къ религіознымъ вопросамъ и пр., и пр. Подобно тому, какъ во время Александра провозглашенные имъ принципы и слова Священнаго Союза о христіанской братской любви, народной свободѣ и правахъ человѣчества, пробудили у насъ заснувшій мистицизмъ, образовали библейскія и многія другія филантропическія общества, и наконецъ отбросили самыхъ чистосердечныхъ поклонниковъ этихъ идей за предѣлы благоразумія и порядка—такъ и въ послѣднее царствованіе, къ концу перваго его десятилѣтія, краеугольныя тройственныя слова, принятыя имъ въ основаніе, пустили свои корни, можетъ быть, глубже, нежели какъ могло того ожидать и еще менѣе предвидѣть само правительство. Во Франціи были же, и такъ еще недавно, роялисты, болѣе преданные монархической власти, нежели самъ король. То же самое случилось и у насъ съ доброхотными защитниками Самодержавія. Облеченные бронею второго принципа этого тройственнаго символа, мужественно выступили на брань непризванные заступники Православія и своей исключительностью, своимъ догматизмомъ, болѣе или менѣе аскетическимъ, своими жалобами, стремленіями, требованіями, своей нетерпимостью ко всѣмъ другимъ вѣроисповѣданіямъ далеко опередили законныхъ и освященныхъ учителей нашей церкви. Тѣмъ еще ревностнѣе, тѣмъ еще пламеннѣе подъ защитой уже обоюдонеприкосновенной эгиды, стали они ратовать за третій принципъ правительственнаго символа, за Народность. Въ русскомъ народѣ (несправедливо, оскорбительно разумѣя подъ этимъ именемъ одни низшіе классы нашего общества) ежедневно открывали они такія добродѣтели, такія достоинства, такую глубину премудрости, что еслибы кто-нибудь изъ среды этого народа, какимъ-нибудь чудомъ внезапно выучился читать и (что было бы еще чудодѣйственнѣе) уразумѣвать ихъ туманно-германскіе возгласы, то всеконечно оцѣпенѣлъ бы отъ изумленія при открытіи въ себѣ и себѣ подобныхъ такой полноты человѣческаго совершенства. Въ историческихъ памятникахъ до-петровской Руси, уже частью извѣстныхъ и вновь усердно отыскиваемыхъ, равно какъ въ нашихъ актахъ и грамотахъ, въ русскихъ сказкахъ и пѣсняхъ открыва-

лись любителями старины и народности такіе элементы добра, правды, поэзіи, просвѣщенія, какихъ никогда не находилъ въ нихъ никакой безпристрастный читатель. Всѣ невыгодные отзывы о святой до Петра Руси и иностранцевъ, и нашихъ современныхъ писателей заподозривались или умалчивались, а нѣкоторые изъ нихъ становились предметомъ или предлогомъ преслѣдованій. О Котошихинѣ, о грамотѣ князя Пожарскаго къ австрійскому эрцгерцогу, о письмахъ царя Алексѣя Михайловича къ Никону, о новыхъ источникахъ исторіи Троицкой осады, открытыхъ и сведенныхъ замѣчательнымъ монографомъ Голохвастовымъ, о темной сторонѣ изданнаго имъ Домостроя говорить не любили, а Флетчера запретили—и съ какимъ шумомъ! Наконецъ вся древняя и новая философія объявлена была рѣшительно-безполезной и чуть ли не положительно безбожной. Попытка замѣнить всякое философское ученіе позднѣйшими православными, не многимъ доступными, учителями восточной церкви пятаго и послѣдующихъ вѣковъ и, что еще страннѣе, нашими собственными духовными писателями, нигдѣ ненапечатанными, никому слѣдовательно невѣдомыми, писателями среднихъ вѣковъ нашей исторіи (можно себѣ представить, что это были за философы!) такая попытка еще не забыта". (Восп. о Чаадаевѣ).

Къ стр. 144.—Русск. Арх., 1871, стр. 1097—1252: статья Погодина—„Сперанскій".

— Къ вопросу о „тайномъ обществѣ". О декабристахъ см. литературу въ „Историческихъ очеркахъ" А. Н. Пыпина, Спб., 1904, 3-е изд.; затѣмъ библіографія дана въ книгѣ „Собраніе стихотвореній декабристовъ", изд. И. И. Ѳомина, Спб., 1906. т. I, стр. 307—315. Отмѣтимъ здѣсь:

— Записки Сергѣя Григорьевича Волконскаго (декабриста). Изд. кн. М. С. Волконскаго. Спб., 1901.

— Якушкинъ, И. Д. Записки, М., 1905 (2-е изд.).

— Записки кн. М. Н. Волконской, съ предисловіемъ и приложеніями кн. М. С. Волконскаго, Спб., 1904.

— Дмитріевъ-Мамоновъ, А. Декабристы въ Западной Сибири. Очеркъ по оффиціальнымъ документамъ, Спб., 1905.

— Собраніе сочиненій и переписка Кондратія Федоровича Рылѣева, съ его портретомъ и біографіей. Спб., 1906.

— Общественныя движенія въ Россіи въ первую половину XIX вѣка. Т. I. Декабристы: М. А. Фонъ-Визинъ, кн. Е. П. Оболенскій и бар. В. И. Штейнгель (статьи и матеріалы). Составили: В. И. Семевскій, В. Богучарскій и П. Е. Щеголевъ. Спб., 1905.

— Щеголевъ, П. Первый декабристъ (Раевскій). Спб., 1905.

— Мякотинъ, В. А. Изъ исторіи русскаго общества, 2-е изд. Спб., 1906.

— Довнаръ-Запольскій, М. В. Мемуары декабристовъ. Кіевъ [1906].

— Бороздинъ, А. К. (ред.). Изъ писемъ и показаній декабристовъ. Спб., 1906.

— П. И. Пестель. Русская правда. Наказъ Временному Верховному Правленію. Книгоиздательство „Культура". Спб., 1906.—Приготовлено къ изданію П. Е. Щеголевымъ; съ предисловіемъ.

— Декабристы. 86 портретовъ... со статьями П. М. Головачева и В. А. Мякотина, изд. М. М. Зензинова, М., 1906.

— Котляревскій, Н. Декабристы. Кн. А. Одоевскій и А. Бестужевъ. Спб., 1907.

— Изъ работъ о декабристахъ: въ статьѣ—В. И. Семевскаго—„Вопросы о преобразованіи государственнаго строя Россіи въ XVIII и первой четверти XIX вѣка" (о Пестелѣ, эпизодически)—въ „Быломъ", 1906, III; въ книгѣ его же—Крестьянскій строй, Спб., 1905, т. I;—статьи въ „Быломъ": П. П. Сильванскаго, 1906, II и III („Пестель передъ Верховнымъ судомъ"), П. Е. Щеголева, 1906, I, II („Петръ Григорьевичъ Каховскій"); а также—г. Сильванскаго „П. И. Пестель" въ „Русскомъ Біографическомъ словарѣ", г. Богучарскаго въ книгѣ „Изъ прошлаго русскаго общества", Спб., 1904.

— Въ числѣ работъ послѣдняго времени по изученію эпохи имп. Александра I слѣдуетъ отмѣтить обширное историческое изслѣдованіе Вел. Кн. Николая Михаиловича „Графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ", 3 т. Спб., 1903.

Къ стр. 152.—Морошкинъ, М. „Іезуиты въ Россіи, съ царствованія Екатерины II и до нашего времени", 2 ч., Спб., 1867—1870. Здѣсь говорится, между прочимъ, о положеніи Россіи и „старой" партіи: „Нельзя также не остановить вниманія на нѣкоторыхъ особенныхъ событіяхъ, совершившихся тогда въ Россіи и имѣвшихъ большое вліяніе на счастливый результатъ записки Де-Местра. Передъ собиравшеюся надъ Россіей внѣшнею грозою, внутри ея происходили внутреннія бури, сопровождавшіяся болѣе или менѣе грозными катастрофами, отзывавшимися болѣе или менѣе сильными потрясеніями въ душѣ тогдашняго Самодержца земли русской. Промахи тогдашнихъ реформаторовъ, такъ естественные при всякихъ преобразованіяхъ и нововведеніяхъ, оскорбленное честолюбіе, зависть, самолюбіе и претензіи на обширныя государственно-административныя дарованія людей прежнихъ царствованій, оставшихся теперь совершенно безъ дѣла и признанныхъ неспособными къ государственнымъ должностямъ, наконецъ, просто преувеличенные и своекорыстные страхи за свои крѣпостническія права людей, прикидывавшихся патріотами, а вся сфера патріотизма этихъ людей, какъ показалъ опытъ, ограничивалась безконтрольнымъ распоряженіемъ своими крестьянами,—все это давало и поводъ порицать произведенныя реформы, и клеветать на реформаторовъ, и порождало въ Государѣ, отъ природы недовѣрчивомъ и подозрительномъ, недовѣріе къ реформаторамъ, сомнѣніе въ благотворности совершенныхъ реформъ, наконецъ заставило его терять вѣру въ себя, въ свои дѣйствія, производило сомнѣніе за будущее, навѣвало мысль о необходимости оставить прежній путь и идти по тому, который указываетъ партія, оппонирующая реформаторамъ; реакція уже совершилась въ Александрѣ I еще прежде 1812 года. Поворотъ этотъ происходилъ въ душѣ Александра тѣмъ съ большею быстротою, чѣмъ съ большею неразборчивостію старая партія употребляла всѣ средства для достиженія своей цѣли. Недовольствуясь частыми посѣщеніями тверского Императорскаго дворца, гдѣ находилась одна изъ любимѣйшихъ сестеръ

Императора, имѣвшая огромное вліяніе на него, и не ограничиваясь полу-оффиціальнымъ, такъ сказать, доносомъ или докладомъ ей о томъ бѣдственномъ положеніи, до котораго доведена Россія будто бы благодаря новымъ реформаторамъ, и о той ужасной пропасти, которая ими приготовлена для нея въ скоромъ будущемъ, враги александровскихъ реформъ прибѣгали иногда къ ребяческимъ, иногда къ низкимъ, иногда къ самымъ гнуснымъ средствамъ. Главный центръ и очагъ этой партіи была Москва, а главнымъ поджигателемъ ея былъ Растопчинъ; подъ его подстрекательствомъ этотъ городъ надменныхъ величій совершенно превратился въ клубъ фрондистовъ. Отсюда писались и посылались въ Тверь и Петербургъ разныя патріотическія записки, съ разными восклицаніями о томъ, что отечество гибнетъ; отсюда летѣли прошенія и письма отъ лица всего дворянства къ Государю съ прошеніемъ о необходимости принять такія-то мѣры, смѣнить и удалить отъ должностей такихъ-то администраторовъ. Но вслѣдъ за этими патріотическими вѣрноподданическими прошеніями щедрою рукою изъ той же, по большей части, Москвы разсыпались пасквили, угрозы, всякаго рода застращиванія, самые разнообразные и самые нелѣпые слухи, которымъ съ трудомъ можно найти пріютъ у московскихъ салонницъ, но которые, какъ не подлежащіе никакому сомнѣнію, важно и съ особенною интонаціею разсказывались въ самыхъ аристократическихъ московскихъ и другихъ салонахъ. Въ этомъ случаѣ Москва недалеко ушла отъ Вильны, гдѣ польско-литовское дворянство послѣ бала, даннаго имъ Александру I-му, и послѣ восторженныхъ изліяній чувствъ неизмѣнной преданности своему обожаемому Монарху, подбросило ему самый гнусный и грязный пасквиль.

„Въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ воля Александра I-го не поколебалась бы при этихъ махинаціяхъ, или онѣ подвергнуты были бы строгому обсужденію, и по достоинству оцѣнены бы были механики и ихъ дѣйствія. Но страшныя черныя тучи съ непостижимою быстротою надвигались съ запада на Россію; все въ атмосферѣ дышало чѣмъ-то зловѣщимъ, всѣ увѣрены были въ нашемъ пораженіи; воображеніе было поражено громадностію будущихъ жертвъ и безвыходностію положенія, опускались руки, воля теряла энергію. Подъ гнетомъ такихъ впечатлѣній Александръ I-й, съ невыносимою болью сердца, долженъ былъ въ угоду старой мнимопатріотической партіи, жертвовать такими людьми, какъ Сперанскій, оставлять самого себя одинокимъ и безъ вѣрныхъ помощниковъ и совѣтниковъ; подъ давленіемъ необыкновенныхъ внѣшнихъ событій и страшныхъ душевныхъ потрясеній принужденъ былъ давать важные государственные посты такимъ людямъ, къ которымъ онъ имѣлъ полное отвращеніе и ненавидѣлъ ихъ всѣми силами души своей, какъ напр., къ графу Растопчину и многимъ другимъ. Мѣста Сперанскаго, Новосильцова заняты были Балашовыми, Розенкамфами и тому подобными личностями"...

Къ стр. 144.—Кромѣ „Записки" Сперанскаго, напечатанной впервые въ „Историческомъ обозрѣніи", т. XI, извѣстенъ также его „Проектъ" 1809 г., напечатанный тамъ же, т. X. Оба документа разсмотрѣны

сіи къ Западу", „Ю. Θ. Самаринъ и освобожденіе крестьянъ", „Славянофилъ особаго типа").

— Кромѣ отмѣченнаго см. также Вл. Соловьева „Очерки изъ исторіи русскаго сознанія", Вѣстн. Евр., 1889 (и въ Собр. соч.) и брошюру Д. Θ. Самарина „Поборникъ вселенской правды", Спб, 1890, см. также книгу Вл. Соловьева — „Новая защита стараго славянофильства", 1889 въ книгѣ: „Національный вопросъ въ Россіи" (Собр. соч. В. С. Соловьева т. V. Спб., 1902).

— Барсуковъ, Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина въ разныхъ томахъ. Спб., 1888—1906.

Къ стр. 292.—М... З... К...—псевдонимъ Ю. Θ. Самарина.

Къ стр. 307.—„Россія", стих. Хомякова:

Тебя призвалъ на брань святую,
Тебя Господь нашъ полюбилъ,
Тебѣ далъ силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силъ.

Вставай, страна моя родная,
За братьевъ! Богъ тебя зоветъ
Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная
Туда, гдѣ, землю огибая,
Шумятъ струи Эгейскихъ водъ.

Но помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ созданьямъ тяжело.
Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго:
А на тебя, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налегло!

Въ судахъ черна неправдой черной,
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

О недостойная избранья,
Ты избрана! Скорѣй омой
Себя водою покаянья,
Да громъ двойного наказанья
Не грянетъ надъ твоей главой!

Съ душой колѣнопреклоненной,
Съ главой, лежащею въ пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совѣсти растлѣнной
Елеемъ плача исцѣли!

И встань потомъ, вѣрна призванью,
И бросься въ пылъ кровавыхъ сѣчъ!

Борись за братьевъ крѣпкой бранью
Держи стягъ Божій крѣпкой дланью,
Рази мечомъ—то Божій мечъ!

Къ стр. 320.—Ив. Ив. Неплюевъ, „Записки“ появились въ 1823 г. въ „Отеч. Зап.“, переизданы Л. Майковымъ въ „Рус. Арх“.,—1871, №№ 7, 8.

Къ стр. 337.—„Современникъ“, 1856, № 6, крит., стр. 6—7. „Сочиненія Т. Н. Грановскаго. Томъ первый, М., 1856“. Разборъ принадлежитъ Н. Г. Чернышевскому (см. Собр. соч., т. II, 1906), какъ и о томѣ II Грановскаго, въ Соврем., 1857, № 2 (Собр. соч. Н. Г. Ч—го, т. III, 1906).

Къ стр. 353.—О X т. соч. Гоголя, подъ ред. Тихонравова и В. И. Шенрока упомянуто выше.

— Литература о Гоголѣ — см. „Источники словаря русскихъ писателей“, С. А. Венгерова, Спб., 1900, т. I, стр. 786—814.—Изъ позднѣйшей литературы отмѣтимъ:

— Два этюда о Гоголѣ въ книгѣ В. В. Розанова „Легенда о Великомъ Инквизиторѣ Ѳ. М. Достоевскаго, опытъ критическаго комментарія“, изд. 2-е. Спб., 1902.

— Письма Н. В. Гоголя. Редакція В. И. Шенрока. Въ четырехъ томахъ. Спб., (1902).

— Заболотскій, П. А. „Н. В. Гоголь въ русской литературѣ“ (библіографическій обзоръ)—въ „Гоголевскомъ сборникѣ“, изд. подъ ред. проф. М. Сперанскаго, Кіевъ, 1902 (и отдѣльно).

— Каллашъ, В. Жуковско-Гоголевская юбилейная литература, М., 1902.

— Бертенсонъ, С. Опытъ библіографическаго указателя Гоголевской юбилейной литературы (изъ „Литерат. Вѣстника“), Спб., 1903.

Много библіографическихъ указаній читатель найдетъ также въ „Литературномъ Вѣстникѣ“ за 1902 г. (работы гг. Линовскаго, Лященка и др.). Этотъ журналъ вообще необходимо имѣть въ виду для справокъ и по другимъ отдѣламъ книги.

— Котляревскій, Н. А. „Н. В. Гоголь“. Спб., 1904.

— Мережковскій, Д. С. „Гоголь и чертъ“, Спб., 1904.

Къ стр. 395. — Рус. Арх., 1866, стр. 1081 — 82: Письмо Гоголя къ кн. П. А. Вяземскому отъ 11 іюля 1847 г.—Вошло въ полное собраніе писемъ, подъ ред. Шенрока.

Къ стр. 425.—Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ ред. С. А. Венгерова, Спб., 1900—1904. Съ обширными примѣчаніями. Вышло 7 т.

Къ стр. 441.—Заглавіе драмы Бѣлинскаго—„Дмитрій Калининъ“. Драматическая повѣсть въ пяти картинахъ, сочиненіе Виссаріона Бѣлинскаго“. Помѣщена въ „Полномъ собраніи сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“ подъ ред. С. А. Венгерова. Т. I. Спб., 1900.

Къ стр. 485. — Дневникъ А. В. Никитенка печатался въ Русской Старинѣ. Отдѣльно: 1-е изд., Спб., 1893; 2-е изд., Спб., 1904—1905.

Къ стр. 487. — Русск. Стар., III, 1871, стр. 793—94: Письма гр. Бенкендорфа къ Н. В. Кукольнику. Эти письма такъ характерны для своего времени, что мы приводимъ ихъ цѣликомъ.

I.

М. Г. Несторъ Васильевичъ! Историческій разсказъ „Сержантъ или всѣ за одно" обратилъ на себя вниманіе публики желаніемъ вашимъ выказать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую—его двороваго человѣка. Государь императоръ удивляется, какъ можетъ человѣкъ, столь просвѣщенный и обладающій такимъ хорошимъ перомъ, какъ вы, М. Г., убивать время на занятія васъ недостойныя и на составленіе статей до такой степени ничтожныхъ.

Хотя разсказъ вашъ вы почерпнули изъ дѣяній Петра Великаго, но предметъ, вами описанный въ анекдотѣ, составляя прекрасную черту великаго государя, въ вашемъ сочиненіи совершенно искаженъ неумѣстными выраженіями и получилъ совершенно дурное направленіе. Желаніе наше безпрерывно выказывать добродѣтель податнаго состоянія и пороки высшаго класса людей, не можетъ имѣть хорошихъ послѣдствій, а потому не благоугодно ли вамъ будетъ на будущее время воздержаться отъ печатанія статей, противныхъ духу времени и правительства, дабы тѣмъ избѣжать взысканія, которому, вы, при меньшей какъ нынѣ снисходительности, подвергнуться можете.

С.-Петербургъ, 6 января 1842 г.

II.

М. Г. Несторъ Васильевичъ! Получивъ письмо ваше, отъ 27 сего января, спѣшу успокоить васъ, м. г., что изъ памяти государя императора совершенно изгладилось то впечатлѣніе, которое произведено было повѣстію вашею: „Сержантъ Ивановъ", и въ мысляхъ его величества не осталось противъ васъ ни малѣйшаго гнѣва; если же вамъ и сообщено было о замѣченныхъ недостаткахъ въ вашей повѣсти, то единственно потому, что его величество, памятуя всѣ другія произведенія ваши по части литературы, былъ нѣсколько остановленъ тѣмъ, что въ новой повѣсти вашей встрѣчаются мѣста, не вполнѣ достойныя пера вашего, и его императорское величество соизволилъ замѣтить это именно потому, что считаетъ васъ въ числѣ отличныхъ писателей, всегда ожидалъ отъ васъ произведеній, равныхъ вашему таланту, и что вы трудами своими можете приносить пользу и честь нашей литературѣ.

30 января 1842 г.

Къ стр. 488. — О Грановскомъ: Левшинъ, Д. М., Т. Н. Грановскій (опытъ историческаго синтеза), 2-е изд., Спб., 1902.

— Чешихинъ. Грановскій и его время, изд. 2-е, Спб., 1905; Вѣтринскій, Ч. „Въ сороковыхъ годахъ". М., 1899.

Къ стр. 496. — Русск. Стар., т. VI, 1872: Изъ записокъ И. П. Липранди, стр. 75—78. Не лишены спеціальнаго интереса его „наблюденія" надъ процессомъ распространенія соціальныхъ идей. Такъ, между прочимъ, онъ пишетъ:

„Въ то же время обозначилось, что люди, принадлежащіе къ

наблюдаемому обществу, находились внѣ столицы, въ разныхъ провинціяхъ, и объ нихъ здѣшніе сочлены ясно говорили, что имъ поручено вездѣ стараться сѣять идеи, составляющія основу ихъ ученія, пріобрѣтать обществу соумышленниковъ и сотрудниковъ и такимъ образомъ приготовлять повсюду умы къ общему возстанію. Бумаги арестованныхъ лицъ обнаружили, что подобными миссіонерами были: въ Тамбовѣ — Кузминъ, въ Москвѣ — Плещеевъ, въ Ростовѣ — Кайдановъ, въ Сибири — Черносвитовъ, въ Ревелѣ — Тимковскій и проч. Такъ какъ общество существуетъ уже съ 1842 года, то мнѣ весьма естественно было предполагать, что подобныя миссіи ведутся издавна и потому идеи могли быть уже посѣяны и принести болѣе или менѣе плоды въ разныхъ мѣстахъ государства. Послѣдствія, казалось, оправдали это мое предположеніе: въ письмахъ изъ Ростова Кайдановъ говоритъ о своей паствѣ, для которой онъ переводитъ на русскій языкъ сочиненія Бидермана о соціализмѣ, на томъ основаніи: „чтобы доставить возможность прочитать его и тѣмъ, кто не знаетъ нѣмецкаго языка", онъ выписываетъ и читаетъ: Консидерана, Фурріе, Прудона, Луи-Блана, С-нъ Симона, Кабé, журналъ Фаланжъ, La guerre des Passions, Les trois nuits internes и т. п.; говоритъ, что „онъ совершенно убѣжденъ въ истинѣ и исполнимости ученія Фурріе, вовсе не считая себя обязаннымъ свято вѣрить à toutes les extravagances de notre Maître и проч.; благодаритъ (присылающихъ ему въ Ростовъ помянутыя книги) за насыщеніе хлѣбомъ духовнымъ его и всей здѣшней (Ростовской) небольшой паствы и пр.". Паства эта, незнающая иностранныхъ языковъ, въ такомъ городѣ, какъ Ростовъ, конечно должна была состоять изъ мѣстныхъ городскихъ обывателей средняго класса: уѣздныхъ чиновниковъ, а также и самыхъ купцовъ, мѣщанъ и т. п. Какой ядъ долженъ былъ разливаться отъ такой закваски въ городѣ, куда на ярмарку стекаются со всѣхъ оконечностей государства? и какъ послѣ того я не могъ не подумать, что и въ другихъ мѣстахъ, особенно такихъ, гдѣ полупросвѣщеніе болѣе распространено и гдѣ знаніе иностранныхъ языковъ сильнѣе, чѣмъ въ уѣздномъ городѣ, не завелись уже подобныя паствы? (Вообще всѣ письма Кайданова изъ Ростова казались мнѣ особенно замѣчательными по тому рвенію, которое онъ выказывалъ къ изученію „Апостоловъ нынѣшней западной пропаганды" и по тому восторгу, въ который онъ приходилъ отъ одного чтенія оныхъ.).

„Самая сущность общества уполномочивала меня къ заключенію, что оно необходимо должно имѣть обширныя и далеко пущенныя отрасли. По всему, что узналъ я, нельзя было, по моему мнѣнію, не видѣть, что это вовсе не какой-нибудь мелкій заговоръ, образовавшійся въ нѣсколькихъ разгоряченныхъ головахъ, съ опредѣленною мыслью исполненія какого-нибудь преступнаго дѣйствія, въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время. Нѣкоторые изъ открытыхъ соучастниковъ, казалось мнѣ, могли быть точно заговорщиками въ изъясненномъ выше смыслѣ этого слова: у нихъ видны намѣренія дѣйствовать рѣшительно, не страшась никакого злодѣянія, лишь бы только оно могло привести къ желаемой ими

цѣли. Но не всѣ были таковы. Наибольшая часть членовъ предполагали идти медленнѣе, но вѣрнѣе, и именно путемъ пропаганды дѣйствующей на массы. Съ этой цѣлью въ собраніяхъ происходили разсужденія о томъ, какъ возбуждать во всѣхъ классахъ народа негодованіе противъ правительства, какъ вооружать крестьянъ противъ помѣщиковъ, чиновниковъ противъ начальниковъ, какъ пользоваться фанатизмомъ раскольниковъ, а въ прочихъ сословіяхъ подрывать и разрушать всякія религіозныя чувства, которыя они сами изъ себя уже совершенно изгнали, проповѣдуя, что религія препятствуетъ развитію человѣческаго ума, а потому и счастія; тутъ же было разсуждаемо о частыхъ особыхъ мѣрахъ: какъ дѣйствовать на Кавказѣ, въ Сибири, въ Остзейскихъ губерніяхъ, въ Финляндіи, въ Польшѣ, въ Малороссіи (гдѣ умы предполагались находящимися уже въ броженіи отъ сѣмянъ, брошенныхъ сочиненіями Шевченки и т. д.). Изъ всего этого я извлекъ убѣжденіе, что тутъ былъ не столько мелкій и отдѣльный заговоръ, сколько всеобъемлющій планъ общаго движенія, переворота и разрушенія. Для приведенія въ дѣйствіе этого плана, очевидно, нужны были пружины, расположенныя повсемѣстно, и я имѣлъ всѣ причины предполагать, что эти пружины уже устраиваются, а можетъ быть отчасти и устроены. Такъ, напримѣръ, для того, чтобъ пустить въ ходъ зажигательное истолкованіе десяти заповѣдей, назначенное, очевидно, для возмущенія простонародія, необходимо было не только разослать эти заповѣди, но имѣть вездѣ людей, которые бы могли словесно разъяснить ихъ (обстоятельство не разъ упоминавшееся въ донесеніяхъ моихъ) и тѣмъ подстрекать массы къ волненію".

Къ стр. 506. — Рус. Стар., 1873, стр. 903 и д. „Мои воспоминанія" — Н. П. Сахарова.

— Русск. Арх., 1873, кн. 1—ая, стр. 911—918. „Для біографіи И. П. Сахарова". Здѣсь, между прочимъ, говорится: „Борьба стараго поколѣнія съ русскимъ началомъ явившимся въ защиту русской самостоятельной жизни, жалка и смѣшна. Невѣжество нашихъ дикихъ европейцевъ, опирающихся на одинъ французскій языкъ, плохой авторитетъ въ этой борьбѣ...

...„Напомнимъ имъ только, что въ эту борьбу вступаетъ одно сословіе, довольно сильное своимъ значеніемъ въ обществѣ, но лишенное всѣхъ капиталовъ и промотавшее достояніе отцевъ на поѣздки за границу, на выписку глупыхъ гувернеровъ и на заморскія моды, сословіе идущее впереди всѣхъ, дѣятельное въ судахъ и службѣ, но разрозненное въ основныхъ понятіяхъ съ своими дѣтьми, сословіе, потерявшее вѣру своихъ отцовъ въ вольнодумствѣ гувернеровъ, сословіе омраченное предпочтеніемъ ко всему иностранному. Борьба будетъ продолжаться долго, пока пройдутъ два-три устарѣвшія поколѣнія; когда перемрутъ жалкіе представители французскаго воспитанія, когда русскіе дойдутъ до сознанія, что русскимъ людямъ нужно русское воспитаніе, взятое изъ коренныхъ началъ русской жизни и принятое изъ рукъ русскихъ людей.

...„За дворянствомъ вслѣдъ увлеклось и наше степенное купечество. Молодое поколѣніе этого сословія, изъ подражанія и хва-

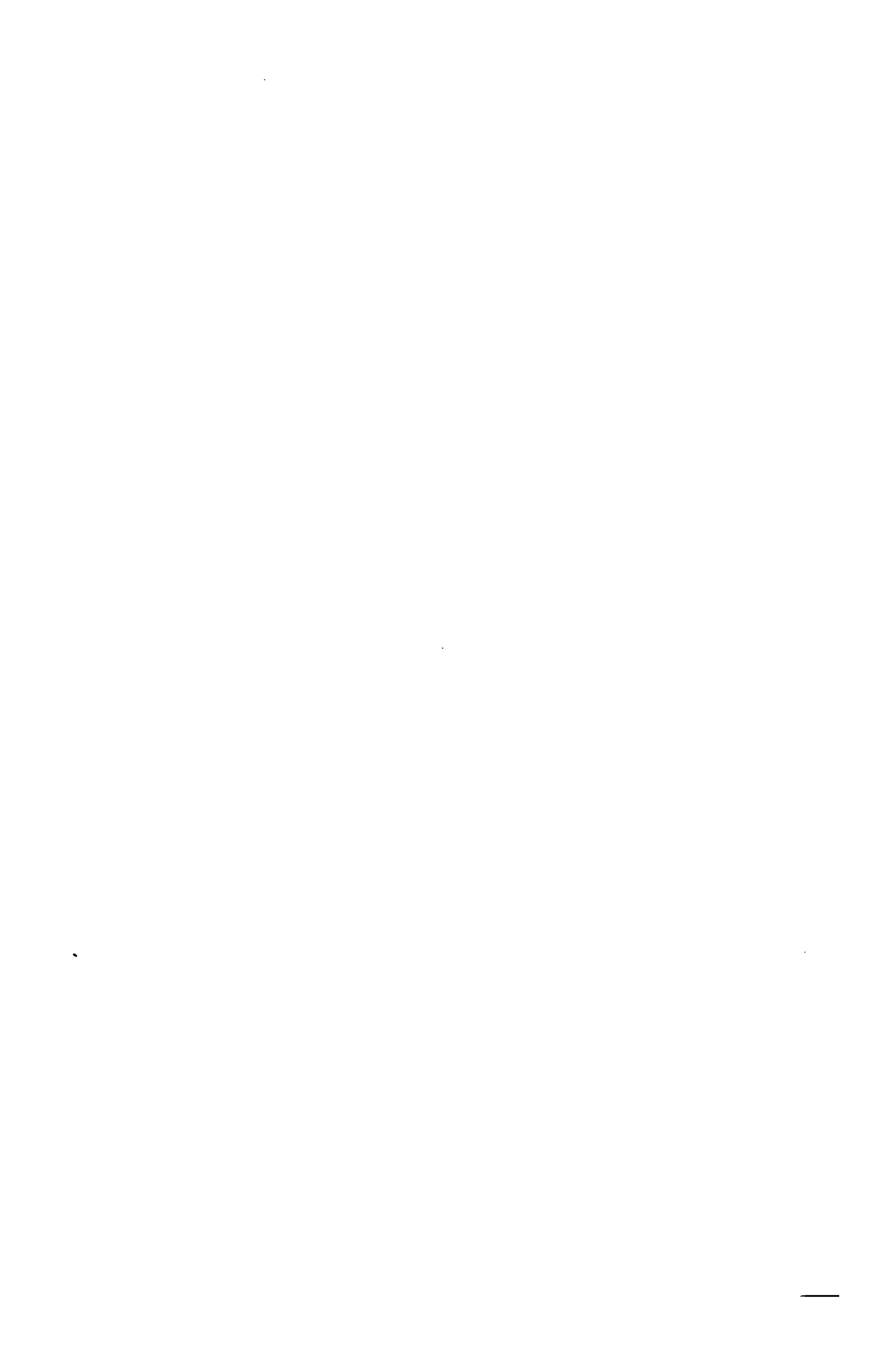
стовства превзойти дворянство въ роскоши и отважной жизни, перещеголять его развратомъ и мотовствомъ, пустилось во вся тяжкая. Отданіе дочекъ въ подлѣйшіе пансіоны на выучку французской болтовнѣ и заморскимъ пляскамъ восхищаетъ батюшекъ и матушекъ...

...„Изъ этихъ двухъ сословій (дворянства и купечества) немногіе поняли значеніе русской народности и еще менѣе разгадали величіе и могущество нашего вѣковѣчнаго Православія. Могли ли они постигнуть дѣйствія покойнаго Императора Николая Павловича, избравшаго народность и Православіе символами министерства народнаго просвѣщенія? Это явленіе было не дѣломъ случая, не минутною прихотью могучаго властелина. Нѣтъ, оно образовалось изъ событій, приготовившихъ счастливый переворотъ, вопреки чужеземныхъ желаній. Россія начала возвращаться къ основнымъ русскимъ началамъ, послѣ двухсотлѣтняго испытанія, послѣ сознанія своихъ силъ, своихъ нуждъ...

...„Европа, еще при Петрѣ Великомъ, зорко подсмотрѣла будущую участь русской земли, предназначенную ей свыше. Изумленная неистощимыми силами нашей родины, она дружно приступила къ разрушенію основныхъ русскихъ началъ. Первое пораженіе, первый натискъ Европы былъ на русскую народность. Перестрой русскихъ людей на заморскій ладъ былъ начатъ съ сословій дворянскаго и купеческаго. Духовенство и крестьяне оставлены были въ покоѣ, но на время. Западники полагали разбить ихъ въ другомъ сраженіи. Въ этомъ они горько ошиблись. Православная наша вѣра вытерпѣла страшныя истязанія отъ Запада. Европа не могла слышать безъ бѣшенства имени нашего Православія. Начали съ того, что тысячами навязывали намъ всѣ существовавшія ереси, начиная отъ Гордоновой компаніи до Татариновой. Отовсюду стекались къ намъ ересіархи, званые и не званые. Какимъ издоромъ не манили они насъ! Выходцы наградили насъ ложными книгами для отдаленія насъ отъ сочиненій отцевъ церкви; исказили чудную нашу церковную архитектуру, для истребленія всякаго воспоминанія о древнемъ молитвенномъ храмѣ русской церкви; изуродовали наше древнее церковное пѣніе для уничтоженія родныхъ звуковъ, напоминавшихъ намъ о старославянскомъ славословіи Божіемъ съ IX вѣка; вмѣсто благоговѣйночтимой святыни наградили насъ итальянской живописью. Глупцамъ нашимъ предлагали промѣнять родную вѣру то на католицизмъ, то на лютеранизмъ, то на кальвинизмъ, то на іезуитизмъ. Насъ пробовали сбить съ толку: философскими системами, мистицизмомъ, сочиненіями Вольтера, Шеллинга, Баадера, Гегеля, Страуса и ихъ послѣдователей. Нашимъ отцамъ только и твердили: оставь свое Православіе, какъ тяжелую ношу; выбери для себя любую вѣру, свободную отъ предразсудковъ и постовъ. Бѣдная Русь, чего только ты не вытерпѣла отъ западныхъ варваровъ!"

УКАЗАТЕЛЬ
ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

СОДЕРЖАНІЕ.

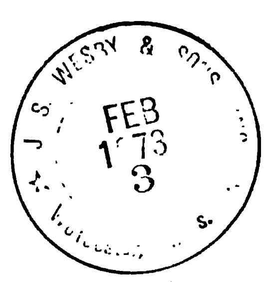











J S WESBY &
FEB